С. ВЕРБОВ

ЛЮДИ, ПУТИ И ТРОПЫ

(КЛУБ ЗАШТАТНЫХ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ)

ПАРИЖ
1 9 7 0

С. ВЕРБОВ

ЛЮДИ, ПУТИ И ТРОПЫ

(КЛУБ ЗАШТАТНЫХ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ)

ПАРИЖ
1970

*Моей жене и другу, Софье Борисовне,
своим мудрым участием во многом мне
споспешествовавшей в этом начинании.*

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

„По Днепру через пороги“, Париж, 1951 г.

„На врачебном посту в земстве“ (из воспоминаний), Париж, 1961 г.

Всего прочнее на земле — печаль.

АХМАТОВА.

ВСТУПЛЕНИЕ

У людей различных наций на миру, как у скотов, что на виду, имеется свое тавро. Многозначное оно выжжено на физическом и духовном обличье человека и разгадать его полностью не так легко. Любителям шарад здесь уготовано широкое поле для исканий.

Так, одной из характерных черт русской стати принято считать склонность к „самокритике", или по старинному — к „ковырянию в душе". Это и по собственному признанию русских. Мало того. В порыве самокритики русские склонны еще каяться не только в том, в чем по слабости человеческой они действительно повинны, но даже и не прочь при случае до дна и чистую душу опростать.

Страсть эта к покаянию, непонятная представителям других народов, готовым и явные свои пороки причислить к национальным добродетелям, позволила предположить у русских присутствие особого психического симптомокомплекса, чуждого нормальным личностям других народов.

Такой комплекс, насчитывающий, конечно, много качеств, неподдающихся к тому же точному определению, оказался настоящим кладом для любителей психоанализа.

И каких только экстравагантностей не находили досужие искатели у обладателей âme slave!

Настоящей „притчей во языцех" является, к примеру, утверждение иностранцев об антисоциальных чертах русского характера. Здесь и неуживчивость, непоседливость русского Ивана и, особенно, примитивная и опасная анархичность самых основ его души.

Недаром немцы почитали своей миссией, уготованной им услужливо Историей, научить русских немецкому порядку, присвоив себе за науку добрую толику их земли.

Соберутся трое англичан — заявляют психоаналитики, — получается парламент; трое немцев — профессиональный союз; французов трое: университет или кабаре; русских только двое — революция.

Правда, близкое родство русского народа с Бакуниным и Крапоткиным, не говоря уже о Разине и Пугачеве, является на первый взгляд обстоятельством действительно компрометирующим в этом отношении. А как обстоит дело у других народов в отношении компрометирующего родства?

Возьмем, к примеру, Францию, где марка âme slave имеет наибольшее хождение.

Справимся и выходит... У русских князь Крапоткин, у французов буржуа Прудон. Общее у них то, что составляет сущность анархизма, но князь не желает оставлять у частников в руках орудия только лишь производства, а Прудон рубит собственность с плеча: „la propriété c'est le vol".

Это утверждение Прудона в переводе на язык родных осин означает ведь не что иное, как нам так хорошо знакомое: „грабь награбленное".

У нас Бакунин, а у французов Бланки. Бланки, был, конечно, менее активен и притом заговорщик, а не анархист, но Бланки тридцать три года своей многострадальной жизни в тюрьме сидел. За эти годы, будь он на свободе, сколько и каких восстаний он мог бы подготовить, а то и возглавить.

Остаются Пугачев и Разин — в общем две неудавшиеся революции, а у французов, сколько революций и больших и малых, подавленных и успешных?..

Не лишне здесь оговориться.

Некоторая отчужденность русской психики от норм восприятия и переживаний, свойственных другим народам, составлявшим когда-то общую семью, на самом деле существует. Однако, не в склонности к душевному ковырянию в этом случае дело. Феномен этот имеет весьма веские другие, и притом, исторические основания.

Было время, когда Россия была в авангарде культурных наций мира. Но „давно минула лета Ярославля", когда иноземные короли честью считали для себя породниться с русским царским домом.

Никакой загадки для прочей Европы, нужно думать, русский народ тогда не представлял.

Минуло столетие, другое, и под несметными ордами татар тьма окутала начинавшую лишь расцветать Россию. Умерла Россия для Европы. Навсегда сошла, казалось, с шахматной политической доски. И вдруг сюрприз!

Потихоньку, собственными силами русский медведь одолел татар; в Чудовом озере утопил непобедимых рыцарей Тевтонских; подмочил навеки репутацию Карлу Смелому, и предстал медведь перед Европою жив-живехонек.

Люди призраков боятся, а тут не в одиночку призрак объявился, а в образе страшного медведя напомнил о себе народ.

Европа пыталась долго, поначалу, не верить собственным глазам. А поверив, всячески старалась третировать Россию, как непрошенного проходимца — parvenu; считать ее величиной незначащей и это... при ее величине.

Долго силилась Россия убедить соседей в своей прикосновенности к Европе, хотя бы и неполностью, не совсем уж comme il faut. Видя, что Европа упорно нос воротит, русские по привычке занялись „самокритикой" и таких вещей про себя наговорили, что правители во всем мире потеряли сон.

„Да, мы скифы с раскосыми и жадными глазами, — откровенно покаялись они. — Вас миллионы, — нас тьмы, и тьмы, и тьмы". К этому русские еще добавили, что по неоспоримым, лишь им известным данным, историей неопровержимо предназначено, что в „тяжелых, нежных" русских „лапах" хрустнет их скелет.

Несмотря на эти преимущества, русские по незлобивости своей предлагают все ж народам „мирное сосуществование" и рекомендуют дружеское соревнование.

Искренне советуют не тратить напрасно средств, вовремя разоружиться и терпеливо дожидаться предопределенной им историей судьбы.

Словом, душу свою русские вывернули прямо наизнанку.

Откровенность и такое добродушие многим не пришлись по вкусу, напугали всех.

За сотни лет впервые иноземные правители пригляделись к России. „Обалдело Европа в объективы глядит"... Глядят, думают, ничего не понимают: перед ними сфинкс.

Пробовали метром мерить, не выходит — больно велика; логикой Декарта и Бекона действовать — метод устарел. И решили.

Россия страна особая, не как другие и виною этому âme slave.

Мораль, конечно, здесь иная. Не затирали бы Россию, не

доводили бы русских до „самокритики“, нужды не было бы в âme slave.

Отчужденность, таким образом, если и имеется, то обусловлена она преимущественно сложившейся международной обстановкой.

Как быть все же с утверждением психоаналитиков, что русским опасно скопляться больше, чем по одному?

Простой и наиболее логичный способ это, естественно, оглядеться и понаблюдать. Кстати, стало нам известно, что не два, а семь интеллигентов учредили в пригороде неподалеку от Парижа клуб под названием: „Клуб заштатных русских интеллигентов“. Сокращенно „Клузарусин“.

Приглядимся к этим людям и может быть вопрос этот разрешится сам собой.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В темную октябрьскую ночь неподалеку от подъезда фешенебельного ночного кабака досиживал свой тридцатипятилетний стаж за рулем собственного, многолетней давности, автомобиля герой нашего повествования, основатель „Клуба заштатных русских интеллигентов", ночной шофер, Геннадий Сергеевич Безладный.

По законам, положенным всем организованным предметам, одушевленным, как и неодушевленным, срок нормальной функциональной деятельности шофера и машины подходил к концу. У шофера глаза стали слезиться; желудочная язва, профессиональная болезнь шоферов, требовала повторных пребываний в госпитале, а в машине кожа ссохлась; косточки, болтаясь, стучали, как кастаньеты и готовы были вот-вот и вовсе развалиться.

Заканчивался период деятельной жизни и человека и машины. Для эмигранта это был настоящий Рубикон. А за Рубиконом что?

Безладный смолоду имел большую склонность к размышлениям в одиночку. Жизненный путь его с первых сознательных шагов шел независимо по двум как бы колеям. Одна благоустроенная, верная вела к дипломатической карьере. По дороге к этой цели Безладный прошел курс в Институте Восточных Языков и вслед за этим получил диплом по юридическому факультету. Отслужив положенное время вольноопределяющимся в гвардейской кавалерии и не обнаружив интереса к военным упражнениям, он был зачислен чиновником по Министерству иностранных дел. На этом пути все было предусмотрено, регламентировано и размышлять здесь не было нужды.

Но у Геннадия Сергеевича была еще другая, своя внутренняя жизнь в полном противоречии с обстановкой его повседневного семейного уклада.

Безладный был по убеждению толстовец, разделявший пол-

ностью постулаты этого учения, отрицавшего как раз все то, что исповедывала его среда и на чем зиждилась его карьера. Склонность к „опрощению“, которую он вынужден был тщательно скрывать даже и от близких, с ранних лет раздвоила его психику, развила в нем нелюдимость и сделала его мечтателем.

Между прочим, известная дореволюционная растерянность русского интеллигента в значительной степени имела основанием так часто наблюдавшееся коренное расхождение между духовной склонностью и чаяниями интеллигента и практикуемой им вольно или невольно профессиональной деятельностью. Неизбежные при таком расхождении душевные конфликты частично находили свое разрешение в мечтаниях и в красивых рассуждениях, особенно под влиянием вина.

Военное время Безладный прожил в Петрограде на своем посту. Нейтрально настроенный по отношению к старому режиму, революцию он все же безоговорочно благословил и пытался даже по мере сил быть полезным новому режиму.

Октябрьская революция его не на шутку напугала. Растерянный и в одиночестве, — семья его находилась в год революции в Крыму, — он, повторяя слова Блоковского витии: „Предатели, погибла Россия“, принял твердое решение и с энергией его осуществил. Безладный перешел Финляндскую границу и направился выжидать крушения большевиков в Париж.

Это был многообещающий, казалось ему, и логический акт его сознательного волеизъявления. Действительность, однако, ни в каком смысле не оправдала ожиданий. Годы шли, крушение большевизма заставляло себя ждать, а Безладный медленно, но верно, с недолгими остановками, как бы по инерции, интеллектуально и морально катился вниз. У края бездны, узнав о гибели своей семьи в Крыму, он опомнился, на последние оставшиеся деньги купил подержанный автомобиль, и началась для нашего героя теперь уже трудовая и притом новая ночная жизнь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Длинна октябрьская ночь. У ресторана клиенты редки, но расплачиваются они не по счетчику обычно и не скупятся на чаи, особенно убедившись, что везет их русский. Шоферы, подобные Безладному, шоферы „джентльмены", весьма ценятся дирекциями злачных мест. Клиенты иностранцы, наиболее ценный элемент для этих учреждений, часто консультируют именно шоферов, куда направиться, чтобы „погулять". В Париже злачных мест не мало и решение зависит от шофера. Безладный манерами и видом импонировал клиентам, да и дирекция его особо отличала и время от времени он даже и подкармливался там.

У ресторана кутилы заставляют себя долго ждать и у Безладного в распоряжении имеются часы, чтобы о прошлом подумать без помехи и помечтать о будущем... с опаской.

Прошлое, долгий полусон, уходит без возврата. Автомобиль продан и, к удивлению, не на слом. Нашелся русский покупатель. Продан и номер, т. е. право на профессию шофера. Деньги эти округляют несколько скопленный за десятилетия работы весьма скромный капитал.

С рассветом Безладный переходит на положение „рантье", пенсионера.

Во Франции рантье — часто встречающееся звание, но почтенным оно становится лишь в случае, когда и при наличности пенсии, для людей рабочих недостаточной всегда, а в большинстве мизерной, кое-что еще припрятано на черный день или когда имеются радетели-дети, не забывшие родителей, — явление не частое в наш век, — родственники или доброхотные опекуны.

Безладный одинок, как перст и имеет к тому же наклонности анахорета. Старческий дом, к примеру, последнее прибежище для русских эмигрантов, закончивших рабочий стаж, представляется

Безладному общей могилой для заживо погребенных. При всех условиях он предпочитает по-настоящему сначала умереть, а затем уж лечь хотя бы и в общую могилу.

Безладный напрягает мысль, пытается вглядеться в будущее. Как сложится его всегда особенная, теперь связанная не с сумерками, не с привычной бесшумной темнотой, а, как у большинства людей, с беспокойным дневным светом — жизнь рантье?

Безладный одинок, но одиночество его все же относительное. Лентой развертывает память лица приятелей, коллег по профессии — французов, русских. Он видит их то озабоченные, то улыбающиеся лица, слышит их голоса, их смех. Но все они почти исключительно виденья ночи. У стоянок, в бистро за аперитивом или за чашкой кофе. Все они призраки, с рассветом уходящие, как сон.

У Безладного в Париже есть и свойственники — все французы, родные, скончавшейся после недолгой брачной жизни, француженки-жены.

Мысль уносит его в прошлое, хоть и далекое, но оставившее в душе неизгладимый след и отдалившее его еще сильнее от дневного света, от людей.

Безладный затягивается до удушья папиросным дымом и вытирает увлажнившиеся слезой глаза. На плече своем он снова чувствует, как прежде, как давным давно, прикосновение головы жены, лицо обжигает ее шелковистый волос. Эманация любимого живого тела обволакивает все вокруг.

Безладный по-стариковски, беззвучно долго плачет.

В жизни эмигранта, лишенной всяческих устоев, всем заправляет случай. От него и счастье, и несчастье. Наблюдая жизнь русских эмигрантов, Paul Valéry легко мог бы утвердиться в своей мысли, что „друзей, идеи и успех нам, обычно, дает случай“.

На сорок пятом году жизни Безладный женился на подавальщице ночного ресторана, у дверей которого он сейчас в последний раз стоит. Брак этот был, естественно, явлением случайным, навязанным чужою волей, но счастливым и случайность, теперь несчастная, положила браку этому конец.

Персонал ресторана знакомился с шоферами, часто привозившими туда гостей, но из большого числа таких шоферов дирекция и персонал Безладного особо отмечали, а женский элемент, все подавальщицы заглядывались на Безладного всерьез и называли его prince russe.

В наружности Безладного и правда было много привлекательного и притом такого, что неизменно покоряет женские сердца. Высокий, стройный, сохранивший до старости юношескую гибкость тела, в движениях, речи он проявлял подку-

пающую естественную сдержанность и вместе как бы благородную значительность. Хорошо сохранившиеся седеющие волосы он зачесывал спереди назад. На большом лице высокий лоб, меланхолические, мечтательной дымкой подернутые карие глаза, рот резко очерченный с мягкими губами. К тому же — так редко встречающийся у мужчин — тихий, теплый, задушевный голос. При кажущейся мужественности его фигуры, на женщин Безладный производил все же впечатление беспомощного, выпавшего из гнезда птенца с седыми волосами. И женщины готовы были тут же свить ему новое гнездо.

Одна из подавальщиц, Annette, лет тридцати, шатенка с чудной шелковистой шевелюрой, зубами белыми, как снег, и ножкой Терпсихоры, — тремя отличительными, весьма распространенными особенностями французской женской расы, — серьезно увлеклась Безладным.

Красивая и добрая, она по многим, чисто парижским основаниям не ценила брачных уз и засиделась в девках. Встреча с Безладным изменила ее взгляды. Аннетт полюбила горячо и по-видимому, безнадежно, так как предмет ее терзаний ценил свое одиночество выше всего и к чарам женским относился равнодушно. Но если женщина захочет... Не обошлось и здесь без случайности. Безладный, оказалось, проживал на мансарде многоэтажного того же дома, где жили родители Аннетт. Это облегчило их сближение.

Быстро прошли, неожиданно свалившиеся на уже седевшую, не помышлявшую ни о чем подобном голову Безладного, годы брачной жизни, продлившейся около трех лет. С мансардной комнатушки, с поднебесья, далекого от земных радостей и огорчений, сошел, вынужден был сойти наш анахорет на землю, в комнату с „комфортом“ в квартире родителей жены. Безладный не успел по-настоящему освоиться еще с новым положением, привыкнуть к новой обстановке, сблизиться как следует с новым окружением, с братьями жены, и многочисленной родней, как несчастный случай рассеял эту быль, как утренний туман. В солнечный июльский день Аннетт, купаясь, утонула в горной речке у деревни, где чета проводила свои каникулы.

Напрасно просили, убеждали Безладного родители его жены не покидать их, остаться в их квартире. Безладный, чуждавшийся людей, так и не успевший за годы брачной жизни изжить полностью свою, еще укоренившуюся на чужбине нелюдимость, с трудом высидел там несколько недель, покуда отыскал себе новое пристанище — в пригороде неподалеку от Парижа.

Тяжело дались Безладному эти несколько недель. Родители жены, семья выражали ему всячески свою привязанность, заботились о нем, старались, как могли, его развлечь. Сочувствие, разговоры лишь растравляли его скорбь, мешали ему думать.

Мучительнее всего были разговоры с полюбившей его по-настоящему французскою родней.

Артикуляция французских слов в сравнении, например, с английской или даже русской речью, представляет значительно меньше затруднений, и французы, возможно, поэтому, очень уж легки на разговор. В русском языке артикуляция не трудная, но обилие гласных делает слова несколько тяжеловесными, и русским — при их лени — неохота, вероятно, ворочать языком. Не поэтому ли русские охотней выражают свои чувства песней?

Французское окружение не жалело слов для выражения своего сочувствия и дома, и при встречах, а Безладному необходимо было, не отвлекаясь, размышлять о месте своем в жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Теплое крылышко Аннетт, жертвенность ее привязанности, Безладного душевно омолодило. Десятки лет он прозябал с полузакрытыми на свет глазами. В бессильном возмущении своей судьбой, заставившей его заняться профессией шофера, так принижавшей его дипломатическое достоинство, он, протестуя, отвернулся от своего прошлого и от людей; о толстовстве, об идеале опрощения он, кстати, и думать позабыл.

Близость Аннетт напомнила ему об этом прошлом. Annette Безладный представлялся pur sang аристократом, принцем из волшебной сказки со всеми качествами высшего порядка. Сгорая желанием, как это естественно для полюбивших женщин, самой раствориться в своем чувстве к мужу и одновременно и его полностью растворить в себе, что для женской логики отнюдь не является противоречием, Аннетт до самозабвения заинтересовалась всем, что называлось русским и усиленно принялась изучать русский язык.

А у Безладного само собою согрелось, ожило его культурное внутреннее „я“ и повелительно стало проситься наружу.

Поженившись, оба они перешли на нормальный дневной труд: Геннадий Сергеевич стал дневным шофером, Аннетт оставила работу в ресторане и определилась продавщицей в магазин. Гуляя по улицам Парижа, где воздух, плиты под ногами дышат прошлым, располагают к размышлениям и Безладный, оттаявши и придя в себя, стал мало-помалу припоминать и пересказывать свое прошлое жене. Все, что он помнил о семье, о себе и о своей родине, его России. Много говорил он ей о своем увлечении толстовством, о Толстом, как о писателе и мудреце.

Для католического мышления Аннетт Толстой преставился святым, великим учителем духовным и ей захотелось познакомиться с его творением. Событием не только для Аннетт, но и

для всей семьи было появление в доме „Анны Карениной“ в иллюстрированном издании. Впечатление от книги было исключительным. Блестящее аристократическое общество Петербурга (аристократы, до наших дней весьма импонируют французам всех слоев) интересовало их тем сильней, что их обожаемый Геннадий, они считали, принадлежал к нему. Имя Tolstoi, с ударением на i, произносилось с благоговением. Неудивительно, что к именинам Геннадия Сергеевича Аннетт и братья с особым рвением искали в магазинах портрет писателя. С трудом нашли они на „Блошином рынке“ большой портрет. В роскошном обрамлении он красовался на стене в комнате молодоженов и все глядели на него, как на икону.

Доходившие до наивности старания Аннетт образоваться, ее страстное желание дотянуться хотя бы отчасти до казавшейся ей исключительно высокой его интеллигентности, умиляли Безладного безмерно, и он не упускал случая, чтобы не поделиться с женой накопленными знаниями, накопленными им до эмигрантского пленения, в России. За время пребывания во Франции, кроме газет направления ему сродни, да и то далеко не каждый день, он ни одной дельной книги не удосужился прочесть. Всерьез практикуемое менторство обязывает, однако. И с грустью вскоре Безладный убедился, что кладезь его мудрости иссяк. Оставшиеся в памяти Безладного мысли Толстого по ряду вопросов этических и социальных позволяли, говоря о прошлом, дать слушателю, да и самому себе, представление, приближавшееся к какому-то подобию цельного мировоззрения. Но и для неискушенной в философии Аннетт стала очевидной слабость профессора в отношении толкования преимущественно ее интересовавших вопросов современности — политических и социальных.

Аннетт, как и ее семья, принадлежали к классу трудящихся с психологией на полдороге от пролетария к мелкому буржуа. Громы русской революции, следовавшие за мировой войной, в большей или меньшей степени потрясли повсюду им враждебный социальный строй, разбудили социальное сознание широких общественных слоев и пробудили живой интерес к происходившему в России.

А Безладный с приходом к власти большевиков ушел тотчас же из России с „Верую“, как мы видели, из трех слов: „Предатели, погибла Россия“. Этому „Верую“ он все годы оставался непоколебимо верен. Все, что имело на себе печать новой России, будь то газета, книга, фильм, факт — считалось им идущим от лукавого и кощунством почиталось всякая прикосновенность к ним.

Не мудрствуя, в душевной простоте Аннетт ждала от высокообразованного мужа разъяснений относительно распространяв-

шихся по радио и прессой, а больше всего из уст в уста, так волновавших, особенно французские низы, вестей о событиях в России. События эти продолжали служить повсюду предметом разговоров, сочувствующих или враждебных, но вызывавших у всех живейший интерес.

Безладному стоило усилий спуститься из своей мансардной turris eburnea, чтобы понять причины интереса к происходящему в России у Аннетт и ее родни, да и не только, как он вскоре убедился, у людей их круга. В этом прозрении ему не мало помогла именно Аннетт. В магазине, где она работала, были девушки и молодые люди, прикосновенные к политике и просвещавшие товарищей относительно, если не фактов, то девизов, провозглашенных революцией. Трудящиеся понимали хорошо, что лишь страх работодателей перед угрозой распространения революционных лозунгов во Франции делал хозяев более покладистыми при переговорах относительно заработной платы.

Замужем за русским, хоть и за „принцем", как дразнили окружавшие ее товарки, Аннетт была в магазине на виду. От нее ждали новостей и пояснений. Аннетт за всем этим обращалась к мужу. Но, увы, сведения, имевшиеся по этому вопросу у Безладного, относились к началу 18-го года. О дальнейшем он знал единственно, что жизнь в России становилась невыносимой с каждым днем и что со дня на день нужно ждать падения большевистской власти.

Впервые за все время пребывания во Франции Безладный попал в семейную среду, симпатизировавшую, а главное интересовавшуюся революционными событиями в России. Скрепя сердце, силою вещей он вынужден был кой-когда прочесть статью в газете иного направления, где наряду с осуждением революционных методов правления, с неоспоримой очевидностью выявлялась преступная бессмысленность политики царизма и неизбежность революционных потрясений. Смешно, что подобные банальности могли являться откровением для русского интеллигента.

Но нужно знать, с какой последовательностью за неимением крыльев, чтобы спрятать голову, затыкали эмигранты уши и закрывали крепко-накрепко глаза по отношению ко всему, что исходило или касалось, так или иначе, их родины, теперь страны Советов. Табу это приняло характер непреодолимого условного рефлекса, намного надежнее воска у Одиссевых спутников в ушах, чтобы те не соблазнились завлекательным пением сирен.

Постепенно, незаметно для себя изживал Безладный влияние этого рефлекса. Без душевной паники и не впадая в раж, он мог выслушивать вести из России, и даже что-то похожее на гордость и удовлетворение невольно пробуждались в нем, когда

в сообщении речь шла об успехе русских в науке, технике или искусстве. Мнения своего о непригодности и обреченности чуждого ему советского режима он, естественно, не изменил и при случае убеждал в этом усиленно Аннетт. Избавившись все же от эмигрантского „белого“ комплекса, что и взглянуть в сторону Советской России не велит, он признал нынешнее русское правительство, как бывший дипломат, «de facto», и это позволило ему, освободившись от душевных пут, уйти от эмигрантской отчужденности и мысленно хотя бы причаститься к чаяниям своего народа.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Появление в Париже первого советского фильма под многообещавшим, как и неожиданным, названием „Броненосец Потемкин“ было не сенсацией, а скорее шоком для французов всех слоев, как, впрочем, и для других народов, где только фильм этот ни демонстрировался. Зрители восхищались его непревзойденными техническими качествами, и еще в большей степени потрясены были его неповторимым содержанием. Фильм этот в Париже демонстрировался не впервые, но Безладного он нисколько не интересовал.

Аннетт, наслышавшись о фильме от подруг, с трудом уговорила мужа пойти его посмотреть. Геннадий Сергеевич хорошо помнил растерянность и возмущение своих родителей и близких при вести о бунте на „Потемкине“. Отголосок этого переживания не изгладился из памяти, не покинул его и по сей день. С неохотой Безладный отправился с Аннетт.

Зал был необычно полон, до отказа.

Появился, качавшийся будто не на экране, а на расстилавшемся, волнующемся, вдаль бесконечно уходившем море, броненосец, не бутафорский, а живой „Потемкин“. Как муравьи забегали по палубе подлинные русские матросы с лентами на безкозырьках с надписью „Потемкин“. Перед Безладным и судорожно сжимавшей его руку, совершенно потерявшейся Аннетт, как и перед другими зрителями с жестокой последовательностью развертывалось действие настоящей, потрясающей военной драмы. Неподготовленные, в большинстве явившиеся, чтобы развлечься, зрители оказались неожиданно лицом к лицу со сценой беспримерного (для незнакомых со нравами во флоте) надругательства над подневольными, беззащитными людьми, перед подлинной трагедией человека.

Вид накрытых брезентом, осужденных на расстрел матро-

сов, посмевших заявить протест против негодной пищи, и их товарищей в роли палачей с ружьями на перевес, ожидающих приказа, парализовал весь зал. Со сжатыми до боли челюстями, прижав к себе дрожавшую, как лист, Аннетт, Безладный, забыв о времени и месте, всецело слился с происходившим на экране.

Теперь в восстании на корабле впервые он увидел не бунт распропагандированных матросов, а вызов, брошенный народом своим жестоким угнетателям, вызов самой пособнице их — смерти. И смерть — в лице правителей его России — расправилась с народом, как это свойственно ее натуре. Шеренга за шеренгой русские солдаты, ее невольные служители, спускаясь по ступенькам лестницы порта, методично расстреливали, как воробьев, ни в чем неповинных прогуливавшихся женщин и детей. Осиротелая, детская коляска, растерянно перебиравшая ступеньки, без цели скатываясь вниз, без слов вопила о слепой и беспощадной мстительности потерявших голову правителей.

Молча, Безладный и его жена шли по пустынным улицам Парижа, ошеломленные, не изжитым еще от виденного, впечатлением. Впечатление было настолько потрясающим, что Безладному не пришло на ум и разбираться в том, что в этом фильме правдиво представляет происходившее на корабле, а что является надуманным нарочито эпизодом.

У подъезда дома Безладный, прижав к себе Аннетт, шепнул ей: „Поднимись, chérie, а я похожу еще немного“. Не скоро вернулся Геннадий Сергеевич к жене.

В эту ночь он свел давно уже подготовлявшиеся счеты со своим прошлым. С особой остротой представилось ему его духовное убожество, его обидная отсталость. Все годы эмиграции он жил в уверенности, что прошлое и настоящее является для него открытой книгой. Все уж он видел и все знал. Просвещение Безладного закончилось усвоением идей конца девятнадцатого века — идеализма, приправленного модернизированной религиозностью в уверенности, что идеи эти предопределяют судьбы не только человека, но и человечества — раз и навсегда. Такая философия легко уводит взыскующего истины интеллигента от сложной и многообразной юдоли земной. Но юдоль эта следует за человеком по пятам и не в мансарде от нее укрыться.

Откинувшись назад, с закрытыми глазами, как в трансе, руками судорожно обхвативши руль, Безладный снова переживает эти решающие для всей последующей его жизни долгие часы, минуту за минутой. Старческая память с фотографической точностью воспроизводит все, что он пережил и передумал в эту ночь.

„Прошлое — святые мощи эмигранта“, — размышлял Безладный, шагая по безлюдным улицам Парижа, не различая ничего перед собой. — „Страницу его я видел сегодня на экране. А „Не

могу молчать“ моего учителя Толстого“, — вдруг вспомнил он. — „А радость, испытанная моей семьей, моей родней и окружением все больше сановным и чиновным миром — при вести о перевороте?!..“.

Нет, прошлым жить нельзя. Это психология крота, не различающего ни дня, ни ночи.

Но день и настоящее — молнией проносятся в его мозгу... На родине идет астрономическая ломка для будущих, для меня неясных, перспектив. От ломки этой летят, увы, не только щепы, летят и клочья человеческих безвинных тел...

Безладный напрасно силится противопоставить туманным, еще новым мыслям старые, привычные, давно усвоенные аргументы. Методично, строго, не считаясь с его волей, мозг сучит неумолимо новую логическую нить.

Но отвергая методы режима, его непонятные мне цели, я не могу отвергнуть все же мой народ и перестать быть русским. Ведь вечная Россия находится не там, куда случайно забросила меня судьба и мне подобных, подсказывает убедительно Безладному внутренний неумолимый голос. Нельзя жить вечно одним лишь отрицанием и беспокойной фрондой. Тупеешь от такого нигилизма и отвыкаешь мыслить.

„Homo Sapiens“, — с горечью твердит Безладный. — „Двуногое, без перьев“, как Аристотель — куда вернее — определяет человека. Да и „Homo Sapiens“ не означает вовсе мудрый, а только мыслящий. Способность мыслить определяет зоологически здесь особь. Претендовать на мудрость может человек, лишь мыслящий согласно требованиям прогресса, не уклоняющийся от правильного жизненного пути. Необходимо, значит, знание этого пути. А знание не в филиппиках с коллегами за аперитивом и не в рассматривании потолка мансарды, не вынимая папиросы изо рта.

Чтобы не погибнуть окончательно, необходимо сейчас же, — решил Безладный, — зажить как прежде, до эмиграции жизнью русского интеллигента, не забывая ни на минуту ни родины своей, ни своего народа. Нужно читать, учиться, думать... Ведь дело теперь не только лишь во мне... И, как тогда, сердце Безладного захлестывает теплая волна.

„На мне лежит еще ответственность за тянущуюся к свету мою Аннетт; ответственность, возможно, за семью“.

ГЛАВА ПЯТАЯ

К жене Безладный вернулся просветленный, поклявшись окончательно порвать все путы прошлого и без промедления начать по новому осмысленную жизнь.

Книга вскоре стала для Безладного вторым интимным другом. Книга вывела Безладного из потемок к свету. Какие горизонты открылись ему! Он осознал, он понял, что человечество, само того не сознавая, уже вступило в своем развитии на совершенно новый путь. Старый мир, казавшийся по своим достижениям непревзойденно мощным, — он видел, — пятится назад, уходит, как блоковский голодный пес, поджавши хвост и ему на смену приближается неотвратимо атомный век. Открытия Эйнштейна, Рутефорда, Жолио Кюри, Курчатова в России, были древом познания энергии атомной, сродни вполне библейскому древу „познания добра и зла“, плоды которого также были чреваты опасным содержимым. Напрасно американский совестливый физик Миликан, подобно Богу библии, предостерегал ученых от изучения этой силы, сам отказавшись продолжать свою работу в этом направлении.

Идею созвучную с жизненным прогрессом, однако, ни уничтожить, ни замолчать нельзя, хотя бы и обхождение с ней было не без риска.

К тому же тем привлекательней показалась новая энергия правителям так называемых, великих христианских стран, что ее неслыханная разрушительная сила, легче достижимая, чем присущая ей также созидательная мощь, давала обладателю этой энергии неоспоримые преимущества в царящей на нашей жалкой маленькой планете вечной погоне за рынком, за рублем.

Читая о лихорадочной работе ученых в Германии, в Америке, с целью использования именно разрушительных возможностей этой страшной силы, Геннадий Сергеевич невольно задумывался над судьбой России на пороге новой эры. Что могла противопо-

ставить вражьим силам, зарившимся на нее испокон веков, почитавшим Россию живым трупом и ожидавшим лишь момента, чтобы расчленить ее!? Что могла им противопоставить неграмотная, отсталая царская Россия с народным гением под вековым, надежным спудом и несметными природными богатствами, нетронутыми глубоко в земле? Необходимо было вздернуть Россию на дыбы, заставить ее взмахом перескочить столетие, чтобы сравняться с веком. И это сделали большевики, должен был признать Безладный. Книги, говорили Римляне, имеют каждая свою судьбу, свою судьбу имеют также и народы. России, чтобы идти за веком, нужны, история тому свидетель, не тишайшие цари и не миротворцы, а Иваны Грозные и Петры такие же. Движимый лишь такой волей русский народ сможет выполнить миссию, возложенную на него историей. Об этой миссии говорили не только славянофилы. Безладный никогда не мог забыть фразы, вычитанной им однажды у французского историка Tocqueville:

„В мире есть два великих народа, — писал Tocqueville в 1835 году, в период Аракчеевской России: — Русские и Англосаксы и Провидение решило, что однажды у каждого в руках будет половина мира".

— Такова уже русская судьба, — с горечью сказал себе Безладный: — дорого обходится русскому народу такая миссия.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Появление в Германии фашизма вызвало среди русской эмиграции во Франции интерес, граничивший с энтузиазмом. При встречах с соотечественниками Безладный наслышался об их надеждах в связи с этим движением, как и о Гитлере, ставшем их кумиром. Сам Безладный находился в эту пору в состоянии настоящей психической прострации: ничто его не интересовало, ничему он не верил и на события во всем мире давно махнул рукой. Вернувшая его к жизни новая среда, Аннетт, набиравшаяся „завирательных" идей у своего окружения в магазине и забрасывавшая его вопросами, заставили Безладного поближе присмотреться к Гитлеру. Он внимательно прочел „Mein Kampf", не французское издание, исправленное чьей-то услужливой рукой, а в оригинале.

За казавшимися новыми и для эмигранта привлекательными многообещавшими идеями он увидел хорошо ему известную, особенно по своей дипломатической работе, обычную немецкую мегаломанию и неизменный, хотя и закамуфлированный призыв к тому же стремлению на восток.

Незадолго до первой мировой войны, в начале своей дипломатической карьеры, Безладный присутствовал на докладе Капитана Генерального Штаба Н. Г. Беляева в Военно-Историческом Обществе в Петербурге на тему о систематической и планомерной немецкой колонизации России. Демонстрированные диаграммы не оставляли сомнения в том, что колонизация эта имела главной целью заселение важных в стратегическом отношении пограничных пунктов. Докладчик обращал особое внимание собравшихся на то обстоятельство, что, заселив таким образом юг и запад, впервые немецкие колонии стали появляться на севере России. Несомненно в связи с нараставшим стратегическим значением этого района в предвидении близкого конфликта.

Безладный науки этой не забыл и исчерпывающе разъяснил Аннетт, интересовавшейся лозунгами Гитлера, что поход против коммунизма это — старая, хорошо знакомая всем песня, только лишь на новый лад.

Отрицание за Гитлером права на звание эмигрантского Мессии оттолкнуло от Безладного не мало соотечественников, с которыми он сталкивался по работе. Но это обстоятельство не нарушало ни в какой мере обретенного Безладным с таким трудом душевного покоя. Он вел теперь сознательную жизнь и чувствовал себя в интеллектуальном и душевном равновесии. Важнее всего было для него твердо обретенное сознание, что живет он не в некотором царстве, не в неизвестно каком веке, не неизвестно и безразлично — на земле иль на луне. Широкое и объективное знакомство с данными социальных и политических наук дало ему в руки точные, так сказать, координаты своего существования. Он полностью осознал, что живет он в век великих политических и социальных сдвигов.

Противоречия столетней давности укладов жизни, обостренные бессмысленной мировой войной и связанными с ней астрономическими потерями в людях и материальных благах, расшатали, подобно вулканическим подземным силам, вековые основы существования режимов — политических и социальных. Извержение, начавшееся в России, должно было вызвать отголоски всюду, где противоречия такие имелись налицо и тем интенсивнее и скорее, чем значительнее были эти противоречия и чем дольше они существовали.

Цепная реакция при социальных конфликтах на нашей маленькой планете так же законна и возможна, как и в урановом котле и также страшна по своим последствиям.

В атомный век социальные противоречия не лечатся заплатами, решил Безладный. Русскому народу предстоит великая будущность и изменения в России должны быть планетарны.

Безладный чувствовал себя как бы вновь родившимся на свет. Он перестал быть Nemo, от ворон отставший и к никаким павам не приставший эмигрант, без будущего и с темным настоящим. Снова у него была родина и великий свой народ.

Безладному приходилось встречать еще особую разновидность эмигрантов, так называемых космополитов, разделавшихся со своей родиной настолько основательно, что родина перестала для них вообще существовать, как если бы никогда ее и не было на свете; как если бы ее постигла участь Атлантиды, а они, соотечественники, были бы последними из когда-то существовавших и чудом уцелевших русских могикан, ныне с мировоззрением космополитов! Такой космополитизм, полагал Безладный, будет мыслим лишь в момент, когда парацельзовские гомун-

кулусы заселят землю, отцом и матерью которых будет все тот же перегной с примесью других дурнопахнущих ингредиентов. Многообразие национальностей, с присущими каждой из них характерными особенностями психики и обличья, так же разумно и естественно, как и разнообразие морфологии и окраски деревьев и цветов.

Русская беленькая, скромная березка во Франции или в Китае — все же березка, а не кипарис и не жень-шень. Было бы в природе все во всех смыслах на одно лицо, скучно было бы жить на свете, заключал свои размышления Безладный.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Страницу за страницей переворачивает невидимая рука; волнующей, беспрерывной лентой текут воспоминания. И с интенсивностью навязчивой идеи восстанавливает услужливая память все перипетии вечера в Париже, накануне отъезда на злополучные каникулы. Воспоминание о жене неизменно приводит Безладного к этому моменту и причиняет боль. Безладному не хватает воздуха в кабине. Он стремительно покидает автомобиль. Свежий воздух не по-летнему прохладной ночи успокаивает разгоряченную до боли, до удушья кровь. Вокруг безлюдно и темно. Свет фонарей за укрытием у подъезда ресторана еще больше сгущает темноту. Безладный подымает голову и оглядывает небо. Оно наглухо затянуто хмурой, серой пеленой. Ни луны, ни звезд.

Но вот вдруг, через открывшееся в облаке окошко, одинокая звезда шлет на землю луч света с вышины. Мгновенье — и окно закрылось. Нет более звезды, лишь луч ее блуждает где-то по земле. Как эта неведомая звездочка, думает Безладный, промелькнула в моей жизни жена моя, Аннетт. Нет более Аннетт, но со мной остался свет, который излучали в этот вечер ее темные, с преданностью на меня глядевшие глаза, осталось и тепло, исходившее из ее жертвенной любовью исполненного сердца.

В этот вечер, прижавшись тесно, плечо к плечу, шли они по безлюдной улице вдоль Сены. Все вокруг, утомленное июльским зноем, пребывало в полусне. Не перешептывались листочки на вязах и платанах, усаженных вдоль Сены; река застыла в неподвижности, и в зеркало ее гляделись звезды.

Задушевным, тихим голосом рассказывал жене Безладный, как он прогуливался часто, также вечерами, вдоль Невы: от Адмиралтейства до Летнего Сада. Ночи не существовало, дню не было конца, и светлой, радостной и долгой представлялась жизнь. Как пчелы в улье, роились мысли, одна другой величе-

ственней и смелей. Проекты, планы из прочитанного и продуманного тут же становились фактом. Многоцветной радугой искрилось будущее. И сердце напоминало робко о себе томлением по подруге жизни.

В этот вечер, как давно тогда, Безладный, размечтавшись, поверял жене надуманные им на будущее планы. Речь шла теперь не о судьбах человечества, а лишь об их скромном, маленьком собственном гнезде. По возвращении из отпуска, мечтал Безладный, он выкроит несколько свободных часов, чтобы посвятить их изучению специальности — не посланника и не министра, tempora mutantur, а монтера, и иметь таким образом возможность разделаться с работой на такси. К тому же к технике он имел большую склонность. Частые поломки автомобиля, неизбежные при условиях передвижения в Париже и изношенности подержанных машин, бич шоферов-частников, тяжело ложившихся на их бюджет, Безладный в большинстве случаев чинил собственноручно. Езда в такси треплет нервы, сильно утомляет, располагает к заболеваниям и дает лишь ограниченные средства к существованию. А у Безладного в перспективе большие планы и связанные с ними немалые расходы: наем квартиры, покупка мебели, семья (Аннетт мечтала о маленьком Геннадии, а Безладный о маленькой Аннетт), и свободные часы, чтобы читать, учиться и использовать культурные возможности Парижа. До рассвета, забыв о времени, погруженные в мечты, прогуливались влюбленные вдоль Сены и в тот же день покинули Париж.

Из отпуска Безладный вернулся спустя пять дней осиротелый. Снова он на перепутьи. Вокруг снова пустота. Но прежде пустота была без мыслей, день да ночь и сутки прочь, а теперь ни днем ни ночью от мыслей не было покоя.

Родители Аннетт пытались всячески внушить ему, что, потеряв жену, он все же сохранил семью, что он не одинок; старались его утешить и отвлечь. Но Безладный нуждался не в утешениях. Новую путевку в жизнь он должен был найти. До женитьбы Геннадий Сергеевич не мог себе представить, что к жизни, к жизненным задачам возможен был иной подход, чем с высоты здорового, вернее животного, эгоизма. „Я и мое благополучие“ были единственным мерилом всех ценностей в известном ему, всегда враждебном свете. В молодости, увлекаясь учением Толстого, он также носился со своею личностью, углубляя в ней духовные начала. Добродетели, к которым он тогда стремился, были по существу „не от мира сего“ и тем самым не для сего мира. Ничего нет удивительного в том, что в эмиграции такие добродетели не могли служить ни руководством, ни поддержкой в трудные минуты и вскоре были преданы забвению.

Женитьба пробудила в сознании Безладного новые начала: чувство долга, ответственность за благополучие друга, заботу и всяческое попечение о жене, желание создать семью. Начала эти свелись к ряду обязательств, осмысливших и обогативших его жизнь. И все это рушилось в одно мгновенье. Снова он свободный от этих обязательств эмигрант. Свобода эмигранта полна обычно всяких оговорок, но эта давила его как ярмо. Отрицательные категории существуют не только в математике!

Как жить дальше, чем жить и для чего — беспрестанно спрашивал себя Безладный и не находил ответа. Невыносимым представлялось ему новое для него, неиспытанное до этого момента чувство бесцельности существования, ничем не заполнимой пустоты, связанное с отсутствием заботы о любимом, близком человеке.

Мысль эта была особенно мучительной и не давала Безладному покоя. Работать он не мог. Пыткой было для него пребывание в квартире родителей жены, где все напоминало об утрате. Свыше сил было участие в намеренно несмолкавших разговорах окружения с целью отвлечь его от мрачных мыслей Страшнее всего представлялись все же ночи. „Только ночь тебе всю правду скажет, а дню не верь, обманывает день", писал забытый поэт Боровиковский (о нем напоминает Вересаев). Эту мысль можно было бы выразить иначе: „день тебе, может, и удастся обмануть, но ночь ты не обманешь". О правде, упоминаемой в этом двустишии, мог бы многое порассказать Безладный.

***

Чувство полноты жизни (французское bien être) зиждется на равновесии двух сил: поступательной и тормозящей. Днем обе силы проявляют максимум активности, ночью преобладает тормозящая — она и обеспечивает человеку передышку, забвение в виде сна. Малейший шок, особенно психический, снижает ночью тормозящий фактор и усугубляет тем самым впечатление от переживаний дня. Беспомощен человек перед виденьями ночи. Их несглаженная, неприкрашенная правда переходит подчас меру того, что и стойкий человек в состоянии перенести.

Сознание непоправимости потери, очевидность крушения мечтаний о новой жизни представлялись ночами Безладному с такой остротой, что он, покинув дом, бродил по улицам до света или же проводил ночи в бистро, куда имели обыкновение заглядывать коллеги по профессии, шоферы. Все они знали о беде Безладного и по русскому обыкновению при встрече, взглянув сочувственно в глаза, не проронив ни слова, сжимали ему только крепко руку. За общим столиком русские, глядя в свой стакан, просиживали молча долгие часы, каждый как бы во власти

мыслей своего соседа. Моментами, встретившись с соседом взглядом, кой-кто смахнет набежавшую слезу и снова длится также дальше бессловесная беседа.

Время за полночь. Тишина в бистро. Хозяин дремлет за прилавком. Станет кому либо из русских невтерпеж, он затянет тихо песню. Мысль о том, что и сосед несомненно горе видал (а кто из эмигрантов не имел повода всплакнуть при случае о своей судьбине), притупляло у Безладного собственную скорбь и давало мятущейся его душе минутное успокоение. Недели проходили в смятении, в ночных блужданиях, в горестном раздумьи.

Из дома родителей жены со скромным личным скарбом Безладный унес книги и портрет Толстого. Убогость обстановки и обособленность от мира нового жилья были ему привычны, не впервой. Одиночество привлекало его с малых лет, а в эмиграции никогда не тяготило. Но в этой комнатушке он чувствовал себя все же по другому; он не был так уж одинок. У изголовья кротким, заботливым по матерински взором, не отрываясь, как живая, глядела на него Аннетт ,а со стены суровые из-под нахмуренных бровей, до жуткости всевидящие глаза Толстого сосредоточенно испытующе провожали его взглядом. Кроткая, добрая душа жены его Аннетт и беспокойный, правды-справедливости взыскующий дух его учителя, Толстого, разделяли с ним, он чувствовал, его жилье, жили с ним бок о бок. И пеклись о нем.

Постепенно и внешне упорядочилась жизнь Безладного и вошла отчасти в близкую к привычной колею. Материальные заботы заставили его к тому же вскоре сесть за руль — теперь опять ночным шофером. Ночи все еще ему внушали страх и он предпочитал их коротать на людях. Ночи долго оставались для Безладного кошмаром, безжалостным экраном, услужливо демонстрировавшим перед его духовным взором с мучительнейшей жизненностью и остротой факты прошлого, стоило лишь ему закрыть глаза.

***

Безладный вспоминает свои переживания во время мучительных и долгих лет войны. Горючее исчезло; люди передвигались на своих двоих, и автомобиль ржавел в гараже. Долго он крепился, пользуясь поддержкой родителей жены, и не шел работать к немцам. Товарищи его, кто помоложе, чтобы избежать отправки на принудительные работы в Германию, пристраивались преимущественно в немецкие кантины в качестве официантов, поваров, расчитывая при этом подкормиться. Куска хлеба им не удавалось унести. Безладный устроился шофером. О знании им немецкого языка он не сообщал. Поражения на

русском фронте и похвальба немецкая о своей непобедимости причиняли Безладному много горя. Но он верил, непоколебимо верил в победу русского народа. После Сталинграда страх, а с ним и пораженчество, стали проявляться в немецких разговорах, и Безладному стало ясно, что Сталинград неминуемо предопределил исход войны.

Победа русского народа, стоившая неисчислимых жертв, преисполнила гордостью сердце Безладного и вместе с тем болью за свою страну. С живейшим интересом следил он за восстановлением России. Интерес этот все рос и с ним удовлетворение по мере того, как, залечив поистине сверхчеловеческими усилиями последствия войны, народ своими достижениями все больше и больше выдвигал свою страну на аванпосты культуры и прогресса

***

Шли годы, болел и старился Безладный. День ото дня ночь проходила за рулем в раздумье о родине, о происшествиях на земле и с мыслями о незабвенном прошлом. Понадобились годы — много лет, — пока все подтачивающее и нивелирующее время убрало бренное с любимого лица жены и оставило в памяти нетленным светом теплоту ее, ее жертвенную душу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Потрясения в жизни неизбежны — вспоминает Безладный, как он раздумывал ночами, сидя за рулем, — неизбежны, особенно в наш переходной век. Многое случайно и все неустойчиво в жизни человека. Неизменно и постоянно лишь стремление организовать разумно свою жизнь. Задачей человека и является не терять избранного им пути, пути к достойной человека цели. Маяк, однако, должен быть для человека впереди точно также, как Бог, воплощение мыслимого нами совершенства, пребывает всегда, по выражению Райнера Мария Рильке, в будущем, а никак не в прошлом. Страдая, падая и подымаясь, тянутся к будущему лучшие из нас.

— Жить без любви нельзя, — снова и снова возвращался Безладный к своей теперь оформившейся мысли. Такая жизнь не имеет смысла. И я обрел эту любовь, она со мной. Я люблю родину, люблю страстно свой народ и люблю книги. У стены на полу под портретом Льва Толстого высятся они заметной горкой. Среди книг много у меня друзей. В человеке больше всего ценю я мысль, а мысль и заключена в хороших книгах. И я оглядываю книги с признательной улыбкой, как смотрят на близких, на друзей.

Однако, ныне я не мизантроп. Напротив. Мысль о том, что не о ком мне больше печься, что жить я должен только для себя, хотя бы в самой совершенной атмосфере, в условиях полного довольства, невыносима для меня. Чувство это было мне прежде вовсе не знакомо, но однажды испытав, нельзя его забыть.

Как жить, чем жить и для чего? Я стар и немощен, и родине вовсе я не нужен. Эмигрантская судьба вынуждает меня довольствоваться платонической любовью „к дальнему“, своему народу. Но и вокруг меня, вблизи, среди моих же соотечественников, в пригороде где я живу, не мало страждущих, каким был я, таких же потерявшихся, завязших в эмигрантской тине. Я должен проявить инициативу. Мой долг сблизиться со взыскующими прав-

ду земляками. Совместными усилиями мы сможем осмыслить оставшиеся нам дни жизни на чужбине. Ведь не я один, многие из нас, кто сегодня, а кто завтра окажутся за бортом, перейдут в ряды заштатных пролетариев интеллигентов.

***

Подвыпивший иностранец, с шумом забравшийся в автомобиль, грубо оборвал живую ленту волнующих воспоминаний. Не спрашивая о национальности шофера, он по привычке предположил в нем русского и на ломаном французском языке стал объясняться в любви к русскому народу, ругать французов за нежелание воевать и поносить врагов человечества — большевиков. Поездка была дальняя, за город; пассажир с трудом подыскивал слова, язык ему не повиновался и Безладный едва догадывался о чем шла речь.

Подобное словоизлияние повторялось неизменно почти с каждым до отвала нагрузившимся клиентом-иностранцем. Реплик при этом никаких не полагалось: пассажиру доставляло удовольствие попросту ворочать языком. Расплачиваясь и разглядев Безладного, пассажир проникся особой симпатией к нему и во что бы то ни стало желал его поцеловать.

Поцелуем — не по адресу — пьяного клиента закончилась шоферская деятельность Безладного.

Заря занималась, когда Безладный не спеша катил по туманным, еще сонным улицам Парижа, направляясь к своему жилью; заря нового, теперь уже последнего периода эмигрантского существования. У счетчика развевался по обычаю лоскут траурной материи, показатель здесь не машины, а шофера, выбывшего и не временно, а навсегда из строя.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Если в бурях нет покоя, то и в покое, оказывается, нет настоящей жизни. Это правильно настолько, что даже тяжело больным, прежде обрекавшимся для сохранения жизни на абсолютную бездеятельность, ныне для той же цели вменяется в обязанность заняться неутомительным, по возможности, трудом.

Жизнь это движение, движение — жизнь. Безладному пришлось в этом быстро убедиться на собственном примере. Очутившийся за бортом деятельной жизни поначалу инстинктивно цепляется еще за мысль, что при новом положении он избавлен по меньшей мере от ряда неизбежных, связанных с работой потрясений. К тому же в отношении вероятности и частоты всяческих аварий езда в Париже на такси занимает несомненно привилегированное положение.

Но этого удовлетворения Безладному хватило не надолго: стоющей жизненной философии отрицательными лишь категориями не соорудишь никак. В жизни человека, в процессе его развития в связи с меняющимися условиями существования обращает на себя внимание ряд критических моментов. Каждый такой момент несет с собой новые возможности и налагает новые, все более ответственные обязательства. Нормально развивающийся организм позволяет более или менее безболезненное приспособление к подобным переменам. Таков момент начальной школьной эры, период полового созревания, период вступления в активную самостоятельную жизнь и, наконец, период прекращения активной деятельности, момент ухода „на покой".

Если все предыдущие моменты, периоды физического и интеллектуального цветения и расцвета характеризуются все увеличивающейся и усложняющейся жизненной нагрузкой, то последний страдает как раз вторгающимся почти без подготовки брутальным разрывом с действенным и хлопотливым своими радостями и треволнениями прошлым, и наступлением эпохи, вернее

состояния в известном смысле подобного нирване, но только на особый, европейский лад.

Нирвана, это прежде всего, отрешение от внешнего, нас окружающего мира и погружение в мир внутренний. В этом отношении новоявленный рантье пребывает, действительно, в состоянии нирваны, поскольку он от привычной, прежней жизни отрешен и всецело занят мыслями — их он обычно никому не поверяет, — что делать, куда приткнуться?

Особенно мучительным и по последствиям опасным является при этом замедление или даже остановка усвоенного за долгую жизнь психического бега. Организму приходится как бы переключаться на другую, резко отличную от прежней скорость, и плохо приспособляющимся конституциям грозит потеря психического, а с ним и физического равновесия.

Между прочим, ожидающее несомненно человечество в не столь далеком будущем, благодаря техническим усовершенствованиям, максимальное сокращение часов труда при достаточном обеспечении его насущных нужд, требует основательного перевоспитания и подготовки, чтобы не сделаться причиной вырождения не только физических, но и моральных качеств человека.

До выхода из строя Безладный собственно не чувствовал своих преклонных лет. Кой-какие, подчас и серьезные нелады со здоровьем, не снижали его жизненной энергии, не создавали состояния: „ничего я не хочу, ничего я не желаю и белый свет мне не мил“. Теперь и нездоровье не так уж докучало, а все же старость или что иное — Безладный не мог отдать себе отчета в том — надвигалась с удивительной настойчивостью и быстротой. С раннего утра после безсонной часто ночи, вопреки стараниям отвлечься и не вступать на скользкий путь, все тот же мучительный вопрос являлся неизменно сам собой: „Что делать? Чем заняться? Как убить предстоящий такой длинный, блеклый день?„.

Сегодня, как вчера и завтра, как сегодня... Но вот, справишься, скомкаешь, заполнив кое-как часы, дождешься едва вечера, смеркаться станет, оглянешься назад и, как в насмешку, день прожитый кажется мгновением.

То и дело приходили Безладному на ум афоризмы древних в похоронной интонации гимназического латиниста, чаще всего „carpe diem“, „держи, не упускай ты дня“, с комментариями применительно к моменту. Во-первых, не к чему стараться — и без того день никчемный длится без конца, а во-вторых, попробуй, удержи; к вечеру оглянешься ,а дня, как не бывало. Мораль Безладного стала снижаться с каждым днем.

Памятуя о своем томлении связаться с очутившимися на перепутье эмигрантами, Безладный решил немедля оглядеться и понаблюдать, как справляются с состоянием душевной пустоты

соотечественники из заштатных интеллигентов. В деревенском, небольшом бистро — вековой надежной Мекке всех страждущих и угнетенных, куда кой-когда и прежде наведывался за успокоением Безладный, в первый же вечер состоялась памятная встреча. Там же и зародился „Клузарусин“.

⁂

У стойки, потягивая аперитив, Безладный внимательно и долго разглядывал группами, редко в одиночку, расположившихся клиентов, шумно развлекавшихся игрою в карты или домино. Внимание его привлекли три молчаливых, тесно жавшихся друг к другу силуэта в углу особняком, едва различимых за облаком табачного густого дыма.

Интуицией ловца Безладный тут же ощутил, что завеса эта скрывает цель его исканий, и с решительностью стал пробираться к их столу. Вблизи силуэты оказались тремя архирусского обличья земляками — двое из них смутно знакомые Безладному бывшие шоферы, за возрастом ныне не у дел. Один из них широкоплечий, с крупными чертами большого загорелого лица, седеющими коротко остриженными волосами и темными, густыми баками в полщеки, встретившись с Безладным взором, тотчас же опознал в нем бывшего коллегу и со словами: „Слава в вышних, Господу, а в нижних — шоферам присным, будущим и настоящим“ обнял Безладного и подвел к столу.

— Аминь, — отозвались в тон соседи.

— Вы — Геннадий Сергеевич Безладный; не забыл вас, хоть и встречались редко. Присаживайтесь и доложите. Как с черной магией у вас? Слухами полнится земля. Всем известно, что с чертями вы уже давно запанибрата и терпеть не можете людей.

— Что вы, что вы, — сконфузился Безладный. — Какая черная магия, о чем вы говорите?

— Ладно, с этим подождем, а сейчас начнем мы с представлений. Меня, потомственного моряка, ныне старейшего русского шофера за бортом, на весьма относительном „покое“, Василия Константиновича Дубинина, вы помните, надеюсь. Этот лысый, с яйцеобразной головой, беззубый, но в разсуждениях весьма зубастый — Алексей Кириллович Харонин, по прозванию „Третий Рим“. Шофер неважный, но глубокомысленный философ. С ним свяжетесь и чертей отправите „ко всем чертям“.

А дальний — Егорий Аверьянович Лампадин, опасный полиглот, рекомендую. Для черной магии необходимый человек. Знает десять языков и каждый на зубок. Сейчас на сносях по одиннадцатому. Имя держится в секрете. Как разрешится, так узнаем.

— Слово принадлежит Безладному, — закончил Дубинин свой цветистый монолог.

Обменявшись теплым рукопожатием с новыми знакомыми и выразив свою радость по поводу приятной встречи, Безладный стал пояснять чистосердечно обстоятельства, заставившие его искать общения с земляками.

— Ни черной, ни какой-либо иной окраски магией я никогда не интересовался и по совести сказать не знаю, что это такое. Да и вы, вероятно, не всерьез об этом говорите. Вот, в нелюдимости действительно не могу не повиниться. Но тому виною бессмысленная наша эмигрантская судьба: нормальным чувствам она никак не потакает. С этим и вы несомненно согласитесь. Да и что могли мне дать беседы с такими же потерявшимися и, в большинстве, как и сам, изверившимся во всем людьми? А воинствующих эмигрантов с их избитыми, неизменно повторяющимися и приевшимися всем задами, как и с беспочвенными, не сбывающимися прорицаниями близкого их торжества, я наслушался достаточно и хватит.

О себе скажу: долго, очень долго жизнь моя походила на осеннее ненастье сплошь без просвета, без надежд. Только в снах подчас, когда крохи прошлого извлекались из забвения, представлялся еще человеком сам себе. По пробуждении и так не оставлявшая душевная оскомина становилась еще горчей.

Так и прошла бы жизнь в непроглядном и неосмысленном тумане. Нежданно и негаданно встретился мне на пути ангел во плоти. Я обрел было счастье на чужбине. Обрел единственный, действительно неоцененный в жизни дар, обрел друга, друга и жену.

Друг этот научил меня любить, вернул к достойной человека жизни. Своею жертвенностью напомнил мне и о моей ответственности перед самим собою, перед моею совестью и собственным сознанием, а также об ответственности перед родиной и перед людьми.

Вы знаете, недолго продолжалось это счастье... И все же не сломил меня злой рок. Вся моя последующая жизнь была согрета памятью о моей жене, и путь мой предопределен ее заветом. Так и жил я среди реликвий, среди книг, довольствуясь общением с коллегами лишь по работе.

Но вот пришел и мой черед отправиться в тираж. Поверите, несколько месяцев на положении свободного рантье состарили меня сильнее, чем прежде годы. Вот он — Рубикон заброшенного на чужбину эмигранта!

По-настоящему ведь все мы существа без инфраструктуры, как выражаются теперь. Все мы подобны здесь деревьям без корней.

Лишь необходимость прокормиться, работа, пусть часто не по нутру и не по силам, настоятельная необходимость каждодневного труда создает у эмигранта видимость упорядоченной жизни.

А без работы мы и вовсе на мели, как рыбы, выброшенные волною из воды. Двигаешься, и по совести не знаешь, живой ли ты еще или уже покойник, забытый и которого некому еще похоронить.

И потянуло меня к людям, к таким же выброшенным из привычной, трудовой орбиты землякам. Совместными усилиями, решил я, взаимной дружеской поддержкой мы сможем, мы должны осмыслить остаток наших дней. И почему бы нам не учинить содружества — на подобие клуба — для проживающих в нашем маленьком предместье заштатных земляков?

Ведь вот французы, на что уже неисправимые индивидуалисты, а клубами, братствами, союзами сплошь опутаны от рождения до самых похорон.

И почему бы этой нашей встрече не ознаменоваться зачатием, а то и вовсе появлением на свет жизненно необходимого такого клуба? Задачей клуба должна быть попросту взаимопомощь: и такая, и сякая; всякая, что окажется нам лишь по плечу. И особенно уж просветительная помощь. Сообща, к примеру, мы раскопаем правду о положении на родине и о чем действительно помышляет наш народ. С такой программой и мы окажемся не полностью за бортом, не так ли?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Не проронив ни слова, сосредоточенно глядя в свой стакан, выслушали приятели исповедь Безладного. После нескольких минут молчания, лишь им понятным, едва заметным движением глаз согласно доверили они Дубинину за всю компанию держать ответ.

— Спасибо, Геннадий Сергеевич, — начал Дубинин, — за идущее от сердца ваше слово. Что и говорить... Все мы, покинувшие родину, прошли падения в числе неисчислимом и любого сорта, а взлеты, хотя бы и куриные, — их может всякий по пальцам одной лишь кисти перечесть. Да и где оказывались иные после взлета... Вот вас мы знаем. Вы и в незадачах и в задачах всегда принципиальный, чистый человек. А кто из нас способен похожее о себе сказать?

Но предоставим мертвым о прошлом плакать, а мы еще живые и, как и вы, хоть напоследок, желаем по-новому зажить. По-новому — всем нам это ясно, значит, — хотя б не по звериному, не в одиночку. И смею вас заверить, что ваши мысли давно уже у всех у нас не только на уме.

Вы вот, как долго вы теперь за бортом? — три месяца, а огляделись и жизнь вам кажется невмочь. А мы-то, тройка многогрешная, почитай два года без дороги... Беспокойных и мучительных два года... И стали мы думать да рядить, как юдоли нашей пособить. Из пальца правды ведь не высосешь. И решили мы к своим же людям притулиться и соборно путей к спасению искать. Комитетов спасения в эмиграции не мало. Хоть пруд пруди. Поди тут разберись. Потолкались мы по-честному. Не жалея сил, побывали всюду. Оказалось, единственно, что эти комитеты единит, это — вера в Американского Мессию. Во всем же прочем они друг другу — заклятые враги.

Что ни заседание, то у всех в программе лишь один вопрос:

скоро ли огонь Америки начисто большевиков сметет и путь нам в Россию обновленную откроет? По данным патриотической печати и, особенно, по свидетельству туристов, самолично рыскавших в России, неизменно выходило вот-вот, с минуты на минуту... И всякий раз отбой... Малость обсчитались. И это тактика. Тут еще кое-как. А вот, в стратегии, — тут, кто куда: все комитеты непримиримо между собой враждуют. Не нам одним, еще койкому сказки эти про белого бычка в конец нервы измотали.

Встретили мы как-то здесь же земляка. Худой, высокий, глаза на выкате, усы торчком, как у кота, и бородка клином. Завсегдатай на собраниях и говорит, как пишет. Мы давно его приметили, а не знали, что земляк и живет под боком. Оказался писатель, Никудышин Алексей Семеныч. Пишет — в точности неразберешь: то ли, по его словам, для предков, то ли для потомков. Пока, выходит, только для себя. Но литература это только его hobby. Настоящее его призвание — медицина. И вам, вероятно, эта фамилия знакома. Все мы тут и здравствуем его лишь попечением.

Выпили по маленькой и разговорились.

***

— В комитете некоем каких-то бывших, каких ей-Богу не запомнил, — рассказывает Алексей Семеныч, — давеча я учинил огромнейший скандал. Бросьте, говорю им, болтовню про „дали“. А от лазутчиков и победных ваших сводок давно уж получается сплошной конфуз. Не важнее ли ознакомить несведующую молодежь с великими событиями, например, истории Российской?!

— Вот, говорю, проворонили вы непростительно столетие освобождения крестьян. Редкий случай царей наших великих помянуть добром, „за их труды, за добрые деяния“. Организовали б, говорю, всеэмигрантское собрание и осветили бы для молодежи обстановку и значение великого такого дня. Возражений не было. Я и предложил поручить кому-либо историческую часть — не знаю, нашелся ли такой охотник, а на себя я взял бы состряпать сценку о нравах эпохи крепостного права. Поучительно, и для публики занятно вместе с тем. На том и порешили.

— Послушайте, — в один голос с полиглотом прервали мы писателя. — Приятель наш с яйцеобразной головой, Харонин, за милую душу любую вам историю распишет. Поручите только.

Обрадовался Алексей Семеныч.

— Согласитесь, — говорит, — очень вас прошу об этом. Сегодня же порадую я этим Комитет.

— А что это за сценки надумали вы сочинять, — спрашиваем мы у Никудышина.

— Литературной энциклопедией, и притом беззлобной, по вопросу о психологии помещичьей и о народном быте в эпоху крепостного права, — поясняет Никудышин, — являются бесспорно „Записки Охотника“ Тургенева. Неспроста приравнивали эту книгу по влиянию на современников и по значению вообще к „Хижине Дяди Тома“ Бичер Стоу. Перелистал я книжку, поискал и напоролся на Мельничиху с Ермолаем. Лучшего сюжета для моей сценки, решил я, не найти. Другой сюжет выискал я у Шмелева. Народ наш, известно, дуже щекотливый. Припомнят, что Тургенев на съезжей арестован был. И не поверят, и возмутятся. Так я к Тургеневу напарником Шмелева приторочил. С Шмелева взятки гладки. Никак не заподозришь в тяге к большевизму.

— У Тургенева, если не забыли, помещик-троглодит по прихоти своей жены, глупой и жестокой бабы, возмущенной намерением девушки-крестьянки с малых лет у барыни в роли камеристки, выйти замуж за полюбившегося ей на беду лакея, губит две жизни, почитая себя жертвой черной неблагодарности ими столь обласканных рабов. Девушке снимают волосы и отправляют в деревню на работу, а после продают красавицу Арину старику мельнику в новую неволю; лакея отдают в солдаты — по тому времени на четверть века, наказание не легче каторжных работ.

— У Шмелева помещик самодур играет девками, наряжая их по разному, как другие забавляются оловянными солдатами. Так и представлю им картинки прошлого, по которому они так часто и горестно вздыхают. И молодежи станет ясным, полагаю, значение такого дня.

Расчувствовались мы, вы поймете, свыше меры и долго еще обсуждали наше эмигрантское житье.

Жизнь приобрела вдруг интерес, и перспективы, скажем, озарились светом. Харонин засел тотчас же за трактат о крепостных порядках. К генеральной репетиции он в лучшем виде разделал историческую часть. Пришел на заседание, увидел и... с тем же и ушел. Не одобрили литературной темы руководители собрания, а до трактата об освобождении крестьян обсуждение так и не дошло.

— Не по погоде, — заявил Харонин: — соорудил я свой трактат... Неделю сплошь напрасно я над ним трудился. И обозлился я тут на весь свет. Думал злость свою на Никудышине сорвать. Никудышина я не нашел. Пристал ко мне в дороге делегат, человек слегка лишь мне знакомый.

— Вот, говорит, Харонин, вы — человек ученый, говорят — философ. Слышали ли вы, что бог, смекая, что большевики в воде не тонут и не горят в огне, посылает на Эсерию абсолютнейшим сюрпризом льды?

— Это, говорю, не слухи, а серьезный факт.

— Правда? Ну, видно, дошли до Господа наши молитвы. Льды это тебе не фунт изюму, вроде там серы иль огня... Теперь им крышка: льды выморозят их поголовно, как клопов. Заметили, тень наводят, стараются отвлечь никого не интересующим каким-то освобождением крестьян. А льды — это другое дело, это — наш кровный интерес.

На этом мы расстались.

— Как к слову, — предложил Харонин, — вот вам бы, Геннадий Сергеевич, в содружестве, так душевно привлекательно вами же воспетом, и быть у нас седьмым. Мы — нудные шесть дней недели, а вы бы вроде воскресенья, светлого праздничного дня. Согласны?

— Согласен ли? Да с этим я пришел. Из страха узреть действительность, какая она на самом деле мы рискуем и вовсе заморозить свои мозги.

— Насчет заморожения мозгов это вы напрасно, — прервал Безладного Дубинин. — Народ наш все же интересуется, прислушивается, особенно, конечно к слухам. А слухами-то ведь полнится земля.

— „Пу шанго“, — слегка заикаясь, заключил, подмигнув многозначительно Безладному, Лампадин.

— Это по китайски, — объяснил Дубинин. — Означает, не то „хуже не бывает“, не то „дураков и в церкви бьют“. Это по желанию. Как заходит речь об упованиях эмигрантов, полиглот наш выражается обычно по-китайски.

— Действительно, хуже не бывает, — отозвался горячо Безладный. — Давайте же, пока не поздно, поможем друг другу выбраться из эмигрантской тины, учредим наш клуб. Назовем его Клубом Заштатных Русских Интеллигентов, сокращенно „Клузарусин“.

— „Быть по сему“. 13 октября и будет днем рождения „Клуба“, — согласно решили эмигранты.

— Первое заседание на квартире у Дубинина. Время — завтра, 14 октября, к вечерним котлетам и борщу, — заключил Дубинин.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Не без труда отыскал Безладный пристанище Дубинина: свободно обтекаемый ветрами, одинокий домик, окруженный пустырем, на окраине предместья, на отлете. Два огромных подсолнуха по обеим сторонам невысокого крылечка, совершенно необычных для местного ландшафта, облитые ярким светом мудреного фонарика, подвешенного у подъезда, приветливо заверяли потерявшегося путника, что здесь настоящим русским духом пахнет и что он у цели. О том же наглядно свидетельствовала и оригинальная архитектура домика, не имевшая себе подобной в целом городке.

Обзавестись клочком земли, пусть где-либо „на куличках" с тем, чтобы, нередко собственным горбом — с горем не пополам, а даже на три четверти и больше — в свободные часы соорудить себе жилище, было сокровенной мечтой многих эмигрантов. Соблазн был особенно велик для шоферов, имевших возможность, работая в Париже, обосноваться за городской чертой. Поскребыши от трудовых доходов в связи с лишениями в течение многих, многих лет позволяли кой-каким счастливцам осуществить свою мечту. В числе их был также и Дубинин с Софьей Валерьяновной, женой, чьи хозяйственные ухищрения немало способствовали накоплению нужных капиталов.

В зарубежье так уж повелося: стоит эмигранту соорудить себе подобие жилища, обычно, конечно, где-либо во французской, не так уж страшной, правда, глухомани, тотчас же к пионеру присоединяются неизвестно откуда вынырнувшие отечественные новоселы. Год-другой — и в городке, на удивление французам, оказывается уже русская колония.

Кстати, не лишне здесь упомянуть — и это вопреки утверждениям знатоков âme slave, — что от подобного скопления никаких, заметных по меньшей мере, революций до наших дней не

приключалось. Живут в колонии по-свойски, не как французы: все двери на запоре, а по правилам русского гостеприимства. Единственно политики стараются при встречах не касаться. Это исходя, по-видимому, из положения, что у эмигрантов, у всех без исключения, один и тот же неприятель и программы, значит, не может быть иной. Заговорят же о политике случайно, то тут... иностранцу, к примеру, никак бы не поверить, что с таким остервенением, почти до драки, могут единомышленники спорить.

Дубинин был в предместье пионером и домик его „с комфортом" именовался в колонии Château. Прочие в большинстве походили больше на хибарки, часто без газа и воды.

Помедливши немного у калитки и оглядев с почтением подсолнухи и дом, Безладный направился к подъезду. Дверь открыл Дубинин и со словами: „Вот тебе, Соничка, Безладный", ввел его в столовую. Безладный очутился перед хозяйкой дома, высокой дамой, пристально глядевшей на него широко открытыми васильковыми глазами и протягивавшей ему две руки.

Склонившись было, чтобы приложиться к ручкам, Безладный замер вдруг на месте и, всматриваясь в показавшиеся ему теперь знакомыми черты лица с печатью, естественно, и возраста и переживаний, известно, не красящих людей, срывающимся голосом сказал:

— Мы где-то виделись. Эти глаза... Давно, давно, я знаю, где-то мы встречались. Кто же вы?

— Кто я? Вам изменила, я вижу, ваша память, а совесть тоже вам ничего не говорит?

— И голос, речь эту певучую, я уже слышал. Помилосердствуйте, скажите, кто вы?

— Кто я, желательно вам знать? Так знайте: я та, которую вы по дороге из катка в Юсуповском саду на Сергиевскую, где мы неподалеку друг от друга жили, подолгу и усиленно, не глядя на мороз, в Толстовство обращали. Я та, которую вы на катке своей „Маскотой" называли и в вечной верности почти клялись...

— Вы Соничка Офросимова, — прошептал Безладный и с увлажнившимися глазами прикладывался подолгу к рукам Софьи Валерьяновны.

— За давностью, из-за независящих от вашей воли, всем нам известных, обстоятельств, — сменила декламаторша свой гнев на милость — добропорядочное поведение в дальнейшем, грехи вам эти отпускаются. Сейчас же отпразднуем мы нашу встречу. Собравшиеся здесь наши гости, до одного все заговорщики. Они согласны принять участие в вашем и мне весьма симпатичном начинании. Они вам почти все знакомы. Харонина и Лампадина вы уже встречали. Познакомьтесь с писателем. О

попытке его сеять „разумное“ и о том, как отблагодарил его за это неразумное намерение „наш народ“, вас уже оповестили.

— Дальнейшее представление предоставь уж мне, — шепнул жене Дубинин. — А ты похлопочи о настоящем; „прошлое“ как известно, плохо насыщает: им сыт не будешь.

— Два ваших соратника, Геннадий Сергеевич, ждут еще разоблачения их личностей. Аким Потапович Рублев, когда-то светский лев, сейчас без гривы и зубов, от прежнего одна лишь хрипота осталась. Банкир с несбывшимся расчетом: не рассчитал он революции, но больше и печальнее всего ошибся на рулетке. Подробнее узнаете об этом позже. И, наконец, красавица, королева нашего местечка — Елена Никодимовна Копылина — верный и настоящий друг всех страждущих и угнетенных. Смесь, как видите, одежд, и лиц, и состояний, но не наречий. Наречие у всех российское и упования тож.

Не без труда Безладный обошел несоразмерный с комнатой, широкий стол, заставленный закусками, пожимая соратникам всем руки. Безладного усадили рядом с Софьей Валерьяновной.

Трапезу коротко благословил Дубинин, напомнив, что многословие на пустой желудок архипреступно, особенно когда запах водки и закусок возбуждает аппетит. Лампадин, полиглот, с рюмкой в руке, на десяти наречиях по его свидетельству (никто проверить этого не мог), пожелал многих лет настоящему содружеству... Предвосхищая его задачи, и расширяя горизонты, он предложил лозунгом содружества считать: „Заштатные интеллигенты всех стран, соединяйтесь“.

Сменялись кушанья, опорожнялись рюмки и оживление за столом росло. Выкрики Лампадина, смех и возгласы Рублева голосом, заполучившим снова под действием алкоголя свой утраченный было львиный тембр, заполняли комнату и рвались наружу. Безучастным к оживлению оставался лишь Безладный. Растерянно улыбаясь, отсутствующим взглядом отвечал он на обращения к нему соседей. Не совсем, неполностью в себе хлопотала, выполняя обязанности хозяйки, и Софья Валерьяновна Как бы забывшись, останавливала она моментами свой взор подолгу на возбужденном лице Безладного. И у ней эта встреча воскресила незабываемую, но, казалось, без следа затерянную, далекую страничку жизни. И Дубинин, на противоположном конце стола, не проявлял обычной своей живости. Подобно вздоху, вырвавшееся у Безладного восклицание: „Вы — Соничка Офросимова“, взволновало Дубинина всерьез. Он вспомнил далекий, ненастный вечер глубокой осенью в Пасси. Воочию увидел он опустившегося, в нетрезвом состоянии грузчика на рынке, каким он волей случая предстал впервые перед девушкой с синими глазами. С этого вечера и началась сознательная хроно-

логия его существования. Силясь поймать взгляд Софьи Валерьяновны, он думал: „Женщины, о, женщины! Какая сила вам дана! С такой же легкостью вы воскрешаете, как и губите людей“.

Единственно Харонин, близкий друг Дубининых, за шумом и едой не упускал из виду молчаливого Безладного, да и Дубининых, настроенных минорно. Подобное состояние в столь памятный, настоящий вечер представлялось Харонину недопустимым и он решил оздоровить тотчас же атмосферу. С трудом добившись внимания весельем увлекшихся друзей, он в краткой речи заявил, что их содружеству на будущее не мешает уже сейчас принять решение о поведении членов клуба за столом при частых, несомненно им предстоящих, общих трапезах, ввиду наличности противоречия по этому вопросу между врачами и философами. Врачи считают, что внимание за столом должно быть сосредоточено на основательном прожевывании пищи и на приятных мыслях, увеличивающих слюнотечение, благоприятствующее в свою очередь пищеварению. Но вот философы по этому предмету другого мнения. Для философов стол без дружеской беседы приравнивается попросту к кормушке.

Такой стол, по мнению философов, низводит трапезу, истинное таинство, сочетающее естественным путем и гармонично две столь противоположные, заложенные в человеке ипостаси, сущность животную с духовной, потенцируя к тому же их содержание на пользу каждой ипостаси, стол без беседы низводит трапезу на положение детских яслей. На противоположности этих сущностей, забыв о трапезе, споткнулся уже Кант. Зато Платон в „Банкете“ продемонстрировал предметно решение этого вопроса. А первые христиане включили трапезу в свой ритуал.

— Не забираясь в исторические дебри и не напрашиваясь никак в философы, — пояснил Харонин, — я хотел бы еще отметить здесь особую и исключительной важности деталь этой проблемы для нас, заштатных интеллигентов. Известно, что сопряженные с возрастом старческие перспективы включают между прочим также и, увы, так называемую, грозящую многим старикам „dementiam senilis“, именуемую по-русски эйфорически „впадением в детство“. Естественно, что обстоятельства, располагающие к такому состоянию, представляют для присутствующих, кроме, конечно, дам, сугубую опасность. Этим неизбежно предопределен, с чем, не сомневаюсь, и вы все согласитесь, наш выбор между яслями и застольным разговором.

Криками и смехом все поспешили выразить свое согласие. А Безладный, подняв перчатку, стряхнул с себя печаль и еще добавил:

— „Si tacuisses philosophus mensisses“, — говорили Римляне: „Будешь молчать, не попадешь в философы“. У нас же не о

философии забота. Ведь эта трапеза является прологом к первому заседанию нашего содружества и все мы должны приступить к работе с поднятым забралом. У всех должно быть полностью на языке, что на уме у каждого и в сердце.

— И не пора ли нам заняться специально духовной ипостасью, полагая, что телесная, милостью Софьи Валерьяновны, боюсь, не больше ль получила, чем ей приходится по чину?

Поднялся Дубинин и за ним все гости. Мужчины вышли в садик покурить; дамы принялись за приведение комнаты в порядок.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Заседание возглавил, как полагается, старший по возрасту, Дубинин. Он поздравил собравшихся со вступлением в союз, ставящий себе целью оматерить, хотя бы напоследок, их столь долгое и грустное сиротство. Сиротам пожелал на пороге их усыновления не скупиться на усердие и всячески содействовать содружеству в достижении его задачи. В родительскую организацию он предложил избрать главой Безладного, генеральными секретарями Харонина и Никудышина. Никудышина по литературной части, Харонина по всем наукам и Рублева в казначеи, банкира сроднившегося издавна с пустой „казной“. Названием клуба просит он считать „Клузарусин“, а девизом: „Заштатные русские интеллигенты соединяйтесь“. Возражений не было. На том и порешили.

Безладный объявил первое заседание Клузарусина открытым, заметив, что порядок дня первых заседаний предопределен уже предварительной беседой, как и существенными замечаниями за обеденным столом. В порядке дня этих заседаний, понятно, значится не открывание новых горизонтов, а лишь сведение счетов с самим собою, подведение итогов продуманному и пережитому. Чужой опыт впрок, к сожалению, не идет. Это известно. И учится человек лишь на собственных ошибках. Нет правил, однако, без исключений и в кругу тесно сблизившихся между собою людей, опыт и переживания друга не могут не учитываться и не служить уроком так же, если не больше, чем свои.

— Приступим к делу. Кому угодно высказаться?

Первым слово попросил Дубинин.

⁂

— Тяжело глядеть назад, — начал свою исповедь Дубинин. — Сколько неожиданных барьеров, сколько рифов, бурь с крушениями и часто „в стакане лишь воды“, а сколько безнадежных ожиданий — все это вехи на нашем жизненном пути. Удивительно, что участие друзей располагает к большей откровенности, вынуждает к большей правдивости и с самим собой. Недаром говорится, что „на людях и смерть красна“.

Позвольте же прочитать вам, что в часы досуга, а их много было у меня, я поведал этой послушной и доверчивой тетради.

Тринадцати лет от роду я лишился матери. С этого момента началась моя сознательная жизнь. Удар пришелся по очень чувствительному месту: мать свою я очень любил. Отец, командир подводной лодки, дома был лишь редким гостем. Привязанности у меня к нему было не многим больше, чем внимания, которое он нам, мне и сестренке пятью годами меня моложе, уделял. В течение ряда лет домом заправляла не напрашивавшаяся ни на какие сантименты пожилая англичанка, гувернантка моей сестры. Дом стал для меня таким же неприязненным, чужим углом в воскресенье и в праздничные дни, как и дортуары морского корпуса, где я проводил учебную неделю.

Прошло несколько лет — и однажды, без всякой подготовки, отец представил мне и моей сестре свою новую жену, готовую, как он выразился, заменить нам мать. Очень красивая и очень молодая, намного моложе моего отца и казавшаяся немногим меня старше, она, при всей своей готовности нас приголубить, успеть в своем намерении не могла никак. Как улитки в своей броне, мы замкнулись в систематическом враждебном безразличии, обиднее, должно быть, чем открытое сопротивление или козни исподтишка.

Характер у моего отца был не из завидных, легких и каким образом могла справляться с подобной атмосферой, терпеливо сносить ее, молодая, сама еще, возможно, не достигшая настоящей зрелости, женщина, я так и не мог понять. Первой сдалась моя сестра, имевшая возможность ближе узнать свою новоявленную мать. Со свойственной ей прямотой и детской непосредственностью она демонстративно в моем присутствии называла ее мамой, что для меня звучало, как преступное кощунство. Лишь много позже, когда сейчас же после производства, в год уже длившейся войны, я заболел тяжелой формой брюшного тифа и выжил лишь благодаря любовному ее уходу, я понял и оценил ум, такт и исключительную жертвенность этой женщины, с таким упорством отвергаемой и сумевшей сделаться и чтимой и по-настоящему любимой матерью.

Я задержался дольше на этом мало интересном периоде моего существования. Много позже, когда за спиною, позади

тянулась уже долгая и мучительная дорога эмигрантских испытаний, а впереди путь жизненный, хотя бы и тернистый, вдруг обрывался вовсе, заканчиваясь, казалось, бездной, пустотой, свидание с матерью, истинное чудо после — близкой к полувековой — разлуки, позволило снова мне прозреть и среди тропинок, еще представлявшихся мне в жизни, выбрать настоящую и лишь одну.

Ряд осложнений после тифа долго еще держал меня на положении больного. Во флот я вступил уже под конец войны. Местом моего назначения оказался Выборг, а позже Гельсингфорс. К эскадре в Гельсингфорсе к этому времени была причислена и лодка моего отца.

Революцию во флоте встретили с таким же удовлетворением, как в армии и как во всей стране. Морское офицерство, по социальным связям более близкое к правящим кругам, особенно больно переживало безобразия творившиеся при дворе, преступную неразбериху на фронте и анархию в тылу. Но смута, следовавшая за ликованием, разочаровала быстро офицерство. Брожение среди матросов не замедлило, как и в армии, последовать за революционным громом. В особых условиях жизни экипажа во флоте атмосфера быстро стала грозовой. Октябрьский переворот, в значительной степени обязанный своим успехом участию моряков, усугубил до крайности рознь матросов с офицерством, за малыми исключениями, сплошь враждебным новой власти. Подобная обстановка на кораблях не преминула повести к эксцессам и Финляндская эскадра едва ли не первая показала этому пример. В числе первых жертв оказался мой отец. Тело его было спущено под финский лед и там он нашел свою могилу.

В самой Финляндии, при Керенском порвавшей самолично связь с Россией, назревала неминуемо революционная гроза, во всем подобная российской. Вспыхнувшее вскоре рабочее восстание, ценою многих жертв, с трудом было подавлено финнами с помощью немецких войск. Беженцами из Финляндии с женами и детьми были заполнены казармы Петрограда. Русские, до революционного восстания и без того едва терпимые в Финляндии, стали теперь там ненавистны. Немало русских было расстреляно безвинно по одному лишь подозрению в участии в восстании. Во флоте разруха все усиливалась и в связи с начавшимися арестами командного состава, многие офицеры покинули свои суда. И я вынужден был вскоре покинуть свою базу и преобразиться в демобилизованного пехотинца.

Неожиданно на моих руках, всецело на моем попечении, оказалась целая семья: пять малолетних ртов; кроме сестры еще четверо детей. Двое братьев и две сестренки, одна в возрасте

двух лет. Семья без всяких средств. Счет в банке был закрыт, деньги конфискованы, именье разграблено и отчуждено. Страшный голод восемнадцатого года грозил гибелью семье. В солдатской шинели, сапогах, заросший, надежнейшая мимикрия по тому моменту, я занялся добыванием пропитания для семьи, претворился в матерого, настоящего „мешечника“. Так, по тому времени, назывались „охотники за пищей“, а имя им было легион; все те, кто не хотел погибнуть голодной смертью. Разъезды по окрестным деревням, не исключая и прочесывания отдаленных мест, с запасом разнообразнейших объектов для обмена (на керенки крестьяне не желали и глядеть) стало моим насущным, первым делом. Не менее важным, однако, было и другое: непременное участие в совещаниях, не одной, а нескольких различных групп, организовывавшихся в Петрограде в любом числе и как бы самотеком с целью свержения советского режима. Редко среди участников этих организаций, по существу бессильных что-либо предпринять, как это позже обнаруживалось, не оказывалось к тому же по меньшей мере одного предателя. И люди исчезали повседневно. Я давно уже перешел на положение затравленного зверя и с чутьем, подобным звериному, долго избегал засад. Ночуя, где попало, домой я наведывался лишь на минуты.

Время шло, свержение строя собственными силами становилось все проблематичней, а кольцо преследования сжималось все тесней. Неоднократно, при коротких посещениях семьи, мать осведомлялась о моих на будущее планах; добивалась узнать, как я намерен упорядочить свою судьбу. Но я был преисполнен ненависти к новой власти, твердо убежден в эфемерности ее существования и все перспективы сводились для меня к сопротивлению, к какой бы то ни было борьбе и к выжиданию. Все творившееся вокруг мне представлялось бессмысленным и чуждым до того, что порядки, люди, лица казались нереальными; во всем мне чудились гримасы чудовищной химеры — социальной революции и я, в бегах с другой планеты, ужасался им со стороны. Но положение мое становилось безысходным.

Однажды мать, прижав меня к себе, положила в мою руку небольшой пакетик и прерывающимся голосом сказала:

— Уходи, сейчас же.

— А как же вы? — мог лишь я только прошептать.

— Как все другие, — спокойный был ответ.

— Что в пакетике?

— Получше спрячь. Без этого нельзя.

Я вскрыл пакет. Там были серьги, брошь и кольца, несколько колец. Не глядя на протесты, я взял одно кольцо.

Прощальные ее слова были:

— Мой мальчик, сынок ты мой любимый, не забывай нас, Василек!

Забыть?! Я ей ответил проникновенным взглядом:

— Никогда.

В ту же ночь, 13 марта 19-го года, я перешел финляндскую границу и вскоре... Не сейчас, но вскоре, забыв отечество, забыл и мать...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Не будет преувеличением сказать, что с незапамятных времен не существовало такого катаклизма, не проносилось такого урагана, в силах разметать такую массу и на такие расстояния людей, чтобы сравниться с центробежным вихрем социальной революции в России. И у многих, очень многих из этих невольных русских летунов была своя, неповторимая Голгофа.

Переходить финляндскую границу, закамуфлировавшись под красноармейца, означало напрашиваться на пулю финна пограничника наверняка. К счастью, в дозоре оказался пограничник, понимавший кое-что по-русски. В Выборге, куда я был отправлен под конвоем после часами длившегося допроса я получил нужную бумагу на временное проживание в стране. Необходимо было прежде всего привести себя в христианский вид, почиститься и приодеться, и я направился в ближайший магазин с целью реализовать материнское даяние-колечко. Прохожие шарахались при взгляде на меня и долго еще в недоумении оглядывались мне вослед. Пожилой владелец магазина с остановившимся взором, молча, взял из рук моих кольцо и вприпрыжку, не спуская с меня глаз, добравшись до двери, выскочил на улицу. Через несколько минут два дюжих полицейских волокли меня в участок. В участке комиссар пытался что-то спрашивать, а я пытался что-то объяснять. Все впустую — мы действительно говорили на разных языках. Наскучившись допросом, комиссар ударил меня дважды по лицу. Я ответил одним ударом, за голодовкой не потерявшим все же силы, увесистого русского кулака. Очнулся я уже в больнице, где в тепле и холе, о каких уже успел забыть, отлеживался целых две недели.

На экваторе, при переправе к антиподам, пассажиры новички подвергаются крещению океанскою водою. В Финляндии, преддверии иного мира, я получил крещение, какое полага-

лось эмигранту бедняку, по тому моменту — человеку вне закона. Оскомина от этого крещения жила во мне все время эмигрантского существования и не изгладилась и по сей день.

В Финляндии я оставался больше года, выжидая, боясь оторваться от России. Страна едва справлялась с насущнейшей нуждой и о работе для иностранца не могло быть речи. Задачей стало переправиться в Берлин, где русские, по слухам, эмигранты, того не ведая, справляли шумно тризну по изжившему себя, но ими все ж взыскуемому, царскому режиму.

После многих неудач мне посчастливилось зачислиться матросом на отправлявшийся в Гамбург финский пароход, груженый лесом. Этим рейсом в звании матроса закончилась моя по настоящему и не начинавшаяся морская эпопея. Дальнейшая моя судьба связала меня тесно с сушей.

***

Германия после поражения по терпимости к беспаспортным, по свободе вообще, могла сравниться разве лишь с Америкой, да и то не с современной, а с Америкой дедов наших и отцов.

В американской повести из жизни эмигрантов, писатель, кстати и сам старый русский эмигрант, описывает разговор двух пассажиров, высадившихся в Нью-Йорке с парохода. Один молодой, неопытный кавказец, другой поляк, бродяга, „из тертых калачей".

— Ты хочешь стать сейчас же американским гражданином? — говорит бродяга. — Бумаги у тебя имеются? Давай сюда бумаги. — Он рвет „бумаги" на мелкие клочки и заверяет: — Теперь ты настоящий американский гражданин.

Нечто подобное творилось и в Германии. Все, кто так или иначе оказывались на немецкой территории, особенно в Берлине, без визы, без каких бы то ни было бумаг, в отношении прав на жительство чувствовали себя так же беззаботно, как Адам в Эдене до грехопадения.

Уволившись на берег, я купил билет в Берлин и, сойдя с поезда на вокзале Фридрихштрассе, через несколько минут столкнулся с парнем, обратившимся ко мне без обиняков по-русски:

— Если ищете пристанище, могу вам указать неподалеку недорогой русский пансион.

Не прошло и получаса, как я сидел за обеденным столом в пансионе Фрау Крайнбринг. Вокруг разношерстная компания эмигрантов обоего пола со всех концов России. Рядом сидел Шмелев, писатель, жадно распрашивавший о России и со слезами на глазах о затерявшемся на фронте, своем сыне. Поодаль владелец аптеки у Синего Моста в Петербурге, нашей семье хорошо

знакомый, а напротив еще невиданный мною новый тип русского эмигрантского раскола, профессор „сменовеховец". Ансамбль дополняли — русский перс, заводчик из Баку, ходивший в миллионах и так и не осмысливший: „почему Господь захотел отнять у меня завод и капитал и отдать их Ленину", врач с женой из Ташкента, полковник из Харькова, из Воронежа жокей... Живо интересовалась всем и хозяйка пансиона, Дарья Ивановна, москвичка, вдова главного управляющего „Мюр и Мерилиза" и по доверительному замечанию студента, ее сына, важного немецкого шпиона.

После горсточки обескураженных русских в Гельсингфорсе по неохоте обменяться словом, превосходивших даже молчаливых от природы финнов, было от чего прийти в восторг. К тому же все были заряжены необыкновенным оптимизмом и шансы Врангеля, калифа этого момента, расценивали очень высоко. Эту ночь, впервые за месяцы и годы, я уснул в неоформленной и смутной пусть надежде проснуться и узнать, что мрачный и мучительный кошмар сменился, наконец, привычной, светлой явью.

***

Знакомство с Берлином на следующий день убедило меня в справедливости слышанной остроты: „с немецким языком в Берлине вообще можно кое-как пробиться, но на главных улицах без русского не обойтись". Всюду я слышал русскую речь и никак не на сниженных регистрах. Очевидно, освоение Берлина эмигрантами зашло уже очень далеко.

Внешний вид Берлина был удручающий. Не метеные, не чищеные улицы. Грязь повсюду, сор. Пешеходы с хмурыми, озабоченными лицами. Женщины одеты плохо, кто во что. Мужчины сплошь в потрепанных военных кителях, в обмотках ноги. Я остановился у газетного киоска. Заголовки всех газет объявляли крупно: Streik. И стало мне не по себе. И здесь колеблется земля... Забывшись на мгновенье, я перенесся невольно в Петербург, умиравший, обреченный Петербург, каким я его оставил. „Что с матерью, с семьей?" Встряхнулся и смутился: с сочувствием глядели на меня газетчик и стоявший у киоска неизвестный мне человек. Это был по виду немец из крестьян. Рослый, загорелый, средних лет, в пиджаке поверх рубашки с широким, открытым воротом и в сапогах, чему я очень удивился.

— Здравствуйте, вы русский?

Не веря ушам своим, я услышал приветствие по-русски и немец протянул мне руку.

— Вы тоже русский?

— Здесь я немец русский, а совсем недавно я был русский немец, как и отец мой и мой дед.

— Как же так, что это значит?

— Прошу вас, зайдемте в погребок. Я угощаю. За кружкой пива я расскажу вам, что у меня имеется на сердце.

Мой собеседник, бывший русский немец из богатейшей колонии на Волге, оказался, как и все мы, щепкой, занесенной в Германию тем же революционным вихрем, вызванным преступной мировой войной. Поначалу революция превратила колонию в „Волжскую Немецкую Республику“ и даровала русским немцам самостоятельность, о которой они и мечтать не смели. Но вскоре, без всяких объяснений, вдруг, жителей колонии, всех без исключения, усадили, кто в чем был, в вагоны и отправили в неизвестном направлении.

Плач стоял и стон невообразимый. Решили, что везут всех в страшную „Сибирь“. Довезли их до границы и переправили в Германию, и очутились они на положении беженцев в незнакомой, хотя и чтимой ими издали стране.

— Никак мы и думать не могли, — с увлажнившимися глазами рассказывал крестьянин: — что срослися так с Россией. Мы слышим, знаем, что в России сейчас очень плохо, особенно с крестьянами. И все же. А здесь мы еще и чужаки, и не обеспечены. Мы-то еще кое-как, а дети вот, не привыкают дети, все плачут о России. Как вы думаете, переменится там положение, сможем мы вернуться на наши земли когда-нибудь?

Потрясенный всем услышанным, с жаром я заверил симпатичного крестьянина, что режим нынешний на ладан дышит и что новый правитель уже на стороже и скоро решительное свое слово скажет.

— Почему же все ж вас выселили? Известны вам причины непонятного такого акта?

— Здесь только случайно мы узнали, что проклятые генералы, затеявшие несчастную войну, и нас тоже не оставили в покое. Гофман, немецкий генерал, обратился в Межсоюзный Комитет с предложением в короткий срок покончить с большевизмом. Он просил лишь оружие для двух немецких корпусов и в плане наступления отметил Волжскую Республику, как уже подготовленную базу для продвижения вглубь страны. Большевики, им все известно, еще до ответа Комитета до основания разгромили базу и вместе с базой разметали и нас, ни в чем неповинных.

Мы распрощались с крестьянином тепло и пожелали друг другу от души в скорейшем времени встретиться в России.

***

В Берлине я бывал не раз и людные улицы мне хорошо были знакомы. Повсюду русские ходили табуном и, не стесняясь,

громогласно развлекались, как хотели. Внимание мое привлекла витрина. Золотыми буквами на ней выведено было: „Кузьмичев“. За витриной русский дед-мороз, матрешки, пасхальные яйца всех цветов. В глубине столики, народу много, а на возвышении ведерный, начищенный ярко самовар; у самовара пышная, краснощекая, живая, малявинская — и не баба — дама. Долго я глядел, не отходя, и, сознаюсь, даже прослезился: „вот куда занесло тебя, Россия“.

С опаской уселся я за столик. Россия Россией, но деньги здесь не русские, а от капитала за колечко остались у меня только корешки.

Не успел я ложку поднести ко рту, как услышал: „Война!“. Сейчас только пришло известие: поляки разгромили красные войска и захватили Киев.

Весть эта всполошила зал. Вмиг атмосфера стала грозовой. „Началось, дождались“, неслось со всех углов. Всюду сияющие лица. Радостное пожимание рук. У меня дыхание перехватило. Верить?! Мыслью я унесся в Петербург... Будто издалека, в шуме я едва услышал голос своего соседа.

— Несчастная Россия, — говорил сосед: — Франция, хотя бы поначалу нажилась на революции, раздулась; ограбила Европу. Россия с „бескровной“ осталась тут же без окраин. А ныне поляки отхватят Украину и вернемся мы ко временам Хмельницкого. Ликуйте, православные.

К себе я шел в растерянном, минорном настроении. В сознании давно уж прочно угнездилась мысль: собственными силами не справиться с большевиками. Но за услуги, выходит, приходится платить...

Весь пансион был, как по тревоге, в сборе. С нетерпением и уверенностью все ждали неминуемого теперь крушения Иерихонских стен. Мои опасения за Украину вызвали всеобщий смех. И я, сконфузившись и больше чем уверовав, стал рассказывать о встрече с волжским мужиком.

Тут только я узнал, что помимо русских эмигрантов Берлин заполнен туземцами, понимающими или говорящими по-русски и весьма интересующимися русской судьбой. Это те, кто по принуждению или добровольно покинули Россию в связи с объявившейся войной; волжские изгнанники, как и торговавшие во множестве с Россией немцы.

Как-то мне пришлось звонить по телефону. Телефонистка с таким грохотом повторила произнесенную мною деликатно цифру: drei — d-r-r-r-ei, что, я не раздумывая, заявил:

— Вы, Fräulein, говорите по-русски?

И услышал:

— Ну, конечно. А вы русский?

— Конечно, русский.

— Давно вы здесь?
— Совсем недавно.
— Откуда вы?
— Из Петербурга.
— Боже мой, и мы из Петербурга. Приходите к нам. По вечерам мы дома. Моя мама и вовсе русская. Запишите, вот наш адрес.
— Обязательно приду.
— Не забудете? Россией поклянитесь.
— Клянусь.

Преступить такую клятву было бы грешно. Но исполнить свое обещание я смог лишь спустя несколько недель.

Последующие дни сплошь заполнены были блужданием по Берлину, знакомством и встречами с земляками, разведыванием возможности что-либо предпринять и особенно бесконечными разговорами о надеждах, связанных с войной. За малыми исключениями эмигрантская масса была еще со средствами и беспечно ожидала греческих календ. Мой капитал был на исходе и я, покинув пансион, оставил там свой жалкий скарб и днем слонялся, где попало, а ночью присосеживался к кому-либо из друзей. Поесть я забегал обычно к Ашингеру, где за гроши сосисками вполне можно было голод утолить.

Повседневное общение с немцами было не без последствий и открыло мне на многое глаза. С интересом, к примеру, я узрел, что поражение 18-го года было совершеннейшим сюрпризом для немецкого народа. Во все продолжение войны народ слышал только о победах. Поразивший Германию экономический маразм, следствие продолжительной войны и тяжелых контрибуций, усугублялся еще, сочетаясь с моральной и психической прострацией, неизбежным следствием неожиданности шока. Комплекс этот, в чем мне приходилось неоднократно убеждаться, вызвал у практичных немцев, далеких, будто, от склонностей, присущих, якобы, обладателям âme slave,непреодолимую потребность в переоценке привычных ценностей, настоящую жажду покаяния. И нужно было слышать, с какой искренностью и глубиной надлома обносившиеся и полуголодные интеллигенты, офицеры поносили за кружкой пива все, что издавна и еще так недавно составляло нерушимый кодекс общенемецкой и особенно военной стати. Переоценка была столь широкой, что даже традиционный Drang nach Osten сменился у кающихся сожалением, что Германия в войне не оказалась союзницей России. И мне кажется, если бы кроты в политике, дипломаты Альбиона, испугавшись фантома французской гегемонии, не теребили бы, не будили бы намеренно старые инстинкты, пусть и не полностью раскаявшегося, но все же всерьез усумнившегося в своих прежних добродетелях немецкого Гамлета, не только судьба

Германии, но и всей нашей Европы могла бы быть иной. После Гитлера роль Альбиона взяли на себя, известно, услужливо американцы.

Но главный интерес этого общения заключался для меня в другом.

В ту бесталанную эпоху всякое привычное, большое или малое скопище людское, превращалось неизбежно в политический салон. Я оказался завсегдатаем одновременно двух салонов, у Ашингера и у Кузьмичева. По взглядам на текущие события, в связи, конечно, с творившимся в России и по ближайшим упованиям, эти салоны, оказалось, расходились абсолютно. В одном салоне собирались дефетисты, в другом — ультра-патриоты. Дефетисты были русские, патриоты — немцы. Сознаюсь, что я оказался в немалом замешательстве, когда, узнав, что я русский, немцы стали выражать мне свое соболезнование по поводу вероломного нападения поляков на Украину и выражать уверенность, что русские накажут агрессоров, как полагается. Остановка продвижения поляков у русских вызвала тревогу, а у немцев радость. В день же 12-го июня, когда конная армия Буденного освободила Киев, я оказался под настоящим переменным душем: у Ашингера ликование, у Кузьмичева — траур.

Я раздумывал, терялся и невольно напрашивалась мысль: в заготовленные издавна формулы живую жизнь подчас не уложить. Немецкого волнения я не понимал, но для меня, для русского, дело шло о граде-Киеве, настоящей колыбели русской государственности... Немецкий интерес к фронту рос в дальнейшем по мере приближения армии Тухачевского к Варшаве и катастрофа у самого ее предместья, Праги, повергла немцев в искреннюю скорбь. К тому же неудача эта была вызвана вмешательством и без того уж ими люто ненавидимых французов!

Что же скрывалось за этой внезапно вспыхнувшей любовью к русским, да еще большевикам? Лишь позже стало это мне понятно.

По Версальскому „диктату" две страны в Европе оказались вне закона — Россия и Германия и тяготение их друг к другу вызывалось жизненной нуждой. Русским надо было разорвать „кордон", обрекавший их на голод; немцам нужна была страна, чтобы орудовать в обход „диктата". На пути сношений между странами, однако, находилась Польша, затруднявшая такую связь, одна из дочерей „диктата". Неожиданное выступление Польши было для большевиков ударом поначалу, осложнявшим и без того их затруднительное положение на фронтах внутри, но одновременно и предлогом к большому шахматному ходу на политической арене, теперь уже мировой.

Вынужденные ввязаться в новый бой, они решили использовать эту войну не только с целью справиться с „панами", но,

проникнув в Польшу, приобщить ее еще к советскому режиму и тем самым оказаться у ворот Германии. Одним ударом двух „зайцев“ прикарманить, да еще каких! Чего ждали большевики от подобного соседства, я понял, когда немногим позже услышал случайно речь Радека в Берлине, призывавшего народ последовать примеру русской революции и воочию увидел немцев, вопивших „Blut und Rache“ и несших на руках Радека к вокзалу... Пробраться Радеку в Германию было мудрено и один Радек „не воин“ для такого дела. Существовала бы общая граница и сотни Радеков оказались бы на своих постах, то захлебнувшееся революционное брожение в Германии могло бы закончиться совершенно по-иному. Советская Россия, такая же Польша и Германия в Европе — это звучит кому лишь гордо, а кому и страшно, даже и в макете!

Немцы были обескуражены разрухой, разъединены разложением внутри, но ненависть к французам единила всех. Идея реванша не покидала военные круги. Перспективы для правителей сводились, естественно, лишь к упрочнению связи, любой ценой, со страной, позволявшей обходить запрет Версаля.

Советская Польша значительно облегчала б эту „связь“. К тому же лозунг Ленина „мир без аннексий и контрибуций“ преисполнил признательностью все немецкие сердца, как это естественно у граждан, вынужденных отдать последнее на уплату французам контрибуций. Даже русское эмигрантское засилье в Берлине шло на пользу немцам в эту пору и содействовало их материальному благополучию. Сдача комнат русским для разоренных немцев, для очень многих, была единственным источником существования. Для народа, как и для правителей, русские были „прошеные гости“.

Все существующие разновидности страждущих и угнетенных, жертв губительной затянувшейся войны, имели без сомнения своих представителей в Берлине. Особенно угнетенными казались мне не русские, в большинстве настроенные эйфорично, а за долгое пребывание сроднившиеся с Россией немцы, всласть вкушавшие от всех деревьев русского Эдена и изгнанные в конечном счете из-за затей своих же соплеменников, издавна зарившихся на русское добро.

⁂

Скитания без угла и без видимости, в ближайшем будущем, просвета, снизили значительно мою мораль. Эйфория соотечественников в отношении дальних горизонтов была мне не по душе, а главное — не по карману и архичеховская атмосфера, ожидавшая меня, я был уверен, в доме девушки телефонистки, куда я во исполнение данной клятвы, наконец, собрался, приведя

себя не без труда в относительно приличный вид, представлялась как нельзя более сродни моей мятущейся душе.

И действительно. Я очутился среди трех женщин, не „сестер“, но также стремившихся в... Петербург, как те несчастные в Москву. Анна Антоновна, русская мамаша, не отпуская моей руки, не проронив ни слова, долго и пристально вглядывалась в мои глаза, как если бы силилась увидеть запечатлевшийся там образ Петербурга. Две девушки теребили меня, как если бы я был манекеном и требовали, чтобы я „все“ рассказал о Петербурге. Петербург, только Петербург. Ничто другое их не интересовало. И в полумраке комнаты, затуманенном эманацией родственной душевной теплоты и скорбного сочувствия, я погрузился в воспоминания о Петербурге 18-го года.

Закрыл глаза, вернулся вспять и вчуже ужаснулся... Над головою низко простерлось чуждое, сплошь неприязненное небо. Солнца как будто не бывало. Никто его не замечал, ничто и никого оно не согревало. Город стих. Весь в страхе, всех опасаясь, он затаил свое дыхание. Заросшие, запущенные тротуары, в рытвинах шоссе. На Невском сплошные сумерки. Ободранные, в лоскутьях плакатов, стены особняков, домов; слепые глазницы магазинов. Прогнившие торцы на мостовой в траве. Медленно, как похоронные, передвигаются редкие кареты и тянут их не стилизованные под Россинанта кони, а настоящие конские скелеты. То тут, то там на мостовой иссохшие лошадиные трупы. Вокруг с ножами двуногие скелеты в напрасных поисках случайно уцелевшего съедобного куска. Для врага режима улицы, как в джунглях или как в тайге. Повсюду сторожит его опасность. У всех, у миллиона цепляющихся еще за жизнь людей, на шее, ежеминутно готовая наглухо сомкнуться, костлявая, не знающая жалости, холодная Царь-Голода рука. Последнее, что удержала перед расставанием память, был снежный саван, окутавший затихший, обреченный Петербург.

— Простите, — очнулся я, видя залитые слезами лица собеседниц. — Простите. Возможно, что краски я несколько сгустил. Полумрак, — смутился я, — располагает как-то, не знаю, к „Чеховским мотивам“... — Я замолчал.

Анна Антоновна истово крестилась и все шептала:

— Боже, за что же это? Какая мука!

А телефонистка сурово возразила:

— Тут Чехов ни при чем. Это — Апокалипсис и не символический, не книжный, а оголенный, настоящий, и трепетно живой.

Весь долгий вечер девушки и мать рассказывали о лишениях и голоде в Германии во время долгих лет войны. Отец убит был на французском фронте. Жили они прошлым. Жизнь в Петербурге они описывали, как сказку, как волшебный сон.

Подростками покинули они Россию, но память о ней у них жива и они хранят ее и по сей день, как святыню.

Познакомили меня с хозяйкой квартиры, молодой вдовой, пробывшей три года в Петербурге с мужем, инженером. И она, путая русские слова, стала объясняться в любви к „замешательной“ России. Единственным пятном на светлой памяти страны, по ее словам, была русская картошка. После немецкой она у немцев отбивала аппетит. Но это неприятное обстоятельство, в сравнении со всем прекрасным прочим, никак не снижало симпатии ее к России. Она настойчиво просила посетить ее через неделю в день ее рождения и не угомонилась, пока я не обещал.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В этот вечер, единственный мужчина, я очутился среди доброй дюжины девушек и вдов. Все до единой были немки, коротко или долго побывавшие в России и связывавшие с этим пребыванием лучшее, чем наградила не баловавшая их впоследствии судьба. Снова мне пришлось быть на положении Шехерезады. Но для повествования на сей раз я старался выбирать сюжеты поневинней и повеселей. Я рассказывал о приключениях во время небезопасных странствий за продуктами. Как крестьяне отказались обменять бриллиантовые серьги в платине на картошку, принимая платину за серебро, а значит и камни за не настоящие. Все это вызывало взрывы, „охов“ у потрясенных слушательниц. Единственно, что их разочаровало — это безукоризненный немецкий мой язык. Ничто немцев, оказалось, так не веселило, как немецкая ломаная речь в русских устах. Неоднократно возвращались они к русскому, начавшему свою благодарственную речь у одной из дам, словами: „Meine Herren und meine Schaften“, вместо: „Meine Herrschaften“. За всяким таким упоминанием следовал всеобщий гомерический смех. Я был „душою общества“, центром радушного внимания и благожелательных забот. И незаметно в атмосфере семейной близости и теплого женского участия растворились, как-то улетучились мои сомнения и страхи. Как забывшийся артист, увлеченный своей новой ролью, и я с другими в унисон предался полностью веселью.

Ужин подходил к концу. Робко прозвучал звонок у входной двери. Дамы всполошились. На пороге столовой показалась хозяйка в сопровождении высокой, стройной дамы. Присутствующие шумно выражали свой восторг. Я взглянул и обомлел. Сердце трепетно забилось. Ноги будто отнялись. Минута, другая и предо мной, удивленно щуря грустные, с длинными ресницами, такие мне знакомые карие глаза, стояла... моя мать.

Блондинка с темными глазами, поминутно менявшими свой цвет: то светло-карие, то будто черные. Очерченные, как на рисунке, губы, улыбка невыразимой доброты. В точности моя мать, какой я ее оставил. С усилием я вскочил и, преодолев растерянность, мог только прошептать: „Простите, вы так похожи, вы в точности, как моя мать“. Слова мои были покрыты взрывом смеха.

— Да фрау Вагнер могла бы быть вашей сестрой, а никак не матерью. Что с вами, где ваши глаза?

Потерявшись, я вынужден был пояснить, что фрау Вагнер до невероятного похожа на вторую жену моего отца.

— Где она? Что с ней?

Дамы стали настойчиво требовать ответа.

И тут впервые, неожиданно и молниеносно, еще до того, как я нашел нужные слова, вся чудовищность моего, казавшегося мне едва ли не героическим, поступка, мое бегство представилось мне в его непоправимой, трагичной наготе: оставить родину, покинуть мать без всяких средств с четырьмя мал-мала-меньшими детьми в умиравшем Петербурге... Возможно, их нет уже в живых... Слова сочувствия и соболезнования, звучавшие как поношение и как укор, еще увеличили мою растерянность. Неотвратимо меня тянуло встретиться взглядом с фрау Вагнер и всякий раз лицо матери теперь мне представлялось без улыбки со строгим, осуждающим выражением глаз.

С приходом фрау Вагнер никто мной не интересовался больше. Я сидел убитый, не зная, оставаться ли мне или уходить.

Хозяйка попросила гостей в салон. Фрау Вагнер тут же усадили за рояль. Как часто я видел эту же фигуру с точно таким же наклоном головы, склоненной над роялью... Я услышал музыку знакомой мне народной русской песни — „Красный сарафан“, а затем и голос: „Nähe nicht mir, Mütterlein, den roten Sarafan“. Я понятия не имел, что эта песня — одна из популярнейших в Германии. И музыка, и пение мне показались верхом мастерства и чисто русской неподражаемой чувствительности. И вслед за этой, на чистейшем русском языке зазвучали „васильки“. Любимая песня моей матери. В ушах у меня колокольчиком издалека переливалось: „Василечки, василечки, голубые васильки“...

„Васильком“ и „василечком“ часто называла меня мать.

Но когда, подобно испытанию, хрустальным, чистым родничком полилась „Лучинушка“, не раз заставлявшая меня ронять слезу и немки стали подносить платки к глазам, я, не дослушав, сделал незаметный знак хозяйке и выскользнул из комнаты. Сбиваясь, я объяснил поспешно, что уже поздно, а я не захватил с собой ключа и, не дав ей опомниться, опрометью бросился наружу.

Я шел по улице, пронзительно вглядываясь в темноту перед собой. С энергией отчаяния, со всем возможным нервным напряжением я силился прочесть, увидеть, что мой шаг был необходим семье. Ведь бегством я облегчил их участь. Возможно, отвратил грозившую семье беду.

Всю ночь, бездомный, я шагал по пустынным улицам Берлина. „Что предпринять, куда приткнуться? Ведь вся немецкая земля заполнена сейчас мне подобными, лишившимися гнезда птенцами".

Беспросветной представилась мне моя судьба без родины, без близких. Безмолвный, безучастный мрак вокруг теснил мне грудь. „Как быть?", неотвязно стучало в голове. Моментами, сжимая до боли кулаки и ускоряя шаг, чтобы согреться, с вызовом кричал я в темноту: „Не может быть! Не все потеряно. Врангель на своем посту! Шансы Врангеля расцениваются здесь очень высоко. Надо продержаться, не падать духом...".

***

Измученный, продрогший, едва дождавшись утра, я забежал в ближайшую пивную. За моим столом сидел крестьянин, уплетавший вдвое сложенный ломоть пахучего, отдававшего спелой рожью и маргарином хлеба. Небольшого роста, рыжий, со смазанными чертами блинообразного лица и пустыми, белыми глазами, он мне никак не показался. Уж больно неприятными представились мне его глаза. Я избегал встретиться с ним взглядом, как вдруг услышал

— Russe? Bitte, Kamarade! — и крестьянин протянул мне густо смазанную такую же краюху.

Пока я ел, он молча, добродушно смотрел мне в рот. Когда я кончил, он сказал:

— Я болен. Жене моей трудно справиться одной с хозяйством. Не поедешь ли ты ко мне помочь? Подкормишься зимой и заработаешь немножко.

Вот она масличная, спасительная ветвь! Вот уж где раздумывать не приходилось долго. Я крепко сжал протянутую руку и сделка была заключена. В полдень я должен был встретиться с крестьянином в этой же пивной. Времени было больше чем достаточно, чтобы проститься с земляками в пансионе и захватить свой чемодан. Дарья Ивановна и пансионеры обрадовались, узнав что я нашел себе работу у крестьян, но кое о чем еще предупредили. С крестьянами, оказывается, нужно было быть мне на чеку и помалкивать о своем credo. Русские военнопленные, по их словам, обработали соприкасавшихся с ними рабочих и особенно крестьян и сделали из них революционеров. Правительство намеренно задерживает военнопленных, рассчитывая

на дешевый труд и забывает об угрозе революции. Мне лучше всего отрекомендоваться военнопленным у своих хозяев. С таким напутствием я пустился в путь к неожиданной и новой своей цели, зимней „передышке“. День был солнечный, на душе тепло и робко напоминала о себе мечта о „тихой“ пристани, хотя бы и недолгой.

У двери пивной ждал меня крестьянин. По дороге на вокзал он с признательностью многократно сжимал мне руку, повторяя:

— Русские славные ребята.

Ферма его была в деревне в трех часах езды. Ехали мы четвертым классом (пятого, очевидно, в Германии не существовало). Внутри вагон походил скорее на большой сарай со скамейками по стенкам и по середине. На скамейках повсюду крестьяне с длинными трубками в зубах и бабы, точно будто русские, укрытые с головой платками. Вагон трясло немилосердно. Я дремал и чудилось мне, что я отправляюсь с переселенцами в Сибирь. В Курской губернии, где была наша усадьба, не раз мне приходилось видеть поезда переселенцев и слышать причитанья баб, оплакивавших свой покинутый очаг. От толчков я просыпался весь в поту и с трудом уверившись, что то был сон, снова погружался в беспокойную дремоту.

Путь до фермы я проделал с интересом. Мы проходили лески с осенней золотистою листвой: деревья всюду выстроены, как солдаты, в ряд и в рост; на словно подметенной земле лесочков ни веточки, ни листка. По жердочкам мы переправлялись через широкие ручьи; шагали по трясине. Домик с ярко красной, будто только что уложенной, черепичной крышей, стоял особняком, вдали. Вот, думал я, удача, после стольких злоключений, зажить как Робинзон Крузо!

Фрау Шульц вышла нам навстречу: с меня ростом, грудастая, краснощекая, голубоглазая, настоящий великан. Обнажив лопатообразные, большие зубы, она долго сжимала мою руку. Затем стала поворачивать, как бычка на скотном рынке, похлопывая одобрительно по различным частям тела и, приговаривать, обращаясь к мужу:

— Gut, sehr gut. Не поверила бы, что ты так сможешь справиться с задачей.

Назвавшись Робинзоном, я больше ничему не удивлялся... Сели за стол. Гороховый суп со шпеком мне показался кушаньем богов. Herr Шульц, не доходивший ростом до плеча жены, во все время трапезы не открывал рта. Фрау Шульц ограничивалась расхваливанием русских. Дня было глубокой осенью в обрез: предстояло идти копать картошку.

Всю справедливость предостережения хозяйки пансиона я полностью узрел на следующий же день, когда фрау Шульц,

как бы невзначай, спросила, не знаю ли я точно, когда Ленин появится в Германии. Хорошо, что я был предупрежден, а главное решил ничему не удивляться. Я дипломатично заявил, что такой визит является государственным секретом и никто не может этого знать. И муж и жена одобрительно закивали головой. Дальнейшие беседы пояснили, зачем ей понадобился Ленин.

— Нам всегда твердили, — поверяла она мне: — что русские это — дикари и ни на что не годны... Учитель в школе объяснял, что, например, сибиряки не люди и у них один только глаз на лбу. Но вот Gustav был мобилизован и мне из лагеря на подмогу прислали русского военнопленного и как раз сибиряка. Оказалось, русские хорошие работники, и камрады — лучшие на свете. Теперь мы поняли, почему нам именно про русских небылицы разные плели. Видели мы здесь французов, англичан. Ничего плохого и о них не скажешь. Но они живут только для себя. Они знали, кто войну затеял и зачем и никогда нам не объясняли. Это русские нам открыли, что войну затеяли капиталисты. Муж мой ранен был дважды на войне и сейчас еще он от ран страдает. А тут являются жандармы и переписывают скот для французских контрибуций. Русские нам объяснили, что все войны дело рук капиталистов и это они должны расплачиваться за поражение, платить военные долги. Когда жандармы явились за скотом, мы их встретили как нам советовали русские друзья: муж мой с вилами, а я с оглоблей. По три месяца поочередно отсидели мы в тюрьме. Но это ничего. Кайзера у нас сместили, а оставили капиталистов. Вот почему мы пострадали. Теперь мы это знаем. Надо было как в России Ленин сделал: все забрать у капиталистов и отдать бедному народу. Но без Ленина у нас не будет толку. Крестьяне с нетерпением и ждут его приезда.

Все было понятно и вопросов не приходилось задавать. Гороховый суп со шпеком, я и сейчас считаю, является питательнейшим и вкуснейшим блюдом из всех существующих на свете. Но с постоянной приправой Ленинизма он не шел мне, очевидно, впрок. Работа на ферме мне полностью была по силам, но пропаганда фрау Шульц, ее непоколебимая уверенность в скором появлении Ленина в Германии туманила мой мозг, мешала сну и отбивала вовсе аппетит. Густав ездил время от времени в госпиталь в Берлин и оставался там по нескольку недель. Однажды он привез газету, где я прочел, что Врангеля не стало. Тут уж я и вовсе загрустил. Во что же верить? Вокруг ни живой души. Не с кем перемолвиться подходящим словом. Зиму я крепился и чувствовал себя не как Робинзон Крузо, а скорее, как медведь в берлоге. К началу лета не стало больше моих сил терпеть. Конечно, расставание было драматичным, но

к драмам я уже привык. Во всяком случае, правды ради, не лишне здесь упомянуть, что русского имени я ни в какой степени не омрачил и не унизил ни у Herr'а, ни у фрау Шульц.

⁂

Внешне Берлин не изменился. Он оставался таким же запущенным и безнадежно серым, каким мне представлялся до отъезда. Небольшие сбережения позволили мне снова воспользоваться гостепримством фрау Крайнбринг. Состав пансионеров, за малыми исключениями, оставался тот же, но настроение в пансионе совсем было иным. С Врангелем у эмигрантов ушла уверенность в скором возвращении на родину. Требовались немалые усилия и много времени, чтобы уверенность сменилась равноценной верой в чудеса. К тому же и Германия, сомнительное Эльдорадо, с первых дней заметно стала двигаться, пусть и зигзагами, по никак не внушавшему доверия пути. Для обостренного эмигрантского чутья все больше представлялось ясным, что Берлин, не говоря уже об окраинах, неуклонно погружался в революционный раж. На перекрестках группы оживленно дискутирующих с беспокойно озабоченными лицами людей. А кое-где и настоящий, хорошо знакомый эмигрантам митинг. Большая толпа по преимуществу в солдатских feldgrau — поношенных шинелях бурно реагирует на призывы оратора, по виду рабочего, с красной лентой на груди, то и дело вздымающего к небу руку, сжатую угрожающе в кулак. А тут и марку, и без того убогую, всерьез стало лихорадить. Что ни вечер — кривая значимости ее скачком взбиралась ввысь, а эффект полезный денег в еще более значительной пропорции неизменно свергался вниз. Обеднение изголодавшегося и без того уж населения, а с ним и недовольство, прогрессировало изо дня в день открыто на глазах.

Даже и для той части русской эмиграции, кому эта катастрофа облегчала dolce vita, такая атмосфера не оставляла места даже и для непрочного, „на курьих ножках" оптимизма. Приближалась страшная гроза: революция казалась снова у порога. И началась новая миграция, новый перелет русских эмигрантов на пажити подальше от Берлина.

Моих сбережний хватило не надолго. Я жил, как птицы, что по Евангелию не сеют и не жнут и существуют „даром Божьей помощи". Бога, о них пекшегося, мне заменяла с грехом пополам хозяйка пансиона. Прислуживание в пансионе мне обеспечивало под крышей стреху и видимость питания по птичьему режиму. Как-то в своем теперь уже хронически весьма непрезентабельном обличье я задержался у витрины магазина, где были выставлены

тощие сосиски и кусочки анемичной колбасы. Погруженный в созерцание, я не сразу осознал обращенные ко мне слова:

— Russian? Русски? По-русски?

Перед мной стоял молодой, атлетического сложения человек, судя по обращению, американец. Я ответил:

— I am russian, русский и по-русски.

Положив мне руку на плечо, он сказал:

— Ты, я вижу, культурный, свободный и голодный.

— Умному человеку, — заметил я, — не надо объяснять. Он и так все понимает.

— Правильно. Но и дурак всякий без труда поймет, что сейчас время завтракать, а не болтать. Пойдем! — И хваткою атлета бесцеремонно он толкнул меня вперед.

— Меня зовут Боб, а тебя?

— Базиль.

— О. К., пошли кушать.

В ресторане вид сервированных столов меня несколько смутил.

Но мое смущение было малозначущим по сравнению с растерянностью, вызванной моим обмундированием, у ober'а как и у гостей соседей.

Но американский акцент Боба, без зазрения совести калечивший во всеуслышание немецкие наименования блюд, оздоровил немедля атмосферу: все было подвластно обаянию доллара в Берлине в этот час.

Боб оказался бывалым человеком. Представитель текстильных американских фирм, он объездил все континенты. На сей раз путь его лежал в Калькутту и Бомбей с образцами их изделий. В Берлине он знакомился с начинавшим лишь свою деятельность местным текстильным производством. В интернациональной кулинарии Боб явно был не новичек, а в отношении напитков совсем, как говорится, дока. Полностью отдавая должное спиртному и всячески понуждая к этому меня, он не забывал пофилософствовать еще о том, о сем и особенно о значении спиртного в социальном общем экилибре. Запрещение алкоголя, по его словам, едва Америку не погубило: отсюда нынешний неустранимый гангстеризм.

Оказывается и здесь не обошлось без русской пропаганды. Тенденциозные статьи Толстого против „одурманивания" алкоголем, хорошо известные в Соединенных Штатах, подготовили психологически губительный для страны запрет. Еще более разительный пример пользы „одурманивания" для устойчивости государственного строя представляет, по его словам, революция в России. Роковым актом для династии было запрещение продажи алкоголя с объявлением войны. Лишние деньги вынужденно пошли теперь на синема и забвение, что доставляла водка,

сменилось интересом к хорошей жизни, как завлекательно расписывал ее экран. Последствия не замедлили сказаться.

Свою мысль он разнообразил еще и рядом убедительных примеров из Ветхого Завета. Цитаты поразили меня своим многообразием и преподносились они с уверенностью и без заминки. Боб показался мне авторитетнейшим энциклопедистом. К концу завтрака за кофе с коньяком взаимопонимание у нас достигло высшей точки и связь закреплена всерьез. Я подрядился переводчиком при посещениях немецких фабрикантов. Боб обеспечил мне полный пансион, приличное обмундирование и приплату в долларах по положению рынка. Я покинул ресторан в состоянии, которое трудно уточнить словами. Правильнее всего было бы его определить, как совокупность банальной невменяемости с чудесной невесомостью космических широт.

Я пришел в себя, обрел трехмерный экилибр лишь к вечеру, когда вдруг очутился в пансионе. Появление мое в новом облачении, полностью с головы до ног, приятно взволновало поначалу соскучившихся по сильным впечатлениям пансионеров. Когда же я небрежно протянул два доллара хозяйке, на марки по моменту плата за прошлое и за будущее без ограничения срока, настроение в пансионе снизилось заметно. Для одних, без сомнения, щедрость моя объяснялась не чем иным, как удачно выполненным грабительским налетом, а кой-кто склонялся к мыслям и похуже: не „серебренники ли это, уплаченные большевиками за специальные „услуги"?" Но и скептики превратились в энтузиастов, когда я подробно описал встречу с как бы с небес спустившимся американцем.

Наибольший интерес проявили все же слушатели к повествованию о том, как мы пировали и умилились, когда услышали, что вступлением к рюмкам чаще всего служили тексты из Священного Писания. Тридцать дней кряду развлекал я однокашников по вечерам отчетом об очередной с американцем встрече. Распорядок оставался в общем неизменно тот же: несколько часов занятного труда, немецких разговоров с даровым куревом и выпивкой à gogo, и все прочие служебные часы за обеденным столом с напитками, под библейские цитаты, как и под нескончаемые захватывающе интересные рассказы про Индию и чуть ли не весь азиатский материк.

Жизнь, по словам американца, по существу везде трагична. Но в Европе и в Америке трагедия скрывается в жилищах, тогда как в Азии вся жизненная юдоль протекает на улице на виду у всех: изувеченные, прокаженные, нищие в пыли простерты тут же на дороге.

Повседневная картина эта так потрясает иностранца, что, лишь покрепившись алкоголем, он в состоянии ее переносить. В правдивости этого утверждения я мог убедиться на собствен-

ном примере: без подкрепляющего вряд ли я мог бы день за днем выслушивать подобные рассказы.

Последний, тридцатый день нашего знакомства все же и меня ошеломил, меня будто привыкшего к сюрпризам. Большую его часть мы провели за чистым виски в номере отеля, где Боб готовил свой багаж. В халате восточного, диковинного цвета, высокий, стройный, с резкими чертами загорелого, длинного лица, темными на выкате глазами и пышной черной шевелюрой, Боб действительно походил на всемогущего, чудесного факира. А медью кованые, блестящие, большие сундуки с их таинственным, неизвестным содержимым невольно вызывали мысль попеременно то о чудесных сокровищах Али-Бабы, а то и о страшном ящике Пандоры.

Я и не подумал удивиться, когда Боб, как само собой разумеющееся, сообщил, что по возвращении из Индии, он забирает меня с собой в Соединенные Штаты. Устами Боба здесь как бы вещала непререкаемо судьба и мне не оставалось ничего иного, как лишь подчиниться. Не напрасно Боб убеждал меня не падать духом. „Anything can happen, — повторял он, — и не всегда дурное". С каждым последующим виски я чувствовал уже, как уходит из меня, если не русское, то во всяком случае все принижающее эмигрантское, и я преображаюсь в свободного американца. Приближался час разлуки. Боб долго меня не отпускал. Закончив приготовления к отъезду, Боб в тельнике занялся физзарядкой. Я залюбовался мускулистыми его руками, кожей бронзового цвета и с восхищением заметил:

— Глядя на вас, трудно поверить, что вы всего лишь вояжер, а не известный в Америке атлет, а то и вовсе укротитель.

— Я временно комми, — ответил скромно Боб. — Я заменяю только своего отца в разъездах. Отец мой и мать оба из России. Молодыми они эмигрировали в Америку. Со слезами они всегда вспоминают о России. Я это запомнил хорошо. Отец мой стар и ему не под силу теперь подобная работа. Скоро и меня заменит брат, окончит лишь свое учение, а я займусь уж настоящим делом.

— А какое же это дело? — полюбопытствовал я на свою беду.

— Я, собственно, раввин.

— Раввин? Как это раввин? — и приняв это за непонятную мне шутку, я громогласно рассмеялся.

Боб прекратил на секунду упражнения и скользнул по мне серьезным взглядом. Меня тут же бросило сначала в жар, а вслед я окатился холодным потом.

„Вот что означали тексты из Ветхого Завета", — молнией пронеслось в мозгу.

— Да, я кончил на раввина, — спокойно пояснил он, продолжая упражнения.

— Значит, вы еврей?

— Конечно, я — еврей.

Что было дальше, по совести в точности я не могу припомнить. Помню, мы очень уж тепло простились. Боб вручил мне еще двадцать долларов и наказал сейчас же заняться заготовлением бумаг о моей личности для американского посольства.

В пансион я возвращался твердой поступью: еще в отеле я быстро протрезвел. В пути я то и дело останавливался и, напрягая мозг, пытался осмыслить происшедшее: представить себе дружеское общение Дубинина с раввином. И не мог... Усиленно я старался припомнить, не говорил ли я чего-либо предосудительного о евреях, особенно о русской революции, как о творении еврейских рук. Как вспугнутые птицы, разлетались мысли в стороны и воедино я так их и не мог собрать.

В пансионе весь состав был в сборе: справляли именины сынка Дарьи Ивановны, студента. Я тут же подарил студенту доллар. Мне поднесли основательную рюмку водки и, усадив за стол, заставили рассказывать о случившемся за день по порядку. Я почувствовал, как сразу снова опьянел. С невольной непреодолимой потребностью разобраться самому в случившемся, забыв об окружающих, я стал припоминать час за часом происшествия необычного такого дня. Смутно воспринимал я восторги слушателей при упоминании о близком моем переселении в Америку. Рюмка, выпитая в честь этого события, доканала меня окончательно. С живейшей симпатией отнеслись слушатели к удивительной личности американца, к его путешест виям по свету, как коммивояжера, к его таинственым сундукам и особенно к его щедротам.

— Лишь в Америке подобное возможно. Запомни это, — с глубоким вздохом заметила хозяйка, глядя на своего сынка...

И тут кто-то извне или изнутри дернул меня за язык или, не знаю, за что другое и я, как бы рассуждая с самим собою, сказал:

— В том-то и дело, что он совсем не вояжер; на самом деле он — раввин...

В эту минуту в столовой погас свет. Все молчали. Казалось, настороженно затаилась тишина. Вспыхнул свет и все, столпившись, с возмущением заговорили:

— Вот оно что? Раввин! Все они раввины: все, кто в России революцию сварганил, все они именно раввины.

— Все понятно: приодели, заплатили и к работе пристрочили.

— Месяц целый этот тип нам точил лясы. Благодетеля нашел...

— Генрих, верни Дубинину сейчас же его доллар! Неизвестно, что это за деньги, — потребовала фрау Крайнбринг.

— Мне это известно, — рассматривая внимательно бумажку, заявил студент: — это американский настоящий доллар. Я немец, а остальное мне совершенно нипочем.

Безучастно, как если бы не обо мне шла речь, я прислушивался к шуму, к возне, казавшейся мне попросту „мышиной". Жесты, выкрики привели меня в себя и, направляясь к двери, я сказал:

— Все, что вы здесь наговорили, страшно подло, но еще более непроходимо глупо. Настолько глупо, что у меня даже нет охоты набить морду кому-либо из особо беснующихся дураков.

Эту ночь я проспал без всяких сновидений; спал как убитый. Проснулся поздно. Голова, как обручем, зажата. Тяжелое томление в груди. С первым проблеском сознания представилась мне сцена в столовой пансиона. Отсюда мое томление? Перебираю в уме факты; вглядываюсь вглубь себя... Нет... Эмигрантская слепота и истеричность без сомнения плачевно неприятны: они чреваты, возможно, не веселыми последствиями для моей персоны, если эта клевета распространится, но не обида и не страх, я чувствовал, гнетут мне душу. Раввин, еврей раввин, нарушил мой покой. Не смея сознаться самому себе, с самого ухода из отеля я единственно искал ответа на мучительный вопрос, не обидел ли я своим под конец невольно некорректным поведением, так по-христиански бескорыстно обласкавшего меня раввина? Искал и не находил ответа. Не было уверенности... Пачка долларов, предусмотрительно по доллару, данная мне Бобом, жгла мне глаза. И что значат все измышления земляков перед упреком собственной нечистой совести?!

Память об этом раввине я сохранил по настоящий день. Память эта, возможно, позволила мне сохранить свой образ человека в те страшные года, когда обманутые русские эмигранты, предавши родину, забыв о Боге, пошли за дьяволом и нарекли его своим кумиром.

В столовой ждала меня хозяйка.

— К сожалению, — начала она.

Но я ее прервал.

— Мое присутствие здесь не желательно, хотите вы сказать. Смею вас уверить, что еще больше не по мне ваш пансион.

— Теперь вы обеспечены.

— Я счастлив, что мог оплатить ваше участие во мне.

На этом мы расстались.

На редком доме в Берлине не красовалось объявления о сдаче комнат. К вечеру я сидел в чистенькой кухне за чаем с

бутербродами со старушкой немкой, развлекавшей меня рассказами о вдовьих своих печалях и нужде. Впервые я очутился в одиночестве. Посещение чайной Кузьмичева убедило меня вскоре по тому, как знакомые обходили, не здороваясь, мой стол, что кой-кому из эмигрантов по душе пришлись небылицы нервных земляков. Неизменно благожелательно относились зато ко мне в закусочной у Ашингера немцы. А еще вольготней я чувствовал себя в приглянувшейся мне небольшой пивной. За рюмкой шнапса или кружкой пива на свободе я часто раздумывал о переменах после встречи с Бобом. Долгое время шли мне еще во множестве на ум тексты из „Писания“ и не раз я сомневался, не пойти ли мне послушником к благочестивому отшельнику с возможной целью будущего пострижения в монахи. Но чаще все ж я убеждался, что, пока не перевелась монета на покупку шнапса, жизнь в основном заполнена, считать следует, прилично. Скромность, „ключ к счастью“, учил меня отец. В пивной появились у меня, привязавшиеся ко мне, приятели всех рангов и социальных категорий за кружкой, которую я оплачивал. Они исчерпывающе осведомляли меня о немецких перспективах и особенно подробно о нараставшем революционном возбуждении в Берлине.

Что касается перспектив, наиболее меня интересовавших, в отношении труда, то здесь у места была бы, я видел, надпись на преисподней Данте. А для успешного использования безграничных возможностей, предоставляемых инфляцией в расцвете, необходим был приток свеженьких девизов, как-никак... Мои были, конечно, на исходе... И для оптимистов „наперекор стихиям“, каким обязан быть каждый эмигрант, дело складывалось в смысле окончательного not to be, без всякой притом мыслимой альтернативы. Положение получалось потруднее, чем у принца. И я бродил по улицам Берлина в смутном ожидании нового спасительного чуда.

Как-то я увидел пожилого человека в выцветшем пальто не здешнего покроя, несшего с трудом тяжелый чемодан. Мимолетной встречи взглядов было достаточно, чтобы мы одновременно остановились и в унисон сказали: „Русский?“.

Оказался этот земляк врачом из Петербурга. Фамилия его и мне была знакома. Вид его был потускневший и изголодавшийся в такой степени, что я счел долгом сначала накормить его, а затем уже послушать, как он докатился до такой ступени. За меню у Кузьмичева, куда как скромным и, конечно, уж обычно русским, доктор рассказал о печальном положении в эмиграции врачей. В Берлине скопилось более двухсот врачей, в большинстве к тому же малоопытных, незрелых. Из этого числа лишь единицы отвоевали себе возможность заниматься медициной; остальные забыли про науку и пробавляются кто

чем и как. Земляк пристроился рабочим на фабрику овощных консервов к русскому немцу, старому пациенту по Петербургу. Но немец вскоре вынужден был его уволить, как иностранца. Пользуясь случаем получать консервы по дешевке, доктор занялся разносом консервов по домам. Тяжелый чемодан, крутые лестницы и вынужденное вегетарианство укатали быстро его силы.

— Дело это верное, — пояснил мне доктор. — Консервы я получаю по-приятельски в любом количестве и за полцены. Нужны лишь ноги и руки, чтобы доставить их клиентам по известным адресам. Делать вам нечего. Вступайте в дело. Доход поделим пополам.

Я обещал подумать. На следующий день, с намерением начать работу, я направился к врачу. Дверь открыла мне хозяйка с озабоченным лицом:

— Herr Doctor ist sehr krank, сообщила она.

— Накормили вы меня, — заявил мне доктор, — в точности, как на убой. Я, ведь, вечность уже сижу лишь на картошке. А тут водка, селедка да еще котлеты... И не пошло все это впрок. Сейчас температура 40°. Я написал коллеге. Жду его прихода.

Явился доктор кавказец, бывший военный врач. Взлохмаченный, высокий, с темными, все время в движении, глазами и тонкими пальцами необыкновенно длинной кисти рук, он энергично осмотрел больного и прописал, что нужно. Вышли мы вместе и направились в пивную. Озадаченный и весьма смущенный, я стал оправдываться, что стал виновником такой беды.

— Напрасно беспокоитесь, — возразил мне доктор. — Участь эта ждет обязательно всех эмигрантов санкюлотов; всех находящихся в Германии, в том числе и вас. Поймите сами. От непривычной нервной обстановки, от жизни впроголодь и кое-как, с течением времени все органы поочередно, хочешь не хочешь, должны ведь атрофироваться, обязаны ведь „усыхать“. Известно, что природа дольше всех органов оберегает мозг. Но запомните, что я сказал: в скором времени и мозг постепенно станет „усыхать“ и получится особый вид эмигрантской шизофрении, превратного представления о том, что происходит, например, в России, в России только. С сохранением имеющихся у эмигранта более или менее нормальных понятий о событиях в любой другой стране, скажем, Аргентине. Но особенно трагично положение эмиграции в Германии. И верьте мне: виною этому, кроме прочего, неотвратимого для эмиграции вообще, еще и немецкие женщины и пиво.

На мой удивленный взгляд он, приблизив ко мне лицо вплотную, со страданием в голосе сказал:

— Слушайте меня внимательно. Что может это означать?

Скажу вам откровенно. Дома, например, я совершенно здоровый человек. Выйду на улицу, увижу по-солдатски шагающую молодую немку и тут же чувствую себя больным. Представьте себе: тяжело заболеваю. А пиво... От него ведь пухнешь и только что тупеешь. А вот вино и девушки во Франции... Вино — это солнечный, чистейший концентрат. Живительный напиток. А женщины во Франции, как пища... Вкуснее чем конфеты. В конце концов, не беспокойтесь. И там, конечно, обалдеешь; от этого эмигрантам не уйти. Но зато ведь поживешь... Спасайтесь, пока не поздно!.. На днях я уезжаю.

И с этими словами доктор как будто улетучился: с такой поспешностью, не попрощавшись, он исчез.

В этот же день угораздило меня услышать Радека на площади перед вокзалом, подводившего итог революционной немецкой подготовке и увидеть тысячную толпу, вопившую о своей готовности приступить немедля к делу.

Все в голове моей перемешалось. На следующий день я отправился во французское посольство.

Простите, что так долго злоупотребил вашим вниманием. Час уже поздний.

⁂

— Длинная, петлистая дорога, по которой Василий Константинович, покинув родину, вы шли, всем нам хорошо знакома и близка, — заявил Безладный. — Сотни и тысячи шли, кто по такой же, а кто и по еще более извилистой, и по более крутой. Для нас, для многих, ваш маршрут, со всем комплексом правдиво вами описанных переживаний, был в точности как бы собственным, в точности своим.

В следующий раз вы доскажете эту памятную многим из нас вашу жизненную сказку.

Поблагодарим хозяев за гостеприимство. Поклонимся милой хозяйке за угощение низко. Первое заседание „Клузарусина“ заканчивается благополучно.

Объявляю заседание закрытым. Следующее в этот же день через две недели у наших же друзей.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

К назначенному часу все члены клуба были налицо. С тетрадкой в руке Дубинин продолжил свою исповедь.

— В Париж я попал не впервые. Французский легкий нрав, их „savoir vivre", уменье жить, чтобы не тужить, как и памятники, строения и самые улицы Парижа, как бы впитавшие в себя человеческие страсти тысячелетней мировой истории, были мне в известной степени знакомы. Ведь утверждение, что и вещи имеют свою „душу", что кирпич Собора Св. Петра не тот совсем, что на крепости Петра и Павла в Петербурге, утверждение это нигде не обретает в такой степени свою символическую вероятность, как в удивительном уже по своим контрастам городе Париже.

„Душу" города увидеть не легко, зато и мало-мальски внимательному наблюдателю лицо его бросается в глаза. Лицо Берлина всегда было повседневно будничным лицом практичного бюргера в доморощенном колпаке с крупными, нескладными чертами и мало выразительными блеклыми глазами; Париж же походил на четырех вместе взятых беззаботных мушкетеров в костюмах грандов, залитых вином, с жаждой приключений во всем обличье. Но и эти контрасты не сравнятся с картиной, представившейся моим глазам, парижского житья-бытья, по сравнению с только что мною покинутым берлинским. Если искать, сравнения и не бояться преувеличений, можно бы сказать, что я попал не „с корабля на бал", а из скучной преисподней в мусульманский рай с гуриями, музыкой и рахат-лукумом: из очень уж мрачного и по-настоящему убогого Берлина в захлебывавшийся праздничным весельем, в светом залитый Париж. Победа, оплаченная гекатомбой жертв и сверхчеловеческим напряжением воли, эквивалент свой могла найти лишь в вакха-

налии, рассудку вопреки в легкомысленной уверенности, что по счетам за празднества платить будут побежденные.

В погруженной „в сумерки“ Европе в эти годы единственно Париж, не задумываясь, беззаботно ликовал.

⁂

Сошел я с поезда в Париже в воскресенье. Куда направить свои первые стопы я знал: кой-кто надоумил меня еще в Берлине. Я отправился в собор на rue Daru. Час был ранний и на улицах по-воскресному мало оживления, но за столиками на тротуарах у бесчисленных кафе много праздного народу. Церковный двор меня ошеломил: он был заполнен до отказа оживленной, непринужденно развлекавшейся толпой, собравшейся, казалось, отнюдь не для моленья. Потолкавшись несколько минут, я набрел тут же на знакомых и даже на сослуживцев моряков. Облобызались, всплакнули и, осведомившись о близких и друзьях, направились добывать мне комнату в отеле. Первым моим пристанищем в Париже оказался отель у Одеона, на улице с громким названием Monsieur le Prince.

Узкая, кривая улица, по-нашему скорее переулок, с неказистыми зданиями, улице под стать, с печатью ветхости и запущения, но без малейшего намека на некое величие. В миниатюрном отеле, где я поселился, с узенькими коридорами и лестницами еще поуже, крытыми до нитки измызганным ковром; с крошечными комнатами в обоях, возможно, цвета „хаки“ и мутными маленькими окнами, не пропускавшими почти дневного света, к внешней ветхости и запущенности внутри отеля прибавлялась еще повсеместная вековая грязь. Как тут не вспомнить было чистенькую комнатку в Берлине под крылышком заботливой старушки Шмидт. Французы оберегают свой семейный очаг от постороннего внедрения с неменьшей строгостью, чем мусульмане свой гарем. Эта особенность французского житья вынуждает пришлый элемент, к примеру, даже собственных студентов, селиться по отелям. Маленьким отелям в Париже нет числа. И к описываемому времени эти отели конкурировали в большинстве между собой лишь степенью своей античности и видом запустения. В Берлине все эмигранты имели своим пристанищем угол, комнату, но всегда в семье. Иной возможности жилья в Германии не существовало. Это обстоятельство обеспечивало и санкюлоту элементарные условия человеческого существования и даже хотя бы видимость семейного уюта. В Париже, в мрачной атмосфере безличного отеля, горечь одиночества, чувство отрешенности от привычного общения, неизбежно связанного с невольным пребыванием на чужбине, выявляло себя, естественно, с особой остротой.

С разочарованием и скорбью пришлось мне вскоре восчувствовать и осознать эту обескураживающую особенность парижского существования. Два обстоятельства отличали в основном эпопею беженства во Франции от условий, характерных для Германии, первого этапа русского рассеяния. Это, прежде всего, возможность прокормиться собственным трудом, а затем в немалой степени и дешевизна и многообразие спиртного зелья, общепризнанной лечебной панацеи от тоски по родине и прочих всяческих невзгод. В отношении труда с моей морской нагрузкой шкала возможностей была весьма невелика. Для беженцев интеллигентов и особенно для офицерства полем деятельности во Франции могла быть исключительно лишь черная работа. Единственно легко доступным, квалифицированным трудом являлась профессия шофера. В этом направлении и устремилось офицерство. Почти все водители машин в Париже в эти годы были эмигранты. После недолгой подготовки сел и я на облучок. Тесная, душная кабина скрыла с глаз моих не морские дали, о них я давно уже и думать позабыл; не полей просторы, памятные по работе у крестьянки Фрау Шульц. Потускнели за окном машины недалекие теперь и городские горизонты.

Не по душе пришлось мне многочасовое сидение изо дня в день в заключении за рулем. Ведь куда клонятся мысли эмигранта в моменты, когда он предоставлен самому себе, как не к пережевыванию все той же никак не приедающейся старой жвачки. Если в Германии услаждающей приправой к этой жвачке, по неприхотливости, служило ожиданье, то во Франции у отчаявшегося в успехе эмигранта со жвачкой отрыгалась желчь. Неприязненной и чуждой представлялась беззаботная, ключом бившая жизнь вокруг, и не было в ней „уголка“ для узревшего свою „наготу“, для лишившегося иллюзий иностранца. Злоба, безотчетная, слепая злоба омрачала помыслы и до боли обостряла чувства. Одно лишь упоминание о потерянной России ощущалось, как рана, на которую сыплют соль. Тяжело переживала эмиграция крушение надежд на скорое возвращение в Россию. И все же я был слишком молод, здоров сверх всякой меры и очень уж по характеру активен, чтобы надолго погрузиться в самообгладывание с головой. Не однажды я размышлял о напутствии раввина: „Anything can happen“. — Побежден лишь тот, кто покорился и сложил бессильно руки. „Нет дороги, поищем мы тропинок“, повелительно я внушал себе. „Ведь цель все та же у меня. У обворованного большевизмом эмигранта не может цели быть иной“.

**
*

Начать надо было с самоврачевания. Необходимо было муки сердца утолить и оздоровить душевную разруху. За этим снадобьем в Париже ходить было недалеко: в любом бистро на такой случай имелся соответствующий ассортимент. Готовясь к подвигу, как часто я усаживался в уголку бистро. Потягивая аперитив Перно, почтительно и с восхищением разглядывал я полки, густо уставленные разнообразным зельем. Какая глубокая символика неизменно представлялась взору в момент, когда я преодолевал земное притяжение и подбирался к полкам ввысь! Богатство оформлений, оригинальность содержаний и художественные на этикетках письмена убеждали меня, что я нахожусь в феерическом drugstor'е, совмещающем одновременно аптеку, музей и библиотеку.

Формы бутылок выражали все стили: от приземисто-тяжеловесного, романского, подобного каравелле, с крепко алкогольным содержимым для усумнившихся, изыскующих veritas in vino; к ввысь космической ракетой устремляющемуся готическому — для легких вин, неупиваемого фиала вдохновений для гениев всех поколений и эпох. И от готического к пышному с пухлым остовом, подобным кринолину, с шипучим всех сортов и видов для ищущих мимолетных впечатлений и от барокко, к фривольно грациозному, причудливому рококо с галактикой аперитивов всем, всем и всем и ликеров для неискушенных дев и пресыщенных дам. Этикетки на бутылках с непонятными наименованиями представлялись мне, как в библиотеке, корешками заманчивых и умудренных книг. О содержимом этих оформлений распространяться не приходится: трезвенникам это не понять, а интересующимся стоит только причаститься. На дверях „питейной" не было напоминания, как на фронтоне храма Аполлона: „Ничего слишком". Удивляться не приходится: в drugstor'е меня влекло, не разбирая времени, неотвратимо. Однажды, по возвращении на землю я узнал, что уволен из гаража с обидной аттестацией пьяницы и летуна.

Огорчался я недолго. Работа в гараже была всегда мне не по нутру, а в момент, когда я, подлечившись, узрел свой новый путь, она меня уже сильно тяготила. В бистро я нашел союзников друзей, из уцелевших ратников по прежней конспирации в Петрограде. Без колебаний я разделил их взгляды и безоговорочно примкнул к их контр-революционной, подрывной борьбе. И вот для „света" я больше не шофер, а грузчик. Я разгружаю камионы со снедью на Парижском главном рынке. Я занят с полу-ночи до рассвета. Днем же я ныне... „активист". Я член тайной организации в Париже с боевым заданием в логове врага, на враждебной нам советской территории.

***

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В немногих словах я хочу подытожить эту трагическую страницу моей жизни. Долго длилась подготовка к страшному искусу. Со скрежетом зубовным засел я за коммунистический букварь с его политическими откровениями, географическими и полицейскими нововведениями; постиг все тайны разведочной работы, саботажа; научился действовать оружием, а где нужно, пропагандным словом. Моим заданием было проникнуть в Ленинград через финскую границу. В Финляндии у меня имелись связи, старые друзья. В „форме“, как никогда, со львиным состоянием духа, при документах на всякий, могущий встретиться, полицейский случай, я ждал у Выборга момента для перехода не так давно лишь символической Сестры-реки. За этим рубежом лежал мой Петербург, моя страна; там же находилась моя семья... О ней мне страшно вспомнить.. Не навлеку ли я на них беду? В опасные минуты всегда будет надежный яд, конечно, наготове. А может быть, хоть ненароком, одним глазком увижу иль узнаю, что близкие живы... Неоднократно эти мысли испытывали мой „львиный“ дух. Ведь и при железных нервах всего мучительнее ожиданье...

В сентябрьскую, глухую ночь пришел желанный час. Свершилось.

— Еще десять шагов и вы в России, — прошептал мне, удаляясь, .проводник.

Минута, другая и, склонив колени, я коснулся челом родной земли. Поднялся, огляделся и спокойным, ровным шагом отправился в далекий путь по адресу искать указанный мне домик. Нашел с рассветом и постучал. На: „Кто там?“ я сказал по явке: „Юрий из Ташкента, ваш племянник“. И в ответ услышал: „В Ташкенте дыни, хоть куда“. Все было в порядке. Открылась дверь и я увидел высокого плечистого блондина средних лет в косоворотке, подпоясанной шнуром, протягивавшего мне дружелюбно руки. На секунду мы впились друг в друга жадным взглядом. Отвели глаза и доверчиво облобызались.

— Вы в Ленинграде у единомышленников и друзей. Подкрепитесь и ложитесь спать. Никому не открывайте двери. Вечером мы потолкуем. Зовут меня Семен Петрович. Вы Георгий Иваныч Черевков. Так это?

— Точно так.

Так началась моя заграничная недолгая страда.

Первой моей задачей было связаться с существующими в Ленинграде группами сопротивления. Собирались редко по два-три человека, всегда за городской чертой. Говорили больше о положении эмигрантов за границей. К этому сводился главным образом интерес моих друзей.

С трепетом, весь холодея от волнения, я отправился в свой первый рейс по Ленинграду. Георгий Семеныч следовал на расстоянии за мною по пятам. День был солнечный, небо в легкой мгле и время было нэп'а, как и сентябрьское бабье лето, оба доживавшие свой недолгий век. Не стану описывать своих переживаний. Помню, каких поистине нечеловеческих усилий мне стоило шагать с рассеянным лицом фланера, а на людных улицах — с маской поспешно идущего по своим делам, при виде, подобно Лазарю, восставшего из гроба Петербурга. Побывавшему во гробе, полностью, однако, земным не быть...

Призрачной, пастельной дымкой Петербург был окутан от рождения. И что-то неземное, как бы потустороннее, струилось теперь в воздухе обезглавленной столицы, сквозило в еще страдальческих ее чертах. Жизнь полностью еще не возвратилась... Но все же какая перемена! Обычны улицы, в порядке тротуары. Со знакомым грохотом и звоном проносится трамвай. На Невском много магазинов. Елисеев с феерической витриной: глаза слепят деликатесы всяческих сортов. Гостиный двор торгует, хоть и не полностью, не так как в старину. В окнах ювелирные изделья, бриллианты. „Как из-под камня, с трудом, но прут ростки живые“, озадаченный я говорю себе. А люди? Народ, кто в чем, но никто не тащится с мешком; не вижу я тележек, всем памятных, с поклажей. На лицах нет следов изнеможения, не видно страха. Замедлив шаг, украдкой я озираюсь по сторонам: никто не оглядывается боязливо. Никто не следует за мной. „И шпионы могут по Питеру разгуливать свободно“, с юмором висельника посмеиваюсь я над самим собой. „А может быть им все известно и лишь до поры до времени власти не берут меня всерьез?“ „Напрасно“, со злорадством я шепчу беззвучно. „Я здесь не для бесед о положении эмигрантов за границей. Есть у меня и собственный особый план. О нем распространяться и обсуждать его с друзьями я не буду. Цель моя убрать Зиновьева. Я все обдумал. Стрелять я буду с колокольни Исаакия в момент, когда Зиновьев выйдет из „Астории“. Стрелок я первоклассный“.

Шли дни. Часто я менял свое пристанище. Совещания продолжались. Новые лица пополняли нашу сеть. Прогулки разрешались мне лишь редко и после учета особых, мне неизвестных обстоятельств. Мучительно влекло меня к семье. О ней моим друзьям я не проронил ни слова. У „Черевковых“ не может быть семьи. Я мог рассчитывать единственно на случай; случай, мой покровитель в скитаниях уже не в первый раз.

Однажды, прогуливаясь без провожатых, дошел я до Невы, моей морской купели. Петр с простертой, на запад обращенной дланью, взывал по-прежнему. Теперь к кому? Не к нам ли, эмигрантам, чтобы защитить его права?! Все так же в небо упира-

лась непоколебимая Адмиралтейская игла. „Нет, Петербургу не быть пусту“, шепчу я убежденно. „Он будет снова наш“. — Долго я бродил по Невскому „граниту“, всей грудью вдыхая аромат воды. Вернулся к памятнику и с газетой уселся на каменной скамье. Ни души вокруг. Один я в чуждом мире, как бы в забытье, весь с неотступной мыслью о предстоящем, задуманном мною деле.

Я очнулся под пристальным, пронзившим меня взглядом. Рядом на скамье оказался человек. Не подымая век, вмиг к худшему готовый, скосил я взор и стал разведывать с земли. Начищенные сапоги, штаны военного покроя, китель, лицо... И я, обмякши, замер. С презрительной усмешкой сверлил меня глазами грозный шеф противобольшевистской организации в Петрограде, членом которой я состоял до ухода за границу, мой дальний родственник. Единственный засекреченный для прочих под кличкой „Шантеклер“. Юношей он добровольцем отправился на фронт, до производства в офицеры заслужил четыре георгиевских креста. Решительный и убежденный враг советского режима.

— Здравствуй, Василек. Сказать по правде, я не удивляюсь нашей встрече. Отправный пункт определяет часто цель. Ты молчишь и мучаешься мыслью: „Како он верует?“ С этого начнем. Я коммунист. Коммунист, не коммунист, член партии вернее. Прежде чем ты пустишь в ход бесшумный револьвер или что-либо подобное иное (впрочем поразмысли, тебе не безызвестно, что и сам я хват не робкого десятка), хочу успеть сообщить тебе о твоей матери, семье... Тебя это интересует?

Газета выскользнула из моих рук, глаза невольно увлажнились.

— Так продолжать? Вчера я видел твою мать. Ты благородно обезопасил свою шкуру, оставив на произвол бесповоротно, могу сказать, губительной судьбы беспомощную мать с семьей, жену убитого матросами, ненавистного на судне офицера. А на моих руках оказалась без всяких средств еще и моя семья с отцом сенатором к тому же. Об экзистенциализме, к счастью, я тогда не знал, а может быть он позже объявился и, по душевной простоте, поступил не по его рецепту, а согласно Моисееву завету об отце и матери, не выговаривая себе при этом никакой за это мзды. Для офицера путь к спасению семьи был предопределен фатально. Им я и пошел. Я очутился в штабе „Пограничной Охраны“ в Петрограде. О лучшем „возмездии“ я, оказалось, и мечтать не мог. Семьи наши были под моей охраной. Твоя мать по собственной инициативе вскоре легализовала свое положение, определившись учительницей иностран-

ных языков. Ее „пайку“ семья обязана тем, что не погибла вся голодной смертью.

— Мало этого. Офицерство в штабе в большинстве в точности походило, как выразился Троцкий, на редиску с „белой“ сердцевиной и красненькой обложкой. К удивлению, не мало было тут же комиссаров, не скрывавших своих антисоветских чувств. Эти ждали лишь первого контакта с белыми войсками, чтобы открыть свое забрало. Атмосфера была у нас, я уверен, более оптимистичной, чем даже у Деникина. Выходило, что здесь я направлялся к той же цели, но только иным и ныне более обещающим путем.

— Маячили недоразумения с Польшей. Нашу „охрану“ переименовали в дивизию и переправили для формирования поближе к фронту.

— Однажды гипотетическую еще бригаду спешно отправили в неизвестном направлении. С бригадой отправился и я. Выгрузились мы у Пскова, где, оказывается, порядок наводили наши белые друзья под командой „батьки“ Булак Булаховича.

— Вижу, ты заслушался и забыл о конспирации. Несерьезно это, Василек. Небось, твои уж беспокоятся. Сейчас я кончу. Досказать осталось мне немного.

Мы выгрузились, построились и вошли во Псков. Пришли мы с опозданием; с нашими „друзьями“ расправились другие части. На нашу долю пришлись лишь арьергарды. Но, что нас ожидало в Пскове, я до конца жизни не смогу забыть. А на моей, хоть и недолгой памяти, я кое-что успел уж повидать. Вкратце.

Не было в городе телеграфного столба или фонаря, где не висел бы еврей или рабочий. Но фонарей, очевидно, не хватило и на многих висело их по два. Встретило нас население со слезами, целуя у красноармейцев руки. От рассказов женщин, что творили „освободители“ во Пскове: о грабежах, о пытках, об изнасилованиях и о разгульном пьянстве, солдаты сатанели, офицеры сгорали от негодования и стыда.

Созвали митинг. После новых страшных свидетельств уцелевших жертв и очевидцев, массовое движение среди солдат: „Желаем в партию большевиков. Повидали „белых“. Хватит. Желаем записаться“. К концу митинга к комиссару приблизился командир бригады, полковник, старый пограничник, с бумажкой, где значилось: „Прошу принять меня в партию большевиков“. За ним потянулись другие офицеры. Не из последних был и я. Теперь тебе известна моя метаморфоза. При случае задумайся о ней.

— Два слова о тебе. Как ты пробрался в Ленинград, меня не интересует. Боюсь только, что и ты так же точно одурачен,

как и до тебя другие. Пытайся поскорее убраться восвояси. Не уверен, удастся ли тебе эта авантюра; она ведь посложней... Разве только ты уж доказал свою наивность и в дальнейшем можешь еще им пригодиться. Твоей матери скажу попозже, что от побывавшего за границей, в Берлине или в Париже, я узнал, что ты обжился и благоденствуешь. Встряхнись и подыми газету, что ты уронил... Прощай.

Как оглушенный, контуженный остался я сидеть, боясь пошелохнуться. Что-то новое и совершенно непредвиденное свалилось на меня, захлестнуло шквалом чувства, спутало и разметало мысли... Мать и семья спаслись... Какое счастье! Если бы не Андрей... Ну, а дальше... Что я услышал? Андрей наш коммунист. Нелепость! Все надо обдумать и в одиночку обсудить... — Опомнился, — меня там ждут... Что я скажу, как оправдаюсь?! Как ужаленный, я вскочил и, забыв о конспирации, поспешно направился к друзьям. Встретили меня, как ожидал. По тревоге почти вся „сеть" оказалась в сборе. На лицах маска беспокойства, растерянности и возмущения. На настойчивые расспросы единственно я мог сказать: „шел по Неве. Забылся и забрел далеко. Очень сожалею. Больше это не повторится". Такой ответ друзей моих не убедил. Я видел. Их недоверие и меня впервые неприязненно насторожило. После встречи, мгновенно сдвинувшей меня с так прочно освоенных высот, собеседования с друзьями продолжались. Однако, прежней непринужденности теперь уж было не найти. Возможно, я все воспринимал уж подругому.

Подрывной своей работой я мог бы похвалиться. Мои сообщения о противосоветских организациях за границей вызывали живейший интерес. Нашего полку неизменно прибывало. Было чем порадовать меня пославших. И все же в моей непоколебимости после злополучной встречи появилась брешь. Внимательнее стал я приглядываться к лицам. Невольно процеживал утверждения друзей и как-то все выглядело не так уж доказательно и потому не очень уж правдиво. Но мучительнее всего переживалась столь чуждая мне, а ныне, подобно оводу, неотвязчивая мысль, что вся моя работа — лишь организованная по заданию игра. И как я мог рассеять это подозрение? Беда не приходит в одиночку. Случайно я узнал, что сокровенной, от всех утаенной моей мечте об устранении Зиновьева, не суждено осуществиться: после смерти Ленина Зиновьев отставлен от управления Ленинградом и не живет больше в Астории. Не пришлось войти в историю амбразуре на колокольне Исаакия и тем самым моей бесславной миссии приходил конец.

Невольно я стал задумываться уже над тем, как мне убраться с зыбкой почвы. Занозой в подсознании гнездилась уверенность

Андрея в „сложности“ этой задачи. После моего трехнедельного выкладывания к сведению друей точных данных об их „союзниках“, врагах Советской власти за границей, друзья как-то сообщили, что моя работа закончена и мне должно смываться. С поручениями и наказом и все же как то очень даже налегке, весомый материал оставив в Ленинграде, тепло я распрощался с проводником и без инцидентов снова перешел финляндскую границу. По-настоящему ценное, что я уносил с собой, была, боялся я признаться, щепотка лишь родной земли. Прочее было для меня в тумане. С минуты, когда я снова очутился „за чертой“, после состояния близкого к экстазу, снова в своих шорах эмигранта, я не переставал вглядываться в этот туман, силился увидеть свой дальнейший путь, приоткрыть завесу.

***

Воскресший Петербург, столь отличный от живого трупа, каким он, а с ним и вся Россия в день расставанья запечатлелись в моей памяти, его воздух, небо, его святыни, воочию представ передо мной теперь, представ все тем же вечным Петербургом, не могли не оживить во мне прежнюю сыновнюю любовь. Бессмысленным мне показалось обычное у эмигрантов чувство отчужденности, враждебности к своей земле, злой неприязни к своему народу, ни в чем не повинному, настоящему страдальцу. Я видел, что-то надо было переоценить, о многом нужно было передумать.

Отчет о моей „миссии“ без пафоса, по-деловому, поначалу привел в восторг собравшийся ареопаг. Зато описание встречи с хорошо кой-кому из руководителей известным „Шантеклером“, о которой я в точности осведомил судей, умолчав лишь о касавшемся моей семьи, ошеломило их и привело в негодование. Выходило, что я не оказался на высоте своей задачи, всерьез приняв и еще распространяясь об никчемных измышлениях ренегата. Могу сказать, что если мое поведение не получило одобрения судей, то еще меньше меня удовлетворило их безапелляционное причисление Шантеклера к ренегатам. Боясь в этом сознаться самому себе, в поступке столь убежденно цельного противника советского режима, каким мне в точности представлялся Шантеклер, невольно мне чудилась трагедия, переоценка кровных, не так давно неоспоримых убеждений. С этого момента недавние соратники, кстати понизившие меня в ранге активизма, потеряли для меня прежний интерес. В моей, так недавно монолитной, психологии активиста появились бреши, местами оказались вопросительные знаки...

Во всем прочем жизнь моя тянулась по избитой колее. Ночью работа на Парижском рынке, а в свободные часы в бистро. С той лишь разницей, что я глядел ныне не на полки, а все больше в себя и в свой стакан. Сказать — раздумывал... неправда. Скорее в недоумении, без мыслей я ждал откровения с небес... От активистов я все же отдалился, хотя полностью с ними не порвал. Не лежала моя душа больше к подрывной работе на советской, все же русской, почитавшейся нами неприятельской, земле; кошмаром представлялись бесчинства Булак-Булаховича во Пскове. Если, стоя как бы у кормила, в средствах я не разбирался и довольствовался „белым“ идеалом свержения советской власти, как желанной целью, то теперь весьма важным показался мне вопрос о том, что дальше?.. Во имя какого политического строя большевизму объявляется война? Поначалу эмиграция этот вопрос оставляла впрок, исходя, видимо, из положения, что шкуру медведя делят не загодя, а по его кончине. С момента же, когда об этом открыто стали толковать, получилась несусветная неразбериха: кто в лес, кто по дрова. Корифеи не нашли общего, приемлемого для эмиграции ответа. Как же мне было браться за такой вопрос?

Сменялись месяцы. Шли годы. Мне не оставалось ничего другого, как упражнять свои мускулы на рынке, а сомнения зельем заливать в бистро.

***

Как-то шел я осеннею порою по узкой улочке в Пасси, части Парижа в те годы обжитой в такой мере русской эмиграцией, что здесь русские чувствовали себя полностью, как у себя. Смеркалось. Сыпал мелкий дождик. Улица в промозглой, серой мгле. Не спеша шагал я во власти мрачных мыслей, подстать ненастью вокруг. Я возвращался из очередного веча, где пространно сетовали об испоганенной святой Руси, клеймили большевистские зверства и призывали эмиграцию к борьбе, к беспощадной мести за „разрушенный“ дом пресвятой Богородицы, Иверской часовни. Расходились участники весьма довольные, с чувством исполненного долга, в твердой уверенности, что боговдохновенные слова пронзят большевиков надежнее, чем пули. Я слушал эти речи и думал: „где же был Сын, когда слуги дьявола разрушали „стену нерушимую“, поднимали руку на Его Мать?“ „С кем же Бог?“.

Забежал в бистро, пропустил наскоро, что полагалось, а ответа на вопрос свой не нашел.

Шагая по лужам без дороги, я с горечью шептал: „Хорошо

было бы, если бы от этих речей большевикам хотя бы трижды икнулось тяжело".

Пришел в себя я от толчка. Как птичка, вспугнутая из гнезда, выпорхнул из темноты мальчишка.

— Дяденька, — закричал он, — там наших бьют.

„Наших бьют? — загремело в голове набатом.

— Где? — и я услышал женский крик.

Вот чего действительно мне не хватало! Саженными шагами я бросился вперед. Увидел двух девушек и удалявшиеся тени. В секунду я их настиг. Схватил за шиворот двух парней, столкнул их лбами и, как груз, бросил их наземь. Два оборванца несколько шагов ползли, с трудом поднялись и со всех ног пустились наутек.

Девушки бросились ко мне.

— Негодяи получили по заслугам, — успокоил я девиц: — Не бойтесь, я вас провожу.

— Вы русский! Какое счастье! Эти типы шли за нами всю дорогу. На улице в такую слякоть ни души. После стали приставать. Пришлось нам отбиваться. Пьяные. Ненавижу пьяниц, — говорила, прильнув ко мне, девушка с широко открытыми, синими глазами с искорками в них то страха, то возмущения; говорила грудным певучим голосом, показавшимся мне подлинно голосом сирены.

Завороженный, прельщенный открыл я рот, чтобы заверить о своей готовности броситься, хотя бы в пекло... Не успел я вымолвить словечка, как сирена отпрянула от моей личности, как если бы ушла в морскую глубь. И я услышал:

— И от вас разит, как из винной бочки. Не стыдно вам?

— Соничка, побойся Бога. Monsieur, как рыцарь, бросился помочь нам, а ты... — вмешалась укоризненно подруга.

— Вот уж рыцарь, — не снизив тона, брезгливо продолжала синеокая. — Рыцари — худые, а наш Monsieur и очень даже в теле и притом небритый... Конечно, вы нас спасли. Ладно. Мы с Катюшей помолимся за вас, чтобы вы больше не прикасались к водке. Не протестуете? Вы не атеист? А как же вас зовут?

Отступив, стараясь задержать дыхание, я назвал себя.

— Помолиться это все ж не все. Знаете, Соничка замечательно кухарит, — дипломатично заметила Катюша, девушка с обыкновенными глазами, но явно доброю душой. — Надо Василия Константиновича хотя бы угостить, как след.

— Так, по наущению со стороны, в ближайшее же воскресенье я очутился в семье синеокой девушки с голосом сирены. Геннадий Сергеевич, наш председатель, подтвердит, что голос у моей жены был действительно очень завлекательный не говоря уже о глазах. Удивляться ли, что вскоре я стал женатым человеком?

— Случай... Не знаю, как там философы о случаях толкуют. Для эмигранта „случай“ часто означает — пан или пропал. Но во что бы превратилась жизнь эмигранта, если бы не существовало встряски, не было бы таких толчков?!

Дальше все пошло у нас, конечно, по закономерному пути: точнее — по правилам матриархата. „Займись приличным делом. Садись опять на облучок. Не пей“ и прочее, все, что намеренно было упущено в Моисеевом завете. Потянулись годы эмигрантского существования. Материальные заботы в достаточной степени заполняли жизнь.

***

Исподволь надвигавшееся Гитлеровское лихолетье свалилось вдруг на беззаботно коротавшую свои дни Европу. Подобно губительному мору, оно быстро распространилось на весь мир, на все пять континентов. И сейчас люди не отдают себе отчета в катастрофе, грозившей человечеству возвратом к бестиализму, по характеру и размерам еще не существовавшим на земле. И как близок был Гитлер к осуществлению бредовых своих, сверхканибальских вожделений! В заварившуюся в Европе кашу не могло не занести и русскую эмигрантскую песчинку. Захлестнувший эмиграцию массовый психоз не давал возможности понять, что за отраву готовит прежде всего и больше всего России самозванный благодетель. Насторожило меня уже огульное, гипнотически распространявшееся обвинение евреев в возникновении войны. Возможно, что запечатлевшийся где-то в подсознании, так дружески отнесшийся ко мне раввин, удержал меня от бессмысленных, поспешных заключений. Но с момента вторжения Гитлера в Россию, я и моя жена знали точно, что для смыслящего человека, хоть и эмигранта, альтернатива весьма проста: с кем ты, со своими ли, с родиной или же с насильником врагом. Я не удивился, когда наутро после страшной вести, один из глашатаев противосоветской акции в Париже, Лев Любимов, именовавший Гитлера „нашим фюрером“, твердо глядя мне в глаза, сказал:

— С приказом наступления Гитлер подписал свой смертный приговор. Оружием Россию не осилишь.

Печальную картину являла эмигрантская масса. Подобно стаду евангельских свиней, в которых нечистый дух вселился, она бросилась в объятия врага на бесславную часто, собственную гибель. И моя жена и я мучительно переживали годы поражений с непоколебимой твердой верой в конечное торжество справедливости и права. Перед столь страшным испытанием и беспримерной жертвенностью, проявленной народом, ничтож-

ными представились нам наши колебания. С победой — новым светом, светом примирения и братства озарился не только эмигрантский горизонт. Европа, весь мир, хоть и не долго, пели осанну международной дружбе.

Годы лишений, страданий за судьбу родной страны, за жизнь близких, испепелили эмигрантскую накипь; рассеяли туман, тяжелой непроницаемой завесой скрывавший столь недалекие, казалось бы, родные дали. Совсем близкой представилась истерзанная, полуразрушенная, но победоносная и живая родная сторона. Стали приходить вести от уцелевших, горестные сообщения о неисчислимых жертвах беспримерных в истории сражений. Я, как и вокруг меня другие, стал писать по сохранившимся в памяти случайным адресам с просьбой сообщить что-либо о моей семье.

В один из памятнейших в моей жизни дней, после долгих, полных тревоги ожиданий, я держал в руке конверт с адресом, написанным рукою матери. Бережно я вскрыл конверт, поднес к глазам полинявший желтенький листочек, вырванный из ученической тетради и ушел тотчас же в прошлое, к истокам; перенесся на тридцать лет назад. Помутневшим взором, больше угадывая, чем различая строчки, я вчитывался в знакомые слова и снова слышал голос матери, как тогда, давно, при расставании. „Мой мальчик, родной мой Василек, — писала мать; — шестерых ты оставил уходя. Сейчас нас только двое: Леночка, твоя сестра, и я. Два брата и две твоих сестры погибли, защищая родной наш Ленинград. Молюсь и верю, что вскоре смогу обнять тебя, любимый мой сынок. Мать, не переставшая думать о тебе и ждать тебя“.

Много дней помногу раз и всякий раз будто бы впервые я принимался перечитывать поверявшие мне так много строки. За столь мною чтимый Петербург другие заплатили жизнью! Случай уберег меня еще, что я не оказался в числе приспешников убийц моих сестер и братьев...

Два непоправимо страшных горя, — поверял я взволнованной жене, — могут выпасть на долю человека: разлука с близкими и утрата родины. И оба я изведал; оба свили прочное гнездо в моей груди.

***

Раскол среди русской эмиграции не был изжит успешным окончанием войны. В то время, как одни со страстным нетерпением ждали с родины вестей, радовались успехам по восстановлению разрушений, другие замкнулись в свою беспросветно слепую неприязнь и ждали вестей из Америки, возглавившей новую

войну, теперь холодную, против России. А жизнь тем временем готовила мятущейся русской эмиграции новые сюрпризы. Неожиданно разверзлись, так давно и, казалось, навсегда замкнувшиеся двери родины для эмигрантов. Не взвешивая и не рассуждая, многие тысячи осевших издавна, но так и не прижившихся на чужой земле изгоев, и стар, и млад двинулись на зов. Мне мое прошлое, хоть и неудачника, но все же „активиста“, не позволяло и думать о подобном акте.

Когда же, едва упорядочив причиненную нашествием небывалую по размерам и тяжести разруху, Советское правительство предоставило и туристам возможность посетить ряд городов, одним из первых, сколотив не без труда необходимый капитал, отправился и я на богомолье к своей матери в особо чтимый город мученик, герой-город Ленинград. По времени недолго длилась эта одиссея. Если Гомеровская тянулась десять лет, моя в точности продолжалась всего лишь десять дней. И Одиссеевы муки я переживал не непосредственно и лично, а единственно лишь слушая о тысячедневном апокалипсисе столицы. Трудно себе полностью представить, что претерпело полуудушенное население, каким подвижничеством было сопротивление врагу! Чтобы потрясти народ страшною судьбой царя-героя, Одиссея, легенда создала образ одноглазого страшилища, людоеда Полифема, грозившего сожрать героя и его дружину, но на Ленинградцев ополчились с алчностью антропофагов сотни тысяч не легендарных, а действительных кровожадных полифемов, нетерпеливо ждавших лишь момента, чтобы убить все население и до основания уничтожить город.

***

На пароход „Баторий“ я погрузился с многочисленной компанией иностранцев, шумно приветствовавших капитана, офицеров и корабельный персонал. С бьющимся сердцем вступил я на палубу парохода в состоянии не то умиления, свойственного паломникам к святым местам, не то подавленности и уничижения от смутного чувства многоликой своей вины, тройной вины: перед морем: ему изменил я без печали; перед родиной: не раздумывая, я ее оставил; перед матерью: ее я непростительно забыл.

Не весело состарившемуся сызнова переживать давно минувшие дела: с болью многое проходит в этот час перед духовным взором. Еще тяжелее стариком столкнуться с неизгладимо памятным, с тем, что естественно, казалось бы, предназачалось и тебе и, не сбывшись, ушло, как не бывало. Знакомая до мелочей, теперь в миниатюре, жизнь корабля, атмосфера корабельной жизни; морской простор, шумы, звуки и запахи морские,

вплоть до черноголовых чаек с их тоскливым выкриком, подобным брызгам морской волны, все здесь звучало оборвавшейся и недопетой песней на заре вступления в жизнь. И все же прошлое недолго занимало мои мысли. Казавшееся недостижимым навсегда и посейчас не поддававшееся привычному суждению, предстоящее свидание с матерью, с сестрой сковывало и подавляло чувства.

Трепет ожидания не покидал меня, и по мере приближения к цели становился все мучительней, сильней. Компаньоны по путешествию трунили над моей „хандрой“: „я, мол, не моряк, и море не моя стихия“. Я отмалчивался, уединялся и пребывал, как в лихорадке.

В столь мне знакомой гавани столицы на палубе у борта, я жадно вглядывался в лица многочисленной толпы, с русским радушием приветствовавшей гостей издалека. И вдруг увидел мать, узнал напряженно искавшие меня ее глаза, на изменившемся маленьком лице всё те же темные, лучистые глаза. Как в забытье спускался я по сходням. За несколько шагов скрестились наши взгляды и после секунды промедления мать, а за ней сестра бросились ко мне. Я, потерявшись, собою не владея, едва мог прошептать: „Простите!“ — А мать прижав меня к своей груди, твердым голосом проникновенно говорила:

— Вот и семья вся наша в сборе. Услышал Бог мои молитвы. Не довелось тебе увидеть тех, кого ты, уходя, младенцами оставил. И они ведь знали о тебе и дожидались твоего приезда. Два брата и две твоих сестры свою жизнь отдали в бою за Ленинград. Твой отец, моряк, душа его, и ты, русский офицер, потерей этой можете гордиться. Это — наши кровные, и многие им подобные, не позволили поганым проникнуть в Ленинград.

На эмигрантском моем лепете, неизменно питавшемся убогими задами, не было подходящих слов для подобных откровений. Молча я целовал старческие, сухие руки матери. Обнимал робко прижимавшуюся ко мне сестру. Ее я оставил хрупким, чувствительным подростком, а сейчас остро вглядывались в меня строгие глаза отца; в точности его не ведавшие компромиссов глаза, на до невозможного ставшим похожим на его черты лице, преждевременно состарившейся, много испытавшей женщины. Вопрошающий этот взгляд усугублял еще мою растерянность.

До дома мы добирались в такси. Путь был долог: от Гавани до Канала Грибоедова (по-прежнему — Екатерининский канал). Известно, что Петербург от самого своего рождения запечатлел на облике своем необыкновенную свою судьбу. На всем он хранит особую печать столичного, спокойного величия. Северное ли это солнце, морской ли воздух, суровые ли небеса или же гений

Петра, энтузиазм его сподвижников и кровь сотен тысяч крестьянских жизней, окропивших камни его стен, они ли сообщили отблеск нетленного величия всему: улицам и площадям, памятникам и строениям столицы? Столетия просуществовавший, отстраивавшийся, нареченный и переименованный он оставался все тем же Санкт-Петербурхом, каким он вышел из рук своих творцов, не похожим ни на один из своих многочисленных собратьев, старше по возрасту, или его моложе.

Августовское солнце на высоком небе, затянутом серой дымкой, бережно освещало еще не совсем оправившиеся его улицы, дома. На периферии было много разрушений, ближе к центру город был почти целиком восстановлен. Я глядел и умилялся: на всем лежала скорбная, но все та же своеобразная, невыразимой прелести, печать.

Мы двигались собственно по полю битвы. День и ночь осажденный город находился под обстрелом тяжелой артиллерии. Мать, сестра и пожилой шофер, уцелевший защитник Ленинграда, не подумавший мне поставить что-либо в вину и еще как бы признательный за мой интерес к городу герою, ежеминутно осведомляли меня о встречавшихся памятных местах героического сопротивления, о пришвартованных к Невскому граниту кораблях, о боевых пунктах обороны Ленинграда. Я смотрел во все глаза, молчал и неотвязно думал: „А ты что делал, когда твои братья умирали?“ Эта мысль подавляла все во мне. Она не покидала меня во все время моего пребывания в Ленинграде.

Теперь немногое мне остается досказать. Прошу прощения. Я и так уж до крайности злоупотребил вашим вниманием.

Небольшая квартира из двух смежных комнат, куда переехала мать после моего ухода и где впоследствии ютилось уже несколько семей, в доме частично разрушенном обстрелом. Эта квартира не сохранила никаких мне памятных реликвий. Лишь фотографии на стенах свидетельствовали о былом и запечатлевали смену поколений.

Вот мои сестры, жизнерадостные и красивые. Вот их мужья. Вот братья-богатыри, как в роду у нас положено, красавцы в мать. Их жены.

Я в храме. Перед каждой фотографией, как перед иконой в детстве смиренно я склоняю голову...

Десять дней я оставался в Ленинграде. Никуда я не ходил и ничего не видел. Кряду десять дней я слушал повесть о беспредельном, почти трехлетнем героизме населения в осаде; о трагедии, ставшей повседневным и повсечасным бытием.

Все средства массового уничтожения: голод, холод, невообразимые лишения, сама смерть оказалась деятельной пособницей врага. Тысячами безропотно умирали люди от дистрофии

на своем посту, до последней калории исчерпав с готовностью все свое тепло на дело сопротивления врагу, на дело поддержки и помощи соседу. Жена брата, едва окончившая свое учение врача, угасла в госпитале, делая укол больному. Ее грудной младенец замерз в нетопленой квартире. Муж Леночки, единородной моей сестры, снайпер, был обезглавлен бомбой... И синодику такому лишь в нашем окружении не было конца.

Непреодолимой оказалась решимость населения отстоять родной свой город от вторжения ненавистного врага; за жизнь цеплялись не с целью выжить: смерть избавляла от страданий. За жизнь держались с непоколебимой мыслью не отдать города на поругание врагу, с непреодолимой волей содействовать победе, победить.

Так Ленинград, подобно Сталинграду, ставшему символом непревзойденного геройства русского солдата, Ленинград стал мировым примером безграничного мужества мирного народа в борьбе за жизнь, за родину, за свой очаг.

***

Я не успел еще осознать по-настоящему, что нахожусь свободно в Ленинграде; не отошел, не отвлекся еще от видений в кровавом мареве апокалиптической войны; не смог еще хотя бы мысленно причаститься к повседневным заботам и чаяниям своих, как пришла пора мне расставаться с Ленинградом. Часами показались теперь дарованные мне десять дней. И вот, снова крестная дорога незабываемого сопротивления миллионного населения столицы. Снова я на палубе „Батория“. Со мной сестра моя и мать.

— Неужели опять ты оставляешь нас? — говорит мне мать. И вдруг, широко открыв глаза, будто сейчас только очнувшись: — а о себе ты так и ничего не рассказал. Что должен был ты в разлуке выстрадать за эти годы... Как же это получилось? — На мгновение удивленно озираем мы друг друга: — и правда, как же это так?!

И тут одна и та же мысль смущает наши взоры: „от векового дерева с многомиллионною листвой оторвался добровольно в грозу и бурю маленький листочек...

— Приеду вскоре снова, — в смущении говорю я. — Вы оправитесь, окрепнете. Дойдет черед и до моих переживаний“.

В душной каюте во все время путешествия я не в силах был отвлечься и уснуть. Бессонными ночами снова и снова я перебирал в уме нескончаемую цепь мучительнейших испытаний полуудшенных блокадою людей по вине „поганых“.

Вспомнил, что моя сестра и мать, как и пожелавшие пови-

дать меня, пришельца из другого мира, многочисленные посетители, в свою очередь с эпическим спокойствием, как об обыденном, сообщавшие о подвигах детей, женщин, о жертвах, от которых стыла кровь, все они порою не называли даже врага — немцем. „Поганым“ был для них насильник враг. Где-то, как-то, стал я усиленно припоминать, я слышал уже по отношению к немцам это старорусское, полное не ненависти, а презрения слово. И вдруг, как в калейдоскопе, развернулась передо мной, так взволновавшая когда-то не одного меня, за массой впечатлений ускользнувшая из памяти, давняя картина.

⁂

Январь сорок второго года. Без особого труда преодолев ряд наспех организованных рубежей сопротивления, враг почти беспрепятственно продвигается вглубь страны. Услужливые обозреватели вокруг считают положение русских безнадежным: народ и не думает сопротивляться; солдат не желает за „Советы“ умирать. С 17-го ноября по начало декабря 1941 года кровопролитное сражение на южном фронте. Освобожден Ростов, разгромлена немецкая танковая группа. Первое поражение „непобедимых“ немцев. Первый серьезный успех советских войск.

Звонок по телефону. У телефона полковник Николай Тимофеевич Беляев, старый друг.

— Василий Константинович, — говорит Беляев: — приходите сегодня к пяти часам. Услышите из первоисточника исключительно интересное о боях и настроении в России.

К назначенному часу в большой нетопленой гостиной у Беляева я увидел с десяток почтенных посетителей: почти все генералы с фамилиями с приставкой „фон“, в большинстве члены Исторического Общества. Их председатель Вел. Князь Андрей за недомоганием отсутствовал. Во вступительном слове Николай Тимофеевич пояснил, что он предложил друзьям собраться частным образом в виду исключительного обстоятельства.

Несколько дней назад, у парадной двери, Н. Т. увидел молодого немца офицера, отрекомендовавшегося на чистейшем русском языке племянником жены Беляева, урожденной Балтийской баронессы. По поручению матери, лейтенант явился засвидетельствовать свое почтение семье. Оказалось, офицер был участником ростовской эпопеи. Был ранен. Сейчас его часть переброшена во Францию и он находится в отпуску в Париже. Он охотно согласился поделиться своими впечатлениями с фронта.

Появился подтянутый, с иголочки одетый офицерик с лицом взрослого дитяти. Почтительно склонившись перед генералами с немецкими фамилиями и щелкнув звонко каблуками, он непринужденно начал свой рассказ.

— Немецкая армия по решению командования за два месяца должна была достичь Урала. Этим, в общем, по плану заканчивалась единственно из-за расстояний представлявшая трудности русская кампания.

— Сопротивление в Смоленске, в Минске несколько замедлило наше продвижение. Но неожиданная неприятность получилась у Ростова. Виною этому, конечно, проклятая русская зима. И нужно было мне как раз попасть в такую кашу. С первого дня войны я прошел немало по России. Настоящих сражений никак не получалось. Русские вели исключительно арьергардные бои. Население оккупированных нами селений, городов, преимущественно старики, женщины и дети, встречали нас тепло, но на мой взгляд особой радости не выражали, хотя мы тут же разъясняли, что пришли освободить народ от коммунистической неволи. В самом Ростове, например, днем все было в порядке. А вот ночью, в одиночку лучше было на улицу не выходить: подстрелят непременно. А кто стрелял, ищи тут ветра в поле. В середине ноября наша часть располагалась за Ростовом. Начались холода, а потом вдруг замело. В своей жизни я худшего не видел. Мороз больше 20°, снег валом валит и ураганом его вертит и разносит. Видимости никакой. Воздух дыхание стесняет. В непроглядную такую ночь неожиданно, как из преисподней, обрушился на наши части казачий корпус. Представляете? Мы не могли сопротивляться. Фронт был прорван и наши танки оказались в критическом положении. Мы отступали через Ростов. К этому моменту буря стихла. Тут-то и показало себя, очевидно вконец распропагандированное большевиками, население.

— Как вступили в город, так оказались под градом пуль со всех сторон. Стреляли с крыш, подвалов, из-за всяческих укрытий. Из открытых окон в мороз обезумевшие бабы бросали камни, стулья, тяжелые предметы. И вы поверите? Укрывшись, на деревьях стреляли дети! Мы их, как воробьев, снимали очередью из пулемета. На голову мне свалился увесистый утюг. И если бы не каска... Я продолжал идти некоторое время, ничего не понимая. Прошли мы город. На окраине редкие дома сплошь все на запоре. Захотелось пить. В одном окне я увидел женский силуэт. Я выбил ногой дверь и попросил у бабы пить. Обратился я по-русски. Баба посмотрела, как если бы увидела на мне рога. Протянула кружку и прошипела: „гад“.

— Разговаривая с населением, я давно уж приспособился и говорил, намеренно коверкая русские слова. Я заметил, что нечисто по-русски говоривших немцев они слушали, а от меня отворачивались, не смотрели мне в глаза. А тут забыл об этом...

— Ты что это, — я говорю: — старая карга, думаешь, ухо-

дим... Не радуйся. Скоро мы вернемся и я тебя запомню, большевичка

— Бросил я кружку и повернулся к двери. А она из револьвера и прямо в зад. Неприятно, первое ранение и в такое место. Я ее прихлопнул. На выстрел вошли наши. Оказалось, пустяки: кожу лишь задела. Баба лежит. Побелела, а глядит по-волчьи. Я наклонился к ней и говорю:

— Ошалела ты, в освободителей стреляешь! Петербург, Москву мы уже забрали. Не сегодня, завтра всю Россию заберем. Большевиков всех изведем. Для вас же; а ты стрелять?

А она:

— Про Петербург-Москву не знаю. Только все ты врешь, поганый. Не попустит этого Господь! А нашей землей вам не владеть. До последнего изничтожат поганых наши казаки.

Вот и спасай их. Мы для них поганые, а хорошие, значит, это для них — большевики.

Офицер ушел. Растерянно глядели генералы ему вслед. Всех, видимо, знобило в нетопленой гостиной. Но от такого озноба и любимое снадобье Беляева, горячий Урагвайский чай, по-видимому, не избавлял. Не обменявшись словом, никак не ожидавшие подобного финала, разочарованные генералы поспешно разошлись.

Шагая по палубе ночами, я пытался подытожить лавиной нахлынувшую на меня массу дотоле неведомых мне фактов, до глубины души потрясших меня новых впечатлений. Должен признаться, что, отправляясь в заведомо многострадальный Ленинград, я все же чувствовал себя пусть и не полностью, но хотя бы несколько сродни Иову, имея на эмигрантском своем счету приличное множество не без страданий преодоленных Харибд и Сцилл.

Увы, не только многочисленные визитеры в течение многочасовых разговоров, но и близкие, за десять дней бесчисленных бесед, не проявили никакого интереса к „житию“ моему и мне подобных, за рубежом. Да и я сам, признаюсь, забыл о нем, как если бы никогда и не существовало такого „жития“.

Тут только я полностью впервые осознал, насколько бесповоротно разминулись после революции жизненные пути эмиграции и русского народа.

В условиях катастрофической разрухи умученный голодом, в лишеньях без просвета, народ неизменно продолжал созидательно-жизненный свой труд, бессменно оставаясь на трудовом посту, как и на страже родины и государства. А эмиграция в

этот час... Живо рисует мне память обстановку. Злобу за поражение и лютую ненависть к режиму, эмиграция за рубежом целиком перенесла на свой же мученик народ. Контрреволюционная тактика части эмиграции сводилась по существу к подрыву любыми средствами, словом и делом, начинавшего лишь оправляться нестойкого благосостояния страны, а стратегия — единственно к иностранной интервенции с неизбежной расплатой за услуги заведомо отечественным добром. Я вспомнил о печальном опыте белой армии, нуждавшейся в помощи западных „друзей". Подлинной целью „союзников" было вовсе не немедленное поражение „красных", а лишь бесконечное продление братоубийственной войны.

И, не разбирая средств, не удержалась эта эмиграция от смертного греха — провозглашения Гитлера стряпчим-фюрером по упорядочению наших эмигрантских к России притязаний. От немцев, по злодействам не уступавшим звериной жестокости татар, эмигрантская масса ждала „освобождения" своей страны. По мере своих сил, равно как недомыслия она содействовала закрепощению и гибели России.

Эта мысль, представившаяся мне теперь во всей ее неоспоримой трагичной наготе, лишала меня сна.

„Имеет ли право такая эмиграция претендовать на роль водителя и опекуна России", — напрашивался неотвязно мучительный вопрос. — „С чем возвращаюсь я из Святых Мест?!".

Не мало я проходил по палубе шагов. О многом передумал. Единственно „страна", „народ", решил я после долгих размышлений, лишь эти социально-биологические категории обладают изначальной животворной „благодатью", способной одухотворить и сделать творческой волю человека. Эта мысль увековечена в античной легенде об Аитее, остававшимся непобедимым, пока он непосредственно соприкасался с матерью-землей. Трагедия русских талантов на чужбине — наглядный этому пример. Лишенные народной „благодати", как растения, лишившиеся солнечных лучей, снижаются и гибнут творческие силы.

И впервые с абсолютной очевидностью я понял, я узрел, что только связь с родиной, со своим народом, живейший интерес к его судьбе, к поражениям и победам, единственно такая связь может осмыслить жизнь эмигранта, обреченного вдали от родины коротать свой век. И если могли бы у меня еще оставаться малейшие сомнения относительно правильности моего нового пути, то и они должны были бы исчезнуть окончательно. В именующей себя „русской" эмигрантской прессе вскоре я прочел: „Ленинград не обстреливали вовсе немцы и лишь по человечности его не занимали, так как не хотели обязываться кормить „четыре миллиона человек". А Ленинградцы ждали немцев и

только и думали о том, чтобы Ленинград не стал „советским“.

Но я был уже далек от возмущения. Я и моя жена, мы обрели Россию, наш народ... И радостью переполняет мое сердце убеждение, что на светлом этом пути я не одинок: наше содружество тому непреложная порука. Пусть же и моя исповедь, повесть о моих взлетах и падениях послужит „документом“ для наших ближайших выводов и заключений. Заветную тетрадку, летопись путаных моих дорог, я передаю в архив „Клузарусина“.

— Не сомневаюсь, что выполняю общее желание друзей, сердечно поблагодарив вас за ваше правдивое о себе сказание, — заявил Безладный, пожимая крепко руку Дубинина. — К обсуждению по существу мы, с общего согласия, приступим после ознакомления с выступлениями друзей „по личному вопросу“. Замечания к порядку дня, если таковые у кого имеются, мы, за поздним временем, отнесем на следующее заседание. Поблагодарим за гостеприимство любезную Софью Валериановну. Следующее, третье заседание „Клузарусина“ через две недели.

— У Дубининых, — заключил с радушием Василий Константинович: — несколько пораньше, по обыкновению, к котлетам и борщу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Трапеза друзей началась в урочный час и прошла с обычным оживлением. Беседа по преимуществу касалась непредвиденного вовсе обстоятельства. Слух об организации клуба русских эмигрантов разнесся быстро по поселку, а отсюда проник и в Парижские круги. Стали поступать просьбы о разрешении посторонним присутствовать на заседаниях клуба и даже от французов, соседей по поселку. Друзья с опаской отнеслись к такому начинанию и не сочли даже возможным обсуждать его всерьез, вплоть до окончания высказывания товарищей по личному вопросу, pro domo sua.

Третье заседание Клузарусина открыл Безладный и предоставил слово полиглоту Егорию Аверьяновичу Лампадину.

— С чувством близким к умилению и с трепетом после всего услышанного здесь, — начал свою речь Лампадин: — приступаю и я к очищению своей души, к катарзису. Но не на греческий, и даже не на Фрейдовский манер, а по-старинке, на исконно русский:

Встань, проснись, оглянись.
Чем ты был и чем стал
И что есть у тебя.

Для полноты и при моей готовности к раскаянию, я не прочь бы начать хоть с колыбели. Но от первых лет моего существования не сохранилось ничего, что можно было бы отнести к грехам. К тому же я вырос в семье, чуждавшейся грехов и богомольной до того, что с пяти лет, взывая к Богу, я по собственной инициативе лепетал молитву дважды: сначала „за детей", а затем лишь за своих и за собственное благополучие. Сын волжанина, старообрядца мукомола и матери из древней народности

коми, по-старинному, зырянки, не так давно узревшей лишь единого и истинного Бога и тем паче убоявшейся его, я, как значится на моем лице, продукт расового скрещения и жертва религиозности в квадрате. Моя мать принадлежала к особой, несколько уже обрусевшей ветви этой народности, коми-пермяцкой. Территорией ее расселения была местность вокруг Вятки. Язык коми — разновидность Финно-Угорского наречия. Вам интересно будет знать, что земля полудикого немногочисленного народа Коми, — затерянная среди лесов и тундры заполярья с печальной славы трагической Воркутой на своей территории, в настоящее время преобразилась в автономную область с полумиллионным населением, железной дорогой, двумя высшими учебными заведениями и всеобщей грамотностью. От матери я унаследовал выдающиеся скулы и несколько раскосые глаза; все прочее, включая рост, от богатыря отца.

Религиозность в нашей семье практиковалась интегрально. С молитвы начинался день и молитвой день кончался. Сестренку, тремя годами меня старше и самого меня еще ребенком подолгу заставляли молиться на коленях перед огромным иконостасом с киотами блеклого, старого письма со множеством таинственно мерцавших больших и маленьких лампадок всех цветов. Отца же и мать, как и соседей, мы часто видели коленопреклоненными, а то и вовсе распростертыми, как если бы они замаливали тяжелые грехи.

С пеленок и надолго впрок мы восприняли нутром панический „страх Божий“, первый и неотъемлемый залог „премудрости“ по учению Церкви. За каждой мыслью и, конечно, за поступком само собою являлось опасение, не порадовали ли мы „нечистого“, всегда на страже наших прегрешений тут же среди нас, и не обидели ли Бога? С „нечистым“ в семье нашей боролись всячески и ежечасно все. Своим религиозным исступлением отец довел до истерии мою болезненную мать-зырянку и свел ее преждевременно в могилу.

В пять-шесть лет я свободно объяснялся, никогда не путая, на трех, выходит, языках: на русском, коми и татарском, переняв с легкостью этот последний от сверстников татарчат. В этом же возрасте от сестры вприглядку я научился читать. Зуд разбирать печатное постоянно преследовал меня. Я то и дело принимался за имевшиеся у нас кой-какие книжки. С удовлетворением, не вникая в содержание, я разбирал непонятные слова. Однажды в руки мне попалась книжка в цветной обложке. На ней странными буквами, разобранными мною лишь с помощью сестры, значилось: „Священная История“. С интересом я открыл первую страницу. Я увидел старца с пышной бородой, в кудрях, сидящим на облаке, как в кресле. Все было яснее ясного. Дело

шло ведь об истории „Священной“. Впервые я видел изображение Бога и долго вглядывался в показавшиеся мне приветливыми черты его лица. Перевернул страницу и увидел бородатого того же, очевидно, Бога вполоборота, в длинном теперь пальто до самых пят. Он стоял перед костром из ладно сложенных дровишек. На дровишках покоился голенький ребенок. В угрожающе поднятой Божеской руке зажат огромный нож. С трудом я разобрал первые слова подтекста: „Бог искушал Авраама“, с ударением на втором слоге прочел я. Сердце мое остановилось. Я похолодел. Страшная правда сковала мои члены. Маленький Авраам, очевидно, провинился перед Богом. В наказание Бог заколоть его готов, поджарить на костре и скушать. Не так давно я видел, как обжигали заколотого поросенка во дворе у нас. Себя не помня, не смея скользнуть взглядом в сторону икон, я едва добрался до своей постели. Всю эту ночь я бредил и криком всполошил весь дом.

Когда на следующий день наша кухарка, Марковна, стала мне выговаривать, что, набаловавшись днем, я обеспокоил ночью больную мать и что за это боженька меня накажет, я в ужасе завыл: теперь я знал, как боженька наказывает провинившихся детей. С этого дня я и начал повторять молитву дважды: сначала за детей, а потом за родителей и за себя. Покалеченная страхом моя детская душонка находила прибежище единственно в богоугодном, по словам отца, старании преуспеть в „науках“. И я старался не за совесть, а за настоящий страх: выводил палочки и нолики до одурения не только на яву, но и во сне. Незаметно как-то я очутился на гимназической скамье и тут же стал жертвой тяжелого искуса.

На первом же уроке закона Божия батюшка мне приказал идти к доске. Неприязненно оглядев меня с ног до головы, суровым голосом он стал отчитывать за поведение моего отца. Я стоял ни жив, ни мертв и едва лишь понимал, о чем шла речь.

— Из-за молельни в вашем доме, — слышал я: — город весь смердит. Хулу на церковь произносите. Дьяволу кадите Мать твоя больна. Сам ты вытянулся, а шея у тебя цыплячья. Не потерпит Бог такого поношения. Скоро свое слово скажет. Здесь терплю тебя в надежде, что наставления и пример всех учеников по классу исправят и уберегут тебя от неминуемой погибели. Иди на место.

Обливаясь слезами, я вернулся на свое место и проплакал весь урок. Товарищ мой по парте, доходивший мне лишь до плеча, веснущатый мальчишка, сочувственно сжимал мне локоть много раз. В перемену он отвел меня в сторонку и, опасливо стреляя быстрыми глазенками, озираясь, зашептал:

— Брось плакать. Поклянись, что никому не передашь, что я сейчас тебе открою.

— Клянусь, — поклялся я проникновенно.

— Нет, скажи, „клянусь я черным вороном“.

— Клянусь я черным вороном, — задрожав я прошептал.

— Так слушай. Грамматика нас учит, что ни Бога, ни чертей на свете нет. Батюшка нарочно нас пугает. Помни, ты поклялся.

Тут же осознать все впечатления нежданного такого дня было мне, конечно, не под силу. Неуверенным шагом возвращался я домой. Загадочными, черными глазами большого ворона, не отрываясь, глядела на меня „грамматика“. Дома я робко пересказал отцу упреки батюшки, пояснив, что батюшка, как будто, недоволен нашим Богом. Отец разразился странной бранью, называя Бога батюшки, как и понял, идолом и супостатом.

Так впервые, на заре своей юности введен я был во искушение. Два соперничавших Бога оказались в моей маленькой груди. Молиться, но кому, домашнему или гимназическому Богу? А тут еще змеится ужасающая мысль, что Бога-то и вовсе может нет... И худшее, что после страшной клятвы никому нельзя еще открыться...

Разъяснившееся вскоре заблуждение с жертвоприношением Авраама нисколько не убавило моего трепета перед Всевышним. Настоящая история по сути дела даже его усугубила, подтвердив приверженность Господню, при случае, к детскому жаркому. Кому и как правильно молиться, терзала меня неотвязно мысль. Отцу я не мог и заикнуться о своих сомнениях. В батюшке я чувствовал врага.

Годы еще я пребывал в состоянии душевного смятения, опасливого беспокойства за свое благополучие. К счастью, повседневная гимназическая „злоба“ поневоле вырывала меня из затхлого угла нашей молельни, направляла мои мысли по другим путям. Быстро текли годы. Однако, заноза религиозного психоза, хоть и изжитого с годами, оставила чувствительный свой след, едва ли не на всю жизнь.

Я не философ и материя науки наук не является излюбленным сюжетом моих обычных размышлений, как это свойственно нашему приятелю Харонину. Однако, к вопросу о стойкости в детстве усвоенных религиозных восприятий при осознаной уже их несовместимости с элементарной логикой, как и с общепризнанными постулатами науки, нередко возвращалась моя мысль. Смущала наблюдавшаяся мною приверженность к примитивной, сусальной подчас, религиозности с ее условной, архаической обрядностью некоторых писателей, иногда даже и людей науки.

Писателей, воинствующих под религиозным стягом обычно во славу одной из конкурирующих Церквей, можно понять.

Искусству близки сонмы образов, букет легенд и фантастических коллизий, жертвенный мартиролог, заполняющий мифологию христианства. Интересно, что, уподобляясь античным и христианские писатели склонны при случае самого Бога-Отца очеловечить, вплоть до признания за ним и неудач. В оратории Клоделя „Жанна на костре", Св. Доминик, посланный небом споспешествовать Жанне на суде, утешает Жанну после осуждения: „Они осудили тебя против Господней воли. Это не священники, а дикие звери".

Символика писателю сродни, а с мистикой Пегасу легче забираться в небо... Допустим.

С писателями и особенно с учеными, пятнающими усердно лбы церковными полами, дело, по-видимому, обстоит сложнее. Объяснение такой аномалии Фрейд находит в неизжитой своевременно инфантильной у них религиозности, превратившейся в подсознательный невроз. Это вполне правдоподобно. Движущим началом, вернее, сущностью религиозной страсти в детстве, является ведь только страх — страх интегральный, без возможностей какого-либо торможения. Не выветрившийся самопроизвольно или сознательно, неопределенный этот страх со временем теряет свою специфичность. При всяком жизненном конфликте он проявит себя колебанием и неустойчивостью духа, ищущем подспорья в первоначальной примитивной вере во Спасителя извне. Прошу прощения. С философией я обещал ведь не якшаться. Но к этим рассуждениям я прибегал не как к афоризмам для мозговой гимнастики. Ими, как лечебным снадобьем, я восстанавливал свою жизненную стойкость и укреплял душевное здоровье.

***

Три языка были мною усвоены, как я уже заметил, автоматически, естественным путем. К гимназической латыни, как и к греческому вскоре, я отнесся поначалу без интереса, как к ученической повинности. С годами, однако, по мере углубления в структуру, в чудесно-гармоническую архитектуру особенно латыни, нараставшее мое любопытство к языку сменилось настоящим восхищением.

Не затаившаяся ли в подсознании идея о премудрой и таинственной „грамматике", откровение веснущатого моего соседа Иоганна Петухова и обусловило мой неутомимый интерес к грамматике, к грамматическому построению и сущности различных языков, с преображением нежданным в полиглота?!

Вскоре проза латыни звучала для меня, как белые стихи. Сам собой народился у меня особый интерес к культуре и быту римского народа, создателя такого языка. Античной мифологией,

ее фантастической монументальностью я был поначалу озадачен, но мало-помалу пленительная поэтичность ее героев и богов увлекла меня до крайности. Лишь со временем я по-настоящему восчувствовал, до каких творческих высот доводит человечество жажда иллюзий в нашем непонятном и враждебном ему мире! Всякий Пантеон — это образная алгебра натурфилософии народа. Ведь и философы древности разделяли веру в эти мифы. Сам Сократ принес в жертву петуха богу врачевания Асклепию, прежде чем выпить уготованную ему цикуту.

Память у меня была больше, чем хорошая. В нашей молельне я знал имена и жизнеописания всех представленных святых. И Олимп стал вскоре для меня столь же привлекательным и знакомым храмом. В старших классах я уже считался знатоком античной мифологии. Какая сила природы и какая сторона человеческой судьбы находится в распоряжении у какого бога, как и родство богов между собой, было мне в точности известно. Не раз мне приходилось поправлять сбившихся с правильного пути учителей.

Первый ученик, со званием выдающегося латиниста, я мог бы пожинать спокойно лавры своего успеха. Если бы не все тот же, не сложивший оружия мой заклятый враг, наш законоучитель. Во все продолжение гимназического курса он, после первого внушения, ни разу не обратился ко мне с единым словом. Среди сплошных пятерок одиноко в моих табелях по закону Божьему ютилась вынужденная, очевидно, его четверка, все та же вплоть до аттестата зрелости.

Как-то восьмиклассником я столкнулся с ним лицом к лицу в опустелом коридоре. Он с ненавистью оглядел меня и, понизив голос, прошипел: „Отличаешься, богопротивную молельню на языческое капище сменил. Шагаешь по предопределенной тебе дьяволом дороге. В римлянина поганого теперь преобразился...“.

С деланным смирением я ответил: „Римляне не существуют больше. Но оказаться соотечественником апостола святого Павла, я полагаю, было бы вовсе не зазорно. Вам, должно быть, известно, батюшка, с каким достоинством апостол Павел заявил при случае: „Ciris romanus sum“.

Побагровев, батюшка плюнул и опрометью бросился от меня бежать.

К этому я мог бы еще батюшке добавить: именно начальство пыталось сделать гимназистов тенями древних, устранив полностью гуманитарные науки из гимназической программы и уделив три часа в неделю на русский язык и русскую литературу, а двенадцать на латынь и греческий язык во все продолжение гимназического курса. И если Толстовская реформа просвещения имела целью создать тип интеллигента с мышлением, на-

правленным „назад, и мимо“, то со всей скромностью я смею утверждать, что в моем случае эта реформа вполне достигла цели. Я порхал в античных сферах, как мотылек в эфире и окружающего совсем не замечал. Даже молясь, я невольно обращался теперь к Богу не в образе старца в халате, на облаке со спущенными в пустоту ногами, как усвоил это в детстве, а в виде потрясающего исполина голышом, Фидиева Зевса.

Дальнейший жизненный мой путь тем самым был предопределен заранее. Самой судьбой мне было уготовано уже место на историко-филологическом факультете в Казани, куда направлялись все волжане абитуриенты. Там должен был быть сформирован из меня латинист, по всей вероятности, новый прообраз или же достойная копия известного всем нам „человека в футляре“, преподававшего кстати греческий язык.

Я позволил себе подольше задержаться на памятных годах моего отрочества и детства. Хотя ничем особо примечательным они не отличались, все же они-то во многом и сформировали мою „личность“ и предопределили, возможно, и судьбу. По существу эти годы всего дальше были от счастливых: без матери, — ее я лишился в 10 лет. И к безмятежным, как это им свойственно обычно, трудно их причислить.

Сознание неполноценности, приниженное чувство старообрядца среди массы самодовольно правоверных, невольно вызывала у меня гимназия. Удивительно с какой остротой и живостью это чувство запечатлелось в моей памяти.

***

С трудом и не без оглядки я разделался в Университете с не покидавшим меня в гимназии чувством отчуждения, постоянной настороженности, мешавшей сближению с учениками. Иная, новая среда, особые переживания, связанные с впервые лишь испытанной свободой университетской жизни, раскрепостили мои чувства. Разверзлись мои душевные хляби, и потянуло меня к людям. Захотелось дружбы и такой, и всякой... И не в ущерб, а во славу новых достижений в полюбившемся мне языкознании.

На моем курсе, не в пример с другими факультетами, была лишь горсточка студентов. Все, казалось, не помышляли ни о каких „проблемах“, а единственно лишь о своей „науке“.

Я поселился в семье врача, вдовца. Сын врача, студент, по матери татарин, оказался моим коллегой по курсу и по факультету с уклоном лишь в сторону исторических наук. Мы быстро подружились и связь латиниста с историком оказалась весьма полезной нам обоим. Была у доктора еще и дочь подросток... Но это, что называется, история уже другая. Забегая

несколько вперед, позволю себе о сем лишь маленьких два слова.

Росла эта девочка на моих глазах пусть не „по часам“, как это бывает в сказке, но могу заверить честно, если не по неделям, так обязательно по месяцам. А обаятельней и краше неотступно становилась, что ни день. Прибавьте к этому, что в круг своих интересов она включила вдруг мою лингвистику, в то время — как прежде разделяла с братом к истории горячий интерес. Мог ли я помыслить, что окажусь чувствительным к эманации, непреодолимо исходившей от этой юной русско-татарской Афродиты с косым разрезом блестящих черных глаз, с ресницами, как опахало, так напоминавшими мне мать. С подобной музой за плечами, мое рвение к науке превратилось просто в раж.

В языковедение, в формы языка и его глубины я погружался, как в чудесный, сотворенный человеком мир. За сочетанием слов, за каждым оборотом речи, я знал, скрывалась тайна восприятия окружающей природы данным коллективом, выявлялись предпосылки мышления каждого народа. У каждого на свой собственный, оригинальный лад. В гимназии без труда усвоенные немецкий и французский еще углубили и расширили мой языковый кругозор. Известно, что язык есть обязательный продукт культуры. Он родится и развивается с духовным ростом коллектива, являясь одновременно следствием и стимулом прогресса.

Каждый язык запечатлевает в своеобразных формах подход к решению жизненных задач, выявляет философию данного народа. Взять хотя бы различие языков в отношении деления существительных по родам, как и присутствия перед существительным „служебного“ артикла, усугубляющего значимость существительного. В латинском, как и в русском — три рода существительных, без утверждающего члена. В немецком также три рода, но с присутствием артикла. Во французском, том же латинском языке, только два рода, каждый в сопровождении своего артикла; в английском и вовсе один лишь род с единственным артиклом the.

Уже эти „граматические категории“, их особенности, не характеризуют ли они специфичность восприятия, да и мышления каждого народа? Ширь русскую; немецкую аккуратность; французскую своеобразность, как и обособленность англичан.

Языковедение не замкнуто в себе, по своей сущности оно еще и энциклопедично, так как связано с целым циклом разнообразных прочих дисциплин, — от этнографии и археологии начиная и кончая логикой и психологией.

Мой „футляр“, как видите, не был узким и отличался, не в пример известному другому, и своеобразием и поместительно-

стью. Беда лишь, что без малого всего три года отпущено было мне судьбою для накопления на факультете знаний и привольного студенческого жития. Поскупилась судьба индейка на один лишь еще год. Не позволила мне оформиться с латынью. А вот еще, не дала мне дождаться нарождения чудесной бабочки из так восхитившей меня уже ее личинки...

То разгоравшаяся, а то лишь тлевшая на окраинах война долго не касалась студенчества Казани. Но вот стали студенты, прервав занятия, добровольцами уходить на фронт. За первым же примером, не раздумывая, подобно героям древности, сменил и я решительно перо на меч и ринулся спасать отечество. После ускоренного обучения в офицерской школе с погонами прапорщика, внушавшими мне, должен признаться, почтение близкое к фетишистскому, я оказался в действующей армии, в пехоте. О своих подвигах не стану здесь распространяться. К концу 16-го года я был уже поручиком с немалым количеством отличий и с непоколебимой верой и решением биться до победного конца, во всяком случае „до проливов". На вершине моей славы, в январе 1917 года небольшим осколком тяжелого снаряда в мгновение я был повержен в прах: оказалось серьезное ранение с раздроблением кости правого бедра. В госпитале, в Минске я очутился в весьма плачевном состоянии. Врачи тут же определили срочность высокой ампутации ноги. Лишь мой богатырский вид и здоровье позволили врачам внять моим мольбам и медлить с операцией. Как видите, подчас и в наше время бывают чудеса... В значительной степени чудо совершила, конечно, медицина, возможно все же не без участия святых. К ним, по позабытой было уже мною привычке, я многократно и усиленно взывал...

***

Много месяцев я пробыл в лечении. В моей памяти, кроме страданий, время это связано с неожиданным еще и особым происшествием, не имевшим к медицине отношения. Там заложены были основы моего знакомства, вы удивитесь, с китайским языком: известно, что на ловца и зверь бежит.

В госпитале я оказался больным рекламным, гордостью сохранивших мне конечность эскулапов. Старший ординатор, молодой хирург, с которым я особенно сдружился, свободные минуты проводил в нашей палате, где был в комплекте цвет покалеченных героев. За долгие недели нашего мучительства всё особо примечательное каждый из нас успел уже поведать о себе. И моя приверженность к языкознанию не была секретом.

Как-то доктор осведомился у меня, не пойму ли я поступившего в госпиталь китайца? Китаец корчится от болей, обсле-

дование по непонятной причине встречает затруднения, а объяснить он ничего не может. За неимением развлечений вся наша палата занялась китайцем. Он появлялся с лицом сфинкса, безносый и безглазый и жестами молча демонстрировал свою болезнь. Движение руки ко рту — он пьет; затем он касается рукой подмышки — никто жеста этого понять не мог; кончалась демонстрация прикладыванием рук к низу живота, означавшем, видимо, страдание. Пантомима эта повторялась в точности, что ни день, а китайской шарады разгадать не облегчала.

Решили ждать поступления в госпиталь других китайцев в надежде, что кто-либо из них объясняется по-русски. Дело в том, что к этому времени тысячи китайцев и корейцев были доставлены на фронт для рытья окопов. Я же решил использовать китайца для предметного знакомства с языком, с целью таким путем разгадать шараду. Китаец оказался смышленым малым. Я вопрошающе касался его лица, членов тела, предметов, находившихся в палате и он повторно называл их имена. Накопилось уже с полсотни слов, а задача оставалась та же. Прошло несколько недель. В госпиталь попал кореец, говоривший хорошо по-русски. Он пояснил, что только путем письма он может с китайцем объясниться: иероглифы у них те же, а произношение различное. Наш китаец оказался грамотным и тайна разъяснилась.

Известна изощренность китайцев в применении пыток, но оказывается и в шутках следует предоставить китайцам первенство. Друзья, оказалось, угостили нашего приятеля ханжой и, забавляясь, сонному ввели стеклянную трубку в мочеиспускательный канал. Касаясь рукой подмышки, китаец находчиво намекал на термометр, напоминавший ему злополучную трубку из стекла. Трубка полая сломалась и осколки оказались в пузыре. Какие муки должен был испытать несчастный, физически работая к тому же тяжело?!

Выходит, терпеливость, непонятную и немыслимую для европейца, нужно также причислить к особенностям китайской расы. Доктор уверял меня, что при операции без анестезии китаец лежит не шелохнувшись и не протестуя, пробормочет разве только „пу шанго“ (не хорошо). Во все последующее время я не прерывал связи с находившимися на излечении китайцами и прилежно учился речи, а также и китайскому письму.

***

А время на месте не стояло. Отдаленным э,хом доносились в нашу палату раскаты грома, предвещавшие нараставшую революционную грозу. С возмущением мы узнали об отречении

государя и утешались мыслью, что новое правительство все силы направит на борьбу с врагом. О последовавшей в войсках разрухе мы могли судить по воцарившейся в госпитале тотчас же кутерьме. Санитары и больные сместили главного врача. Госпиталем заправлять стал комитет. Веками установленный общевоинский порядок стал кубарем катиться вниз. Наиболее чувствительным ударом была все же отмена отдачи чести, знаменитый приказ Гучкова № 1, разложивший армию вконец.

В армию я устремился спасать отечество с клятвой, подобно героям древности, вернуться „со щитом". Увы, из госпиталя я вышел почти что „на щите", — на костылях и для определения дальнейшего пути мне предстояло еще представиться во врачебную комиссию. После почти пятимесячного госпитального затворничества Минск меня ошеломил. Улицы сплошь были заполнены возбужденной праздной солдатней. На каждом перекрестке группы, будто заговорщиков, местами настоящий митинг. А речи — я не доверял своим ушам: ничего запретного, святого не существовало больше на Руси и не для критики, а как бы намеренно, для поношения.

И это было далеко еще не все. Худшее ожидало меня во врачебной комиссии, куда, хромая, я направил неуверенно свои шаги. Грозная комиссия с офицером председателем, периодически налетом безапелляционно выдворявшая на фронт залеживавшихся в госпиталях раненых и больных, являла ныне печальную картину. Пределы фронтовой разрухи были здесь открыто на виду...

⁂

В небольшой палате за столом, накрытым простыней, расположились пять врачей, теперь по-революционному, без офицера. На скамейке вдоль стены с десяток подлежащих испытанию солдат и офицеров. Солдаты, судя по замечаниям, никак не с чувством агнцев, безропотно, как это бывало, ожидающих решения ареопага. Эти агнцы прежде всего в полном окопном снаряжении, большинство с винтовками. У всех суровые, решительные лица и, нужно сказать, без малейших видимых следов страданий или полагающейся у испытуемых хотя бы томности.

Госпитальный двор „кишьмя кипит", как выразился артиллерист-грузин, также явившийся на испытание, „кишьмя кипит" солдатами, ожидающими своей очереди, а большей частью здесь с целью лишь разведать, как надлежит вести себя в подобном случае.

За столом пять растерянных врачей, явно на положении осажденных. Усиленно любезный тон их обращения с испытуе-

мыми в кричащем противоречии с грубым и непринужденным поведением солдат.

У стола весь заросший, пожилой солдат из Вологды. Назвав себя и свою часть, он, глядя в сторону, небрежно заявляет:

— Больше года, как шрапнели пуля, али там осколок, неизвестно, в животе. Животом и мучаюсь. Пища впрок давно уже не идет. Желаю полного ослобождения от службы. Повоевали, хватит. Пусть ампирилисты справляются, как хочут, сами.

— Находились вы на излечении? Имеются ли у вас какие-либо документы о ранении? — голосом сирены спрашивает врач.

— Находились... Как же! Да без толку. С вашим братом, докторами, попробуй, разберись...

— Разденьтесь, — тем же медовым тоном предлагает врач.

— А зачем? — шрапнель внутре. Сверху не видать...

— Конечно, — соглашается, сладко улыбаясь врач: — но нужно оглядеть рубец. Необходимо точно знаки все отметить.

— Вот чего еще придумали — раздевайтесь, — обращаясь к сидящим на скамейке, разыгрывает возмущение солдат: — мало накуражились! Раздевайтесь... Не те теперя времена...

— Пырнуть его, — трясет винтовку усатый, долговязый сосед мой по скамейке. — Пусть ищет знаки на себе.

Скрипят перья. Врачи спешно заполняют формуляр.

Опустив голову, я дрожал от негодования и стыда. Война в разгаре. Ante portas неприятель ,а армия в разброде... Возможным лишь усилием воли я старался отвлечься, уйти от этого кошмара. Снова привлек мое внимание новый испытуемый, явно офицер. Держа высоко полученную от врачей „путевку“, он, обращаясь к солдатам, закричал:

— А теперь на Дон! увидим, какая сторона потянет! — и бросился из комнаты бегом.

— Вот сука, — в недоумении заметил долговязый: — а чего на Дону он не видал?!..

Здесь впервые я услышал клич „На Дон!“ „Не готовится ли там русская Вандея?“ и от этой мысли жаром неожиданным надежды всего обдало меня.

Недолгим был мой разговор с врачами. По моему настоянию вместо увольнения из армии, что усиленно предлагали мне врачи и чего я и в мыслях допустить не мог, я был уволен в отпуск на три месяца для продолжения лечения. Нет, своего оружия я еще не сложил!

Из Комиссии я шел в сопровождении полковника, пожилого офицера. С зелено-бурой, неестественной окраской одутловатого лица, беспрерывно кашлявший после газового отравления, он был свидетелем моих пререканий с врачами. С язвительной иронией он стал высмеивать мое поведение и особенно мои надежды.

— Революционеров, всяких социалистов я органически не выношу. Это у нас фамильное. Отец мой был полицмейстером в Литве. Его там помнят. За мою долгую карьеру не раз мне приходилось потчевать бунтовщиков рабочих меткими пулями моих солдат. Одно слово „революция“ приводило меня в раж. И вот, судьба действительно играет человеком... Мог ли я во сне вообразить, что проклятой этой революции я обязан буду тем, что избавлюсь от военного суда по обвинению в измене?!.. В кругу друзей я как-то не удержался и сказал: „С конокрадом мужиком в роли батьки всероссийского мы скоро докатимся до ручки“. Я не заметил копавшегося неподалеку малограмотного нашего попа из монахов. Через несколько дней я находился уже под тайным следствием и дело шло в ускоренном порядке. Революция спасла меня и превратила, курам на смех, почти в революционера! И это напоследок... Перед смертью... Узнал бы мой родитель, перевернулся бы он в гробу. Ну и анекдот.

— Моя песня спета. Одна радость, не увидят мои глаза, как пойдет все прахом... А вы-то воевать все собираетесь Умора, ха-ха, ха... Посмеялся бы хоть вволю, да проклятый немец отравил. Не до смеха. Грудь всю разрывает... Без головы видали вы живого человека? Без штаба фронт может воевать? Знаете вы, куда минчане, народ, известно, любопытный, развлекаться ходят, последние новости узнать? В штаб фронта, в самый штаб! При генерале Эверте вся улица была закрыта для прохожих. У подъезда беспрерывно стояли казаки. Теперь там Минская толкучка. Настежь все комнаты раскрыты. Штабные на своих местах сидят и пишут... Для шпионов... Вот уж кому раздолье в штабе! А сам-то командующий фронтом! Он тут же... Среди минчан. Всем руки пожимает. Армейский подполковник не стриженный и плохо бритый; прямо из окопов. В сапогах и гимнастерке, ну, не времен Очакова, зато бессменно в тех же с 14-го года. Это уж наверняка. Представляете?!

Вот вам картинка очевидца. Перед ним бравый фельдфебель. Вытянулся, как на параде, и докладывает: „Орудий — столько, снарядов... лошадей, людей. Тяжелый дивизион у станции такой-то. Готов к погрузке. Куда прикажете направить?“ — „Спасибо, голубчик. Очень хорошо. Очень хорошо“. И трясет руку кому-то уж другому. Если не лень, наведайтесь. Возможно, что тот фельдфебель и по сейчас еще на том же месте. Ждет приказа.

А вы наперекор стихиям воевать все собираетесь! Вот уж доподлинно гишпанский рыцарь, хоть и хромой! Ну, если уже так приспичило, организуйте новый „отряд смерти“. Их сколько там с нашитым черепом гуляет с песнями по Минску:

Смело мы в бой пойдем
За Русь святую...

— Что же, по-вашему, конец пришел России? — обрел я, наконец, не без труда дар слова.

— Россия — живая церковь наша, вечная: в ней вся Троица, все ипостаси. В ней одной. Но много страданий принесет ей поражение, — до изнеможения закашлявшись, прошипел полковник. Наскоро пожал мне руку и быстро удалился.

Долго еще этот сиплый судорожный кашель, как сигнал тревоги, отдавался у меня в ушах. Но я был молод и после столь долгой госпитальной нирваны жаждал действий.

***

Охватить творившееся взглядом, осознать открывшуюся вдруг шаткость вековых устоев, отдать себе хотя бы поверхностный отчет в каскадом следовавших переменах, оказалось не под силу и более искушенным в социальных проблемах и политике, чем был покорный ваш слуга, как выражались прежде. Стозевно вопила кругом „злоба“, а для себя я не видел иного жребия, как свои мечты принять за явь, а непонятную, апокалиптическую „злобу“ — за преходящее, дурное сновидение. Вскоре и я шагал по Минску во главе „отряда смерти“, зычно воспевая свою готовность умереть за Русь святую.

Но потрясавшая Россию патетическая песня гремела не на фронте и не в прифронтовом тылу... И пеклась она не о „святой“ Руси, а о каком-то Ленине и о неизвестных мне Советах...

Трудно пересказать теперь, что я ощутил, когда после вдруг наступившего грозного затишья из-за потери связи с центром, пришло известие, что окончена война и Россией правит “Совет Народных Комиссаров“. Это последнее сообщение, где „Нижегородское“, привычно-буднее сочеталось с героическим „французским“, ошарашило всего сильнее. От „комиссаров“ несло Дантоном, Робеспьером, а значит и чем-то близким к гильотине... Закончилась недолгая пора иллюзий. В революционном гейзере испарились мои надежды. Мой „героизм“ и страдания оказались ни к чему. От переживаний а больше от бесцельного шагания по Минску, сдала моя нога и пришлось мне снова вернуться в госпиталь на койку.

Октябрьская эпопея сверху донизу всколыхнула и без того уже беспокойные фронт и тыл. Лишь через помутневшие стекла госпитальных окон я мог наблюдать воцарившееся тут же столпотворение. Последовавшее вскоре запрещение офицерам носить погоны, по существу лишь непоправимо санкционировало непреложный факт — факт окончательного уничтожения армии, как таковой. Но целью этого приказа было также снижение авторитета офицерства и моральное его унижение. А погоны

были для меня так же священны, как и мой нательный крест. Лишение погонов равносильно было, я считал, публичному обесчестию офицера. Долго, очень долго я таил в себе горечь этого удара.

*
**

Начались перевыборы заправлявших жизнью фронта, до того всесильных и, казалось бы, еще недавно вполне революционных комитетов. Но особым и незабываемым для меня событием был первый созыв солдатских делегатов, подлинных окопных завсегдатаев Западного фронта. Одновременно в Минске заседал также фронтовой съезд врачей и санитарного персонала. Приятель мой, хирург, член Президиума, был уполномочен приветствовать солдат и захватил меня с собой.

Солдатский съезд открылся в здании театра, солидного, поместительного сооружения, походившего по стилю на ампир, с веселым залом, отделанным с известною претензией. В Минске не переводились офицеры, наезжавшие по всяким надобностям в тыловые учреждения фронта. Они-то в паре с местными девицами и заполняли театральные места. Неизменным боевиком сезона, родственным моменту, была комедия „Вова приспособился". Барчук без ценза простым солдатом попадает в полк и, не теряя апломба ни аристократических привычек, устраивается в казарме по-домашнему. Стены театра привычно отражали взрывы безудержного смеха, а волны беспечного веселья, приправленные запахами тела и духов, кружили голову и услаждали сердце.

В этом храме „Талии" из Минска и расположились делегаты фронта в окопном снаряжении, с мешками, где лежал паек и с прочими неотъемлемыми, присущими окопной жизни атрибутами: вшами, грязью и специфическим ударным духом. Заседание уже началось, когда мы уселись на сцене на длинной скамейке для гостей, позади президиума. Заполненный густой однообразной массой зал, с ярко освещенной сцены, представлялся погруженным в затаившийся, грозный полумрак. Всматриваясь в заросшие, серые, как из гранита, лица сидевших впереди солдат, я почувствовал себя, как на вулкане. Таких угрожающе сосредоточенных физиономий, мрачно нахмуренных бровей, мне не приходилось еще видеть у солдат. Давеча в комиссии, те показались мне теперь образцами русского радушия. Поражала царившая в этом, сверх всякой меры переполненном, театре тишина: ни звука, ни движения. Лишь смутный гул, как если бы от ускоренного дыхания сдерживающихся, на исключительно важные действия решившихся людей, подобно нарастающим под-

земным силам, то усиливаясь, то слабея, доходил гул этот до моих ушей.

Председатель, молодой солдат лет 25-ти, среднего роста, с круглым правильным лицом, видимо, интеллигента, заканчивал спокойно свою речь. Последние, всколыхнувшие зал, его слова были:

— Ваши жертвы были не напрасны. Вы победили. Судьба родины и ваша в ваших собственных руках.

Рев, грохот, подобно урагану, потряс зал и оборвался, стих. Снова та же настороженная, смутным гулом заполненная тишина. Я справился о председателе. Сосед назвал мне фамилию Пятакова. То был тот самый Пятаков, что по обвинению в измене, шпионаже и проч. и проч. со товарищи сложил позже свою голову при Сталине.

Начались приветствия съезду от организаций и различных комитетов. Многие из выступавших сочетали свои приветствия с примечательной экскурсией не только в наши военные дела. Впервые я и сам услышал тут такое, о чем бы и во сне помыслить не мог. Не о бесталанном генералитете и не о несчастной солдатне, привыкшей кулаками сражаться против пушек... Так оно издавна повелося и так и на сей раз оставалось, в общем, на Руси. Меня взволновали сообщения об открытом немецком засилье в столице; едва закамуфлированном немецком шпионаже при явном покровительстве царицы и бездействии царя; о штабквартире шпионажа у Сухомлинова, русского военного министра. А уж о Распутине, о его художествах с царицей; о его продажном вмешательстве во все и во вся... Зал, чему я безмерно удивлялся и эти факты воспринимал спокойно. То тут, то там лишь выкрики: „Всем гадам смерть!“ „Чего же еще ждут скопившиеся здесь мстители за все эти обиды?“ невольно сверлила меня мысль.

Но вот к столу приблизилась девица. Я залюбовался ею. Стройная, светлая блондинка в черном, лет двадцати, с тугой косой, щеками цвета кумача, глазами, как у куклы. Ее звонкий голос соловьиной трелью огласил чащобу. И стократно откликнулась на трель чащоба.

— От имени Бунда, еврейской рабочей партии, — с изумлением услышал я: — приношу вам, товарищи, горячие пожелания и партийный наш привет. Закончилась империалистическая бойня. Власть у рабочих и крестьян в руках. Земля и воля, несбыточная мечта ваших отцов, наконец осуществилась. Великое строительство вас ждет. Но, товарищи, наш комитет поручил мне вам сказать: „Довольно крови! Не надо крови. Кровь губит начатое дело“...

Рев, свист, грохот возмущения покрыл эти слова.

— Гони ее! долой, жидовка! бей ее, — громом неслось со всех сторон. С трудом председатель восстановил порядок.

Подходил момент выступать хирургу. Бледный, раскисший он прошептал:

— Я не могу. Не знаю, что сказать...

— Послушайте, — шепнул я. — Имен не спрашивают. Дайте мне выступить за вас. Я им скажу: „Я выслушал, вот, вашу правду. Она ужасна. Послушайте теперь мою. Вам говорят все о победе. Но враг-то на вашей же земле. Не расходитесь. Не оголяйте фронта. Ведь стоит лишь немцу атаковать где-либо и Совет ваш Комиссаров и все мы вместе пропадем, похуже чем шведы под Полтавой“.

Доктор лишь безнадежно отмахнулся. Мы было собрались уходить. Волнение в президиуме нас задержало. Прервав оратора, требовавшего запретить сестрам милосердия носить их форму (форма эта напоминает монашечью, пояснял он. Как мы против леригии, а ублажают эти монашки больше офицеров, чем солдат, пусть снимут форму). Председатель вдруг возбужденно объявил:

— Товарищи, сейчас к вам обратится с приветом от Совета Народных Комиссаров, вашего нового правительства, исключительно для этой цели прибывший из Петрограда делегат, тов. Володарский.

Как по команде, с грохотом поднялся зал. Набатом неслось и ширилось громоподобное „ура“. На авансцене очутился молодой, длинный человек с узким лицом и мелкими чертами, в очках. Фалды кургузого пиджачка, как крылья, расходились и весь он с туловищем под углом и длинными вытянутыми вперед руками походил на сердитую, готовую ко взлету птицу.

— Товарищи, — скандируя как бы по слогам слова, начал Володарский. — Сейчас я только из города — героя, Петрограда. Революция победила. Власть в руках рабочих и солдат. Товарищ Ленин во главе правительства народа. Наймит буржуазии, Керенский, постыдно скрылся. Совет Народных Комиссаров приветствует вас и заверяет: все назревшие народные нужды будут исполнены сейчас же. Подлой, затеянной капиталистами войне конец. Вы вернетесь к семьям, к вашим очагам. Политая кровью и крестьянским потом, отнятая у вас земля будет возвращена народу. Необходимая, как воздух, людям воля теперь уж ваша навсегда.

Пауза. В зале гробовая тишина.

Заложив за жилетку руки, Володарский стал мерить авансцену быстрыми шагами и скороговоркой, все усиливая голос, говорить.

— Когда у рабочего хозяин забирал последнюю копейку,

жирел от неоплаченного его труда, был это грабеж? — Это не считалось грабежом. Когда у крестьянина, кровью своей кормившего помещика, податями содержавшего все государство, забирали последние пожитки, угоняли корову, оставляя детей без молока, был это грабеж? Нет. Это не считалось грабежом. Теперь пришла пора расчета. Награбленное нужно отбирать. — Он остановился и, подняв вверх руки, пронзительно вскричал: — Товарищи, от имени Совета Комиссаров я заявляю: Да здравствует грабеж.

Что было дальше, я не могу сказать. Я волок окончательно скапустившегося доктора со сцены. А вслед... Видели ли вы когда-либо ледоход на Волге? Слышали ли вы треск, грохот, гром вскрывающегося речного льда? Так это почти аккорды арфы monsieur Эола в сравнении с тем, что неслось нам вслед. Мы шли. Доктор едва тянул ноги, а я, как заведенный, не умолкая, говорил.

— Вот так сказал! И здорово и в рифму... Сто типунов тебе на весь язык... Теперь я понял. Ну, доктор, спета наша песня... И наша мельница, понятно, пойдет в большой котел. Что там родитель? А его молельня... Гог и Магог теперь правят на Руси...

Эту ночь в госпитале я спал без сновидений. Проснулся я под грохот ледохода в ноябре... В мгновение всем существом я ощутил свое сиротство. Подобно Цинцинату и я покинул свою пашню и к зову родины не оставался глух. Но самообману, иллюзиям пришел теперь конец. Сейчас не о подвигах забота, а о том, куда деваться самому, что предпринять.

Красочный мой рассказ о происшествиях на съезде, как громом поразил и без того растерянную мою палату. Смываться, уходить — иного выхода для нас не представлялось. „Но на Дон, куда стремятся мои коллеги по палате, мне путь заказан. Год, а то и два я должен еще находиться в распоряжении врачей. Выходит, мне предстоит вернуться вспять. Продолжить нить. Ведь я же без пяти минут преподаватель латинист... Но ко двору ль теперь латынь?“

***

Мой сосед по койке, крымский татарин, капитан, шепнул мне как-то по-татарски, что хочет о чем-то важном со мной поговорить. Гуляя по госпитальному двору, я слушал излияния капитана.

— От папаши из Симферополя я получил, не ожидал, письмо. Вы мне, поручик, симпатичны и я хочу вам кое-что сообщить. Папаша пишет, с Россией будет очень плохо. Присяга татарину святое дело. Но царь от трона отказался и каждый татарин

сам себе теперь хозяин. Сосед наш, Украина, от России отделилась. Сейчас там немцы. Уйдут немцы, большая будет там еще резня. Махно, Петлюра, бандиты и разбойники. Им нужно грабить. А Крыму, кто может помочь? Папаша пишет, глазам не верит: наш Крым теперь татарская страна. У нас правительство. Командует татарский генерал Сулькевич. На месте войско-татарский конный полк. Оружие купили все у немцев. Немцы, папаша удивляется, считают нас своими; по крови мы, будто, тоже немцы. Они решили, что мы отатаренные германцы-готы. В третьем веке поселились мы в Крыму и до XV века говорили даже по-немецки. Потом уж отатарились. С ума сойдешь... А мы, папаша пишет, ничего не знали... Я слышал, поручик, вы очень образованный. Много книг читали. Написано про татар в Крыму такое что-нибудь?

— Еще я вам хотел сказать, поручик: вы очень чересчур мне нравитесь. Поедем вместе в Крым. Здесь офицеров будут скоро, как баранов, резать. У нас, — вы говорите по-татарски, знаете много языков, — у нас вы будете министром. Подумайте, поручик, и поедем. Долечиваться мы можем и в Крыму.

Я слушал и не знал, плакать ли мне или смеяться... Час назад я не знал, куда деваться, а сейчас я даже кандидат в министры, хотя бы и в Крыму. Бывают моменты, когда время, видно, скачет, а не идет обычно...

— Вот что, капитан, хочу я вам ответить. Россия пока еще жива. Царь отказался, но народ остался. В родню к вам навязываются — и запоздало — немцы, а не Остготы. Остготов давно уже и след простыл. А немцев и их повадки, капитан, вы знаете. В книгах, действительно, отмечен похожий такой факт. Он гласит: Timeo danaos et dona ferentes. В вольном переводе и к моменту это значит: Боюсь германцев и дары приносящих. Сообщите, капитан, об этом вашему отцу.

*
**

Я каялся или хвалился, не припомню, что с философией я не в ладу. Человеку „в футляре" с философами не по дороге. Это ясно. Но раздумывая, я должен сейчас оговориться. Судите сами. Человек оказывается вдруг на перепутье. Перед ним несколько широких и более или менее ведомых дорог. Тщательно все взвесив, он из вообще возможных находит и выбирает самую неприметную и самую неприхотливую тропинку. Это ли не философ? Широкие дороги вели к почетам министерским, к чинам и отличиям офицерским и к лаврам университетским... На всех этих поприщах он мог бы преуспеть. А тропинка приведет разве к избушке на курьих ножках... Да еще приведет ли? Но в том

и философия. Бывают моменты, когда такая избушка вольготней и прочнее каменных палат. Это, когда один да один не два, а полтора, а может быть четыре... Премудрость эту я постиг не с лингвистикой в Университете и не в испытаниях в тяжкие годы войны. В Минском театре оказались мои архинаставники. Товарищ Володарский содрал с меня „футляр“ и впервые в жизни я объективно огляделся. А милый „Вова“, приспособлявшийся так успешно, оставил в памяти нежданно пригодившийся урок.

⁂

Фронт стал тут же расползаться и не по швам, а вглубь и вширь и вкось и моя фронтовая эпопея закончилась бесповоротно. Пришла пора мне вспомнить о пенатах. А существуют ли они еще? Все мое имущество я уложил в солдатский вещевой мешок. И самым ценным был там сверток, а в свертке уложенные тщательно мои погоны.

И это было тем корявей, что согласно с „Вовиным учением“ я вырядился во все солдатское, по-звериному зарос и выправил себе госпитальную бумажку об инвалидной моей личности на имя рядового Егория Аверьяновича Лампадина (а в уме — родом из Казани; от отца рабочего и матери — крестьянки, немки из волжан. Отсюда знакомство с немецким и татарским языком. Как никак, а „квалификацию“ это все же как-то повышает). Напрасно убеждали меня благодетели врачи произвести себя хотя бы в унтер-офицеры. Я это отклонил. Затеряться можно только в безличной массе. А унтер-офицеры, кто их знает? И до них может очередь дойдет... Времена ведь знаете, какие...

Рядовой и офицерские погоны... Конечно, уворованное шило не сподручно хоронить в мешке... Но погоны эти были не только и не просто лишь погоны... Они воплощали, в них был скрыт мой порыв спасать отечество в беде, скрытая моя готовность свой живот положить за свои други, а главное они, униженные и оскорбленные, свидетельствовали неопровержимо и о молодости загубленной моей. Чтобы поддержать свое достоинство, не потерять доверия и уважения к самому себе, необходимо было сохранить хотя бы зернышко от прошлого. А доброе зернышко, — сокрыто будущее от смертных глаз — всегда может обернуться в добрые ростки... В это зернышко, наперекор стихиям, я и превратил свои погоны...

Мне предстояло пробираться в родной свой Вольск. Определенных маршрутов, как и упорядоченных средств передвижения, не существовало в тот момент. Все шло по воле случая и зависело еще от оборотливости и силы локтей у пассажиров. Мне посчастливилось проникнуть внутрь теплушки. Но и „наружные“

места в поездах не пустовали. Крыши вагонов и буфера были сплошь облеплены телами ветеранов в двадцатиградусный мороз... Лишь бы двигаться, хотя бы черепашьим шагом, быть ближе к дому, к семье, к привычному труду, а не лежать на станциях сутками вповалку. Чего только не вытерпит вырвавшийся нежданно на волю окопный человек! Шесть суток добирался я до Вольска. Прикурнув на полу теплушки, набитой до отказа, я мог, не спеша и без помехи, подводить итог своим переживаниям, прислушиваться к самому себе и к говору вокруг. Всем существом своим я ощутил, что что́-то важное во мне надорвалось и новое, дотоль неведомое, народилось. Как назвать это превращение, я затруднялся. Повзрослел ли я умом, возмужал ли или просто-напросто состарился до срока? Я чувствовал себя, примерно, в положении горе-моряка во враждебном, разбушевавшемся вдруг океане; новичка, вынужденного рассчитывать лишь на неиспытанные свои только силенки. А серый океан вокруг, возможно, жизненная моя теперь среда на годы, неуемный и безликий хохотал, кричал и неумолчно говорил... Подобно океанскому прибою, этот шум и крики порывами заглушали даже лязг буферов и неугомонный стук колес и отрывали меня от размышлений. Торовата исключительно и очень уж щедра дарами русская народная душа. Стоит лишь оказаться вку́пе десятку земляков, тотчас же объявится запевало-тенорок, балалаечник или гармонист и обязательно уж рассказчик балагур. Умеет забавлять, любит и умеет также слушать русский человек... На сколько бы ночей хватило, чего я наслушался за шесть суток путешествия, раз десять меняя спутников и поезда!

Прежде всего на мир выносятся личные обиды. Ничего не забывает намеренно униженный, несправедливо обиженный солдат. Сколько историй я выслушал о чувствительности лошадей к дурному обращению. Как запоминают лошади и как страшно они мстят подчас своим мучителям. А люди, наказанные несправедливо; отцы семейств, подвергнутые порке и еще в течение войны... Удивляться ли эксцессам от таких солдат по отношению к офицерам и не причастным к подобным преступлениям, — невольно навязывалась мысль... Настоящая война для моих спутников имела целью избавить богатых от лишних ртов и народными руками пополнить награбленным добром капиталистическую и царскую казну. Варианты повторяли то же в основном и различались лишь в деталях. Не требовалось много аргументов, чтобы убедить солдат закончить самовольно подобную войну.

Но немаловажным побуждением к этому решению служило также непреодолимое желание мужика участвовать в предсто-

явшем тут же дележе земли. Со злорадством ,не предвещавшим ничего хорошего, говорили солдаты о помещиках, не отличая хороших от плохих. Мысль о дележе всех, видимо, пьянила и обсуждение длилось бесконечно.

Трудно представить, что пришлось мне выслушать о царице и о царе в связи с Распутиным. И это не от разложившихся в городах рабочих, а от матерых, кондовых хлебопашцев... Здесь лишь полностью я осознал, какую непоправимо роковую роль сыграл Распутин в гибели династии, он, почитавший себя ее спасителем. Ни от одного солдата я не слышал словечка сожаления о судьбе царя. И это от крестьян, почитавших царя богом... Но царем не заканчивалось повальное свержение кумиров. Бога крыли теми же словами, что царя. На нерешительные протесты одиночек вся громада убежденно отзывалась: „все они заодно против народа. Одним миром мазаны, что царь, что Бог“. Добрались и до „Бога матери“. И ее, ни в чем уж неповинную, не пощадили. „Бога мать“ в сквернословие ввели, я слышал, казаки. Очевидно и прочие роды оружия охотно включили ее в свой ругательный репертуар.

Как одурманенный, я вылез в Вольске из теплушки в январский черный мрак. Ни огонька вокруг.

***

На станции, ослепленный светом, я на минутку задержался.

— Здравствуйте, служивый, — услышал я. — Вы временно в наш благословенный Вольск иль насовсем? Что-то вы мне не знакомы.

Подозрительно вглядывался в меня начальник станции, наш частый гость.

Отворачиваясь, я ответил:

— Я здесь случайно с поручением. Направляюсь я в Казань.

— Голос в точности как у покойного Аверьян Ивановича, царство ему небесное. Тут не ошибешься. Что же это за маскарад; вы же офицер?

— Покойный, значит, батюшка. — И от спазмы в горле я не мог произнести ни слова.

— Зайдемте в мой кабинет, — заторопился добрейший Петр Петрович.

Всю хронику событий в Вольске после "Октября" со скорбью сообщил мне Петр Петрович. Почти без сопротивления новые правители овладели властью. Первой же жертвой оказался мой отец. Реквизировали мельницу. Молельню разгромили. Наложили миллионный штраф. Для уплаты штрафа денег не хватило. Квартиру отобрали. Отец переселился к дочери, за полгода

до этого обвенчавшейся с нашим же приказчиком. Несколько дней лишь прожил родитель у сестры и внезапно скончался от разрыва сердца.

— Хочу вас предупредить, — сообщил мне доверительно начальник: — приказчик этот сделался большевиком и временно служит в Исполкоме. Мельница стоит; ведь молоть-то нечего. Сейчас он в командировке и скоро не вернется. О вас ему все известно. Будьте осторожны. До сестры идти вам недалеко. Дорогой не задерживайтесь. С полуночи по улицам патрулями ходят красноармейцы. Нужная бумажка у вас имеется. Но вас может кто узнать. Выйдет неприятность: офицеры обязаны зарегистрироваться в комиссариате. С этим, пожалуй, лучше бы повременить...

Я шел знакомыми, до слез близкими мне улицами, истоптанными мною босиком и в туфельках, ботинках, сапогах... Теперь все было здесь как в сказке или рисунке для детей. Я видел замороженный, маленький мирок весь в запустении. Затонувшие в снегу улицы проходимы лишь по едва видимой, протоптанной тропинке. У обочин в рост человека сугробы снега. Жалкие домишки на месте запечатлевшихся в моей памяти, казавшихся красивыми, строений. Теперь все они со снеговыми крышами и со снежным завалом до окон.

Заснеженные, они казались бы и вовсе нежилыми, если бы не полоска света сквозь ставни кое-где и легкий дымок из труб, как от сдерживаемого дыхания затаившихся людей. Оголенные деревья причудливых очертаний в снегом припорошенном, хрустальном облачении, как призраки, маячат на пути. Безмолвие, мрак и тишина. Ориентируясь с оглядкой, как в завороженном лесу, ступает осторожно, окружению подстать, неведомый солдат с сумою, бородатый. Я и не я.

Вот и нужная калитка на запоре. Едва я остановился, как с хриплым лаем, гремя цепью, бросился ко мне Полкан, наш волкодав, с безобразной головой медузы.

— Полкан, — сказал я тихо: — Ты узнаешь меня?

В ответ я услышал похожий на рыданье вой. Звери и люди... Почему „культура“ не испортила собак, а людей лишь утонченней оскотинила?..

Полкан стал рваться на цепи.

— Кто там? — обеспокоенная лаем, стала спрашивать сестра.

— Анфиса Аверьяновна, — сказал я, изменивши голос. — Ваш адрес сообщил мне начальник станции. Я с фронта. Привез привет от брата вашего, Егора.

Загремел засов. Сестра в полушубке открыла калитку и впустила в дом. В столовой, ярко освещенной, я остановился у порога. Сестра, скинув полушубок, обернулась. Секунду лишь

помедлила и с плачем бросилась на шею. Не сыграл мой маскарад....

Обескураженная и не разбиравшаяся в событиях, Анфиса немногое могла добавить к тому, что мне рассказал Петрович. Все купцы здесь обобраны до нитки. Кто, покинув достояние, сбежал, куда глаза глядят, а кто и голышом на улице остался. Наш приказчик, ныне мой шурин, оказывается и прежде был против царя; сейчас он — важная персона. „Все это лишь начало“, по его словам.

— Они хотят, — пояснила мне сестра: — вывернуть, вроде, Россию наизнанку.

В этом вопросе я кое-что уже смекал... Да, подумал я, Россия может выдюжит и эту вивисекцию, а вот, народ-то, сомневаюсь...

— Послушай, — заторопилась тут сестра: — лясы точить мы всегда успеем. Сейчас Настя, помнишь, девчонкой при тебе еще была, топит баню. Она уж удивлялась, почему ты не в офицерской форме. Я сказала, ты студент и хочешь быть заодно с солдатами, с народом... Представь себе: она теперь передовая. Что ни день, все на собрания бегает.

Я мылся, парился до одурения и не мог отделаться от мысли: „Quo vadis Егорушка? Есть ли где-нибудь в России уголок, где ты мог бы лингвистикой спокойно услаждаться?! Если уж Настя передовая, зараза, видно, проникла слишком глубоко. Во всяком случае, мне надо подальше от Вольска забираться“.

Я зачаевал, а сестра с Настей собрались в баню. Уходя, сестра многозначительно скользнула по мне взглядом. Я продолжал благодушествовать за ароматным, крепким чаем. И вдруг вспомнил ее взгляд и, как ужаленный, вскочил. Раскрыл свой вещевой мешок и в изнеможении опустился: сверток с погонами исчез.

Я уже упоминал, как душеспасительно и хитроумно я включил в свои погоны все славное, чем мое прошлое мне было мило, равно как и упования на возвращение мне потерянного рая. Талисманом, обеспечивавшим или хотя бы содействовавшим осуществлению этих упований, естественно, сделались для меня погоны. Лишение талисмана не могло не означать и гибели моих надежд. В эту минуту я почувствовал себя беспомощным и будто бы нагим, подстать, действительно, многострадальному Иову. Вам, друзья, покажется гиперболичной такая психическая аберрация. Не забывайте, что в подсознании у меня еще орудовала наша всесильная молельня. В трудную минуту мне был необходим какой-либо фетиш, чтобы подчинить ему свое безволие. Безжалостная ко мне судьба решил я, если в пучине соломинку из моих рук сшибает. Впервые я по-настоящему пал духом.

Сели ужинать. Присутствие Насти заставляло нас моментами пользоваться азбукой глухонемых. Я то свирепо отводил в сторону глаза, то с упреком впивался в сестру взглядом. Сестра округляла до невозможного глаза, с возмущением воздевала руки к небу, а подконец в недоумении постучала по лбу пальцем. Я обиделся и вовсе замолчал. К счастью, Настя спешила на собрание. Лишь только захлопнулась за Настей дверь, не успел я загреметь, как сестра по-матерински обняла меня, прижалась и, воркуя, стала, как ребенку, выговаривать.

— Я думала, Егорушка, в Университете учат вас уму, а выходит, только лишь наукам. Похоже, ты только что с луны свалился и не знаешь, что на улице патрули проверяют всякий узелок. Нашли бы у тебя погоны и жить бы тебе оставалось не дольше, чем до первой лишь стены. А если этой ночью к нам с обыском товарищи заявятся? Сколько раз уж приходили... Егорушка, с офицерами в Вольске хуже быть не может. Здесь с офицерами короткий разговор. В Поволжье все они сейчас же к белым подалися. А ты сам лезешь на рожон... Егорушка, я тебе сейчас ведь за мать и за отца, запомни: забыть надо об армии и, не медля ни минуты, начать занятия в Университете.

Растроганный и растерянный, я мог только прошептать:

— И верно, сестренка. Это Пушкина слова: „ученых много, умных мало“. И ты их повторила. Один в поле не воин. Ты права. Надо по-старому за книжки приниматься.

На следующий день в той же солдатской бутафории с набитым теперь снедью вещевым мешком, снова в народной гуще, я направлялся в Казань к своей забытой, было, alma mater. Многодневное путешествие, как если бы я ехал к антиподам.

***

Мои путевые впечатления на сей раз были в общем те же, что намедни в поездах. Вся Россия грозила прошлому свирепо любым и подходящим словом. Но вот из необычных — встреча... В уголке в теплушке, где я приткнулся, дремал, скрючившись, длинноногий человек в пальто и шапке, надвинутой на самые глаза. На худом лице в темных очках виден был лишь нос да седеющая бородка клином. Я уселся и тут же задремал. Проснулся от толчка, уткнувшись головой в плечо соседа.

— Ах, простите, я вам помешал.

— Не стесняйтесь, — ответил едва слышно мой сосед. — Мы в тесноте, да не в обиде.

— Ну и насчет обиды я этого бы не сказал.— Сосед молчал и я прибавил: — Вот уж истинно, как снег на голову свалилась вся эта кутерьма.

— Вы офицер? Вам сколько, считая без усов и бороды? Лет двадцать с хвостиком... — склонился к уху моему сосед. — Запомните, мой друг. Ничего в жизни не бывает — вдруг. Вдруг — это только для зевак. Разве что землетрясения... Но и тут имеются сигналы; их мы пока еще не можем распознать. Но это в глубине земной. А на земле все и всегда идет по правилу: что посеял, то и пожнешь... Вы горожанин или из деревни?

— Горожанин.

— Для вас ,значит, всего-навсего лишь хронология 1905 год. Пошумели и забылось. „Кутерьма", значит, неожиданно на нашу голову свалилась. А для землевладельцев, да и правителей с умом 905-й год остался неизгладимо памятным memento mori. Спохватились, правда, только поздно. Спохватились умные, а дураки — их на верхах хоть пруд пруди — те помешали. Вот и дошли до ручки... Революция, в общем, бескровно нас по миру пустила. Поджав хвосты, мы большей частью подобру из собственных поместий убирались. Насилия были исключением. А в девятьсот пятом творилась пугачевщина, настоящая и по всем статьям. „Русский бунт, бессмысленный и беспощадный", как называл Пушкин Пугачевщину. Только в нашей Саратовской губернии более двухсот имений было сожжено дотла. Жгли все, а кое-где с людьми. Мой дед и бабка так с домом и сгорели. А у немца Фрамма в имении, может, слышали, управляющему, тоже немцу, уши отрезали и половину языка; у Молчанова конский завод целиком сожгли. У Сологуба, подумайте, имение уничтожили, а чудную, каменную церковь не побоялись, осквернили: христолюбивые крестьяне поместили там свой скот.

А вот послушайте, что случилось в богатейшем поместье всей губернии, в нашем же уезде, Балашевском. Крестьяне, чтобы от товарищей, по-видимому, не отставать, подожгли там только околоток. Заметьте, что этот околоток с акушеркой содержался, да и построен был полностью на помещичьи лишь средства. С околотка этого и началось. Как раз после пожара губернатору Петру Аркадьевичу Столыпину вздумалось посетить своего друга Сафонова Леонида Николаевича, нашего соседа. Узнав о пожаре, энергичный губернатор приказал тотчас же поджигателей арестовать и представить перед его очи. Стражники похватали, кто под руку попался и привели. Суд был короткий и приговор не ахти какой строгий: всего лишь порка. Не каторга, а только плети... Тут же на гумне всех перепороли. У Георгиевских кавалеров снимали крестики или медали и после экзекуции честь честью нацепляли. Ну, чем не Соломонов суд? Крепко жал руку отбывающему благодетелю благодарный наш сосед. А на третий день по решению схода крестьяне всем миром двинулись к поместью и ушли, когда от громадного поместья

с ценнейшей картинной галереей, библиотекой, веками накопленным сказочным добром, со службами, амбарами, лошадьми, скотом остались лишь угольки да пепел. Личным спасением своей семьи сосед обязан горничной, своевременно сообщившей о решении схода.

Пожалуй, это слишком дорогая плата за, казалось бы, привычные к порке крестьянские спины и зады!

Вот это-то и постиг Столыпин, энергичный, умный деятель государственного склада. Не мог же он забыть страшных последствий медвежьей услуги, оказанной им другу... При Екатерине пулями и эшафотом с пугачевщиной справились с трудом, а в наше время, понятно, одних плетей да тюрем мало. Столыпин это понял, как из правителей никто. Он и вознамерился исправить столетний грех предков: с крестьянской общиной расстаться. Предки эти Америку открыли: в общине, мол, мир за подати ответчик. А революционеры давно уже общину „ядром социализма“ окрестили. Где было современным зубрам такую истину понять. Не доросли! И своего же спасителя пророка погубили.

Умолк мой спутник.

— А что, — я справился: — получили ли пострадавшие помещики от правительства какое-либо вознаграждение за потери?

— В Тургайской области, возле Китая, компенсировать землей нас обещали. И этого не соблюли. Распутин, возможно, не позволил.

Вот и запомните, мой друг, — наставительно подтвердил мой спутник, покидая теплушку: — „вдруг“ всегда имеет долгую и сложную историю. Творцом истории является единственно ведь человек. И выходит, как ни верти: что посеял, то и пожни.

***

Трепет охватил меня, когда моя нога вновь коснулась улицы Казани. После столь долгой и горестной разлуки передо мной был не только знакомый „уголок“, а целый мир, трепетно-живой и близкий. И я был не одинок. Навстречу шли мне не призраки, не тени. С шумным приветом жали мне руки сокурсники по факультету, любимые профессора, друзья... Я видел их взволнованные лица, слышал их радостные голоса. Вот собор, где я перед экзаменами в молитве склонял свои колени. Больше из суеверия, по традиции, чем по влечению и вере под конец. Врата собора теперь наглухо закрыты. Правда, и помыслы людей сейчас все больше о земном... Воображаю, как холодно и одиноко там и Богу и святым без прихожан... А может быть, наскучившись мольбами страждущих и угнетенных, располагая для по-

мощи лишь добрым словом, они довольны, что могут от юдоли земной уйти в небытие или иные сферы.

А вот Университет с бюстом Лобачевского в преддверье. Но, увы, я больше уже не чувствую себя студентом, не полностью еще оперившимся учеником. Какими далекими кажутся сейчас мне эти годы... Ныне я — тертый по-настоящему калач. За плечами у меня не один, а несколько университетов. Мои университеты — это годы войны, с каждодневным упражнением энергии и воли, с борьбой за отрешение от чувства личного благополучия, с сознанием ответственности перед родиной, перед человечеством за сохранение в жизни морали и добра; это приятие страданий и физической жертвенности, как доли расплаты за долг перед коллективом, даровавшим мне образ человека. И, наконец, самый трудный и по материи наиболее мне неведомый и чуждый университет — это часы в Минском театре и сутки в теплушках на миру. А Университет передо мной — славная обитель моей лингвистики... Некогда, не так давно, альфа и омега моих жизненных дерзаний... Оказывается, не одной лишь „лингвистикой" жить должен человек... И хочется воскликнуть, протестуя: „боги, судьба, правители, верните мне мой „футляр"!!!".

Дальше поворот, около пяти минут даже замедленного шага и я у наспех покинутого, студенческого моего гнезда. Там хранится ценнейшее мое добро. Лучшее из того, чем был занят мой интеллект — книги, записи, проекты. Там же я оставил интимную частицу моей чувствительной субстанции: дружескую привязанность и затаенный глубоко росток любви. А, с такой готовностью и без печали, смененная на военную, моя студенческая форма? Она же здесь, в сохранности, у моих друзей... Сейчас студенческая фуражка представляется мне чем-то подобным лаврам на челе... Мысль о том, что через несколько минут я сброшу никчемный солдатский мой наряд, волнует меня с необычайной силой.

Вот запыленная дощечка с фамилией моего врача. Слава Богу, друзья, значит, — на месте. Я взлетаю на второй этаж. Я перед дверью. Знакомой мне дощечки с обозначением часов приема нет. Я в замешательстве. Я звоню долго и повторно. Никто не отзывается. Я справляюсь о докторе у дворника:

— Доктор выбыл, не сказав куда.

— А вещи?

— Вещи все расхищены. Новые жильцы вселились в голую квартиру.

Час был ранний и я, не спеша, побрел к Университету. Назойливо в голове вертелось автоматически усвоенное еще в гимназии изречение: Omnia mea mecum porto. В переводе: осталось у меня только то ,что на мне. Позже я поинтересовался его про-

исхождением. Это сказал, удирая от наступавших персов, греческий философ Биант. „Легко было ему скромничать, когда его настоящее богатство было не вне его и не на нем, а в нем. Мои же внутренние закрома пусты наполовину", отмахнулся я от этого изречения безнадежно... В канцелярии Университета старичок наш секретарь, узнав, что я без угла и без бумаг, предложил мне отправиться к нему домой передохнуть и обогреться, а после уж поговорить о деле.

Мало было утешительного в том, что мне поведал секретарь. Университет пока бездействовал; здание не отапливалось; срок начала занятий был неизвестен. Оказалось, обязательным условием зачисления моего в студенты является наличность удостоверений о демобилизации и о регистрации, как офицера. Мое неотъемлемое звание — сын купца, — не предвещает в этом случае ничего хорошего. Необходимо было все же легализовать мою персону и, конечно, независимо от Университета. Секретарь вызвался по моей госпитальной бумажке выправить мне в комиссариате паспорт со званием рабочего. Он усиленно советовал убраться временно подальше от Казани и переждать. „Лихолетье это не может длиться долго", многозначительно уверял он. Как родной Вольск обернулся мне чужим, так и моя alma mater не признала меня своим сыном. И правда, какой же я студент, в солдатской шинели, сапогах! Ведь, известно, платье делает монаха. Долго мы судили и рядили, и решили: убраться мне следует туда, где я на время могу затеряться в массе — в Москву или Петроград.

По пути к вокзалу я остановился перед Университетом. Долго я всматривался в стройные колонны прекрасного строения, прощаясь, не навсегда ли, с alma mater, как и со всем своим здесь упорядоченным и доселе светлым прошлым? Отныне я иду во тьму... Оглядывая здание, всякий раз я встречался с Лобачевским — взором. С постамента он внимательно следил за мной холодным взглядом. Я возмутился подконец и закричал:

— Ты умываешь руки? А не от тебя ли и пошла зараза? Кто пробовал списать в расход тысячелетия чтимого Эвклида? Мешали тебе параллельные линии, что тянулись мирно вдаль? Надо было тебе их перессорить, пересечь... Эвклид остался... Ему-то — что, а нам... — И прослезившись, я зашагал к вокзалу.

***

Я потерял счет дням, пока добрался до Москвы. Разговоры в пути заставили меня продолжить путешествие и пробираться в Питер. Питер, как Василий Константинович нам красочно обрисовал, представился и мне кладбищем, где сущие во гробе

временно выходят из земли, чтобы прогуляться по улицам покойной, как и они, столицы. По совету попутчиков я прямо направился в военный госпиталь, предъявил Минскую бумажку и, впредь до просветления горизонтов, отдал себя в руки эскулапов. За время моих скитаний я прошел с успехом не один тест отбора на приспособление к новым условиям существования. И этот мой госпитальный тест был также не из легких. Палаты, да и операционная, отапливались лишь в дни больших побед на гражданском фронте. Лекарств не существовало вовсе. Перевязочный материал экономили, как хлеб. Пища была больше символической. Как справлялись врачи со своей работой в таких условиях, несомненно, худших, чем даже на передовой на фронте? А как выживали пациенты, раненые и больные? Во всяком случае все были на своих положенных местах: раненые на койках, врачи и сестры у их изголовья и у операционного стола. И не в госпитальных стенах успешно собирала свою жатву смерть!..

Смешливая, симпатичная украинка сестра старательно массировала мне ногу. Видя мои, в общем, тщетные усилия проявить излишнюю чувствительность, она как-то спросила:

— Вы великоросс? — и пояснила: — У нас тут два солдата после одинакового ранения лежали рядом: украинец и великоросс. Великоросс от одного лишь прикосновения к ноге выл, как зарезанный; украинец с признательностью обычно улыбался. Врачи, конечно, журили всякий раз великоросса. Однажды, возмущенный великоросс стал упрекать соседа, удивляясь, как он терпит. „Я не сошел с ума", пояснил украинец: „Докторам давать больную ногу тискать. Я им здоровую даю". А вы, великоросс, не ошибаетесь ли подчас, которая нога у вас больная?

Я не остался у сестры в долгу и тут же заметил, что, заглядевшись на ее чудные глаза, немудрено и ошибиться. Намек сестры был достаточно прозрачен и дольше незачем было скрываться. Вскоре Галина Ивановна стала поверенной всех моих секретов.

Решительность присуща женщинам, возможно, со времен матриархата. Черты Рудиных, Гамлетов женщинам чужды. План ближайших действий был мне предъявлен почти, как ультиматум. Семья Галины, — мать, вдова убитого на фронте офицера и брат студент-юрист занимают на Васильевском Острове квартиру в большом доме. Комната Галины свободна. Из-за трудностей передвижения Галина предпочитает оставаться при больнице. Ее комната в моем распоряжении. Атмосфера в доме по моменту. Мать в религиозном исступлении со дня на день ждет страшного суда. Сын — левый социалист-революционер, тактически сотрудничает с большевиками. А Галина... Ее кредо... В госпитальной комнатушке над ее кроватью висит известная гра-

вюра mater dolorosa. По вечерам, за чаепитием я не раз ловил ее проникновенный взгляд, обращенный к гравюре, как к иконе. Как-то, выглянув за дверь, Галина вынула из паспарту гравюру и под ней я, не веря своим глазам, увидел портрет незнакомого мне пожилого офицера в белом кителе и белой фуражке. Волевое, длинное лицо, орлиный взгляд, адмиральские погоны...

— Колчак, — я догадался.

— Наш спаситель, — прошептала Галина, прижимая к губам портрет.

Несколько минут стояли мы, прижавшись друг к другу, глядя молитвенно на адмирала. Галина водворила на прежнее место mater dolorosa. Не в силах сдержать свое волнение, я прижал к себе Галину и мы обменялись поцелуем. Так нас обвенчал Колчак.

***

В семью Галины я вошел на положении жениха. Мать меня тут же иконой благословила и нарекла желанным сыном. Братец, Федор Иванович, не сразу открыл мне свои объятия. Добрую неделю я чувствовал себя, как на испытании в карантине. Полностью открыть свое инкогнито я все же не решился. Пришлось лавировать. Я отрекомендовался самоучкой, усвоившим науки по программе Народного Университета имени Шанявского со случайным знакомством с немецким и татарским языком. В политических вопросах я был еще, якобы, не сведущ, так как война отвлекла меня от намеченных задач. Федор Иванович пришел в восторг от моих признаний и предрек мне, к моему ужасу, большую и быструю карьеру. Ссылка на больную ногу умерила, к счастью, его пыл. Поначалу я удовольствовался местом секретаря нашего же домового комитета с легализацией этим самым моего положения в столь опасном для пришельцев революционном центре, каким оставался Петроград и к тому ж еще с пайком.

„Беда не приходит в одиночку“, говорит народ. А счастье, а удача?.. Бесприютный, одинокий, отверженный, я очутился вдруг в семье среди родных. Мать Галины стала опекать меня, как сына. Федор Иванович в редкие вечера, когда он оставался дома, посвящал меня в теорию и практику революционного социализма, оттеняя особо активную тактику социалистов-революционеров левого толка для скорейшего достижения этой цели. Но нас интересовали преимущественно текущие события и мы с нетерпением ждали его прихода. Всякий раз он приносил последнюю животрепещущую новость о революционном положении в стране. Момент был критический. Немцы требовали сепаратного мира, угрожая возобновлением наступления. В Совете Де-

путатов не было единогласия. Схоластическая формула Троцкого: „Войны не вести и мира не заключать“, имела поддержку большинства.

Однажды Федор Иванович явился в сильном возбуждении, заявляя, что вскоре будут приняты решительные меры против дефетистов и смутьянов.

— На Дворцовой площади будет сооружена гильотина — и знаете, кто будет обезглавлен первым?

Мать и Галина молчали. Я опустил голову, уверенный, что это кто-либо из не зарегистрировавшихся офицеров.

— Ленин! — со злорадством выпалил Федор Иваныч. —

— Смотри, как бы твоя голова за эти слова не скатилась бы вслед, — со смешком заметила Галина.

***

Галина стала моей женой. Из уважения к памяти моих родителей я настаивал на освящении брака в церкви. С трудом мать нашла священника, согласившегося совершить обряд венчания втайне поздним вечером. Он же обещал и шаферов доставить. Прежде всего, было необходимо все же узаконить брак и записаться в Загсе. Для этой, до минимума теперь упрощенной, процедуры требовались лишь паспорта и обоюдное согласие. Галина сократила часы своей работы в госпитале. С визитом в „Загс“ она все же никак не торопилась. Между тем и я окунулся с головой в работу по домовому комитету. Забот было хоть отбавляй. Содействовать благоустройству жилых помещений нам, конечно, было нечем. Точки приложения и рычаги благоустройства полностью в домах заглохли. Все сводилось лишь к писанию бумаг.

Дело в том, что в иерархически сменявшихся организациях, по новому опекавших homo soveticus'a, домовой комитет был первой инстанцией, свидетельствовавшей о физическом и оседлом его существовании во времени и пространстве. Без соответствующей справки из домового комитета советский гражданин был в переносном, а часто и буквальном смысле „мертвою душой“. Для каждого жильца у нас имелась памятка об его социальном (трудящийся или буржуй), материальном и служебном положении. Вселение и выселение, размер квартирной платы и прочее всегда решалось домоуправлением лишь в интересах пролетариата. На бумаге, хоть и на весьма плохой, в общем все у нас было в порядке. В домах же дела шли самотеком, как до цивилизации у всех примитивных народов. Водопровод и канализация не действовали вовсе, об отоплении забыли... Свет лишь кой-когда... А морозы, что ни день — 20—25 градусов по Рео-

мюру. Клопы, — сколько клопу нужно, — не выдерживали, гибли, жильцы же ничего... Многие двигались, будто бы живые. Чучела выходили из домов, как за полярным кругом: кто с санками, кто с мешком. Выходили на охоту за топливом и за едой...

Мы, управители, тоже адски мерзли. Спали на морозе; друг друга телом согревали. Жили же на кухне. Печурочку-буржуйку приучили с малостью никудышнего питания давать максимум тепла. На потребу шли палочки, бумажки. Если и не жизнь, то уж здоровье спас нам Маркс, опять же Маркс, хоть и не настоящий, своею „Нивой". Годы она нас согревала. Мы-то с пайками, Бога нечего гневить, кое-как справлялись... Из картофельной шелухи котлеты и сейчас мне кажутся деликатесом. А вот другие... Временами в одиночку я рвал на себе волосы и вопил: „в бреду ли я, или это все на самом деле я вижу наяву".

⁂

После моих скитаний и одиночества жизнь в семье должна бы представляться раем. Конечно, так, если бы по-иному сложились наши отношения с Галиной. Если бы не стояло между нами чьей-то тени... И чьей тени? Подумайте, тени Колчака... Колчаком, ниспосланным спасителем России, Галина бредила. В самые неподходящие моменты она вдруг вздрагивала, вспомнив, что забыла о нем еще мне что-то досказать. О неизвестном мне прежде Колчаке я знал теперь всю подноготную. На какую высоту он поднял Черноморский флот; как он невероятно строг и так же справедлив. Матросы Колчака обожают до самозабвенья. Он единственный из претендентов наделен государственным умом. И, наконец, он писаный красавец. Я слушал и терзался. Какое-то, видимо, намерение скрывалось за этой пропагандой. Но какое?..

И с Федор Иванычем мои отношения осложнились. С некоторых пор речь шла не только о лакунах в учении марксистов. Как-то он „быка взял за рога" и напрямик заметил, что от сына рабочего следовало бы ожидать большего интереса к партии трудящихся, какой является единственно партия левых социалистов-революционеров. Я скромно возразил, что от невежественного в политике рабочего, каким являюсь я, прибыли не будет. В свое время я с избытком наверстаю, чем я обязан партии. Понимай, как знаешь. Сам „левый революционер" времени напрасно не терял. Однажды я увидел на его руке кольцо с показавшимся мне огромным бриллиантом.

— Это подарок, — пояснил он со смешком: — от перепуганного эксперта по драгоценностям. Я работаю сейчас комиссаром в банке. Мы вскрываем сейфы. Золото и настоящие дра-

гоценности мы конфискуем в пользу государства; фальшивые мы отдаем владельцу, если он является на вызов. Явление редкое. Я уличил эксперта в сговоре с владельцем. Он вымолил себе прощение и преподнес мне это кольцо с красивым, хоть и фальшивым бриллиантом.

Мать долго рассматривала камень.

— Лучше бы ты взял настоящий камень, похожий на фальшивыйѣ, чем этот фальшивый, но по виду уж очень настоящий. Будь, осторожен, Федя. И зачем тебе кольцо? Скоро все пойдет ведь прахом.

На следующую ночь нас разбудил повелительный звонок. Первый за мое пребывание в доме. Явились два матроса и солдат с винтовкой. Проверили у всех бумаги. Предложили Федору Ивановичу одеться и увезли его с собой. Через неделю он вернулся. В исхудавшем, согбенном, постаревшем человеке трудно было узнать самоуверенного Федю. Прошло несколько недель. В одной из наших политических бесед Федя невзначай заметил, что настоящей партией трудящихся является все же партия большевиков. Она включает равно рабочих и крестьян.

Не мало забот доставляла мне еще и сильно привязавшаяся ко мне мамаша. Ожидание предстоящего вскоре Страшного Суда и неизбежной божественной расправы с человечеством превратилось у нее в непреодолимую страсть ближе ознакомиться с решением Господним в отношении сроков. Сроки, сроки катастрофы занимали ее во сне и наяву. Федя, безбожник, стоило матери о Суде лишь заикнуться, подымал ее на смех. Галина уверяла, что Колчак поладит с Богом и Страшного Суда не будет. Ясно, что на мою долю выпадало обсуждение этого вопроса с матерью всерьез. Между прочим, предпосылки подготовлявшейся какой-то страшной катастрофы и на мой взгляд были налицо. Так, по-настоящему стал косить людей уже не голод, а новая, невиданная доселе форма обычно не опасной вовсе инфлуенцы. Когда я прочитал в газете, что легкие у умиравших от этого заболевания пациентов в точности такие же черные, как у погибавших от чумы, мне стало ясно, что подготовка к катаклизму, вроде предварительного артиллерийского обстрела грешной нашей планеты, началась и не только в России, но по всему свету. Во все века чума считалась божьим наказанием. Появились также в Питере случаи холеры. Чего же больше?!

***

На лекциях по богословию в Университете об эсхатологии не раз шла речь. Но из всех упоминавшихся источников мне запомнился лишь Апокалипсис. С Анной Петровной мы и стали

вечерами вникать в замысловатые ребусы „Откровения Иоанна“. Анну Петровну интересовали только сроки. Но в „Откровении“ смутно значилось единствено, что „время близко“. Как-то я застал Анну Петровну в волнении с новой книгой в руках.

— Это сочинение французского средневекового астролога, знаменитого мага и врача, Нострадамуса, — задыхаясь сообщила Анна Петровна. — В стихотворной форме в своем сочинении „Столетия“ он с удивительной прозорливостью предсказывает, что произойдет в мире в предстоящие века; здесь мы наверняка найдем ответ на все вопросы.

Впоследствии, через много лет, уже в Париже, я поинтересовался ознакомиться поближе с личностью Нострадамуса и с его „Столетиями“. Маг этот был прежде всего выдающимся врачом и „специалистом“ по лечению частой в то время в Европе черной гостьи — чумы. Он оставил потомству соответствующее руководство, магического характера, так как тогда чума считалась божьим наказанием. Предсказания расположены по столетиям — центуриям и скромно рассчитаны на три тысячи пятьсот лет вперед, начиная с XVI столетия. Старофранцузский язык затрудняет чтение, а аллегорический текст позволяет любые интерпретации. По разъяснениям и заверениям „специалистов“, еще больших фантазеров, чем сам Нострадамус, все события мирового значения до наших дней в точности предсказаны в „Столетиях“: открытие Америки, войны, эпидемии, технический прогресс вплоть до атомной бомбы. В соответствующей центурии (их всего двенадцать) фигурирует, конечно, Гитлер, именуемый „коричневым безумцем“ и даже Дуче.

Имеются также указания на события в России. На семнадцатый год предсказана, естественно, хорошо известная „специалистам“ победа большевизма и продолжительность его существования определена в 73 года!

Счастье, что мы с Анной Петровной не добрались до этих строк. Иначе столь длительный в перспективе период ожидания мог оказаться фатальным для ее здоровья.

— О таком колдуне я никогда не слышал. Где вы раздобыли эту книгу?

— Я получила ее от знакомой генеральши. Эта книга оказалась среди багажа, оставленного у генеральши м-ль Мари, долголетней гувернантки детей Вел. Кн. Михаила Александровича, когда она с детьми поспешно покидала Петербург. Вы знаете, неудачник был Великий Князь. Со слов м-ль Мари не раз рассказывала мне генеральша, как не сладко жилось ему с женой. Злобу за то, что при дворе ее не признавали, она вымещала на Вел. Князе. Особенно ненавидела она вдовствующую Императрицу. Сын навещал свою мать еженедельно и по

возвращении в наказание должен был в ванной провести всю ночь. И погиб-то он в одиночестве: расстрелян был в Перми вместе с поваром своим, Джонсоном... К гаданию все там были склонны и эта книга была в большом почете при дворе.

Вечерами мы с увлечением стали разбирать французский трудный текст. Мое знакомство с языком, по-видимому, Анну Петровну не удивило. Несомненно она считала, что все „порядочные" люди знают по-французски. Наш французский разговор привлек заго внимание Федора Иваныча. Он с изумлением оглядел меня и иронически заметил:

— Кроме немецкого и французского, не говоря уже о татарском, какие вам еще, случайно, знакомы языки? Прошу зайти ко мне. Послушайте, это серьезно, — угрожающе он впился в меня взглядом. — Отвечайте, имя и фамилия у вас хоть настоящие? Этого бы не хватало! Собственно объясняться вам надлежало бы не здесь. Но вы мой свояк и поначалу я сам намерен разобраться в этой подозрительной мистерии.

— Давно уже я искал повода, можете мне верить, рассказать вам о себе, как в свое время я поведал обо всем Галине. — И, не утаивая ничего, я объяснил, как я решил назваться рядовым и почему я скрыл свое происхождение. — Возможно я осложнил свое положение этим без нужды, но не с преступной целью, — заключил я свою исповедь.

Долго тер лоб Федор Иванович.

— Пока оставим все по-старому. В ближайшие дни я постараюсь помочь вам упорядочить свое положение. Вам нужно продолжать учение, а не писать бумаги в комитете, — бросил он, не глядя, уходя.

Анна Петровна, увлекшись чтением, не заметила моего отсутствия. Я вернулся и мы продолжали искать в предсказаниях француза строки Страшного Суда. Шарады Нострадамуса предвещали в ближайшие века войны, бедствия и эпидемии. Однако, в противоположность Иоанну, Нострадамус связывал все эти происшествия не с божественными предначертаниями, а, будучи астрологом, с движением и воздействием планет. И все же о конце мира у Нострадамуса мы не находили указаний. Вскоре важное событие надолго отвлекло внимание Федора Ивановича от моей персоны.

***

Поздно изжила свою злость цепкая зима. Почти полностью подмяла под себя еще и всегда здесь хилую, а ныне и вовсе бескровную весну. Долго отворачивалось солнце от покинутой столицы. Но вот, на тротуарах, площадях показались тощие тра-

винки; деревья приоделись чахлою листвой. Чуточку приободрился Петроград. На улицах, медленно передвигаются человеческие тени с землистыми лицами и глубоко запавшими глазами. С теплыми днями я всячески старался урвать часок, чтобы размяться и оглядеться в Петрограде, куда я попал впервые.

В начале июля, проходя по обезлюдевшему, сплошь заколоченному Невскому, я присел в Екатерининском сквере, любуясь памятником Екатерины и ее сподвижников. Время было около полудня. Всполошили меня неожиданно крики, шум моторов и ускоренные шаги редких пешеходов. Несколько шагов — и я на Невском. Мимо меня несутся открытые грузовики. На них вооруженные матросы с кипой прокламаций в руке. Широким веером ложатся на мостовой листки. Я читаю. „Совет Народных Комиссаров объявляет об убийстве немецкого посла Мирбаха в Москве и о попытке левых социалистов-революционенров совершить государственный переворот с целью спровоцировать новую войну с Германией. Восстание подавлено". Пустеет Невский. Не спеша я спускаюсь по Садовой с тревожной мыслью — что ждет меня в семье? С какой стороны баррикады оказался мой „левый" шурин?

Поверх моей головы летят снаряды. Бьют по зданию тут же на Садовой, где засели Питерские заговорщики. Стреляют, видимо, с Невы; вероятно с крейсера, ставшей уже исторической, Авроры. Я дома. Анна Петровна читает Нострадамуса; в комитете ничего не знают о стрельбе. Федор Иванович, оказывается, после своего ареста сейчас же сменил вехи... Ему теперь не до меня. Неделями он не показывается дома. Моей мимикрии он все же не забыл. Галина вдруг мне сообщает, что брат имел с ней крупный разговор. Непростительным с моей стороны и особенно опасным, он считает, что я скрыл свое звание офицера. И это ставит под подозрение и прочие мои признания. Галина в беспокойстве: она рассеяна и что-то замышляет. Об ее планах этой же ночью я был полностью осведомлен.

Галина напоминает мне, что общность идеала связала нас с первых дней нашего знакомства. Решение отдать все силы на спасение России, это решение осмыслило наше взаимное влечение и нашу горячую любовь. Час настал. Наше место там, где идет борьба. Галина твердо верит в миссию Колчака. Она терпеливо ждала, чтобы я отдохнул и укрепил свое здоровье. Теперь остается лишь проверить состояние моей ноги. С рентгенологом и хирургом она уже условилась. Снимок позволит окончательно решить, могу ли я без опасения сейчас же вступить в строй. Маршрут ей уже известен и по получении врачебного ответа мы двинемся, не медля, в путь.

Что я мог сказать? Я чувствовал, что для подобного похода

мое выздоровление недостаточно солидно. Но пословица „семь раз отмерь“, конечно, придумана мужчинами и для мужчин. Женщины меряют „на глаз“ и тут же отсекают... Да будет так! Со всей возможной искренностью и душевной теплотой я выразил свою готовность отправиться куда угодно, хоть сейчас...

Снимок был сделан и решение хирурга озадачило Галину больше, как мне показалось, чем огорчило. На месте раздробленной кости сращение было ненадежным. Необходимо было проделать еще длительное специальное лечение для консолидации перелома.

Несколько суток Галина оставалась в госпитале. Вечером явилась, как обычно, и утром после ее ухода я нашел под подушкой короткое письмо.

„Егор, мой муж и друг, — писала мне Галина: — временно разошлись сейчас с тобой наши дороги. Великий долг зовет меня. Я выполню его за нас обоих. Я люблю тебя и до самой смерти не забуду. Жди меня“.

Я явился в комитет с опозданием. Председатель, ужаснувшись моему виду, посоветовал идти домой. Весь день я бродил по городу, пытаясь что-то выяснить, понять. Одну лишь неотвязчивую мысль я беспрестанно перебирал в уме. Почему мы не записались в „Загсе“? Как это я не настоял на необходимости упорядочить наше положение перед властями и семьей? И тут же сам себе внушал, повлияло ли бы это на решение Галины? Нет, мой страшный грех в том, что я не слился безраздельно с ее переживаниями... Отпустил ее одну... Где ты, Галина? И снова та же мучительная мысль... о „Загсе“. А сейчас, как поначалу, я жилец в чужой семье, нахлебник.

Я ждал полуночи, чтобы незаметно пройти к себе. Обдумать и принять решение, как мне найти Галину. В столовой был свет. Мать со слезами бросилась ко мне. Федя жал мне крепко руку.

— Куда ушла Галина? Что значит ее письмо? Оно ничего не объясняет.

В письме к матери Галина умоляет заботиться обо мне, заклинает брата беречь меня и помочь мне закончить курс в Университете. Предупреждает, что уезжает надолго и вряд ли сможет давать о себе знать. И это все. Я отвечал, что сам терзаюсь и не нахожу ответа. Печальный вид мой это подтверждал. Оставалось еще письмо Галины ко мне. В надежде они взыскующе глядели мне в глаза. Я вынужден был показать письмо. Федя взял его и, не отрываясь, читал несколько минут. Краска негодования залила его лицо:

— Она сошла с ума, с ума сошла!

Матери он объявил:

— Тут несколько строк. Они ничего не объясняют.

Он понял...

Потянулись недели, месяцы напрасных ожиданий. Дни отмечались лишь приходом почтальона. А время становилось все бурливей. Брат шел на брата. На весях и градах России из конца в конец полыхала беспощадная, гражданская война. Мои взоры были прикованы только к Колчаку. С трепетом я дожидался утром почты и с восторгом читал об успехах Колчака. Нужно отдать справедливость коммунистам. В самые опасные моменты для режима, а их было хоть отбавляй, никогда они не лгали населению о ходе военных операций. Скучнейшая газета „Правда“ в этом смысле оправдывала свое название. Правда всегда благодетельна для всех. Сообщения о поражениях красной армии и победах белых бодрили обывателей и укрепляли веру в скорое освобождение; убежденных же сторонников режима как раз прочнее закаляли. Само собой напрашивается сравнение русской и французской „правды“! Мы все не так давно были свидетелями того, как не только бессовестно, но и безрассудно лгали французскому народу его правители. В последнюю позорную для Франции войну, собираясь покидать столицу, правительство все еще заверяло население, что в опасном положении находится противник. Крепок хребет у Россиян. Взлеты и падения сменялись у обывателей не раз в долгую гражданскую войну. Однажды Юденич был уже у Питерских ворот. В Петербург стекались офицеры из красных фронтовых частей, намеренно уволившихся, будто в отпуск, с целью примкнуть к Юденичу в момент оккупации. Взлет был не долог. Большинству этих офицеров пришлось вернуться в свои части и ожидать других оказий. Успел при взлете только субсидировавший поход Юденича Митька Рубинштейн, сбывший во Франции по неслыханной цене миллионы обесцененных царских ассигнаций.

***

Год близился к концу с момента, когда я потерял Галину. Как в воду канула моя жена: ни весточки, ни слуха. В томлении я долго ухитрялся питать свои мечты о возвращении жены сообщениями об успехах Колчака на фронте. Но, подобно Юденичу, Колчак обманул наши ожидания. 7-го февраля 1920 года в день расстрела Колчака была убита моя светлейшая мечта увидеть когда-либо Галину. И все же месяцы еще и годы неизменно я возвращался мыслью к этой едва лишь начатой и самой rasa, самой чистой, не омраченной буднями, странице моей жизни. Ища ей воплощение, я мог бы сравнить эту страницу лишь с нашим таинственно мерцавшим, все в себе вмещавшем, иконостасом в Вольске, каким он мне представлялся в раннем детстве.

„Мечтам и годам нет возврата"... И все же неприкосновенным оставался стул Галины за столом рядом с моим. В час, когда осиротевшая наша семья находилась в сборе, стул этот наперекор всем видимостям утверждал открыто наше непоколебимое ожидание, хотя бы чуда. В молчании проходили эти вечера. Отрывистые фразы сменили оживленный прежний разговор на политические и просто бытовые темы. Под рукой у каждого было свое убежище: у Анны Петровны все тот же Нострадамус; у Федора Иваныча — газета; у меня — случайно обнаруженный мною среди книг в покинутой квартире- — учебник китайского языка. С лингвистикой, не было сомнения, я развязался окончательно. И во сне давно уже она перестала упрекать меня в неверности. Китайский язык вообще-то был одной из преходящих фронтовых гримас теперь далекого безвременья. И вдруг учебник... В момент, когда мне необходимо было отвлечься, до зарезу был нужен какой-нибудь всепоглощающий наркотик. Эта находка, я считал, была ниспослана мне свыше. В ней я находил забвение. Дурманя, она спасла меня от опрометчивого шага.

Прологом к языку в учебнике служила статья о древней культуре китайского народа. С тем бо́льшим интересом я ее читал, что не раз слышал от Федора Иваныча, что Менделеев в своем завещании-дневнике пророчески настаивал на тесном содружестве китайского и русского народа. В этом единении, он считал, заложено великое будущее и России. За тысячелетия до нашей эры в далекой Азии китайские мудрецы интересовались теми же проблемами, что и наши наставники и учителя, римляне и греки. Все что возбуждает пытливость человека, было предметом и их своеобразных и самостоятельных исканий: первоосновы мира, причины движения в природе, задачи познания, реальность бытия, медицина и вопросы религии и этики в последовательно сменявшихся даосизме, конфуцианстве и буддизме. Эти проблемы находили оригинальное решение и многие из заключений представляют научный интерес и посейчас. Взять хотя бы утверждение китайцев, что все в природе строится на равновесии между возбуждением и торможением — Инг и Янг. Этот принцип в учении Павлова является ключом к познанию как вегетативной, так и высшей нервной системы человека.

Этот пролог повысил значительно мой интерес к весьма трудной и лишь по нужде взятой на себя задаче. Достаточно сказать, что те же иероглифы, означающие слова (слова в китайском языке преимущественно односложны), или слога, меняют свой смысл в зависимости от произношения. Но трудности — я их искал: они и составляли мой талисман забвения.

Сейчас, владея языком и интересуясь судьбой Китая, я хотел бы еще прибавить от себя. Вес массы китайского народа,

сочетаясь со своеобразной, исключительной культурой этой страны, мог оставаться неощутимым для наших континентов лишь до момента, пока китайцы оставались во всех смыслах за своей стеной. Теперь же, когда и при наличии стены, влияние этой массы выходит за ее пределы, этот фактор настолько исключителен, что мировые последствия его трудно и учесть. Нам остается тешить себя надеждой, что вековой закон природы homo homini lupus est сменится, возможно, в будущем культурным принципом „все люди братья". Иначе белый человек имеет в желтом уже из-за качеств, какими наделила его природа, по меньшей мере опасного соперника. Эти качества — невероятная живучесть, плодовитость и такая же приспособляемость. В природе лишь две особи, указывает Мечников, в абсолютной степени имеют эти качества: среди животных — крыса; среди людей — китаец.

Много лет спустя, уже во Франции я столкнулся как-то с офицером сибиряком, долго служившим на Востоке и знавшим хорошо китайцев. К этому времени китайская проблема приобрела особый интерес, теперь уж в мировом масштабе.

— Да, говорил мой собеседник: — давно уже в Европе пугалом для непосвященных служил „желтый человек". Этот фантом привлекал внимание знатоков все же не чреватой опасностями для Европы своей массой, а именно своей слабостью. Эта слабость соблазнила белых культур-трегеров облепить Китай, подобно саранче и десятилетями обгладывать соборно тело и опиумом поганить душу этого по самому своему миросозерцанию мирнейшего из всех народов мира.

Знаете ли вы, что веками в Китае профессия солдата почиталась позорной? В перечне двадцати профессий по степени их почетности в Китае на первом месте фигурирует учитель, на двадцатом — проститутка; на предпоследнем — девятнадцатом — солдат. Честность китайца, стойкость, его уменье приспособиться к любым наитруднейшим обстоятельствам не имеют себе равных в мире.

В белой армии как-то мы атаковали захваченную красными станицу на Кубани. Огонь красных все слабел. Один лишь пулеметчик, хорошо, видимо, укрытый, продолжал нас поливать. Артиллерии с нами не было и я решил несколько помедлить, пока смельчак не расстреляет ленты. Огонь стих и наши бросились в атаку. Каково же было их удивление, когда у пулемета они увидели китайца. В нетерпении с ним разделаться, они тут же привели его ко мне. На мой вопрос:

— Ты что здесь делаешь?

Китаец с достоинством ответил:

— Кубань родная защищаю.

Я приказал зачислить его в наш отряд. Вскоре он все-таки сбежал, но я не жалел, что пощадил его.

Общеизвестным фактом является обособленность китайцев в их мышлении и переживаниях по сравнению с европейцем. Дело не только в специфической своеобразной реакции китайца на жизненные обстоятельства: когда европеец плачет, китаец улыбается. Этим он сохраняет „свое лицо“. Но и мышление китайца идет иным путем; жизнь и смерть воспринимаются им по-иному. Не надо забывать, что основой религии у китайцев является лишь этика: в Конфуцианстве „Жен“ — гуманность. В их религиях нет места божеству с качествами стоглазого Аргуса и свирепого Цербера одновременно. Больше, чем какой-либо другой народ, именно китайцы, по своей древнейшей и интереснейшей культуре имеют право на звание „народа поэтов и философов“. Звание это присвоено было, как известно агрессивнейшим уже по воспитанию немцам. Пришел час и немецкие поэты превратились в мировых громил, а философы в ученых орангутангов. Все сделали белые грабители, чтобы и у китайцев разбудить основательно ими позабытые атавистические инстинкты.

Вчерашние владыки мира кусают ныне пальцы... Что нас ожидает?.. „Tu l'as voulu, Georges Dandin!“ — закончил офицер нашу беседу.

***

Как морфинист за свое зелье, я цеплялся за свой учебник. За чуждым европейцу, необычным складом китайской речи, все очевиднее мне представлялось, скрывался великий, до фантастичного для нас загадочный, особый мир. Все больше погружаясь в его бездонные глубины — количество лишь иероглифов, обозначающих понятия, слова, доходит в китайском языке до десятков тысяч — я уходил от самого себя, от окружающей, ставшей мне враждебной, обстановки. До поздней ночи я засиживался с книжкой в Комитете, чтобы не видеть глаз Анны Петровны, полных страдания и жалости, какими она теперь на меня глядела. Однажды вечером я не успел расположиться с книжкой, как председатель выдворил меня из Комитета, напомнив, что все люди обязаны сочельник проводить в семье. Я сконфузился и объяснил, что утром помнил о сочельнике, а к вечеру забыл.

Дома я увидел накрытый стол, бутылку вина и у стула Галины, рядом с моим, как у всех, прибор. Неизведанной еще мучительности боль на долгий миг иглою пронзила мое сердце. Тень Галины, всегда на своем месте за столом, сейчас мгновенно материализовалась. Не глядя, я увидел бескровное лицо, прозрачное с закрытыми глазами, в венке в косу заплетенных иссиня-

черных ее волос... Меня ждали. Уселись. Федор Иванович разлил вино и поднял было стакан, готовясь обратиться с словом. Анна Петровна бережно отлила из своего стакана половину в стакан Галины. Нервы мои сдали. Я головой упал в тарелку в судорожном беззвучном плаче. Мое сердце плакало. Впервые слезы источало сердце... Анна Петровна по бабьи стала голосить, обращаясь к Галине, как к живой, заклиная ее поскорее вернуться. Голос Федора Ивановича доносился до меня издалека:

— Не стыдно вам?.. Аника воин... Возьмите себя в руки... Пожалейте мать.

С трудом я оправился. Стали есть. Соль мы экономили, как ценное лекарство. На сей раз соленым мне показался пресный наш обычно суп: долго еще, не подчиняясь воле, слезы катились из моих глаз.

Федор Иванович стал рассказывать о контрреволюционных заговорах, не прекращавшихся в столице. И вдруг звонок... Повелительный и длинный...

— Это Галина... Я знала... Галиночка вернулась, — вскочив, кричала мать.

Все мы бросились к кухонной двери. Три человека стояли у порога. Двое в штатском, ничего не говоря, деловито прошли кухню и вошли в столовую. Мы за ними следом. Матрос с винтовкой остался в кухне у двери.

— Здесь живет, — читал по бумажке, видно, главный: — Лампадин Егорий Аверьянович?

Мать отпрянула со стоном. У Федора Ивановича отвисла нижняя губа.

— Это я, — ответил я с непритворным равнодушием.

Последнее переживание выпотрошило из моего тела чувствительную аппаратуру. Сердце мое превратилось в камень. Я сдерживался, чтобы не улыбнуться: „ныне отпущаеши, наконец-то!“, для меня не было сомнения... Чекист пристально смотрел в мои глаза.

— Вы — Секретарь Домкомитета и вам должны быть известны все жильцы.

Чуть было я не сказал: „Так точно“.

— Я знаю всех жильцов.

— Известен вам Петров Олег?

— Четверо Петровых проживают в нашем доме: Иван Иванович, Петр Кириллович, Иван Семенович и Николай Иванович. Петров Олег мне неизвестен.

— Вы, что же, и имена жильцов всех знаете?

— У него феноменальная память, — поспешил заверить Федя.

— В Домкомитете нужна зоркость, а памяти достаточно и обычной. Предъявите документы.

Долго он читал мой паспорт.

— При вашей феноменальной памяти вы просмотрели опасного преступника, скрывавшегося в квартире № 7, — возвращая мне паспорт, заявил чекист.

Партийная книжка Федора Ивановича несколько смягчила его тон. В этот момент стоявший молча напарник шепнул что-то чекисту. Тот окинул взглядом стол и спросил:

— Сколько у вас тут жильцов в квартире?

— Трое, — ответил Федя.

— А для кого же эта четверта тарелка?

Обратись с этим вопросом он ко мне, я бы без сомнения своим смущением провалил экзамен.

— Я жду товарища из Банка, где я занят комиссаром, — отпарировал непринужденно Федя.

Непрошеные гости прошлись по комнатам, внимательно оглядывая, казалось, стены.

— Как же ты это, коммунист, держишь пролетария с феноменальной памятью в домкомитете? — неожиданно спросил главный, глядя на Федора Ивановича в упор.

— И почерк у него замечательный, — заметил многозначительно папарник.

И этот вопрос мог бы оказаться роковым для меня.

Но Федора Ивановича, видимо, трудно было смутить.

— Егор, покажи от доктора бумажку. Он все еще находится в лечении, — без промедления нашелся Федя.

Пригодилась эта проклятая бумажка.

— Да, угораздило вас на фронте и под конец войны. Как поправитесь, переходите на настоящую работу. Пока же ставлю вам на вид, что вы ответственны за недосмотр. Это серьезно.

— Товарищ, — вмешался Федя: — За Лампадина я отвечаю. Я сознаю вполне, что значит такое поручительство.

Вот чего я уж никак не ожидал от Феди.

— На сей раз удовольствуемся замечанием. Тщательно проверьте снова всех жильцов. Подобный случай не должен больше повториться.

И чекисты удалились. Этим, вопреки ожиданиям, отнюдь не сверъестественным „явлением“ ознаменовался наш памятный сочельник.

***

Поведение Федора Иваныча меня сильно озадачило. „Жест“ Галины спаял нас, очевидно, как „два стальных кольца“, как поется в песне. Если не судьба, то уж карьера Феди, конечно,

зависела от сохранения в тайне исчезновения сестры, равно как и от безупречности моего curriculum vitae. Шаткость моих позиций была все же слишком очевидна. К тому же новая личина не давала мне возможности упорядочить свою судьбу. А тут и председатель стал справляться, когда Галина Ивановна вернется из командировки, как это было сообщено ему. Приходил момент смываться... Капитанам Копейкиным не полагается прочного гнезда...

Мы виделись с Федей редко. Всякий раз он заверял меня, что ищет мне подходящую работу. Однажды он вызвал меня из комитета и загадочно переспросил, действительно ли я владею немецким языком? В таком случае меня ждет исключительный сюрприз: работа во Внешторге, организации, как указывает название, ведающей торговлей России с заграницей. Подобное предложение было, действительно, сюрпризом и по первому впечатлению мне совсем не по душе. Человеку с липовым état civil приятнее всего всегда потемки, а не освещение à giorno. Это ясно. А кроме того, от этого громкого названия отдавало уже чем-то политическим...

— Куда мне, я ведь не партийный, — попробовал я было увильнуть от показавшейся мне рискованной затеи.

— Да нет же... Тут ни при чем партийность, — стал горячо втолковывать мне Федя. — Внешняя торговля у нас монополизирована. Этим мы оберегаем экономику нашей страны от использования ее рессурсов в своих интересах иностранным капиталом. Эта монополия способствует укреплению нашего народного хозяйства и обеспечивает тем самым социалистическое строительство. Все это, конечно, в будущем... Пока же империалисты, с целью удушить нашу революцию, забаррикадировали свои границы и не пропускают в Россию никаких товаров. Отсюда и все наши хозяйственные затруднения. Сейчас — и это конфиденциально, не проболтайтесь, — приближается момент, когда будет разорвано кольцо блокады... Внешторгу в Петрограде предстоит огромная работа. Связь с заграницей требует знания иностранных языков. Представляете, как может быть вам там полезно знакомство с языками?!..

Последнее, на что я мог еще сослаться — это полное у меня отсутствие интереса, да и способностей к торговле, хоть и сам я сын купца. Но и этот мой аргумент признан был несостоятельным. Оказывается, Ленин как-то и где-то заявил, что все мы должны учиться торговать... Угораздило же его!

Федор Иванович мне многократно объяснил, что в природе, как и в обществе, процессы развиваются то эволюционно, а то революционно. По-видимому, нечто подобное происходит и с человеческой судьбой. Однако, с момента самого ранения, эво-

люции меня чуждались. Эволюции, как я понимаю, протекают с деликатностью и не нахрапом. А меня то и дело швыряет, как щепку в океане в бурю... Видно, я родился под революционною звездой...

⁂

С рекомендательным письмом у сердца, в замешательстве я прошел вестибюль большого здания на Петроградской стороне. Письмо было адресовано Тов. Пятигорскому. Принял меня очень любезно молодой блондин с бесцветными глазами и лицом цвета спелой свеклы. Прочитав письмо, он долго расспрашивал меня о Минске, о моем ранении и о моей семье: отце рабочем и волжанке матери. Конечно, я вспотел, но не настолько, чтобы это бросилось в глаза. Правда и в кабинете было жарко...

— Ваше пролетарское происхождение в связи с поручительством коммуниста, — заявил он: — обеспечивает вам быстрое продвижение по службе. Сейчас мы еще в стадии формирования. Вскоре мы сможем развернуть нашу деятельность очень широко. Временно я вас направляю в бухгалтерию.

Не без трепета я приступил к исполнению обязанностей, о каковых я не имел понятия. Должен сказать, что сидеть без дела мне не приходилось. В учреждении „Внешторга“ в Петрограде, по регламенту с богатым штатом, места были почти полностью замещены. Однако, по-настоящему единственно здесь деятельной службой была лишь наша бухгалтерия. Все прочие служащие добросовестно высиживали свои часы в ожидании работы. Заправилы, нужно думать, те трудились. Меньшая же братия, во множестве девицы, являлась аккуратно к положенному часу, сдержанно вела между собой разговоры, долго ногти маникюрила и, отсидев шесть часов, отправлялась восвояси с недурным пайком в положенные дни. Мы же в бухгалтерии кропотливо составляли ведомости на никому не нужное жалованье персоналу, жалованье, на которое абсолютно нечего было купить. Другие операции, возможно и планетарного масштаба, как нас уверяли, предусмотренные для нашей службы, эти были лишь in spe, в более или менее близком будущем.

И как-то незаметно подобрался час, час пробуждения для вегетировавшего нашего „Внешторга“. Договор о мирном сотрудничестве с Германией в начале 22-го года разорвал кольцо блокады, сооруженное бывшими союзниками с целью удушения революции, блокады прежде всего и почти единственно гибельной, конечно, для народа. Договор этот всполошил наш полусонный мир. Рядом торжественных собраний было отмечено начало этой теперь активной эры, ознаменовавшейся для нас значительным улучшением пайка, как бы в счет будущих доходов.

Должен признаться, что всякое изменение входившего в мой обиход порядка, выводило меня из равновесия. Склонностью к авантюрам я, очевидно, не страдал. Невольно я начинал раздумывать, не выявятся ли ненароком при новых обстоятельствах утаенные мои грехи. И это тем более меня страшило, что и судьба Федора Ивановича была теперь в игре. Как-то на митинге оратор, расхваливая своего героя, подчеркивал, что пролетарское его происхождение „просвечивало уже через дыру его штанов“. К счастью я не износил еще своих штанов до дыр, хотя это были те же, в каких я ушел из госпиталя в Минске. Не в штанах, таким образом, могла таиться моя погибель. Но кому дано знать, где придется оступиться? Пока же судьба милостиво мне продолжала улыбаться. Я был повышен в нашей табели о рангах с перемещением в секретариат. Здесь пришлось мне еще больше подобраться. Обстановка оказалась тут иной. Народ все был вокруг партийный, приглядывавшийся зорко к новичку. Чтобы разыгрывать рабочего, мне приходилось быть постоянно начеку. Особенно я опасался обронить какую-либо мудрость по латыни, постоянно путавшейся, по старой памяти, у меня на языке.

Размах нахлынувшей теперь работы превзошел все ожидания. Для восстановления разрушенного „до основания“ старого порядка, не говоря уже о построении нового, Россия нуждалась во всяком мыслимом и немыслимом добре. Германии после поражения с приостановившимся производством до зарезу нужны были заказы. И наши столы в секретариате ломились от предложений из Германии и пожеланий из России. Мой немецкий язык оказался полностью у дел. Странным мне представлялось поначалу, что партийные товарищи писали по-немецки, как полагается, говорили же на языке, в котором я с трудом лишь разбирался. Оказалось, это был испорченный немецкий диалект, как объяснил мне Федор Иваныч. Подконец с тревогой стал я замечать, что по интонации и словообразованию и я перехожу на этот волапюк.

Федор Иванович живо интересовался всем, что касалось моей работы. „К добру или печали свела случайно нас судьба, как знать“, не раз я задавался беспокойной мыслью.

Как-то он положил мне руку на плечо и, испытующе, с особой теплотой и даже нежностью спросил, отдаю ли я себе отчет в том, что, вопреки, возможно, своим намерениям, я участвую в событиях исторического диапазона; содействую построению невиданного еще справедливого порядка на родной земле.

Вопрос этот застал меня врасплох. Меня охватило непреодолимое желание сбросить тяготившую меня так долго маску, полностью открыться брату моей жены. А там, будь, что будет!

Помедлив, я ответил, что при создавшихся условиях между нами возможна недоговоренность, мыслимы и умолчания, но не должно быть места лжи.

— На такой вопрос, — я пояснил: — ответ возможен, если сам испытуемый честно разобрался в своих чувствах и точно знает, что к чему.

В свое время, чудовищной я посчитал бы мысль, что когда-либо мне предстоит раздумывать над такой проблемой. С первых дней инстинктивно, уже как ущемленный, я стал решительным противником режима. Лишь инвалидность удерживала меня, временно я полагал, от решительного шага в этом направлении. Отсюда и придуманный мною на время лишь, понятно, камуфляж. Злую шутку на сей раз сыграла не баловавшая меня вообще судьба. Во враждебном Петрограде, полуинвалид, на нелегальном положении, с первых дней я очутился под покровительством сообщника и волевого друга. Все дальнейшее — семью, брак, узаконенное положение в значительной степени я воспринимал не как самодовлеющее благо, а как трамплин для успешной подготовки к подвигу, к борьбе. В этом решении не только поддерживала меня Галина, но усиленно понуждала и к этому звала. Оба мы мечтали о торжестве контрреволюции. С какой целью — в точности мы не могли бы пояснить... С целью, скажем, восстановления старого порядка, но на иной, какой-то все же новый лад: с Колчаком, возможно, в роли Гарун аль Рашида, на восстановленном, вековом престоле. О личном мы совсем забыли. Все личное отошло на задний план. Вы знаете, мы проводили дни всегда раздельно и как мало оказалось в нашем распоряжении ночей... Я знал, что не только госпитальные обязанности отнимают время у Галины. Были дела и поважнее и посложней. Она выполняла поручения, деятельно вела ответственные переговоры. В детали она меня не посвящала. Галине предстояло в подходящий час отдать приказ о нашем совместном выступлении. Она же настояла на предварительном моем освидетельствовании врачами. Узнав их приговор, не сказав ни слова, она отправилась одна выполнять наш общий долг. Чудесно, подобно в ведомый одной ей срок, позаботившись о моем благополучии, доброй фее вошла Галина в мою жизнь. Связанная своим обетом так же таинственно она покинула семью, меня, а вскоре и наш подлый мир....

Простите, Федор Иванович, вряд ли моя откровенность вам может быть мила. Но речь ведь шла о правде... О „нашей правде“ я вам все поведал, не скрывая. Как на духу... По смыслу и по здравому суждению „правда“ должна бы быть у всех одна. В этом я был уверен. Прежде. Вашими заботами, без подготовки я попал в другой, мне чуждый стан. Близко стал общаться с

людьми, которых почитал своими кровными врагами. От этого общения одно существеннейшее заключение напрашивалось само собой. Эти люди, мои враги, за свою „правду“, не колеблясь, как и мы, готовы все идти в огонь, на смерть. И, как и мы, лишь с мыслью о народе, о нашей же стране. Тяжел был этот ком для моего совершенно непривычного к философской „диалектике“ пищеварения. Месяц шел за месяцем. Поражением контрреволюции закончилась гражданская война. Движение под белым стягом запятнало себя эксцессами, моральным разложением... Чистые души, обнажившие меч в борьбе за идеал, вознеслись на небеса; с душой помельче переселились заграницу. Приходилось и мне задуматься над тем, что делать. О моих колебаниях Чека не знала и я мог раздумывать спокойно. Круг моих рассуждений был скромен, не широк. Заглядывал я не далеко. Будь я около Галины, я разделил бы с ней ее судьбу. Но небеса не пожелали со мною знаться. Покинуть добровольно свою страну, оставить свой народ, граничит для меня с предательством.

— Ergo, не остается для меня иной альтернативы, как оставаться на своем посту и разделить с народом все испытания и все его печали. Задачей учреждения, куда я по вашей милости попал, является способствовать восстановлению народного хозяйства и накормить народ. Ценнее и благороднее задания я не могу себе в данный момент представить. Могу вас заверить, что все мои силы я готов отдать для достижения этой цели. Моей мечтой все же является, и вы не осудите меня за это, вернуться в туманной дали к настоящей своей личности, к моей лингвистике на пользу своему народу. Больше мне к этому нечего добавить.

Спокойно, не проявляя нетерпения, выслушал меня Федор Иванович.

— По особому и разному складываются человеческие судьбы в наше сложное, ответственное время, — положив мне руку на плечо, теплым голосом сказал он. — Не „сегодня“ заправляет калейдоскопом сменяющихся сейчас у нас событий и тем более не давным давно ушедшее „вчера“, а только „завтра“. Так, столь недавняя гражданская война отошла уже в историю. Туда же отойдет, еще несколько помедлив, НЭП. Гигантское социалистическое строительство сейчас в порядке дня. Люди, вам подобные, для нас ценнее ценного. Ваша честность и способности дают вам возможность и помимо лингвистики в других видах деятельности прекрасно преуспеть. А таких возможностей у нас, хоть отбавляй. Недоговоренностей между нами не существует больше. Все ясно.

Не спроста я начал все же наш этот разговор. Могу вам

сообщить, что вы предназначены сопровождать поезд с товарами в Германию. Доверие, которым вы пользуетесь у ваших руководителей, не требует в таком случае особых пояснений. Поездка эта даст вам возможность к тому же несколько размяться и отдохнуть. Вот и заграницу повидаете... Кто знает, какая и где вам предстоит еще работа... .

Способность удивляться я будто бы давно уже потерял. Но такой толчок и во всем изверившегося заставит широко открыть глаза. Да будет его воля!..

***

Впервые за пять последних лет я сменил кожу. Приодетый, в штатском на вокзале мимоходом я взглянул в зеркало и не узнал себя. Измученные, запавшие глаза; незнакомое, худое с желтизной лицо; серебристость легкая висков... Игра возможно света?.. Я быстро отвел от зеркала глаза.

В поезде, без мыслей я погрузился в какой-то полусон. Трудно было мне себя представить в новой роли. Вся эта метаморфоза походила на с минуты на минуту готовый рассеяться мираж. Одно желание владело мною неотступно: чтобы путешествие это длилось месяцы, пусть годы; чтобы, как можно дольше, длился этот полусон.

Встряхнула меня Латвийская граница. По географии в нескольких часах езды от Петербурга. И уже препона... Шестой части света вовсе не к лицу. Вошли пограничники. Незнакомый мне язык; другие деньги. Предъявление бумаг. Проверка груза. Переговоры. Все это длилось бесконечно. Дальше — литовская застава, как при Борисе Годунове. Снова та же канитель. Я был только наблюдатель и мог о последствиях этих барьеров для русской экономики, не говоря уж о престиже, на свободе размышлять.

Мы двигались черепашьим шагом. В товарных вагонах — не холодильниках — был, хотя и замороженный, но все же легко портящийся груз... Погода скисала то и дело: на день мороза приходилось оттепели два дня. А вот и польская граница... Раж польских пограничников при виде советских паспортов нас, уже привычных к передрягам, все же поразил. Затруднения ежеминутно. Как зачумленные, в вагоне с наглухо завешенными окнами и дверями на запоре прошли мы „Польский коридор". Воспрянули мы духом, когда прошли недавно лишь бывшие отечественными, а ныне хуже чем неприязненные дали и очутились у „дружеской" Германии. Выходит, не знаешь, где найдешь, где потеряешь! При немецкой сдержанности и по отношению к недавнему врагу прием считать должно триумфальным. Наиболь-

шая частица этого триумфа приходилась явным образом на груз. У самого мрачного немца при взгляде на накладную, где была обозначена его природа, лицо неизменно принимало дружественно блаженный вид.

Берлин попросту разочаровал меня. Хотя луну и другие диковины, принято было считать, изготовляют в Гамбурге, но науку и политику в мировом масштабе немцы делали в Берлине. Казалось, чертам столицы и надлежало бы отражать величие и оригинальность, пусть и поблекшие, подобной мощи, а получается впечатление лишь огромного однообразия и серой скуки. Нужна была гениальная посредственность, чтобы в камне воплотить такую утомительную монументальность.

Влияние потрясшего Европу урагана, не стихийного, а сотвоенного самими же людьми и здесь, естественно, должно было сказаться. Но в России ураган был по особому заказу и разрушил он „до основания" все — снаружи и внутри. У нас считалось, что в Германии разруха не многим меньше, будто, чем в России. Не знаю. Судя по различным поездам, ежеминутно проносившимся перед глазами в сравнении с железнодорожным движением у нас, нужно думать, что, по меньшей мере, „основание" в Германии так или иначе сберегли. По внешности на улицах все выглядело и вовсе уж пристойно. Тротуары, сплошь в бетоне, в опрятном состоянии. Магазины. На некоторых улицах их просто тьма. Прохожие прилично все одеты. Мужчины в галстуках, воротничках. Годы уже, как у нас они вывелись повсюду. Впервые я находился заграницей. Известно, что поражение причинило Германии много бед. И все же, на мой взгляд, до русской разрухи Германия далеко не докатилась.

Мы долго колесили по улицам Берлина, не приковывавшим внимания чем-либо особо импозантным, пока добрались до большого здания на Linden Strasse, где было расположено Торгпредство. Заведующий, тов. Бегге, принял нас любезно. Нас поместили в общежитии, где жили, по-видимому, только служащие коммунисты. По обычаю устроили собрание, где наши руководители сообщали об успешной работе Внешторга в Ленинграде и о достижениях начинавшего лишь возрождаться производства. Несколько дней мы приводили в порядок наши оправдательные документы. И в солнечный, похожий на весенний, день, отправились на торжество передачи груза немцам.

Должен сказать, что на это торжество я шел с опаской. Бывают моменты, когда, не отдавая себе ясного отчета, бессознательно даже не чувствуешь, а смутно ощущаешь, что нечто особенное должно случиться, что так или иначе отразится на твоей судьбе. Эти опасения связывались, странным образом, с чувством ответственности за будто бы тобою содеянное зло, за

неведомую тебе вину. Вроде, как у ненормальных героев Кафки. Но я владел собой и старался настроиться по-праздничному в унисон другим. На перроне нас встретили представители различных немецких учреждений и после обмена приветственным словом в приятном предвкушении подошли к вагонам. Открыли первый и отпрянули невольно: нас обдало не свежим духом битой птицы, в замороженном виде следующей из Сибири. В нос ударил тлетворный запах разложившейся, загнившей живности. В других вагонах тот же отвратительный душок... Непогода и бесчисленные промедления в пути неспроста настраивали меня на грустный лад. Неизбежное должно было свершиться. Вместо триумфа — катастрофа, возмущение и немалые убытки. Наши коммунисты повесили носы. Из солидарности пришлось и мне присвоить маску провинившегося. В общежитии к нам потеряли всякий интерес. Добрую неделю мы околачивались в Торгпредстве в ожидании, как мне представлялось, приговора. Стало известно, что груз решено переправить для переработки с целью использования его в индустрии. Нам надлежало отправляться к месту службы и там уже по-настоящему ответ держать.

Моя почетная миссия, мой кубок чести не принес мне славы. Правда, никто меня не надоумил, в чем собственно мне предстояло отличиться... Взятки с меня были, значит, гладки и все же явная бесцельность к тому же еще и неудавшейся поездки, меня порядком угнетала. Выдали нам жалованье. Все стали поспешно собираться в путь. Бросились по магазинам. Закупать стали всякий хлам. А меня, как Чеховского Фирса, будто впопыхах, забыли... Никто из моих спутников не предупреждал меня о предстоящем возвращении. Никто не предлагал мне присоединиться для закупок. За тридевять земель затянули молодца и покинули в дороге... В пору было, если не всплакнуть, то уж по меньшей мере всерьез обеспокоиться. Что мог означать подобный остракизм? После недолгого раздумья и я отправился присмотреть, что можно было и, имея в виду наличные рессурсы, купить для подарков, а кое-что и для себя. Увидел огромный магазин. На вывеске: „Wertheim“.

Вошел и растерялся. Все залито слепящим светом. Громадный зал. Конца не видно. Над этим еще и этажи. Все помещение занято длиннейшими столами. Проход между ними уже Фермопил... Столы завалены вещами. Видимо-невидимо. Всех родов и видов... Чего там нет? Сотни покупателей. Трогают, щупают и покупают... Никто не наблюдает... Вот она, немецкая разруха!.. А русская благоденствия пора, не говоря уж о разрухе... Ком к горлу подступил и я поспешно ушел из магазина.

В общежитии меня ждала телефонограмма: к такому-то часу явиться в комнату такую-то. Равнодушно я прочел приказ.

Ничто во мне не шелохнулось. Одно желание владело мной неотступно: не говорить, не думать, забыться поскорее и уснуть.

Без мыслей, готовый к худшему, я ждал аудиенции. Принял меня заместитель Торгпреда. То, что я услышал, повергло меня в состояние, похожее на обалдение: слышишь, что говорят, запоминаешь, а в точный смысл речи как-то не вникаешь.

— Вы направлены из Центра в наше учреждение, чтобы, ознакомившись с делами, занять в ближайшем будущем ответственный пост. Мы вынуждены заполнять здесь кадры ненадежным элементом. Ваше пролетарское происхождение и исключительные способности позволяют нам полностью вам доверять и рассчитывать на ваши силы. Временно вы зачисляетесь в секретариат. Первое жалованье вам будет выдано авансом, чтобы вы могли приобрести все, в чем нуждаетесь сейчас. Завтра приступите к работе.

Дорогой я перебирал в уме, что слышал. Больше всего мне все ж запомнилось мое „пролетарское происхождение". Это „происхождение" сыграет со мной однажды штуку, со злорадством я повторял. На следующий день, подобно агнцу, влекомому то ли на поклонение, то ли на заклание, безропотно я направлялся к „Торгпредству", не спеша.

Уже в Ленинграде, в столь чуждом лингвистике „Внешторге", меня полонила своей актуальностью и жизненной необходимостью новая для меня работа. Но это было лишь чистилище и в миниатюре по сравнению с тем, с чем столкнулся я в „Торгпредстве". Россия нуждалась положительно во всем, а Германия была единственной страной, связанной с Россией торговым договором. И Германия не только была в состоянии нам нужное поставить, но и сама, чтобы пустить в ход свое приостановившееся после поражения производство, чтобы накормить свою армию труда, сама нуждалась жизненно в заказах.

В „Торгпредстве" дело шло не о проектах и пожеланиях, как это водилось в Ленинграде, а об ответственных и сложных акциях на суммы в десятки и сотни миллионов.

Для этих операций нужны были квалифицированные специалисты и преданные делу исполнители. Известно, что после „Октября" ответственная интеллигенция объявила забастовку и отказала в содействии новому режиму. И без того немногочисленные технические кадры в большинстве покинули свои места, а многие вскоре и Россию. Наличных специалистов режиму не хватало и в „Торгпредстве" приходилось заполнять места случайным элементом, даже из местных эмигрантов. В советском учреждении, где проводятся такие операции и обращаются такие капиталы, деньги, как говорит немецкая пословица, лежат просто на дороге. Нужна только изворотливость и не ахти какая

сметка, чтобы безнаказанно их подобрать. Вокруг машинисток, запоминавших о каких заказах и кому значилось в бумагах, да и около кой-кого из служащих повыше, увивались проходимцы и дельцы. Стоило такому паразиту раз-другой отправиться к AEG или к Сименсу и Гальске и сообщить данные о предполагавшемся заказе, чтобы составить себе быстро состояние. Утверждение об эфемерности советского режима, повсеместно и усиленно муссируемое эмигрантами, находило живой отклик не только в Германии, но и во всей Европе. Немецкие промышленники не имели доверия к режиму. Падения его ждали ежечасно. Сверхграбительскими были, понятно, цены на товары. И это еще при оплате тут же, по наличному расчету. По векселю сроком лишь на год сумма увеличивалась на 50, а то и на 100 %. Такие векселя, за половину проставленной там суммы, стаями гуляли по Берлину. Их раскупали спекулянты; банки опасались или не желали их хранить.

Без надежных, компетентных кадров, во власти сомнительных специалистов, нередко ждавших лишь момента, чтобы, поживившись на заказе или на его приеме, тотчас же улизнуть, атмосфера в „Торгпредстве" всегда была тревожной. Карательный меч Москвы постоянно угрожал неповинным за просчеты руководителям и нередки были случаи, когда они по-настоящему отвечали головой.

Как-то вновь прибывший коммунист по дороге из „Торгпредства", приняв меня за своего, стал возмущаться предательством такого „специалиста".

— Понимаете, объявил себя он знатоком и, конечно, советским патриотом. И отправили его сюда на закупку шерсти. Получили шерсть, разобрались: сорта все перепутаны, как и оплата. А сам-то смылся... Меня послали разыскать его. Только и встретились, что на улице, случайно.

— Как же так, — стал я ему выговаривать: — вас ждут в Москве, а вы без дела здесь болтаетесь?

А он:

— Заказ вами получен и отчет я переслал. Чего ж еще? Мне и здесь не плохо.

Стал я его уговаривать, стыдить. А он:

— Здесь за труды у меня, вот поглядите, чековая книжка, а там известно, как вознаградят меня.Скоро не увидимся. Кланяйтесь товарищам по шерсти.

Интересно, что эти обеспечивавшие себя таким путем „специалисты" становились после самыми аррогантными врагами советского режима, а заодно уж и своей страны.

Я приглядывался, наблюдал и сердце мое ныло.

„На пользу ли народу свалился на его голову „Октябрь“ или же в наказание за грехи ниспослан большевизм, как верующие полагают, — вопрос этот сейчас спекулятивный. А вот мешать созидательным усилиям режима, затруднять восстановление народного благополучия в бедствующей своей стране, да еще в своекорыстных интересах, это во всех смыслах не проблема, а явное преступление и подлость. И никакие громкие противобольшевистские лозунги-куплеты не облагородят подобного поступка“.

Так многократно я рассуждал, наблюдая нервную, полную тревоги работу сотрудников вокруг и со своей стороны все свои силы отдавал работе.

***

Пребывание в общежитии среди жильцов текучего состава меня серьезно тяготило. Сосед по работе, инженер, снимал комнату у немки и устроил там меня. Этот инженер был чудаковат, стар и очень болен. Он был женат на своей прислуге, богомольной мещанке из Москвы. Симпатичная немка, вдова, сочувственно опекала инженера и взяла под свое крылышко охотно и меня. С Лукерьей Ивановной, женой инженера, она не ладила. Они расходились во взглядах на политику. Немка сочувствовала большевикам, конечно, только русским, а Лукерья Ивановна их с трудом терпела. Как-то я застал жену инженера на коленях перед образом в неурочный час, истово молившейся.

— Что это, вы не вовремя Бога беспокоите? — пошутил я. — Живете припеваючи. В чем еще у вас нужда?

— Каждодневно я молюсь в этот час особо и прошу у Господа, чтобы большевики скорей сюда пришли.

— Вот не ожидал. Никак вы в партию вступили?

— Ну, с партией еще пусть малость подождут... Я молюсь для этой немки ненавистной. Как начну ей рассказывать, что мы в революцию натерпелись все в Москве, не верит. „Вы“, говорит: „напраслину на коммунистов взводите. Опять вы старого царя хотите. А царь ваш был плохой; еще похуже нашего Вильгельма“. — Можете себе представить? Смеет она судить о нашем государе... Пусть придут сюда большевики. Будет она кофе со сбитыми сливками кажный день лакать... Из лужи пить заставят... А нам-то что, мы советские...

***

До переезда к симпатизировавшей нам немке с утра до вечера я не покидал своего рабочего стола, день за днем, не исключая воскресений. Все это время дорога от общежития к „Торгпредству“ замыкала круг моих передвижений по Берлину, как и знакомства с его достопримечательностями и географией. Опекавший меня инженер запротестовал и мне предписано было своевременно заканчивать работу, а по воскресеньям развлекаться.

Теперь мои вечера оказались незаполненными. Опасная пора. Больной инженер забирался с курами в постель. Развлекать ежевечерне Лукерью Ивановну и немку мне скоро надоело. Уютная комната, приятный свет, тишина располагали к одиночеству и к размышлениям. А думы все одни и те же и от этих дум мороз по коже пробирает... Что я делаю и где я нахожусь?.. Кому поются дифирамбы, оказывается особое доверие, на кого возлагаются многообещающие надежды?.. На бывшего офицера и скрывающего свое происхождение купеческого сына... И в ушах моих всякий раз звучало: „А подать сюда товарища Тяпкина-Ляпкина на предмет анализа его происхождения!..“

Я не в России. Физически здесь ничего мне не грозит... Неотвязчивая мысль, что этот обман может все же вдруг открыться и что никто мне не поверит, что и я сам лишь жертва непреодолимого стечения обстоятельств,не давало мне покоя. Краска жгучего стыда заливала мне лицо. Часами я мерил шагами, подобно зверю, свою клетку и не находил решения. Я чувствовал себя, как бы в тисках страстного желания работать на пользу своему народу и леденившего кровь чувства, что меня сочтут намеренно вторгшимся в их стан жалким проходимцем, если не врагом. Нервы, видимо, были у меня стальные. Я не запил, а все свободные минуты снова стал одурманивать себя китайскою вокабулой. Со своим самоучителем я не расставался теперь и на работе. Как-то на улице молодой китаец спросил у меня дорогу. Я ответил — не знаю — по-китайски. Китаец, оказавшийся студентом, улыбнулся, как лишь китайцы и японцы умеют улыбаться :не знаешь, с насмешкой или с восхищением. Путая немецкие и китайские слова, мы продолжали беседу. Узнав, что я интересуюсь языком, китаец предложил мне приходить для практики в китайский ресторан, где собираются студенты. С этого дня с вокабул я перешел также на китайский стол: ежевечерне суп из ласточкиных гнезд и попеременно „лакированная“ утка или курица с рисом, отдававшая гвоздикой. Запаха гвоздики я не выносил, но корень учения не бывает сладок. В наставниках там не было нужды: добрый десяток завсегдатаев студентов напрашивался в учителя. Этой встрече я обязан, что китайскую грамоту я по-настоящему осилил в срок. И этой гра-

моте я обязан тем, что не в пример другим сородичам, годы на чужбине я прожил не в нужде.

⁂

К счастью, нашим коммунистам было сейчас не до меня. В этом году исполнилось пять лет со дня основания Красной Армии, своим подвигом, как у нас принято было выражаться, освободившей родину от „контрреволюционной скверны". Полпредство готовило большое празднество. Наши коммунисты также деятельно готовились к этому дню. Предполагался публичный митинг, на котором должен был выступить полпред Крестинский. Служащим рекомендовалось широко приглашать на празднество сочувствующих Советам немцев. Наша хозяйка и ее соседка, немка, горели желанием посетить русское революционное собрание. По дороге, взволнованные предстоящим зрелищем, немки убежденно доказывали едва сдерживавшейся Лукерье Ивановне, что в эксцессах русской революции повинен только царь, так долго мучивший народ и не дававший ему ни хлеба, ни свободы. В Германии такой переворот, конечно, пройдет без кровопролития и без насилий. Лукерья Ивановна с каменным лицом в поту молчала, приберегая, очевидно, известный свой ответ на обратный путь.

Зал театра был полон до отказа. Повсюду немецкий разговор. Нам отвели хорошие места. Первым выступил с речью, как говорят французы, с речью fleuve, Крестинский. Она продолжалась с добрый час. Эта речь предназначалась не для немцев, так как оратор говорил по-русски. Если „ораторство" предполагает кой-какие атрибуты, содействующие воздействию влияния на публику преподносимых аргументов и приковывающие внимание слушателей к трибуне, то „слово" Крестинского не было „ораторским".

Грузный полпред с заросшим лицом, в очках, не торопясь, расхаживал по сцене, глядел себе под ноги и едва слышно скорее бормотал, чем говорил. С трудом я улавливал содержание его речи. А между тем в его интерпретации событий много было интересных откровений.

Он начал с героической защиты Петрограда революционными рабочими — Красной Гвардией и добровольцами из матросов и солдат — в момент неожиданного наступления немцев. Наспех сформированные революционные отряды у Пскова на голову разбили неприятеля, пробивавшегося к столице с тем, чтобы, удушивши революцию, диктовать оттуда грабительские условия перемирия. Это поражение вынудило немцев начать переговоры с Советом Народных Комиссаров. Из дальнейших

высказываний оратора никак не следовало, однако, что „похабный мир“, вынужденно принятый Лениным, был воистину единственно возможным выходом из создавшегося трагического для России положения.

Я вспомнил Федора Ивановича с „фальшивым“ на пальце бриллиантом, собиравшегося гильотинировать Ленина за еретический взгляд, очевидно, по этому вопросу.

— Роль немцев в дальнейшем, — продолжал Крестинский, — взяла на себя „Антанта“. Агенты „Антанты“ с Черчилем во главе организовали, вооружили и экипировали противников режима и вскоре вся Россия от Белого моря до Тихого океана кишела большими и малыми Вандеями. Необходимость создания настоящей нашей армии не терпела отлагательств. Задание это в кратчайший срок блестяще выполнил „гениальный организатор“ Троцкий. И по этому жизненному для революции вопросу мнения Ленина и Троцкого диаметрально разошлись. Ленин мыслил Красную Армию не иначе, как возглавленную только коммунистами. Царские офицеры должны были все кануть в Лету. Троцкий считал невозможным превратить рабочего не по щучьему, а лишь по революционному велению в знающего свое дело офицера. Отсюда вытекала необходимость использования старых офицеров для формирования кадров новой армии. Помирились на предложенном Троцким компромиссе. У каждого начальника будет стоять с револьвером комиссар с правом и приказом пустить его немедля в ход при малейшем признаке измены. Красная Арми, созданная Троцким в рекордный срок, железным помелом очистила Россию от контрреволюционных банд.

Крестинский упомянул о случае, рисующем характер Троцкого и как человека. Генерал, член Военного Совета, арестован был Че-Ка за то, что остановившись у церкви, публично истово крестился. Троцкий, с трудом вырвав провинившегося генерала из рук Че-Ка, стал распекать его, напоминая, что своим поступком он компрометирует и без того, трудные его усилия сохранить для Красной Армии царских офицеров. Генерал повинился и в оправдание свое прибавил:

— Сейчас только, Лев Давыдович, мы закончили разработку плана наступления. С минуты на минуту оно должно начаться. Проходя мимо церкви, по старой привычке, я остановился, чтобы помолиться об его успехе. Простите. Больше этого не будет.

Троцкий обнял генерала и, смеясь, заверил:

— Разрешаю вам молиться об успехе наступления, где и когда вы захотите. Последствия такого преступления я беру на себя.

Русским не вмоготу было однозвучное бормотание Крестинского без жестов, без интонации да и без слов. Что уж

говорить о немцах! Наши немки поминутно вытягивали шеи, мотали головами, как если бы им не хватало воздуха или все в горле пересохло.

Крестинский удалился. На сцене появился здоровенный дядя, немец. Грива черная волос, кровью налитые огромные, черные глаза, бычья шея в открытом воротнике рубашки. У самой рампы немец остановился, отставил ногу, запрокинул голову назад, медленно провел ладонью по рукам до самых плеч, как бы готовясь к рукопашной и рокочущим, придушенным голосом, напоминавшим отдаленный грохот неминуемо нарастающей грозы, стал говорить, скандируя слова ритмически, как белые стихи.

— Кровью залитая, опоганенная, в развалинах Европа озарилась новым светом радости и упований. Ex oriente lux! Русские титаны развеяли могильный мрак, в который проклятая буржуазия повергла Европу, а с ней и целый мир. Загорелась новая заря! И лучшие из нас в Германии перехватили русский факел и понесли его по городам и селам. Кильское восстание, деятельные протесты обманутых солдат, рабочие забастовки ознаменовали собой по всей стране наступление новой социальной эры. Наши верные борцы за идеал возглавили все эти выступления — Вильгельм Либкнехт и Роза Люксембург переняли у русских их революционный стяг.

Что же случилось? Где они, наши вожаки и братья? Почему по-прежнему мы барахтаемся в загнившем болоте капиталистического бесчестия и нищеты? — И тут он снизил рокот до журчания. — Предатель Носке, смеющий называть себя социалистом, с помощью черной солдатни подавил наше стремление к новой жизни. В темницу брошены святые страстотерпцы — Либкнехт и Роза Люксембург...

А социалистическое правительство, почему оно не сказало свое слово?! Чем занималось в это время социалистическое министерство? Министры, видите, развалившись в креслах, обсуждали другие, более интересные дела... Им было не до социальной эры...

— Скоро, скоро, — и тут он стал уступами повышать голос: — наступит время и народ потребует у всех отчета: „Где были вы, изменники, когда пророки новой жизни были брошены на поругание солдатне?“ Молчите вы, дрожите... Так знайте: „Blut und Rache« („Кровь и месть!“) вам будет приговор.

А где вы были, — гремел он, все повышая голос: — когда солдатские сапожищи топтали поверженные их тела?! Вы все еще об этом ничего не знали... Blut und Rache! Blut und Rache!

И когда святая, мученическая кровь наших борцов обагряла камни мостовой и тогда вам было невдомек... — И громоподобным голосом: — Так знайте же, предатели, слышите вы вопль?

То эти камни, живой их кровью обагренные, то эти камни вопиют: Blut, Blut, Blut und Rache!

У нашей немки началась икота. На подруге ее не было лица.

— Bitte, уведите нас отсюда, — оне взмолились — мы больше не можем, нам нехорошо.

Мы возвращались в молчании. Дорога была скучной. Немки еле волочили ноги. Лукерья Ивановна с трудом скрывала свое торжество.

***

По укоренившемуся в Германии обычаю в воскресные и праздничные дни все способное к передвижению население городов отправляется на Ausflug — перелет; превращается, выходит, в птиц, только не перелетных, а передвигающихся на своих двоих. Дороги вокруг Берлина — безукоризненные тротуары, бетонированные, блестящие шоссе наводнены в эти дни семьями от мала до велика, группами людей с рюкзаками и баулами, заполненными снедью. Проделывают, кому охота, пять-десять километров, где и оседают. Каждые 2—3 километра, а то и чаще, тут же у дороги расположены кафе. В садике длинные столы со скамьями, где по-домашнему располагаются уставшие или проголодавшиеся прохожие. К их услугам в прибавление к собственным запасам, за пфенниги пиво и сосиски, горячая вода для кофе или чая, а в помещении — кофе со сливками, кухены, до коих все немцы так охочи, а для одиночек и завтраки по недорогой цене. Находившись, наевшись, зарядившись до максимума солнечной энергией, усталые и довольные разбредаются немцы по домам. Все это происходит в однажды заведенном порядке и „по-немецки“ zierlich und manierlich. Вскоре и мы „онемечились“, как выразился мой инженер и по воскресеньям поступали согласно установленному в Германии ритуалу.

Нерабочие, праздничные дни для обычных смертных время dolce far niente. Для русского интеллигента издавна и особенно в наши дни и это время, хорошо если лишь минуты, а то и долгие часы горького раздумья и сомнений. Лежишь на чистенькой лужайке или под деревом, в как бы специально для тебя прибранном начисто лесочке. Расшалившееся солнце, принимая тебя, видимо, за немца, заглядывает вызывающе в глаза; прячется за облачком и снова щекочет опущенные веки „Wach auf Michel, поиграем, давай, в жмурки!“ А мне не до игры...

Молча, без мыслей я брел в одно из воскресений рядом с инженером в поисках приятного и малолюдного местечка. Поотстали несколько от дам. Глядя в сторону и понизив голос, инженер мне говорит:

— Это между нами. Скоро вас будут анализировать и синтезировать публично. Решено вас продвинуть в коммунисты. По наслышке мне известно, что при этом вашего брата, кандидата, не щадят и добираются до ручки. Следует вам подготовиться. У нас все вас любят, ценят исключительно и считают феноменом. Это вам известно. Кстати, вчера при заведующем вы ходкую латинскую фразу в разговор ввернули. Кроме немецкого от матери, волжанки, вы, значит, латынь уже сами от себя или может от отца, рабочего постигли?.. Наши дамы по нас, кажется, скучают... — и ускорил шаг.

Медленно я брел, пока присоединился к группе. Померкло все вокруг и отуманился мой мозг. Мышление приостановилось. Голоса моих спутников доносились, как издалека, но смысл слов мне оставался чуждым. И вдруг откуда-то из глубины пробивают себе путь к сознанию, как отчеканенные два слова: коготок увяз... коготок увяз... А дальше — страшное... То чего я все время опасался. Как автомат, я двигался, участвовал в разговоре, питался, а во мне, как и во вне лишь два этих слова: коготок увяз...

Ничего я не обдумывал и никаких решений не принимал. Кто-то, не считаясь с моей волей, распоряжался, видимо, у меня в нутре и оповестил меня о своем решении. В ту же самую минуту я воспринял его императивно. „Инженер к тебе несомненно расположен. Ты должен ему во всем признаться. Все рассказать, как оно было и как есть“. Не тут-то было! Все мои попытки уединиться с инженером кончались неудачей. Он явно делал вид, что не понимает моих авансов. С этим вернулись мы домой.

Дни тянулись чередой с их „злобой“ и забвеньем. Час возмездия то вот-вот, будто у ворот, то срок его снова отдалялся. Запоем я потреблял китайский свой дурман. Однажды инженер оборвал наш разговор и, как бы вспомнив, сообщил, что тов. Х., коммунист, вернул ячейке партийный свой билет, базируясь на том, что по слабому здоровью он не может совместить служебной работы с нагрузкой по партийной линии. Эта нагрузка, будто, обязательна и очень велика. На секунду взгляды наши встретились. Я понял, что этот довод предназначался для меня. И как скоро такой намек оказался кстати... Он навел меня на мысль, что не мешало бы загодя пошуметь о моей покалеченной ноге. Я пожаловался кому нужно и меня направили к русскому врачу. Он оказался участником русско-польского похода и застрял в Германии после интернирования окруженной армии Тухачевского. Этот доктор с первого знакомства так расположил меня к себе, что, уподобляясь пациенту, начавшему изложение своей болезни с замечания, что уже прабабушка по отцовской линии, по семейному преданию, мучилась запорами — и я начал

свой анамнез прямо с моей гимназической латыни. Все я поверил врачу. Все, не исключая и волшебной сказки о покинувшей меня Галине... И на чудесное мгновение эта сказка снова обернулась как бы явью... Да и моя жизнь, совсем еще недолгая, а столь уж забубенная, прошла передо мной снова...

Доктор стал моим духовником, целителем и другом. Камень с моей души свалился. В неприязненном и бурном океане, куда меня занесла случайная волна, я был теперь не одинок и имел опору... Когда секретарь нашей коммунистической ячейки в деловой беседе вдруг предложил мне подать заявление о вступлении в партию большевиков, заверяя загадочно, что хорошие поручители, несомненно, у меня найдутся, я, нисколько не смутившись, ответил, что сейчас как раз я и занимаюсь подготовкой к столь ответственному шагу: все делаю для восстановления моего несколько запущенного, пошатнувшегося здоровья. Грозу пронесло, но мое небо помрачнело и стало угрожающим. Теперь я вынужден был быть постоянно начеку. Заподозрят лишь мои покровители неладное и позорный конец моей вынужденной авантюры станет неизбежным. Я должен был быть подготовленным к этому моменту.

А тут еще совершенно неожиданное происшествие меня не на шутку напугало. Но так уже положено: где тонко, там и рвется.

***

Заключенный в Рапалло с Германией договор „о мирном сотрудничестве" чем дальше, тем все больше стал толковаться распространительно. Не знаю, какую степень сближения мог означать факт обмена преступников, граждан обеих стран, осужденных за время с начала прекращения дипломатических отношений. Во всяком случае, мое участие в этой, не подлежавшей даже огласке, церемонии, славы мне не принесло, а могло еще и закончиться печально.

Из Полпредства пришел приказ направить меня в Штетин для споспешествования, в случае нужды, русским преступникам при погрузке их на немецкий пароход для препровождения в Россию. Этой оказии я очень обрадовался. Рассеяться, набраться новых впечатлений, впервые насладиться морским воздухом и видом, — было от чего прийти в восторг! В Штетин я прибыл вечером в октябрьский ненастный день. Походил по городу, ничем привлекательным не порадовавшим и не позабавившим меня. Накупил газет. Утолил голод ритуальным немецким шницелем и по такому случаю позволил себе выпить Рейнского вина Liebfrauenmilch, запомнившимся мне своим приятным вкусом, когда однажды лишь мне пришлось его пригубить. Расположив-

шись комфортабельно в номере отеля, я погрузился в чтение газет; отвлекшись от своих страхов и опасений я удалился в сферы не наших измерений. Благотворно одиночество в, так сказать, диалектическом порядке: когда оно сменяет долгое пребывание на миру. В самом благодушном состоянии, вне времени как бы и пространства, я улегся и заснул без снов, как в беззаботные дни золотого детства. Обуржуазиваемся мы, очевидно, быстро. Я проснулся по-барски, непривычно поздно. Расточительно позавтракал (грешить, так уж грешить) и в лучшем настроении направился к указанному мне месту мола.

К сожалению природа моего благодушия не разделяла. Дул ветер порывами валивший прохожих с ног. Ледяные капли частого, мелкого дождя секли лицо, как иглы. С трудом я добрался до моря и нашел нужный мне пароход. При моем появлении у мола ярость волн превзошла все, что я мог себе представить. Негодующее море, окутанное белесой пеленой, сливалось с горизонтом, а гребни волн доходили почти что до небес. Вида на море не получалось вовсе. Если эта фуга разыгрывалась для меня, то я явно не почитался здесь persona grata. Тем лучше. Махом я решил поладить с арестантами и уносить тотчас подальше ноги. Эта музыка была не по моим нервам!

У сходень пароход мне показался скорлупой. И это при разъяренном море... Приятное предстоит им путешествие! На палубе, в дожде и буре, группами и в одиночку прогуливались пассажиры: солдаты в замызганных шинелях, матросы не по погоде — налегке, а кое-кто и в штатском. Я попросил матроса доложить капитану о моем прибытии. Боевой моряк, за неимением теперь у немцев флота на мирном положении капитана парохода, принял меня очень радушно.

— Мы вас ждем. Погрузка прошла благополучно. Опасных мы изолировали. Да и эти, что разгуливают, не голуби, конечно. Опросите их пожалуйста. Нет ли среди них больных? Наш доктор вам во всем поможет.

На палубе, обвеваемой ветрами и орошаемой кроме дождика еще и перекатывающейся через борт волной, обращали на себя внимание три матроса. По пояс голые, они не спеша обтирались полотенцами после утреннего туалета тут же зачерпнутой морской водой. Три былинных, живых богатыря. Вместо кольчуг спины их и грудь, да и руки сплошь были расписаны татуировкой. Печатной и непечатной. При каждом движении богатырей мышцы, вздувавшиеся на теле желваками, перекатывались послушно по их спинам, груди и по рукам.

Нужно было с чего-то начинать. На палубе вопросительно на меня глазели и я подошел к богатырям.

— Советское представительство поручило мне помочь вам

в случае нужды. Есть ли у вас какие-либо жалобы или просьбы?

Первый богатырь повернулся ко мне боком и на спине его я увидел что-то похожее на сцену из Боккаччио. Он смерил меня трудно передаваемым по концентрации в нем презрения взглядом. Смерил дважды. Молча. С ног до головы. Отвернул голову и сплюнул артистически далеко.

Другой богатырь наклонил ко мне как из меди литое лицо и, вытянув по-бабьи недоуменно губы, сказал:

— А на якой бис нам ты тутай сдався. Мы и самы с усамы.

Третий, видимо, все эти минуты заряжался гневом. Его сжатые глаза метали молни. Огромный рот попеременно изображал все мыслимые лишь в геометрии фигуры. Трепетавшие крылья хрящеватого большого носа, рот и двигавшиеся, острые, как у зайца, казалось, даже уши с шумом нагнетали и выпускали воздух. По лицу катались желваки. Грудь ходила ходуном. Человеческий вулкан перед извержением. Он склонился ко мне и с силой выдохнул, шипя:

— В дороге мы все тебе расскажем. Останешься доволен.

Я был ошарашен, но быстро овладел собой. Строго начальственно я смерил трех матросов взглядом, пожал плечами и... отошел. Излишне судить, на чью сторону склонялся матч. Могу заверить, что в эту минуту самочувствие беззащитной, несправедливо обиженной собаки было по-настоящему и мне сродни.

Разношерстная толпа — это своеобразная кунсткамера: диковинки всегда найдутся. Дальше лишь несколько шагов и, улыбаясь, на меня идет, оригинальная уже по внешнему контрасту с окружающей шпаной, молодая личность в штатском.

Бархатная шляпа на макушке огненно-рыжей длинной головы, на выкате рыжие глаза, рыжие баки на узком, чисто выбритом лице с крючковатым носом, новое пальто до пят синего сукна с бархатным воротником устаревшего фасона „дипломат“, ботинки канареечного цвета — и это среди этой солдатской голытьбы!

В преступном, как и в нашем законном мире существует, естественно, разделение труда. Высокие ступени и здесь требуют таланта и специфической культуры. Не пытаясь покушаться на лавры Конан Дойля, я заподозрил бы в этом арестанте специалиста по вскрыванию сложных сейфов, по искусной фабрикации фальшивых ассигнаций...

— Здравствуйте, товарищ господин начальник, — обратился он ко мне: — Как поживаете? Спасибо что приехали. Все тут волнуются, боются очень ехать. Почему? Не понимаю... Я гравер. Папаша всегда мне говорил: „Аврам, ты способный, все должен уметь делать. Что позволено и что нет. За что хвалят и за что с Божьей помощью в тюрьму берут. Потому, никогда

не знаешь, чем в трудный день прокормишь ты семью". Хороший гравер всегда найдет себе работу. Срок мой скоро кончится и я хочу к моим родителям, в родной Нахичевань.

Я смеюся. Вы не знаете, товарищ господин начальник, что наши матросы себе думают. Немцев в воду бросить, а с пароходом после в гости ехать. Это же фантамазия! Война окончилась и немцев нельзя в воду бросить — во-первых: пароход не спичка, через час найдут — во вторых. Скажите, пожалуйста, что я не прав.

В эту минуту меня настиг немецкий врач.

— Добрый день. С трудом вас разыскал, — щупленький доктор с собачьим прикусом, с зубами на отлете — жал мне крепко руку. — Нравятся вам эти оборванцы? Впервые вижу такой сброд. Рейд в Ленинград стоит все же риска, не так ли? Прошу в мою каюту. Там поговорим.

Стена полутемной небольшой каюты привлекла мое внимание: сверху донизу она была уставлена папиросными коробками.

— Это, — смеясь он пояснил: — папиросы для продажи. Такой случай упустить нельзя. Все разрушено. Голодают, а платят золотом и девизами. Вам это известно? С русскими никогда не знаешь... Все может быть. Вам это известно?

Отель я покинул в состоянии завидной эйфории. Не поколебала ее морская слякоть, не омрачило хулиганское поведение моряков. Сообщение фальшивомонетчика о злоумышлении арестантов снизило мое прекраснодушие только на минуту. Но я не дал себя увлечь на скользкую стезю. „Держись, Егорий", я себе сказал. „Не спускай ты парусов... Уноси поскорей отсюда ноги в сторону земли! Не твоя забота ихняя печаль".

Но беззастенчивость доктора меня все же уязвила. Немецкое высокомерие мне было известно хорошо. Уязвило в такой степени, что о самообладании и сдержанности я совсем забыл и шейлоковскую жадность доктора решил приправить густо страхом.

— Я не вижу нигде вашей охраны. Вы что же, пускаетесь в такое плавание без караула? А знаете, что арестованные замышляют?

— Как, вы узнали что-нибудь? — и нос у доктора из красненького от непогоды стал, как мел, белый.

— С этим народом нужно всегда быть начеку... А тут такой соблазн... У вас, небось и десяти матросов не найдется, а их тут сколько?!

— Сейчас обед и вы доложите об этом капитану.

По-прежнему на палубе бесновался ветер. С треском волны разбивались о борты. Все так же сыпал дождь. Три матроса,

теперь в толпе, склонив головы, как заговорщики, о чем-то совещались. Ветер явственно донес ко мне слова: „Мы их как котят тут передушим“.

— Вы знаете, что я сейчас услышал? — И я перевел доктору слова матроса.

— Попал же я в историю. Хорошо, что вы будете на месте и в решительный момент попытаетесь их образумить.

— Бог с вами. Я получил приказ присутствовать лишь при погрузке. Я сейчас же должен оставить пароход.

— Мы вас не отпустим. Капитан предпринял уже нужные шаги. Вы особенно ему понравились.

Капитан и два офицера разговаривали у накрытого стола. Тотчас же все уселись. Капитан, глядя в тарелку, пробормотал молитву. Прислуживавший матрос стал разливать густой гороховый суп со шпеком.

Похвальное слово этой похлебке сказал уже Василий Константинович, вспомнив, как он откармливался на ферме Frau Schmidt. Более сытного, вкусного и вместе с тем дешевого такого блюда и на мой взгляд не существует другого на земле. Гастрономы игнорируют этот суп — он причисляется к плебейским. Правда, для супа этого необходим, конечно, аппетит... На второе блюдо матрос вторично наполнил тарелки до краев. И эти были очищены досуха. Я следовал примеру немцев. Во все продолжение еды никто не проронил ни слова. За стаканом пива — на десерт — капитан, предложив мне сигару, спросил:

— Вы офицер?

На одну десятую секунды я растерялся... Рывком из подсознания извлечены были на белый свет погребенные и надежно замурованные там годы... Кто я? Как далек я был от подобного вопроса! Внутренне я весь напрягся. Сердце замедлило биение. Кто я? И вдруг поток времени устермился будто вспять: десять лет свалились махом с плеч... Я ответил твердо:

— Я офицер.

Слово это прозвучало гордо: как самоутверждение, как признание за собой заслуг. Так бы я ответил сейчас всякому; всякому, кто обратился бы ко мне с таким вопросом.

— Вы офицер и, значит, вам хорошо известны качества немецкого солдата, — завел капитан и мне известную немецкую волынку той поры. — Наша армия безупречно воевала. Оплошали наши дипломаты. Забыли Бисмарка завет (Тень Бисмарка мерещилась всем немцам в эти годы, пока ее не заслонила морда Гитлера, кровавого шута). — Мы должны были воевать с Россией сообща. Тогда весь мир бы... — и т. д.

Капитан сделал передышку и доктор, волнуясь, доложил:

— Herr Officier спешит. Он уходит с парохода. Он не получил приказа ехать с нами.

— Вы останетесь на пароходе. Не беспокойтесь. Сейчас я все улажу, — безапелляционным тоном отрезал капитан.

Подействовало ли благодетельно так пиво, но перспектива морского путешествия вдруг показалась мне желательной. „Прокачусь, — текли мысли: — повидаю Анну Петровну, Федю. Жаль, я не взял с собой китайского учебника... Угроза бунта — пустяки... Пришлют солдат и без моего воздействия нахалы присмиреют... Но согласятся ли в „Торгпредстве“? Ведь у меня там срочные дела. А почему меня оторвали от занятий и направили на пароход? Не нашли кого-либо другого для такой незначащей задачи?“.

И в этот миг я, наконец, прозрел. „Ведь я же простофиля!“. „Вы Германии не знаете и моря не видали“, сказал мне мой начальник. „Проедетесь и развлечетесь“...

„Какой же я глупец! Ребенка решили позабавить... Все теперь ясно, как божий день. Они все знают или, во всяком случае, я нахожусь под подозрением. Меня и отправляют в Ленинград. Там разберутся... Как же быть? Волна возмущения мне сдавила грудь. За что же такая несправедливость? Поверят мне?“.

Не так давно я видел в журнале колесницу, запряженную слонами на индийском празднестве. Пудовые стопы слонов топтали распростертые на дороге тела людей. Так, я подумал, шествует история, прогресс. Но я не ополоумевший фанатик... Я офицер. Не раз оказывавшийся в опасном, грозившем даже смертью, положении. Но здесь куда страшнее... Допросы, издевательства. Я этого не заслужил... Нужно что-либо сейчас же предпринять. Я не сдамся без борьбы... Но что же?

Капитан дремал, докуривая свою сигару. Встряхнулся, оглянул часы и отрывисто изрек:

— В 15 часов будет здесь охрана. В 16 часов мы отплываем. — И, обращаясь ко мне: — Дайте матросу адрес вашего отеля и деньги расплатиться по счетам. Он доставит ваши вещи.

Решительный момент. Еще минута и будет поздно.

— Простите, господин капитан, разрешите мне спросить, сколько солдат вы ждете для охраны?

— Вы знаете, — брюзжа ответил капитан: — армию союзники нам сократили до смешного: на всю Германию сто тысяч человек. Пришлют двух-трех солдат. Больше и не смогут.

— Так я и думал. А между тем, по моим сведениям, план бунта арестантами детально разработан. Нужно считать, что действовать они будут массой. Но вряд ли у них имеется оружие. И тут горсточка солдат с винтовками будет в таком случае настоящей им услугой. Винтовки немедля окажутся в руках бун-

товщиков. Необходим караул не менее чем в восемь-десять человек, иначе мы переживем здесь драму.

— Ganz richtig, — пробормотал не раскрывавший рта доселе старший офицер.

Капитан, насупившись, долго размышлял.

— Gut. Я поговорю с кем надо.

— Все будет очень хорошо, — убеждал меня после ухода капитана воспрянувший трусливой своей душонкой доктор. — Сюрпризом повидаете своих. Поможете нам ориентироваться в Ленинграде.

Я любезно улыбался и напряженно думал, что придется предпринять, если этот мой маневр не удастся? Сейчас час дня. В моем распоряжении еще три часа...

Вернулся капитан.

„Охрана в числе восьми солдат прибудет в шесть часов утра. В семь мы отбываем. — И ко мне: — Министерство снесется с вашим Представительством. Если угодно, можете эту ночь провести на пароходе. В противном случае вам надлежит явиться завтра к семи часам.

Я распрощался и, сверхчеловеческим усилием воли удерживая ноги, чтобы они не бросились бежать, медленно спустился со сходен.

По дороге я взглянул случайно в зеркало витрины. Около двух лет назад, озадаченный выпавшей мне честью прокатиться за границу, я так же мельком оглядел себя. Тогда меня потрясли — измученные мои глаза и худое с желтизной лицо. Теперь лицо округлилось, порозовело, а глаза все те же: затравленные и растерянные глаза преследуемой твари.

„Долго ли нам еще страдать?“ вопрошала изнемогавшая в дороге жена гонимого протопопа Аввакума.

„Недолго“, отвечал неизменно протопоп: „до самой смерти, Марковна“. Так видно и мне, старообрядцу, уж на роду написано, покоя на земле не знать, замедлив шаг от схватки в покалеченной ноге, решил я.

В отеле я расплатился, захватил свой чемодан и направился к вокзалу. Скорый поезд Штетин-Берлин уходил лишь поздно вечером. Я взял билет на отходивший тут же поезд до первой станции, на которой останавливался скорый и тут только успокоился: ищи теперь ветра в поле!

Я добрался до Берлина в странном состоянии: с чувством солдата, оторвавшегося в походе от своего полка. Всю ночь я не сомкнул глаз. Пустота в груди. Как меня на службе встретят? Что я скажу? „Не вывели ли меня вообще в расход?“.

С вокзала я отправился домой. Помылся, собрался с мыслями и засел за рапорт. Снижая тон и не сгущая красок, я

сообщил о недовольстве преступников перемещением, упомянул о моем совете усилить на пароходе караул и между прочим отметил, как курьез, любезное предложение капитана сопровождать их в Ленинград. Вывод напрашивался сам собой: Tout va bien, Madame la Marquise.

На службе меня встретили, как если бы расставание длилось даже не часы, а лишь минуты. Я передал рапорт своему начальнику. Он пробежал его рассеянно; справился, доволен ли я путешествием и, не дослушав, тут же удалился.

***

Атмосфера в нашем учреждении была обычно напряженной. То и дело обнаруживались злоупотребления и непорядки. Угроза вызова в Москву для объяснений, нередко с плачевными последствиями, создавала у руководителей постоянную нервозность. Я был в этом деликатном механизме лишь незначащей шестеринкой и, взвесив все эти обстоятельства, охотно склонялся к заключению, что начальникам здесь не до меня и что страхи мои — естественный продукт моих законных опасений. Этим самовнушением я пробавлялся вплоть до того момента, когда секретарь нашей ячейки справился о моем здоровье и сообщил, что общее собрание не заставит себя долго ждать. Как если бы для моего благополучия именно его и не хватало! Бесповоротно близился теперь момент расчета... Для колебаний, проволочек не оставалось больше времени... Настал час искупления!...

В тот же день я направился к врачу, новому моему советнику и другу. Я рассказал ему о своих терзаниях накануне решительного испытания. Доктор не разделял моих опасений относительной маккиавелистических намерений начальства спровадить меня по месту жительства. Он считал, что если уж гадать, то на нехорошие мысли мог начальство навести скорее мой отказ воспользоваться такой удачей. Так или иначе, Дамокловым мечом были теперь не подозрения ,а неизбежно предстоящий мне мой „Страшный суд“. И не существовало, я не видел иного выхода, как бегство... Бегство для солдата...

— Видит Бог, — взывал я к доктору: — ни в чем я не погрешил против моей страны и моего народа... Ничего общего не имея с большевизмом, я не фарисействовал, взвешивая, какая часть моего труда идет на укрепление режима... Все свои силы я отдавал вверенному мне делу на пользу моей матери, России. И из-за непродуманной описки в выправленной в госпитале бумажки, из-за вынужденных умолчаний о своей персоне, я оказываюсь ныне предателем перед этой властью и дезертиром перед моим народом. И как объяснить подобные порядки в

социалистической, якобы, стране: законом относительности Эйнштейна или вездесущей диалектикой?.. Пойди я, тяжкий грешник, к наистрожайшему попу с истинным раскаянием в содеянном мною преступлении и поп отпустит мне мои грехи и скажет: „Иди с миром“. Исповедуйся я перед коммунистом в проступке, какой ни в малейшей степени не нарушил чьи-либо интересы и я как бы услышу: „чур, чур; изыде сатана“. В страхе за собственную безопасность этот коммунист не преминет тут же предать меня властям.

Бегство... на чужбину. Что может быть страшнее? Это именно тот случай, когда уходишь от самого себя. Завтрашний день, самое ценное, особенно на пороге жизни, в молодые годы, завтрашний твой день, не говоря уже о прочем, раз и навсегда ты оставляешь позади... Я чувствую, я это знаю...

А как еще осуществляется такое бегство? Я ведь советский гражданин. Достаточно лишь обвинения в нарочито придуманном каком-либо преступлении, чтобы быть выданным полицией властям. Я подавлен, я растерян. Доктор, помогите, посоветуйте, что делать?

Доктор был взволнован. Мои переживания, я видел, не были чужды и ему. Он принял живейшее участие в моей судьбе.

— Ваше положение, — заявил он после долгого раздумья, — действительно трагично. И как положено трагедиям — развязка для героя не может быть без потрясений. Единственным исходом из создавшегося тупика для вас является, конечно, бегство. Но и эта задача не так уже проста, если только вы не намерены огласить разрыв, как аутодафе ваших прежних убеждений на сомнительное посрамление большевиков и на недолгую радость эмигрантам. Обращение за паспортом в „Русский Комитет“ неизбежно поведет к шумихе. А для немецкой полиции необходимы гарантии вашей „благонадежности“, как невозвращенца. Нет ли среди ваших друзей китайцев возможных поручителей?

— Я думаю, найдутся.

— В таком случае начнем с того, что для длительного, якобы, лечения уложим вас в постель. Этим временем вы воспользуетесь, чтобы подготовить нужные для успеха документы. Тужить вам нечего. Все образуется. Вы — не пионер в подобном начинании. Современная дорога „из варягов в греки“ протоптана не одной сотней тысяч беженцев задолго уж до вас. Греки эти, конечно, совсем не те, что „питали юношей в гимназиях и университетах“... На этот счет у вас не может быть иллюзий...

В жизни звериное неистребимо в человеке вплоть до наших дней. Так и в программе власть имущих: при всех режимах унтер Пришибеев неизменно остается на своем посту. Но наряду со звериным и светлое, святое живет все же в человеке. Оно име-

нуется Любовью. Чувство это так многогранно, настолько могущественно и безгранично, что сливается с представлением о мир спасающей абсолютной красоте, о самом Боге. „Бог есть любовь“.

— Любовь к родине одна из насущных категорий, необходимых для формирования в человеке личности, а любовное, постоянное общение с родиной — неистощимый, а нередко и единственный источник творчества высшего порядка. Разрыв с родиной всегда и для всех является несчастьем. Завтрашний день, как вы правильно заметили, в большей или меньшей степени у всех изгнанников скомпрометирован, а то и вовсе остается позади. И не заменит родную землю горсточка ее, случайно унесенная в амулете, как и приставшая к подошвам пыль...

— Вот чем этот разрыв для вас трагичен. Вы ведь молоды. К тому же это расплата за вынужденные действия, в каковых, по существу, вы неповинны. Но не бывает истинных трагедий без трагической развязки.

— Берлин придется вам покинуть. Эта разлука будет без печали, хотя и вам, как большинству русской эмиграции поначалу, не пришлось топить свои слезы в Шпрее. Но эти слезы понадобятся вам на Сене. Там восплачете, как во время оно плакали другие на реках Вавилонских. И повод был и будет для всех всегда один... Через тысячелетия солнце, ветер, реки донесли к нам причитания Андромахи, плач Ярославны. Русский эмигрант плачет втихомолку и стихиям плач этот невдомек.

Потрясенный, обнадеженный крепко я жал руку доктору и со свидетельством о болезни ушел поспешно сам не свой.

Среди завсегдатаев китайцев в ресторане без труда я отыскал приятелей, выразивших живейшую готовность мне помочь. Помимо расположения ко мне, мой языковый актив оказался здесь немаловажным аргументом. Тут же под их диктовку я написал заявление в Посольство с предложением своих услуг и через несколько дней был зачислен официальным переводчиком посольства. За урегулированием моего нового положения в Берлине мне было рекомендовано обратиться в Полицай-Президиум к майору Меншу. Этого майора со странной фамилией, в переводе — Человек, — я поминаю добрым словом. Он оправдал свою фамилию. Много ли таких „человеков“, не по имени только, осталось в нынешней Германии?

Майор предупредил меня, что по имеющемуся с Россией договору мне, как русскому, надлежит проживать по паспорту

Советов. Я рассказал ему всю правду о себе: о моем прошлом, как и о создавшемся для меня невозможном положении в Торгпредстве. Не говоря ни слова, майор снял трубку, снесся коротко с кем нужно и из полиции я ушел — уже только получеловеком, сиречь эмигрантом.

Последнюю ночь в Берлине я провел без сна. К утру лишь забылся ненадолго. Нужно было как-то поведать о моем исчезновении начальству. Иначе стали бы меня искать, полагая, возможно, что я стал жертвой террористов. Долго я корпел над листиком бумаги. Признаюсь, не раз слезы застилали мне глаза... Видит Бог, не с легким сердцем я встретил свое „освобождение".

Свое письмо я адресовал Торгпреду.

„По чисто личным, непреодолимым обстоятельствам я вынужден покинуть службу. В сознании своего долга перед родиной и моим народом, я ее нес со всей готовностью и возможным для меня усердием. Примите мою благодарность за дружеское ко мне расположение".

Подписался: Студент Казанского Университета, сын купца Егор Лампадин.

Я открыл свое инкогнито не из желания покрасоваться, а полагая, что оно окажется ключом к пониманию причины моего бегства.

*
**

Все дальнейшее не представляло затруднений. С бумажкой о моем следовании в Париж в качестве переводчика при китайском Представительстве, французская виза не заставила себя долго ждать. Я не успел оглядеться, как очутился, в и вам, друзья, хорошо известной цитадели русской эмиграции, в Париже. Вы знаете, что эта цитадель, особенно ее центр, в аннексированном эмигрантами Пасси в эти годы пребывала в состоянии постоянной боевой тревоги. Многочисленные организации и группы ждали лишь приказа выступить в поход. Все, прикосновенное к советам, у них отсвечивало красным и вызывало враждебную реакцию. Шофер такси, конечно, русский, по дороге в рекомендованный мне китайцами отель, исчерпывающе просветил меня о настроении в эмиграции. В такси я уже понял, что, на роду мне написанный удел, начиная с гимназической скамьи, чувствовать себя отверженным среди своих, останется все тем же и в Париже.

Китайцы встретили меня радушно и после короткого благожелательного испытания без промедления зачислили в сотруд-

ники. Работа хорошо оплачивалась и во все время моего пребывания в Париже я не знал нужды.

В своеобразном, захлестнувшем меня китайском окружении с его специфическими интересами и необычным церемониалом, с характерными особенностями китайского мышления и письма, я невольно отмежевался от аморфной, вразброд шагавшей, беспрестанно враждовавшей эмигрантской массы. Инакомыслящих объединяли все же прозябавшие во всех аррондисманах Парижа русские кухмистерские и кабачки с традиционным меню не первой свежести, ритуальной водкой и обилием на удивление агрессивных мух. Но и этой иллюзии, иллюзии гастрономического объединения с соотечественниками в силу обстоятельств я был вынужден лишить себя. Урывками сколоченный, сравнительно небогатый языковой мой багаж требовал поправок и пополнений. Только живое общение могло мне облегчить задачу быстрого пополнения моих многочисленных нехваток и лакун. Китайский ресторан здесь, как и в Берлине и был тем местом, где я набирался сил и знаний. Мои редкие визиты в кабачок с символическим названием „Ничего", служили не для питания с общением, а для мучительного напоминания о том, что я потерял.

Прежде всего я нуждался в одиночестве. Одиночество было мне необходимо поначалу, чтобы найти себя в эмигрантской, необычайной для меня среде, в окружавшем меня новом мире. В течение долгих лет моя жизнь на родине была эфемерной, как на бивуаке, на ветру... Представлялось все же вероятным, что нужно только переждать, крепиться до момента, когда прежнее, — по праву мне присущее, вернется неизбежно вновь. И верилось, что зажжется, снова звездою воссияет на горизонте моя любимая лингвистика, латынь... Звездой на горизонте родины, понятно. Не в гипотетическом же космосе, не в пустоте и уж никак не на чужбине... Но рука карателя переместила горизонты и затерялась в революционном хаосе моя путеводная звезда. Будущее во Франции казалось беспросветным. А жизнь без веры, без перспектив немыслима в молодые годы. Все сокровенное, что я унес с собой на чужбину, — мой жгучий интерес к жизни и веру в будущее, мои надежды и любовь, — все я сосредоточил на мысли о родине, о моем народе; на этапах его крестной миссии по пути к великой цели.

Как это свойственно китайцам в отношении предков, и я отвел в моей комнатушке уголок для культа и памяти о незабвенной родине, о мгновенным метеором промчавшейся Галине, о моих пенатах. Там теплилась лампадка, как у нас в молельной и, за неимением реликвий и сувениров, располагалась моя книжная палата: все, чем я владел и что удавалось доставать, где речь шла о России. В этом уголке, предоставлен-

ный самому себе, подобно схимнику, я прошел все ступени мучительного, тяжкого искуса — от ропота и возмущения, через пессимизм и отчаяние к благодати смиренномудрия и любви. Всем нам, здесь собравшимся, выпало на долю это испытание. Раньше или позже всем нам было уготовано подобное чистилище. В сострадании к людям и беззаветной любви к родине, как и вы, я нашел свою отраду и убежище. Я ведь был еще во цвете лет и алкал по творческой работе. В действительном покое я снова вернулся к заброшенной было моей лингвистике. Изучил скандинавские языки, персидский и последний, о котором упоминал Василий Константинович при первой нашей встрече, государственный язык Эфиопии, ахмарский. Испытание в Сорбонне и диплом с отличием (mention) увенчали мои усилия не опуститься, продолжать работать в неизменно теплившейся надежде быть полезным своими знаниями родной земле.

Так, в одиночестве, трудно этому поверить, неумолимой чередой проходили годы, десятилетия, безвозвратно уходила жизнь... И вот, на старости случай свел меня с друзьями, с по-русски широко радушной четой Дубининых и с зело ученым „Третьим Римом", моим другом и наставником, Харониным. И жизнь будто вернулась вспять... Поток теплых, живительных лучей дружбы и общения сменил едва мерцавший холодный огонек лампадки, неизменного компаньона моих раздумий и трудов. О себе скажу, эта встреча меня омолодила. Не стало больше места малодушию. Я ведь как-никак солдат... Всем существом своим я чувствовал, что снова готов к бою. Долго жили мы звеном, а сейчас у нас содружество; крепкая, слаженная целая цепочка. Низкий, признательный поклон Геннадию Сергеевичу за сию великую инициативу. Пусть плоть и немощна, известно. Но все же наш, пусть и заштатный, дух еще активен. Жива в нас потребность, как и способность мыслить; непреклонно наше сознание долга и верность обязательству перед родиной и своим народом. Страх берет подумать, сколько таких же неприкаянных, потерявшихся эмигрантских русских душ, какими были наши, слоняется теперь по свету. Выслушивая признания друзей, напоминавших мне так близко мою печальную судьбину, я внушал себе: „Не плачь. Здесь место не слезам. Будь горд и счастлив, что не звериное, чем от рождения скован человек и чему легко так поддаются эмигранты, ныне твой удел. К свету, к истокам человечности в тебе — к великой родине лежит теперь твой путь".

У Греков трагедии на сцене должны были, имели целью вести зрителей к катарсису, к очищению их душ. Как же должны были воздействовать на наши души правдивые жизнеописания, столь близкие каждому из нас, подлинные трагедии друзей!

Будь благословен тот час, когда мы протянули друг другу наши ищущие и обрящущие руки. Великое спасибо вам, друзья.

Начнем же сообща достойную страницу нашей новой жизни. Там, куда влечет нас наше сердце, куда устремлены наши взыскующие взоры, не поле, усеянное мертвыми костями, а в возрождении земля... Молодые поросли упраздняют, вытесняют там все обветшалое, чем за тысячелетия мракобесия и насилий обросла наша планета, бросают вызов самим небесам. Все, что в моих силах, полностью я предоставляю на потребу дорогим моим друзьям и с признательностью принимаю их сочувствие и помощь. Слава Клузарусину! Да будет плодотворен и радостен наш новый путь. Аминь.

*
**

— Не помню, говорил ли я с такой горячностью и убеждением когда-либо — Аминь, как делаю это теперь и, на правах председателя, также и от имени всех участников содружества, — начал Безладный свое заключительное слово. — В потемках вашей жизни, Егорий Аверьяныч, будто в собственных и мы брели с вами согласно, начиная с гимназической скамьи, с трудом переводя дыхание, не отставая ни на шаг. Тернист и долог был ваш путь и долго же о нем сказание.

Уже за полночь. Безгласный, зимний мрак вокруг. А в домике Дубининых и у всех у нас перед глазами горит заря. И в ореоле ее лучей огонек вашей лампадки всех красочнее и всех светлей.

В числе других и ваша исповедь нам всем порукой, что начатое нами дело жизнеспособно и нужно. По существу мы не приступили еще к осуществлению нашей цели: „раскопать правду о положении на родине и о чем действительно помышляет наш народ“. А общение нас всех уже объединило, омолодило и мы окрылены успехом. Нет больше места причитаниям о разбитых надеждах, „сомнениях ядовитых и тоске змеиной“. Все мы твердим согласно: наш Бог лишь в правде и любви.

Объявляю заседание Клузарусина закрытым. Следующее, четвертое собрание, в урочный день и час.

— А что бы нам на посошок выпить бы чайку. Шагать вам по морозу, а морозец знатный. Не хочется и расходиться, — предложил хозяин.

— Час, знаете, уж поздний, а мне далеко... Да и Машенька скучает. Небось заждалась... — заметил Лампадин.

— Как это, Машенька, простите — Мария, не знаю отчества, — взволновался председатель. — Как же это в таком случае вы являетесь за заседание один?

Все как-то сконфуженно, молча, отвели глаза.

— Нет, это действительно недопустимо, — настаивал Безладный.

— Что же, в следующий раз мы придем вместе, — согласился Егорий Аверьяныч.

— Ну, вот и хорошо, — подтвердила Софья Валерьяновна: — ждем вас обязательно на сей раз с Машенькой вдвоем.

И члены клуба стали расходиться.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Как обычно, к назначенному часу, в салоне Дубининых почти все члены содружества были налицо. Замешкался лишь Егорий Аверьяныч. Звонок у двери всполошил Безладного. Вслед за Дубининым и он бросился навстречу Машеньке. Вошел Лампадин в одиночестве. Друзья столпились у порога, крича наперебой:

— Машенька, а где же Машенька?

В ответ раздалось мелодичное, приветливое „мяу“ и из-под отворота пальто Лампадина показалась беленькая головка небольшой кошечки с черной звездочкой на лбу. Завладела ею тотчас же Елена Никодимовна и по тому, как охотно Машенька расположилась на ее коленях, можно было заключить, что она делала это не впервые.

Уселись все за стол. Выпили, по обыкновению, за здоровье хозяев, за содружество и особо за благополучие красотки Машеньки, заполняющей и скрашивающей одиночество своего патрона. Принялись за трапезу. Беседа главным образом касалась интеллигентности животных и присущих им психически особых качеств, представляющихся мистическими для людей. Такова удивительная способность запоминания и ориентировки, к примеру, у собак. Со слов друзей Никудышин рассказал, как их крошечная японская пекинуа в бесконечном коридоре отеля, где было несколько десятков совершенно одинаковых дверей, никогда не ошибаясь, неизменно останавливалась против двери именно их номера. Копылина сообщила, что семья ее обязана спасением их необыкновенной кошке, всегда обращавшей на себя внимание своей полной отчужденностью от окружающего мира, в постоянном как бы размышлении. Кошка разбудила их криком у двери ночью, когда на даче в Финляндии начался пожар. Она считает, что из всех животных только кошке при-

суща способность самоуглубления, о чем говорит уже всегда у них загадочный, обращенный как бы внутрь, взгляд. У интеллигентнейших собак взгляд, будь он сосредоточен или рассеян, обращен всегда во вне, к окружающему, к человеку. По-видимому в далеких перевоплощениях у кошек прародителями были мыслители-мудрецы и отдельные качества их мудрости сохранились и при последующих перевоплощениях. Разгоревшийся было спор о перевоплощении прекратил Безладный, напомнив, что этот вопрос еще не включен в программу наших собеседований и что близится момент начинать очередное заседание.

Четвертое заседание „Клузарусина" было открыто Безладным в урочный час. Харонин, секретарь, прочитал короткий отчет о прошлом собрании. Особых замечаний не последовало и слово было предоставлено казначею „Содружества" Акиму Потаповичу Рублеву.

— По самой чистой совести должен признаться, что с робостью, пожалуй, близкой к робости у кафедры в училище при неуверенности, правильно ли выполнен урок, я приступаю к подведению баланса и итогов моей жизни. Не думал я, что еще при жизни мне предстоит подобный „Страшный суд", где воистину всеведущим и нелицеприятным судией является моя же совесть. Но совесть, когтистый зверь, известен своей подверженностью к спячке. Не обеспокоенный и не разбуженный, этот зверь в состоянии всю жизнь хотя бы вегетировать, ничем не заявляя о своем существовании. Но если б моя совесть и находилась в подобной летаргии или ее бы у меня не существовало вовсе, то все услышанное здесь, все о чем нам правдиво поведали друзья, заставило бы ее проснуться, а при отсутствии уж по индукции вновь несомненно народиться.

Оживляя прошлое в своем воображении и пробираясь далеко вглубь, я вижу себя трехлетним человеком в штанах до пят с красными лампасами, в кубанке на курчавой голове с иссиня-черным, свисающим на глаза чубом. С такими же казачатами, как и я, часами я волтижирую на кобыле, пока не услышу окрик матери: „Хватит, баши-бузук, иди обедать". Глядя на беззубого, облысевшего старика, вы этого не ожидали... Как хорошо, что существует... нет, не память я хотел сказать. Память функция необходимая, что и говорить, но и предательская вместе с тем. Я думал — детство, да и то, если эти феерические годы пусть и недолго, но не в мечтах, а по-настоящему имели в жизни место.

На просторах нашей родины, уже по теории вероятностей, зоологические комбинации должны быть бесконечны. Егорий Аверьяныч удивил нас своей прикосновенностью, подумайте, к зырянам... А почему бы мне стыдиться своего турецкого родства... Послушайте.

Я родился в Карсе, крепости, отвоеванной генералом Паскевичем у турок и, после сорокалетнего владения, отданного русскими обратно туркам после первой мировой войны. Мой отец, командир полка, был из Кубани, мать — турчанка. Вот я и получился и тут и там. По отцу, выходит, по утверждению заумных эмигрантов — казакиец; по матери турчанин, а вообще и по существу — русский, никогда не знавший ни растроения, ни даже раздвоения — ни тела, ни души.

Не сочтите, друзья, за хвастовство. Но, ей-Богу, я и без Эйнштейна знал, что время — ну не относительно... Этого я не скажу. Но движется по разным, так сказать, аллюрам: когда — идет шагом, когда — играет казачьей иноходью, а когда и пускается в галоп. И как я мог бы этого не знать... Мне было девять лет. Захворав, в два дня умер мой отец, а вслед за ним и мать от смерчем в крепости пронесшейся холеры. Карьером промчались эти дни перед оторопевшим моим взором. Я не опомнился, как брат моего отца, чиновник акцизного ведомства в Варшаве, увез меня с собой. Я обрел новую семью и очутился в новом, мне совершенно чуждом и непонятном мире. Много слез я пролил втайне по ночам. Долго еще трепетно живыми представлялись мне отец и мать. Неразлучно оставалось со мной также мое привольное, захватывающе интересное житье в Карсе. Год-другой и новые впечатления перемололи мою детскую душонку. Обесцветились, ушли в небытие мой чуб, красные лампасы и кубанка. Темная форма реалиста сменила их великолепие и лишь фуражка с желтым кантом и гербом, ‚заломленная по-казацки набекрень, напоминала о молодецком прошлом. Я очутился среди польских в большинстве ребят, ничем не напоминавших родных мне казачат. Круг интересов моих сверстников, детским казавшийся мне их лепет, снижая мою робость, переполнял меня все же гордостью и чувством собственного превосходства. „Вот“, думал я: „нагрянет час и я расскажу, а то и покажу вам, что умею на лошади и что в строю. Тихо заплачете вы все от зависти“. Не суждено было моим талантам развернуться; и тут меня постигла неудача... Верьте мне, друзья, эта неудача отразилась значительнее на моем душевном складе, чем даже коренная перемена, связанная с оставлением Карса.

Как-то дядя, благодушествуя, хватил себя по лбу, что-то вспомнив.

— Послушай, Акимушка, я давно хотел тебя предупредить и все не приходилось. О нашем казачестве ты в классе ни гу-гу. Никто не должен знать, что ты казак. Запомни это. Иначе заклюют тебя ученики.

От возмущения я едва не задохнулся.

— Казак самый лучший и самый храбрый человек на свете, — я закричал.

Дядя обнял меня и стал мне объяснять:

— Это верно, но не на свете, а только лишь у нас, в России. А здесь мы в Царстве Польском; повсюду поляки. Казаки их давние враги, об этом ты позже узнаешь из истории, а в наши годы прибавилось к тому ж еще другое. Ты видел, как, проезжая, наши казачки нахально нагайками играют. Поживешь увидишь, как они при беспорядках нещадно поляков избивают. Поляки их и ненавидят. Понял? Запомни это навсегда.

„Лучше было бы“, я терзался: „свалиться в лужу при джигитовке на глазах у реалистов, чем переносить такое унижение: скрывать, что ты казак“. Мой единственный, казавшийся мне несокрушимым козырь, бесславно сгинул. Ничем другим я не мог больше похвалиться. И я смирился. Научился сдержанности и притворству. Это был по-настоящему мой первый жизненный урок. В дальнейшем он мне очень пригодился.

Шли годы. Я переходил из класса в класс. Моим соседом по парте был неизменно скромный, неразговорчивый поляк Станкевич. Мы подружились. Этот по виду тихий Стасик открыл мне на многое глаза. От него я услышал об угнетении поляков русскими властями. Я знал уже от дяди, что и казацкие свободы поперек горла стояли у властей. Всей душой я сочувствовал борьбе поляков против обрусения. Поэма „Пан Тадеуш“ была моей настольной книгой. И все же... Первой и моей единственной всамделишной дуэлью, едва не закончившейся трагично, был поединок со Стасиком, представьте.

Предметом наших бесед, да и интересов была по преимуществу литература. Однажды мы делились своими впечатлениями о произведениях Сенкевича. Отношение писателя к казачеству сдерживало, естественно, мой восторг. Вскользь, не помню с одобрением или с осуждением, я заметил, что Сенкевич романтик, а не реалист. Станислав потребовал, чтобы я взял обратно свои слова, позорящие польскую литературу. Я отказался. За посредничеством мы обратились к нашему словеснику, тусклой личности польского происхождения. Он промямлил что-то двусмысленное и непонятное, истолкованное Станкевичем в свою пользу. После моего повторного отказа извиниться, он бросил мне в лицо, по рыцарскому обыкновению, перчатку. Я, не признавая этих правил, ответил ему пощечиной за оскорбление. И неминуемой сделалась дуэль.

Не знаешь, где найдешь — где потеряешь... Я помню, как сейчас. Мы поссорились в понедельник, а решили стреляться в воскресенье, ближайший свободный от занятий день. Всю неделю я был в состоянии давно уже утерянного, упоительного, иначе

не могу назвать, блаженства. Я чувствовал себя, как в Карсе, снова отчаянным, непобедимым казаком. Как взнузданный конь, я, вроде, подобрался. Стал молчалив. Передвигался по-другому и с расстановкой говорил. С секундантами-семиклассниками русским и поляком (дуэлянты были в пятом классе) — точно была разработана процедура дуэли. Место — лед на Висле у большой, по возможности, проруби. Время — восемь утра, когда Висла пустынна: люди в костелах или еще в постели. Расстояние пятнадцать шагов. Оскорбление обоюдно и потому жребий решит, кому первому стрелять. Дальнейшее было оговорено следующим образом. Убитый спускается под лед в прорубь в уверенности, что за долгие месяцы до вскрытия реки, труп окажется в Балтийском море. Легко раненого ведут к уже предупрежденному польскому врачу. Врач знает, что поляк дерется с русским за честь Польши. Он готов помочь и снабдил секундантов перевязочным материалом на случай первой помощи. При тяжелом ранении условлено объяснить полиции, да и домашним, что, прогуливаясь, нашли револьвер. При неосторожном и неумелом обращении с оружием случайно получился выстрел. В то время никому не показалось бы диковинкой, покоящийся где-либо в Варшаве в уголке револьвер с пулями. Все участники поклялись, конечно, строжайше хранить тайну дуэли и ее последствий.

Со спокойной выдержкой я ждал воскресенья, ни на минуту не замедляя и не ускоряя в своем воображении его прихода. Ни писем, ни записок условлено было не писать. Мне это было полностью с руки, а бедному Стасику, наверно, приходилось хуже: у него родители и маленьких два брата. Такие минуты слабости я с решительностью отвергал. Инстинктивно я чувствовал, что эта дуэль проявит мои казачьи качества и превосходство и восстановит, возможно, попранную честь казачества в глазах поляков. Повторно я принимался, было, читать сцену дуэли Онегина с Ленским. Стихотворный размер описания дуэли, как и невольно на память приходивший мотив известного романса, показался мне сентиментом, снижающим суровую строгость подобного момента. Я бросал поэму и перебирал в уме, не найдется ли что-либо у меня о дуэли в прозе. За неимением я ложился раньше обычного в постель и тут же засыпал.

В воскресенье я оказался первым в условном месте. Вслед за мной явился Стасик. Вид у него был совершенно необычный, как если бы всю неделю он не ел бы и не спал. Тотчас же пришли и секунданты. Сыпал мелкий снежок. Сильно морозило. Аллюром беспечно разгуливающих реалистов мы отправились на Вислу. Нашли большую, едва затянутую тоненьким ледком, видно свежую, полынь. Скинули шинели. После короткого совещания секунданты предложили нам мириться. Стасик молчал

и я тоже. Вид у Стасика и на морозе был, как у мертвеца. В фуражку положили две бумажки с цифрами 1 и 2. Мы тянули одновременно. Вышло, мне первому стрелять. Отсчитали пятнадцать шагов. Мне поднесли два револьвера на выбор. Я взял уверенно тяжелый револьвер и любовно провел рукою по холодной стали. Повертел его в руках и вскользь как бы спросил:

— Известно вам, эти револьверы уже пристреляны? Надо все же знать, как брать на мушку выше или ниже.

Оба секунданта оторопело на меня глядели. А поляк сказал:

— Я вижу, вы с револьвером имели дело.

Годы я ждал этого момента... Я скромно усмехнулся и, глядя поляку сосредоточенно в глаза, с достоинством ответил:

— Я казак. В десять лет я все знал и все умел, что полагается настоящему воину-казаку. На лошади и в строю. Я бью без промаха из револьвера и из винтовки. Вы должны знать, — прибавил я: — Казак из револьвера на двадцать шагов свободно убивает муху. — Я не отнес это с точностью к себе.

Я видел, как изменился в лице секундант-поляк и как Стасик задрожал всем телом. Растерянно и недоверчиво оглядывал меня русский секундант. Я ответил ему уверенным, спокойным взглядом. Впервые я чувствовал, что не посрамил отца.

— Может, вы не станете драться и протянете друг другу руку, — неуверенно он предложил.

Стасик молчал и я тоже. Не уверен, владел ли Стасик в это утро языком вообще.

Секунданты переглянулись и поляк сказал:

— В таком случае, начинайте. — И, обращаясь ко мне: — Вам стрелять.

Прежде чем испустит дух один из дуэлянтов, следовало бы хотя бы бегло ознакомить вас, друзья, со внешностью героев. Оба мы были не по летам рослы. Стасик ростом превышал еще меня на один-два сантиметра. Зато оба плеча Стасика уместились бы вполне на моем одном плече; то же в отношении размеров грудной клетки. Я был (от прошлого ныне остались лишь ошметки), верьте мне, жгучим, как говорят, брюнетом; смуглый, с темными глазами; Стасик в такой же степени блондин, бледнолицый, с серыми глазами.

Как видите, у барьера сошлись взрослые ребята и к тому же антиподы, почти в таком же роде, как Онегин с Ленским. Дурные примеры барзо заразительны, известно. Итак, выстрел был за мной.

Я подобрался, вытянул руку, поднял высоко револьвер и с криком: „Казак друга своего не убивает“, выстрелил два раза в воздух. В эту самую минуту произошло что-то непредвиденное и непонятное. Я почувствовал ожог в бедре и брюки мои окра-

сились кровью. С конвульсивно сжатыми пальцами, выронив револьвер, Стасик, закинув голову, не двигаясь, лежал на льду.

Секунданты бросились ко мне. Я оголил бедро. Пуля по касательной поверхностно задела кожу. Туго затянутым бинтом с трудом удалось остановить кровотечение. Подняли Стасика. После долгих встряхиваний он пришел в себя и тут же залился слезами. Я обнял его. Мы расцеловались и сердечным рукопожатием закрепили наше примирение. Как хотел бы Онегин, я подумал, оказаться в нашем положении!

В праздничном настроении мы отправились к врачу. Стасика тянул секундант поляк: ноги ему не совсем повиновались. Меня слегка поддерживал русский. Чтобы не снижать значительности момента, я усиленно хромал, хотя не чувствовал в ноге ни малейшей боли.

У доктора нас ожидал действительный триумф. Увы, героем этого триумфа оказался Стасик. Вопросов нам никто не задавал и объяснения были не у места. А факты были налицо: я был пострадавший и, значит, поделом наказанный за оскорбление Польши — русский. Факты... Голые факты... Я навсегда запомнил их предательскую очевидность. Кой-кто из моих коллег по классу и в училище догадывались о дуэли и о действительном ее исходе. При случае они выражали мне свою симпатию и одобрение. Это было неизмеримо далеко от связанных с дуэлью надежд и ожиданий. Этот новый урок после преподанного мне дядей по поводу казачьей славы в Польше, невольно заставил меня призадуматься, поглубже вникнуть в обстоятельства, определяющие судьбу людей. Рано я постиг, что милостью окружающих, хоть и друзей, жизнь готовит то и дело человеку ряд запутанных проблем, а то и настоящих козней и в эпилоге не виновный плачет, а неудачник слезы льет. Теперь, перечитывая сцену Онегинской дуэли, я содрогался от роковой неизбежности ее исхода, от неминуемой обреченности поэта. Да, сентиментальности там не могло быть места, а поражавшее меня так слово „неудачник“ служило не для ритма. Оно определяло собой жребий и возвещало грозное memento. Неужели, я думал и передумывал, и мне, как Ленскому, жизнь готовит подобную развязку?.. Нет, повторял я бесконечно, не позволит этого уже моя казачья совесть и закваска. Кем угодно, хотя бы и виновным, но никогда и никак не неудачником я намерен закончить жизненный свой путь!

***

Два года быстро пролетели. Средняя школа осталась позади. Время было запасаться теперь уже настоящей путевкой в жизнь. С чем же я вышел на скользкую ее арену?

Звезд с неба в училище я, как говорится, не хватал. Да это было бы и преждевременно по тому моменту. Чему в училище учили, я запоминал и не прочь был при нужде засесть за книжки снова. Но особо я хотел бы здесь упомянуть, что мое пребывание среди поляков, угнетенной нации, само собой расширило политический и я бы сказал и человеческий мой кругозор. Знакомство с польским бытом оградило меня от присущего маменькиным сынкам панического страха при одном лишь слове — революция. Все ученики поляки, начиная от приготовишек, называли себя революционерами и многие из них были преславными ребятами. А их страстная привязанность к своей стране не могла не вызвать восхищения. Невольное сочувствие их идеалу избавило меня от эгоистической тупости, столь свойственной самодовольному большинству нашей среды. Этот опыт послужил мне наукой и в поздние годы: выпавшие нам всем на долю, тяжелые годы эмигрантских испытаний.

— Вот, Акимушка, — обратился ко мне однажды дядя: — теперь ты взрослый человек и должен подумать, куда направить дальнейшие свои стопы. Задумывался ли ты об этом, а может что-либо уже решил?

— Всерьез этим вопросом я собственно не задавался, — ответил я: — но особенно привлекательной мне представляется деятельность инженера путей сообщений. Отец Стасика путеец, инженер. Он часто рассказывал в моем присутствии о разведывательных экспедициях по прокладке дорог в отдаленнейших местностях России. Такая работа рисуется мне очень интересной.

Дядя выслушал меня и, помедлив несколько, с сокрушением сказал:

— Инженер путей сообщения — это весьма хорошая карьера, но очень дорогая. Нам она, Акимушка, вовсе не по средствам. У меня семья, детей надо учить. Затраты все растут, а жалованье мое давно уже все то же. Ты меня поймешь. Я очень сожалею, но за неимением средств на дальнейшее учение ты должен стать на ноги сейчас же. Ты должен обслужить себя и по возможности и мне прийти на помощь.

Я кое-что в жизни уже смекал. Логику в реальном училище у нас не преподавали. Но для решения подобных жизненных задач не требуются даже силлогизмы. Речь дяди звучала реквиемом еще и в прозе, для всех мечтаний, были бы такие у меня всерьез. Но я блуждал еще в потемках относительно своего призвания и приговор дяди принял с достоинством и готовностью, никогда и ни при каких обстоятельствах не теряющегося казака. Учиться, так учиться; работать, так работать... И здесь я не отстану от других.

С этого момента мои каникулы пришли к концу. Мне было

не до отдыха и развлечений. Спешно требовалось заполучить прибыльную и к тому же еще и перспективную работу. Для желторотого юнца задача не из легких. Стараниями дяди вскоре я числился на положении испытуемого в кадрах широко по градам и российским весям раскинутого и весьма основательно организованного немецкого учреждения — страхового общества под названием „Россия". Красивый почерк и незаурядные старания позволили смягчить, а то и сократить на путях моего продвижения, обычные для начинающих, барьеры и препоны. По прошествии лишь полугода я был уже в звании агента по страхованию от огня и к тому же оказался страстным следопытом по обнаружению намеренных поджогов. Эти два феномена, страховка и поджог, я в этом скоро убедился, связаны между собой так же естественно, как жизнь, например, и смерть. Как народившийся, день проживший младенец на этот день приблизился к концу, так и застраховавшийся по меньшей мере потенциальный поджигатель. В Варшаве, я могу это утверждать en connaissance de cause, — а почему бы и не в иных местах, — домовладельцы, собственники лавок, магазинов, верный выход из жизненных и экономических теснин, пусть и теоретически, только и видели: крупные — в банкротстве, мелкие — в пожаре. Банкротства коснулись меня позже, а пожары — это был мой, так сказать, повседневный хлеб. Не всегда, увы, иносказательно.

Харонин не раз нам пояснял значение слов „сознание" и „бытие". Кто как себе их связь, возможно, представляет. В то время это „бытие", знал бы я о нем тогда, вне сомнения представилось бы мне упругой, шелковистой, полногрудой Катенькой, таинственным своим шуршанием, туманящей сознание и в сердце и в мозгу. Ласкали ли вы, друзья, хотя бы однажды в своих руках этот обольстительный родник блаженства сейчас же, тут же на земле? Если приходилось, то вы мне посочувствуете и меня поймете. Харонин прав. Мое сознание, после некоторого сопротивления, в точности стало вести себя по Марксу :оно потянулось вслед за этим „бытием". Под его контролем и по наущению, выходит, сторублевая бумажка благодарного погорельца переправлялась незаметно в мой карман. Кой-когда... Не всякий день, конечно...

Деньги, особенно лишние, обязывают. Это естественно. В девятнадцать лет никто не станет заводить кубышку. А в „Маленьком Париже", как в наше время величалась Варшава, избавиться от денег, которые все же, с непривычки, что ли, руки жгут, не представляло затруднений: охотников до них была тьма тьмущая, а уж охотниц...

Хочу еще добавить, что при внешности, как выражался Пушкин, comme il faut, я экипировался к этому моменту по

последней моде, прошел с отличием курс танцев, научился дирижировать по-французски на балах, пел недурно баритоном... С этим добавлением я вынужден здесь на минуту отклониться.

⁂

Кто в море не бывал, тот горя не видал. Допустим. Это в компетенции Василия Константиновича. А я скажу: кто с польками не общался, тот, как уж, ползал по земле и в эмпиреях не витал, в высотах поднебесных. И какими скучными кажутся перед таким полетом пусть и подобные же авантюры на земле!

Сравните же, друзья, век нынешний и век минувший, который так незаслуженно клянут. Какая бесчеловечная ныне требуется к полету в поднебесье подготовка и во что обходится теперь такой полет...

Ах, польки, польки... Сколько переживаний воскресает в моей памяти сейчас при этом слове. Тут и неповторимые, однажды лишь даруемые человеку молодые годы, бесконечно долгой представляющаяся жизнь впереди и настоящее блаженство, не без оскомины, конечно.

Чтобы оторваться от юдоли земной в Варшаве, достаточно на Маршаловской завернуть в цукерню. Минута, другая и перед вами волшебное видение: в глазах лазурь моря и небес; лицо и стан, как из фарфора, а ротик — бездна с жемчужным ожерельем; бездна с живительным родником на дне... И голова кружится и кофе в горло не идет... А кофе-то со сливками, по-венски!

Признаюсь, я, кажется, непростительно тут замечтался... Не посетуют ли на меня еще бесконечно почитаемые мною наши дамы... за полек? Но это был бы всеми ныне осуждаемый расизм! К счастью, это каннибальское чувство сглаживается у мужчин, по отношению по меньшей мере к женщинам, в естественном порядке, как это свойственно самцам животным.

Вот послушайте, что я узнал однажды от пользовавшегося авторитетом махрового антисемита и расиста по этому сюжету.

В первые годы эмигрантского прозябания в Париже я бродил как-то по шумным улицам в томлении от безделья. Напоролся вдруг на приятеля, торопившегося куда-то с ученым видом.

— Спешу, — говорит, — на лекцию Шарля Морраса о евреях.

Ну, думаю, евреи революцией Россию погубили, интересно послушать, что они в Париже натворили.

Зал был наполовину пуст. Уселись. Рядом оказалась очень худая дама в черном. О чем Моррас говорил, я понимал, конечно, меньше чем наполовину. Отвлекала меня еще и дама: на выкрики

Морраса она отзывалась не воркованием, а каким-то подозрительным кудахтанием. Мой приятель прислушался и говорит:

— Вот оказия. Ты казак и все должен уметь делать. Похоже, твоя соседка собирается рожать. В Париже, — говорит, — это бывает...

— Ты, — говорю, — с ума сошел?

А вдруг, думаю...

И в это время, Моррас, отчеканивая слова, раздельно, как будто специально, чтобы облегчить мне понимание, сказал:

— Quant aux femmes juives, je dois dire que parmi elles il y en a des êtres merveilleux.

Из разных углов зала раздались протесты, а моя соседка раскудахталась теперь уже во весь голос и всерьез.

Моррас ударил по столу и закричал:

— Taisez-vous! Quand je dis ça, c'est comme ça!

„Теперь, — подумал я, — от шока действительно может с дамой что случиться„ и поспешно оставил зал.

Вы видите: не могу же я в отношении полек быть в большей степени расистом, чем сам расист Моррас касательно евреек...

Чем бы закончилось мое Варшавское приволье, боюсь сказать. Уж очень сильно било оно ключом по голове (спасибо Тэффи!) и я терял способность здраво мыслить, а еще сильнее тузило по карману... А тут еще меня всерьез заело затруднение, как в Онегинский „домашний круг" вписать не квадрат — избави Боже, — а всего лишь треугольник: двух Зосей и одну Ядвигу, одинаково обворожительных, да так, чтобы они не знали бы друг о друге. Уверяю вас, в сравнении с этой — задача квадратуры круга возможно и труднее, зато приятней и безопасней во всяком случае.

***

Я очутился между трех огней. Приближалась катастрофа: срок сгоряча данных обещаний истекал. Не утешило меня даже сообщение сослуживца, что полоумная дочь хозяйки, где он живет, утверждает, что через месяц будет конец света. Этот срок мне показался слишком длинным. Что было делать? Неизменно затягивавшийся Гордиев узел оставалось лишь „рубать", как выражаются казаки. Но этот узел находился у меня на шее. Рубай тут...

Воспитайся я, как наш друг Лампадин, на блаженной вере, мне было бы легче: я стал бы свечи жечь, бить поклоны, ложные обеты расточать в надежде на расположение свыше. Но я получил казачье воспитание: о „матери бога" я наслышался не в церкви и не от попа узнал. Перед ожидавшим меня позором я помышлял уже о худшем. Спасителем моим оказался варшав-

ский воинский начальник. Вспомнив о моем совершеннолетии, в самый критический момент он призвал меня к военной службе и препроводил вольноопределяющимся в казачий полк в Сувалки. В семье, на службе удивлялись сиянию на моем лице при предстоящей мне, почитавшейся у нас во всяком случае, невеселой перспективе. Побывали бы они часочек в моей шкуре, знали бы не только, где зимуют раки, но отчего и камни вопиют. Оставалось еще окутать проводы глубокой тайной. В последний момент я оповестил моих возлюбленных письмом, что власти увозят меня без предупреждения в неизвестном направлении... В Варшаве подобное бывало...

Уф, и сейчас меня морозит и прошибает пот, когда вспоминаю, что я пережил в то время.

Но, друзья, какое, с позволения сказать, природа учинила свинство, наделяя человека, так называемой, свободой воли и окружив соблазнами, против коих никакая воля не вольна. А соблазны, даже подобного порядка, каждый только на себя похож. Вот разберись и воздержись... А ведь в жизни наставляет только собственный урок. Память о дуэли и об искушениях в образе трех полек послужила мне незабываемой наукой во все последующие этапы моей жизни. Не полностью, конечно.

Год военной службы промчался, как приятный сон. Пустынные болота Белостокского, именуемого ныне Воеводством, сменили для меня шумные Варшавские бульвары, и я благословил судьбу. Вернулось мое детство. Учения, упражнения, рейды, жизнь среди природы обновили мою в гомоне и городских соблазнах пригорюнившуюся, было, душу. Вековая, вечная вокруг стояла тишина. Наш военный маленький мирок двигался по раз и навсегда, казалось, установленному кругу. Урывками, по временам лишь разговоры о войне оживляли наши долгие и скучные досуги. В офицерских кругах поражение в войне с Японией гнездилось в памяти чувствительной занозой, но это были не связанные с действительностью, ни к чему не обязывавшие разговоры. Испытаний для свободной воли и здесь было не мало. Главным образом, как во всякой глухомани, это была водка и картежная игра. Реже женщины, но и куда серьезней: драмы с замужними, обычно с женами однополчан.

Я, как и мой щенок лягаш, оба мы учились на собственных примерах, но усвоенного уже не забывали. Лягаш, к примеру, имел к кошкам особую симпатию и при встрече провожал их любопытным взглядом, пока, приблизившись доверчиво к насупившись сидевшему коту, не получил удара лапой, раскровянившего ему нос. И как щенок не приближался больше к кошке, так и я от женщин держался вдалеке, так что удостоился даже прозвища в полку „монаха“. Водка и карты поначалу меня

немного увлекли, но на размышления и на кой-какие выводы во-время наставила меня эпохальная, особенно для офицерства в захолустьях, книга Куприна „Поединок". В полках роман этот зачитывали до ошметок. Как в зеркале, офицеры видели в нем жалких пешек — самих себя; пошлую, для многих гиблую свою среду и свое же будущее без просвета. В полку я чувствовал себя лишь гостем и в терниях военной жизни разбирался хорошо. Не будь хороших книг, плохо пришлось бы мятущимся, не полностью опустившимся и не засосанным еще провинциальной тиной офицерам. Чтобы в мечтах хотя бы быть полноценным человеком, нужна была поддержка. Такой поддержкой служили книги — в немалой степени рассказы Горького. Его герои своею сущностью, речами, устремлениями в серое то время утверждали право человека на уважение и свободу, олицетворяли собою борцов против условий существования в стране и призывали к протесту и борьбе. Офицеры, не прикасавшиеся обычно к книгам, зачитывались его рассказами.

К концу клонилось мое благодатное затворничество в Сувалках. Близился момент выхода повторно на беспокойную арену жизни. Тревожно было на душе. Неуверенность, отпущены ли мне мои старые грехи, опасения новых искушений заполняли мои мысли. При этом я ясно сознавал, что полковая интермедия заключала мой безответственный жизненный этап. Им заканчивалось мое юношество. Дальнейшие мои шаги будут бесповоротно зачитываться в последующие годы. С прошлым я решил окончательно порвать, включая и искушающую работу по пожарам. Усилиями дяди я определился теперь в банк и, умудренный недавним канцелярским опытом, вскоре занял ответственное место в отделе биржевых операций.

В „Страховом Обществе" я близко подошел к сфере, где выявляют себя в общем скромные, не широкого диапазона человеческие, скажем, слабости. Это знакомство обогатило все же мой жизненный багаж и предметно осведомило меня о скользкости и малых человеческих путей. В банке, в биржевом отделе моему испытующему взору представилась захватившая меня потрясающая панорама человеческих страстей, непреодолимых вожделений, рискованной погони за обогащением без затрат, без всякого, что ни на есть, труда. В общем, памятуя Евангельское утверждение: — Кто не работает, не ест — занятие это малопочтенное, конечно. Но риск — это дерзание, вызов; дело благородное, как говорят в народе. И, забыв об Евангелии, равно как об искушениях, я стал усиленно убеждать дядю в свою очередь дерзнуть.

А дело в том, что к этому моменту среди созвездий на биржевом нашем небосводе засияла новая, по блеску, видимо, пер-

вой величины звезда. Свет исходил, оказалось, от акций золотых, вновь разведанных россыпей английской компании на сибирской реке Лене. Весть о новой звезде молниеносно распространилась по России, а возможно — и по свету. Толпы с дарами, большинство, естественно, из скудных своих средств, пришли ей поклониться, в надежде, конечно, основательно при этом поживиться. В число наивных пилигримов со скромной лептой, составлявшей большую часть накопленных на старость сбережений, по моему настоянию, затесался также дядя.

Призадумаешься подчас над тем, что происходит и невольно скажешь: где же Бог? Уж очень много жуликов и дураков на свете, не говоря уж о всем прочем. Да и верующий народ предупреждает: „На Бога надейся, а сам-то не плошай!“ Не поддавайся, значит, дьявольским приманкам. По горькому опыту на собственной шкуре могу вас заверить: что ни делай, а за дьяволом все равно никак не уследишь.

Кто мог усомниться в подлинности и долговечности Ленской звезды? Люди продавали собственность, превращали в деньги последние пожитки, чтобы накопить нужный для паломничества капитал. В Варшаве из уст в уста передавалась весть, кружившая всем головы: петербургский пристав за короткий срок на Ленских акциях прикарманил шесть тысяч рублей. Этот пристав, как Гоголевский Басаврюк, стучался во все окна Варшавских обывателей, дразнил и хвастался добычей.

Звезда посветила кому нужно и незаметно переправилась в свой тусклый ранг, где ей находиться полагалось, а пилигримы, в том числе и дядя, вернулись восвояси почти-что нагишом.

Это испытание я пережил с трудом. Вспомнил о дуэли, о трех красотках польках и причислил себя окончательно к безнадежным неудачникам. Не напрасно, очевидно, я представлял себе совершенно по особому мое будущее в детстве.

Послушайте. Мне три года отроду. За столом в Карсе родители и гости. Одна из дам спрашивает меня, кем я буду, когда вырасту. Я задумываюсь и молчу. Мать подсказывает:

— Акимушка будет самым ловким из джигитов.

После долгой паузы, тоном не по летам глубокого смирения, я заявляю:

— Нет, я не хочу джигитом. Я буду ходить по улице, подойду к окошку и запою: „Подайте сиротке, люди добрые; подайте голодному копеечку!“.

Матери стало дурно. Гостья залилась слезами. Отец обнял меня и сказал:

— А про собак, Акимушка, так ты и забыл. Изорвут они твои штаны с красными лампасами, а что тогда?

Я подумал и не совсем уверенно сказал:

— Я буду джигитом.

Как видите, это собаки упорядочили мое существование. Не напрасно я так люблю собак.

Итак, я мыслил себя бесповоротно в разряде неудачников. В разговорах со знакомыми при первой возможности я переходил на эту тему. И тут я наслушался такого, что и вовсе потерял кураж.

Знатоки этого вопроса и большие охотники до мистических материй, мне пояснили, что существуют на самом деле люди, к которым несчастья тянутся, как мухи к меду. В просторечии их называют „ходячие несчастья" или же „Макары, на которых все шишки валятся". Но есть еще субъекты, которые приносят окружающим несчастье, — будь то советом или только своим присутствием, сами при этом оставаясь невредимыми.

Горит, к примеру, назовем, театр. Этот человек обязательно на представлении. В числе немногих или даже в единственном числе он остается жив. Пароход тонет — субъект этот тут же среди пассажиров. Люди гибнут, он спасается. Среди врачей, особенно хирургов, такие неудачники будто бы известны. Их называют особым именем „Хароны". По греческой мифологии это перевозчики на тот свет. Такой Харон безупречно оперирует, а в результате ряд непредвиденных осложнений и смерть пациента. Страховые общества знают о таком явлении, следят будто бы за этими субъектами и воздерживаются от страхований объектов и предприятий, где они участвуют.

Можете себе представить мои переживания после подобных пояснений. Выходило, я являюсь типичным воплощением неудачника в квадрате: и себе и другим во вред. Я попросту не знал, куда себя девать. Долго я собирался с мыслями, раздумывал, рассчитывал и решил взять судьбу, так плохо опекающую неудачников, в собственные руки, на цугундер, так сказать. Прежде всего следовало разделаться с работой в биржевом отделе, где я вынужден был давать советы посетителям. К этому времени в нашем банке открылась вакансия сотрудника при „Доверенном по отделу пушнины", служба, сопряженная с долгим пребыванием и путешествиями по Сибири. От одной мысли о такой возможности я воспрянул духом. Доверенный, к которому я обратился с просьбой замолвить за меня словечко, предупредил, что у меня имеется соперник из моих же сослуживцев, явно, по его словам, из-за близорукости неподходящий для такого дела и обещал все сделать для моей кандидатуры. Нужно ли особо добавлять, что в Сибирь отправился не я, а мой соперник?

*
**

Чехов, кажется, писал: если зайца долго бить смычком по голове, он начнет играть на скрипке. Я считаю, что если неудачнику не давать вовсе передышки, он на кривой и мачеху судьбу объедет. Следовало бы с кем-нибудь поговорить, со знающим... Но с кем? К дяде я теперь боялся подступиться. Заглянуть бы в книжку... Пушкина я читал перед дуэлью. Он меня о неудачниках и надоумил. Взял теперь Крылова... Книжек у меня наплакал кот. Открыл и перед глазами строчки: „Где силой взять нельзя, там надобна ухватка!“. Как было не подумать, что это вроде откровения свыше! Дедушка Крылов меня и научил. Я понял: надо было не в лоб бить, а идти в обход... Всю ночь я мучился, прикидывал в уме, изучал детально обстановку. К утру план действий был вчерне готов.

На службе, здороваясь со своим соперником, я, между прочим, предложил:

— Как бы нам, Сигизмунд Адамович, перед разлукой в вашу честь опрокинуть рюмочку-другую. Когда теперь придется свидеться...

— Очень согласен, — говорит: — Спасибо.

На следующий день мы сидели в ресторане в уголку, ели осетрину с хреном и запивали крепкой польской водкой. Я на тосты не скупился и поляк скоро стал сдавать. После брудершафта, выпитого по его почину, можно было начинать *задуманный обход*.

— Ты, — говорю: — счастливец: замечательное назначение получил... У тебя ведь были конкуренты, и ты их всех опередил. Директор отдал предпочтение тебе. Вероятно, вы знакомы близко или связаны с директором домами?

— Нет, — с трудом осилил заплетавшийся язык Сигизмунд Адамович. — Мы... как бы сказать... Я не должен об этом говорить... Мы с директором связаны серьезно: мы в одной организации.

— Что же это за такая организация — ты и директор?

— Это большая тайна. Я не должен об этом говорить.

— Много вас в организации?

— Не очень много.

— Вы собираетесь?

— Собираемся.

— Где?

— В ложе.

— В ложе? Как это в ложе?

— Послушай, — судя по осмысленному взгляду пришел в себя мой собутыльник: — Я ничего не знаю и ничего тебе не сообщил. Оставим это: у меня могут быть большие неприятности.

Этих признаний мне было вполне достаточно. Итак, удачливость была здесь ни при чем. На пожарах, к счастью, я обострил свой детективный нюх. Дело было ясно. Жулики, во главе с директором (подумать только: директор во главе!), возможно именно с пушниной, обделывают незаконные дела. А сговариваются в ложе... Здорово придумано. Театров и синема в Варшаве несколько: сегодня в одной ложе, завтра где-нибудь в другой. Придется проследить, чтобы накрыть компанию с поличным. Главное не подавать виду, что жулики уже в силке.

Спустя несколько дней на улице я столкнулся невзначай с моим дуэлянтом, другом по училищу, Станкевичем. Ряд лет уже мы не встречались. В усах, с бородкой „Буланже“, еще больше вытянувшийся к небу, одетый франтовато, он излучал довольство и солидность. Обнялись, расцеловались и для беседы отправились в цукерню. Помянули прошлое добрым словом и стали обмениваться сведениями о наших достижениях в настоящем. Мне похвалиться было нечем. За неимением средств, я не мог продолжать образования и вынужден марать бумагу на незавидном жалованье в банке. Станкевич, оказалось, сдав дополнительный экзамен по латыни, поступил на юридический факультет и сейчас пребывает уже в звании помощника присяжного поверенного, работает у известного в Варшаве адвоката и имеет все шансы на блестящую карьеру. От этого признания у меня „дыхание сперло“. Тут уж, действительно, „на ловца и зверь бежит“. Кто же лучше чем адвокат поможет мне расшифровать воровскую конспирацию в банке?

— Послушай, — восторженно и крепко сжимал я другу руку: — тебя не иначе, как сам Бог послал. Именно адвокат мне до зарезу сейчас нужен.

И я откровенно сообщил о необдуманном моем совете дяде и о печальных его последствиях, как и о неожиданном препятствии, которое я встретил, чтобы быть в состоянии помочь семье. Рассказал, как я подпоил соперника с целью выведать причину моей неудачи и тот сболтнул, что он с заправилами участвует в какой-то организации, явно воровской: дело ведь касается пушнины.

— Понимаешь ,— разгорячившись, я шептал: — по словечку с большим трудом я выжимал из своей жертвы. Протрезвившись, он умолял меня об их организации никому не говорить. Не стану же я покрывать воров! Главное, мне известно, где они собираются. Местом сговора служит для них ложа...

— Ложа? — отпрянул от меня Станкевич. — А кто у них руководитель, он сообщил?

— Не беспокойся, я это выведал: заправилой у них не кто иной, как наш директор банка.

И тут произошло то, чего я никак не ожидал. Станкевич, придерживая живот руками, стал как оглашенный хохотать.

„Ну, — подумал я, распалившись гневом: — и правда я неудачник. Снова предстоит дуэль. Но на сей раз поплаваешь ты в Висле!“.

— Прости, — едва сдерживая смех, склонился ко мне Станкевич: — знал бы ты, что говоришь... Скажу только, что в этой же организации участвует мой отец, как в свое время там подвизался также дед и как в свое время и я там буду.

— Что же это за организация? — вспотев, я прошептал.

— В России она запрещена и потому все хранится в тайне. Это — франкмасоны.

— Франкмасоны — это же преступники и отщепенцы; так наш батюшка в училище всегда их называл.

— С батюшкиным учением ты и попал впросак. Да и в какой мере! Бог с тобой, мы друзья и никто об этом не узнает. Подумай только, что бы получилось, если бы ты в эту опасную галиматью кого-либо другого посвятил... В роли пусть и невольного предателя, недолго оставался бы ты в банке... Послушай, приходи к нам попросту, как в былое время, — помнишь... Я предупрежу отца. Может статься, что и сам ты очутишься там, где никак не ожидал. — На этом мы расстались.

По дороге мне беспрестанно представлялся мой лягаш, доверчиво принюхивающийся к кошке. Сколько же ударов требуется мне, я спрашивал, сгорая от стыда, чтобы, как прочие, правильно ориентироваться в жизни?

Долгий вечер у Станкевичей, как и все, связанное с этим посещением, осталось в памяти, как незабываемое, светлое переживание, наложившее неизгладимую печать на всю последующую мою жизнь. В кругу семьи, всегда относившейся ко мне с большой симпатией, я очутился снова как бы на ученической скамье перед лицом любовно пекшегося обо мне мудрого наставника.

— Появление масонских лож, — поучал наставник: — относится, по-видимому, к концу семнадцатого века. Легенда относит это событие ко времени крестовых походов, а то и много раньше. Эти братства объединяли поначалу товарищей по профессии — строителей соборов и дворцов, великих архитекторов с целью обмена мнений, усовершенствования своих знаний, а также защиты своих интересов. Члены этого братства называли себя франкмасонами — вольными каменщиками и эмблемой своей имели кожаный фартук строителя. Места, где они собирались, назывались „ложами“. Такие „ложи“ существовали в Англии, Франции, Италии, державшие друг с другом связь. С течением времени интересы этих „братств“ удалились от своих истоков. В эпоху раскрепощения духа от средневековых изу-

верств, они потеряли присущий им специфический характер и стали считать своей целью воспитание человека в любви к ближнему; содействие на пути к нравственному совершенству человека и проповедь объединения людей на основе братства. Выдающиеся люди века — гуманисты, алхимики, ученые, правители — были, а многие и посейчас являются участниками этих лож. Девизы масонства — любовь, красота, сила и мудрость. По степени соответствия целям братства масоны различают тридцать степеней совершенства своих членов — от четвертой до тридцать третьей степени, и три звания: ученика, подмастерья и мастера. Прием в „ложу“ обставлен обрядностью, навеянной античными сказаниями и средневековой магией. В России масонские ложи просуществовали лишь короткий срок. В 1820 году, в Николаевскую эпоху, ложи были запрещены. Имя основателя этих лож, выдающегося просветителя, Новикова, известно всем. В Польше ложи, уже как сборный пункт оппозиционно к русской власти настроенных поляков, сохранились и по сей день, конечно, в строгой тайне, в единении и связи с ложами во Франции.

Первой и непосредственной обязанностью масона является оказывание всяческой помощи своему товарищу по братству. Мы знаем, как вы бьетесь, чтобы завоевать в жизни сносное существование и иметь возможность помочь своим родным. Вы честный, достойный доверия человек. Вот вам несколько брошюр о целях масонства. Если, осведомившись и продумав, вы решите вступить в члены братства, мы охотно дадим вам нужную рекомендацию.

Трудно передать словами мои переживания от неотвязных мыслей, — что бы я натворил вокруг себя, в каком положении сам бы очутился, не встреть я Стасика случайно. Не многого мне не хватало, чтобы ославить себя по всей России намеренным или же по недомыслию Иудой, предавшим ни за что, ни про что масонов в Польше...

Мы часто недооцениваем участия друзей в наших жизненных перипетиях... „Не хорошо быть человеку одному“, в кои веки — куда спокойнее, чем наши — и Богу это было, очевидно, ясно. Правда, с Евой, не в укор будь сказано, у Бога явно вышла неувязка. Будь Ева поумней, по сю пору разгуливали бы мы все в Эдеме. Из одного ребра, очевидно, полноценного человека не создать никак, — на ум малость не хватило. Но за последующие тысячи и миллионы лет, женщины все же с избытком наверстали, чего им не хватало. До этого на роду мне было уж написано дойти своим собственным умом. Я, простите, отклонился... Об этом после.

Я не был бы русским, если бы после подобного потрясения

не явилось у меня непреодолимого желания покаяться и главное — претерпеть. Но я никому не смел открыться, никому не мог доверить причину моего смятения. После долгих размышлений я решил просить содействия друзей для вступления в запрещенную законом ложу, как, отчаявшись, другие идут на послушание в монастырь. Немалые трудности пришлось мне преодолеть. Не однажды пришлось мне оголять свою душу перед суровыми экзаменаторами, прежде чем я удостоился пройти сложный и оригинальный ритуал посвящения в масоны.

Клятва, данная мною на Евангелии, хранить в абсолютной тайне при всех условиях все, чему я был свидетель или участник в масонском храме, не позволяет мне обмолвиться и словом о происходившем там. Могу лишь чистосердечно заявить, что годы моего служения масонству дали мне возможность сознательно причаститься к стремлению развить в себе, а поелику я был в силе, и выявить заложенные в каждом человеке ростки душевной чистоты, разумного мышления и любви к себе подобным и не подобным. Я был молод. Мне предстояла долгая и, как большинству из нас, скользкая и многотрудная дорога... Много на ней значилось развилок: куда идти? Куда опаснее развилок были еще и тупики... Годы масонского общения научили меня отличать плевел от пшеницы и удержали от многих опрометчивых шагов. От многих, но не от всех, конечно... Конь о четырех ногах, и тот спотыкается...

***

По-разному судят о человеке. Мне странным представляется наш брат. Достаточно побывать самому объектом любого ритуала, приглядеться хотя бы ко всем нам близким церковным церемониям, чтобы отдать себе отчет в исключительной чувствительности человека к подобным операциям. Не напрасно знатоки человеческих слабостей, шарлатаны, старые и современные, обставляли и обставляют свои выступления различными атракционами. А клятва. присяга — разве это не снадобье, парализующее возможные сомнения? Здесь у масонов всякий акт был символически понятен и никто не облекал его потусторонней драматичностью. Всерьез воспринятое посвящение в масоны, дало мне то же чувство обновления и покоя, какое создавалось причастием в годы безмятежной юности. Причастие обеспечивало само собою особое расположение к беззащитной твоей особе со стороны небес; посвящение фактически устраняло чувство одиночества и давало уверенность в постоянной готовности к содействию многочисленных друзей. Юнцы, вступавшие на арену жизни в наше время без родительского капитала и тетуш-

кина хвостика, знают, во что обходятся на любом поприще первые шаги.

На первом же заседании в ложе наш директор поздравил меня со вступлением в братство и предложил зайти к нему для беседы. О моем прошлом и настоящем он был уже, оказалось, исчерпывающе осведомлен.

— Необходимо, — заявил он: — сейчас же получше обеспечить вас материально, чтобы вы могли помочь своим родным. Я отчисляю вас на год. Вы получаете место заведующего в обществе, занимающемся скупкой щетины для заграницы. Это живое дело с хорошей оплатой вашего труда. Желаю вам успеха.

Я убедился, что взаимная помощь у масонов не пустое обещание.

⁂

Щетина там водится, где свиней много, а Польша и с ней соседняя Литва и славятся обилием свиней. Земли эти не сибирские просторы, о которых я мечтал. Но после банковских узилищ далекие горизонты, вольный ветер да сказочное бездорожье этих стран позволяли вообразить себя и здесь матерым землепроходцем. Серым волком я рыскал по городкам и весям, проверял скупщиков, собиравших щетину у крестьян, подряжал новых; подолгу задерживался в поместьях, занимавшихся специально разведением свиней. Поместья все же были исключением. Большую часть своей полуторагодовой погони за щетиной я проводил среди крестьян.

Должен сказать, что с момента моего сознательного вступления в жизнь, еще юношей, с особо острым интересом я относился не к событиям, а к людям. Опыт, накопленный мною до сих пор, относился лишь к ограниченным кругам людей, интересовавшимся преимущественно непроизводительной наживой. В Польше я оказался в народной гуще: среди панов-помещиков, без зазрения совести обрабатывавших крестьян и среди крестьян, нищих и забитых, именовавшихся к тому же панами быдлом-скотом. На удивление отсталым показалось мне польское крестьянство. Конец моей банковской командировки совпал с началом первой мировой войны, давшей мне возможность узнать поближе значительную часть русского крестьянства. Центральные русские губернии в отношении материального достатка населения да и темноты немногим разнились от польских, но русское крестьянство никак не мирилось со своей долей: стоило только коснуться в разговоре этого вопроса, чтобы понять, что непримиримость и ожидание перемен были у каждого крестья-

нина в душе. Польское крестьянство поражало полной инертностью по отношению к своей судьбе. Понаблюдав и пораздумав, впервые я отдал себе отчет, в какой мере католическое духовенство поддерживало да и создавало это чувство покорности у польского народа. „Езус и Матка Боска“ опекали крестьянство неотступно. Они одаривали радостями, принимали живейшее участие во всех бедствиях крестьянства, заполняли собой все лакуны мизерного существования, но лишь затем, чтобы направить течение его мыслей на орбиту подальше от земной и у истоков подавить реакцию даже раздумья, не говоря уж о сопротивлении. Мало этого. За крестьянской думкой, за следованием ее по правильной орбите, зорко следил к тому же искушенный в манипуляциях с плохо подкованной человеческой душой служитель церкви, ксендз. Я не замедлил вскоре убедиться, что не только крестьянство находилось у ксендзов в плену. В столовых и салонах польского общества всех рангов фигура ксендза среди гостей, в роли ли Каменного Гостя, а нередко и в роли Дон-Жуана, была обязательной, а не только лишь обычной.

При других обстоятельствах, не будь за мной масонского обета, я вряд ли вздумал бы особо углубляться в не относившиеся к моим занятием проблемы. Но подтвержденная добровольной клятвой миссия масона служить человеку невольно направляла меня по этому пути.

Мое повседневное общение с крестьянством и попытки разговоров с наиболее понятливыми „по душам“, быстро убедили меня в полной безнадежности воздействия на закостенелую их психологию. Зато эти факты навели самого меня на размышления и на кой-какие выводы в отношении насущных и „незыблемых устоев“, которыми нас загодя снабжают наши наставники и учителя.

Традиционное, прославленное гостеприимство польских панов полностью сохранилось и в мое время. При посещении поместий не раз мне приходилось восторгаться его архиславянской широтой и завораживающим блеском и жалеть о непреодолимости соблазнов в виду излишеств, не знающего границ стремления обласкать и позабавить. В одну из моих очередных поездок я оказался в большом и замечательном поместье у города Ломжи, где я заключил значительную сделку. На последовавшее за сим с изощренной любезностью и подкупающим радушием приглашение помещика откушать у него, я ответил, естественно, согласием. Семья, в которую я так неожиданно попал, оказалась в высшей степени интеллигентной, с особым интересом родителей и детей к музыке и литературе. В поместьях не кушают в одиночку. За столом я насчитал не менее одиннадцати ртов и наибольший, конечно, у кзендза. Я очутился между двух сирен,

хозяйских дочек, 17-ти и 14-ти лет, подлинных красоток, круживших голову одним лишь своим видом. Шоки, известно, иногда парализуют, а бывает, что и возбуждают свыше всякой меры. Никогда еще я не чувствовал подобного прилива сил, чувств и всяческой инициативы. Непостижимый и неизъяснимый аромат исходил от обнаженных частей тела, от дыхания моих соседок, опекавших меня с несказанной грацией невинности и утонченного кокетства. Я чувствовал мучительную жажду и в смятении, не зная, что предпринять, заговаривал ее каламбурами, комплиментами и заливал, не считая, водкой и вином. Я пришел в неизведанное мною еще состояние бурного желания творить. Польский язык я знал весьма посредственно, а тут стал выражаться языком Мицкевича: цитировал строфы из „Пана Тадеуша“ в оригинале, импровизировал поэтические тосты. И все это по-польски, с акцентом, конечно, дедушки Крылова, чем приводил всех в неописуемый восторг. Особенно я растрогал своей данью польской культуре, очевидно, — ксендза. По его внушению старшая из граций — Марина, прикоснулась своими ангельскими губками к, запылавшему подобно Везувию от одного лишь дуновения ее дыхания, потянувшемуся к ней, моему челу. Но лишь в гостиной по окончании обеда, я проявил таланты, каких и сам в себе не предполагал. С Мариной я протанцевал мазурку с вдохновением и страстью, присущей лишь полякам. С младшей — Евой, пышным, очаровательным бутоном со всеми данными для будущего совершенства форм и линий, удивительно музыкальной и с голосом сирены, мы спели дуэтом „Горные вершины“ и на бис „Не искушай меня без нужды“ Глинки, причем голос мой звучал совсем по-новому, не то, как у Смирнова, не то, как у самого Шаляпина. Пели мы под изумительный аккомпанемент Марины, талантливой пианистки по уверениям отца.

Далеко за полночь под гитару я пел еще русские и польские романсы и закончил свой дебют „Камаринской“ по-казачьи. Оставшуюся часть ночи я нежился, нырял в волнах перины, какая могла быть уготована лишь за особые заслуги правоверному мусульманину в Магометовом раю. Проснулся, собрался с мыслями и удивился: впервые за много месяцев я не кормил собою ненасытных польских блох. Вихрем мимо моей кровати промчался женский силуэт, поднял шторы и исчез, как метеор. Я огляделся: высокие стены в завитках, ангелочки в углах на потолке; рыцари в доспехах, кровные враги казачества, в золоченых рамах; повсюду скатерки, кружева... Великолепно, чуждо и вместе эфемерно... Это было больше того, что я мог вместить. Пока не поздно, нужно убираться!.. Со смутным чувством беспокойства за чаем я попросил дать мне лошадь, чтобы добраться до города, где меня ждут, я пояснил, неотложные дела.

Пан Гораций с чубуком в зубах, за газетой, оглядел меня поверх очков и коротко сказал:

— Не к спеху! В течение недели оказия представится, конечно...

— Меня ждет почта... Приказы общества, — в смущении я пробормотал.

— Я кое-что для вас состряпал. Мой друг продавал щетину прямо немцам. Я написал ему. Он мне не откажет. Ваше общество получит хорошего клиента. Неделька отпуска — это немного за такое дело. — безапелляционно отрезал пан Гораций.

Укоризненно глядели на меня дамы, а из глаз Евы скатились две жемчужинки — слезинки. Пристыженный, я поблагодарил пана Горация и, склонив голову, безмолвно покорился.

„Снова три польки!“ шептал мне голос: „это не к добру!“... Поздно! Мы беспомощны против женских чар и слез...

Впервые по окончании училища, милостью пана Горация, я оказался в отпуску. Стояло бабье лето. Огромный парк имения был залит таинственным, завораживающим светом синей дымкой окутанного солнца. Деревья по-осеннему оделись радужной листвой. Густые заросли аллей чаруют сумерками и тишиной и завлекают дальше вглубь в надежде на неизведанные, неожиданные переживания и встречи. „Шопот, робкое дыханье, трели соловья“...

Весь день я с Мариной в парке. Осенние паутинки щекочут наши лица и вызывают взрывы смеха. Наши чувства выявляются и крепнут не по дням, а по часам. Мы то сидим, прижавшись, то бегаем, хохочем и целуемся. В любви мы уже друг другу объяснились и обменялись, как клятвой, долгим, долгим поцелуем. Все прочее забыто. Мой мир заканчивается ближайшим горизонтом, где небо упирается в деревья парка. Я еще отдаю себе отчет, как с каждым часом все сильнее Марина завладевает моими чувствами и мыслью. Пытаюсь оградить себя, замедлить хотя бы час полного пленения. Напрасно. Как конь, закусивший удила; вернее, как щепка, несущаяся к стремнине, я отдался неодолимой силе женских чар.

В доме я уже в доску свой по всем статьям. Панна Ванда, мамаша, треплет мой чуб по-матерински и, улыбаясь, протягивает мне часто фиалкой пахнущие руки. Я их взасос целую. Ева, пробравшись в мою комнату, когда я был в постели, целуя меня, шепчет:

— Когда вы женитесь на Марине, я не перестану вас любить!

Ксендз завел беседу за столом о том, что брак католички с православным может быть угоден Богу лишь в случае, если дети будут в настоящей вере. Пан Гораций внушает мне давать

о себе почаще знать и регулярно приезжать в имение: у него имеются возможности пополнить мою клиентуру не пешками, а королями.

Все мои помышления, все стремления сосредоточены теперь на случайно встретившемся на моем пути, как бы предопределенном мне судьбой, волшебном замке. С трудом я отрываюсь от своей Марины для занятий. Пробыв малость на работе, считаю часы, минуты, когда смогу узреть свою Мадонну снова. Как завороженный, я больше себе не принадлежу. Протекли ли месяцы, недели или лишь часы с момента нашей встречи, не знаю, не могу сказать.

В уединении с Мариной — никто нам не препятствует — в песнях, плясках дни проходят, как минуты. С первым поцелуем Марины я потерял способность что-либо обдумывать, во что-либо вникать. Я потерял себя. Я стал будто невесомым и, как пушинка, тянусь всюду ей во след.

Прежде чем уснуть, подолгу я вглядываюсь в представляющиеся мне исполненными неповторимой красоты черты лица Марины, в выражение чудесных ее глаз на подаренной мне фотографии, где ее рукой начертаны три слова: кохам, кохам, кохам! С прижатой карточкой к груди я, как блаженный, засыпаю.

Дней я не считаю. Всякий раз Марина напоминает мне о моих обязанностях по службе. Мы пишем друг другу ежедневно, когда я нахожусь в разъездах. Как-то близость разлуки на продолжительное время заставила меня, улучив момент, взять в руки свою деловую, забытую тетрадь. Я перебираю страницы, просматриваю нужные мне адреса. На глаза мне попадается адрес товарища по школе, о котором я непростительно забыл. С ним, старше меня классом, меня связывала любовь к спорту, особенно к французской классической борьбе. Я переношусь мгновенно в далекие отроческие годы. В наше время французская борьба была для молодежи спортом, сочетавшим гармонически красоту, пластику и силу. Учебник поляка Пытлясинского мы штудировали, как науку. Идеалом борца был для нас не тяжеловес Поддубный, а в антрепризе дяди Вани воплощенный Аполлон — латыш Лурих. В реальном училище мы оба были чемпионами борьбы: матч Акима и Семена волновал без различия возраста всю школу. Мы редко переписывались. Всякий раз он мне сообщал, что работает инженером на заводе в Ломже и заклинал при первой же оказии посетить его. За хлопотливым моим делом и разъездами я забыл о нем. На следующий день, после шумного, воскресного обеда, я спросил, как мне найти такую-то улицу в Ломже, где живет товарищ по училищу, ожидающий моего визита. Все заинтересовались, кто же этот товарищ, выходит их сосед?

— Он инженер и работает на заводе своего отца.

— Его фамилия?

— Варшавский Семен.

Прошло лишь несколько секунд, и я не узнал своих любезнейших хозяев и друзей. Как если бы маски свалились с их лиц и они предстали неожиданно в настоящем своем виде. У всех было выражение брезгливости и отчуждения. Моя Марина глядела на меня, как если бы видела меня впервые. Лишь лицо Евы выражало грусть.

— Он еврей? — тоном инквизитора спросил пан Гораций.

— Конечно, еврей, — растерянно я заявил: — но уверяю вас, это замечательный был ученик. В школе его все любили...

— Мы и наши друзья не интересуемся евреями... Удивляюсь и жалею, что вам нужно о сем упоминать. Мы просим вас порвать тотчас же это неприличное знакомство.

— Они Бога нашего убили, а вы называете их „друзьями“, — вскрикнула Марина.

Уже тон пана Горация подействовал на меня, как удар бича.

— Я не вижу никаких оснований порвать с товарищем, даже если бы почему-либо он был бы вам не по душе, — вызывающе я заявил.

— В таком случае вы не можете оставаться в нашем доме.

Не оглянувшись, все покинули столовую. Я собрал поспешно свои вещи и оставил дом. У выхода меня встретил ксендз. Он сообщил, что скоро подадут мне лошадь и удалился без слова на прощанье.

У развилки в парке стояла Ева. Сделав прощальный жест рукой, она убежала.

***

Со страстным нетерпением я бросился в свой деловой поток, как если б погрузился в реку забвения. Мысль о пережитом была мне нестерпима, но пережитое было еще целиком во мне и не давало отпущения. Со злорадством и змеиной хитростью оно беспрестанно напоминало о себе, жалило, язвило. В часы досуга я закрывал глаза, зажимал руками уши, чтобы не видеть и не слышать, что запечатлел мой мозг, что затаилось в сердце. Не анализируя и не осуждая, я долго и мучительно страдал.

Не мало прошло дней, прежде чем я был в состоянии разобраться в драме, по краткости и эфемерности походившей на чудесный сон в палате польских рыцарей или на фата-моргану, где-либо в пустыне. Первое, в чем я должен был признаться самому себе, это, что не только я полюбил Марину всеми фиб-

рами наличными во мне, способными на такое чувство, но мучительно и страстно продолжал ее любить. Для Марины наша встреча могла, да и должна бы быть уже по кратковременности, только занятным эпизодом, естественной игрою нимфы с обладевшим юношей, попавшим в ее сети. Для меня это оказалась моя первая, так называемая, настоящая любовь... Она, известно, бывает лишь однажды в жизни. Любовь, подобно тяжкому ранению или затяжной болезни, оставляющая пожизненно неизгладимый след. Добавлю только, что впоследствии долго еще, очень долго случайный силуэт на улице, напоминавший почему-либо Марину, омолаживал меня мгновенно и мучительно на годы и десятки даже лет.

Одно лишь облако омрачало в моих видениях светлое явление Марины. Прощальный ее выкрик: „Они нашего Бога убили“, повергал меня всякий раз в тоску, близкую к отчаянию. Голос змия из херувимских уст! Не только в сказке подобное, оказывается, бывает... Эту фразу, бессмысленное и противоречивое сочетание понятий, не раз приходилось мне, конечно и от русских слышать, но никогда от людей интеллигентных. Ведь столь ужасающее в своей реальности Распятие Христа представлялось все же для нас событием также и предопределенным, неизбежным и в целеустремленности своей как бы символическим. Точно так же, как следствие этого события: „дарование живота сущим во гробе“, приходилось понимать не актуально, имея в виду, что никто из могилы еще не возвращался. Требовался средневековый религиозный гнет, умелое помрачение мозгов, чтобы и у культурных поляков создать столь примитивную и злобную психологию в отношении евреев, невольных к тому ж виновников поворотного, спасительного такого акта в жизни человечества. Я отмечал уже дурман, под которым находилось польское крестьянство, но и культурные круги оказались в плену у ксендзов изуверов. Я возмутился, конечно, не за народ еврейский. Он меня не интересовал никак. Я оскорбился за Семена, первого силача нашего училища и всеобщего любимца. Считать Семена ответственным за распятие Христа, означало для меня выявить и всю нелепость такого обвинения в отношении и его сородичей, евреев.

Отсюда недалеко было, чтобы задуматься над тем, как толкуют попы на деле христианское всепрощение и как разжигают они ненависть вместо служения любви. Но главное, чего я не мог простить попам, это, что они отняли у меня Марину. Попы коварно похитили из моего сердца золотое семечко, зароненное туда негаданно, нежданно не баловавшей меня отнюдь судьбой.

Потеряв отца и мать, я по малолетству не мог тогда почувствовать всего ужаса такой утраты. Верьте мне, друзья, на сей

раз я ощутил вдвойне свое сиротство. Теплые объятия Марины заворожили меня в такой степени, что воскресили смутно запечатлевшиеся в моей памяти сладкие ласки, так обожавшей меня матери. Чудесное, живое семечко признательности и всепокоряющей любви заполнило мое так рано лишившееся материнской ласки сердце. Всем существом своим безоговорочно и безотчетно я потянулся к осчастливившей меня Марине, как жаждущий тянется к живительной воде. Мгновение, зловещий клекот мракобесия и я... проснулся. Все это был ведь только сон...

*
* *

Работа до отупения; разъезды, в них я топил свою растерянность, свой гнев и свою муку. Прошло несколько недель, прежде чем я решился, был в состоянии посетить моего злополучного товарища по школе. Семь лет назад мы расстались зелеными юнцами. Встретились уже мужами с испытаниями и ответственностью за плечами. Опасно встретиться с другом детства после такой разлуки. Наша встреча была неподдельно горячей и живой, как если бы мы лишь распрощались накануне. Своей подавленности я, очевидно, не мог скрыть. Не раз я перехватывал озабоченный взгляд радушного товарища. Весь день он старался меня развлечь: рассказывал о себе, познакомил с семьей, водил по фабрике. Ночью, сидя у моего изголовья, он подолгу молчал, не отрывая от меня испытующего взора. Под гипнозом дружеского участия я ощутил вдруг непреодолимое желание, душевную потребность рассказать все о себе, все без утайки: беды, неудачи, дурные поступки, вольные или невольные, потянуло меня обнажить, представить на суд товарища для осуждения, для хулы и особенно для самосуда и самоосуждения. К точному пересказу о пережитом с Мариной я добавил, что этот удар меня сломил, что никогда я не оправлюсь и не найду покоя.

Крепко сжав мне руку и полузакрыв глаза, долго раздумывал товарищ.

— Знаешь, — неуверенно он начал: — и я вынужден был вступить в жизнь не оперившись, как след. Отец умер, когда я был еще студентом. На моей ответственности оказалась в беспорядке фабрика и немалая семья. Отец мне часто говорил, и я это хорошо запомнил: „Всякие переживания, даже и те, что нам по шерсти и не во вред другим, не говоря уже о прочих. умудряют, равно как отягощают и тем самым утомляют и старят. Время от времени открой настежь топку, пусти в ход поддувало, выгреби-ка шлаки, и ты омолодишься, и жизнь покажется тебе новой и иной“. Сейчас, Аким, ты проделал эту операцию по всем

статьям. Этого вполне достаточно, чтобы не оглядываясь идти дальше налегке и по-человечески снова спотыкаться и подчас грешить. Мы ведь не ангелы.

С Мариной это грустно, больно, не так уж просто и, конечно, очень плохо. Я хочу сказать — хорошо и плохо. Ты говоришь, попы отняли у тебя Марину. Это естественно. Там, где между людьми становится религия, быть беде и не бывать добру. Существует ли в жизни что-либо, что отчуждает людей больше, чем это делает религия? Миссия религии, не в примитивном ее смысле, это, будто бы, проповедь человеческого братства. В действительности, религия — это самая непреодолимая и коварная преграда для единения людей. Невероятно, но это так. Задумывался ли ты когда-либо над ожесточающим влиянием религии на и без того по-звериному мыслящих людей? Мы, евреи, на своей шкуре это испытали. Еще мальчиком я прислушивался к беседам моего отца с друзьями на тему о религии. Отец, да и друзья его были свободомыслящими. Для таких евреев религия являлась лишь звеном, обеспечивающим единство рассеянного еврейского народа, обреченного без этого цемента на ассимиляцию и исчезновение. Из этих бесед я хорошо усвоил, что до „единого Бога“ люди жили по своей природе с самодельными богами, с поправкой на проблески вынужденного единения, как это водится и у зверей. В исторические времена многобожие не помешало народам организовывать великие империи и даже содействовать созданию у них замечательной культуры. Единый Бог в благодарность за интронизацию провозгласил евреев избранным народом. В течение двух тысяч лет евреи расплачиваются головами за эту академическую привилегию. Бог этот рядил и правил по старинке: непослушных сжигал или публично камнями побивал: неверующим в него грозил уничтожением. Избранность не только не оправдала ожиданий, а оказалась причиной неисчислимых бед. Соскучились евреи в изоляции на божественной жестокости и захотелось милосердия для всех. Пророки у евреев не переводились. Один из них и стал учить, что все люди братья — верующие и неверующие: „несть эллина, ни иудея“ — и что и грешники могут рассчитывать на прощение и спасение. Эти ереси всполошили управителей: милосердие вместо устрашения не обеспечивало их интересы. Через римлян, в то время оккупантов, они и разделались с пророком. Казнь распятием не известна была иудеям. Смерть пророка не погребла связанных с его именем идей, ни устремлений. Оставались единомышленники, ученики; появились последователи, богословы, и обновленная ими еврейская религия, не без сопротивления „страждущих и обремененных“, не говоря уже о прочих, стала достоянием других народов. Но сойди Христос на землю, он не узнал

бы своего учения. Обновление стало настолько основательным, что от сути прежнего еврейства остался лишь далекий от юдоли земной, туманный Бог, да и тот к тому же теперь в трех лицах. Забота о людях перешла к Христу, нареченному сыном божиим, оказавшимся одним из этих божьих лиц. Возносить молитвы надлежало Христу, как Богу и заодно уж его Матери. Эта религиозная реформация, зачавшаяся в Палестине, оперилась уже в античном Риме, куда после неудавшегося восстания против римского владычества были выселены евреи. Образность и символика античной мифологии и библейские легенды и послужили источником христианской догматики. Как часто отец мне говорил: „Посуди только, чем закончилось стремление лучших из евреев очеловечить своего Бога!“.

Чтобы выявить свою самостоятельность и оригинальность, новому учению надлежало подальше удалиться от своих истоков. И тут полностью оказались налицо примитивные инстинкты, даже „осененного благодатью свыше“ человека. Евреи, вслед за „небесным Богом“, давшие миру еще и Бога во плоти — Христа, объявлены были „богоубийцами“. И не участники лишь осуждения, евреи, а вкупе весь народ и навсегда „Избранный“, по свидетельству библии, священной книги и для христиан, народ, стал в их глазах презренным. „Страсти господни“ сделались излюбленной темой церковной пропаганды. Процессии, мистерии, грубо реалистически, в лицах представляющие мучения Христа, не могли не разжигать у „нищих духом“, а имя таким ведь легион, ненависть к евреям.

Известно ли тебе, Аким, что „Светлая“ пасхальная неделя часто оказывалась для евреев неделей слез и крови? Сбитые с толку напоминаниями о Христовых муках, с рассудком, помраченным водкой, мирные люди, побуждаемые полицейской агитацией, поддавались погромным вожделениям. Отец был свидетелем трагикомического эпизода в Киеве, участвуя в самообороне в момент погрома. За девушкой еврейкой погнался хулиган. Девушка бросилась в ближайший переулок. В ту же секунду из переулка показался батюшка. Почти столкнувшись с хулиганом, батюшка грозно закричал: „Остановись, несчастный, знаешь ли ты, на кого ты руку подымаешь? В жилах этой девушки ведь кровь Богоматери течет!..“ Пьяный громила в слезах стал целовать руку батюшки, прося прощения. Батюшка перекрестил его и удалился. Хулиган не уходил, вытирая слезы рукавом. Отец приблизился к нему. Ошеломленный, он отсутствующе глядел долго на отца. Встряхнулся и, обращаясь к отцу, пробормотал: „Слыхал? Жидовка эта... Богоматерь!“ плюнул, крепко выругался и деловито дальше зашагал.

Насколько убедительнее и человечнее было бы провозгла-

шать такие истины загодя и профилактически, а не post factum и не на улице случайно, а в школах и церквах!

Русскому духовенству, если и следует поставить что-либо в вину, то это замалчивание таких эксцессов, его политику Пилата. А ведь погромщики обычно начинали свое шествие с иконами Христа и божией Матери в руках... Истинно: своя своих тут не познаша! Но русское духовенство, само под правительственным гнетом, не пользовалось в обществе и тенью того влияния, каким обладали ксендзы в Польше. В Польше церковь была независима и во всех смыслах всемогуща. Вдалбливая полякам с детства мысль о вине евреев в смерти Бога, осужденных Христом к тому же навечно, ксендзы привили народу интегральный антисемитизм и одновременно кичливое, заносчивое чувство собственного превосходства, как носителей истинной религии, обеспечивающее католикам благоволение бога и Христа. „Единственно угодной богу религией является католицизм“, гласит их катехизис, не стесняясь тут же упоминать и об обязательном для христиан смирении. Даже неприязненное отношение поляков к русским, помимо естественного враждебного к ним чувства, как к угнетателям, в значительной степени определяется также и презрительным суждением о людях, исповедующих неполноценную религию. Я сам слышал, как ксендз смеялся над православными святыми: „Какие же это святые“, он говорил. Что уж говорить об их отношении к евреям...

Мы, знаешь, Аким, русские евреи и переносим эту атмосферу философски. Мой отец уже инженером приехал на службу из Киева, откуда мы родом, в Ломжу. Здесь он женился и прожил свою жизнь. Но для поляков евреев, воспитавшихся на польской культуре, не меньших националистов и патриотов, чем сами поляки, эта несправедливость представляется трагичной. Вот каковы, Акимушка, конкретные ягоды всех религий на земле вперемежку, конечно, с завидными, ни к чему, очевидно, не обязывающими цветиками — разговорами о едином Боге и о равенстве перед Богом всех людей. Все это я изложил, чтобы помочь тебе разобраться в твоем тяжелом испытании. Ты должен принять надлежащее решение и пересилить свое горе. Имей в виду, что семья Марины славится здесь своим крайним шовинизмом и особенно клерикализмом. Подумай над тем, что ожидало бы тебя неизбежно в браке. Поступками твоей жены, ее мыслями, ее поведением распоряжался бы, конечно, ксендз, равно как и судьбой детей. Это, как дважды два четыре. Стерпел бы ты подобное вмешательство? Я видел Марину. Она и взаправду очень хороша. И все же я хочу тебя предупредить, Акимушка: остановись, пока не поздно...

Я слушал товарища и слова его падали на мой мятущийся,

в водовороте мыслей, мозг, на трепетавшее от воспоминаний сердце, как комья сухой земли на могилу моих задушевных упований, моей загубленной любви. Последнее предостережение своей неопровержимой логикой тяжелым камнем замуровало наглухо эту могилу.

Я поднялся с постели. Обнял, прижал к себе Семена. Надгробной эпитафией прозвучали мои слова:

— Не существует похлебки в свете, равноценной достоинству и чести человека. Ты прав, Семен. Спасибо. Уж рассветает. Прости. Я отнял у тебя твои часы покоя.

— Нисколько. Я свеж и бодр, как если бы наша беседа по-душам меня омолодила. Попробуй-ка вздремнуть еще часок, а я займусь уже делами.

Я оделся и присел к окну. Гладкая, искристо-белая, опалом отливающая снежная равнина в предрассветных сумерках убегала вдаль. Пурпурно-желтая, лучистая корона, все ширясь и расплываясь, заливала горизонт. Редкие снежинки кружились в воздухе, как блестки. Загорался новый, безоблачный и мирный день. Лишь „во человецех“ не существовало мира...

Марина, Марина, отняли у меня тебя наши пастыри попы. Пастыри, они всерьез нас принимают за овец и без зазрения совести стригут по своей корыстной воле. Одной овцы они теперь не досчитаются... Марины я им не прощу. С попами и их церковью я кончаю счеты. В собственном углу я могу найти Христа и там к его сиянию причаститься. А моим храмом для облегчения души и для общения с ближними отныне будет ложа. Какое счастье, что и среди поляков не все же, конечно, мракобесы... Находятся и такие, как Станкевичи, мои давние, верные друзья. Им я обязан своим спасением. У вольных каменщиков я обрету наставника и духовника. Ему я смогу поверить все то, в чем сам не разберусь и испросить совета. Там ждут меня друзья, мои по духу братья. Птица Феникс у египтян даже из пепла возрождалась, а я еще и вовсе во плоти и с твердой волей к новой жизни.

— Пусть этот зачинающийся так мирно день умиротворит и мои страсти. Пусть он окажется предтечей моих сознательных и добрых лет с миссией вольного масона, — шептал я многократно.

С полвека прошло с тех пор, когда я в память и в отомщение моей загубленной любви на рассвете дня, как и моей жизни, взял на себя это обязательство. Сейчас, друзья, уже стариком, опрастывая перед вами свою душу, по чистой совести могу сказать, что никогда я не прощал попам учиненного ими злодеяния и никогда своему обязательству я не изменял.

***

Рассчитавшись, поелику возможно было, с угнетавшим меня прошлым, я отдался целиком работе. Регулярные посещения друга моего Семена, ставшего моим тайным исповедником, не давали моему сердцу окончательно сникнуть или зачерстветь. В наших беседах проскальзывало кой-когда словечко, весточка о Марине и о ее семье. Я воспринимал эти отзвуки, напоминания, как живое эхо не поддающихся забвению переживаний. Моментами я в них нуждался, как в героине наркоман. Тем временем не пекшаяся обо мне особенно судьба с целью помочь, вероятно, справиться с не покидавшей меня скорбью, заставить уйти подальше от самого себя, готовила ошеломляющую, отвлекающую операцию и даже в мировом масштабе.

⁂

В мае 14 года моя банковская командировка близилась к концу. Я направлялся в Варшаву для отчета в сопровождении молодого инженера, швейцарца, с которым познакомился в доме Семена. Начало этого 14 года, оказавшегося роковым, исторически поворотным годом для почти всей нашей, не столь уж маленькой, планеты, ознаменовалось слухами, теперь не о возможности, а уж о неизбежности в ближайшем времени войны. Те же разговоры велись и в момент моего пребывания в полку и я не придавал им особого значения. Тяга к войне, как скрытая болезнь, испокон веков, известно, тлеет, не угасая, в от природы агрессивном сознании человека. Продолжая начатый прежде разговор, швейцарец загадочно заметил:

— Так или иначе, эта неизбежная война не продлится долго. Два-три месяца и снова все придет в неустойчивый порядок до следующего конечно, раза.

Я согласился и прибавил:

— Мы зададим все же немцу на сей раз такого перцу, чтобы он надолго оставил нас в покое.

— Вы поняли меня превратно, — возразил уверенно швейцарец. — Для России война будет катастрофой. Один на один Германии нетрудно будет справиться с Россией. Осложняет ее решение возможное участие в конфликте западных держав. Но и такая задача Германии под силу.

Я возмутился.

— Вы что же, немецкий патриот?

— Вы ошибаетесь. Я швейцарец, но если говорить о патриотизме, то я скорее русский патриот, так как по матери я русский. Выслушайте спокойно, что я сейчас скажу. Я родился в Швейцарии, а среднее и высшее образование получил в Германии. Работал там в различной индустрии. Насколько немцы подго-

товлены к войне мне хорошо известно. Вся их промышленная, экономическая и всякая другая мощь направлена к этой цели. Русское „авось и небось“ немцам абсолютно чуждо. Имеющийся в Германии всемирно известный „Восточный Институт“ изучает Россию вдоль и поперек и досконально знает ее слабости и силы. Немецкие давние мечты, как и точно разработанные нынешние планы, имели и имеют одну лишь цель: покорение России. И это всерьез!

Пять лет я нахожусь в России. Побывал повсюду, немало повидал. Вы, как птенцы, едва пушком лишь обросли, а до нужных перьев вам еще далеко. Прибавьте к этому, что в администрации, как и в армии, на самых ответственных местах у вас повсюду немцы. Элементарный здравый смысл и тень лишь объективности заставят вас признать, что при таких условиях России предстоит неравная борьба. Скажите, если это не секрет, в какой области вам приходится трудиться?

— Я банковский служащий, а сейчас в командировке, работал по операции со щетиной.

— Щетину эту вы, естественно, не обрабатываете сами, а отправляете в Германию и оттуда получаете готовый фабрикат. Если так вы поступаете в сравнительно несложных случаях, то как обстоит дело в отношении высокой техники, необходимой для войны? Посудите сами!

***

Не заставившее себя ждать объявление войны я встретил со смешанным чувством патриотической готовности и вместе затаившихся сомнений. Доводы швейцарца запечатлелись у меня хорошо в уме. Они не позволяли мне разделять безоглядный, пусть и искусственно подогреваемый, но все же жертвенный, всеобщий энтузиазм первых дней войны. Я был причислен к интендантству. О нашей свыше прокламированной готовности к войне мы в интендантстве могли отдать себе отчет уже в ближайшие месяцы военных действий. Жалкие запасы оружия, амуниции и особенно снарядов улетучивались по часам, а о пополнении и в ограниченном масштабе не могло быть речи. Широкая общественная инициатива уберегла нас от катастрофы, но и с содействием запада наши армии хронически довольствовались близким к гомеопатическому рационом.

Кровь и гекатомбы жертв восполняли нашу промышленную отсталость и преступную бездеятельность властей. Я был в постоянных командировках, колесил по всей России от Мурманска до Владивостока. Навидался свыше всякой меры, а уж наслушался!.. Были бы власти не столь слабы умом, не так самона-

деянны, они должны бы видеть, сознавать, что на их головы, да и на всю Россию надвигается неотвратимый и беспощадный девятый вал народной мести и возмущения. Войне еще не миновало года, а в поездах, стоило только очутиться в компании офицеров, старшие в чине, не стесняясь присутствием подпоручиков и корнетов, вели такие речи о правительстве с Сухомлиновым, взяточником и ненадежным патриотом и с прогрессивным паралитиком Протопоповым в качестве министров; об открытом немецком шпионаже; о слабовольном царе и властной государыне, немецкой патриотке и о позорных и преступных действиях Распутина, дьявола во плоти, — такие речи, что не раз я невольно задавал себе вопрос, не арестуют ли нас тут же за измену...

Зловещая тень Распутина чем дальше, тем все грознее заволакивала мраком судьбу династии и режима, перипетии и исход войны, как и будущее всей России.

*
**

Не хочу хвалиться или озадачивать вас, друзья: представляете вы меня, вольного масона, в обществе Распутина? Чего только не накуралесит, так называемое, стечение обстоятельств...

В начале 15 года по дороге в Петербург я сделал остановку в Царском Селе и, осмотрев его достопримечательности, в ожидании поезда питался у буфета. Неподалеку скучал кирасир, корнет, разглядывая пассажиров. Мы заговорили. К поезду мы подошли вдвоем и, по настоянию корнета, я последовал за ним в купе первого класса: гвардии не разрешалось ехать во втором.

В купе оказался пассажир. Большой мужчина, сидевший подбоченившись на краю дивана в пол-оборота, спиною к нам и глядевший пристально в окно. Я сел напротив у окна и оглядел соседа. Легким поворотом головы он окинул нас мимолетным взглядом и, не меняя позы, продолжал глядеть в окно. Крепкий, широкий, высокий человек в бобровой шапке на объемистой, круглой голове, с резкими чертами лица простолюдина, в усах и бороде, с заметно большими, темными глазами невольно привлекал внимание. В ладно облегавшей его тяжелый корпус поддевке синего сукна, с непринужденно отставленной ногой, подобранный и неподвижный, он походил на лубочного богатыря. За воротом поддевки виднелся воротник русской шелковой рубашки. Особо я загляделся на его крепкие ноги, обутые в новенькие, шевровые, замечательные, в складках, сапоги. Он напомнил мне нашего подрядчика в роли ремонтера, поставлявшего лошадей в полки, и я решил, что он и есть такой подрядчик — богатей. Корнет, сидевший рядом, ерзал беспокойно, многозначительно подмигивая, движеньем глаз указывая на пассажира. Поезд тро-

нулся и молчаливый пассажир уселся поудобней, лицом к нам, скользнул взглядом в сторону корнета и остановил свой взгляд на мне. Мы встретились глазами и я мгновенно утонул в бездонной черноте его огромных, неподвижных, испытующе уверенных, насквозь меня пронзивших, глаз. Мне стало не по себе. Я пытался отвести свой взгляд и не был в состоянии. Так кролик, не отрываясь, смотрит на удава. Сжав мне локоть, корнет силой поднял меня с места:

— Выйдем покурить...

Мы вышли.

— Вы что уставились так на него? Вы знаете кто он? Это опасно.

— Понятия не имею. Страшные глаза; я был парализован его взором.

— Да это же Распутин.

— Неужели? Я думал, подрядчик, а после полагал — помещик...

— Помещик, он черт, а не помещик.

Вот при каких обстоятельствах я удостоился чести лицезреть Распутина. Могу заверить, что даже на обыкновенного человека, а тем более на мужика, как принято считать, он не походил никак.

Раздумывая над этой встречей и припоминая магнетическую силу его глаз, я склонен объяснить успех Распутина, как и ему подобных прочих магов, наличием у них способности гипнотически воздействовать на волю поддающихся людей и их подчинять своему влиянию. Но для роли мага требуются, по-видимому и иные еще таланты. Лампадин сообщил вам о докторе в Берлине, протянувшем ему свою дружескую руку в трудный час. С этим доктором я часто виделся в Париже. Как-то я поделился с ним своим впечатлением от знакомства с Распутиным. Доктор согласился, что распутинский феномен вовсе не так прост и в доказательство привел факт, сообщенный ему лично лейб-хирургом царя, профессором С. П. Федоровым.

Во время прогулки царской семьи на яхте в Финских шхерах наследник ушибся, поскользнувшись. Началось, как это для гемофиликов фатально, внутреннее, на сей раз весьма опасное кровотечение. Наследника пользовали во время от времени повторявшихся подобных случаях специалист по крови, доцент Еленинского Института Др Деревенко и проф. Федоров. О болезни гемофилии тогда мало что было известно и причинного лечения не существовало. Остановить кровотечение врачам не удавалось и наследник угрожающе слабел. Незадолго до этого происшествия, по настоянию Великих Князей, Распутин за свои художества был выселен из Петербурга по месту жительства, в Сибирь.

Ныне по настоянию царицы он, пользовавшийся у нее, известно, славой чародея, экстренным поездом был затребован обратно во дворец. Ожидаемый с нетерпением даже и врачами, в сопровождении Государя, Распутин с повелительным видом не профессора, а уверенного в себе всеведущего мага, стремительно вошел в комнату наследника. У изголовья сына, апатичного, с нитевидным пульсом, находилась государыня и бессильные врачи. Перекрестивши государыню, резким жестом Распутин предложил всем удалиться.

В течение двух часов в смежной комнате сидели в напряженном ожидании — внешне спокойный Царь с конвульсивно сжатыми руками, царица в молитвенном экстазе и подавленные, не знавшие, сомневаться или надеяться на чудо, доктора. Раскрылась дверь, на пороге показался сияющий Распутин. Наследник улыбался, двигался в постели. Пульс его улучшился. Кровотечение прекратилось.

— Таков факт и на комментариях далеко не уедешь, — добавил доктор. — Как часто и тяжелые кровотечения прекращаются сами собой: организм и не полноценный гемофилика все же сопротивляется. Удачнику врачевателю остается попасть лишь в такой критический момент. Интересно, что „заговариванье крови" является обычным делом в практике знахарей и бабок в деревнях.

Я припоминаю, — продолжал доктор: — афоризм, часто упоминавшийся моим шефом, Проф. Каспером, когда я работал в больнице францисканцев в Берлине. Профессор оперировал старика раввина. Больной выжил. Довольный результатом, Каспер в разговоре с больным обронил, что эта операция очень трудна и дает 50 % смертности обычно. Так оно в то время было. Раввин задумался и сказал: „В таком случае одних знаний и уменья для успеха мало: нужна еще удача".

Как было мне, неудачнику, не согласиться с этим афоризмом? Ведь если существуют неудачники, а я тому порука, то должны же быть и удачники на свете! Конечно, одной удачей личности Распутина не исчерпать. Да и удачники они все же относительные... Самый, казалось бы, удачливый из этих шарлатанов, Калиостро, закончил жизнь свою в застенках инквизиции. А что стало с Распутиным, известно.

***

„Дурная слава бежит, а хорошая под спудом лежит", говорит пословица. На необъятных просторах нашей родины находились обязательно углы, где о царе имелись смутные лишь представления. Но о развратном мужике, узурпировавшем цар-

скую власть, да еще в момент военных действий, знали все, везде и от мала до велика. Этого одного было достаточно, чтобы у здравомыслящих людей независимо от их политических симпатий вызвать представление о необходимости срочных и капитальных в управлении перемен. Революция и непосредственно за ней следовавшие происшествия подавляющим большинством и в нашем интендантстве были приняты больше, чем с удовлетворением. Тайной полишинеля было обстоятельство, что в подготовке этой революции английский посол Бьюкенген горячую руку приложил. Отсюда следовало, что с военной помощью России союзники не станут более скупиться. Войска получат в короткий срок необходимое им вооружение и затянувшиеся военные действия смогут принять должный им размах и оборот. Союзники действительно поторопились и армии, предназначавшиеся для наступления, были снабжены и экипированы, как никогда дотоле. Материальная часть была рассчитана до мелочей, забыли только про живую. А сами пушки стреляют разве только в поговорках и в воображении людей...

После революции я находился в Петрограде и должен по совести сказать, что в совершавшемся, что ни день сменявшемся и вновь нарождавшемся на политической арене Петрограда, я ничего не понимал и не пытался в этом сумбуре разобраться. При намеренных или случайных встречах с офицерами, — десятки тысяч скопилось их в столице, — я всякий раз настойчиво справлялся, не следовало ли что-либо сейчас же предпринять, помочь властям, чтобы восстановить порядок. Меня обычно заверяли, что такое вмешательство неизбежно, но заправилы ожидают нужного момента. Предварительной, наиболее трудной и главной задачей выступления, они полагают, является свержение Керенского. Ставший известным факт, что Керенский спит на кровати государя, переполнил чашу их терпения. Свержение Керенского следует предоставить все ж большевикам при одобрительном нейтралитете офицеров. Последующей мерой офицерства будет, естественно, расправа с большевизмом, что не представит затруднений. Чем не программа действий?..

***

В ожидании приказа о выступлении, со сослуживцем капитаном я жил за Черной речкой у дальних его родных. Документы у нас были подходящие. По варшавскому паспорту я выправил себе новый с трудовой пометкой — банковский служащий. Капитан по липовой бумажке получил такой же. В графе — профессия, ему вписали — математик. Это было его прозвище на

службе ввиду его пристрастия к чистой математике. Оформив наши личности, мы жили по-дачному, спокойно, при деньгах и не скучали. Хозяев часто посещал рыбак, революционно настроенный чухонец. Он сообщал нам новости о ходе революции. Богом его оказался Ленин, мало нам известный. О Ленине чухонец говорил, как о величайшем в мире революционере и человеке, за которым охотятся приспешники Керенского, но он неуловим. Для меня и капитана Ленин стал представляться бесплотным духом, вроде Демона-всесильным „врагом небес и злом природы". Воюй с таким чудовищем! Мы, собственно, не удивились, когда нежданно докатились до Великого, как его называют, Октября. Скорее обрадовались, чем удивились: ныне, значилось по программе офицеров, пришел момент расправы с большевизмом. Мы приготовились и стали ждать приказа выступать. Время шло, большевиков все прибавлялось, а наши: кто по-здорову подальше сами ноги уносили, а кого и увозили власти без возврата... Некому стало выполнять офицерскую программу. Перемудрили офицеры!

Как-то капитан заметил, что его родным стало боязно нас дальше ублажать и что пришел момент и нам решать, что дальше делать. Двумя путями ограничивались наши возможности, по его словам. Один путь шел по следам сотен и тысяч офицеров, вступивших в армию, ускоренно формировавшуюся большевиками для защиты Петрограда от нависшей угрозы немецкого нашествия; другой вел к „белой армии", поднявшей меч в защиту попранных, вековых устоев русской жизни.

— Мы, математики, — этими словами капитан начинал обычно свою речь (отсюда его кличка — математик): — мы, математики, орудуем в подобных случаях, как это делал наш предок Пифагор, целыми лишь числами. Дробей он и не знал. В нужных для решения уравнениях вместо X и У, мы можем сейчас уже подставить Ленина и Алексеева. Алексеев: — война до победного конца; единая, великая Россия; испытанные устои жизни. Ленин: — сепаратный мир; развал армии в период военных действий, вся власть каким-то там советам. Алексеев — генерал; Ленин — нигилист. Слабости Алексеева и добродетели, со слов чухонца, Ленина — это дроби и с ними нам не приходится считаться. Следовательно, ничего другого нам не остается, как пробираться к добровольцам.

***

Сказано, еще не сделано, на путях к нашей цели таятся опасные рогатки, что ни шаг. Из осторожных расспросов сведущих людей выяснилось с точностью, что для любого путе-

шествия необходима ныне бумажка с обозначением какой-либо, пусть и мифической, командировки за подписями и печатью. Без такого талисмана офицер безотлагательно из поезда попадает в „штаб Духонина“. Нашелся приятель офицер, числившийся в красных кадрах. Он осведомил нас досконально о настроении в штабах формировавшихся в Питере дивизий и усиленно советовал не искать точки приложения своих сил далеко за горами, когда эта точка оказывается тут же под рукой.

— Офицеры почти без исключения все здесь нашей веры; комиссары из солдат и даже из матросов — народ совсем нестойкий. С комиссарами из рабочих только и приходится полностью быть начеку. Но в армии их мало. Стукнет подходящий час, и мы окажемся господами положения. Без терниев, конечно, дела такие не обходятся... А у „добровольцев“, все ли гладко?

Вооружение и экипировка белых армий целиком зависит от союзников. А союзники больше всего заинтересованы в ослаблении России. И сколько их слетелось на запах русской крови... Белые армии своим выступлением выполняют славную и важную задачу в борьбе за спасение России. Но Богу одному известно, за кем окажется решительное слово: за ними или же за нами, действующими в самом логове врага.

Убедительность этих доводов представлялась мне неоспоримой. Я ждал лишь решения капитана, чтобы одобрить предложение приятеля. Но капитан процедил только сквозь зубы:

— Тут — это дроби; целые числа — они там.

Мы стали раздумывать сообща, как понадежней нас переправить к „добровольцам“. Приятель предложил поначалу включить нас в продотряд, снаряжаемый время от времени штабом их дивизии на границу Украины на предмет покупки муки, сахара и других продуктов для пополнения тощих собственных запасов. Этой экспедицией, пользующейся экс-территориальностью у Чека, обычно, заведует не военный спекулянт: с ним имеется возможность сговориться. Приятель обещал сверх того поискать в Питере „добровольческих“ связных. Условлено было через неделю повидаться.

Несколько дней спустя мы прогуливались по Каменоостровскому проспекту и, как ищейки, приглядывались к проходившим, в надежде на нужную нам встречу. Поровнявшись с молодым военным, я лишь секунду колебался. Быстро подошел к нему со словами:

— При необыкновенных обстоятельствах нам приходится встречаться. Узнаете вы меня?

— Я вас не знаю, — отрезал коротко военный.

— Я вам напомню: Царскосельский вокзал; мы садимся с вами в поезд. Входим в купе, а там враг человеческий, Распутин. Вы еще силой увели меня от его колдуньих глаз.

— Так это вы? Конечно, помню. А сейчас, куда вы направляете свои стопы?

— Мы с капитаном... Познакомьтесь. Ищем к нашим чаяниям путей.

— А каковы ваши чаяния, разрешите вас спросить?

— Подальше от этих злачных мест во всяком случае.

— Нам следовало бы кой о чем потолковать.

В укромном уголке на Черной речке мы угощали свалившегося к нам с неба кирасира и рассказывали, о чем тоскуют наши души. С изумлением, не веря собственным ушам, мы выслушали откровения кирасира о контрреволюционной организации, вербующей на глазах у власти воинов для белых армий.

Для охраны на юге сахарных заводов, расположенных на Украине или же в нейтральной с Россией полосе — „no man's land", от своей, как и набегавшей из Украины голытьбы, поведал кирасир, по заданию большевиков формируются специальные военные отряды под командой, конечно, царских офицеров. Центральное управление этих отрядов называется „Главсахар" и располагается в Москве в „кремлевском подворье", у храма Василия Блаженного. Во главе военной секции „Главсахара" стоит кирасир Его Величества полковник Деконский Федор. Все прочие места в „Главсахаре" надежно замещены своими же, в недавнем прошлом помещиками Саратовской губернии, как и сам Деконский. Надлежало явиться в „Управление" в Москве с понятной заправилам рекомендацией для поступления в отряд. Подходящих воинов направляют на заводы в „no man's land", а оттуда до заветной цели рукой было подать.

Откровения кирасира были столь же невероятно фантастичны, сколь и до смешного ясны и просты. С живейшей готовностью мы выразили наше сокровенное желание участвовать в охране российского добра. Не дальше, чем через неделю, в соответствующем одеянии, в сознании своей значимости и иммунитета, спокойно мы катили поездом в Москву. Контролям в пути, а им мы потеряли счет, всякий раз мы предъявляли по всем правилам оформленную бумажку из „Главсахара" на имя рядовых — Ивана Акимовича Акимова — меня и Петра Ивановича Петрова — капитана. В отличном настроении мы прибыли в Москву и направились в „Главсахар". Деконского мы не застали. Нас принял его заместитель, тоже саратовский помещик. Лишь накануне, как мы впоследствии узнали, Деконский смылся, избежав ареста. Из „Управления" мы вышли с коман-

дировочным билетом на сахарный завод в no man's land'е близ Белгорода. В углу билета обращали на себя внимание две жирных черточки — они-то и определяли наше последующее назначение.

***

После многодневных испытаний в до невозможности набитых поездах, как и многочасовых ожиданий на переполненных вокзалах среди вповалку располагавшихся бесчисленных, видимо, мешочников, с истинным вздохом облегчения мы прибыли к месту назначения, в деревню Белгородского уезда Харьковской губернии. Без труда нашли помещичий дом, поместительное двухэтажное строение с балконом, где размещался штаб и команда нашего отряда. Мы были у крыльца, когда из открытой двери не вышел, а вывалился огромный дядя, импозантная фигура в сапогах, форменных штанах, шелковой косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком. На лохматой голове едва держалась офицерская фуражка с серпом и молотом на месте, где была кокарда.

— Что за люди? — спросил он густым басом.

— В ваше распоряжение, товарищ начальник, явился рядовой, Петр Иванов Петров, — отрапортовал капитан, протягивая командировочный билет.

Едва я начал представляться, как на балконе показался офицер, при виде которого у меня пресекся голос и впервые в жизни я ощутил невыносимую резь в животе.

— Здравствуй, Акимушка, — закричал офицер, поручик, с которым я подружился еще в Сувалках и это в момент, когда начальник внимательно читал мою бумажку, где я именуюсь Иваном. — Где ты болтался по сю пору? Тебя давно у нас здесь не хватало...

Начальник, не отвлекаясь, вертел в руках мое удостоверение. Оглядев нас с ног до головы, он приказал спустившемуся к нам офицеру выдать нам обмундирование и зачислить на довольство, и, по-медвежьи переваливаясь, удалился. Поручик взял наши билеты и смеясь заметил:

— Ты чего так испугался? Чудак: вашего брата тут черным черно. Откормитесь и отдохнете, а отсюда вас отправят куда надо.

Неделю мы бездельничали и отъедались. Жили, как на курорте, в наимирнейшие в нашей жизни времена. Не мало оказалось офицеров, коих жертвенность снижалась, а то и вовсе гасла под разлагающим влиянием подобного довольства в пораженной голодом стране. Но не сытость только была в таких случаях виною дезертирства. На что уж мы... Не хвалясь скажу,

готовые на любые жертвы для достижения цели, не раз жалели, что не послушались приятеля и не предпочли взрывать власть Советов изнутри.

Послушайте, каков оказался наш маршрут отсюда, из преддверия Украины, откуда до „добровольцев“ было, будто бы, рукой подать.

Ранним утром, как было условлено с поручиком, собрав свои пожитки, без оповещения мы отправились в соседнюю деревню к проживавшему там становому приставу. Сытно позавтракали и на телеге добрались до Белгорода, где распоряжались и хозяйничали немцы. И это на российской, пусть и украинской земле. Ускользнуть из-под немецкого недремлющего ока представлялось невозможным. Предстояли суровые допросы и нужно было проявить находчивость и хладнокровие. В детстве, в Карсе обычной у нас была игра, называвшаяся: „белого и красного не берите; да и нет — не говорите“. В беседе с немцами приходилось в точности блюсти правила этой игры: следовало всячески открещиваться от какой-либо связи с красными революционерами и белыми оппозиционерами, а от прочего отмалчиваться елико лишь возможно. О себе одно: мы оба, рядовые не разбитой, а развалившейся великой армии, подобно пленным двум гренадерам Heine (эту песню, подражая Шаляпину, я пел Марине... Прав поэт: „все приходит, все уходит; остается навсегда), душевно покалеченные, не желая больше слышать о войне, бредем к себе на родину, в Херсон.

⁂

Мы не успели выйти из окраин Белгорода, как напоролись на немецкий патруль. „Papiere!“ раздался характерный лай немецкого приказа. Мы предъявили свеже сфабрикованные, выданные, якобы, в Москве, удостоверения: „Рядовые, имя рек, демобилизованы и направляются по месту жительства в Херсон“. Солдат беспомощно вертел в руках наши бумажки и тем же голосом приказал нам следовать за ним. До прихода офицера нас заперли в сарай. Явился офицер, говоривший к нашему изумлению не по-русски, а по-украинский и без всякого, насколько мы могли судить, акцента. (Да, немцы загодя готовились к войне и не так, как мы!..).

И началась сказка про белого бычка, тянувшаяся день в день семь битых дней. Поначалу офицер старался нас уверить, что мы советские шпионы и требовал, чтобы мы сообщили о данном нам задании; затем он стал нас убеждать, что мы офицеры царской армии и пробираемся к „добровольцам“. Мы отмалчивались и заявляли, что мечтаем лишь о своем домашнем

очаге. Ночи мы проводили в сарае на запоре. На восьмой день на посту осталось лишь два солдата; остальных куда-то увели. Мы споили их намертво горилкой и ушли в ближайшую деревню. Три дня нас скрывали крестьяне, а после мы продолжали каверзный наш путь всеми видами возможного сообщения. Но нашей целью была теперь Одесса. Там стоял французский флот и город был в руках французов. По полученной путевке из Одессы нам надлежало уже дружеским, морским путем направиться в Феодосию, где находились добровольцы. Этим заканчивалась долгая и своеобразная наша авантюра.

В родной стране, чтобы добраться до собственного дома, нам пришлось, выходит, с риском пробираться через три враждебных границы — украинскую, немецкую и французскую...

Трудны и опасны оказались последние этапы нашего пути к Одессе. По нескольку дней мы вынуждены были задерживаться в деревнях, где с готовностью скрывали нас крестьяне; менять часто поезда, чтобы запутать следы, на случай немецкого преследования (наш побег мог лишь подкрепить их подозрения); широко общаться с городским и деревенским людом. Воочию мы могли наблюдать, что творилось в оккупированной немцами, своеобразно, по-революционному лихорадившей, самостийной Украине. В Киеве фантом, гетман Скоропадский с бессильным министерством и опереточным войском — гайдамаками, немецкий ставленник и пленник, а по всей стране казачья вольница с атаманами, большими и малыми бандитами, с громким званием анархистов!..

Славна своим богатством Украина; щедро ее природа одарила замечательной землей и недрами, а ныне повсюду слышна была частушка:

Украина плодородная
Хлеб немцу отдала,
Сама голодная.

Уже официальные, обязательные поставки продовольствия немцам, как контрибуция победителям и как дань защитникам от большевизма, разоряли Украину. Помимо этого каждый офицер и солдат оккупационной армии свободно отправлял в Германию своей семье без числа посылки. Эти запасы и позволили немцам продолжать войну: обеспечить продовольствием свои войска и уберечь от голода. страну. Но у грабителей неутолимы аппетиты. Время от времени немцы предпринимали еще военные набеги на деревни, где по их сведениям возможно было поживиться фуражем и зерном.

Эти налеты сопровождались настоящими сражениями с крестьянами, предупрежденными о продвижении отряда. В одном

из таких сражений пришлось принять участие и нам. Боем руководил мой капитан. Мы скрывались за речкой, в „очерете“ по обе стороны моста на пути к нашей деревне. Едва немцы приблизились к мосту, их стали поливать из двадцати винтовок. Немцы залегли и стали отступать с тем, конечно, чтобы возвратиться в тот же день, теперь уж с карательной целью. От такой покинутой населением деревни оставались обычно после ухода немцев лишь печные трубы.

***

Так, не зная, что нам готовит ближайший час, в поезде, пешком, а то и на телеге, мы подошли к Одессе. Нас предупреждали, что там шалят бандиты всех мастей и особенно именующие себя „зелеными“. Близко к городской черте нас окликнули два солдата, один из них с винтовкой.

— Скидавай, паны, часы, — оглядев нас, заявил один.

— Гарны сапоги да и шинельки пригодятся, — заметил другой.

— Гляди, хлопцы, как бы мы вам головы не поскидали с плеч, — сказал капитан.

— Ишь ты, якый прыткий, — стали хохотать бандиты. — Видать москали. Ладно, пошли к атаману. Там вже разберуться, кому голову снимать.

Мы пошли. Солдаты сзади. Капитан мне шепчет:

— Я займусь тем, кто с винтовкой; справляйтесь вы с другим.

— А что, хлопцы, не богаты ли вы, часом, табачком, — упавшим голосом промолвил капитан: — перед смертью очень уж курить охота.

Солдаты полезли за кисетами в карман. В эту секунду капитан вырвал винтовку у солдата, а мой противник приемом французской борьбы мгновенно был перекинут через плечо и, растерянно хлопая глазами, не двигаясь, лежал простершись на земле.

— Вставай, стройся, — скомандовал капитан. — Вот что, хлопцы: ровным шагом ,не оборачиваясь, вы двинетесь вперед. Считайте до двухсот. И я буду считать. Обернетесь раньше: не видать вам ваших матерей. Я без промаха стреляю. Смирно. Левое плечо вперед, шагом марш... раз, два; раз два... Помни, не оборачивайтесь... — И мы пошли к Одессе.

***

В моей памяти Одесса запечатлелась, как потревоженный муравейник, где люди, подобно муравьям, то быстро сновали по

разным направлениям, то, крича и жестикулируя, собирались в кучки. Капитан не твердо шел, жалуясь, что ноги будто не свои и в голове не ясно. Я тоже видел все в тумане; томила жажда и мучительно хотелось спать. Ненормальным своим видом или поведением мы обратили на себя внимание пожилого, прилично одетого прохожего.

— Могу я быть вам чем-либо полезным? — спросил прохожий.

— Простите, — я сказал: — мы офицеры, здесь никого не знаем. То ли устали, а может быть больны. Нам бы лишь уголок какой, чтобы на день-другой приткнуться.

— Я грек, — заявил прохожий: — грек никогда единоверцу не откажет в крове.

Помню, мы вошли в квартиру; растянулись на положенных на пол матрацах и уснули... Я проснулся через 13 дней. Один. Капитан с нагноившейся опухолью на шее, отправлен был в больницу, где и умер на десятый день. Не впервые мне было сиротеть. Но на сей раз я жгуче пожалел, что не отправился вслед за своим другом и наставником, вслед за „математиком“ туда, где целых чисел вовсе нет и разве только дроби. Жуткое чувство одиночества снова помрачило едва лишь начинавшее проясняться мое сознание, безнадежно подавило волю к борьбе за жизнь, выпрастало меня морально и физически. Около двух месяцев пришлось мне еще злоупотреблять бесконечной добротой моих спасителей. Казалось, все возможные осложнения использовали мою апатию: я попеременно то умирал, то снова оживал. Чуждые мне греки не разрешили доктору поместить меня в больницу, где смертность была ужасающая от сыпного тифа. Как за родным, за мной ходила и выхаживала пожилая их прислуга Анастасья, потерявшая незадолго сына на войне. Поведение этих неизвестных мне людей, их знакомых, граничило с самоотречением.

Как часто, вспоминая об этих черных днях, я себе внушал: наши воспринятые или же самостоятельно усвоенные суждения о людях всегда являются суммой случайных фактов. Особенно мы склонны к обобщению пессимистических суждений, хотя наш опыт неизбежно мал и столь же субъективен. О себе могу сказать, родись я даже мизантропом, мои переживания в Одессе излечили бы меня от этой хвори на веки-вечные.

Как-то доктор мне сказал:

— Уж очень вами интересовались небожители: все хотели заполучить к себе. Могу поставить вас в известность, что ныне нашими заботами вы начисто прикреплены к земле. Каковы же ваши устремления, скажем, на ближайшие, если не десятилетия,

то хотя бы эти дни? Вы, мне сообщили, офицер, а в наше время сие звание не для всех климатов пригодно!

— Я так обласкан, так вами всеми одарен, что не знаю, как мне выразить свою признательность. О многом мне напоминает ваш вопрос. Покончив счеты с жизнью, не помышляют уж о будущем. Но с будущим, пусть и в туманной дали и прошлое напоминает о себе, напоминает и обязывает. С вами, доктор, я могу быть откровенным. Я связан взятым обязательством отдать свои силы на служение родине в „добровольческих" рядах. С безвременно погибшим другом для достижения этой цели мы из Петербурга добрались до Одессы с тем, чтобы с французской помощью присоединиться к „добровольцам" в Феодосии. Как вы полагаете, скоро ли я смогу выполнить свой долг?

— Для военных действий в нынешних условиях вы будете пригодны не ранее, чем через полгода: сыпнотифозные осложнения оставляют стойкие следы. Но не в этом только суть. Не так давно, как и в прежние века, люди с временем менялись, но теперь безвременье и равнение людей идет по политическим режимам. Могу вас заверить, что по имеющимся у меня сведениям, французское владычество в Одессе близится к концу. Не сегодня-завтра задаст флот их из Одессы лататы. С помощью большевистских агитаторов французские матросы без труда узрели в Ленине и Троцком забытые было черты их трибунов Робеспьера и Марата. Идут сходки на судах с вынесением резолюций: „Руки прочь от революции!" Во избежание бунта французы вынуждены убрать свою эскадру из Одессы. А мы, покинутые, мы все мгновенно превратимся в верноподанных Советов, а ваша Феодосия окажется в другой части света. Кой-кому такая смена климата не пойдет, естественно, на пользу. Советую потолковать об этом с приютившим вас самаритянином. Он работает в порту и знает там все выходы и входы.

В тот же день мой добрый самаритянин продолжил этот разговор по собственной инициативе. Он подтвердил прогноз доктора относительно брожения во французском флоте и поделился своими опасениями насчет моей персоны в момент переворота. В срочном порядке, по его словам, надлежало найти выход из столь опасного не только для меня, но и для приютивших меня хозяев, положения, и он заверил меня, что использует свои знакомства и не сомневается в успехе. Не оправившийся еще от осложнений, обессиленный и апатичный, с чувством фаталиста я благодарил его, равнодушный, по существу, к своей судьбе. События в Одессе развивались, действительно, в революционном темпе. Агитаторы на улицах открыто призывали население к сопротивлению оккупанту. Касающееся меня решение, мне было представлено в одном лишь варианте и озадачило

меня сильнее, чем весть о неминуемом вступлении в город большевиков. Оно сводилось не более и не менее, как к переезду в Турцию на яхте турка, патрона моего самаритянина. Турок временно, как это тогда для всех являлось очевидным, ликвидирует свои дела в порту и возвращается в отечество. Как-то в беседе с греком я обмолвился, что вырос сиротой и что мать моя была турчанка. Это обстоятельство и обусловило согласие турка на время увезти меня с собой. Для неискушенных еще моих понятий, такое предложение было бессмысленным, кощунственным, как и противным природе человека, неотделимой от родины и своего народа.

— Среди возможных путей к спасению при трудных обстоятельствах мало ли путей кривых, сопряженных с сделкой с совестью? Худшим из таких путей, — заявил я греку: — представляется мне дезертирство, бегство офицера и, находясь в безвыходном положении, лично я предпочитаю на свой страх и риск столкнуться с противником лицом к лицу.

В разговоре с незабвенным моим другом, математиком, не раз я слышал о казавшемся мне чем-то близким к чертовщине четвертом измерении, каковым является, как будто, время. Я не философ и по-ихнему толковать проблему времени не собираюсь. Но воскрешая в памяти поворотные и грозовые эти дни, мне кажется, что и на самом деле не мы сами время создаем и за него не отвечаем, а лишь за устанавливаемые нами сроки одни ответственность несем.

„Все это временно; коротко лишь переждать“, убежденно твердили повсюду знатоки, не говоря уже о простофилях, определяя продолжительность существования большевистской власти. Они не знали, что каждое новое движение имеет свое, присущее ему лишь время, а сроки, пока наступят нужные нам сроки, „роса, возможно, очи выест“.

Ежевечерне в доме грека происходили совещания владельцев предприятий в порту о линии поведения и временных мероприятиях в связи с предстоящим вступлением в город большевистских войск. Все сводилось к мимикрии и камуфляжу до прихода „добровольцев“. В тесном кругу заходила речь и обо мне. По общему суждению, предложение турка на время увезти меня с собой представляло идеальное решение проблемы в отношении не только безопасности, но и для окончательного восстановления моего здоровья. Моя нерешительность вызывала у всех недоумение.

— Существуют факты, очевидность коих не требует особых доказательств, — твердил мне многократно доктор. — Каждый

здравомыслящий согласится с тем, что широкие общественные круги единодушно осудили большевистское правительство, и что Ленинская авантюра уже на ладан дышит. При всех условиях ваша инвалидность не позволяет вам вступить сейчас в ряды бойцов. Не исключено, однако, что по возвращении вам еще удастся принять участие в боях за освобождение и воскрешение нашей, нужной нам России.

С „очевидностями“ мне приходилось уже встречаться. Я смутно сознавал, что судя по их последствиям, все мыслимые „очевидности“ были уже, по-видимому, включены Эвклидом в число формулированных им аксиом. Повседневный опыт предостерегает от приумножения в наше время их непогрешимого числа. Но роковой час приближался. Срочно приходилось избавить грека от компрометирующего моего присутствия. Явился турок, пожелавший самолично убедиться в подлинности моего турецкого родства. Несколько слов приветствия по-турецки, сохранившихся еще в моей памяти из Карских лет, как и близкий к его сородичам мой внешний вид, его вполне удовлетворили. В эту же ночь, не взвешивая более и не размышляя, я покинул берега отчизны в надежде на короткую разлуку.

Простите великодушно, друзья, за столь затянувшееся слово о себе, грешном, вашего соратника Рублева. В кои веки представилась оказия снова мысленно пройти далекие этапы лишь начинавшейся, так много обещавшей жизни. Я как-то у Толстого вычитал, что в старые времена романы заканчивались браком воспеваемых героев, а что на самом деле только с этого момента настоящий „роман“ и начинается. Первая часть моего повествования и подобна добрачным перипетиям у старых романистов. По-настоящему ответственными, „брачными“, выходит, для нас оказались последующие эмигрантские года. О них я хочу еще поведать и их представить на суд нашего ареопага.

Час уже поздний. Заключить свое „слово“, я полагаю, мне придется уже на следующем заседании.

— Поблагодарим Акима Потаповича, — предложил Безладный, — за живое и поучительное, как он именует его, „слово“. Как близок нашему сердцу этот своеобразный, личный „миллион терзаний“, подобный уже выслушанному здесь во многом основном, — в ином вечных, а в ином ставших теперь анахроничными, как если бы века отделяли нас от эпохи пребывания на родине. Эта эпоха, представляется нам обычно „золотой“. Все в жизни относительно: что и не радовало в свое время, в изгнании и позже будет мило. Поблагодарим наших дорогих хозяев за радушие и гостеприимство. Очередное заседание „Клузарусина“ через неделю в урочный час.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

За ритуальной трапезой, существенным подспорьем и разумным прологом к заседанию, застольная беседа была, по обыкновению, очень оживленной. В центре внимания на сей раз был Рублев. Мужчины интересовались опытом Акима Потаповича с его обетом верности масонству на чужбине; дамы, заинтригованные доскональным его знакомством с натурой польских женщин, настоятельно просили осведомить их о сравнительных и природных качествах француженок. На данные о масонстве Рублев был очень скуп. В Париже, он сообщил, имеются и русские две ложи: Гамаюн и Astrée. После первой мировой войны масонские ложи необыкновенно разрослись. Условия проникновения в ложи упростились. Число адептов чрезмерно увеличилось. Качество не следовало здесь за количеством: у многих прозелитов личный интерес превалировал над гуманитарным. Оккупация Франции сопровождалась разгромом масонских лож. Все списки участников попали немцам в руки. Причисленные к врагам „нового порядка“, не скрывшиеся вовремя масоны, подверглись той же участи, что и коммунисты и евреи. За приверженность свою к масонству, в годы оккупации Рублеву приходилось кочевать из зоны в зону, как и пребывать на нелегальном положении. Но об этом в свое время...

Пояснения Рублева по поводу француженок поразили и мужчин и дам. Сверх ожидания, по стечению обстоятельств, в сфере его „галантных“, как выражаются французы, приключений на чужбине оказались не француженки, а англичанки. В надлежащий момент он и обещал вынести о них свое суждение, не претендующее, конечно, на универсальность, как это было в отношении полек. Неожиданность этого признания намного увеличило всеобщий интерес к этому вопросу. Лишь напоминание

Безладного о близости установленного часа избавило Рублева от преждевременных разоблачений.

Точно в надлежащий час Безладный объявил пятое заседание „Клузарусина“ открытым. Все члены содружества были налицо. За неимением замечаний слово было предоставлено Рублеву для продолжения своих воспоминаний.

— Итак, — начал Рублев, — в бурную декабрьскую ночь со стесненным сердцем я вступил на уходящий из-под ног борт турецкой яхты и не успел и оглянуться, как густой туман скрыл от моих опечаленных очей родные берега. Дурная слава Черного моря была мне известна лишь по наслышке. С морем знался я впервые. Хуже, чем только комом пришлось мне это первое знакомство. Несколько дней бился состоявший из двух матросов экипаж с разгулявшимся остервенело морем, оберегая нашу жалкую скорлупку от лютой ярости враждебных волн. Уже при старте первые покачивания яхты лишили меня чувства равновесия и пригвоздили к койке. В открытом море все испытания ада тотчас же обрушились на мою еще не оправившуюся плоть, на немощную душу, не давая ни отдыха, ни срока. Не ком, а острый кол сверлил и выворачивал мне внутренности наизнанку; свинцом налитая, покоя не находившая, в карусели голова, казалась чуждой и независимой от тела. Во мраке, с закрытыми глазами я неизменно видел огненные письмена, возвещавшие мне воздаяние за дезертирство. Едва я мог усвоить за день несколько глотков воды; о пище не могло быть речи. Долго длилась эта мука.

В Стамбул я прибыл в состоянии полутрупа. Мой покровитель был вынужден с корабля переправить меня в больницу, где в течение месяца турецкие врачи старательно и компетентно чинили мой каркас. Из больницы я перешел в небольшой отель в порту, где мое пребывание и пансион были оплачены вперед на месяц. К этому времени, по увереньям турка, с Советской властью будет покончено на юге и можно будет держать обратный путь при тихой, теперь уж усладительной погоде в надежде на замечательные перспективы вновь. Я далек был от сомнений в скором возвращении на родину и лишь о непогоде на море старался не думать, позабыть. Потянулись дни нетерпеливого, а вскоре и мучительного ожидания. День выпал как-то из положенных ему временем границ: он тянулся в безделье бесконечно, а время — время без оглядки, торопливо мчалось вдаль. Длинный день я заполнял, как мог, зубрением турецких слов, посильным чтением газеты и беседой с хозяином отеля, пожилым и симпатичным турком с помощью скорее рук, чем языка. А время, как тать во нощи, бесприметно пробегало дни и к концу месяца показывало только пятки, снова возвращаясь к одному

и тому же дню. Время явно игнорировало наши заботы и упования. Мой покровитель, пользуясь сообщениями турецкой прессы, по-прежнему не знал сомнений и со дня на день ждал вести о решительной победе „добровольцев“. Меня одолевало нетерпение, но особенно я тяготился материальной зависимостью от бескорыстно опекавшего меня новоявленного сородича по матери.

Как-то хозяин отеля стал жаловаться на становившееся все тяжелее положение. Не трудно было убедиться, что участие Турции в войне на стороне Германии, после поражения стало для нее источником великих бед. Французы и англичане распоряжались в Константинополе, как в своей стране. Уже после первых волнений в начале века, новые правители, младотурки, начали во многом менять установленный феодализмом да и Кораном политический режим, быт и даже нравы. Турция издавна пользовалась в Европе славой „больного человека“. Теперь же крайнее обнищание и угроза независимости — под влиянием русской революции — вызвали подъем в стране. Новый вождь Кемаль, обеспечив независимость стране, предпринял ряд мер для европеизации отсталого народа. Хозяину не нравились эти перемены.

— Женщинам, — жаловался он: — дают опасную для них и гибельную для семьи свободу; меняют алфавит; не останавливаются перед тем, чтобы касаться веками узаконенной в Турции одежды.

Отмена ритуального головного убора, фески, убрало, по словам хозяина, у многих турок праведные мысли из головы и расплодило жуликов и тунеядцев. К тому ж клиенты становятся все более требовательны и не знают сами, чего хотят. Они недовольны, что в ресторане нет музыки и грозят перейти даже к конкуренту, где кухня хуже и дороже... Я не дал хозяину закончить свою мысль: робкий свет надежды озарил мой туманный горизонт.

— А хотели бы вы завести у себя музыку? — с трудом подбирая нужные слова спросил я.

— Конечно, — ответил турок. — Было бы это мне по средствам.

— Достаньте гитару и мы попробуем.

***

В ресторане отеля по вечерам собиралась многочисленная и разношерстная компания — портовых чиновников, моряков, редко и туристов. Завсегдатаи, а их было большинство, знали

хорошо меня и особенно мою биографию: ее хозяин не уставал рассказывать любопытным посетителям. Главный интерес моей родословной сводился к факту моего рождения в турецком городе от матери турчанки. Выходило, Алла руками турка извлек меня из русского, к тому же большевистского, узилища и вернул в лоно своего народа. Симпатии были мне обеспечены во многом наперед.

Первое мое выступление состоялось по моей просьбе без предупреждения публики. Экспромт должен был в случае провала касаться только моей личности и не порочить учреждения. Я подготовил две песни. Их распевала вся Россия: „Яблочко" и „Кирпичики". Припев к „яблочку": „Яблочко, куда ты котишься; в чека попадешь, не воротишься" я перевел посильно по-турецки. Предварительно я пропел эти песни хозяину. Он долго плакал, многократно целовал меня и все говорил, что жалеет, что нет у него дочери, чтобы женить меня. Неожиданность моего выступления еще усилила его эффект. Турки насколько я мог в этом убедиться, сентиментальный и очень доброжелательный народ. Меня благодарили, обнимали и давали деньги... До закрытия ресторана я беспрерывно пел.

Много было в моей жизни поворотных дней, радикальных перемен. И этот день был не менее значителен. Снова я обрел свое лицо: материальная зависимость угнетает личность в человеке. Лишь вера в неминуемо предстоящее вот-вот падение Советской власти давала мне возможность считать приемлемой опеку турка, как и у турка создавала охоту мне помочь. Теперь я самостоятельно оплачивал свое пребывание в отеле и мог спокойней дожидаться лучших дней. А добрые вести по-прежнему заставляли себя долго ждать. В газетах я хорошо уж разбирался. Все победы и поражения белых армий я горячо переживал. Блестяще развивавшееся наступление Юденича на Петроград представлялось мне кануном возвращения на родину. Успехи Колчака, добравшегося почти до Волги, как и продвижение Деникина до Орла не оставляло сомнений в правоте и мощи белого движения.

Еще задолго до того, как фактически закончилось белое движение, я окончательно прозрел. 12-ое февраля двадцатого года — день расстрела Колчака, я это хорошо запомнил, был днем крушения моих иллюзий и осознания всей безнадежности упований на, относительно хотя бы, скорое возвращение на родину. А война еще долго полыхала на ее просторах. Это были только вспышки уже изжившего себя движения. Но февральский этот день остался мне памятным и по другой причине.

Накануне я получил страшно взволновавшее хозяина отеля приглашение в полицию. Мой покровитель оформил как-то мое

пребывание в Стамбуле и никто не чинил мне затруднений. В полиции переводчик и сам едва справлявшийся с русским языком, с трудом дал мне понять, что — ушам своим я не поверил, — родившись в Карсе, от матери турчанки, а Карс сейчас в руках у турок, я приобрел тем самым право на беспрепятственное облагодетельствование меня турецким подданством. Необходимые формальности заключаются лишь в заполнении тут же врученных мне анкет, так как касающиеся меня данные при проверке подтвердились У неудачников и удачи вроде пирровых побед! К неизжитым еще мукам от сознания, что я не выполнил обета отдать свои силы на спасение России, ныне присоединились еще куда более страшные страдания от соблазна отречения, пусть и формального, от родины вообще. После уже пережитого, любое небывалое и грозное событие я бы считал возможным на своем жизненном пути. „Ни тюрьма, ни сума“ меня бы ничуть не удивили... „При любых, наихудших обстоятельствах“, рассуждал я, направляясь к своему отелю: „мыслимо и должно оставаться все же самим собой. Но отказ от родины за здорово живешь не может быть ни чем иным, как именно самоотречением. Что же остается в таком случае от человека — только потроха?.. А вдруг война? С Турцией, недавней союзницей Германии и вековым врагом России, это вполне возможно. А что тогда?“

Мой вид не обнадежил вопросительно воззрившегося на меня хозяина. Мы прошли в бюро. Он плотно закрыл дверь. Я сообщил, о чем осведомили меня в полиции и прибавил, что этой милостью я больше, чем польщен, но дар этот не по моей натуре. Хозяин с перекошенным лицом, как от зубной боли, долго мотал молча головой, то ли молился, то ли размышлял. Приблизившись ко мне, он зашептал:

— Ваш покровитель, очевидно, хлопотал за вас и не пожалел бакшиша. Не всем выпадает такое счастье, а вы недовольны, но берегитесь. Турецкую полицию опасно обижать. На дне Босфора не мало мешков с грузом. Рыбы эти мешки знают хорошо и ждут их появления. Не торопитесь. Обдумайте, как следует. Учтите это и лишь потом решайте.

Сказавшись больным, восемь дней в затворничестве я возмущался, негодуя отвергал и, скрепя сердце, соглашался. Ежедневно входил ко мне хозяин: он приносил еду и заполненные им анкеты. Оставалось только мою руку приложить. Я не соглашался. После вторичного запроса из полиции я подписал.

⁂

Несколько месяцев оставалось еще до акта обращения. В этот промежуток времени Галлиполи и Принцевы Острова на

Мраморном море стали печальным прибежищем для остатков разбитых белых армий и эвакуированного населения из Крыма. Строгий санитарный кордон долгое время не позволял общения с интернированным войском, где, не заболей в Одессе и я имел бы все шансы очутиться. В страшных условиях происходило бегство, как и переправка к турецким берегам — почти без пропитания и без воды на переполненных донельзя кораблях. Но настоящий кошмар для воинов, едва унесших из Крыма поздорову ноги, оказался впереди.

На пустынном турецком полуострове Галлиполи и на острове Лемносе разместились тысячи изголодавшихся, растерянных, изверившихся в своих руководителях офицеров, солдат и казаков. Условия их жизни во всех отношениях были близки к троглодитским. Суровая дисциплина с целью сохранения по существу утерянной боеспособности частей, установленная поначалу Врангелем, а после военным управлением, возглавлявшимся Кутеповым, своей безжалостностью и произволом еще усугубляла безысходность положения потерявших родину людей. Даже миниатюрные островки с аристократическим названием — Принцевых, в живописных бухтах с лазоревой водой, с райским климатом и замечательной растительностью, надолго оставались в недоброй памяти размещенных там русских беженцев из населения. Отношение турок к беженцам было более, чем человечным, но не турки распоряжались на своей земле. А хозяева, „союзники“, недавние друзья, приправляли свое мизерное, вынужденное попечение совершенно недостойным обращением. Горе было побежденным, а потерявшим еще и родину — вдвойне.

***

Всем нам знакомо леденящее чувство безнадежного одиночества от сознания, что с родиной ты разлучен. Подобную хворь излечивает, вернее лишь залечивает, утверждают, время. На такой эффект мне явно не хватало целительного времени и в день, когда я получил турецкий паспорт, к законно глодавшей меня тоске по родине, прибавилось еще особое недомоганье — перевоплощения при жизни: как если бы моя русская душа переселилась в неподходящую, чуждую ей плоть. Не так давно я радовался, что обеспечил себя материально и считал, что тем самым я обрел было утерянное свое лицо. Но эта утеря была лишь символичной, а ныне, как ни верти, из казака я превратился в сроду казакам враждебного, чуждого нам антипода — турка. Узнал бы о подобном превращении, пусть и невольном, мой отец... Должен сознаться, что эта моя скорбь оставалась интегральной лишь до момента, как я попал на остров Лемнос к

казакам и особенно в Галлиполи к „добровольцам“. Сплоченность у казаков в крови, а в приспособляемости казаки не уступят даже и отмеченным Лампадиным китайцам. И тем не менее горе-гореваньице и у казаков свило себе прочное гнездо, предоставив настоящую „муку-мученскую“ добровольцам. Плохо, говорят, когда человек теряет только свою тень, а тут люди потеряли родину; все, чем владели и оказались в плену у своих же генералов. Все мечтали выбраться любой ценой, хоть нагишом, куда бы то ни шло, лишь бы снова обрести себя и свою свободу.

От этого апокалипсиса моя личная скорбь стыдливо стушевалась, а мое собственное благополучие утеряло розовый свой цвет. Я как-то пришел в себя: добрая треть жизни у меня уж за плечами; в перспективе — темная вода, а я своей скорбью упиваюсь... И я загрустил всерьез.

На острове Халки, одном из райских „Принцевых островов“ я разговорился с инженером, ожидавшим визу в Сербию. Он рассказал все о себе: о Киеве, откуда он родом; о хорошей жизни в Питере, где он служил; о муках при эвакуации из Крыма и о тщетных своих попытках переправиться во Францию, куда особенно стремятся эмигранты. Я ощутил непреодолимую потребность в свою очередь открыть свою душу земляку. Мы сидели под миндальным деревом в цвету и пожилой инженер рассеянно выслушивал мою запутанную и длинную историю до момента, когда я коснулся печальных перипетий с турецким паспортом. Инженер привстал даже, недоверчиво глядя на меня:

— Вы получили турецкий паспорт и не перестаете горевать?.. Вы понимаете, что говорите? Всем нам сняли головы, а вы по волосам тоскуете... По-вашему человек состоит из тела и души, не так ли? А о паспорте вы позабыли... Без паспорта беззащитны и тело, и душа... Не нагляделись вы еще, как ежеминутно в грязь топчут повсюду обе эти ипостаси вкупе и раздельно? Я вижу, вы совсем еще юнец, а может, всю жизнь были на удивление везучий. С турецким паспортом все дороги настежь пред вами, хотя бы в самый рай. Ведь для неприкаянного, приблудного, повсюду нежелательного эмигранта паспорт во многих случаях, это to be or not to be — жизнь или унизительное и мучительное прозябание; все одно, что смерть. Я вам в отцы гожусь и должен вас наставить. В точности никто не знает, что нас ждет. Может быть и улыбнется однажды нам фортуна, если дотуда „не выест очи нам роса“. Засиживаться в Турции вам нет смысла; нужно перебираться поближе к своякам, вернее всего — во Францию. Вы обеспечены и можете заняться, не медля, языком. Кстати, могу вам завещать имеющийся у меня самоучитель. Здесь вам такого не достать. Хандру оставьте нам уж, старикам, а вы готовьтесь к борьбе за возрождение, за „повеселее перспективы“.

На этом мы расстались. Более двух лет прошло с момента этой встречи. Постепенно рассосались, опустели беженские очаги. Разбрелись воины и беженцы по белу свету — по Старому и Новому — по преимуществу переползли к братушкам на Балканы. Пришел и мой черед сниматься с якоря. И мне нужно было выбираться на беспокойный жизненный простор. Тут-то я и мог отдать себе отчет, в какой тихой пристани я укрывался в эти роковые и бурные года... Как, скопив кое-что на черный день, почти по-мирному я ныне снаряжен для предстоящей экспедиции из затворничества в люди... Это моя мать своим загробным попечением через своих сородичей вызволила меня из большой беды. Какой турок стал бы в иных условиях интересоваться судьбой русского гяура? Я не раз посещал собор Св. Софии, Ай-Софию по-турецки. В войлочных туфлях поверх сапог я скользил по мраморному полу, благоговейно озирая величественную архитектуру храма; восхищался колоннадой, изумительной мозаикой купола и стен. В Ай-Софии, обуревавшее меня восторженное чувство пред высшим творением человека, сливалось всякий раз с проникновенной мыслью о моей матери. Здесь пребывал Алла, которому она молилась в молодые годы до крещения, а может быть и позже; к Алле обращалась, возможно, ее мольба, когда в последний час она терзалась мыслью о моем благополучии. Перед отъездом, с билетом на пароход в Марсель в кармане, я снова обошел мечеть, ныне музей, с тем же, вернее с еще большим трепетом и очарованием, претворенным на сей раз как бы в видение, в живую связь с моей матерью. Из мечети я ушел с родительским напутствием и благословением. Не раз я вспоминал о нем в последующие годы моей жизни.

Расставание с покровителем, с хозяином отеля, с друзьями из ресторанных завсегдатаев, было трогательным и печальным. Все мне желали одного: поскорее вернуться в мое „настоящее“ общество. Ни о чем ином я и не мечтал, лишь по-разному толковалось нами слово „настоящее“.

***

Переезд в Марсель на французском пароходе прошел со всем мыслимым лишь на мой взгляд для морского путешествия комфортом в отношении погоды, как и довольствия. „Як бедному женыться, так и ничь коротка“, говорят украинцы. Как обездоленному беглецу из Одессы выбираться, я это до полусмерти испытал, так и море ярится и беснуется. Теперь же с турецким паспортом, отъевшийся и отдохнувший, гоголем я сошел в Марселе с парохода почти на положении буржуя, только со скромным

скарбом. День был солнечный; серебрилась у пристани морская зыбь. На узких улицах полным-полно разношерстного и разноликого народа. Но краскам неба и воды далеко было все же до Стамбульских...

В Марселе я задержался на два дня и большую часть времени провел в зачаровавшем меня своей пастельной красочностью „Старом порту". Миниатюрная, тянувшаяся подковой бухта, запруженная бесчисленным количеством баркасов рыбаков, лодок всех цветов; больших и малых, качающихся, как чайки на бирюзовой глади, яхт со спущенными или поднятыми, будто для взлета, подобно крыльям, парусами, эта бухта мгновенно перенесла меня к едва лишь покинутым турецким берегам.

Волнения, сборы, проводы в Стамбуле отвлекли меня, не дали мне возможности собраться с мыслями перед безвозвратно предстоявшим мне теперь эмигрантским житьем-бытьем. Здесь, в тихом уголку я погрузился невольно в размышления.

Пять, в общем, безмятежных лет уготовила мне судьба в Стамбуле. Чего только не навидались и натерпелись мои собратья и единомышленники за эти годы... С чем же я пускаюсь ныне в путь? Какое я выковал себе оружие для жизненной борьбы?.. Недоучившийся, состарившийся преждевременно юнец с крепкими мышцами и приятным от природы голосом. Это все, чем я располагаю. И этим капиталом можно бы орудовать на худой конец, маячила бы вдалеке хоть тускло, душевно лелеемая цель... Но за затуманенным безверием, апатией, горизонтом не увидишь света маяка. В сознательные годы трудно жить, не глядя вперед. Обратить свой взор горé, где многие с успехом ищут отпущения? Мне с церковью не по дороге. Я сам по себе. Я иногда молюсь. Молитва, как слезы, убаюкивает и обольщает. Но я не затем молюсь, чтобы задобрить бога, у которого с галаксиями уже достаточно забот, чтобы интересоваться еще и мной, одной из многих миллиардов тварей. Но я не одинок: у меня есть „братство". Его заветам я сознательно и свободно присягал. У масонов-братьев я найду поддержку и нужное мне слово. Там мой настоящий храм и моя исповедальня.

Этим бодрящим утверждением я не раз заканчивал свой психоанализ и самокритику в былое время и сейчас в живописной бухте „Старого порта" многократно подтверждаю это снова.

А маленький мирок вокруг, бескрайной синевой моря и небес, мелодичным шумом волн, слепящим светом и радугой красок и цветов наглядно заверял меня, что мир прекрасен, что жизнь стоит свеч, хотя должного порядка в мире не было и нет. Не напрасно статуя богоматери de Garde на высокой горе предостерегающе и покровительственно простирает руку над Мар-

селем... Эта мадонна, правда, интересуется специально моряками, а я ведь пехотинец и направляюсь не к кораблю, а к железнодорожному вокзалу...

⁂

Париж у Лионского вокзала скорее настораживает, чем обнадеживает и уж никак не восхищает. Но лиха беда начало... Первый же шофер, конечно, русский офицер (в Париже к этому моменту было несколько тысяч русских водителей машин; французы шоферы составляли меньшинство) привез меня в маленький отель на улице Jasmin, в Auteuil; поговорил с хозяйкой и обещал заехать отвезти обедать к Доминику, — существующий и по сей день русский ресторан, теперь с интернациональной клиентурой.

О Париже этих лет исчерпывающе осведомили нас выступавшие до меня друзья. Хочу отметить, что русские при немалой численности, доходившей до 60-70 тысяч, чувствовали себя в Париже нельзя сказать, чтоб в тесноте, но зато в обиде, — в страшной обиде на все, вся и всех. Было чему мне поражаться. Я прибыл в Европу с чувством смирения и покорности; с сознанием за собой вины в выпавших нам на долю испытаниях. Двух-трех дней было мне достаточно, чтобы убедиться, что упадочные, дефективные настроения в отношении нашей родины здесь совсем не ко двору. Русская политическая обстановка в прошлом и настоящем была здесь для всех яснее ясной; виновник наших бедствий был в точности известен и программа оперативных действий определялась сама собой и не допускала вариантов. Известно, что для успешной военной акции врага нужно ненавидеть. Лютой, слепой ненавистью были исполнены здесь сердца русских эмигрантов не только к большевизму — и заодно уж ко всему, что отдавало свободой, „вольнодумством“, — но и к своей стране и своему народу, приявшему или примирившемуся с этим злом. Редкий эмигрант не участвовал или не соприкасался с какой-либо подрывной организацией и не выражал готовности к выступлению за „Святую Русь“. Скучавшие жены на вопрос, что делают мужья, неизменно отвечали „готовятся в поход“. Грешно было бы не упомянуть, что мечта о предстоявшем „выступлении“ и была тем „сном“, который позволял обездоленной свыше всякой меры эмигрантской массе переносить нищенское и беспросветное существование во Франции. По нынешнему состоянию маленьких отелей, где ютились эмигранты, невозможно себе представить эти же отели в их прежнем виде, не ремонтировавшиеся по 50-100 лет, настоящие очаги безделья, мрака и заразы. После гитлеровской встряски Франция осно-

вательно вперед шагнула, не только в отношении демографии и благополучия, но также и элементарной гигиены.

Парижская боевая атмосфера не могла не разбудить во мне оставшиеся неизжитыми намерения и мечты: не мирясь с паллиативами, я готов был примкнуть к наиболее решительным и горячим головам. Прежде чем принимать решение, я считал необходимым оформить мои отношения с масонами. В Париже это не представляло затруднений. Среди моего небольшого окружения нашлись советники и поручители и вскоре я стал членом одной из русских лож. В беседе с опекавшим меня братом я упомянул о своем намерении принять участие в противосоветской деятельности эмиграции. Почтенный брат, в прошлом профессор, оказался адептом недолго просуществовавшего движения „сменовеховцев", о каковом я не имел понятия. Он охотно согласился поделиться со мной своим опытом и мыслями.

— Прошла уж, чудится мне, вечность, — стал он пояснять: — как не только на наши, ни о чем подобном не помышлявшие даже головы, но и на всю нашу планету, свалился большевизм. Я — горный инженер, с политикой никогда не знался, и это бедствие мне показалось близким к катаклизму. Первой моей задачей было унести подальше ноги от эпицентра катастрофы и я переехал из Петрограда в Рим. Там с полсотней земляков год за годом мы терпеливо ожидали изгнания бесов. На третий год случай свел меня с русским журналистом, римским старожилом, постоянным сотрудником „Русских Ведомостей" в Москве. Этот исключительно осведомленный человек открыл мне по-настоящему глаза на события в России. В восемнадцатом году он прибыл в Петроград, чтобы ознакомиться с революционной обстановкой, как в личных интересах, так и для итальянской прессы. Он коротко знал всех революционных вожаков, имел возможность откровенно и многократно беседовать с Лениным и Троцким, с представителями социалистов-революционеров, к каковым был близок, как и будировавшей интеллигенции. После более чем полугодового пребывания в России он возвратился в Рим с твердым убеждением, что большевистская заваруха не случайное и мимолетное явление; не следствие злого умысла преступных вожаков, как уверяет эмиграция. Масса русского народа после векового сна пришла в движение. Революционная инерция различных слоев народа — крестьян, рабочих, интеллигенции с несовпадающими интересами — по существу различна, и кривая движения не может не включать подъемы и падения. В народной массе создался настоящий шквал с магнитным полем притяжения на далекие пространства, опасной и привлекательной заразой для других народов. Энергию подобной мощности толчком извне нельзя преодолеть, а для утихомирения затеянного

Лениным столкновения, пятнадцать-двадцать лет самый скромный срок. Это было все.

Суждение журналиста о революции мне показалось интересным, но обухом по голове пришлись мне сроки: двадцать лет ожидания — это пожизненное заключение, положенное за убийство, а я никого не убивал. В Риме с антикоммунистическим режимом Муссолини жилось не сладко. И здесь явственно земля устойчивостью не отличалась. Для бесприютного изгоя, нужно отдать французам справедливость, именно на Франции свет сошелся клином. Я стал подумывать о переселении в Париж. К этому моменту пошли слухи, а вскоре стали получаться письма от родных, от сослуживцев о коренных, так безнадежно ожидаемых переменах в нашем государстве.

— Нагулялся, пишут, заграницей, хватит; возвращайся в Петроград. И Ленину стало ясно, что их химеры провалились. У нас теперь масленица после великого и страшного поста. Живем, как боги на Олимпе. Магазины, рестораны, как в былое время. Заработки — деньги некуда девать. Червонцы у всех только для фасада: лишние обращаем свободно в доллары и фунты.

Представляете? Я к журналисту. Изложил, что пишут и спрашиваю:

— Не находите ли вы, что ошиблись в сроках?

А он:

— В политической, как и военной стратегии, наука не ограничивается лишь атакой в лоб: существуют еще обходы, отступления и прочее.

— Как же понимать этот ленинский фортель?

— „Передышка" в государственном масштабе — так Ленин „Неп" свой окрестил, означает, что с амуницией и провиантом у большевиков вышла неувязка. Для предстоящих операций необходима, выходит, подготовка. Она не может длиться менее двух-трех лет. За это время всякое, конечно, может приключиться.

— Опостылело мне в Риме. Не знаю, ехать ли мне в Питер или переселяться на „реки вавилонские" в Париже?

— Для плача я выбрал бы Париж. Эмигрантам там этого не запрещают.

— Я человек науки и журналисту в Риме тем обязан, что при суждении о событиях на родине к неизбежно шкурной точке зрения присоединять стал хотя бы малость объективности. Поражение белого движения после трехлетней жертвенной борьбы что-то означало и должно было всерьез учитываться при расчетах о долговечности режима. В Париже, среди множества шумных откровений, наиболее разумной мне показалась программа „сменовеховцев". Исходя из факта вынужденной перемены, зиж-

дившейся на социалистических началах экономической политики большевиков, группа интеллигентов, под руководством проф. Устрялова стала проповедывать, что жизнь заставила правителей вернуться к единственно реальным, старым экономическим началам. Исходя из их же марксистских утверждений, следовало полагать, что „Новая Экономическая Политика“ неизбежно поведет к „буржуазному перерождению“ советской власти и к, пусть и закамуфлированному, но тому же капиталистическому строю. Эта программа была специально как будто для меня сколочена. Я зачитывался газетой „Накануне“ и видел себя уже на прежнем своем месте в Институте. Увы, лишь около двух лет эти мечты давали мне отраду. Движение сменовеховцев неизменно шло на убыль; сочувствующие разуверялись и переходили к активистам. Газета прекратила свое существование. Но если у меня могли бы еще задержаться малейшие иллюзии относительно ближайших перспектив, то после встречи с сослуживцем, чудом из Петрограда пробравшемся в Париж, я должен был признать, что окончательно сверзился из эмпирей на землю и очутился у старого корыта. Этот сослуживец, усиленно звавший меня вернуться к месту службы, обещая „золотые горы“, сидел растерянный, убитый, не оправившийся еще от испытанных волнений.

С некоторых пор, по его словам, систематически и планомерно власти снова начали поход против заводчиков, мелких частников, торговцев, затягивая накрепко им горло непосильными налогами. Похоже было, что трехлетняя, Лениным дарованная им, передышка близилась к концу. Пошли слухи, что готовится также широкая охота за имеющимися почти у всех девизами. Однажды рано утром к нему явились два чекиста, любезно отрекомендовались и предложили пожертвовать имеющиеся у него девизы на „социалистическое строительство“, предупреждая, что все добровольные жертвователи тем самым заслужат благоволение властей. Вряд ли кто-либо из опрашиваемых при всем желании осмелился бы ответить утвердительно на столь каверзное предложение, и он счел за лучшее заверить, что у него никогда не было девизов и нет сейчас. Чекисты мило улыбались и утверждали, что по их сведениям у него имеется крупная сумма, как раз в долларах и что, возможно, он о них забыл. Если в ближайшие минуты он не припомнит, куда их положил, то, имея в виду, что для обыска времени у них в обрез, ему придется съездить с ними в одно место.

— В Институте в это утро, — приглушенным голосом он продолжал: — мне предстояла встреча с иностранными учеными и, сославшись на государственную важность совещания, я усиленно протестовал, но, конечно, тщетно. Ожидавший тут же автомо-

биль доставил нас на Гороховую 59, в хорошо известное петербуржцам учреждение, прежнюю охранку. Не успел я осмотреться, как очутился в комнате без мебели, заполненной до неимоверной степени людьми. Говорят, как сельди в бочке. Но растянуться, хотя бы в тесноте, во весь рост, это далеко не то, что стоять, имея в своем распоряжении место едва лишь для одной ступни.

Силой втиснув меня в комнату, чекист спросил:

— Припомнил еще кто?

Из самой гущи с трудом протиснулся старик и у двери свалился на чекиста.

— Давно бы так, — укоризненно сказал чекист и дверь закрылась.

Гробовая тишина царила в комнате. Никто не жаловался и не протестовал. С перерывом в десять-пятнадцать минут открывалась дверь для новичка и из до ужаса уплотненной массы вываливался кто-либо из ветеранов после многочасовой мучительной борьбы с самим собой и физических страданий.

Один из вновь прибывших, вклинившись вблизи меня так, что наши лица почти соприкасались, шепнул мне:

— Вы здесь давно?

— Недавно.

— Пожалуй, больше я сейчас стыжусь, чем даже возмущаюсь, — шептал сосед: — Как и все здесь, конечно и я упорно отрицал, что копил девизы, а в дороге чекист мне сообщил, что задолго до предпринятой облавы, власти собрали спекулянтов и под угрозой прогуляться в места поближе к тому свету, заставили их припомнить и перечислить всех, кому они сбывали когда-либо девизы, сколько и какие. Власти в точности осведомлены. Остается немного постоять здесь, чтобы только „сохранить лицо“. В ногах, известно, правды нету, сколько ни терпи.

Бесцельность противления злу бездействием стала очевидной. Вскоре сосед „припомнил“ где лежат его девизы, а вслед за ним и я.

Я возвращался в сопровождении тех же чекистов, что привезли меня на испытание. Дорогой они развлекались разговорами на темы применительно к моменту.

— Сложнее всего делать обыски у докторов — так спрячут, что сам черт не сыщет. На сей раз, к счастью, незачем искать: все нам заранее известно. Но и тут нас доктор подкузьмил. Сделали бы так иные, провалилась бы вся наша операция. Профессор Федоров втихомолку отнес свои доллары в Госбанк и по субботам, как иностранец, на девизы закупает у Елисеева сигары и вино. Догадались бы вовремя другие, слопали бы жертвователи Елисеева с ананасами и икрой в один день и целиком.

Мы приближались к дому и я слушал лишь в полслуха. Мои мысли вились вокруг задней правой ножки письменного моего стола. В сделанном в ней углублении покоилась с большим трудом добытая тысячедолларовая бумажка, целый капитал. Процедура добровольного жертвоприношения на социалистический алтарь недолго длилась. Мой сейф, видимо, особой оригинальностью не отличался, а содержимое не было исключительно большим. Кажется, французы говорят, что денежные раны не смертельны. Возможно. Свелся бы такой налет лишь к потере капитала и я бы сказал: где наше не пропадало! Но унося мой клад, чекисты осведомились, как бы между прочим, бывал ли я когда-либо на собраниях социалистов-революционеров? Застигнутый врасплох, я неуверенно ответил:

— Вряд ли. Не помню. Я политикой никогда не занимался.

При Керенском вся интеллигенция причисляла себя к социалистам-революционерам, ныне же, я знал, не было страшней вины. Покопавшись в своем прошлом, я припомнил что числился в инициативном комитете бойкота советской власти после „Октября“. Вопрос был задан неспроста: видимо власти что-то раскопали. Безрассудно было пренебречь подобным предостережением. Люди бесследно исчезали что ни день; в учебных заведениях не прекращалась чистка. И я предпочел пострадать, так уж за дело, с риском переходя латвийскую границу, чем без вины очутиться в лапах В.Ч.К.

Каюсь, что неосмотрительно писал вам правду, обернувшуюся так скоро небылицей. Пришла новая и столь же беспросветная страда, какая мучила нас до „передышки“.

— Как видите, — заканчивает поучение любезный „брат“, — указанные мне журналистом в Риме сроки остаются в силе. Как бы не пришлось еще их увеличить на неизвестную толику лет. Мы ли отстали, или они ушли вперед, не знаю, но на родине нам явно места сейчас нет. Крестовые походы, о чем мечтает эмиграция, отжили свой век. И в свое время в них было больше пафоса, чем смысла. Могу вам посоветовать, чем занимаюсь сам: „Wait and see“, по мудрому обычаю англичан. „Жди и гляди в оба“, но только всматривайся в сторону родных осин и не коси за океан. Уж в этом для меня не может быть сомненья.

Все услышанное я крепко намотал себе на ус.

***

Более двух лет в Турции я не выпускал из рук французского самоучителя и с языком в Париже освоился без особых затруднений. Через „братьев“ без проволочек я получил работу помощ-

ником бухгалтера в большом гараже, где русские шоферы, конечно, составляли большинство. По вечерам еще я совершенствовался в искусстве расцвечивания шарфов и платков, монополизированной русскими, прибыльной для скупщиков мануфактуры, успешно конкурировавшей с индустриальным производством. Я был несомненно одним из немногих русских эмигрантов, имевших возможность не под угрозой голода, а рассчетливо, спокойно обеспечить плоти необходимое питание и кров и тем самым содействовать также устойчивости своей души.

Я окунулся сразу с головой в эмигрантскую пучину — в гараже среди многочисленных шоферов-земляков и уж само собой в харчевнях, где политикой приправлялась отечественная кулинария смачнее и значительней даже, чем водкой и вином. Но теперь уж я не чувствовал себя галчонком, с готовностью открывавшим рот на всякое противобольшевистское даяние. Мое горнило объективности находилось в постоянном действии и все услышанное проходило фильтр. Налицо, я видел, значилась пока только „готовность“ к подвигу ,а о самом „подвиге“ никто не знал, как к нему и приступить. Со спокойной совестью я счел разумным отстранить политику до лучших дней и использовать свободные часы для ознакомления с очаровавшим, вернее, околдовавшим меня своим величием и своеобразностью Парижем. Сейчас я бы сказал, что память о протекавшей здесь политической да и культурной истории почти что „человечества“, эту память, какая у французов, считают, коротка, парижские сооружения, площади и улицы увековечили надежно и демонстрируют ее наглядно всем. Мне кажется, что для понимания французской настоящей сути, эти древности более поучительны, чем откровения современных парижан.

О своем посвящении в масоны я никогда не забывал. Ложа оказалась не только моим храмом-убежищем от беспросветной эмигрантской скорби, но и по-настоящему Университетом. Все, услышанное в ложе, расширяло умственный мой горизонт и учило совершенно неведомому мне доселе отношению к идеям, людям и их делам — учило взаимопониманию, критике и особенно терпимости. Какой богатейшей и как часто мрачной и противоречивой иллюстрацией к этим идеальным поучениям в ложе представлялась мне история достопримечательностей, что под покровом совершенства линий, чарующей гармонии и радостной, своеобразной красоты Париж кажет взору вникающего наблюдателя. Сколько преступлений, сколько зла и крови таится под этим покровом совершенства!

По дороге ль эмигранту с „красотой“, если она воплощена, к примеру, в вездесущей в Париже революции? Революция...

Ее именно я и хотел забыть, отправляясь на обозрение Парижа. Повсюду восстаний кровавая печать... Настоящий апофеоз осиротившего нас народного насилия. Трудно было это воспринять исстрадавшемуся сердцу эмигранта.

Фурию на барельефе „Victoire" Carpeau на Триумфальной Арке, ведущую за собой толпу громил, настоящее исчадие ада, я не мог без содрогания видеть. Она преследовала меня во сне... И все же по свободным дням с путеводителем по плану неизменно, покуда несли ноги, как зачарованный, я обходил площади, бродил по улицам Парижа. Бог с ней с историей... Достаточно и важно, что от красочности и силы впечатлений от памятников, строений, перспектив дыхание в зобу подчас спирало. А церкви... Очевидно, было что замаливать безбожникам французам: тут церквей изумительной архитектуры числом, пожалуй, как в былой Москве... Замечательнейшая из них, судя по языческим скульптурам, поминает равно, видимо, дьявола и бога... Французам это бы как раз подстать. Этот мрачный Собор Парижской богоматери находится на том же остовке Cité, где расположена и страшная тюрьма Conciergerie. Там перед казнью томилась королева, ждали своей участи многочисленные жертвы революционного террора, а под конец и сами террористы. Со смертью Ленина не таков ли будет финал и нашей революции?

Париж велик и многолик. Минуя аррондисманы, попадаешь в новый, иной Париж с оригинальными красками и архитектурой, с собственным как будто небом и непохожим населением. Но как бы ни разнились аррондисманы, всех их роднит одинаково кипучая, представляющаяся вместе с тем беспечной, легкой и веселой жизнь людей. И десятилетия не миновало с момента окончания губительнейшей для Франции войны, а население благоденствует, как если бы не существовало испытаний и „мир во человецех" воцарился навсегда.

Нам, незваным, нет места за праздничным столом... Приходится благодарить и за объедки. Я не о себе. Мне грешно о чем-либо подобном заикнуться. А вот полковники и генералы, все отдавшие отечеству, сберегшие для себя из прошлого лишь геморрой, бессменно на облучке с полсуток... И это во имя справедливости! О люди, крапивное семя...

⁂

В работе и блужданиях в одиночестве я скоротал долгую и нудную здешнюю не зиму, а какое-то нелепое подобие зимы. Пришли солнечные дни и особенно мне полюбилась камнем облицованная, в широковетвистых платанах у воды, обычно пустынная набережная Сены, излюбленное место уединения рыбо-

ловов и влюбленных. Неширокая, в это время года полноводная, вспухшая от вешних вод, Сена мерно и мирно плещется у самых ног. Я облюбовал себе местечко на уединенной скамейке у воды и проводил там долгие часы без мыслей, отдаваясь целиком обаянию природы. Неторопливую, кажущуюся неподвижной речную гладь бороздят маленькие пароходики — „мушки“, загруженные пассажирами; тянутся влекомые небольшими тягачами с трубой, низко кланяющейся многочисленным мостам, огромные баржи до самых бортов в воде с песком или кирпичами; как кузнечики, порхают моторные расписные лодки. В поле зрения, как на экране, сменяются видения. Взор прикован к их расплывающимся очертаниям. Мелодичный плеск невидимой волны заполняет слух. Не различая времени, в состоянии полузабытья, вдыхаешь воздух, озонированный солнцем и уснащенный ароматами воды... Прошлое забыто... „С души, как бремя, скатится, сомненье далеко. И так легко, легко...“.

Как-то, в такую именно минуту бережно, без шума уселась на мою скамью, видимо, семья. Неподалеку от меня оказался мужчина средних лет с длинными, черными усами. Я отодвинулся на край скамьи, силясь вернуться к нарушенному благодушию. Не тут-то было!

— Где только не встретишь земляка, — встряхнул меня соседа голос. — Я не ошибся? Вчера я обедал неподалеку от вашего стола и вас запомнил: за время обеда вы не сказали и двух слов. Здесь, я вижу, вам настоящее раздолье. Мы тоже охотно помолчим. Наговорились. Мы вам не мешаем?

Я вскочил, оглядел сидящих и... растерялся...

— Что вы... Я не так давно в Париже. Я очень занят и знакомыми еще не обзавелся. Напротив, я этой встрече очень рад.

— Тем лучше, — невозмутимо заявил сосед, основательный, хоть и не совсем ладно скроенный мужчина, с большим, лоснящимся, как у свежеопаленного кабана, лицом и торчащими в стороны усами. — Будем знакомы. Моя благоверная супруга, Степанида Петровна; дочь наша Валентина — Валюшенька... Были б живы сыновья, было бы и нам чем похвалиться. Обоих унесла проклятая война. Сам я Семен, по батюшке Иваныч, казак с Кубани. Вот и все!

Поздоровавшись с отцом и пожав руку матери, с зардевшимся лицом я держал в своей трепетной руке узкую, изящную, холеную кисть руки дочери в то время, как ее зеленые русалочьи глаза разглядывали меня открыто, с спокойным любопытством.

Возможно, прежние переживания обострили мои чувства, но разительность контраста между родителями и их отпрыском

была и неожиданной и невероятной. Тонкая девушка лет 18-ти о овальным, небольшим лицом цвета розового мрамора, с точеными чертами и лебединой шеей, с волнистой, светлой шевелюрой и руками и ногами — их я не могу назвать иначе, как скульптурными — рядом со слонообразным отцом и матерью очень в телесах, — как тут было не смутиться?!..

С трудом преодолев свою растерянность, я невольно вскрикнул:

— Да, дочь ваша, действительно, красавица!

— Валюшенька у нас, что надо... Да и тут, — сокрушенно заявил отец, — и тут судьба нас обделила...

— Ну вот, Семен... Не находишь ты, что с этим можно б погодить, — прервала жена мужа

— И правда, Степанида, не все же в один час. А о себе вы все молчите...

— Спешу отрекомендоваться. Зовут меня Аким; по батюшке Потапыч. Родился в Карсе. Остался рано сиротой. В Варшаве у дяди воспитался. Мы с вам, Семен Иваныч, земляки, отец мой был казачий офицер.

Первой меня облапила мамаша, прижав к своей выпирающей груди. Семен Иваныч троекратно облобызал меня и с увлажнившимися глазами сказал:

— Разодолжил ты нас, сынок. Спасибо. — И обращаясь к дочери: — Гарный хлопец наш побратим казак. Поцелуй его, Валюша.

Улыбаясь и обнажив сахарные зубы, красавица коснулась губами моей еще пуще загоревшейся щеки.

— Панове, — заявил отец: — не все ж гулять, надо и о еде подумать. Мой драндулет стоит неподалеку. Я ведь частник. Сам себе голова. А что, мать, накормишь нас, не забастуешь?

— Голодными вы не останетесь.

Я было стал отнекиваться, но меня не стали слушать. На соседней скамье довольно далеко, тесно прижавшись, сидела парочка. Со стороны ее можно было принять за близнецов, сросшихся губами. Очевидно разыгравшаяся у нас кадриль — подсели явно незнакомые, поговорили и стали целоваться — потрясла так парочку, что их губы разомкнулись. Русская речь раскатиста, известно. Когда мы проходили, вслед неслось:

— Bon courage, товарищ, карашо. La meilleure stratégie, est toujours l'attaque!

По дороге, в большой машине Renault с явными следами возраста и немалых испытаний, Семен Иваныч досказал мне, о чем раньше вынужден был умолчать. Грозная судьба, лишив семью сыновей, не пощадила также и карьеры дочери. С шестилетнего возраста Валентина имела славу чудо-ребенка по музы-

кальности и по части танцев. Блестящий отзыв Балашевой заставил родителей отдать предпочтение балету. Валентина не обманула ожиданий и в 13 лет была кандидаткой в солистки. Временные труппы для заграничных турне добивались ее участия. В зените ожиданий, в результате недостаточного питания и непосильного труда, обнаружийшийся туберкулез легких, как и почти четырехлетнее пребывание в санаториях, навсегда скомпрометировали карьеру балерины. Сейчас Валентина совершенно здорова и усиленно занимается музыкой, но наверстать упущенное вряд ли представляется возможным.

Должен ли я упоминать особо, что из маленькой квартиры в Булони, куда я так неожиданно попал, я вышел лишь пополуночи, усыновленный, преображенный и... влюбленный — одним словом, сам не свой. Очевидно, воля, при всей субтильности этого понятия, является субстанцией весомой. Иначе трудно было бы объяснить особую легкость поступи после отчуждения ее частицы: вручив ключ лишь от своего сердца Валентине, я не чувствовал вовсе под собой притяжения земли.

Чистенькая, скромная квартирка со стенами в фотографиях балетных див, особенно, кумира Валентины, Анны Павловой, ее собственных в различных позах и ролях, сделалась моим настоящим домом. Исключая служебные и укороченные ныне часы сна, все остальное время дня проходило здесь в чаду моего увлечения и общения с Валентиной. Вечера были заполнены серьезной музыкой, пением — мой богатый репертуар оказался весьма кстати, — как и балетными выступлениями не народившейся звезды. Свободные дни мы проводили в прогулках по Парижу, в томлении на ставшей для нас памятной скамье у Сены и чаще всего в посещениях музеев, непростительно упущенных мною до встречи с Валентиной.

***

Мне хорошо знакомо одиночество. Для людей, склонных к самоуглублению, способных проникать в неисчерпаемые недра человеческого духа, одиночество — мне это понятно — даже в заточении позволяет создать подобие известного, если не bien-être — удовлетворения, то уж во всяком случае сознания raison d'être — смысла жизни. Но для обыкновенных смертных, к каковым я принадлежу, добровольное или вынужденное одиночество это стоячая вода, чувство незаслуженной обиды; это мизантропия; это, как говорят теперь ученые — невроз. Я был несчастен в одиночестве. Тем большим и сколь благодатным потрясением была для меня эта неожиданная встреча: я обрел серьезного, очаровательного друга и нашел трогательно пекущуюся обо мне семью.

Мелькали месяцы, как дни. Семен Иваныч мне как-то намекнул, что Валентина молода и с браком не нужно торопиться. Но счастье было не за горами. Мысли об обеспечении достойного существования жене, семье стали излюбленным предметом моих мечтаний. Прошлое погрузилось в сумерки, если не исчезло просто в мраке. Озирая прошлое, я себе твердил: предопределенные неудачи и прочее, это — неправильные выводы из скороспело сконструированных рассуждений. Разрыв с Мариной... Не знаю, где зафиксировалось ее изображение, но мысль о ней я ощущал, как муку во всем теле. При зрелом размышлении мне представлялось ныне очевидным, что эта, так называемая, неудача избавила меня от неизбежных в будущем и по-существу непоправимых бед.

Итак, прошлое для меня кануло сейчас, куда? Принято упоминать при этом реку Лету. Но эта, не значащаяся на картах речка, возможно, не так уж от человека далека. Все же, я считал, оно обеспечивает мне, по меньшей мере, право на причитающуюся всем людям в мире долю счастья. Иначе не стоило бы жизнью дорожить. Прошлое давало мне еще и как бы отпущение. Оно было Голгофой к очищению от шлаков, к восприятию новой, не эфемерной, а действительной жизненной зари.

Но, друзья, вряд ли я удивлю кого-либо из людей, если повторю вслед за народом: „Судьба играет человеком!“ Послушайте, что со мною разыграла эта коварная и злая невидимка.

Семен Иваныч, серьезный, опытный шофер, был на виду в туристических бюро. Ему предоставлялись дальние путешествия с клиентами на юг, в Швейцарию с исключительной оплатой его труда. После одной, весьма прибыльной такой поездки с американской семьей, он возвратился с твердой мыслью широко отпраздновать приближающееся тридцатилетие их брака, за невозможностью своевременно, как принято, отметить было торжеством двадцать пять лет совместного житья. Не менее важным поводом к этому решению было несомненно желание Семен Иваныча использовать это торжество для объявления собравшимся друзьям о нашем обручении.

Праздновать начали с утра. Соседи, сослуживцы поздравляли, опрокидывали рюмочку, закусывали и уходили. К пяти часам, к чаю с наливками, коньяком и пирогами собрались близкие друзья. К этому моменту был приготовлен для гостей сюрприз. Этот сюрприз уже за неделю до торжеств лишил меня покоя. Бывают же предчувствия... Или опять же все дело в том, что где тонко, там и рвется!..

Среди близких приятелей семьи был весьма молодившийся киевлянин, лет сорока пяти, бывший артист украинского театра оперы и драмы. Он пел в церковном хоре и шоферствовал. Его

репертуар, естественно, был безграничен. Он знал с детства Валентину, говорил ей — ты и запросто с ней обращался. Это обращение мне причиняло боль. Глупо... Как ни старался, я не мог ни побороть, ни скрыть чувства жгучей неприязни к этому субъекту. Он это ощущал и отвечал мне, вероятно, в меньшей степени, но тем же. Валентина в украинском наряде должна была разыграть с этим артистом, явившемся уже в сапогах и подпоясанной шнуром расшитой рубашке, сцену из известной пьесы „Наталка Полтавка“ с неизбежными при этом объятиями и поцелуями. Трудно было придумать более утонченную и действительную пытку для меня. На репетиции я сидел багровый, с видом едва сдерживающегося петуха. А это были еще только цветики...

Представление имело исключительный успех. Не в силах оторваться, я глядел, терпя все муки ада. Душа пылала местью а мозг сверлила неотвязно мысль: что сделать, чтобы решающее слово осталось бы за мной?.. И меня вдруг осенило!..

Не смолкли еще аплодисменты, как я вскочил, не очень любезно отстранил артиста, державшего руку Валентины, кланяясь гостям и, приняв героическую позу, торжественно провозгласил: ария Ивана Карася из оперы „Запорожец за Дунаем“. Валентина бросилась ко мне. Зал восторженно заволновался.

Эту арию я слышал от артиста. Казак возвращается из Турции и привозит, между прочим, феску. После вступительной любовной сцены казак для забавы одевает феску, заверяя, что он за Дунаем отуречился. Жена лишается при этом чувств и оживляют ее поцелуи мужа.

Могло ли существовать что-либо более подходящее для реванша, для самоутверждения?

„Чем бы феску заменить?“ является вдруг мысль.

„В кармане у тебя турецкий паспорт“, шепчет дьявол (Бог далеко, а дьявол всегда с нами). Действительно, за несколько дней до празднества я продолжал в посольстве паспорт и забыл о нем. Я выхватил из кармана паспорт, торчком вдвинул его в свою шевелюру, бросил пиджак в угол и, широко расставив руки, начал отсебятиной:

— Здравствуй, сердце мое; здравствуй, моя краля!

Валентина обняла меня и стала страстно целовать, как никогда раньше. Я торжествовал. Я знал, что молод, красив. Голос у меня хороший. Куда обрюзгшему артисту... И я запел:

Теперь я турок, не казак
Сдается добре одягнувся

И як воно зробилось так,
Що в турка я перевернувся.
Теперь я бильше не Аким
Зробывся я теперь турким.

Валентина без чувств повисает на моих руках и я оживляю ее поцелуями.

Триумф. Зал стоя аплодирует. Степанида Петровна обнимает меня с криком:

— Чарочку нашему сыночку, запорожцу!

Семен Иваныч медленно поднимается со своего места с намерением, конечно, объявить о нашем обручении. Крики — бис, гости требуют повторения. Семен Иваныч садится. Я принимаю позу. Валентина смотрит на меня любовно. В этот момент, как из другого мира, доходит до моих ушей:

— А што это за книжица, хороший человек, у вас на голове?

— Это мой паспорт. Почему он вас интересует?

— Поглядеть бы на секунду, ежели позволите...

На какую-то терцию я почуял неприятность, но не осознал ее и с готовностью, даже с вызовом, протянул артисту паспорт.

— То-то и оно, — с укоризной глядя на Семена Иваныча заявил артист: — Ведомо ли то тебе, казаче, что свою единственную дочь Валюшу ты за турка замуж отдаешь? С таким делом никто тебя здесь поздравлять не станет!..

— Да ты што, ума решился?.. Что ты мелешь?

— Перестаньте паясничать, — сжав кулаки я закричал, чувствуя, как похолодело в сердце. — Здесь вам не подмостки!

— Посудите, люди добрые, — обратился он к гостям: — родился в Карсе, в Турции. Мать — Фатима Оглу, небось не русская? nationalité турецкая и паспорт турецкий. Чем не турок? Не веришь? полюбуйся сам. Грамоте небось учили? — и он передал паспорт Семену Иванычу.

Долго вертел его в руках Семен Иваныч, то бледня, то краснея, и убитым голосом сказал:

— Как же так, Аким Потапыч? Почему вы об этом умолчали?

— Ведь это подлость. Я казак. Мой отец командовал казачьим полком в Карсе, в то время русской крепости. Чтоб выбраться из Турции, куда я попал, уходя от большевиков в 18-м году, я вынужден был взять турецкий паспорт по настоянию полиции.

— Подданство никого не заставляют принимать, — сказал кто-то из гостей.

Степанида Петровна, вытирая слезы, со словами:

— И за что ты нас караешь, Господи, так тяжко? — увела Валюшу.

— Тут пошли дела семейные. Посторонним надо убираться, — стали подниматься гости. — Поздравляем вас душевно с тридцатилетием!

— Вы что это, оскорбить меня хотите? Мы празднуем сегодня тридцатилетие нашей супружеской счастливой жизни и вы мои гости дорогие. А посторонние... те могут убираться.

— Семен Иваныч, побойтесь Бога!..

— Послушайте, Аким Потапыч, мы казаки, у нас что слово, то и дело. Вот Бог, а вот порог!..

Я поднял пиджак с полу; обратившись к иконам, трижды истово перекрестился, чтобы, не ровен час, не быть зачисленным еще в магометане и вышел из квартиры.

*
**

Мои переживания поначалу были переменчивы и о них не стоит особо распространяться. Твердое решение убить артиста сменилось вскоре чувством отвращения к никчемной жизни, к подлым никудышным людям, к бесталанному самому себе и я готов был покончить жизнь самоубийством. После долгих и мучительных борений, во власти душевной пустоты, я склонялся к искушению, не мудрствуя, проклясть все сущее и до бесчувствия упиться.

А ведь однажды я пережил уже такую вивисекцию... Там мне предстояло все же откупиться изменой другу. Здесь же и такого выхода мне не оставила коварная судьба. Невидимый, несуществующий ареопаг устами близких, казалось, столь расположенных ко мне людей, вынес Щемякино суждение. „Суди меня, судья неправедный!..“ Как оправдаться?

В такие минуты нестерпимо оставаться наедине с бессильным возмущением, с сознанием безвинно осужденного. Какой-либо коллектив, друг, случайно приглянувшийся участливый прохожий в состоянии послужить душевным громоотводом и предостеречь от опрометчивых шагов. Моим громоотводом могла быть только ложа. Но я постеснялся поделиться на сей раз с близким мне, всегда любезным братом своей новой бедой.

В благодушной и благолепной атмосфере ложи я все же образумился — притих. Никогда еще принципы и наставления масонов не представлялись мне в таком противоречии с повседневным катехизисом людей. И как жалок и смешон в своем самообольщении мне показался человек!

Жизнь дикарей, известно, омрачена бесчисленным количеством „табу“ — запретов. И мы окутаны, я видел, как болотной

тиной, такими же запретами, предубеждениями, суевериями с этой лишь разницей, что у дикарей эти оковы от невежества и поневоле, а у нас по доброй воле и от великого ума.

Мысль о Валентине, о нашей, так нелепо оборвавшейся, любви, не покидала меня ни на минуту. С упорством и инквизиторской дотошностью я вглядывался в не исчезавшую из моих глаз живую ленту происшествий злокозненного и злополучного такого дня. И все больше негодовал и ужасался... О люди, люди!.. Из напраслины, нелепиц, небылиц вы способны состряпать обвинение и вынести безапелляционный приговор... Но и настоящие судебные решения подлежат ведь пересмотру... И я решил воззвать к благоразумию и справедливости близких мне судей.

В подробном письме к Семен Иванычу я изложил перипетии моих скитаний по России, бегство в Турцию и обстоятельства, вынудившие меня взять турецкий паспорт; заверял свое казачество и умолял не губить нашей любви. Много дней спустя я получил „ответ“ от Валентины.

„Акимушка, моя несчастная первая любовь“, писала Валентина: „Что вы натворили? Так уж на роду, видно, мне написано: как с балетом и музыкой, так с моей любовью. Я вас любила и люблю. Я казачка. Лучше я лягу в гроб, чем огорчу родителей и сделаюсь турчанкой. Наши дороги разошлись. Прощайте, Акимушка, прощайте. Валентина“.

„Любила и люблю“... В этих именно словах вся цель и правда жизни. С таким признанием, трепеща, я рассуждал, борьбы не прекращают. А „натворить“, я, правда, натворил. Пусть формально, лишь устами — не разумом, не духом я все же тяжко согрешил: от родины как бы отрекся. Не напрасно тогда я так страдал и сомневался. Но апостол Петр трижды отрекся от Христа и ему это не засчиталось... Теперь лишь я воочию узрел, как должен был бы отвести, отпарировать злонамеренные утверждения артиста: необходимо было тут же в клочки порвать турецкий паспорт и бросить их в лицо злодея. Я был озадачен облыжным обвинением. Я растерялся. Если я не сделал этого тогда, то должен добиться аннулирования паспорта сегодня. Ведь только в нем, в злосчастном паспорте заключена моя вина. Как я не подумал о таком действии тотчас же? Не медля ни минуты, я предприму нужные шаги. Счастливым будет день, когда, лишенный привилегий, я окажусь sale étranger, как все мои собраться на чужбине.

***

Уверенный в непогрешимости своего решения, с чувством, близким к эйфории, я предстал перед внушавшим трепет эмигрантам, всегда с бумагами в ответе, подлежащим полицейским чином.

Разыгравшаяся в дальнейшем своеобразная трагикомическая пантомима была в трех актах с эпилогом и тянулась больше года. В первом акте со многими явлениями действующие лица были по существу одни и те же: полицейские чины, подчас лишь разного обличья и я. Наш диалог в точности походил на разговор глухих.

Я показывал свой турецкий паспорт и пространно объяснял, что, оказавшись поневоле и по недоразумению турком, я желаю восстановить свою истинную национальность и стать русским эмигрантом, — réfugié russe. Чин, очевидно, меня не слушая, внимательно рассматривал тем временем мой паспорт и, бегло оглядев меня, неизменно возвращал его с улыбкой, заверяя, что паспорт в порядке и для беспокойства никаких нет оснований. Затем он бесповоротно переходил к стоявшему за мной клиенту. Эти интермедии отняли недели, столь жизненные для меня недели.

Во втором акте, чин, повторно изучавший, видно, паспорт и вслушивавшийся на сей раз в мои слова, поднял глаза, осмотрел меня внимательно и переспросил в упор, как если б никогда не слышал, о чем я хлопочу. Уразумев, чего я добиваюсь, он долго сверял с фотографией мое лицо и задержал мой паспорт. Теперь дело двинулось в ускоренном порядке, но не в подходящем направлении. Мое стремление избавиться от паспорта „без достаточного основания“ показалось подозрительным, и я был причислен, очевидно, к опасным иностранцам и обо мне началась особая анкета с опросом на службе, в отеле, с обыском и прочее. Добрых семь месяцев, бесценных месяцев длился этот акт. Мне грозила высылка по месту жительства, что означает — в Турцию. В физике это называется обратным действием. Представляете ужас подобной перспективы? Комментарии, как говорят, излишни. И здесь ложа протянула мне свою пекущуюся, могущественную руку и отвела грозившую беду. Семь месяцев тянулась эта процедура. В третьем и последнем действии главным оперирующим лицом был не я, а рекомендованная мне ложей личность, владевшая ключем к полицейским любым дверям и объяснявшаяся запросто с властями. Действие происходило в кабинете высокой полицейской шишки.

Мне было рекомендовано броско очертить мое curriculum vitae от рождения, мимоходом коснуться печального опыта с Мариной и драматически обрисовать трагические подробности разрыва с Валентиной. В этот момент для усугубления впечатле-

ния и в качестве вещественных доказательств я должен был нервно перебирать в руках их фотографии.

Эти фотографии несомненно смягчили директорское сердце: он долго разглядывал их, не отрываясь. Я опасался, что он включит их в мое досье. Оказалось этот директор префектуры не чужд был еще и литературы. Моя исповедь могла оказаться для него полезным документом для будущих творений. Во Франции такие совмещения широко известны. Достаточно вспомнить о в прошлом скромном чиновнике префектуры, ныне в числе „бессмертных“ именно по литературе. Лицо директора выражало полное сочувствие, и, непонятное для непосвященных мое стремление „опроститься“, получило как бы одобрение.

Понять, не значит ли простить? Там, где в основании необычных, даже преступных действий, оказывается ж е н щ и н а, такое действие приобретает во Франции свое законное место среди невольных человеческих рефлексов. Из префектуры я вышел с новой Carte d'identité. По дороге я многократно открывал ее и молитвенно шептал, читая: „réfugié russe“.

Свершилось. Правда торжествует. Теперь оставалось лишь оповестить друзей о своей победе и пожать кровно заслуженные мной плоды. В тот же день я довел до сведения Семен Иваныча эту радостную весть. Ответ я получил с обратной почтой.

„Уважаемый Аким Потапыч, хорошо сделали, что ушли от турок. Вообче же вам известна русская пословица: что с возу упало, то пропало. Оставайтесь благополучны и просим вас больше нас не беспокоить“.

Таков был эпилог моего поединка с первородным и неискоренимым звероподобием людей.

***

Вы помните, друзья, балагура деда, рассказывавшего внукам о своей встрече с волчьей стаей и оставившего в неведении взволнованных детей, спасся ли он или его сожрали волки. Поведай вам кто-либо о приключившемся со мной, с таким же основанием вы встревожились бы о моей судьбе. Выжил ли я после подобной встряски или отправился в обитель, где несть ни печали ни воздыханий? Подлинно, человек человеку волк.

Я не раз уже упоминал, что будучи скромным обывателем, я никак не претендую на амплуа героя. А судьба, как бы потехи ради, ставит меня то и дело в положения то ли Александра Македонского, то ли библейского Иова. Правда, не с Иова начинается мартиролог „многострадальных“ и не на нем кончается. Похоже, что в этом конвейере не последнее место мне было

уготовано. Не подобна ли наша жизнь детской игре в прятки? „Ищите". Мы и ищем... А обрящем ли, никому не ведомо.

Бесчеловечное письмо Семен Иваныча меня, как молния, сразило. Страдал я страшно, но не долго — не полностью три дня. Этот срок мне определила хозяйка гостиницы, грозившая вызвать полицию, если я тотчас же не открою дверь. Остальную часть дня я провел, рыдая на груди этой симпатичной дамы, утешавшей меня по-матерински и учившей уму-разуму на парижский образец. Хозяйка была осведомлена о моем предстоящем жениховстве и для женского соображения мое состояние не нуждалось в пояснениях. Из ее рассуждений и уговоров следовало, что присущие мне качества подлинного джентльмена обеспечивают мне данные не только для реванша, но и для будущих несметных благ. Дело только за малым капиталом для соответствующего обрамления моей персоны: главным образом, на предмет задатка портному за костюм модного покроя. Брат хозяйки, управляющий первоклассного отеля, представит мне самых лакомых, одиноких американок или англичанок, тоскующих по интересном чичероне сопровождать их на балы, в театры и особенно в ночные кабаки. И кто может предугадать исход подобных, всегда интимных времяпрепровождений? Оказывается, молодые люди из лучших семей со светским лоском и талантами, охотники до хорошей жизни и интересных приключений, добиваются по словам хозяйки занятия спутников одиноких дам. При каждом большом отеле с иностранной клиентурой имеется такой экип. Оплата их труда высокая и она взимается отелем с вычетом в свою пользу известной доли. Главный доход этих особых гидов представляют все же чаевые: их размер зависит от уменья расположить к себе клиентку и от обаяния кавалера. Мой дебют начнется с момента завершения экипировки. В случае материальных затруднений мне обеспечен у хозяйки неограниченный кредит. „Bon courage" твердила утешительница на прощанье, когда я, выплакав скорее слезы, чем свою печаль, опустошенный и обескураженный, предоставлен был снова самому себе.

„Пустой и глупой шуткой" представлялась гению Лермонтова жизнь. Мы осведомлены теперь, что таила в себе последняя из относившихся к нему ее коварных „шуток". Тут не до смеха... И горьким смехом я не мог бы посмеяться над тем, как потешилась надо мною жизнь. Я был ограблен, унижен, уничтожен. Теплое участие, материнская ласка хозяйки гостиницы на миг перенесла меня к счастливым годам детства и позволила выплакать хотя бы некоторую остроту моей обиды. Но какая-то струна во мне порвалась: к привычному прошлому, я чувствовал, не было более возврата. Моя работа, окружение, стали казаться мне враждебным и нестерпимо чуждым элементом. Последовав-

шее вскоре увольнение из гаража за пропуски и нерадение по службе, облегчило напрашивавшееся уже само собой мое решение избавиться от старых пут и начать новую, еще неизведанную жизнь. Но не к увещаниям хозяйки были прикованы обуревавшие мой мозг проекты, мысли. Во сне и наяву я видел Валентиной начертанные строки, я слышал печальные ее слова: „Я вас любила и люблю“. Я продолжал воспринимать это признание Валентины, как напоминание, как призыв к борьбе. Но для осуществления новых действий необходимы были особые, исключительные условия и средства. С какой бы стороны я ни подходил к терзавшему меня вопросу, что предпринять, с чего начать, я неизбежно наталкивался на предложение хозяйки. Это, казавшееся мне не весьма почтенным, вечернее, так сказать, „занятие“, обеспечивало прежде всего нужные свободные часы, да и средства для всевозможных, могущих понадобиться мероприятий. Но к этому решению меня еще влекло и смутно запомнившееся внушение хозяйки о реванше. Реванш мне чудился не в смысле мести. Семью Валентины я почитал родной и о вражде к ней не могло быть речи.

Значительным и новым я должен был предстать перед семьей; я должен был им импонировать; помочь им оценить мою непонятую ими личность и тем самым вынудить искать сближения со мной. Наконец, знакомства в такой среде, среди имущих и сильных мира, не могли, на мой взгляд, не свидетельствовать о том, что я мог бы быть полезным Валентине в ее карьере. Эти аргументы я без устали перебирал в уме.

Попытка не пытка, спрос не беда: я решил поначалу справиться о своих обязанностях у директора отеля. Высокий, изысканно одетый, с осанкой генерала и выражением не то снисходительного, не то услужливого величия на лице, директор внимательно оглядел меня и покровительственно изрек:

— О, кау, у моей сестры хороший вкус! Вы не говорите по-английски. Вот вам книжечка: выучите имеющиеся там разговоры. Клиентки исправят ваш акцент и пополнят знания. Танцевать вы, конечно, мастер?

— В Варшаве в свое время я был дирижером на балах.

— Тем лучше. Заметьте адрес нашего портного и парикмахера. Они знают свое дело и вас не оберут. Через шесть недель, к началу сезона вы должны быть надлежаще экипированным на своем посту. Bon courage! В успехе я не сомневаюсь.

Процедура зачисления меня в „гиды“ заняла всего несколько минут, но каких содержательных и „стоящих“ минут!.. О них, медленно шагая, я и стал беспокойно размышлять. Уже только визит к портному, не говоря уже обо всем прочем, грозил мне долговой тюрьмой, а шестинедельное ожидание будущих дохо-

дов в сухомятку сводило самое мое существование на нет. Прибежищем оставалась казна хозяйки, категорически уверовавшей в мою звезду. А если эта звезда окажется родней звезде, не в обиду, а лишь по старой памяти будь им сказано, звезде Павла Ивановича Чичикова, а то и Вани Хлестакова?.. Ведь по расчетам самым скромным мне нужен целый капитал. А как я возмещу его? Удирать или уезжать по их примеру мне некуда, да я и не собираюсь. И я обмяк в буквальном смысле слова: покрылся холодным потом с головы до ног. Мне стало не по себе и я вынужден был зайти в ближайшее бистро. Сквозь зубы, не спеша, я процедил два больших фиала и предстоящая альтернатива показалась вдруг до ужаса простой: с одной стороны — такси или место у осточертевшего мне пульта и прощай навеки Валентина; с другой — на время дамский гид с перспективой отвоевать Валюшу, но с риском затянуть на своей шее надежную петлю. И неожиданно, от логики ли или это было действие вина, во мне взыграло ретивое: риск мне показался неизбежной предпосылкой всякого большого дела, да еще в значительной степени и изюминкой его. Из бистро я вышел в перегретом состоянии, присущем новобранцу, у которого, как у нас это полагалось, много дней гульбы и пьянства впереди. А дальше поживем, увидим...

Была бы у меня в руках гармошка, я бы во весь голос тут же затянул:

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья
А завтра, завтра чуть светочек
Заплачет вся моя семья.
Заплачут братья мои, сестры
Заплачет мать и мой отец.
Еще заплачет дорогая,
С которой шел я под венец.

А по мне и плакать некому. Разве заревет хозяйка... да и та только по потерянным деньгам.

To be or not to be — единственные известные мне английские слова, ими я начинаю свой служебный лексикон. В вольном переводе они означают: иду на авантюру с сознательной и твердой перспективой — успех или петля!..

— Madame Françoise, едва переступив порог отеля, я начал было приготовленную по дороге речь.

— Знаю, знаю, — не дала мне продолжать хозяйка. — Вы — несостоятельный должник. В случае провала я вынуждена буду вас на свой счет еще и хоронить. Согласна.

Я говорила с братом. Все в порядке. Ваш шикарный гарде-

роб будет готов к сроку и он нас не разорит. Костюм закажем у портного. Смокинг купим на Marché aux puces. Наши саврасы в денежной нужде продают вещи от лучшего портного, почти что не носив. Все прочее необходимое купим в лучшем магазине. А вот и вовсе неожиданная весть: соседка охотно согласилась помочь вам одолеть нужный „кусочек“ языка. Наконец, вы же счетовод. Моя отчетность в преступном беспорядке. Навеки вы меня обяжете, если приведете ее в христианский вид. Но вы наперед, кажется, лишнее хлебнули. Ну, один раз не в счет...

Нетвердым голосом я мог только прошептать:

— Merci, maman. — И мы оба прослезились.

***

Задолго до открытия сезона я часто посещал отель. Для производства в „гиды“, — кроме гардероба, нужна еще наличность кой-каких сведений о достопримечательностях Парижа и особенно знание, тут уж доскональное, открытых и тайных столичных злачных мест. В менторы по этой последней дисциплине директором мне был рекомендован наш полиглот швейцар.

Швейцары больших отелей принадлежат к особой категории людей. Без званий и дипломов они все знают; как о шести чувствах, они не глядя, видят и чутьем определяют ранг клиента; о многих языках они, как совы, загадочны и так же молчаливы. Лишь я заговорил с нашим полиглотом, он пробуравил меня взглядом и по-польски выразил свое согласие мне помочь. И тут можно сказать: попал пальцем не в небо, а в самое мое нутро.

Польский язык, хоть не родной, но это язык моих соучеников, друзей детства; язык моей Марины. Прошлое, особенно больное, как жало скрытое змеи, всегда настороже и ищет лишь момента, чтобы напомнить о себе. „О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной“, сказал когда-то Батюшков.

В день моего дебюта я вышел из отеля, как Афина Паллада из головы Юпитера, во всеоружии всех моих природных качеств, как и в кредит добытых атрибутов. Даже директор, оглядев меня, причмокнул одобрительно:

— Если моя сестра за что возьмется... Теперь к делу. Сейчас я вас представлю весьма почтенной и не очень пожилой американке. Она младшая из трех сестер — старшей за восемьдесят — с капиталом в сотни миллионов. Она так же богата, как капризна и умна. Постарайтесь ей понравиться. Заметьте, что наиболее подходящие для вас клиентки — это обладательницы капиталов с меньшим количеством нулей. Миллионерши-американки более претенциозны, чем наши аристократки и скупы,

как наши мужики. Я видел леди Астор, копавшуюся долго в сумке, чтобы дать груму, доставившему ей шляпу, несколько сантимов.

В кресле сидела пухлая, пожилая дама в позе Екатерины с лорнетом вместо скипетра в костлявой маленькой руке. Блеклое ее лицо с высоко взбитыми, ненормального цвета волосами, густой штукатуркой на щеках, оживляли проницательные серые глаза, разглядывавшие меня бесцеремонно. Она не протянула мне руки и я ограничился легким поклоном.

— Do you speak English?

Я подготовил заранее ответ:

— Less than a little, Madame (меньше малого).

— Она улыбнулась:

— Вы скромны, — и продолжала по-французски. — Я видела уже кавалеров многих наций, но не имела еще дела с турком.

— Я не турок. Я русский.

Она вопросительно воззрилась на удивившегося в свою очередь директора. Я пояснил, что случайно оказался турком.

— Русский, большевик... это опасно. Я беспокоюсь за свои бриллианты.

— А разве вы на сей раз, против обыкновения, привезли настоящие? — спросил директор.

— Все, что на мне всегда, это настоящее.

— Конечно, — поспешил директор согласиться.

— Я казак, а среди казаков нет большевиков, — заявил я убежденно.

— Казак, но это ужас! Он еще изнасилует меня.

— Я не знаю, как в Америке, но во Франции, насколько мне известно, насилуют обычно с обоюдного согласия.

— Это утешительно.

У ног американки лежал черный, как уголь, маленький каниш с глазами профессионального убийцы. Он, глядя на меня, ворчал и то и дело заливался лаем.

— Вы любите собак?

„Это, очевидно, входит в обязанности гида“, подумал я и ответил загодя:

— Я очень люблю собак, но только собственных.

— Bon, — оборвала она резко разговор. — Merci, — и протянула мне величественно руку.

Я вышел с мыслью: „плачут денежки моей хозяйки. Дело это, видно, не по мне. Сейчас меня отправят à mes moutons на четырех колесах“. Замешкавшийся директор, видя мою растерянность, загадочно смеялся.

— Вы, видите ли, опасный соблазнитель, а она, по ее словам, сентиментальна и боится за себя. Не убивайтесь, и эта не первой свежести гусятина не уйдет от вас.

Друзья, можно ли этому сейчас поверить? А ведь я не лгу...

— Этот вечер, — продолжал директор, — вы проведете с не столь богатой, но действительно очаровательной дамой. Не торопитесь только терять голову, влюбляться. Не забывайте, прекрасных женщин много, а голова у вас одна.

***

В салон в сопровождении директора вошла молодая, лет 35-ти американка, миниатюрная, с кукольным лицом. Увидя меня, она приоткрыла свой коралловый ротик и издала звук, которым часто американки начинают свою речь. Он похож на кудахтанье курицы, снесшей только что яйцо.

— Oh; he is charming. Скажите ему, что у меня очень ревнивый муж и трое, пусть даже четверо детей. Единственно, что разрешается, это легкий флирт.

О таком предупреждении я узнал, конечно, от директора. Китайским мне показался ее язык, что меня очень огорчило.

— Куда желала бы отправиться Madame? — спасая свое „лицо“ я вспомнил с трудом заученную фразу.

— Где много танцуют и смеются, — перевел мне директор.

В такси моя подопечная окатила меня с места нескончаемым потоком звуков: как если бы большая птичья стая заголосила бы у моих ушей. Слов я не различал. Выручил меня шофер такси. Конечной, русский. Всю дорогу он беседовал с моей американкой и мне кое-что подчас переводил. Чтобы окончательно не осрамиться, после реплики шофера я произносил не совсем уверенно:

— Ah, yes.

Бывают положения...

Первый бокал шампанского вернул мне мое настоящее „лицо“. Истинно, в вине есть, как утверждают, правда... Если мой язык постыдно оплошал, то ноги знали свое дело. После нескольких турне, американка, как завороженная, признательно глядела мне в глаза. Шампанское ускорило наше сближение, и вскоре мы стали прекрасно понимать друг друга, хотя говорили на разных языках: она на своем, а я тоже на своем, то на русском, то на французском.

Вспоминая прошлое, мне кажется, не смейтесь, что отчуждение между людьми, следствие звериной их природы, возможно бы, пожалуй, устранить, действуя на мозговые центры подоб-

ным снадобьем, но лишенным побочных действий алкоголя. Но это задача уж врачей.

В отель мы возвращались, как давние друзья. Головка моей подопечной доверчиво покоилась на моем плече. Моментами она самозабвенно впивалась в мои губы, как вампир и называла меня „darling“. Я обращался к ней, „My dear Жаклин“.

Вы видите, в английском языке я все же разбирался.

По неосведомленности я полагал, что с возвращением в отель у лифта обязанности гида приходят, естественно, к концу. Но Жаклин в поступи была не совсем тверда и, поддерживая ее, я очутился в лифте. Пришлось уж проводить ее к себе и помочь ей разобраться в действиях и чувствах. Не скажу, чтобы эта сверхурочная нагрузка представлялась действительно эксплуатацией труда. Лишь под утро я мог располагать своей особой, да и то с условием в урочный час снова быть к ее услугам на посту. Так прошел и кончился день первый моей недолгой авантюры в роли гида.

Мои танцевальные таланты, коим доселе я не придавал значения, привлекли ко мне внимание почитательниц этого искусства, а имя им весь женский пол. Танец ведь это мистерия, где женщина играет роль добровольной, готовой на заклание жертвы. Послушность женщины уверенной руке умеющего вести ее мужчины, граничит с самозабвением, с полным подчинением его воле. Игра эта не столь невинна и подчас походит действительно на игру с огнем. По натуре женщины привязчивы и тогда... поминай Царя Давида и всю его кротость: из овечек они превращаются в тигриц. Между прочим, нынешние танцы, нужно думать, представляют возвращение к древней, давно уж изжитой, а сейчас снова практикуемой открыто, вакханалии, дебоша или обезьянства.

Мой успех превысил ожидания благодетельницы моей, хозяйки. Будь в неделе более семи вечеров и на лишние нашлись бы кандидатки. Даже американка, мой первый неудачный блин, вознамерилась испытать свою сентиментальность и выразила желание потанцевать со мной. Смеясь, директор сообщил ей, что нынешняя моя клиентка грозит покончить самоубийством, если меня отнимут у нее. Американка охотно согласилась подождать, пока это случится.

Моя казна множилась и пухла, что ни день. Отель повысил плату за мои услуги гида, а на чаевые клиентки были до крайности щедры. Долги до копеечки были давно покрыты и близился момент начать кампанию для завоевания Валентины. Прежде всего, необходимо было разведать атмосферу в доме и установить с Валюшей связь. Недели я бился, пока нашел

благожелательного ко мне шофера, приятеля Семен Иваныча, согласившегося передать Валентине мое письмо. В письме я клялся, что мои мысли и чувства, как и прежде, только с ней; что все мои действия имеют целью образумить Семен Иваныча и облегчить с ним примирение. Молил сообщить о своем здоровье и о любви ко мне.

В незавидном состоянии письмо попало в руки адресата: долго хранил письмо в кармане мой шофер, пока удалось вручить его Валентине. Погодя еще, последовал ответ. Я извелся в ожидании. Ответ гласил: „Как вы решились мне писать? Повидимому, вам одному неведомо, что вы стали посмешищем всей эмиграции в Париже. Опустись вы до клошара неизменно — нет, еще сильнее — была бы с вами моя любовь. Но вы пьянствуете с американками за плату. Поете песни, какие пели мне и воображаете себя страдальцем. Отец был прав. Вы лицемер. Прощайте и запомните: теперь уж навсегда! Обманутая и несчастная, когда-то ваша, Валентина“.

Пел... Действительно я пел, однажды... Нет, дважды. И это не укрылось от людей...

В один из приездов миллионерши американки, в ресторане с русским хором после соответствующей нагрузки мы разговорились по-душам. Оказалось, и ей нужда была знакома. Моя американка появилась на свет в бедной, большой семье рабочего шведа-эмигранта. Муж, миллионер, неизлечимый алкоголик, умер в доме умалишенных. Единственный сын пошел по стопам отца. Она имеет миллионы, но не знала счастья никогда. Признание американки растрогало меня до слез и в свою очередь я доверил ей мою драму с Валентиной и пояснил, почему я вынужден был заняться малопочтенным делом „ухажера“. Разговор так взволновал меня, что я перестал владеть собой. Мы сидели у оркестра. Я отобрал инструмент у гитариста и запел... Пел до утра... Растроганная и восхищенная американка устроила в своих апартаментах прием специально для моего дебюта. За выступление, кроме денег, я получил золотой порсигар с надписью „au rossignol russe“ и булавку с жемчугом для галстука. Как видите, булавку, не глядя на нужду и испытания, я и по сей час сохранил. Она символизирует для меня серебреники, полученные мною за столь легкомысленно пропитую и пропетую мною мученицу Валентину.

***

С этого момента я хорошо запомнил, что жизненные проблемы не укладываются в альтернативы: успех или петля... С этим девизом я начал танцевальный свой искус. Оказалось, как далек я был от того, чтобы подобное предвидеть: успех как

раз и был синонимом петли. Выходит, по уговору же с самим собой, мне причиталась теперь петля в квадрате. Не затешись в мои альтернативы, повинная лишь своей материнской добротой, Madame Françoise, не уверен, как сложились бы обстоятельства в дальнейшем. Но огорчить друга, с наилучшими намерениями направившего меня на оказавшийся нежданно скользким путь и так гордившейся моим успехом, было бы бесчестно.

Я принял этот удар, как человек, внезапно потерявший все, чем дорожил, что составляло смысл жизни, но за которым еще числятся большие обязательства. Верность этим обязательствам заставляла меня оставаться на своем посту. Подобно комедианту, по обычному развлекающему зал, когда на сердце кипят слезы, и я, не в силах думать, не в состоянии что-либо предпринять, долго еще продолжал обхаживать своих клиенток. Не увлекали меня больше танцы, шампанское не веселило. Все более и более нестерпимой мне становилась моя роль.

Мы в жизни, как поглядишь, кто с успехом и самообольщением, кто неудачно, все играем выпадающую каждому, как по лотерее, роль. Больше всего мне подходила, по-видимому, роль Иова: я многократно в ней преуспевал. В роли Дон-Жуана я оказался, очевидно, по недоразумению, хотя в прошлом и проявлял кой-какие задатки в этом направлении. На моей маске — все мы носим маску, подходящую к своей роли при общении с людьми и обретаем настоящую свою личину, лишь оставаясь наедине с собою или, может быть, во сне — на моей маске стали заметны тени и скорбные морщины. К моей роли такая маска никак не подходила, не гармонировала с атмосферой кабака. Со дня на день я откладывал напрашивавшееся само собой решение. Мои горизонты не отличались, правда, широтой. С тревогой, но без печали я оставил приевшуюся мне работу в гараже. Теперь попытка снова связаться с покинутым и в прошлом остававшимся мне чуждым миром, не встретила сочувствия коллег: отношение ко мне было повсюду неприязненным, а подчас враждебным. Но в жизни, правильно нас заверял Алексей Кириллыч, все движется, встречается, отталкивается и переплетается...

Неожиданно новое происшествие позволило мне, не огорчая Мадам Франсуаз, поначалу безболезненно покинуть свое занятие и по-добру убраться из отеля. Я получил брачное предложение от молодой, симпатичной и богатой англичанки. Мадам Франсуаз, естественно, была в восторге и даже директор, учитывая, возможно, будущие перспективы, великодушно освободил меня от обязательств.

***

Уже около года с перерывами мне многократно приходилось опекать англичанку, культурную и спортивную девушку лет двадцати пяти, интересовавшуюся музыкой, искусством и меньше всего Paris by night.

Кстати... Я обещал нашим дамам поделиться своими наблюдениями, касающимися англичанок. Буду краток.

Судить о женщинах, известно, начинают с внешности, причем, в противоположность суждению о мужчинах, без всякого отношения этих внешних качеств к внутреннему содержанию субъекта. Линии и формы женского тела сами по себе врозь и вкупе — самое совершенное, а в целом и гармоничное творение природы, оправдывает такой подход. Сокровища Лувра иллюстрируют наглядно это утверждение. Но при массовом деторождении, а женщин рождается даже больше, чем мужчин, неизбежны уклонения от модели совершенства, неизбежен даже „брак“ всех степеней.

Могу вас заверить, что за время моего пребывания в роли дамского опекуна, я видел много „совершенных“ англичанок. Их лица не будят представления о фарфоре, ни о море и ни о небесах, чем восхищают польки. Скорее это миниатюрные мраморные маски, со вздернутым носиком, тонкими губами и светлыми холодными глазами. Высокие, стройные, они сродни изображениям богинь. Уклонения от этой модели совершенства, в среднем сводятся к худощавой, плоскогрудой девушке с большим, слегка веснушчатым лицом, редкими желтоватого цвета, волосами, с привлекательной улыбкой большого рта с крупными зубами и рассеянным взглядом рыжеватых глаз. Таков был портрет Miss Беатрисы, вызывавшей меня, как поступают в своей специальности спортсмены, на брак.

О могущественности в природе женского начала свидетельствует факт, что и „бракованные“ находят свое и даже привилегированное в жизни место и одобрение знатоков — в полотнах сюрреалистов, Шагала и даже Пикассо. Это между прочим.

О женщинах, конечно, можно абстрактно рассуждать, используя и материал музеев, но когда речь идет о браке, без кавычек, вы согласитесь, что тут музеи не при чем.

После нескольких танцевальных вечеров под моей опекой, Беатриса заявила, что она не приехала в Париж для развлечений и просила сопровождать ее на выставки картин, в музеи и концерты. Вслед за месячной интересной и поучительнейшей гонкой по дворцам искусств, я как-то задал сам себе вопрос: я ли Беатрису опекаю или она меня?

Посудите сами: говорить мне разрешалось только по-английски и с ангельским терпением Беатриса пополняла и поправляла мою речь; живопись она мне подробно объясняла; по музыке

настоящие лекции читала и переспрашивала, усвоил ли я правильно урок; галстуками она меня снабжала и только эти я должен был носить. Не достаточно ли убедительны эти факты, чтобы заключить, что характер у англичанок не из податливых и мягких?..

Как-то в один из ее приездов мы сидели после концерта в ресторане и я, хлебнув больше, чем следует, подбирая полегче фразы, спросил, в погоне за искусством не забыла ли она о любви, о браке?

— Это очень мило, — заулыбалась Беатриса. — Вы повторяете моей матери слова. Ими она мне уши прожужжала. С некоторых пор не только думаю об этом, но, представьте, уже решила, каков будет мой супруг.

— Конечно, — заметил я рассеянно, думая о кровном, о своем: — Искусство это большое дело. Но, как сказал поэт: „я хочу живую“ ... — тут я замешкался, не находя соответствующего слова и продолжал: — а не у мраморных Венер...

Беатриса хохотала, а я не знал, куда девать свои глаза.

— Почему же вы меня не спрашиваете, каков мой идеал?

— Простите, от Бургундского меня малость развезло. Вы интеллигентны и конечно, очень требовательны. Воображаю...

— Вообразить не трудно: это вы.

— У англичан юмор в обиходе, а англичанки славятся своей экстравагантностью, — сказал я, сразу протрезвев. — Вы конечно, шутите?

— Нет, не шучу.

— Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что я — ваш идеал — бесправный эмигрант, без профессии, едва себя способный прокормить, а тут...

— Предоставьте эти мелочи моему отцу. Они не составят для него задачи.

Обратный путь мы проделали в отличном настроении. Молча, прижимаясь ко мне в такси, Беатриса загадочно смеялась. У дверей отеля я прочувственно сказал:

— Вы — прелестнейшая девушка. Представим себе и запомним этот приятный вечер, как „сон в летнюю ночь...“.

— Из тех снов, что сбываются на деле, — шепнула Беатриса, удаляясь.

Несколько дней спустя я получил горячее признание в любви от Беатрисы и одновременно особое приглашение ее отца приехать познакомиться.

⁂

Не мало было моментов в моей жизни, когда тропы-дороги расходились и требовалось понатужиться, чтобы знать, какой

идти. И сейчас я был на перепутье, но на самом, по существу, ответственном из тех, что выпадают в жизни человеку.

Обидно было за Беатрису, что дорога к ней не вызывала во мне ни радостных волнений, ни мучительных сомнений. Попадись мне Беатриса на пути, когда я в одиночестве слонялся по Парижу или мечтал на скемейке у реки до встречи с Валентиной, возможно, я задержал бы в своей так великодушно протянутую мне ею руку, тем более, что в Англии действительно „не национализируют силком". Но это — если бы да кабы... Сейчас предложение Беатрисы уж очень смахивало на орешки, доставшиеся состарившейся, апатичной белке, когда у нее нет уже ни аппетита, ни зубов. Мое сердце до мельчайших уголков заполнено было жгучей жалостью к „обманутой и несчастной" Валентине и к самому себе, невольному виновнику ее страданий. Не было там места и для луча иной привязанности, еще менее любви. Очень больно было думать о доверчиво раскрывшей мне свои объятия Беатрисе. Как объяснить ей, что я не волен в своих действиях, что лучшие мои намерения, как под проклятием, неизменно обречены на неудачу?..

***

Без обязательств, без работы, вольный эмигрант, я подолгу засиживался в кафе и ресторанах, прислушивался к разговорам, сам опрашивал людей. Нужно было пристроиться к какому-либо делу; приходилось по-новому строить свою жизнь. По-видимому не я один искал в кафе свою фортуну. Однажды сосед по столику заговорил со вздохом:

— Жизнь и для французов становится все тяжелее, а уж для русских... Все меньше наклевывается хороших дел. С делами бы еще и кое-как, хуже, что нужных людей нету. Диоген днем с фонарем искал без толку „человека". В Париже среди русских „человеков" хоть пруд пруди, да они без денег. Выходит, эмбрионы, а не люди... Конечно, счастливые годы позади, когда эмигранты могли продать до чего уж дошлым янки мост в Стамбуле... На мякине теперь и дураков не проведешь, все поумнели... И все же Бог не без милости к эмигрантам и сейчас. У меня, вот, в виду дело. По чистой совести могу сказать: не в убыток самому себе и другим на пользу.

— Какое же это дело? Надеюсь, не секрет.

— Интересуетесь?

— Интересуюсь.

— Всерьез?

— Смею вас заверить.

— И на том спасибо. Послушайте. Два слова о себе. Я бывший преподаватель истории и географии в гимназии в Полтаве. Ландшафты оцениваю prima vistu, как выражаются итальянцы; по-русски — налету. Францию исколесил вдоль и поперек и набрел на дело.

Близ Канн, на „Лазурном берегу“ расположен живописный уголок с красными скалами, под названием Saint-Raphaël. Вблизи этого уголка имеется рыбачий поселок, куда цивилизация еще не добралась, а доберется, так нам в этот рай не будет ходу. Я присмотрел там участок недалеко от пляжа протяженностью в две тысячи квадратных метров. Имеется сторожка, куда проведены электричество и вода; все прочее в полном запустении. Землю можно арендовать. Контракт на девять лет; аренда 500 франков в год. Оглядел я участок досконально, долго думал и решил: здесь будет лагерь заложен для нуждающихся в отдыхе русских эмигрантов.

— Доброе дело, n'est-ce pas? а насчет рентабельности не может быть и спору. Как видите, идей у меня хоть отбавляй, а вот денег нету... Вникайте: приведение участка в надлежащий вид; барак для кухни, для столовой, клуба; несколько бараков для семейных; для холостых палатки — пятнадцать-двадцать тысяч франков и „Русский Лагерь“ восстанет из небытия, как птица Феникс из собственного пепла. Лиха беда начало. Наберете две-три тысячи для начала и вы мой компаньон на равных паях. Для прочей суммы нужно нам найти капиталиста, который соблазнится хорошим доходом, да еще и на богоугодном деле. В два-три года он полностью вернет свой капитал.

— Ваша идея мне представляется вполне практичной и, конечно, делом не только добрым, но и очень нужным для нашей эмиграции. Соблаговолите дать мне четыре-пять дней для размышления и я уверен, что мы осуществим этот достойный всяческого поощрения проект.

— С нетерпением буду ждать свидания через пять дней здесь же в этот час.

Не углубляясь в детали, мысленно я тут же решил разделить с историком все трудности и протори по осуществлению его идеи уже потому, что это предложение уводило меня от опостылевшего мне Парижа, от мучительных воспоминаний и погружало целиком в работу. Несколько дней размышлений до решительного шага понадобились мне не в виду наличия каких-либо сомнений, а для новых усилий связаться с Валентиной, для последней, отчаянной попытки спасти нашу любовь. Шофер, мой курьер, нехотя согласившийся передать Валентине мою мольбу о встрече, принес мне окончательный ответ — конверт с запиской.

„Поздно. Я печальная невеста. Сохраните на память мою прядь волос — на ней мои слезы и ваши поцелуи. Прощайте".

⁂

Я покидал Париж с поспешностью, с какой уходят с поля битвы после беспощадного и окончательного поражения. Оставлял бы я за собой только разбитые надежды... С покорностью преследующей меня судьбе, я начал бы снова — не впервые — муравьиную возню по построению себе нового, конечно, такого же карточного храма. Но на ратном, покинутом мною поле я оставил в одиночестве страждущую по моей вине, трепетно близкую мне душу. Ее ропот, ее стоны я уносил с собой. С ними я не расставался, как кающийся не покидает своих вериг. Опекавшему меня брату в ложе, я поведал без утайки все перипетии моего „грехопадения". Брат одобрил мое желание отрешиться, хотя бы на время, от личных материальных устремлений и, как по епитимье, посвятить свои силы доброму начинанию на пользу „угнетенных". Предложение историка, так совпадавшее с моим решением, казалось предначертанным сжалившейся надо мной судьбой. Напутствуемый добрыми пожеланиями хозяйки, уверенной, что встреча с невестой влечет меня на Côte d'Azur, отрешенный от личных надежд и упований, как если бы их никогда не существовало или я навсегда их исчерпал, я отбыл в Saint-Raphaël с твердым намерением довести наше дело до успешного конца.

Saint-Raphaël, миниатюрная жемчужинка на Лазурном берегу, открывающая собой ряд увеселительных курортов-городов вплоть до пограничной с Италией Ментоной; жемчужинка с глинистой почвой красного цвета и такого же цвета группами и в одиночку скал; с казино, с богатыми отелями и особняками в пиниях и елях; с безоблачным, бирюзовым небом и такою же водой — нам, шоферам, хорошо знакома. Знакома лишь по поговорке: и я видал, как мой дядя едал... Два-три километра на север или на юг — там ютятся (в те времена — сейчас картина там иная) пустынные поселки рыбаков с примитивным, маленьким отелем кое-где. В одном из таких забытых культурой уголков и вознамерились мы организовать летний слет усталых тружеников, русских эмигрантов.

По чистой совести могу сказать: приходилось трудно, очень трудно. Все, от нас зависевшее в пределах наших сил, мы выполняли с рвением свыше всякой меры и не без уменья. Но скоро сказка сказывается, да не скоро делается дело. Приближался сезон а мы все еще охотились за добрым самаритянином-капиталистом. Денежный мой вклад был потрачен скоро до послед-

него гроша, а вслед испарились, погребены были бесследно и последние запасы: накопленный мною капитал, предназначавшийся для великой цели. Уже собственное пропитание, при нашей скромности и тогдашней дешевизне — нужные, скудные оболы, — оказалось под вопросом. Пришлось мне заняться прислуживанием в отелях Saint-Raphaël'я в качестве шофера, а то и судомойкой в то время, как Валентин Игнатьевич, историк, шнырял по Ницце, Каннам в бесплодных поисках русского денежного туза.

Тринадцатого октября мы отпраздновали, вернее, помянули еще добрым словом годовщину культурного нами освоения французского захолустья на пользу русским эмигрантам. А дни убегали, как вприпрыжку и неумолимо надвигался очередной сезон. Мы были накануне краха...

***

Вытирая тщательно отельную тарелку и думая все о „своем“, я, как во сне, вдруг очутился в Белостоке в первые месяцы войны. С сослуживцами офицерами навеселе мы бродим по маленькому городку. Видим празднично одетых мужчин, женщин, направляющихся куда-то с деловым лицом.

— Сегодня, — нам объяснил прохожий: — день, когда евреи спешат к речке в садике неподалеку, чтобы вытрясти в воду свои грехи.

—Я иду с ними, — заявил я твердо. — Кто знает, может быть тем самым я обеспечу себя успех в жизни, а если убьют, так дорогу в рай.

— Отправляйся, так и быть, — смеялись офицеры. — Если мы все пойдем, так речка, пожалуй, затопит Белосток.

Но „суждены нам благие порывы“... Так я и остался при своих грехах, а мои успехи вам известны.

Вечером в той же компании мы пировали в местном „кафе шантане“ с миловидной девушкой на сцене, распевавшей „модные“ романсы: „Сухой бы я корочкой питалась“, и еще более или такой же модный: „Чудный месяц плывет над рекою“. Слово за слово ведет меня грустный голосок: „Завтра Маше подруга покажет дорогой и красивый наряд. Ничего мужу Маша не скажет. Только бросит убийственный взгляд. Но ведь есть же верное средство: под рукою казенный сундук...“.

— Monsieur, встряхнул меня голос поваренка. — L'assiette sera trouée si vous frottez si fort!

Я чуть не выронил из рук тарелку. Пришел в себя и вспомнил, о чем поклялся позабыть: до самой смерти я обязался не прикасаться к моим трофеям в роли гида — к портсигару и

булавке, как не то к реликвиям — памяти загубленной моей любви, не то, как к заклятому, злосчастному добру. При всех моих тревожных выкладках, расчетах никогда и мысль об этих ценностях не приходила мне на ум. Погребенные в коробке, как в „казенном сундуке“, они исчезли из моего сознания бесследно. И вдруг, как из преисподней, подобно гоголевской неуничтожимой „красной свитке“ сатаны, снова они во всей их реальной значимости передо мной. Мне ясно, что будущее нашего благого начинания, судьба лагеря отныне в моих руках. Три долгих дня я боролся с искушением и для спасения дела решил клятву обойти.

***

При нашем безденежье и близости рулетки естественны были разговоры с бывалым историком о таинственном ключе к успешным операциям в игре. Валентин Игнатьевич подтрунивал над теоретиками математических расчетов. Он считал, что присущий людям магнетизм, — не все им, правда, обладают или владеют в нужной мере, направленный, как концентрированный пучок энергии в момент, когда шарик замедляет бег, на желательную цифру, должен быть в состоянии остановить его движение. Беда лишь в том, что обычно игроки взволнованы, часто деморализованы. Они не в состоянии сосредоточиться в критический момент. С этой гипотетической наукой и отчаянной решимостью самоубийцы при трех тысячах франков, полученных мною от метрдотеля под залог портсигара с обязательством вернуть 3.100 я устремился в казино для решительного боя. Смело и так же безнадежно, как козочка Monsieur Séguin билась с волком за свою свободу, я боролся за свою идею с безжалостным злым роком под бесстрастными лицами крупье. Шесть дней длилась наша битва. Победы чередовались с поражениями. Подобру из казино я унес лишь ноги и мелочь на обратный путь. Ссуженные деньги пошли прахом, и благие устремления, как цветы без почвы, завяли тут же на корню. В свою сторожку я возвращался с чувством безразличия, душевной пустоты, явно приправленным мне непонятным странным чувством, близким даже к благодушию. Чем-то, видимо, тешилось мое сознание... В поезде я был серьезно заинтересован молодым человеком визави, не сводившим глаз с большой подметки своих новых коричневых ботинок, подметки, заполненной столбиками красных цифр. Вывернув непостижимо ногу, он углубленно подсчитывал и повторно проверял: видимо выводы, как концы с концами, не сходились. „Несчастный“, я пожалел соседа: „Ты еще в плену, а я уж на свободе... Но крушение надежд может разве означать свободу? Почему же я не растерян, почему я не скорблю?“.

И тут мне стало ясно, что мою скорбь туманит приятное сознание, что я разделался с проклятым портсигаром и не в корыстных целях, а с намерением использовать его на благо нуждающихся эмигрантов. Но „нечистые“ средства не годны, видимо, для добрых дел...

Мой компаньон не знал моих сердечных тайн и не видел поводов для эйфории. Мой „подвиг“ он расценивал, как легкомысленный и не тактичный акт. В сердцах историк собрал свои пожитки и укатил в Париж, с целью, якобы, искать там капиталиста. Этим эпизодом и кончилась бесславно моя очередная, полная благих порывов и настоящей жертвенности попытка, добрым делом замолить грехи. Напрасно. У моей колыбели не оказалось, видно, доброй феи. Некоторое время я продолжал еще существовать, продавая постепенно накопленный в Париже скарб. Пришел момент, когда закончились мои ресурсы и голод выгнал меня из сумрачной, но обжитой сторожки на неуютный „белый свет“.

В поисках работы я огляделся, потолкался. Тотчас же мне бросилось в глаза, что „свет“ во Франции не так уж бел, как был два года назад, в момент, когда я уединился в прерии Saint-Raphaël'я. Давно уже рассеялась сперва уверенность, а подконец и таившаяся еще надежда у французов получить компенсацию за разграбленные и обезлюдевшие очаги с побежденного врага. Но вдруг „лежащий“ враг оказался не только на ногах, а как бы на ходулях и его зловещая, коричневая тень темнит не только Францию, но и всю Европу. Экономика истощенной и обескровленной длительной войной, обманувшейся в своих расчетах, Франции, ее финансы были на ущербе, безработица и связанные с нею социальные конфликты в прогрессии, что ни день. Первыми жертвами хозяйственной разрухи являются обычно иностранцы. Всякий приемлемый для человека труд предоставляется исключительно туземцам: на нашу долю остается „черная работа“, да и та лишь для избранных.

Я не долго раздумывал, когда чинившие шоссе близ Saint-Raphaël'я три, таких забитых, замученных русских офицера, каких я никогда в Париже не встречал, согласились принять меня в свою артель. Для моей работы, чаще всего утрамбовщика пути, требовалась, конечно, сила, но главное выносливость. Эта работа на тропической жаре по градации, принятой в аду, согласно свидетельству побывавших и вернувшихся оттуда, должна бы быть первой по легкости, сейчас же за чистилищем. Первое время я еще интересовался машинами, курсировавшими беспрерывно по шоссе, выискивая имматрикулированных в Париже, в надежде увидеть знакомое лицо. Но вскоре я окончательно освоился с работой и уподобился во всем своим коллегам. В за-

росшем, почерневшем, полуодетом негре, кто признал бы недавнего гида-джентльмена?.. Примирился ли я со своей судьбой? Скажу по совести, о чем-либо подобном не было ни времени, ни охоты думать: работу сменял свинцовый сон без запоминавшихся или совсем без сновидений. Восьмой месяц заканчивал свой черепаший ход, а я без ропота, как репинский бурлак, тянул в артели свою лямку.

⁂

Как-то под конец работы, я услышал свое имя: показавшийся мне знакомым голос окликал меня. Стоя у обочины, в меня вглядывался человек. Я признал его мгновенно. Он был последний из последних, с кем я хотел бы вновь столкнуться.

— Аким Потапович, это вы? — неуверенно обратился ко мне шофер, злосчастный вестник, передававший мои письма Валентине.

— Вы не ошиблись. Здравствуйте, Пахом Иваныч, — со всей возможной сухостью я приветствовал шофера.

— Прости, Господи, — перекрестился Пахом Иваныч: — вы и взаправду оборотень. То турком на горе людям, а нынче чумазым негром обернулся. Шукай его по свету. Родная мать вас не признает.

От этих слов пахнуло прошлым и отозвалось болью в сердце.

— А что вам нужно от меня? Я занят.

— Отойдем в сторонку, — побагровел шофер. — Мне от вас что нужно, мне? Не попутал бы меня ненароком сатана завести с вами знакомство, не стал бы я четвертый месяц искать вас по побережью. Жинка все время убеждает: „Своих детей Господь не дал, так на — тебе, возись с чужими. Сгинул наверно твой Аким. Справь панихиду по его душе и успокойся!“ — А я нет и нет... Казак, что свято обещал, то исполняет. Ну, времени у меня в обрез. Кончайте работу, я подожду. Серьезный разговор вас ждет, Аким Потапыч, очень уж серьезный...

Отобедавши наскоро в молчании в бистро, мы поднялись в комнату отеля, где остановился Пахом Иваныч. Как зажмурившийся от страха пес в ожидании удара, внутренне весь содрогаясь, оробело глядя, я ждал сообщения о моем еще каком-либо проступке, оставшимся почему-нибудь мне неизвестным.

— Семена Иваныча, — начал попыхивая трубкой, едва слышным голосом Пахом Иваныч: — я знаю с детства; мы из одной станицы. В том же самом полку военную службу отбывали; в одной сотне сражались на войне. В эмиграции — мы без детей, а у них их трое — жили мы одной семьей: их дети, наши дети. В недобрый час, Аким Потапыч, принесла вас, приходится сказать, нелегкая в нашу дружную семью. Всем нам вы сейчас

же показались; всем понравились ужасно. А Валюша... Ангельская у нее душа; чистая, как стеклышко... тут же матери призналась, что крепко полюбила вас.

Ходим мы не бережемся. Забываем ,что около хорошего человека беспременно дьявол вертится... И кому ж на ум могло взойти, что дьявол вселится в артиста? Да, вы того не знаете... Как уж к слову...

Скоро после того, как замороченный артистом Семен Иваныч судьбу дочери сгубил, невесело чаевали мы у них с моей жинкой. Собирались было уходить, как появился новый гость. Празднично одетый, он уселся, помолчал и поднявшись заявил: „дорогие Степанида Петровна и Семен Иваныч, сегодня я к вам не как старый друг, а с особой просьбой: прошу руки вашей дочери Валентины Семеновны, которую люблю безумно“. И слепые бы теперь прозрели: то был самолично сатана в образе артиста. У моей жинки чуть не повылазили глаза; я поперхнулся, Одна Степанида Петровна только и хватилась: в кухню шасть, да оттуда с веником: „Изыде, сатана“ и веником по морде — раз: „Изыде, сатана“ и веником по морде — два. Его только и видали. И что затеял старый хрыч: он ей в отцы годится... Все это прошло и давно быльем уж поросло...

Редко мы виделись теперь с Семеном. На Валентину тяжело было глядеть: притихла, похудела и меня стала избегать. Встретимся случайно взглядом, затуманятся ее небесные глаза, а иной раз и слезу уронит. Семен Иваныч слезу однажды подглядел. Он вышел вслед за мной и говорит: „Ты што за жмурки затеял с Валентиной? Смотри, я голову тебе скручу. Она невеста“. „Не веста?“ „В воскресенье после обедни просим пожаловать с Галиной. Увидишь жениха. Порадуешься за Валентину“.

Мы повидали жениха и просто ахнули. Такого молодца и пером не описать. Студент по ветеринарной части, атлет, плясун, певец и во всякий инструмент игрец. Не в обиду будь вам, Аким Потапыч, сказано, похоже вы, да только как в прошлые ваши двадцать лет. На Валентину, как на икону, молится, а она, будто не на него, а сквозь него глядит. Вышли мы, переглянулись, перекрестились и в один голос: „Дай им Бог согласья и любви“.

***

Однажды я двигался порожняком у тротуара и увидал Валюшу. Она кинулась ко мне: „Покатайте, Пахом Иваныч“. Я ее рядом усадил и говорю: „Как поживаешь, ненаглядная? Как богоданный твой жених? Скоро ли свадьба?“.

А она: „Вы мне, как второй отец. Только вам я и могу признаться: не люблю я жениха. Как мне быть, не знаю“.

Меня, как паром, обдало. „Грешишь ты, Валентина. Таких, как он, по всей России немного может наберется, а в эмиграции их вовсе нету — все тут старики...“.

„Не слышали ли вы, Пахом Иваныч, что с Акимом?“. „Акима нет, Аким уехал. Да и Аким, Валюша, по-настоящему стар ведь для тебя. А этот молод...“.

А она будто и не слышит. „У Акима волосы черные, как ночь и мягкие, как шелк. Моих помягче. Я их перебираю и вижу всякий раз две серебряные волосинки. Хотела, было, вырвать, а потом оставила. Заложила глубоко и думаю: такой любовью окружу, что других не будет... Не будет... Снова мучается он где-нибудь... Из-за паспорта... Ума можно решиться“.

Я и брякни, типун мне на язык. „Он от паспорта давно уж отказался. Претерпел, а своего добился. Семен Иванычу об этом он писал“.

„Как отказался? Значит, он теперь не турок?“

„Артиста козни. Турок... Такой, как все мы — русский, а для французов теперь — «sale étranger»“.

„Спасибо, Пахом Иваныч. Здесь я сойду“. Поцеловала и выскочила из машины.

Сильно я казнился, что проговорился. Скрыл, оказалось, Семен Иваныч письмо Акима даже от жены. Приглашение на свадьбу обрадовало нас с Галиной: передумала Валюша, забыла, значит, свою блажь. В церкви... Не знаю, как другие. Я старался на невесту не глядеть. Как восковая, без улыбки. Не человек, а ангел. В сиянии. Фата топорщится, как крылья. Вот-вот на небо улетит. И кашляет, все кашляет...

⁂

Подвернулось мне большое заграничное турне — на два месяца с лишком. Жену, чтоб не скучала, я отправил к друзьям недалеко в деревню. Понаездился и притомился. Соскучился по жинке и по „нашему“ Парижу. Едешь, радуешься, — будто бы „домой“. Улицы кажутся иными: не знаешь, состарились ли они, как сам, или же чуток помолодели. Поравнявшийся земляк машет рукою и кричит: „Пахом, всем наказывали тебя предупредить: поскорее спеши к Семену; с дочкой у них беда“.

Дверь мне открыла Степанида и только ахнула: „Скорей, скорей!“.

Валентина, с лицом покойницы и горевшими щеками цвета роз, что лежали на ее груди, дышала прерывисто и хрипло. „Валюшенька“, кричала Степанида: „Пахом Иваныч около тебя. Пришел Пахом Иваныч. Ты хотела его видеть“.

С трудом открыв глаза и помедлив, Валентина взглянула на меня. Судорога свела ее лицо. А... А... пыталась она сказать. Припав к ее руке, я повторял: „Понимаю, понимаю. Все исполню. Не оставлю. Не оставлю“. Слезинка выкатилась из ее потухших глаз. Это был конец. Скоротечная чахотка в месяц унесла ее от злых людей, которые знают, и от хороших, которые не ведают, что творят.

Вот и все. Скоро четыре месяца, как я вас ищу, Аким Потапыч, чтобы выполнить, что обещал страдалице Валюше. Я здесь с английской семьей. Послезавтра мы возвращаемся в Париж и вы поедете, конечно, с нами.

Я мог только сказать:

— Спасибо вам, Пахом Иваныч, великое русское спасибо, но я предпочел бы оставаться здесь. Мне нужно одуматься и осознать то, о чем вы мне сообщили. Вы правы: в недобрый час занесла меня судьба в Валюшину семью. Доселе и для меня неведенье служило оправданьем. Теперь я вынужден решать, как мне дальше быть, а это сподручней в одиночку.

Пахом Иваныч был непреклонен:

— Я Валентине обещал, что не оставлю вас и с этим вы обязаны считаться. Вам нужно привести себя в христианский вид, постричься, приодеться. Костюм, надеюсь, у вас есть?

— Со мной, что на мне. Последний мой костюм я отдал надорвавшемуся на работе земляку, чтобы его, хотя бы для могилы приодели.

— Завтра мы справим все необходимое. Сочтемся после.

⁂

Убранный и приодетый, я стоял у автомобиля, ожидая предупрежденных о моем участии в поездке англичан. Пахом Иваныч представил меня:

— Mon camarade.

Madame пронзила меня взглядом и отшатнулась:

— Мне лицо ваше знакомо. Где я могла вас видеть?

— На фотографии с Беатрисой, — флегматично заметил ее муж.

— Правда, вы знали Беатрису? Как жаль, вчера лишь она уехала отсюда с мужем.

Я пожал плечами и оглянулся на Пахом Иваныча, делая вид, что не понимаю, о чем идет речь. Пахом Иваныч, как бы извиняясь, пояснил:

— Казаки, en général, все на одно лицо.

В Париже, расставаясь, Madame, коснувшись моего плеча, поцеловала меня в лоб. Англичанин настоял, чтобы Пахом Иваныч принял двойную против условленного плату, заметив:

— Я видел его руки; он много, видимо, страдал.

Но это были лишь сполохи после пронесшейся грозы.

⁂

Сторонники учения о переселении душ считают естественным, что кто-либо может „припомнить“ в точности событие, не имевшее места в его жизни; описать город или дом, где фактически он не был, но где в свое время терзалась или наслаждалась доставшаяся ему душа. Похоже, и я мог бы описать все перипетии моего существования, но описать их так, как если бы эти факты относились к кому-либо другому, а не ко мне; как если бы они не связаны были с личными переживаниями, а занесены были ко мне извне. Полностью отрешившийся от присущих живым людям устремлений, с выпотрошенной донага душой, лишь на кладбище у могилы Валентины я чувствовал себя по-настоящему среди „своих“, у себя „дома“, а не в „гостях“. Но „живые трупы“ до погребения в отношении обязательств третируются окружением в точности, как живые люди. И я, как и мои коллеги по гаражу, отсиживал положенное мне время за рулем, с единственной мыслью дождаться отпускного дня, а иногда и часа, чтобы, стряхнув с себя чуждые мне условности и попечения, обязательные для живых, очутиться среди „своих“ у могилы Валентины.

Побывавшие случайно у порога смерти и не преступившие его, заверяют, что приближение к этому порогу сопровождается чувством невыразимого, ни с чем земным не сравнимого, блажества. И я, в качестве живого мертвеца, по-видимому, мог рассчитывать на какую-то, пусть и минимальнейшую, дозу такого чувства. Отчужденность от повседневной юдоли земной, утрата способности о чем-либо жалеть, чего-либо желать, чувство слияния с живой душой Валентины, наше общение без мыслей и без слов, не могло быть не чем иным, как отзвуком такого состояния. Наедине с усопшими, в затворничестве, недосягаемом для бурлившего вокруг потока событий и страстей, тянулись дни и годы призрачного моего существования.

Разбойничий разгром Польши немцами, несмотря на геройское сопротивление не подготовленных к войне поляков, вывел меня из состояния летаргии. Мое отрочество и юность прошли в Польше. Польша была землей моих друзей. Но полностью я приземлился, сверзился из эмпирей на землю, когда увидел немецких солдат, марширующих на парижских улицах, как у себя дома.

О немецких притязаниях на чужую собственность, о военной их морали я был хорошо осведомлен и не нуждался ни в чьих уроках.

Я стал засиживаться в бистро, харчевнях, где собирались русские: прислушивался к их разговорам; принялся за чтение давно забытых мною газет. Я видел, в каком водовороте мыслей, привитых чуждой пропагандой, самообмана, предубеждений, темнивших силу нормального суждения, блуждала эмигрантская душа.

Провозглашенный Гитлером „новый порядок" свихнул мозги не только у доверчивых русских эмигрантов. Чтобы вскружить голову этим эмигрантам достаточно было факта, что с немецкой оккупацией русские из „последних", ранга неизбежно связанного с лишениями и унижениями, не стали, конечно, в Париже „первыми", но повысились все же уже тем, что французы перешли в ранг „последних"!.. Немцы, прикидываясь друзьями русских, поддерживали этот самообман. К тому же, невзирая на сговор Сталина с Германией, немцы не скрывали, что война на западе является по существу лишь подготовкой к военным действиям на востоке с целью свержения коммунизма. Какой эмигрантский пескарь не клюнет на подобную приманку?

Забыв о том, что, как гласит французская пословица, никто не обслужит тебя лучше, чем ты сам, преисполненные благодарности за альтруистическое решение помочь порабощенному русскому народу, значительное число эмигрантов сочло себя обязанным облегчить Гитлеру задачу справиться с коммунистической Россией. Вскоре целый поезд таких „добровольцев" переправлялся с помпой немцами с Северного вокзала в Германию, на работы против своего отечества. В роли „героев", сжегших свои корабли, эти эмигранты рвали на вокзале французские документы и бросали их в лицо благодушно державшим себя, бессильным французским полицейским.

Неизбежный, не заставивший себя долго ждать, предательский акт неожиданного нападения на „дружественную" Россию, заключил адский круг, начатый Гитлером с безнаказанного присвоения Чехословакии, круг, в котором он, его приспешники и не мало, к стыду сказать, потерявших себя русских, потонули и задохлись в море пролитой ими крови и в неслыханных доселе злодеяниях. Немецкое вторжение в Россию образумило все же многих эмигрантов, дотоле величавших Гитлера спасителем; другие, проделав Иудин долгий путь по умученной немцами родной земле, отрезвились позже.

Вот признание офицера одного из первых полков Императорской России, примкнувшего к немцам и находившегося в Царском Селе в эпоху осады Ленинграда.

„Сейчас я сознаю, что поддался общему гипнозу и поверил, что целью немецкого наступления является только сокрушение коммунизма в России. В Царском Селе, где расположилась моя часть, было много бесприютных детей. С русской сестрой милосердия мы организовали для них дом. Я оберегал их и с большим трудом доставлял им пропитание. Я был уверен, что выполняю перед родиной мой долг. Однажды в Царское Село приехал немецкий пропагандист, профессор, объезжавший фронт. Меня представили ему и он очень высоко расценивал мой подвиг. На митинге, где было много матросов, мне было предоставлено место у трибуны среди офицеров высшего командования. Речь профессора открыла мне глаза и я ужаснулся своему поступку.

„Вы", заявил профессор, обращаясь преимущественно к матросам: „выполняете возложенную на вас фюрером задачу стереть с лица земли крепость большевизма, отчаянно сопротивляющийся, но уже выдыхающийся, Ленинград. Фюрер всегда с вами и знает, как вам тяжело. Но вас ждет слава покорения и усмирения варвара народа, веками уже одним своим существованием угрожающего миру!.." И дальше все в том же роде...

По окончании митинга профессор пожал мне руку и сказал: „Какого пожелания вы ждете от меня? Желаю вам войти в сдавшийся на нашу милость, раздавленный нами Ленинград с первой проникшей туда частью!".

— В тот же вечер я покинул фронт, сославшись на высокое давление, с тем, чтобы никогда не возвращаться.

В комментариях факт этот не нуждается.

⁂

Я тяжело переживал эти первые и столь долгие последующие дни и годы беспримерных страданий моего народа. Впервые, возможно, в жизни я почувствовал, что не могу жить без людей. „Нехорошо быть человеку одному", устами Бога рекла здесь многотысячелетняя, видимо, Голгофа человека-одиночки. В харчевне, где собирались русские шоферы, я был на положении „intouchable". За мой стол садились, когда не оставалось другого места. „Немым вороном" меня величали за глаза.

Однажды в дни русских поражений неизвестный мне человек завел в харчевне разговор о непобедимом немецком войске, об очищении мира от коммунистов и евреев и о, милостью Гитлера, скором воскрешении святой нашей Руси. Харчевня была полна. Все молчали. Впервые я слышал из русских уст такую речь. Речь эта мне показалась не столь даже возмутительной, сколько глупой. Я невольно рассмеялся и сказал:

— Русские пророки с памятью, видно, не в ладах! Вспомнили бы хоть библию: Бичей вам мало, вы хотите скорпионов? „Похабного мира“ с отторжением Украины, Крыма и Кавказа вам, очевидно, мало; какого же мира вы теперь хотите? Ленин, соглашаясь на „похабный мир“, мог рассчитывать на державший немцев в тисках еще фронт на западе, а вы чем собираетесь сдержать крокодилий немецкий аппетит, всегда зарившийся на Россию?.. Тут и глупость и предательство.

В харчевне воцарилась гробовая тишина. Смутившийся, было, человек, ободренный молчанием посетителей, язвительно заметил:

— А вы, конечно, за коммунистов обижаетесь; а может быть и сами из жидов?

Неоднократно впоследствии я возвращался к этому моменту... За годы моего общения с мертвыми я и сам стал чувствовать себя полупокойником: опустив плечи и сутулясь, я неуверенно передвигался, глядел в землю... И вдруг мои мышцы утрамбовщика дороги снова напряглись, я выпрямился; схватил предателя за грудь, поднял высоко над головой и только не знал, куда бросить, так тесно расположены были столы. Два человека подскочили, взяли его из моих рук и вытолкав меня за дверь, шепнули:

— В 8 часов в бистро на Vaugirard.

Это были ставшие вскоре моими братьями, наши общие друзья — Дубинин и Харонин. Мы не расставались в этот вечер до глубокой ночи. В дружеской беседе оживала моя сиротливая душа. Друзья мне усиленно внушали держать на привязи язык.

⁂

С продолжавшейся оккупацией жизнь в Париже становилась все мрачнее и труднее. Реквизиция бензина вынудила многих шоферов согласиться обслуживать немецкие гаражи, но большинство осталось без работы. А к напастям, связанным с безработицей — к холоду и голоду — автоматически присоединялась наистрашнейшая беда — риск быть отправленным на работы в Германию. Немцы усиленно охотились за этим элементом, в чем им, особенно в отношении русских, более чем охотно содействовали еще французы. Излишне упоминать, что при моей удачливости, я, возможно, один из первых оказался бы жертвой этой старой рабовладельческой охоты теперь за белыми людьми. Спасением могло служить только бегство (партизанщины еще не существовало) или подтвержденная немецкими врачами тяжелая болезнь. Друзья направили меня к русскому врачу, о котором тут уже упоминали. Врач обследовал меня,

поздравил с исключительным здоровьем и пояснил, что из подходящих для такого случая заболеваний, на мою долю остается лишь одно, частая спутница шоферов — язва желудка. Но у меня нет язвы и, значит, необходимо ее создать. На этот предмет у него имеется идея и однажды он ее с успехом уже осуществил. Напомнив мне о своей и моей ответственности за подобное вредительство, врач заставил меня вызубрить все симптомы этого заболевания и отправил к рентгенологу для снимка желудка. Руководствуясь границами желудка, он соответственно у выхода легонько нацарапал на спине маленькую звездочку и многократно покрывал ее ляписом, вплоть до вызова меня немцами для снимка. Больной тяжелой формой язвы, я был признан негодным для работы в Германии и немецкий врач мне усиленно советовал систематически лечиться. Свет, как видите не без добрых и, к счастью, и не без неосмотрительных, людей.

⁂

С этим, не малого значения, иммунитетом, желудок тем не менее требовал еды. Глядя на других, и я завел возок на курьих ножках с велосипедной тягой и стал развозить пассажиров наподобие кули. Обычно пассажиры не открывали рта. Однажды в пути со мной заговорил француз средних лет, одетый под рабочего с лицом и речью интеллигента. Осведомившись о моей национальности, он проявил особый интерес к моему мнению об исходе Гитлеровского наступления. Я с силою ответил:

— Ils vont tous crever là-bas, хуже, чем при Наполеоне.

Француз с небрежностью заметил:

— Vous croyez?

Рассчитываясь, он спросил, где найти меня, если понадобится моя карета. Следующая встреча с Monsieur Henri закончилась приглашением в бистро. Убедившись в моей отрицательной позиции в отношении немцев, он прямо предложил мне быть „почтовым ящиком“ для резистанса. Поручения я принимал исключительно от хозяина бистро. Чаще всего я передавал сообщения устно, пользуясь паролем. Нередко перевозил и резистантов. В этом случае пассажир страдал обычно ишиасом в очень острой форме. Он корчился от боли и я вез его в ближайшую, в зависимости от места назначения, больницу.

Однажды я вез старушку в мантилье не по росту и напоролся на патруль. Немцы хотели высадить старушку, чтобы оглядеть сиденье, но она так страшно от боли завизжала, что немцы махнули на нее рукой. Под сиденьем лежали револьверы. Чем бы закончилась, вернее, на чем бы оборвалась моя очеред-

ная работа „на пользу людям“, не знаю, но бдящая надо мной, искони мне враждебная, судьба почитала, очевидно, эту деятельность незаслуженно еще и плодотворной.

*
**

Как-то я вез студента на вокзал. Судя по возгласам и шуткам, студент находился в блаженном настроении. Я спросил, что в наше смутное время привело его в такой восторг?..

— Как же, — объяснил студент: — с некоторых пор к двум моим благородным качествам задаром присоединилось еще третье: я не еврей и не коммунист, а теперь еще и не масон, как многие из моих друзей, что, как зайцы, удирают сегодня из Парижа.

— Немцы, действительно, грозят евреям и коммунистам, но до масонов им не легко добраться: кто, как масоны, умеет прятать концы в воду? — я возразил.

— Я вижу, вы не знаете, как опростофилились заумные масоны: все их архивы попали в руки немцев и уже начались аресты.

— Однако, вы следуете примеру ваших приятелей и оставляете Париж поспешно.

— Я, видите, осторожный человек, как те зайцы, что стали удирать, когда вышел приказ охолостить верблюдов. Охолостят, объяснили зайцы, а потом доказывай, что ты не верблюд. Моя фамилия Dupont. Знаете, сколько во Франции Dupon'ов? Арестуют, а потом доказывай, что ты не тот Dupont.

„Нет“, я рассуждал, пробираясь окольными дорогами в указанное мне бистро. „Тут должен орудовать определенный рок. Я, действительно, хожу под злосчастной звездой. Из „вольного храма“ сделать западню... Это не каждый день бывает!“

Срочно вызванный Monsieur Henri только развел руками:

— Вы масон?.. Угораздило же вас!.. Напрасно не сообщили об этом раньше. О захваченных архивах и арестах масонов мы знаем уже давно. Скоро начнут опубликовывать в газетах списки членов. Это с целью облегчить доносы знакомым и друзьям. Придется вам на время из Парижа удалиться и перебраться в неоккупированную зону. К вечеру мы вам изготовим карту d'identité. Условимся на какое имя. Вы — Леонид, мать — Мария, отец — Иван, по фамилии Борисов. Натурализованный француз. Вы поедете до пограничной станции Valence. Сойдете с поезда, направитесь в ближайшую деревню и поищете проводника. Там это обычное занятие крестьян, имеющих от немцев пропуск. Перебравшись через немецкую заставу вы поедете, куда хотите, но лучше всего езжайте в Brive, там вас охотно приютит учитель.

Дальше следовало слово, которое лучше всего перевести — „ни пуха, ни пера“...

Я был в Париже явно лишним человеком: вторично он извергал меня из своих пределов. Я был в обиде на судьбу. Но теперь я знал, чем грешен, и мой враг был во плоти: жгучей ненавистью я ненавидел немцев. Мой путь в изгнание до демаркационной линии прошел без приключений.

Появление в эти годы нового лица в бистро в деревне у границы не вызывало ни у кого сомнений. Присутствующие ждали лишь намека, чтобы мобилизовать проводников. Процедура прохождения пограничной пятидесятиметровой полосы, не Бог весть, как хитра, но всегда опасна. Время появления регулярных патрулей проводникам известно, но и сверхурочные всегда в пути. С большой веткою в руке на пять, шесть метров впереди быстро шагает проводник. Беглец должен глядеть в оба. Если проводник бросит ветку поперек он должен во весь опор бежать назад; ветка вдоль означает карьер в сторону границы. Я без заминки выполнил урок и очутился в свободной зоне. Зарегистрировал у заставы свой документ и беспрепятственно поехал в Brive.

С грустью и возмущением я должен здесь добавить, что евреев и иностранцев здесь же у заставы арестовывала police d'Etat и отправляла во французский рабочий лагерь, расположенный близ По. Оттуда, в силу обязательств снабжать немцев рабочей силой, арестованных отправляли в Германию, якобы, для работ, а на самом деле заведомо для уничтожения.

Трудно охватить до какой бездны бестиализма докатился человек в эпоху Гитлеризма! И как ужасно, что многим и посейчас это невдомек!..

⁂

Старинный, маленький, тенистый городок Brive славился обширным скотным рынком, богатым огородничеством и замечательными фруктовыми садами. С быками я знаться не хотел. Обласканный учителем, я был пристроен на отдаленной ферме в роли садовода. Я на новом амплуа... Любой артист позавидовал бы разнообразию и богатству моих призваний, начиная со скромной роли агента по „страхованию от огня“... Правда, во всех ролях я вынужден был оставаться дебютантом. До бенефиса ни в чем я не дошел...

Обязанности по садоводству пришлись мне очень по душе и я выполнял их с рвением, на которое лишь был способен. Общение с природой мне было не впервой, но на сей раз я не был зрителем. Поучительно для человека, занятно и цели-

тельно интимное общение с праматерью своей — землей. „Из земли ты вышел“, сказано о человеке.

Сроднишься с Землей, пораздумаешь и видишь, что все мы, наземные, одним миром мазаны. У всех у нас одна судьба. Близость к Земле позволяет осознать всю неуемность мощи заложенного в природе стремления к созиданию. Где есть щепотка лишь земли и при мизернейших условиях неудержимо жизнь торжествует появлением травинки, каким-либо ростком. И у людей эпидемии, голод, катастрофы не в состоянии задержать рождаемости, ограничить рост населения в примитивнейших углах нашей планеты. Близость к Земле помогает примириться и приять братающуюся с созиданием, неизменно шагающую по его следам, — Смерть, силу разрушения всего отжившего и устаревшего, как и лишнего, по равнодушному определению природы.

Среди природы человек не одинок: обширное и занятное у него родство... Стоит лишь человеку разделаться с броней, покинуть футляр, куда условности цивилизации его заставляют забираться и природа по-матерински включит его в свой инвентарь и в нужный час любовно примет в свое лоно его бездыханный каркас.

Предоставляя путевку в жизнь своим творениям, Создатель, как передают, сказал: „Плодитесь и размножайтесь“. Но чтобы плодиться, нужно питаться. Только растения, неодушевленные предметы, без души и тела, за малейшими исключениями, довольствуются благами солнца и земли и не только не посягают на жизнь прочих, но еще и питают и услаждают всех этих прочих ими накопленным добром. Наделенные душой, „одушевленные“ включив убийство в жизненный свой обиход, брезгуют лишь тем, кого не в силах одолеть или тем, что не переваримо. А „венец творения“ среди „одушевленных“, человек, присвоив себе право казнить и миловать, приступая к трапезе убоиной, без зазрения совести благодарит еще Творца за помощь в этом „мокром“ деле. И такой порядок почитается нормальным, а прогресс мыслится лишь в смысле усовершенствования манеры убивать.

Наскучившись лживой моралью „мыслящих“ одушевленных, вкусив всю горечь сомнительных ее щедрот, я тем более привязался к земле и к оказавшимся под моей опекой безропотным и беззащитным плодоносящим деревцам. Землю, приявшую и упокоившую в своих недрах тело моей многострадальной Валентины, я по особому любил и чтил.

Как прекрасно дерево в лучезарном, радужном убранстве весеннего цветения, как оно величественно и мощно, отягченное плодами и как трогательно оголенное, мнимомертвое, в терпе-

ливом ожидании возрождения, повторного омоложения с первыми лучами солнца. Изнеженные им привитой культурой, снизившей силу их сопротивления, деревья являются доступным лакомством для целой рати всяких паразитов. В древесном коллективе, среди необозримых садов вокруг, я чувствовал себя необходимым звеном природы с органической функцией стража, лекаря, а нередко и творца.

Более двух лет я оставался в Brive. В Париж я вернулся к моменту, когда „сверхчеловеки“ немцы, как крысы, в панике метались по Парижу и имел еще счастье самолично участвовать в обстреле гаража на Avenue de Madrid в Neuilly, где засели немцы, выкинувшие вскоре белый флаг.

В Brive, естественно, я не забывал творившегося в мире. Мои мысли прикованы были неотвязно к просторам моей страны, где лилась кровь за самое существование моего народа. Мороз по коже пробирает, когда теперь читаешь о решениях Гитлера в отношении России: сравнять с землею Ленинград; затопить Москву; часть населения превратить в рабов, остальных всех уничтожить. В наличности безумия у немцев заправил не может быть сомнения, но кто знает, далеко ли было до осуществления в наш бестиальный век этих, не мирящихся с нормальным сознанием человека, преступных вожделений?..

В Brive'е я отпраздновал победу Сталинграда. Если Московская победа, по существу, апофеоз жертвенности и энтузиазма, не сорганизовавшегося еще как следует сопротивления, стушевалась в виду дальнейших неудач, то под Сталинградом был бесповоротно сломан становой хребет нацизма. Это было „ныне отпущающи“ для всех наших неизбежных мучительных сомнений при никогда не покидавшей меня, однако, непоколебимой вере в конечное не скотской, а человеческой правды торжество.

Изгнание врага из родных пределов, победоносное продвижение русских армий по вражеской земле вплоть до логова грабителей, Берлина, увенчало беспримерный и в богатой подвигами истории России героизм, жертвенность народа и военное мастерство маршалов и генералов из народа. Эпопея этой героической борьбы оказалась благотворным шоком для русских эмигрантов, с давним прошлым давно уже похоронивших свою страну и свой народ. В развалинах и обескровленная, Россия представилась прозревшим эмигрантам в величии и славе ныне мировой, какой, возможно, она пользовалась лишь в эпоху поражения Наполеона.

Всем нам памятны годы после Libération в захламленном, медленно заполнявшемся Париже, по лишениям — голоду и холоду — мало чем отличавшихся от оккупационных лет. Сравнительно незначительные разрушения во Франции долго ждали

своего восстановления. Лишь помощь Америки по плану Маршала позволила французам справиться с этой задачей. На русских шоферов этот план не распространялся и нам приходилось затягивать потуже ремешок. Но всех нас не покидала мысль о сверхчеловеческих усилиях, о бесконечном самоотречении, понадобившихся русскому народу, чтобы отстроить все, что так злонамеренно было разрушено и сожжено врагом. Именно с намерением разделить эти испытания тысячи эмигрантов ринулись на родные пепелища. Мне не пришлось включиться в их ряды.

***

Однажды, убирая могилу Валентины, я не услышал, а скорее почувствовал присутствие за моей спиной бесшумно приблизившихся людей. Молнией пронеслось в мозгу: как тогда... У Сены, на скамейке... со словами: „Где только не встретишь земляка?" Я знал уже, не видя, и обернулся.

Передо мной стоял седой, как лунь, Семен Иваныч и согбенная, в морщинах, Степанида Петровна. Без слов они склонили головы. Я прижал их молча к своей груди. Долго мы так, не шевелясь, стояли.

— Господь сжалился над нами, — заговорил Семен Иваныч: — что привел нас свидеться с тобой, сынок, у могилы Валентины. Здесь ты не откажешь простить меня за содеянное тебе большое зло. Ради так любившей тебя нашей Валюши, ради ни в чем неповинной моей жены, если можешь, прости меня, Христа ради.

Он сделал движение, чтобы опуститься на колени. Я удержал его и мы облобызались.

— Прощение твое, — продолжал Семен Иваныч: — мне обязательно необходимо. Через несколько дней, Господь сподобил, мы возвращаемся на родину. Едем на Кубань к родной моей сестре. Не прощенный, с таким грехом, видит Бог, я не посмел бы переступить порог нашей святой земли. Тяжко мы наказаны, что соблазнились, что покинули свое отечество и свой народ. Сердце одно у человека и родина, как мать, всегда одна.

Мне ведомо, сынок, ты сирота и родных своих не знаешь. Если все будет благополучно, обещаю: все сделаю, чтобы ты на родину вернулся и приехал к нам. Не сомневайся и жди от нас вестей. Не беспокойся о могиле. Я *все обеспечил*, все оговорил. Верные друзья не подведут.

На этом мы расстались.

***

Трудные годы, напасти повседневной жизни, неизбежные среди людей, мельчали, стушевывались и исчезали перед томившим меня предчувствием предстоявшего, так долго заставившего себя ждать чуда, извечно повторявшегося чуда возвращения блудного сына в отчий дом...

Общение с друзьями, разделявшими мой жгучий интерес к событиям в России, облегчало мне ожидание вестей.

Изолированная, удаленная стараниями Черчилей из мировой арены, Россия, ныне — Союз нерушимый Республик свободных — с каждым днем все больше выявляла былинную, не раз испытанную свою мощь и свое духовное величие. И как мало мы знали об этой мощи и о таком величии!

Первой ласточкой из родных краев была незабываемая книжечка, как-то попавшая в Париж и передававшаяся из рук в руки — „Волоколамское шоссе" Бека. Сколько слез, какой гордостью исполнила, как согрела эта книжка похолодевшие, изверившиеся эмигрантские сердца!

За ней вскоре следовал поток научных и литературных произведений не только о порядках и задачах нового жизненного строя, о заботах по выковыванию „человека", но и в ряде замечательных исторических романов старая Россия, наша затуманенная быль, представилась в незнаемом нами доселе ореоле. С жадностью я поглощал с друзьями все, что мог только раздобыть. Впервые не стало у меня времени, а главное охоты, сетовать на не баловавшую меня судьбу. Вряд ли я удивлю вас, друзья, если добавлю, что столь долго и так нетерпеливо жданной весточки от Семен Иваныча я и по сей день не получил. Времена тогда были тяжелые и не мне с моей удачливостью было избежать последствий мании преследования обезумевшего Сталина.

И все же враждебная мне, злая фея, не учла значения Отечественной войны для пробуждения и отрезвления эмиграции, для капитальной переоценки ее суждений. Впервые за десятилетия слово родина для очень многих русских эмигрантов, рассеянных по всем материкам земного шара, заполнилось конкретным содержанием, восстало по-настоящему из небытия... Родина, которую так долго мы не замечали, шествует в авангарде передовых культурных наций мира; оказалась пионером космических полетов; неусыпными трудами и ценой неисчислимых испытаний приобрела, пока мы пребывали в летаргии, славу колоса, теперь уж настоящего после урока Гитлеру, а не на глиняных ногах, как в былое время. „Любовь к родине свойственна всем людям", говорил Тургенев: „и мне жаль тех, кто лишен этого чувства".

Нас всех здесь, друзья, объединяет именно эта, так очищающая и возвышающая человека, любовь к родной земле. Мы пере-

шли грань, положенную людям для активной жизни, но теперь наши досуги не будут больше блужданием в потемках. Свет достижений и упований просветит дни нашей жизни и осмыслит их существование. Исполать нашему содружеству, собирателю этих живительных лучей!

Заканчивая свое повествование, я хочу еще сказать, что на пороге жизни, оказавшись несправедливо „неудачником" после дуэли с другом, я с убеждением себе твердил: „Как угодно, но не неудачником я намерен закончить свою жизнь".

Свершилось! Живы строки о печальных днях и годах... Я их не стираю... Нельзя прожитую жизнь свести на нет... Но по чистой совести я утверждаю, что с обретением родины, попранными оказались мои мучения и неудачи. Я примирен и счастлив. Чем же не удачник?

Уж далеко за полночь, друзья, простите... Очень я вас утомил... Я как бы к новой жизни народился... Земной поклон вам за участие и любовь.

***

— Начав нашу эпопею жизненных признаний, — заявил Безладный: — мы знали наперед, что каждый из нас полностью заполучил причитавшуюся ему меру горя на родине и испытаний на чужбине. Но у каждого человека, кроме общей, по коллективу, возможна еще и своя, личная Голгофа. Аким Потапыч не раз прошел к ней крестный путь. Пожелаем, чтобы в дальнейшем его судьба была бы не печальней все же судьбы Иова и в тесном единении с нашим содружеством он был бы вознагражден за столь незаслуженные им обиды и лишения.

Объявляю заседание „Клузарусина" закрытым. Поблагодарим хозяев за гостеприимство и радушие. Следующее заседание через неделю в обычный час.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В положенный час, как обычно, за обеденным столом у Дубининых члены Содружества прилежно уплетали удавшуюся на славу кулебяку, уснащая ее обильно благодарственными возлияниями в честь Софьи Валерьяновны, примерной поварихи. На очереди было откровение Елены Никодимовны. Современные небожители, известно, поощряют все искусства за исключением кулинарии, именуя ее чревоугодием. И Елена Никодимовна с Машенькой на коленях ела рассеянно и мало. На нее глядя и стесняясь угождением плоти, друзья, не вдаваясь в рассуждения, стали было с поспешностью расправляться с очередными блюдами. Оживило трапезу обращение Софьи Валерьяновны к Рублеву:

— Знаете, Аким Потапыч, ваши признания мне стоили бессонной ночи. Неужели же есть люди, уделом коих являются действительно несчастья?

— Здесь пахнет фатализмом. Это ненаучно, — откликнулся Харонин.

Неожиданно в разговор вступила Копылина.

— Человек, — стала она объяснять: — создается из материального и духовного начала. Унаследованные материальные частицы, если они недоброкачественны, неизбежно причинят при жизни человеку немощи и всякие болезни. Это ясно. Также ясно, что индивидуальная душа на своем пути к вселенской, переходя через множество перевоплощений, должна нести последствия накопленных при предыдущих существованиях проступков и пороков. По-видимому, Аким Потапыч отвечает за преступления прежних обладателей его души.

— Начала, — возразил Лампадин: — заводят обычно очень далеко и в общем ничего не объясняют. Я хотел бы обратить

внимание друзей на обстоятельство, занимающее меня давно, родственное дискутируемому сейчас вопросу.

— Человеческий организм называют микрокосмом. Сложность его исключительна. Наподобие галактики он включает миллиарды клеток, являющихся основой структуры органической ткани при наличности еще ста тысяч дифференциаций этих клеток. Этот остов неизмеримо сложнее самой хитроумной электронной машины, но насколько невообразимо многообразнее и сложнее еще процессы жизнедеятельности такого организма... Может ли подобная структура существовать без плана и контроля? Очевидно, нет, так как такой индивидуальный план имеется и он заложен в бесконечно малом, различимом лишь при миллионном увеличении масштабов, в хромозомах клеточного ядра — вплоть до обозначения цвета глаз и формы носа.

Но привлекали ли ваше внимание видимые невооруженным глазом линии и бугорки на собственной ладони? С древних времен и до наших дней эти линии интриговали любознательность людей. Толкования об их значении составляют особое учение, почитающееся и по сегодня лженаукой, по пословице: „Не любо, не слушай, а врать не мешай“, именуемое хиромантией. Однако, малозаметные линии на мякоти первой фаланги пальцев рук, в виду их абсолютной индивидуальной специфичности, признаны теперь важнейшим подспорьем криминалистики, позволяющей безошибочно идентифицировать субъекта. Очевидно неспроста природа причудливо так расписала лицевую часть ладони, оставив тыльную без всякого узора. Пять основных крупных и ряд мелких линий, имеющиеся на ладони каждого человека, не могут быть случайными и как фаланговые, должны также что-то означать. Если они и не обуславливают приписываемых им моментов вроде обозначения продолжительности жизни, появления болезней, удач или неудач, то не отражают ли они по меньшей мере какие-то свойства характера индивидуума? В наш беспокойный век характером человека определяется в значительной степени его судьба. А вот линия, означающая „удачливость“, в известной мере выявляющая, значит, характер человека, у Акима Потаповича как раз в плачевном состоянии. Известно, что наука не останавливается ныне перед тем, чтобы влиять на так упрятанные природой хромозомы, чтобы исправить замеченные там ненормальности, влекущие за собой болезни. Почему же не считать возможным предвидеть и по мере возможности влиять на характер, то бишь на судьбу человека, если бы действительно подтвердилось значение в этом смысле линий на ладони?..

Рассуждение Лампадина вызвало всеобщий интерес, и руки присутствующих потянулись к „хироманту“. Как обычно, разрядил сгустившуюся было атмосферу председатель, напомнив,

что Содружество поставило себе определенную задачу, никак не вяжущуюся с хиромантией. Он предложил, поблагодарив хозяев за радушное гостеприимство, закончить трапезу и заняться очередным вопросом с тем, чтобы в свое время, буде к этому сохранится интерес, посильно пытаться содействовать и успеху хиромантии.

⁂

Безладный объявил шестое заседание „Клузарусина" открытым. По прочтении отчета о прошлом заседании, за неимением замечаний, слово было предоставлено Елене Никодимовне Копылиной.

— Сегодня, — начала свое повествование Копылина, — и я держу ответ не перед дружественным ареопагом, как здесь выспренне не раз уже упоминалось, а просто-напросто отчитываюсь перед самой собой. Приходится все же согласиться, что кое-что от ареопага в нашем Содружестве действительно таится. Уж больно разговор идет у нас всерьез и начистоту. Куда легче было исповедываться в церкви перед всегда торопившимся попом. Но лиха беда начало...

Я родилась в Питере в злосчастный день „кровавого воскресенья". Дату можно не упоминать. Кому-кому, а уж эмигрантам следовало бы хорошо запомнить этот день. Он-то и ознаменовал всю нашу незавидную дальнейшую карьеру. У моей колыбели дежурила бессменно добрейшая из фей. Да и как могло б это быть иначе? Мой отец, член Государственного Совета и мать, графиня, смолянка, подруга по классу последней итальянской королевы, не позволили бы злой фее переступить порог. Излишне пересказывать дни моего детства, волшебной сказки, какую не увидишь ныне и во сне. И это до момента, когда на столичном горизонте появился мало кому тогда известный Ленин; до момента, когда Господь разгневался на нас сильнее, чем на Иова, с которым так удачно конкурировал Рублев, — до моих долгих, вернее весьма недолгих девяти лет.

С пришествием, точнее, с приездом Ленина, солнце в столице потускнело. Я хорошо помню, как помрачнели комнаты в нашей всегда светом залитой, большой квартире. Все стали несговорчивы. Только любимой кукле Зине я могла поверять свое смущение. С пяти лет я привыкла передавать ей мои мысли и делиться переживаниями. Но на сей раз и Зина хранила беспокойное молчание.

Все разъяснилось, когда к нам, полуодетым, ночью нагрянули матросы и в несколько часов перевернули дом вверх дном. Искали оружие повсюду. Особенно их интересовала моя

кровать. Извлекши из-под одеяла куклу, красивый матрос, не сводивший с меня, как мне показалось, глаз, сказал:

— А вы, барышня, семейная, я вижу. Это ваша дочь?

Зардевшись, я ответила:

— Это моя подруга. Зина.

— Простите, барышня, а я думал — дочь.

Ценные вещи матросы забирали для передачи их настоящему хозяину — народу. Унесли старинный кинжал с рукояткой в бирюзе и бриллиантах. Этот кинжал, с незапамятных времен мирно почивавший во всегда запертой витрине и доселе не привлекавший моего внимания, вдруг показался мне до слез близким и я попросила красивого матроса оставить нам кинжал.

— А зачем вам, барышня, кинжал? — спросил матрос: — не с куклами же драться.

— Не драться, — я ответила с достоинством: — а мои куклы защищать.

— Против кого же?

— А против Ленина.

Матрос трепал меня за волосы и во весь рот оглушительно смеялся; другой заметил:

— Ишь змееныш, оставь такой кинжал!

Было ли это предчувствие, что этот кинжал сыграет в моей жизни столь решающую роль?

Матросы обыском остались недовольны и обещали заглянуть еще. Навещавшие нас родные, знакомые находились в панике: обыски и аресты все учащались. Необходимо было на время укрыться в более безопасном месте, чем оказался с ума спятивший Петербург. Отец решил пробираться на Кавказ, где близ Кисловодска у нас было большое имение и там переждать неминуемо обреченный на неудачу большевистский бунт. Это нескончаемое, с долгими остановками путешествие осталось в памяти, как смутный, потрясающий кошмар. Впервые я столкнулась с оборотной стороной жизненной медали и вчуже ужаснулась. И Зине я об этом не сказала ничего. Недолго тешил нас Кавказ относительным покоем. Я ничего не понимала в творившемся вокруг, но видя неуверенность и беспокойство близких, про себя решила, что Ленин, следующий, очевидно, за нами по пятам, нас и здесь настигнет. С этого момента я затаила в себе ежечасное ожидание неминуемой какой-то катастрофы. Я не обманулась. Ждать пришлось недолго. Вскоре, захватив лишь то, что можно было унести, с трудностями и лишениями мы бежали в Новороссийск и там, в неописуемой адской обстановке, погрузились на пароход „Габсбург“.

Все эти происшествия представляются мне теперь не в их последовательности, а в виде отдельных, коротких штрихов,

толчков с долгими пустыми интервалами, заполненными хорошо запомнившимся гнетущим страхом. Эти толчки ускорили течение моих детских лет. Когда по прошествии многих месяцев после морского путешествия я по-настоящему пришла в себя, мое детство оказалось бесповоротно позади, там, где осталось все то, что я так бессознательно любила.

Неописуемо беспорядочная обстановка, царившая на пароходе, страшные условия переезда почти без пропитания и воды, не коснулись моего сознания, но оставили неизгладимый след в связи со странным обстоятельством, о котором я сейчас скажу. В первую же ночь на пароходе я заболела сыпным тифом в очень тяжелой форме и в течение десяти дней до кризиса, едва не стоившего мне жизни, оставалась без сознания. На следующий день свалилась моя мать и на пятый день скончалась. В редкие минуты просветления я скорее ощущала, чем видела склонившегося надо мной большого человека в белом с обнаженными до плеч руками. Длинное, смуглое лицо с темными глазами и свисавшей на лоб прядью черных, слегка вьющихся волос мучительно напоминало мне кого-то. В забытье, в бредовых видениях я неизменно вглядывалась в приближавшиеся, становившиеся все более четкими черты и вот-вот близкие к тому, чтобы я их распознала и успокоилась, но контуры их тут же расплывались, удалялись и снова оставляли меня в неведении, в тревоге. Десять дней длилась эта мука. После кризиса, в состоянии крайней слабости, я впервые открыла широко глаза и теперь уж наяву увидела смутно знакомого мне человека в белом, снимавшего с меня промокшую рубашку, обтиравшего и поворачивавшего мое беспрекословно и охотно послушное его движениям тело. Я лежала голая и с восхищеньем глядела на обнаженные до плеч, казавшиеся мне прекрасными уже в бреду, как бы скульптурные атлета руки. Перевела свой взор на его лицо и с охватившей меня горячей радостью сказала:

— Здравствуйте, товарищ матрос. Наконец-то я вас узнала. Спасибо вам за хлопоты. Как хорошо, что и вы здесь на пароходе с нами. Вы очень добрый. Я это сразу поняла, когда вы не со зла за волосы меня тянули. Теперь вы вернете нам кинжал. Он мне не дает покоя.

Человек слушал, не сводя с меня своих глубоких глаз, отрицательно задвигал головою и едва внятно с акцентом проронил:

— Je ne comprend pas.

Первым моим намерением было рассмеяться и сказать, что он меня морочит. Но тут же я осеклась и решила, что он, как и мы, беглец и должен скрывать свое происхождение. Я по-французски поблагодарила за уход, осторожно напомнила о его визите к нам и попросила вернуть взятый им кинжал. Матрос,

не проронив ни слова, одел меня, укрыл и молча удалился. Во все время нашего пребывания на пароходе матрос ходил за мной, как добросовестная нянька, — одевал, кормил. Я не могла владеть ногами и была до крайности слаба. Он ежедневно выносил меня на палубу, завернув в большое одеяло и оставался там часы, пока я, прильнув к его груди, поначалу блаженно засыпала, а после, путая французские и русские слова, делилась с ним тем, что меня сильно занимало. Я рассказывала о нашем красивом доме в Петербурге; о моей подруге-кукле Зине, которую я не сумела взять с собой, когда мы пробирались на Кавказ; о нашем замечательном имении в Витебской губернии с большой конюшней и моей смирной, собственной лошадкой Кики, которая иногда кусалась; о чудных собаках, оставленных на произвол судьбы, но больше всего я говорила о кинжале. Я видела, как загорались его глаза, когда я упоминала о кинжале. Его интересу в унисон, фантазируя, я подробно описывала загадочные, оправленные в серебро его ножны, рукоятку в бирюзе и бриллиантах и прибавляла, что, если бы от меня это зависело, я бы охотно этот кинжал ему бы подарила. Однажды я спросила матроса, как его зовут. Он сказал — Адам. Я приняла это не всерьез, так как знала лишь библейского Адама и не слышала, чтобы так людей именовали. В свою очередь, шутя, я сказала:

— А меня, выходит, Ева.

Меня озадачило, что при этом он не улыбнулся. Я вспомнила, как во время обыска он шумно хохотал. Я огорчалась, что, как мне казалось, он мало понимал из того, что я по-французски говорила. Все больше росла моя привязанность к опекавшему меня Адаму, но иногда я вдруг начинала сомневаться, действительно ли он мой матрос... Всегда в белом, с обнаженными руками, которые меня так волновали, он одет был совсем не как матрос... В таком случае, кто же он? Почему он так за мною ходит? Но тут меня охватывало беспокойство, стыд и страх такой, что я предпочитала с этой мыслью совсем не знаться.

Накануне нашего прибытия в Салоники Адам, как обычно, принес мне еду. Посидел у моего изголовья, пока я ела, и уходя сказал:

— Donnez-moi le poignard que vous m'avez promis.

Все во мне похолодело. Я стала пояснять, что он меня не понял. Я говорила, что теперь сама бы подарила кинжал матросу, за которого я его принимала, если бы он уже раньше не унес его. С готовностью отдать Адаму все, что я имею, я схватила сумочку, нашла там перочинный нож с изображением Вильгельма Телля, подарок матери, которым очень дорожила и отдала ему. Он взял ножик, раскрыл его и с такой силой бросил, что

лезвие глубоко вонзилось в стену над самой моей головой и удалился. Я проплакала всю ночь, не зная, что предпринять, как объясниться, стыдясь довериться даже отцу. На следующий день он явился снова. В кабине находился мой отец, только что оправившийся от воспаления легких. Адам принес два пирожных. Одно он дал отцу, другое мне. На следующий день я страшно заболела. Меня эвакуировали в больницу в Салониках. Я лихорадила несколько недель и все время видела Адама, то ласкавшего меня, то угрожавшего мне смертью, если я не отдам ему кинжала. Долго бились врачи, пока не распознали, что мое пирожное было отравлено крысиным ядом. Не помню, сколько времени я оставалась в госпитале. К опаснейшей инфекции скоро присоединились нервные явления — бессонница, подавленность и даже галлюцинации. Пришлось прибегнуть к длительному лечению гипнозом. С трудом я оправилась настолько, что мы могли продолжать наше навсегда запомнившееся мне путешествие, теперь в Белград.

***

Новая обстановка в Сербии, без страха и лишений, нормальные условия существования среди русских и сербских девочек, увлекли меня, подавили следы моих переживаний. Прошлое рассеялось в тумане и жизнь с новыми радостями и печалями начиналась для меня как будто вновь. Я с детства мечтала о балете, но моя мать и слышать об этом не хотела, ссылаясь на долгий и трудный на этом поприще к успеху путь. Ныне отец был счастлив удовлетворить мое желание. В физических данных для такой карьеры природа мне не отказала. Я была стройной, мускулистой девочкой с красивыми ногами и прекрасным музыкальным слухом и без труда была зачислена в школу Королевского балета. Мои дни были заполнены интересной и увлекательной работой. Я чувствовала себя куда взрослее своих сверстниц. Музыка и танцы будили во мне чувства, в которых я сама не разбиралась. Они заставляли меня вдумчиво, а подчас и страстно переживать и, конечно, выявлять драматические моменты присвоенной мне роли. Я шла в числе первых учениц, которым карьера балерины была надежно обеспечена. Успешно и почти всегда с отличием в течение шести лет я прошла ряд конкурсов и испытаний. Приближался решительный экзамен на звание солистки-этуали. Мне предстояло исполнить сцену из „Жизели", где принц, очарованный Жизелью, обнимаст ее в танце. Образ Жизели, жертвы робкой и вместе пламенной любви и в своем загробном сне страдающей по завладевшем ее сердцем принце, потрясал меня. Музыка „Жизели" всегда по-особому влияла на меня. Я чувствовала непреодолимое томление по

чем-то несбывшемся, упущенном, касавшемся как будто меня лично.

Перед выступлением я сильно волновалась. Ночью я мучилась кошмаром, по пробуждении оставившим тревожный след. Тщетны были мои усилия припомнить, что мне привиделось во сне. Обласканная соученицами, ободренная учителями, я, как в трансе, вышла из-за кулис. При первых аккордах музыки я отрешилась от своей персоны, забыла о подмостках и мыслями и чувством претворилась целиком в свою Жизель. Моим партнером был юный черногорец. Малообщительный и не по летам строгий, с классической внешностью и славой лучшего танцора, он несколько пугал меня и я перед ним робела. В неодолимых чарах гармонии музыки и танца, в неудержимом стремлении завладеть и самой безгранично покориться, вся отдавшись чувству ритма, я тянулась к своему партнеру. Сильным взмахом рук он вознес меня высоко над собою. С признательностью и обожанием я склонилась к его лицу и... в ужасе отпрянула, как от змеи: глубокие темные глаза Адама пристально глядели на меня, а разжавшиеся губы готовы были вымолвить:

— Donnez-moi le poignard.

Партнер не удержал меня и я грохнулась всем телом на подмостки. Снова госпиталь на долгий срок: сложный перелом ноги завершил мою карьеру и призвание балерины.

*
**

Мысль уводит теперь меня на кладбище к скромной могиле, убранной свежими цветами, где покоится тело подруги по мечтам и по несчастью, всем нам полюбившейся и такой мне близкой, мученицы Валентины. С Акимом Потаповичем я побывала на ее могиле, преклонила колени и пролила душевную слезу за погубленную ее жизнь, и заодно уж за всех оторванных от родных корней и так и не привившихся на чужбине.

*
**

Появление Адама при столь драматических обстоятельствах нельзя было считать эпизодическим, случайным. Я за эти годы достаточно повзрослела, возможно больше, чем полагалось по моим годам и понимала, что где-то глубоко и скрытно затаилась, очевидно, мысль о нем. Нужно было уяснить себе сущность этого фантома и непонятную мне его связь со мной.

Как-то я спросила отца, кто выхаживал меня, больную, на пароходе:

— Мне помнится, матрос?

После долгого раздумья отец неуверенно сказал:

— Матросам было не до нас. Они работали двадцать четыре часа в сутки. Лучше не вспоминать об этом страшном времени.

Кто же выходил меня? К чьей груди, я, как к материнской, прижималась? Неужели это был лишь сладкий сон? А как же тогда быть с кинжалом; с перочинным ножом над моею головой и с пирожным, отравленным крысиным ядом?.. В госпитале по ночам без сна, во власти таких мыслей, я в изнеможении шептала:

— Дорогой Адам, дух ли ты или человек, не мучь меня! Я ведь тебя так любила... Смени свой несправедливый гнев на милость... Пожалей меня!

*
* *

Около трех лет еще мы оставались в Сербии. Я посещала драматическую школу, где прошла курс русской и иностранной литературы. Много я узнала нового, о многом пеклась и размышляла. Сцена в Сербии меня по-настоящему не привлекала. Но к драмам и комедиям, служившим для нас учебным материалом, я по-серьезному приглядывалась: всюду я искала частицу самой себя.

*
* *

Азбучной истиной здесь почиталось утверждение, что сроки возвращения на родину близки; считалось, что долгим пребыванием в чистилище мы замолили наши грехи и обрели право на возвращение нам потерянного рая. Я с нетерпением ждала этого момента и мысленно часто переносилась в Петроград. С щемящим чувством жалости к самой себе я перебирала в уме все, возможно, уцелевшие следы моего, так неожиданно и болезненно оборвавшегося, кажущегося теперь таким далеким, детства. Какую-то ступень развития, нормальной подготовки к зрелости я, видимо, ускоренно прошла или, не сознавая, переступила. Как если бы из девочки я вдруг превратилась в даму... Увы, от факта было не уйти: Адама я таила в своем сердце, как мать пестует во чреве свое дитя. Уверенная, что в моем взгляде не может быть неведенья, невинности, покоя, какие характеризуют, я считала, девичье выражение лица, я избегала глядеть окружающим в глаза.

Плохо быть мятущейся девушке без материнского крыла. Некому поверить, не с кем ей поделиться смущающими ее, связанными с созреванием, новыми ощущениями и мыслями. Я долго искала в литературе и на подмостках ситуацию, подобную моей, чтобы осмыслить мои переживания и с ноготок хоть приподнять завесу, скрывающую уготованную таким, как я, судьбу.

В Сербии на такой предмет во множестве имеются гадалки. Вещих цыганок там, хоть пруд пруди. Но прорицания этих захолустных пифий были уж очень стереотипны, а мой случай, я полагала, был особенным и не походил на их шаблон. Другого пути не оставалось, как продолжать искать ответа у писателей, знатоков возможных блужданий человеческой души. Долго я искала, перебирала и однажды набрела на Чеховскую „Чайку“. На „Чайке“ я остановилась. Дальше, правда, некуда и незачем было и идти.

Обе чайки, решила я после долгого раздумья, действительная и символическая, поскольку они очертя голову на мушку охотника летят, одинаково ранимы. Временный дурман с неизбежным тяжелым пробуждением — обычный удел символической чайки — не облегчает и не искупает фатального конца. Какова же участь мне подобных чаек без охотника во плоти и вещественной дробинки в сердце? Очевидно, терпеть, страдать и ужасаться мысли, что вот-вот твой эфемерный суженый грядет и... набедокурит. „Ан-нет, с таким возлюбленным мне не по дороге“, усиленно и убежденно, я себе твердила. После многих бессонных ночей и тревожных размышлений, я приняла решение и оно гласило: впредь до подтверждения фактического существования Адама и объяснения с ним, считать Адама плодом моего детского, к тому ж еще больного воображения и впечатлительности. Появление, так напугавшей меня, его тени, приписать заскокам моей напуганной и обостренной памяти, приравняв их к театральным трюкам в пьесах наподобие тени отца Гамлета у Шекспира. Так, с помощью Чехова и Шекспира я разделалась, как полагала, с первой по существу проблемой моей юной, едва лишь начинавшейся, но столь уже богатой переживаниями, жизни. Разделалась и будто успокоилась.

*
**

В Сербии, превратившейся после войны 18-го года и крушения Австро-Венгрии в „Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев“, жизнь, пусть и скромная, провинциальная, била ключом. Строительство многоплеменного, нового государства, неизбежные при такой задаче затруднения на почве экономики, политики, как и этнические, занимали все умы. Молодежь принимала живейшее участие в строительстве, возвеличивавшем и обновлявшем так долго страдавшую страну. Осевшие здесь русские эмигранты, в подавляющем большинстве военные, встретили радушие, каким они не пользовались нигде в Европе. Народ и правительство приняли русских эмигрантов не как чужаков, а как гостей и притом почетных. Покровительство и помощь

России южным славянам, под гнетом поначалу турок, а после агрессивной, до своего крушения, Австро-Венгрии, не были забыты. Щедрые вспомоществования организациям и частным лицам, стипендии, право на труд и политическая свобода были предоставлены великодушно эмигрантам. Жили эмигранты по-старинке. Керенщина была для них предметом поношения. Большевизм почитался сатанинским наваждением, обреченным на исчезновение с первыми лучами монархического солнца. Для этого момента ряд военных русских организаций, враждовавших, конечно, между собой, неустанно и свободно подготовляли планы военных действий против большевиков и кадры для оккупации России.

Как отблагодарили русские эмигранты братушек-сербов, своих великодушных покровителей, в наигорчайшую минуту их существования, в момент немецкой оккупации? Заворожив рассудок свой химерой, что немцы бьются за интересы русских эмигрантов, за возвращение им потерянного рая, обласканные и облагодетельствованные гости предали своих друзей хозяев и стали деятельными участниками свирепствовавших в Сербии немецких карательных отрядов.

К счастью, к этому времени мы были далеко от Лобного места, где публично распинались, преданные русскими патриоты сербы, а с ними и русская честь!

***

Мой отец занимался коммерческими делами, какими — я не интересовалась. Он совершал частые поездки за границу, во Францию и Англию. Политики, насколько я могла судить, он не касался. С активной эмиграцией в Сербии мы соприкасались лишь при редких молебнах и частых отпеваниях.

Как-то по возвращении из длительной поездки за границу, отец спросил меня, не хотела ли бы я снова посетить Париж, как это однажды уже было в детстве, где прижились в большом числе наши родные и знакомые. Я чувствовала, что разговор этот неспроста и втайне огорчалась. Мой мирок в Сербии был не так уже велик, как и сама Сербия, хоть и ставшая теперь триединым государством. Не велик, но близок сердцу, богат и, казалось мне, устойчив. Он включал все прекрасное и живое, что рождалось в Сербии в области искусства или проникало сюда извне. И этот мир, я боялась самой себе в этом признаться, таинственно близок был к затаившейся где-то тени мучителя моего, Адама. Порвать со столь заполнявшим жизнь и привычным прошлым, не означало ли чему-то близкому изменить, что-то ценное упустить? Я терзалась мыслью, не находя ответа. Но жиз-

ненные трагедии, к счастью, редко являются уделом юных лет. Не помню уже, как это случилось, но пришел момент, когда почти без слез и воздыханий, я распрощалась со всем тем, чем жила и чему поклонялась и с представляющейся мне теперь сказочной стремительностью, как по щучьему велению, перенеслась и очутилась на красочных берегах — увы, только не Невы, а Сены...

*
**

Раздумывая над тем, чем поначалу поразил меня Париж, что в Париже мне представилось неожиданным и новым, я должна сказать, что это был не сам Париж, не его достопримечательности и красоты, слухами о них ведь полнится земля и не французы, творцы и блюстители этих чудес, по тогдашней малорослости, по плохому покрою их костюмов, явно стушевывающиеся перед своим творением, поразила меня сила русского самоутверждения в этом центре мировой культуры, вне всякой пропорции с их численностью и весьма сомнительным благополучием. Подвиги и муки русской эмиграции в Париже исчерпывающе и неоднократно были уже здесь предметом откровений и даже покаяний. Наша резиденция в новом, фешенебельном квартале в Neuilly, ближайшем пригороде Парижа, неизмеримо далека была от Passy, где обосновалась и страдала масса эмигрантской голытьбы. Расслоение русской эмиграции во Франции шло не по цвету кости в основном, а в зависимости от материальной обеспеченности и размеров в наличии капитала. Пирамиду эмигрантской общественности в Париже можно было бы представить в виде обширного, весьма неприглядного основания с почти пустым нутром и теряющейся в облаках благополучия, редко видимой верхушкой. И какую смесь лиц и состояний являло собой многоликое это основание! Нищета и бесправие сравняли „чистых и нечистых", и не обеспечившие себя вовремя вкладами в заграничные дела „чистые", оказались на положении париев наравне с „нечистыми". Об этом здесь уже не раз шла речь. Мы, во всяком случае, обретались, если не в точности горе, то весьма близко к высотам этой пирамиды.

Первые дни и недели нашего парижского жития промчались в вихре новых впечатлений от встреч с многочисленной родней и в приобщении, пусть и поверхностном, к неповторимому, исключительно французскому „savoir vivre". Нужно было однажды лишь увидеть с раннего утра беспечно располагавшихся на тротуаре многочисленных посетителей кафе, чтобы согласиться, что парижанам жизнь действительно, если не на радость, то уж, во всяком случае, как тут уже не раз упоминалось, для „dolce far niente" всем дана. Как всем иностранцам новичкам,

и мне предстояла завораживавшая наперед, хоть и весьма утомительная, задача ознакомления в сравнительно короткий срок с наиболее выдающимися памятниками тысячелетней сокровищницы Парижа. В сопровождении своих кузенов и кузин, не щадя неприятно напоминавших о забытом прошлом своих ног, как на богомолье, я отправлялась ежедневно на лицезрение и приобщение к свидетельствам величия и такого же, если не большего, падения человеческого духа. Как многочисленны и разнообразны эти свидетельства и как располагают они к размышлениям о том, что есть человек и как противоречива и сложна его природа...

Приближался учебный год. Порасспросив и пораздумав, я решила определиться вольнослушательницей в Сорбонну на Faculté de Lettres, по-нашему на историко-филологический факультет.

⁂

После молодежи в Белграде, деятельной и дружной, Сорбонна с учащимися со всех стран света, всех наречий и мастей, показалась мне истинной Вавилонской башней. Правда, не в различии языков здесь оказалось дело. В Сорбонне все говорили по-французски и, поскольку дело шло о науках, строительство двигалось своим узаконенным путем.

Но за стены Сорбонны, естественно, проникала улица и тут смешение не столько языков, сколько понятий и вожделений, было абсолютным. В эту эпоху, в годы близкие или совпадавшие с появлением Гитлера в Германии, студенчество во Франции принадлежало почти исключительно к состоятельным слоям населения. Классовая принадлежность студенчества определяла в основном и его психологию. Неустойчивое положение Франции, как внешнее, так и внутреннее, частые волнения обнищавшей массы населения, создавали предпосылки для крайних мировоззрений: левых, имея в виду французские революционные традиции, но главным образом национальных и шовинистических, имея в виду социальный студенчества состав. Если в Югославии лейтмотивом всех устремлений студенчества было строительство, обновление страны, то во Франции лозунги были консервативно разрушительные в отношении политического строя и вплоть до социальных установлений. Особым расположением студенчества пользовалась, близкая к фашистской организация „Croix de feu“, возглавляемая полковником de la Roque. Ее выступление, с целью захватить парламент, было легко подавлено Daladier с небольшим количеством жертв. В Сорбонне то и дело возникали столкновения между студентами различных политических фракций и нередко при этом доставалось ни в чем неповинным „метекам“,

как презрительно французы называли студентов иностранцев. Здесь подчас подавленной оказывалась даже обычная французская галантность в отношении женщин, и курсисток не щадили в драке. Это были годы, предшествовавшие развязанной вскоре немцами войне. Французы чувствовали неустойчивость Европы и прежде всего слабость, больше всего моральную, собственной своей страны, и нараставшая немецкая агрессивность вызывала реакции, о которых по меньшей мере можно было бы сказать, что они никак не облегчали положения. Должна заметить, что такая атмосфера была вовсе не по мне и заставляла меня держаться в стороне от всякого общения и особенно дискуссий со студентами. Странным образом, „политика“ вызывала у меня состояние, близкое к аллергии, как если бы в России, несмотря на мой юный возраст, я успела бы ожечься на „политике“. Судя по все еще живым воспоминаниям о пережитом на родине и следовавшим вслед за этим приключениям на море и на суше, все это бремя, отчасти скрытое в подсознании, составляло все же по существу весьма чувствительный и болезненный комплекс.

Тем с большим рвением я отдалась наукам. Особенно полюбились мне лекции по истории общественных движений в Европе. Я тщательно записывала эти лекции и много раздумывала над тем, во что обходятся человечеству попытки следовать по пути прогресса.

***

Как-то я засиделась в студенческом ресторане. Забастовка метро и такси парализовала жизнь Парижа. Я сидела одна за столиком в укромном углу у большой витрины за давно остывшей чашкой кофе и безучастно глядела на медленно двигавшуюся, растерянную человеческую массу, сплошь заполнившую тротуары и шоссе. Этот беспомощный, бесконечный человеческий поток, что-то говоривший, чем-то возмущавшийся, о чем я могла лишь судить по движениям рук и выражению лица, напомнил мне невольно потерявшуюся, в отчаянии массу беженцев на набережной Новороссийска перед посадкой на пароход. Болезненно сжалось мое сердце, затуманился взор. Пережитое, все еще не забытое, все еще живое, захватило меня с давно уж не испытанной силой. Я снова переживала волнение матери: я видела беспокойство отца, с трудом пробиравшегося сквозь ошалевшую, готовую в море броситься толпу; я слышала крики, брань, плач детей. Обессиленные, прижавшись друг к другу, сидим мы на палубе в беспокойном ожидании старта. И вот двинулись... Какое счастье! Но недолго длилось наше счастье. К вечеру того же дня я в жару, в беспамятстве. На следующий день слегла моя мать и на дне морском нашла свою могилу.

В сознательные минуты я вижу себя на руках у человека со скульптурными руками и незабываемыми черными глазами. Я льну к нему. Он пестует меня, как свое дитя... Я люблю его...

Движение за моей спиной привело меня в себя... Я обернулась и отпрянула: на чужом, оливковом лице черные, так хорошо мне знакомые глаза Адама, с недоумением глядели на меня. В эту минуту я почувствовала сильную боль в покалеченной ноге и лишь рука этого человека позволила мне сохранить равновесие, иначе я свалилась бы со стула.

— Простите, — стал оправдываться мой сосед: — я другого места не нашел и потому позволил себе нарушить ваше одиночество. Я видел, ваша душа сейчас в миграции, на одной из уже пройденных или ожидающих вас еще дорог и старался вас не беспокоить. Почему же и сейчас еще, по возвращении, вы глядите на меня, как если бы вы встретились с бенгальским тигром, а то и вовсе с неприязненным пришельцем из другого мира?

— Простите меня великодушно. Я и правда забралась в давно покинутые сферы и уж очень неожиданным оказалось возвращение в это симпатичное кафе. Настолько неожиданным, что, сопряженная с этим встряска, оказалась слишком сильной для когда-то покалеченной моей ноги и я должна сейчас несколько повременить, ожидая, пока внезапная, давно уж не испытанная, боль наконец утихнет.

— Вот видите, все в нашем мире гармонично и даже, так называемые, „случайные“ обстоятельства могут иметь свою скрытую от нас закономерность. Позвольте представиться. Я из Афганистана, сейчас студент Сорбонны на факультете Lettres, 33 лет. На своем относительно небольшом веку много странствовал по свету. Имея в виду предстоящую нашу встречу (теперь это для меня ясно), прошел в Нью-Йорке школу так называемых хиропрактов и получил диплом. Во Франции этот диплом сейчас не признается, но, как запретный плод, тем более его ценят пациенты.

— Что это за специальность?

— С уверенностью могу сказать, что она имеет непосредственное отношение к вашей больной ноге, при условии, конечно, что и вы признаете не случайной нашу встречу.

— Должна сказать, что уже моя беспомощность заставляет меня принять ваше любезное предложение о содействии, хотя бы для того, чтобы подобру-поздорову до дому добраться. Одна я не в состоянии проделать этот путь. А дальше судьба, как я ее понимаю, сама распорядится, как нам с нашим столь неожиданным знакомством быть. Кстати, завтра возвращается из Лондона мой отец и он мне поможет в этом вопросе разобраться.

— В мудрости вашего отца я не сомневаюсь. Неподалеку

от кафе вас ждет моя машина. До нее, я надеюсь, мы дойдем без особого труда.

— Но вы пришли в кафе не для того, чтобы помочь мне до дому добраться. Вы голодны, конечно?

— Представьте себе, что я уже поел и в это кафе явился единственно с целью быть вам полезным.

— Конечно, в таком муравейнике, каким является Париж, забастовка путей сообщения неминуемо должна застигнуть многих страждущих врасплох и вы, естественно, при наличности у вас машины, можете всегда рассчитывать на таких беспомощных, как я.

— Допустим, что это так.

— Боль несколько утихла и мы можем, если соблаговолите, пуститься в путь.

По дороге домой мы делились впечатлениями о лекциях и профессорах и наши суждения оказались столь близкими, что мне даже представилось, что мой сосед, из любезности, во всем соглашается со мной. У дверей дома мы расстались и я заверила colleg'у, что сообщу ему вскоре о себе.

Мой рассказ о происшествии в кафе взволновал отца настолько, что, не медля, тут же он вызвал нашего русского врача. На мое пространное сообщение о студенте и оказанной им мне услуге, он никак не реагировал, сочтя, очевидно, эту встречу незначительным и случайным обстоятельством. Доктор поначалу уложил меня в постель и после повторных и длительных исследований, назначил нужное лечение. День шел за днем и все реже посещала меня мысль о добром самаритянине, студенте.

***

В мое первое посещение Сорбонны, обводя взором ряды студентов и студенток, я тотчас же неподалеку увидела collèg'у, внимательно рассматривающего присутствующих. Вскоре наши глаза встретились и я видела, как удивило и обрадовало его мое возвращение в Сорбонну. Улыбка озарила его смуглое лицо и он стал кивать мне головой. Я послушно ответила ему приветливой улыбкой. После лекции он бросился ко мне, расталкивая по пути студентов. Он долго не выпускал из своей моей руки и каждому пожатию мое сердце как бы отвечало вздохом. Я не успела еще подумать, что в конце концов лишь его черные глаза, напоминающие мне Адама, отличают это знакомство от таких же многочисленных других, как его приветствие повергло меня в изумление.

— Как я рад, что вы поправились и подобно Эос, богине Зари, „прекрасной женщине с пурпурными перстами", снова

озарили наш тусклый небосвод! — все еще не выпуская моей руки и глядя мне в глаза, он произнес на чистейшем русском языке.

— Вот чудеса, — могла я лишь вымолвить. — Неужели же вы русский?

— Моя генеалогия не так уже проста. По рождению, представьте, я итальянец и родился в Риме, но с самого раннего детства жил в России, в городе Одессе, где мой отец был архитектором. В Одессе же я кончил гимназию и, как видите, не только язык, но и гимназическая премудрость все еще со мною. Лишь с этого момента начались мои блуждания по свету, закончившиеся, я полагал, Афганистаном, но в звездах на мой скромный счет значилось другое. И вот я на берегу Сены, в древней Сорбонне на положении студента в поисках, очевидно, синей птицы, чем, я уверен, озабочены и вы.

— С момента, когда установлена общность нашего языка и, по вашему утверждению, даже общность наших студенческих исканий, скажу попросту, без обиняков, вы мне симпатичны и я прошу вас снова проводить меня домой, но теперь уж с целью побывать у нас и познакомиться с моим отцом. Он будет доволен встретить собеседника, так много путешествовавшего и пережившего.

Так началось наше в дальнейшем близкое знакомство.

*
**

С исключительным радушием отнесся мой отец к новому знакомому, узнав о его столь близкой связи с Россией... До поздней ночи оставался у нас Жозеф, Иосиф Прекрасный, как впоследствии называл его отец, рассказывая о своих блужданиях по свету.

— Лишившись родителей, — начал он свое повествование, — по окончании гимназии, как все, потерявшие свое место в жизни, я решил искать счастья в Новом Свете. В те времена пребывание в Соединенных Штатах для новичков было настоящим испытанием их выдержки, терпенья и уменья использовать все обстоятельства для достижения намеченной цели. Первый рабочий круг начинался обычно с мытья посуды в ресторане, но и эта работа требовала ловкости и расторопности, иначе вычет за битую посуду снижал и без того мизерный заработок. Мое усердие было по заслугам оценено хозяином ресторана, и вскоре я получил повышение и стал garçon'ом. Повышенный заработок дал мне возможность подумать о дальнейшем про-

движении по пути благополучия в Америке. Мой „аттестат зрелости“, как в России его называли, давал мне право добиваться приема в любой колледж, высшее учебное заведение в Соединенный Штатах. Но учение в колледжах стоит больших денег. Мне это было, естественно, не по карману. Оставалось, я видел, выбрать, пусть и временно, специальность, требовавшую не столь долгой подготовки и стоившую не так дорого. В Америке имеются институты, выявляющие особым методом, именуемым психотехникой, скрытые подчас для самого индивидуума его таланты и наклонности. В числе выявляемых этим методом талантов, фигурирует, например, раскрашивание лиц усопших, обычай широко практикуемый в Америке, заимствованный, возможно, у индейцев.

За пониженную плату, ввиду моей бедности, в институте приняли во внимание не столько присущие мне таланты, требовавшие все же времени для своего расцвета, сколь острую нужду обеспечить свое существование, и ответ гласил: „Исключительно хорошие руки. Рекомендуется хиропрахис“. Это была специальность ближайшего будущего, шедшая в ногу с все развивавшейся автомобильной промышленностью и следовавшим неизменно за ней все увеличивавшимся числом покалеченных на дорогах, нуждавшихся в этой специальности. Отдавая свободные часы дня и, конечно, ночи учебе, я кончил институт и вскоре стал работать у русского хирурга. Должен заметить, что больные, к которым я прикасался, первые открыли особенности моих рук. Стоило мне раз-другой перевязать или помассировать больного, чтобы снискать у него совершенно исключительное доверие, почти исключавшее возможность прикосновения других рук.

Однажды мой патрон менял перевязку у больного и тут же был заготовлен набор всяческих скрепляющих булавок. Я, не глядя, прикоснулся к этому набору и увидел, что моя ладонь была усеяна как бы прилипшими к ней булавками. В дальнейшем при перевязке нужные булавки ожидали своей очереди не на столе, а на моей ладони. Доктор предложил мне как-то приложить лезвие тяжелого ножа к моей ладони и нож оказался подвешенным на моей руке. Эта моя способность, которой я не придавал особого значения, создала мне у больных, да и у окружающего персонала, славу едва ли не чудотворца. Со всей возможной скромностью, могу сказать, что в клинике неоднократно, когда врачебные средства были недостаточны для устранения беспокойства и даже болей у пациента, мои руки добивались порой того, чего не достигала медицина. Вот почему я имел смелость предложить мои услуги Елене Никодимовне для облегчения болей в поврежденной ее ноге, но и без моей помощи все пришло в порядок. И все же мне бы очень хотелось дать вам, Елена Нико-

димовна, возможность изведать присущую моим рукам доказанную уже магнетическую силу.

***

Однажды в клинику был доставлен пациент, перс по национальности, сильно покалеченный в автомобильной катастрофе и потерявший при этом свою жену. Малейшее прикосновение причиняло сильные боли пациенту и с самого начала больной находился под моей опекой. Рассказы сестер о моих талантах несомненно расположили в мою пользу недоверчивого пациента, но кое-что приходится все же приписать магнетизму моих рук. Этот пациент оказался всецело на моем попечении и даже ответственные перевязки доктор предоставил мне. Месяцы тянулась нестойкость состояния пациента, и, когда медицина в союзе с vis madicatris собственной naturae одержала, наконец, победу и больной стал подумывать о возвращении на родину, ни одной минуты он не допускал возможности обойтись без моих услуг. Мне предстояла заманчивая поездка в Персию на неограниченное время и с исключительной оплатой моего труда. Подобную оказию упустить было бы грешно. Перс был чиновником высокого ранга и, судя по тратам в клинике, очень богатым человеком, и вскоре я очутился в Тегеране в условиях утонченной восточной роскоши и исключительного изобилия. Три часа в день я был занят пациентом, остальным временем мог располагать по своему усмотрению.

Освоившись несколько с новой обстановкой, я отдал должное знакомству с достопримечательностями многовековой давности страны, совмещающей красоты рафинированного востока, сказочные, веками накопленные сокровища, достойные Али-Бабы, с примитивными условиями повседневной жизни закабаленного и обездоленного населения. Теперь необходимо было занять чем-либо оставшуюся все же свободной значительную часть дня. Прежде всего, я решил изучить заинтересовавший меня язык страны. Со своим пациентом я объяснялся по-французски, с грехом, конечно, пополам. Узнав о таком моем желании, мой патрон пригласил ученого перса, посвящавшего мне ежедневно несколько часов и самолично оплачивал его уроки. Вынужденный поначалу общаться только с персами, я овладел быстро языком. Классики персидской поэзии и литературы, произведения персидского Вольтера, Хайам Омара и особенно мне полюбившегося Шах-наме, скоро стали моими гидами на этом пути. Однажды мой учитель, с годами нашего общения все теснее сближавшийся со мной, спросил, интересует ли меня также философия. Я ответил, что меня интересует все, что ведет к пониманию мира, в котором я живу.

— В таком случае, — заявил он: — посвятим несколько бесед учению средневекового арабского мудреца Аверроэса. Он был магометанин, но учил, что наука и религия должны быть независимы. Он разделял взгляды Аристотеля и считал, что мир вечен, душа смертна; вечны материя и движение; загробной жизни не существует. Из имеющихся религий лишь за юдаизмом можно признать известную степень приемлемости, но только для детей. Учение христианства и магометанства не выдерживает и подобной критики.

Аверроизм жестоко преследовался мусульманами и христианами. К этому учению мы возвращались неоднократно.

Я оставался в Персии восемь лет и все это время посвятил изучению персидской литературы.

О моей связи с Россией я никому не говорил. Родившись в Риме, я почитался итальянцем. Один лишь человек из моего окружения осведомлен был о перипетиях моих юношеских лет. Это был личный врач шаха, часто навещавший моего патрона. При русском посольстве в Тегеране существовала казачья сотня, охранявшая русские прерогативы в Персии, охрана, учрежденная, по-видимому, после бунта подстрекаемой муллами черни, стоившего жизни Грибоедову. Этой сотне надлежало выступать всякий раз, когда персидские разбойники угоняли русский скот на прифронтовой полосе. В таких случаях организовывалась погоня. Скот обычно возвращался владельцам, а с разбойниками разделывались на месте, как хотели. Этот врач и был русским, числившимся при этой сотне. Хороший врач и очень симпатичный человек, он пользовался исключительным расположением шаха. Стены его квартиры были сплошь завешаны коврами большой ценности, дарованными ему шахом. В долгих беседах с этим врачом мы оба облегчали свою душу.

Русская революция освободила Иран от всех, навязанных ему царской Россией, обязательств. Казачья сотня закончила свое существование. По дружескому договору 21-го года советское правительство безвозмездно передало Ирану имущество и концессии царской России.

В 1925 году власть в Персии захватил Реза-шах Пехлеви, бывший, говорили, конюх при казачьей сотне, ориентировавшийся в своей политике на Германию. Он предоставил Германии, кроме прочего, еще и плацдарм, где строились аэродромы для нападения на Россию. К этому времени умер мой пациент и покровитель и наши с доктором дороги разошлись. Он, как я впоследствии узнал, уехал в Германию. Я же, как на роду мне было уж написано, продолжал свое блуждание по свету. Известно, что впоследствии, в разгаре войны, на основании договора

21-го года, в августе 41-го года в Иран были введены русские, а вскоре английские и американские войска и шах был низложен.

Последние годы моего пребывания в Персии, я сблизился с послом Афганистана, частым гостем в доме перса. По его настоянию и рекомендации я получил предложение занять место секретаря личной канцелярии Амманулы — шаха в Кабуле, где дипломатическая переписка велась на персидском языке, которым я владел в совершенстве.

По дороге в Афганистан, я решил использовать представлявшуюся мне возможность побывать в Индии, где некоторое время пользовался гостеприимством различных монастырей. Монахи усиленно предлагали мне остаться в Индии, уверяя, что мои способности позволяют добиться многого на пути совершенства духа. Мой гуру, наставник, ознакомил меня с учением Вед, наиболее древнего памятника индийской мысли и Упанишад, являющихся отражением многовековых исканий ряда философских школ. Наряду с мистическими в Упанишадах получили отражение и взгляды философов материалистов, почитавших, как и греки, основой мира материальные начала. В основном философские взгляды индийцев сводятся все же к понятию о единстве мировой и индивидуальной души (брахмана и атмана), к бессмертию души в ее перевоплощениях и в конечном освобождении атмана от природы и слияния его с брахманом. Карма регулирует связь души с природой. Карма — это итог действий человека в течение жизни и каждое новое рождение является как бы возмездием за проступки, совершенные при прежних рождениях. В этих представлениях кастовый строй получал свое отражение и оправдание. Практикуемые религиозные системы в Индии в общем сводятся к культу богов Вишну и Шивы.

Для неофитов, каким являлся я, занятия с моим гуру сводились поначалу к упражнению и развитию отдельных функций мозга. Через несколько недель я мог, фиксируя в течение одной минуты пять шестизначных чисел, написанных столбцом, на память повторять их в любом порядке.

Но как следовало из объяснений гуру, долгий, очень долгий путь к совершенству при одном лишь lapsus'e мог оборваться на любой ступени и приходилось снова начинать восхождение с азов. На подобный шаг я не мог решиться и, отблагодарив монахов, отправился по месту службы в Афганистан.

⁂

Не так просто оказалось добраться до столицы Афганистана, расположенной в высокой части Иранского нагорья, на высоте более двух тысяч метров. Железных дорог в стране не суще-

ствовало и приходилось пользоваться всеми способами передвижения, начиная от архаических верблюдов и под конец автомобилем английской марки. К моменту моего прибытия, Афганистан переживал еще торжество, всего лишь за несколько лет до этого вырванной у англичан независимости государства ценою длительной борьбы, трех войн.

Афганистан, отсталая аграрная страна с феодальным укладом экономики, где 80 % земли принадлежит помещикам, казне или мечетям. Крестьяне работают на кабальных началах. Фабричная промышленность в зачаточном состоянии. Недра Афганистана богаты ископаемыми, возможно, нефтью, но все это в состоянии лишь разведок.

Политическое значение Афганистана определяется его географическим положением. Достаточно лишь сказать, что пограничная с Россией река Аму-Дарья тянется на протяжении 1 250 километров, чтобы понять беспокойство англичан по поводу столь близкого соседства. Известно, что ворота в Индию ведут, естественно, через Афганистан. Этого факта и других подсобных было достаточно, чтобы англичане подозревали Россию в постоянных кознях, самых злостных намерениях в отношении самого большого бриллианта в короне Англии, Индии. С целью воспрепятствовать гипотетичным враждебным планам России, англичане оторвали от Индии Пакистан и сделали его заслоном на пути из Афганистана в Индию.

Но дыма все же не бывает без огня. Нервозность англичан в Афганистане имела несомненно кой-какие основания, и намерения России в отношении Индии действительно могли возбуждать подозрения у англичан. История сохранила для потомства два удивительных факта, бросающих странный свет на эти какникак немаловажные вопросы.

Первый факт касается Петра Великого. Среди бумаг Петра найден был план похода на Индию. Каковы были мысли Петра в этом отношении, какое практическое значение мог иметь подобный документ, остается неизвестным. Но этого было достаточно, чтобы раз и навсегда, англичане стали считать Россию потенциальным своим врагом в отношении столь ценного, но и весьма уязвимого, их сокровища.

Второй факт, которому трудно придавать серьезное значение, но и он явствует все же о существующем намерении, относится ко времени не совсем нормального в своих поступках императора Павла. Увлеченный военной муштрой Фридриха, горячий ее поклонник, он изводил ею своих солдат. Однажды на смотру Павел остался недоволен прохождением казаков и, ничто же сумняшеся, тут же скомандовал:

— Налево кругом, в Индию!

Казаки, по приказу, с парада двинулись в поход. С невероятными лишениями они добрались до степей Черноморья. Здесь застала их весть о смерти Павла и об отмене данного приказа.

Такая команда, при всей ее нелепости, должна была иметь все же кой-какие предпосылки. Теперь все это история, но в свое, столь недалекое еще время, подобными туманными мероприятиями, пусть и частично, определялась враждебная политика двух великих государств.

***

Молодой хан Аманулла, всего лишь за несколько лет до этого вступивший на престол, принял меня с исключительной любезностью. Его расположение ко мне еще увеличилось, когда я, учитывая обстоятельства, объявил, что владею в совершенстве и русским языком. Моей обязанностью было исправлять персидский язык в официальных бумагах, направляемых в иностранные посольства.

Короткого пребывания в стране было достаточно, чтобы ориентироваться в политической обстановке, заставлявшей афганские власти балансировать между требовательными и подозрительными англичанами, удовлетворяя по возможности их требования и сговорчивыми русскими, отделываясь преимущественно обещаниями. И все же атмосфера в стране была исключительно дружественной к русским и явно враждебной к англичанам. В этом легко можно было убедиться, очутившись за стенами Кабула. Безопасность передвижения гражданам, особенно, конечно, иностранцам, была обеспечена лишь в пределах города. Уже за стенами столицы хозяйничали, как хотели, люди с винтовками и ножами. Поездки за город совершались под надежной военной охраной. Только русские могли рискнуть очутиться вне города без такой охраны, в чем я мог лично убедиться при первой же поездке и что мог неизменно позже констатировать в неоднократных своих путешествиях по стране. За несколько километров от столицы вас обычно останавливала вооруженная банда грабителей, жаждавшая поживиться всем, что можно было только унести. Но достаточно было назвать себя русским, чтобы разбойники мгновенно превратились в ваших истинных друзей, не только не посягавших на вашу собственность, но пекшихся о вашей безопасности в дальнейшем. С этой целью один из грабителей сопровождал обычно вас до неминуемой следующей такой же встречи.

***

При крайнем консерватизме всего жизненного уклада Афганистана, охранявшегося ревниво непосредственным окружением хана, нерешительные попытки Амануллы не изменить, а только лишь слегка коснуться кой-каких из вековых устоев жизни, пусть и отдаленно лишь затрагивавших прерогативы знати, не могли не вызвать недоверия этих кругов к правителю. Для окружения и особенно для англичан, Аманулла стал persona non grata, которую вовремя следовало поначалу удалить из театра действий, а затем и устранить от управления государством. „Les absents ont, — согласно французской пословице, toujours tort“. На сей предмет в Европе были распространены данные о сказочных богатствах девственных недр Афганистана, ожидающих лишь охотника их разведать и использовать. Первой клюнула на эту рыбку, искавшая отчаянно повсюду приложения своего труда, Германия, а за ней пришла и Англия, посвященная, естественно, в секрет. Аманулла со свитой был поначалу приглашен в Германию. Я находился в составе свиты. Празднества и чествования в Германии длились около трех недель. Гостю показывали все, чем страна богата и чем таровата; его возили по фабрикам и заводам. Всем известно было, что немецкие мастера, по заказу или в подарок, приготовили две небывалые еще кровати, где золото соперничало с редчайшими сортами дерева. Обласканный и обольщенный Аманулла отправился теперь в Англию, где с нетерпением ждали прибытия ставшего вдруг именитым гостя. В Англии прием был и вовсе головокружительный, исключавший возможность и задуматься о родных пенатах. А следовало бы! Празднества следовали за празднествами, и дело дошло даже до примерной морской баталии, которую разыграл перед восхищенным таким вниманием маленьким сатрапом английский флот. Все было в точности рассчитано и использовано, согласно имеющимся традициям. Отсутствие хана должно было длиться столько времени, сколько необходимо было для формального низложения и для организации временного Совета Управления. Теперь и Аманулла мог убедиться в том, что „лесть гнусна, вредна“, но только поздно и уже совсем „не впрок“. Ворота Афганистана были для него закрыты, но личное имущество было все же возвращено ему и ряд верблюдов уносил его богатства.

Интересно сопоставить эту поездку Амануллы с посещением тех же стран и около того же времени, индийским писателем, поэтом и общественным деятелем, Рабиндранатом Тагором. Оказанный Тагору прием в Германии был также исключительным. Все круги, научные, промышленные и политические, правда, кроме военных, чествовавших специально Амануллу, в лице своих наиболее авторитетных представителей, демонстрировали

перед гостем достижения и успехи Европы на всех поприщах мирного человеческого труда. И было, что гостю показать!

В своем ответе Тагор отдал должное потраченным усилиям и достигнутому результату, но признался, что все успехи техники его оставляют равнодушным. Меньше всего в этих достижениях усматривается заботы о человеке, меньше всего в них содержится удовлетворения присущих человеку нужд и устремлений.

Правда, перед Тагором не демонстрировали достигнутой небывалой мощи флота и об успехах Европы в этом направлении он не мог судить...

Так закончилась и моя восточная эпопея, уж очень походившая подчас на сказку. И вот, я снова на старом континенте, кстати, совершенно изменившем свое памятное мне обличье, в новой, очевидно коже, и я, вынужденный с начала и по-новому строить свою жизнь.

*
**

Наш гость закончил свой рассказ, а мы с отцом долго молчали под впечатлением столь богатой и необычной жизни. Первым очнулся мой отец и, пожимая руку гостю, горячо и сочувственно стал заверять его в своей готовности всячески быть ему полезным в его новом начинании. Я же, как зачарованная, неотступно следовала за Иосифом повсюду, куда направляла его судьба, и, равно как и отец, вся была заполнена желанием содействовать ему, помочь наладить снова свою жизнь. В этом человеке, — это чувство одинаково передалось и мне, и моему отцу, — было что-то, вроде шарма — изюминки, сближавшей, делавшей общение с ним легким, интересным и исключительно приятным. Как если бы присущий ему избыток магнетизма действительно притягивал к нему людей, и это притяжение было бы обоюдным. При прощании, обычно сдержанный отец, расчувствовался до того, что, обнимая гостя, прослезился и тут же заявил, что ждет его к обеду.

Но мы свиделись с Иосифом лишь через несколько недель. В Сорбонне я проглядела свои глаза, ища его повсюду. Неожиданно он позвонил, что придет к обеду. Свое долгое отсутствие он объяснил срочно понадобившейся ему поездкой в Лондон для урегулирования дел в банке. Пришлось ему повидать там старых друзей из Афганистана, и в совокупности все это отняло много дней.

Весь этот вечер он занимал наше внимание рассказами о своем пребывании в Иране. Запомнился мне красочный рассказ о его сближении с одним из телохранителей шаха, гигантом непомерной силы. У этого богатыря получались странные при-

падки невыносимых головных болей, когда понижалось также резко зрение.

— После долгого и безрезультатного лечения у врачей, — рассказывал Иосиф: — по настоянию моего больного этот офицер обратился ко мне за помощью, и я решил на нем испробовать силу своих рук. Одного прикосновения к голове его было достаточно, чтобы не находивший покоя страдалец, не спавший более двух суток, успокоился и вскоре глубоко уснул. После долгого сна он проснулся с нормальной головой. Признательный пациент не знал, как отблагодарить меня и решил во что бы то ни стало подыскать мне хорошую невесту. В Иране браки совершаются обычно загодя, когда брачущиеся еще дети. Родители юного жениха сговариваются с родителями еще более юной невесты и с момента заключения сделки задаривают невесту, ожидая пока она немного подрастет и созреет. Он нашел для меня знатную, красивую и, конечно, юную невесту и дело было только за моим обращением в мусульманство. По этому поводу я имел даже беседу с муллой, утверждавшим, что мусульманская религия основана по преимуществу на гигиене: чистое тело является залогом чистой также и души. Так, девушке в приданое в бедных семьях обязательно дают по меньшей мере три медных таза различной емкости, соответственно подлежащим омовению частям тела.

Крещенный католиком при рождении, я вырос в православной России по существу без религии и к религиозным вопросам оставался совершенно равнодушным. Дело шло о возможности, предвосхищая привилегии, полагающиеся „сущим во гробе", перевоплотиться еще при жизни в перса магометанина, женатого на юном существе, со всеми последствиями такого начинания в отношении самого себя и окружения, не говоря уже о прочем. С воскресшего мертвого в этом отношении, я считал, взятки гладки, но живому все же следует подумать... Сроков для раздумывания я себе не ставил и время упорядочило это дело к взаимному удовлетворению сторон.

***

Посещения Иосифа все учащались и вскоре стали ежедневными. В Сорбонне мы встречались с раннего утра; вместе шли ко мне домой и разлучались только поздно ночью. Как-то, после длительной беседы „по душам", Иосиф, прощаясь, отвечая, очевидно, моему волненью, в присутствии отца поцеловал меня. Я, прильнув к нему, ответила горячим, долгим поцелуем.

Дальнейшее следовало в каком-то торжественно-многозначительном молчании, без слов. На следующий день, это было,

помню, воскресенье, Иосиф явился с букетом алых роз и снова мы поцеловались. Так, без объяснений и признаний, состоялось наше обручение. С этого дня начались повторные беседы Иосифа с отцом без моего участия. С невольным беспокойством я ждала исхода этих совещаний и вскоре отец мне объявил, что Иосиф надежный, хороший человек.

— Время сейчас совсем не стойкое, — заметил он: — продолжайте ваши занятия в Сорбонне, а тем временем выяснится, куда мы все идем. Иосифа я беру в свое предприятие. Подождем, сколько понадобится и вы поженитесь. — И, помолчав, добавил: — Жаль, не дожила твоя мать до такого дня.

Слезы оросили мое лицо и, прижавшись друг к другу, долго мы сидели молча, каждый во власти своих мыслей.

***

Сближение с Иосифом невольно отдалило меня от нашей многочисленной родни. Частые прежде встречи и общения теперь свелись к редким телефонным разговорам. Необходимо было теперь, когда моя судьба определилась, порадовать доброй вестью справедливо недовольных моим поведением друзей.

В один из праздничных дней молодежь заполнила нашу небольшую квартиру. Восточный облик Иосифа привлек всеобщее внимание, и все заинтересовались его необыкновенным прошлым. Иосиф демонстрировал кой-какие из упражнений, касающиеся внушения, каким он научился в Индии, и восхищенные зрители тут же окрестили его графом St-Germain. Отец объявил о нашем обручении и под звон бокалов все бросились нас поздравлять. Поцелуи и рукопожатия расположили подогретую шампанским атмосферу и тосты с пожеланиями нам всяких благ провозглашались беспрерывно. Неожиданно мой кузен, студент, самый симпатичный, должна сказать, из всей моей родни, усиленно ухаживавший за мной, поднял бокал и голосом, покрывшим шум, раздельно и торжественно провозгласил:

— За успех нашего спасителя Гитлера в его благородном намерении расправиться с большевиками.

Не успели еще гости реагировать на этот тост, как звон разбитого бокала заставил всех насторожиться. Вслед за этим раздался уверенный и негодующий голос Иосифа:

— Судьба заставила меня первые три года Гитлеровского правления провести в Германии. Не будь я очевидцем бесчисленных преступлений, совершенных гитлеровцами, никогда бы я не поверил, что подобное возможно в культурной как-никак Германии. Немцы показали, что означает культура для homo sapiens'a. Начав с вероломного убийства своих соратников, гит-

леровцы повторили, за малыми исключениями, все перипетии бесчинств, учиненных их предками, гуннами при покорении Рима. Убийства инакомыслящих, разрушения памятников культуры, аутодафе книг и произведений искусства с пляской озверелых наци вокруг костров, — всему этому я был свидетель. „Благородные намерения" Гитлера сводятся, очевидно, к покорению Европы, а в участи, уготованной Гитлером России, сомневаться и вовсе не приходится: русская земля давно уже, пока еще в мечтах, конечно, оккупирована немцами. Остается неизвестным, предусмотрен ли там угол для русского народа. Об этом пока не говорят. Мои юношеские годы прошли в России и я признателен приютившей меня стране. Неужели же среди русских здесь не найдется патриота, отдающего себе отчет в истинных намерениях Гитлера в отношении их страны?

Мой отец и я, далекие, как мы считали, от политики, озирали растерянно гостей. Немногие бросились к Иосифу, пожимая ему руку и благодаря. Большая часть гостей поспешно, не прощаясь, оставила квартиру. С этого дня начались наши беседы не о заморских царствах, а о стране, в которой мы живем.

***

К тому, что происходило во Франции в годы, предшествовавшие войне, к политической слепоте, к равнодушию, как и к явному предательству влиятельных кругов страны, Иосиф относился с какой-то болезненной чувствительностью. Ему, имевшему возможность слышать речи руководителей режима в Германии, неустанно разжигавших жажду реванша и ненависть к французскому народу; видевшему и наблюдавшему воочию лихорадочные усилия наци по подготовке к войне, прежде всего с Францией, с едва лишь закамуфлированными заверениями о дальнейших действиях в отношении России, преступной и губительной представлялась политика французов, пытавшихся смирением и покорностью утолить звериный аппетит давнего своего врага. Жизнь во Франции становилась все беспокойней и сложнее. И наши частые беседы касались теперь главным образом ожидающих Францию неизбежных испытаний, а с ней и всю Европу.

Я закончила свои занятия в Сорбонне; Иосиф, сделавшийся помощником отца, временно, считалось, прекратил посещения лекций. По настоянию отца мы предприняли шаги к оформлению наших отношений. И тут оказалось, что различие наших, христианских все же, религий создает ряд трудностей для брака. Надо столкнуться с подобным фактом, чтобы понять всю его возмутительную непоследовательность. Церковь печется об овцах

и право стрижки, почитая их своими, исключительно оставляет за собой. „Идти в Каноссу“ мы не собирались и узаконили свои отношения в Mairie.

⁂

Гроза тем временем все приближалась и однажды где-то очень от Парижа далеко, очевидно на границе с Германией, надежно защищенной, как всем было известно, „непроходимой стеной“ Maginot, начались военные действия, походившие на какую-то игру.

Французы не могли согласиться с тем, что им навязывают войну в момент, им совершенно неугодный и военного рвения никак не проявляли; немцы, казалось, начали кампанию, когда не была еще закончена их пограничная линия Siegfried'а и, будто неподготовленные, топтались преимущественно на месте. Месяцы уже тянулась с продолжительными перерывами эта „комедия войны“ и вдруг однажды погруженный в беззвучный мрак Париж встревожен был шумом пропеллеров и треском частых взрывов. С отцом мы бросились к окну и замерли на месте от представившейся нашим глазам красочной феерии.

Высоко под ясным, звездным небом тысячи цветных фонариков плавали в эфире: взлетали, опускались, тухли и снова загорались. Взрывы поминутно сотрясали воздух и сполохи, как огневые языки, заливали небо. Вверху, как ночью грозовой, ревело, выло, грохотало, а на земле, во власти мрака, царила гробовая тишина: молчали пушки, на постах не было людей. С соседнего окна, хлопая в ладоши, кто-то закричал:

— Да это праздник французской авиации! С фейерверком! Какая прелесть!..

Простояв у открытого окна до конца налета, мы благодушно удалились на покой. Ушла ночь и с ней ушло и благодушие. Атмосфера „непротивления злу“, случайно характеризовавшая первую встречу Парижа с ненприятелем, символизировала в общем и в дальнейшем всю эту эпопею.

Война не преминула, однако, показать вскоре свое настоящее лицо, и весть, что правительство покинуло столицу, послужило сигналом к сплошному паническому бегству населения, „куда глаза глядят“. Париж забыл о благодушии и начался „великий“ и столь же бессмысленный экзод. В критические дни немецкого наступления, никем не контролируемый и не направляемый человеческий поток, заполнивший стратегические дороги, мог лишь благоприятствовать расчетам неприятеля. Нам не оставалось ничего другого, как только растерянно глядеть на потерявшуюся людскую массу, спешившую поскорей поки-

нуть, ставший обреченным вдруг, Париж, используя все виды транспорта и передвижения от автомобиля до ручной тележки.

Прошло немного дней и улицы Парижа казались вымершими. Париж был пуст, как могло бы опустеть селение, пораженное страшным мором, средневековой чумой. Лишь кошачий плач оглашал пустые улицы Парижа, стоило только голодной кошке увидеть человеческий силуэт.

Правительственные сообщения гласили о больших сражениях, с небом во власти немецких воздушных сил и об отчаянном сопротивлении французских и английских армий. Но это были лишь арьергардные бои проигранной кампании и вскоре мы увидели вступающий в Париж бесконечный ряд грузовиков с немецкими солдатами, подобно изваяниям, восседавшими там с винтовкой у ног. Обращение маршала Петена к народу о прекращении сопротивления закончило эту „комическую войну“ подлинным трагическим финалом. Большая часть Франции была оккупирована немецкими войсками и начался ежедневный победный марш немецких кованых сапог к Триумфальной Арке.

Медленно лишь заполнялся жителями покинутый Париж. Долго еще оставались улицы пустынными во власти маршировавших с пением оккупантов. Но время все же берет свое и вскоре, внешне по крайней мере, люди будто приспособились к новому режиму: занялись меновой торговлей, а главное научились голодать. Радио, газеты, известные общественные деятели пели дифирамбы оккупанту. Видимость этого благополучия нарушали все же не прекращавшиеся убийства немецких офицеров и следовавшие вслед за этим расстрелы заложников, особенно коммунистов, чьи фамилии подолгу оставались на стенах. Редко еще дети, как мыши шмыгая в метро, распевали во все горло: „Radio-Paris ment, Radio-Paris ment: Radio-Paris est allemand“.

С течением времени, однако, немецкий гнет становился нестерпимым. На „Елисейских полях“ то и дело собирались группы молодежи, по преимуществу студентов, скандировавших нелестные эпитеты для немцев. С первыми из таких „летучек“ имели дело французские полицейские и потери при этом были незначительными. Но вскоре подавлением таких демонстраций занялись немцы и последствия для арестованных зависели всецело от произвола немцев.

Однажды моему отцу понадобилась справка в банке и он попросил Иосифа выполнить это поручение. Каждый раз, когда кто-либо из мужчин отправлялся, как мы говорили, в город, т. е. из Neuilly, где мы жили, в центр Парижа, я, обычно, домоседка, с беспокойством ждала их возвращения. И в этот раз я напомнила мужу не задерживаться на „Елисейских полях“, где

находился банк — и вот в урочный час Иосиф не вернулся. Не медля, мы подняли тревогу. Стали опрашивать знакомых молодых людей и узнали, что в этот день на „Елисейских полях“ была демонстрация, закончившаяся арестами многих участников. Один из свидетелей, студент, сообщил, что видел, как немцы задержали Иосифа, пытавшегося выбросить какую-то бумагу из кармана.

В эту же ночь нас, и без того не спавших, поднял с постелей повелительный стук в дверь. Явившиеся немцы перевернули всю квартиру; забрали книги, бумаги Иосифа и нам наказали явиться в гестапо. В продолжение многих дней тянулся наш допрос, всякий раз раздельно. Мы могли лишь подробно, ничего не утаивая, сообщить, что сами знали об Иосифе. Наши показания были совершенно идентичны. Особенно немцы интересовались частыми поездками Иосифа, да и отца, в Лондон, что они установили по их паспортам. На все вопросы отец давал исчерпывающие объяснения, и немцы оставили, будто, нас в покое, напоследок сообщив, что Иосиф отправлен для более детального следствия в Берлин в виду прежнего его там пребывания и если подтвердится все, о чем мы сообщили, то он будет освобожден. Через знакомого комиссара, мы предприняли все возможные шаги, чтобы узнать, в чем обвиняется Иосиф. Ответом было лишь многозначительное, ничего не объяснявшее молчание. День шел за днем, месяц за месяцем... Об Иосифе мы не имели никаких вестей. Однажды посетил меня кузен, пожелавший успеха Гитлеру при нашем обручении и стал уверять, что ему доподлинно известно, что в немецких лагерях, если Иосиф почему-либо должен отбывать там наказание, с заключенными обращаются очень хорошо: всюду организованы оркестры и между разными лагерями происходят даже соревнования в футбол.

К этому времени немногие лишь знали, как понимают немцы правосудие. Трудно себе представить, как могли немцы так долго скрывать существование лагерей смерти и как охотно давали себя убедить в этом, расположенные к Гитлеру, обыватели в Европе.

⁂

Как-то я познакомилась с немкой, жившей в мансардной комнате нашего дома. Она мне открыла на многое глаза. Молодая девушка с большими голубыми глазами, пухлым ртом на густорозовом лице, с вздернутым носиком и косами цвета спелой ржи, она являла собой на редкость типичный образ Gretchen. Оказалось, эта Gretchen лиш наполовину была „арийкой“. Отец ее, еврей, скончавшийся в первые дни прихода Гитлера к власти

от неизвестной причины, был женат на немке, лицо которой унаследовала ее дочь. Гитлеровцы завладели списками прихожан, посещавших в Берлине синагогу и нашли там имя, естественно, отца, но и брата, почитавшегося „без религии". Вскоре последовал арест брата, сопровождавшийся избиениями при допросах, быстро закончившихся его смертью. Среди видных наци были друзья детства этой девушки, ее ухажоры, они потребовали, чтобы она оставила Германию, так как Гитлером было установлено, что немцы наполовину, когда справятся с другими, должны будут разделить участь полноценных евреев. Немецкий народ должен быть исключительно арийской расы.

Относительно будущего немка была категорична: если только Гитлеру удастся довести свою программу до конца, то от евреев, коммунистов и всех противников режима, не останется не только в Германии, но и на свете и следа.

Время от времени нас посещала эта девушка и ее пессимистические утверждения становились все категоричней в отношении обреченности всех очутившихся во власти гитлеровцев. Последовавшее вскоре „Иродово дело", избиение евреев в Париже, не оставляло более сомнения в том, на что способны немцы и каковы их подлинные вожделения.

С этого момента ни один из умалишенных эмигрантов, обожавших Гитлера, не переступил порога нашего дома. Приятеля, желавшего нам доказать основательность их упований на помощь Гитлера, отец собственноручно выбросил из квартиры.

Были еще заумные, утверждавшие, что их цель — дать возможность Гитлеру справиться с большевиками, а с Гитлером они уже расправятся потом. Это были уцелевшие из могикан — офицеры, не препятствовавшие большевикам справиться с Керенским...

***

Настоящим потрясением для нас была весть о вероломном нападении Гитлера на Россию. Излишне здесь упоминать, что давно уже не только чувство к родине у нас совершенно испарилось, но даже мысль о родине нас никогда не посещала. Теперь, впервые за всю мою жизнь, я видела отца в слезах, молящегося о даровании победы нашему народу. Этот момент, бывший столь губительным для неподготовленной России, для французов оказался благодетельным толчком, оживлявшим надежду на избавление от оккупантов. Жильцы нашего дома, незнакомые французы выражали свое сочувствие отцу и мне и заверяли, что именно в России Гитлер найдет свою могилу. Каким испытанием были для нас первые победные немецкие реляции... На стене в столовой красовалась большая карта Рос-

сии и отец по дням отмечал там линию фронта. Уже под Минском замедлился триумфальный немецкий марш. И вот, под Москвой впервые потерпели поражение до того „непобедимые“ немецкие войска. От Москвы, которую в своем безумии Гитлер решил срыть до основания и образовать на этом месте озеро, от плененной в мечтах уже Москвы, немцы были отброшены на сто километров. Под Москвой русское воинство под командой генералов из народа проявило свою вековую силу, обрело свою, присущую ему извечно, мощь. Здесь уже отмечалось впечатление от книжки Бека „Волоколамское шоссе“. Могу лишь подтвердить, что эта, случайно попавшая мне в руки, книжечка, была и для меня как бы благовестом, возвещавшим обязательное поражение врага, а значит и возвращение Иосифа из плена. Как к Евангелию когда-то с крестом на переплете, я прикладывалась к этой книжечке, целовала пропитанные, казалось, кровью панфиловцев ее страницы... Годы поражений, отступлений, ни в чем не ослабляли мою непоколебимую веру в конечное справедливости и правды торжество... И вот пришел, должен был явиться, Сталинград, а вслед за ним и систематическое очищение родины от немецкой скверны. Преследуя отступавшего врага, русские войска оказались на немецкой территории. Немцы, привыкшие безнаказанно бесчинствовать на чужой земле, полностью испытали теперь „горе побежденных“. Сгинул Гитлер, подлинный Люцифер. Открылась вся невообразимая, невероятная правда о немецких лагерях. Стали возвращаться уцелевшие смертники из лагерей; люди, часто дети, угнанные из разных стран для рабского труда; военнопленные, солдаты... День за днем, час за часом ждала я возвращения Иосифа. Он все не появлялся. Видному адвокату в Берлине отец поручил собрать сведения о судьбе Иосифа. Архивы гестапо сохранились лишь частично. Многое погибло, многое было уничтожено намеренно. Возможным представлялось лишь установить, что Иосиф все время оставался в лапах гестапо. В суд его дело, по-видимому, не поступало.

⁂

Я видела, как сильно страдал отец, несомненно еще и за меня, как он состарился и всеми силами старалась держать на привязи свою нервозность, не усугублять еще и без того похоронной атмосферы в нашем доме. Но не всякий раз мне удавалось смыть следы бессонной ночи... Все более и более мне становилось очевидным, что жизнь потеряла всякий смысл.

Однажды, увидя в витрине объявление о продаже русских дисков, я зашла в магазин. Прослушивая песни, то грустные, то очень уж бравурные, будто с целью чрезмерным весельем скрыть

таящуюся за этим ту же грусть, я стала слушать диск на слова Симонова „Жди меня“. Конца этой песни мне не пришлось уже услышать, так как я очнулась лишь в комнате при магазине, окруженная хлопотавшими вокруг меня людьми и, не полностью еще очнувшись, я снова слышала обращенные ко мне, именно ко мне, его слова, его мольбу, „Жди меня“. И по сей час, когда мука уж очень станет мне невмочь, я слушаю эту песню в одиночестве, запершись, чтобы потоком слез утишить в сердце боль.

И я ждала... Со временем, со сроками я не считалась вовсе. Мало ли какие могли быть обстоятельства, препятствовавшие возвращению Иосифа в нормальный срок? Он мог ведь от переживаний и память потерять, такие случаи бывали и не быть в состоянии назвать себя... И неизменно я ждала минуты, когда, уединившись, могла отдаться всем существом своим мечте, как я приму его, когда он вернется; как я буду за ним ходить, его лечить, его выхаживать. А время шло... Тщетны были все наши усилия узнать, услышать что-либо, касающееся его судьбы. Однажды отец сказал мне:

— Такого человека, как Иосиф, нельзя, грешно было бы забыть... Но разве мы хозяева наших решений в этом непонятном нам и страшном свете... Жизнь, Леночка, у всех у нас одна. Дальнейшее — за нашим горизонтом. Ты молода, а значит и ответственна за годы, считанные годы, дарованные тебе природой для выявления присущих тебе качеств, а не для вегетирования, для отказа от жизненной борьбы... В таком случае, незачем было бы родиться! У нас, у стариков, есть прошлое; есть что вспомнить, чему порадоваться, пусть и в былом. Твоя жизнь была сплошным лишь испытанием. Когда же жить? Нужно снова установить связь с нашей родней. Несомненно и заблуждавшиеся узрели теперь правду.

И я обещала: „попытаюсь“.

Справляясь и звоня по старым адресам, теперь лишь я могла установить, как поредела русская колония в Париже. Особенно пострадала часть ее, ютившаяся в Passy, не так давно „столицы“ русской эмиграции. Многие из этих эмигрантов, ослепленные ненавистью к обездолившей их власти, перенесли эту ненависть на весь народ, на самое страну и отправились с Гитлером содействовать ему в покорении России. В числе „немецких“ патриотов удостоившихся загробно железного креста, был и мой кузен, провозгласивший тост за Гитлера при нашем обручении. Как реликвию, его семья хранила этот крест. С этими людьми, вынужденными скрывать к тому же свои убеждения и чувства, мне было не только не по дороге, но я их презирала и ненавидела всей своей душой. Среди родни, знакомых были все же хорошие и искренние люди, сочувствовавшие по-настоящему нашей беде,

Но я как бы окаменела, и их сочувствие хорошо еще, если оставляло меня только равнодушной.

Особенно я стала чувствительной к малейшему проявлению специфической любезности со стороны знакомых и родственников мужского пола. Знали бы они, какое отвращение вызывает их особое пожатие руки, их чрезмерная любезность, не говоря уж о намеках, бежали бы они от меня, бежали б без оглядки.

Я видела, с каким беспокойством глядел на меня отец, когда я старалась развлекать не так уж часто посещавших нас гостей. Какого мне это стоило труда...

— Займись чем-нибудь! — говорил мне отец. — Ты училась ведь в Сорбонне.

И я решила продолжить свой интерес к общественным движениям, теперь нам современным. Я просматривала ежедневно несколько газет, вникала в журнальные статьи; старалась включиться в ход, в логику событий. Но в этих событиях нередко я была не отдаленным зрителем, а живой свидетельницей, потерпевшей стороной. И такая явная „толчея в ступе“ не воды, а крови, мне стала противной до того, что и политику я завесила „траурной, именно траурной тафтой“ и к газетам вообще не прикасалась.

По совету отца я стала посещать музеи. В Париже их множество с богатейшим контингентом замечательных картин. „Какая гарантия“, рассуждала я: „что подобно Сулейману, сжегшему Александрийскую библиотеку, содержавшую незаменимый запас древнейших рукописей и книг, под предлогом: „Если в этих книгах имеется то же, что в Коране, они бесполезны; если чего нет в Коране, они вредны“, не появится однажды новый Гитлер-Сулейман, который к тому, что уничтожил прежний Гитлер, присоединит еще и оставшиеся сокровища под предлогом, что они не согласны с духом наци. А что сделали испанские монахи, явившиеся просветить, „евангелизировать“ страну Майа, Инков и во имя Христа систематически уничтоживших цвет этих народов, а с ним и их интереснейшую и своеобразную культуру? И это в XVI веке после Рождества Христова. Как часто, глядя на произведения Рафаэля, Тициана, Рембрандта я думала: „Боюсь, что когда-нибудь придет и ваш черед под предлогом хотя бы, что то ли вы слишком, то ли недостаточно реалистичны...“. Посещение музеев с целью изучения искусства, это одно дело; другое для развлечения и отвлечения... И вскоре я снова очутилась в опасном одиночестве, сама с собой. Вы согласитесь, друзья мои, что дальше этих рассуждений идти было некуда; что за такими мыслями следуют обычно действия, а не силлогизмы. И все чаще я стала подумывать о „мере“, к которой не-

избежно прибегают люди в моем положении. Жаль было отца. Он не заслужил с моей стороны подобного сюрприза. Все повелительней становилось это захватившее меня влечение. Я чувствовала, что теряю над собой контроль и в своем смятении покаялась о своем состоянии одной из теток.

Всполошившаяся тетка стала меня уговаривать обратиться к известной в парижских кругах даме, имеющей особый дар способствовать возвращению вкуса к жизни у отчаявшихся женщин.

Я созвонилась с дамой и она, предупрежденная, дала мне срочно rendez-vous. Я очутилась в полутемной комнате с завешенными окнами, едва освещенной настольной лампой, лившей близкий к оранжевому, золотистый свет. Симпатичная дама, с приятными чертами немолодого уже лица, с неопределенным, менявшегося цвета выражением глаз, в которых попеременно бегали, сменялись огоньки, приняла меня покровительственно любезно. Как умный, терпеливый доктор, она заставила меня, не считаясь с временем, до дна опорожнить свое нутро, тайники и сердца и извилин мозга. Большую часть времени с закрытыми глазами она внимательно, казалось, выслушивала историю моих переживаний, жалоб на злоключения, неизменно сопровождавшие мои молодые годы, как и на обрушившуюся теперь на меня беду, переполнившую чашу моего терпения, да и моих сил сопротивления.

— Единственного решения, с которым я уже сжилась, как с неизбежным, я не могу выполнить из-за чувства безграничной жалости к моему отцу. Эта альтернатива — тяга к принятому уже решению и сознание долга перед отцом и составляет теперь драму моей жизни. Я оказалась в заколдованном кругу. Помогите мне, если можете, найти выход из лабиринта, в котором я блуждаю и мечусь.

Закрыв рукой глаза, дама долго оставалась погруженной в размышления. Я, до дна выпростав свое нутро, обессиленная, ждала ее решения. С закрытыми глазами, проникновенным голосом, она начала мне объяснять.

— Мы, божьи создания, погрузившиеся в тину земного существования, несем всю ответственность и все последствия подобного заблуждения. Учение Эдди Беккер, удостоившейся откровения свыше, открыло нам путь к разрешению неизбежного противоречия между окружающей нас действительностью, как она нам представляется и какой она есть на самом деле. Мир совершенен, но он духовен. Материи не существует. Божья воля проявляет себя во всем. Наши суждения о несчастьях, о болезнях, это наше земное заблуждение. Необходимо постепенно усвоить представление, что мироздание совершенно и со-

вершенно божье создание, человек. Нужно только отбросить наш материалистический подход к тому, что происходит в мире и тогда сознание мировой гармонии устранит все противоречия. Сосредоточившись, я вижу вас свободной от земных привязанностей… К вашим молитвам я присоединяю свои, чтобы…

Но я не слушала больше голоса, показавшегося мне поначалу откровением. Поблагодарив prêtress'у за ее желание за меня молиться я ушла.

⁂

После урока, полученного у этой дамы, больше уж я не прибегала к помощи себе подобных, пусть и просветленных благодатью свыше. Я поняла, что подобная моей проблема не может иметь извне навязанного, стереотипного решения. Приходится, пришла я к заключению, при создавшихся условиях, нести свой крест, покуда хватит сил, до грани своего терпения. Сознание, что на худой конец имеется вполне надежное решение, и ключ к этой задаче в моих руках, позволило мне выполнить свои обязанности по дому и играть роль живой среди живых.

Теперь мое земное благополучие зависело всецело от состояния моего отца. На него я перенесла всю свою заботливость, весь оставшийся еще у меня запас жизненной энергии, всю свою любовь. На глазах он старился и слабел. Беспокойный, испытующий его взгляд, каким он украдкой оглядывал меня утром при встрече, причинял мне физическую боль. И я похоже, мне казалось, изображала хорошо отдохнувшую, довольную, заботливую дочь.

Так тянулись месяцы, проходили годы. Временами я оставалась в одиночестве: отец уезжал в Лондон по делам. В эти дни я учиняла сердцу и памяти допрос с пристрастием. Я спрашивала: сохранилась ли в памяти, не забылась ли вся несказанная прелесть нескончаемых рассказов Иосифа о его блужданиях по свету, о всем том, что он видел и что переживал? Чувствует ли сердце свет, излучавшийся, теплоту, исходившую от всего его, интересом, любовью к людям исполненного, казалось, существа? Не забыло ли сердце бездонную, жгучую, завораживавшую глубину его прекрасных, черных глаз, затмивших полностью ставшие призрачными для меня теперь глаза Адама? А его, насыщенные магнетизмом, руки; их прикосновение я ощущала, как электрический заряд. „Как нежданно, негаданно ты появился на моем пути, так непонятно и исчез, оставив лишь как „тучка золотая“ мучительный, неистребимый след в моей груди. Где ты, Иосиф? Почто оставил ты меня, неутешную вдову?“ Как русские бабы перед пожаром, уносящим избу и все накоп-

ленное там добро, истошно я вопила, дав волю горючим своим слезам в отсутствии отца.

Возвращался отец и все принимало свой обычный вид.

***

Однажды отец явился в сильном вобзуждении.

— Мы скоро здесь, Леночка, шерстью обрастем, живя в таком уединении, в Neuilly. Сейчас я попал на Champs-Elysées и вижу тысячи людей у синема. Оказывается, идет неделя русской кинематографии, а нам это невдомек. Непростительно, что ни говори. Билеты, конечно, все распроданы. Но где такой ажиотаж, там должны быть и барышники, я подумал. И стал терпеливо обходить толпу. На ловца, известно, зверь бежит. Тут же мальчишка предложил мне оставшийся у него билет на последний день „недели", на фильм под названием „Когда улетают журавли". Приятнее, конечно, было бы смотреть фильм „Когда прилетают журавли". Но будем надеяться, что ранняя осень это вовсе не столь уж печальная пора... У него оставался только один билет. Кстати, в этот день я должен быть в Лондоне. Придется тебе уж в одиночестве побывать на фильме. На следующий день утром я буду дома, и ты расскажешь мне, о чем трактует фильм с таким названием и как провела ты этот вечер.

***

В переполненный зал я вошла в последнюю минуту. Пробралась с трудом к своему месту и бегло оглянулась, почувствовав на себе взгляд моей соседки. Изумительные синие глаза тепло встретились со мною взглядом и я невольно улыбнулась. Могу сказать, за много, много дней... Открылся занавес и всем своим вниманием я отдалась тому, что представлял экран. А там война врывается в молодую, лишь начинающую свою жизнь семью. Мужа мобилизуют. Несмышленая жена, увлеченная ничтожным, подлым паучком, из приспособляющихся, когда-то другом мужа, несет последствия минутной слабости. Следуют месяцы мучительных раскаяний и рождение ребенка. Страшные, долгие годы проходят в ожидании без вести пропавшего мужа, в действительности погибшего уже в первые месяцы губительной войны. Приходит час победы. Несметная толпа встречает возвращающихся, уцелевших воинов. С цветами в руках мечется по площади, обливаясь слезами, всматриваясь в лица прибывающих, не знающая еще о своем вдовстве, жена. Но, редеет площадь. Явно становится несчастье. В осеннем небе виден журавлиный косяк, улетающий в другие, в теплые края...

Я не помню, как, дрожа, в слезах, я очутилась в объятьях моей соседки с синими глазами. Моя голова покоилась на ее плече и, сама в слезах, она крепко прижимала к себе мое содрогающееся тело. Молча, я вышла из кино в сопровождении соседки и ее мужа.

— Позвольте представиться, — заявил он, склонившись предо мною: — Василий Константинович Дубинин, в прошлом моряк, теперь, естественно, шофер, а дама, с которой, будто, вы уже знакомы, моя жена, Софья Валерьяновна. Членом, и немаловажным, нашей семьи является моя машина. Она здесь, неподалеку и ждет лишь приказания, куда вас отвезти.

— Не знаю, как вас благодарить за вашу доброту. Я — Елена Никодимовна Копылина, живу в Neuilly, и буду счастлива, если вы согласитесь, хоть час и поздний, зайти ко мне. Я сейчас одна. Отец мой в Лондоне и приезжает завтра. Своим согласием вы обяжете меня, скажу вам напрямик, навеки. Очень вас прошу не отказать зайти ко мне. Я не представляю себе возможности, боюсь остаться сейчас наедине с собой. Простите, предупреждаю, я не из очень веселых собеседниц...

Мы расстались, когда уже рассветало. В объятиях Софьи Валерьяновны, я снова пережила печальные страницы моей неудавшейся, разбитой жизни. И от моих гостей, ставших вскоре нашими верными друзьями, я выслушала признания в унисон моим. Гости обещали вечером быть у нас к обеду, чтобы познакомиться с моим отцом.

Дружеская беседа „по душам" и следовавшие за ней несколько часов сна подкрепили и успокоили меня больше, чем снадобья, которые без конца я принимала. Могу сказать, я чувствовала себя, как если б выкупалась в „живой воде". Возвратившийся отец был приятно поражен моим хорошим видом и сейчас же осведомился о русском фильме. Содержание фильма не располагало к оптимизму. Но мое знакомство в кино привело его в восторг. Дубинины сдержали свое слово и вечер до поздней ночи прошел в воспоминаниях о событиях в Петербурге; о надеждах, связанных с ожиданием переворота и о его последствиях, лишивших нас родной страны.

С этого дня наше затворничество пришло к концу. Энергия Дубининых была несокрушимой. Поездки в Булонский лес, посещения концертов, театра, особенно, когда приезжали русские артисты, позволили нам с отцом, хотя бы отчасти, вернуться к настоящей жизни. Но дружеское участие Дубининых оказалось особенно ценным, когда серьезно заболел отец, давно уж скрывавший, оказалось, свою сердечную болезнь. Могу сказать, что не будь около меня четы Дубининых, я не пережила бы, не пожелала бы пережить потерю отца — друга, которого, как я

считала, свели в могилу мои печали. Страшные месяцы, следовавшие за смертью отца, я провела в полузабытье. Необходимые формальности, неизбежная волокита, сопряженная с наследством, легли всецело на плечи заботливых друзей. Ожила лишь я, когда очутилась в Булони, около осевших там русских эмигрантов, заменивших мне мою семью. Там, под теплым, ангельским крылом Софьи Валерьяновны, снова открылась мне жизнь живых со всем тем, чем она радует и чем печалит человека.

С присущим мне теперь неутомимым интересом к творящемуся на свете и прежде всего на родной земле, и я включаюсь в работу нашего Содружества по изучению того, что за время нашего отсутствия создал нового и что пережил народ за последние, столь ответственные годы. И подобно друзьям и я со всей теперь присущей мне энергией и убеждением заключаю: „Да будет плодотворен и радостен наш путь: Аминь!“.

⁂

— И мне не остается ничего другого, — заявил Безладный, — как вслед за Еленой Никодимовной с такой же верой и убеждением в правоте и срочности задуманного нами дела, провозгласить: Да будет плодотворен и радостен наш новый путь!

Все мы здесь дети, пусть и знаменательных, но все же беспокойных лет, и все мы несем последствия великих социальных сдвигов. Случайна и сложна обычно индивидуальная судьба в подобные эпохи. Пусть же в нашем дружеском общении печальное прошлое Елены Никодимовны канет понадежней в Лету. Пожелаем ей благополучия и удовлетворения на новом жизненном пути.

Поблагодарим милых хозяев за гостеприимство. Следующее заседание в урочный день и час.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

К назначенному часу все члены Содружества были налицо. Предстояло выступление доктора Никудышина Алексей Семеныча, он же писатель, побывавшего во многих переделках. Настроение у всех было повышенное и к трапезе приступили празднично и шумно.

Экскурсия Копылиной в далекую от родной, потустороннюю обитель, отвлекла было внимание друзей от юдоли земной. Но не надолго: закон Ньютона, о чем напомнил вовремя за столом Харонин, покуда не был отменен, и любой полет в заоблачные сферы неминуемо должен закончиться возвращением на земной насест.

— И все же, — заметил Лампадин: — насколько заманчивыми исстари представлялись человеку эти дали, как мало дружественной к своему созданию оказалась мать его, земля, если в момент, когда человек передвигался почти единственно на своих двоих, мечты о пространствах ввысь с отрывом от земли с младенчества его не оставляли. Сказание о печальной судьбе Икара, мифического пионера воздухоплавания, пытавшегося на крыльях, сделанных его отцом Дедалом, из скрепленных воском перьев перелететь лишь Дарданеллы (Гелеспонт) в несколько километров шириной, свидетельствует красноречиво о сладости и неизбежной горечи последствий таких мечтаний. Трудно поверить, но, правды ради, уместно здесь упомянуть, с риском, конечно, возмутить и доброжелательных к нам иностранцев, что, как свидетельствуют записи Александровской слободы, что около Москвы, за 1651 год, в царствование, значит, Грозного Иоанна, не кто иной, как смерд Никитка, боярского сына Лупатова, оказался продолжателем Дедала: „он летал, хлопая крыльями, при большом стечении народа“.

Но оставим „древнюю историю“. Уместней вспомнить мудрое замечание современного нам Горбунова о стремлении человека ввысь: „От хорошей жизни не полетишь“. Если полетели, ergo не для развлечения, а как говорит пословица: рыба ищет, где глубже, человек, где лучше.

— Так прославим же подвиг нашего компатриота, крестьянского, как и Никита, сына, Юрия Гагарина, перенявшего пусть и не факел у сородича Никитки, а лишь лучину и пронесшего ее теперь уже факелом по фирманенту напоказ всем людям мира, — торжественно заявил Дубинин. — По этому случаю, дорогая хозяюшка, не находишь ли ты, что сейчас и следует распить спрятанную тобой бутылочку, ожидая подходящего момента.

Трапеза закончилась звоном бокалов и христосованием гостей с хозяйкой и хозяином.

*
**

Очередное заседание „Клузарусина“ началось в положенное время. По оглашении протокола прошлого заседания, за неимением замечаний, Безладный подытожил в нескольких словах путь, пройденный Содружеством, путь к очищению и сближению и предоставил слово Алексею Семеновичу Никудышину.

— Мне выпал жребий, я бы сказал и честь, — начал свою исповедь Никудышин: — своим покаянием продолжить подготовку ко взятой нашим Содружеством на себя задаче с чистым сердцем, по-сыновнему причаститься к горестям и радостям, так непростительно и продолжительно нами позабытого, своего народа и отечества. У всех у нас в памяти печальные откровения друзей. Приходится и мне заняться очищением своего нутра от бережно хранившихся там, под наименованием реликвий, изживших себя святынь, „горестных замет“ и просто хлама.

Начну с того, что я появился на свет, по-видимому, не вовремя и, конечно, уж некстати, в момент увеселительного пребывания семьи на Лазурном берегу в Ницце. Это символическое и будто бы формальное только обстоятельство по французской пословице: „Qui trop embrasse, mal etreint“ — кто много объемлет, плохо приемлет, оказалось вовсе не таким „академическим“ и причинило мне впоследствии много испытаний. Если у Рублева начались напасти в десять лет, то ко мне, как видите, неудачи стали липнуть уже от самого рождения. И все же к „неудачникам“ я отнюдь себя на причисляю. „C'est la vie“, как говорят французы.

Золотая пора моего детства, промчавшаяся с быстротой вешних вод, относится, по моему расчету, лишь к ранним годам моего существования.

„Дети, по утверждению художника Кандинского: — воспринимают непосредственно и без труда прежде всего красочную гармонию картины, мало интересуясь ее содержанием и темой“. Таково, по-видимому, отношение детей и к их окружающему миру. „Comme c'est beau, la neige“, говорит трехлетний парижанин, увидя впервые снег, не задаваясь мыслью о природе такого удивительного феномена. Ничего нет сверхъестественного в том, что поначалу и у меня создалось представление о мире, как о красочном и гармоничном цветнике.

Мы жили в Москве неподалеку от ботанического сада. Там в ежедневных прогулках сначала с няней, позже с гувернанткой, я неминуемо общался с окружением и с невольным любопытством вглядывался в представлявшиеся мне столь заманчиво притягательными краски и очертания всего, что видел глаз вокруг. Тенистые, то залитые светом, то сумрачные, терявшиеся вдали аллеи сада, голубой небесный купол, венчавший казавшиеся бесконечными, ряды тянувшихся далеко и высоко в блестящем, зеленом убранстве деревьев; то хмурившийся, то глядевший во все горячие глаза, всегда на страже, солнца круглый лик, неумолкавший птичий гомон, должны были пленить мое воображение и на всю жизнь запечатлеть в памяти „сладкую песню отчизны моей“. Последним чудесным и навсегда запомнившимся видением этих лет была царственная Виктория Регия в цвету. Ее огромные, округлые с загнутым вверх краем, распростертые на поверхности воды, зеленые, способные удержать ребенка, листья; почти полуметровые цветки, как у лилий, меняющие свою окраску от белого до ярко-малинового цвета, гармонично сочетали в представлении ребенка монументальное с прекрасным. Мое детское воображение было заполнено в моменты одиночества, я помню это хорошо, причудливыми очертаниями не имевших наименования, возможно и несуществующих предметов, как и виденных и не виденных мною красочных сочетаний удивительных узоров и цветов. С детских лет я засыпал с трудом и в долгой предсонной полудремоте испытанное и воображаемое, сплетаясь и расчленяясь, живой непрерывной лентой проходило на мозговом экране в точности, как если бы на яву. Это мое безмятежное приобщение к дарам и таинствам природы было, увы, недолговечным.

⁂

Мой отец, юрист, после долголетнего стажа у известного адвоката в качестве помощника, к моменту моего появления на свет был принят в сословие присяжных поверенных и начал самостоятельную практику в Москве. Среди коллег отец был на виду,

его клиентура множилась и через несколько лет мы переехали на Арбат в новоотстроенный, многоэтажный дом.

Из некоторого подобия почти безлюдного и мирного эдема, я очутился в шумном, многоголовом и разноголосом торжище людском. Уже трамваи, носившиеся по узким улицам Москвы со скоростью болида с громоподобным звоном, внушали ужас. Мое приспособление к новым условиям существования не обошлось без потрясений: к бессоннице вскоре присоединилось нечто вроде агорафобии. По улице я мог идти, лишь сжимая руку матери или гувернантки. Подтвержденная врачами моя исключительная чувствительность и впечатлительность, как нельзя лучше, сочеталась с уже упрочившейся за мной славой по меньшей мере кандидата в гении. Не раз я слышал рассказ матери, как в полтора года я иронически ответил посмеявшейся надо мной няне. Заметив на груди няни часики, в эйфории насыщения, я спросил, что это такое...

— Это же котлетка, видишь, круглая, как эта, что ты ешь, — сказала няня.

Помедлив, я ответил:

— А может, — супик?

Этому ответу нельзя отказать, по меньшей мере, в некоторой загадочности, характеризующей, как известно, ответы мудрых пифий. Но звание гения не является пожизненной синекурой. Время от времени приходится право на эту декорацию все же защищать... Очередное испытание и было „последним днем моей Помпеи".

На вершине нашего многоэтажного дома проживал с семьей композитор-музыкант. Днем и ночью проникали к нам то мелодичные, то громоподобные звуки инструментов. Моя мать, консерваторка, с обожанием прислушивалась к этим упражнениям. Отцу музыка мешала заниматься, как и, естественно, не облегчала сна. Мать завела знакомство с композитором и он стал у нас бывать. Этот, казавшийся мне страшным, человек, огромный, худой и всегда лохматый и раздул издавна тлевшую, очевидно, между отцом и матерью искорку раздора. Сцены все учащались, когда под мефистофельский смех отца, мать истерически кричала:

— Он бог, он бог, он бог...

Я хорошо запомнил это слово.

При посещениях гостей нередко мне разрешалось демонстрировать свои таланты танцора, декламатора и особенно, конечно, умного галчонка. В момент моего выступления однажды сверху послышались звуки „то флейты, то, будто, фортепьяно". Кто-то из гостей осведомился, откуда эта музыка. Отец негодующе пояснил:

— Это сумасшедший музыкант, сосед, он отравляет нам существование.

— Побойся Бога, Алексей, — вмешалась мать.

Растерявшийся гость, с целью разрядить, очевидно, атмосферу, спросил меня, смеясь:

— Ты видел музыканта? Что ты о нем скажешь?

Я стал в позу и, подражая матери, закричал:

— Он бог, он бог, он бог! А ты, — указывая пальцем на отца: — в музыке мандал.

Дальнейшее разыгралось с космической быстротой. Отец вскочил, схватил меня за шиворот и со словами:

— Ты глупый попугай, а не ребенок, — поволок в свой кабинет.

Под отчаянный стук в дверь и истерические крики матери он положил меня на стул и деловито, не спеша, длительно и больно отодрал.

⁂

Не опасайся я преувеличений, я мог бы смело утверждать, что эти мучительные несколько минут, если не полностью определили, то уже во многом обусловили дальнейшую формацию моего отрочества и детства.

Много позже, гимназистом, я решил прочесть попавшую мне случайно в руки „Анну Каренину“. Первые строки повествования меня сразили.

„Все смешалось в доме Облонских“... Книга выскользнула из моих рук и впервые за все эти годы я залился горючими слезами. Смутно запечатлевшиеся в моей памяти события, следовавшие за брутальной экзекуцией, ожили внезапно, обрели вдруг плоть и кровь. Когда, после длительного пребывания в постели, утихли боли и, главное, сгладились нервные явления, последствия такого шока — и правда, все вокруг было против прежнего иным. Квартира будто опустела. Приглушенными стали голоса. Исчезла гувернантка. Ее обязанности выполняла мать и часто ночами меня не покидала. Подолгу отсутствовал отец. Прекратились посещения гостей. Часами мать оставалась за роялем и клавишам, очевидно, поверяла свои затаенные мучения и свою невысказанную скорбь. Лишь запоздалым, отдаленным эхом прошлого проникали к нам порою приглушенные звуки музыки из квартиры переставшего у нас бывать соседа... Сумерки сменили дни...

Моя жизнь снова озарилась светом в момент, когда в короткий срок я постиг тайну алфавита. Грамота приобщила меня к настоящей жизни. Мир получил свое крещение. Так, пугавшая меня прежде улица, теперь влекла к себе неотразимо. Очевидно, не только „в созвучьи слов живых“ есть благодатная сила, но

и в созвучьи в слове звуков. Я хорошо помню испытанную мною радость, когда я впервые прочел вывеску „Булочная и кондитерская“ и в окне увидел предметное воплощение этих слов. С этого момента мое излюбленное лакомство — пирожное, кроме вкусового, приобрело еще как бы и интеллектуальное значение. В дальнейшем, скорее улица с ее непрерывной, кинетической сменой впечатлений, разверзла мои зеницы на окружающий мир, чем во множестве имевшаяся у меня детская „литература“.

***

Я вижу себя приготовишкой гимназистом с коротко остриженной по-арестантски головой, трепетно воспринимающим объяснения учителей, как если б это были откровения свыше. С нетерпением я ждал конца уроков, чтобы по возвращении домой, поверить матери все, чем обогатила меня школа в этот день. Лишь постепенно, не без труда я изжил свою нелюдимость, не позволявшую мне сближения с учениками и зажил жизнью класса.

Шли годы и все настоятельней и громче через казалось бы непроницаемые гимназические стены стала проникать в училище улица с ее политической, каждодневной „злобой“. Учащавшиеся забастовки и заканчивавшиеся безжалостными избиениями участников демонстранции студентов и рабочих, не могли не привлекать внимания и не вызывать протеста молодежи.

С младших классов неизменно за мною шла слава первого ученика по русским сочинениям. Как-то, после с особой жестокостью подавленной одной из демонстраций, мой соученик Алексеев-Попов обратился ко мне с предложением написать прокламацию, клеймящую поведение полиции. Я охотно согласился и даже перевыполнил задачу, поскольку пришлось смягчить глаголы и снизить степень прилагательных. Вслед за этим Алексеев-Попов и классом нас старший Бутаков решили заняться в ускоренном порядке моим политическим воспитанием и дали мне прочесть судебный отчет процесса революционеров „Народной Воли“, участников убийства Александра Второго. Подробный отчет печатался день за днем в газете того времени со странным названием „Гатцука“.

Должен сознаться, что Александра Второго я чтил за его реформы и прежде всего за пусть и куцое, без земли, освобождение крестьян, приписывая, как это значилось в литературе, недостатки этой реформы проискам и давлению дворянства, от которого государь зависел.

Незыблемая вера членов „Народной Воли“ в террор, как единственного по тому времени средства борьбы с самодержавием; их безграничное самоотречение при многочисленных поку-

шениях с подготовкой, требовавшей нечеловеческих усилий воли и исключительной изобретательности; самозабвенное поведение заведомых смертников на суде, особенно их главы, крестьянина Желябова, случайно арестованного на квартире у Тригони 28-го февраля, накануне покушения; сардонический его смех, когда прокурор Муравьев говорил о возмущении народа покушением, вызвавший замечание Муравьева:

— Когда Россия плачет, Желябовы смеются; — безграничное самообладание и жертвенность губернаторской дочки Софьи Перовской, взявшей на себя руководство покушением после ареста Желябова... все это потрясло меня и поразило. Много позже мученическую судьбу Софьи Перовской поэт запечатлел в стихотворении, ставшем песней:

Что мне она, не жена, не любовница,
И не родная мне дочь?
Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь...

Убедившись, что прочитанное меня взволновало и я его хорошо запомнил, друзья дали мне в классе прочесть брошюрку об убийстве итальянского короля Гумберта I рабочим — итальянцем Bresci, вынужденным в поисках работы, чтобы прокормить свою семью, отправиться за океан. Там, в обрывке газеты за скудным завтраком он прочел, что управление его города ассигновало большую сумму на постройку триумфальной арки в честь приезда короля. Подобная расточительность управления при отсутствии помощи многочисленным безработным, показалась ему такой чудовищной несправедливостью, что он решил копить деньги, чтобы приобрести револьвер и наказать примерно короля.

Я стал читать брошюрку тут же в классе, держа ее под партой поначалу, но, увлекшись, забыл, где нахожусь и очнулся лишь в момент, когда учитель русского языка протягивал к брошюре руку. Прежде чем вскочить, я передал листки напарнику, препроводившему их дальше, а сам так посмотрел на учителя, что он, убрав руку, молча удалился. Вся сцена была полностью немой. Ученики согласно утверждали, что у меня был вид убийцы.

Мои воспитатели продолжали опекать меня, регулярно снабжая нелегальной литературой, имевшей к тому ж и в классе широкое хождение. Однажды друзья предложили мне прийти на собрание, где будет обсуждаться весьма важный тезис революционной тактики. На мой вопрос, что это за тезис, ответ был — о терроре. С чувством, походившим на озноб, я робко заметил, что террор был роковой ошибкой, как же можно ее снова повторять?

— Тактика зависит от момента, — следовало разъяснение. — На собрании будет оглашена переписка по этому вопросу с компетентными сферами в Петербурге.

Я обещал прийти.

Перспектива участия в качестве лишь слушателя в подобном совещании лишила меня сна. До такого взлета революционного экстаза я еще, очевидно, не дошел, а теоретических основ для самостоятельного суждения у меня, конечно, не хватало. Ведь свое политическое воспитание я начал не с азов, как это естественно для каждого вопроса, а с ижицы, так сказать, конечного пункта алфавита... Приходилось возвращаться вспять, необходимо было подойти к истокам социальной мысли и движения. Откровением стала для меня книга Бельтова-Плеханова: „К вопросу о монистическом взгляде на историю". Это была поистине отходная народническим увлечениям одинокой интеллигенции, почитавшей общину прообразом социалистической ячейки; отрицавшей возможность развития капитализма в России, а с ним и появления пролетариата; противопоставлявшей делающих историю „героев" инертной массе — „нулям", и за своим бессилием вынужденной прибегать к индивидуальному террору, как средству борьбы с бесправием. Изучив эту книгу, как учебник, я продолжал ее читать теперь уж для эстетического удовольствия, как самый занимательный роман. Должен сказать, что подобное же впечатление позже я получил от первого тома „Капитала" Маркса, настоящей „социально-экономической поэмы".

⁂

Еще один лишь год и гимназия позади... Я в беспокойных, не снизившихся еще волнах революции 905-го года в университете на Медицинском факультете. „Вихри враждебные", отголоски недавней бури, что ни день бороздили студенческую гладь. То и дело возникали обстоятельства, отвлекавшие молодежь от аудиторий и звавшие ее на улицу. В первые годы пребывания в университете на медицину, естественно, приходились лишь крохи прилежания. Героические усилия последних университетских лет обеспечивали юношам получение диплома, но предстоявшие жизненные испытания на фоне российской завирухи не располагали к оптимизму. Недолгая революционная страда, закончившаяся гекатомбой жертв, сменилась разложением передовых кругов и апатией широких слоев населения. Напуганные приспешники правительства повсюду видели теперь крамолу, и мое скромное присутствие на посту земского врача в медвежьем углу, в 20-ти километрах от железной дороги, показалось им угрозой существующему строю. Оплакивая, так пришедшуюся

мне по душе работу в земстве, напрасно я взывал к властям с заверениями, что свои студенческие устремления ныне я „задернул траурной тафтой“. Увы, не только „Москва словам не верит“... Пришлось мне искать нового пристанища по свету... Я очутился в столице на берегу Невы, показавшейся мне после земского захолустья другой как бы частью света, где солнце лениво на небосклон ползет и не торопясь уходит; где трудодень вступает в свои права, когда у нас не только петухи, но и люди мечтают о насесте; где повсюду „канитферштан“ и „вас ист дас“, а русским духом, Русью будто и на пахнет. Я и не удивился, когда хорошенькая горничная с глазками Гретхен и носом Акулины, делая мне постель в отеле, жеманно заявила:

— Фриштык у нас в полдевятого.

Но это был еще фольклор, пусть и наизнанку. Много серьезней представилось мне положение, когда профессор института, где я работал, желая споспешествовать моему производству в ассистенты, посоветовал обойти профессоров с немецкими фамилиями и испросить их благословения.

— В противном случае, — пояснил он: — в виду их большинства в Совете, провал, как русскому, вам обеспечен.

***

Намерения немцев, содействовать по добрососедски и за хорошую, конечно, оплату их труда, обновлению замшелой в невежестве и нищете России, прибрать к рукам ее богатства, были, собственно, секретом полишинеля с давних пор.

Множившаяся, богатевшая и все увеличивавшая свой военный потенциал Германия, стесненная недостаточностью своей территории, ждала лишь подходящего момента, чтобы осуществить издавна и тщательно подготовлявшийся „Drang nach Osten“. Многим русским, однако, это их решение долго было невдомек. Но после поражения на полях Манджурии, Шейлоковские претензии немецкого кузена за услугу, вернее лишь за нейтралитет при улажении военного с Японией конфликта, убедили не только политиканов, но и не искушенных обывателей в том, что русскому народу предстоит силой умерить аппетит зазнавшегося соседа.

По-разному реагировали на приближавшуюся грозу различные группы населения столицы. Аким Потапыч сообщал, что в захолустных гарнизонах офицерство тосковало по оказии смыть позор поражения в войне с Японией, даже не специфируя, собственно, врага. Общаясь на врачебной почве с офицерством в Петербурге, в откровенных разговорах не раз мне приходилось слышать, что гвардия при частых посещениях Государя не упускала случая дипломатически напомнить, что враг не дремлет,

он ante portas, и гвардия ждет лишь приказа расправиться с врагом. Уточнять, о каком враге шла речь, необходимости, очевидно, здесь не представлялось. Государь, по их словам, внимательно выслушивал трибунов и стереотипно, кратко отвечал:

— Подымаю бокал за здоровье и процветание полка... имя рек.

Понимай как знаешь... На такие тосты Государь был, как известно, настоящий мастер.

Запах пороха заставил встрепенуться деморализованных поражением революции 905-го года интеллигенцию и передовые круги населения. Встревоженные осложнявшейся международной обстановкой, они решили не упускать момента и зажить всеми не только фунциями, но по возможности и фибрами, преимущественно, конечно, своего тела, а заодно уж и души. Своеобразнее и дальше всех пошли по этому пути служители Евтерпы. В празднествах на древне-греческий манер, именовавшихся когда-то „оргиями", в облачениях сродни лесному Фавну, они разыгрывали на досуге пастушеские сцены в стиле рококо, подобные запечатленным в творениях Буше.

Встрепенулись и обрели дар речи дотоле неизвестные, как и приумолкнувшие было, хранители народной совести и выразители чаяний народа, поэты и писатели. За новым словом поэтов и писателей ищущим далеко ходить не приходилось. В ресторане „Вена" на Морской, русском подобии Парнасса, со стенами, сплошь заполненными изречениями, виршами и рисунками, прославляющими чревоугодие и жизнь без вопросов и забот, за по-лукулловски уснащенными яствами, водками всех вкусов и сортов и мюнхенским настоящим пивом, столами, творцы этих плотоядных фресок, матерые русские писатели: Куприн, Арцыбашев, Андреев и другие простодушно пестовали буйную, молодую поросль, по преимуществу, поэтов. Поэты, однодневки в большинстве, творения коих не пережили этих смутных лет, в одеянии скорее грузчиков, так не гармонировавшим с „эгофутуристическим" стилем их творений, священнодействовали тут же за столами, запечатлевая свое заумное, не поддававшееся разжевыванию, вдохновение, на обрывке оберточной бумаги. Публика расхватывала эти свитки за небольшую мзду, а симпатичный меценат, он же оборотистый владелец ресторана, Иван Сергеевич Соколов, подкармливал для пользы дела эту промышлявшую сомнительным искусством молодежь. Особенным успехом пользовались здесь „поэзы" Игоря Северянина, пусть не по моменту, но талантливого по-настоящему поэта.

Зал замирал, когда, то скандируя, то распевая завораживающе бархатистым голосом, Северянин поверял, что, еженощно обходя дозором сто комнат своей башни, где в каждой заключена

наипрекрасная из дев, стопервую комнату он находит еще не занятой, пустой и, душевно скорбя, спускается из эмпирей на землю. Растроганные и восхищенные слушатели чувствовали, что „не хлебом единым“, пусть и в изобилии, кормят в „Вене“ посетителей. Здесь, в этом храме находит свое воплощение истинная мировая скорбь, здесь именно, а не в международной политической возне. Возня эта для улицы... Стенную мудрость храма Соколов увековечил в красиво изданной им книге на меловой бумаге и с посвящением преподносил ее гостям. Предназначенная мне, возможно, не то странствует, не то покоится и по сей день где-то в Ленинграде...

Родовитая, чиновная и финансовая знать не только с „глазами“ ,но и с „мозгом кроликов“, резвилась, как могла, у „Медведя“, в „Вилла Родэ“, почитая всеобъемлющим и все разрешающим своим девизом: „In vino veritas«, а по-русски „бог не выдаст, немец не съест“. Событием в их времяпрепровождении были не вести о растущей немецкой агрессивности, а моменты, когда из кабинета, где священнодействовали великие князья, в общий зал ресторана выскакивала певичка в чем мать родила, ища у публики защиты... Ничто, видимо, не омрачало их пира перед неминуемой чумой...

***

Но не вся интеллигенция довольствовалась ролью несмышленышей или пассивных наблюдателей приближавшейся грозы. Горький видел в небе буревестника „черной молнии подобного“ и во всеуслышанье вопил: „Буря, скоро грянет буря!“.

Грозовая, казавшаяся многим безысходной атмосфера, вызвала у части интеллигенции стремление пересмотреть основы нашей материалистической культуры, внушила решение забраться поглубже внутрь себя и там искать путей к спасению.

Глашатаем такой тенденции в ответственные эти годы оказался художник Кандинский, из любви к искусству сменивший, уже ожидавшую его профессорскую тогу „эконома“, на блузу художника. В своем произведении „Духовное в искусстве“, законченном в 1910 году, но появившемся на свет в Германии в начале 1912 года, Кандинский утверждал, что наша наука и искусство, поскольку они являются отражением нашей зашедшей в тупик духовной жизни, представляют мрачную картину современности. Неверие сделало из жизни вселенной злую, бесцельную игру. Материалистические воззрения закабалили душу человечества и являются опасным искушением.

Религия, наука и нравственность потрясены и „внешние устои угрожают падением“. Проповедь „искусства для искус-

ства“ не утоляет жажды томящейся души. Нам современное, „предметное искусство“, почитающее своей задачей наиболее точное отражение действительности, уподобляется мертвой фотографии.

Задачей настоящего художника является миссия возбуждать в человеке высшие эмоции, не имеющие даже адекватного выражения в нашей повседневной речи. За новым искусством спасительное слово!

Содержание нового искусства определяется не формулами, а внутренним, свободным устремлением художника. Это новое, „абстрактное“ искусство беспредметно. Впоследствии Кандинский окрестил его „l'art concret“, то-есть „предметным“, но по-новому! Исключение предмета выявляет не внешние качества произведения, а его дух — Esprit. Современное искусство всецело зависит от форм, заимствованных у природы. Новое искусство, подобно музыке, использует собственные средства, чтобы добиться живописных целей. Задача художника не в подражании, пусть и художественном, природе, а в выявлении своего собственного, внутреннего мира.

Это новое „абстрактное“ искусство по отношению к старому — „фигуративному“ то же, что „Новый Завет“, Евангелие к „Старому Завету“; то же, что учение Христа к предшествовавшему ему материалистическому библейскому учению; то же, что мысль к ее осуществлению. Ведь общее родство поистине великих мировых произведений искусства заключается не во внешнем их оформлении, а в корне всех основ — в мистическом содержании картины.

Краски вызывают душевную вибрацию и ощущение вплоть до благоухания. Они таят в себе огромную силу, влияющую на психику человека. Так красная краска, это пылающая страсть, раскаленное железо; зеленая — самодовольный покой; синяя — тоска по непорочному, сверхчувственному; голубая подобна звуку флейты и прочее... Как краски — и формы имеют свое внутреннее звучание. Треугольник, схематически символизирующий этапы нашего движения к духовной жизни, имеет только одному ему присущий аромат. То же с квадратом, ромбом, кругом. Все они имеют свою индивидуальность.

Конечно, комбинация чистой краски и независимой формы требует известной подготовки духовной сферы человека, чтобы не выродиться в геометрическую орнаментику, но поворот к духовному идет бурным темпом. Даже позитивная наука в своей теории электронов уже стоит на пороге „растворения материи“. Блаватская, мать теософии, утверждала, что в двадцать первом веке земля будет раем, но в живописи немногие часы отделяют нас от чистой абстрактной композиции, спасительного успоспе-

шествования ею духовному возрождению человечества. Ведь задачей искусства и является „préparer l'avenir", учил другой сторонник „абстрактного искусства" Otto Freundlich.

Таков был тревожный клич Кандинского и откровение его человечеству. Увы пророки ныне еще менее в чести, чем были прежде... В России книга Кандинского долго оставалась неизвестной, но не проповедуемая им живопись. Почти одновременно с Кандинским Казимир Малевич, „Сюпрематист", создал, возможно, первую „абстрактную" картину, не подводя под это новшество исключительных принципиальных оснований. Прошли десятки лет, прежде чем инициатива Кандинского, русского чистейшей воды идеалиста, в своем богатом наследии исчерпавшем полностью, за малыми лишь исключениями, возможности, представлявшиеся настоящему художнику абстрактным видом живописи, получила мировую, должную оценку. Но в тревожные, трагические месяцы, предшествовавшие войне 14-го года, новое слово было не за Кандинским, а за мало кому тогда известным Лениным.

Остается и приходится еще добавить, что в первую годовщину „Октября" Кандинский и его ученики украсили улицы Москвы во славу революции яркими „абстрактными" панно. Sic transit... не раз мы уже упоминали.

***

Расколом Российской социал-демократической партии и возглавлением партийного большинства Лениным, закончился народившийся в далеком 1883 году, по инициативе Плеханова, длительный период классовой подготовки немногочисленной поначалу, но быстро множившейся в России трудовой рабочей массы. Ленинские постулаты в отношении подбора и организации революционных кадров и их подготовки к предстоящим решительным боям, плод гармонического сочетания философских тезисов Маркса с реалистической стратегией Клаузевица, ознаменовали собой новую, теперь активную эру борьбы со враждебным пролетариату политическим и экономическим строем. Начатое 9-го декабря 1905-го года московское восстание, длившееся девять дней, было как бы экзаменом на революционную зрелость и боевую готовность пролетариата. Организованный характер боев на улицах Москвы, силы, какие вынуждено было противопоставить правительство восставшим, свидетельствовали с очевидностью, что пролетарская революционная армия стала уже оперативной.

Но как неимоверно велика должна была быть роковая слепота властителей, когда столь явная внешняя и внутренняя опасность для страны и строя почиталась, если не устраненной, то загодя уравновешенной бессмысленным и лживым утверждением Сухомлинова: „Мы готовы", в отношении немцев, и уверениями невежественного, развратного и продажного „старца" Распутина в отношении „внутренних врагов", заверявшего царя, что „народ тебя любит".

В одном приходится отдать должное упомянутым нами личностям и группам населения, реагировавшим по-своему, мы видели, на приближавшуюся грозу, — это их, близкой к барометрической, чувствительности к едва лишь начинавшей становиться неустойчивой политической международной атмосфере. И все же, подобно смерчу в разгар лета, на головы помышлявших лишь о долгом отдыхе людей свалилась неожиданно война. Уже из не столь многого, что мы здесь услышали от непосредственных участников военных действий; из того, что нам известно из литературы, неоспоримо ясной представляется непосильная сложность, если вообще не безнадежность, героических и столь жертвенных усилий нуждавшегося в необходимейшем русского солдата в борьбе против хорошо осведомленного и вооруженного до зубов врага.

На мою долю выпала еще если можно так назвать ее, удача, участвовать в действующей армии, в кавалерии — конечно, в качестве врача, в победоносном наступлении армии Рененкампфа в первые месяцы войны на Кенигсберг, закончившемся, как известно, катастрофой. Наше продвижение в Восточной Пруссии было настолько невероятным и неожиданным для населения, что в занятых селениях и городах в момент появления русских войск еще недопитое кофе и еда оставались на столе. Магазины и лавчоники были заполнены товарами. Война только начиналась. Чтобы споспешествовать добрым нравам и зарекомендовать себя, очевидно, с лучшей стороны, немецкое добро русским командованием было объявлено неприкосновенным. Солдат, прельстившийся бутылкой пива в окне лавчонки, был расстрелян по личному, как говорили, приказу Рененкампфа. О таком злодеянии (чьем?) широко были осведомлены войска. Не трудно вообразить, как подобное „рыцарство" в условиях войны должно было потешить немцев, для коих война, по выражению Вольтера, — это „национальная индустрия".

Не мешает вспомнить, что по Herman Litz'y для немца единственный органический и идеальный коллектив это фронтовая община. В отношении к войне выявляет себя, он считает, дух народа. Так для француза война — это злой рок, его же не прейдеши; для англичан — дело интереса; для русских война

это бессмыслица. Неопровержимый признак варварства, типичная идеология рабов. Как значительно должно быть обрусел Рененкампф, чтобы позволить себе такую непростительную „слабость“!

Гибель двух корпусов Самсонова в Мазурских болотах под ударом свежих, оттянутых с французского фронта в критический момент битвы на Марне немецких подкреплений, вынудила русские войска оставить Восточную Пруссию и отступить на рубежи, но спасла Париж. Помнят ли о столь дружеской и жертвенной русской помощи французы?..

Конечно, в долгие годы затянувшейся войны не мало было других и взлетов и падений. Но с кампанией на Кенигсберг связан был еще момент, оказавшийся неотвратимо роковым впоследствии для самого режима. Наиболее активное ядро армии Рененкампфа составляла гвардия, оплот престола. Уже в первые месяцы войны, а в последующие и тем более, гвардия растеряла свой великолепный кадровый солдатский контингент, а пополнение оказывалось уже второразрядным. В противоположность гвардейским лошадям, не выносившим раньше прикосновения шпор, чтобы не сатанеть и нуждавшимся сейчас в хлысте, настроение прибывавших пополнений теперь было по меньшей мере „оппозиционным“ с места. Достаточно было присутствовать при проверке у вновь прибывших уменья отдачи по-гвардейски чести и видеть лица испытуемых, чтобы не усомниться в их, далеком от дисциплинированного, настроении. Присутствие преданной гвардии в столице в смутные февральские дни несомненно отдалило, но не устранило бы, по существу неотвратимого, краха „режима“ и династии. „Война, это локомотив истории“, по утверждению Маркса.

Но долго все на фронте, да и в тылу, шло, видимо, обычным, естественным путем, как в классической трагедии, где в первых актах скрытно для зрителей уже зарождается, постепенно крепнет и вдруг, будто, выявляется трагический финал. Ведь, если подумать, что всего несколько лет отделяет солдатские комитеты от солдатской порки, приходится согласиться, что в войне события движутся на локомотиве.

***

Многое мы здесь, друзья, услышали о человеческих судьбах в войну 14—18-го года. При кажущемся их подобии всякая судьбина на самом деле похожа только на самое себя. Да и история, говорят, не повторяется.

Трагедия в Восточной Пруссии, в российском и еще более в европейском плане из актуальной быстро ставшая архивной,

оставила, видимо, глубокий след в психологии русского солдата, как и горожанина в пограничной с Германией полосе.

Мариампольское столпотворение и было непосредственным последствием такого положения. Мариамполь — небольшой, захудалый городок вблизи германской границы. Вся эта местность служила тыловой базой для армий Рененкампфа. Два эскадрона кавалергардского полка под командой полковника Миклашевского ночью по тревоге выступили из Ковно, куда из Восточной Пруссии вовремя была эвакуирована первая гвардейская дивизия. Мне приказано было сопровождать отряд. Дивизион двинулся по шоссе по направлению к фронту. Вскоре, к нашему изумлению, дорога от края и до края оказалась сплошь заполненной движущейся хаотичной массой солдат, телег, скота в состоянии невообразимой и неудержимой паники. Дивизиону пришлось двигаться лишь по обочинам. На вопросы, куда вся эта, явно обезумевшая масса, движется и почему, люди, переставшие, казалось, понимать человеческую речь, молчали или коротко бросали: „немцы". Откуда немцы, какие немцы, ответа нельзя было добиться.

Наше появление в Мариамполе вызвало взрыв истерии, которую трудно описать. Люди обнимали, целовали не только офицеров и солдат, но также лошадей. Полковник, (комендант лагеря, возможно), без фуражки, обливаясь слезами, прижимал к груди своей Миклашевского, называя его ангелом спасителем и прочее. И все это несмотря на то, что мы прибыли, что называется, уже post factum.

Оказалось, Мариамполь был обстрелян, пробравшимися под покровом ночи, двумя немецкими орудиями. Выпустив несколько снарядов, артиллерия сейчас же смылась. Начавшаяся паника была неукротимой. Люди обезумели. Рефлекс их двигаться, спасаться был неудержим. Никакие препятствия, уговоры не могли остановить движения. Лишь незадолго до нашего прибытия люди, не включившиеся еще в колонну обезумевших, вдруг успокоились. Привела их в себя молниеносно распространившаяся весть о появлении на небе образа Богоматери с ликом скорбным, но ободряющим, перстом указывавшей в сторону Германии. Часовой у штаба увидел ее изображение на небе и по тревоге вызвал разводящего; разводящий, как и появившиеся тотчас же офицеры, могли лишь подтвердить виденье часового.

Пробыв большую часть дня без дела в Мариамполе, мы вспять повернули своих коней. Дорога в Ковно была теперь свободна, хотя не мало там еще валялось „хлама", вплоть до винтовок кое-где. Особенно интересовался таким необыкновенным происшествием наш батюшка, отец Стефан Щербаковский. Я, правда, больше мог сообщить о столпотворении на Ковнен-

ском шоссе, чем о явлении на небосводе, но повторно и подробно рассказывал о том, что слышал и конечно уж о том, что видел. Как-то батюшка заметил, что от своего начальства он получил приказ на месте лично собрать все сведения от очевидцев о „явлении". Время было боевое и долго для выполнения подобной миссии подходящей оказии не представлялось.

***

Здесь не лишне будет сказать два слова о личности отца Стефана. В свое время всей России известен стал священник Сибирского полка в японскую кампанию, в сражении, если не ошибаюсь, под Тюренченом, после того, как перебиты были офицеры, ставший с крестом в руках во главе атакующих солдат своего полка. Многократно и тяжело раненый, он вынесен был своими же солдатами полуживым из боя.

Должен сказать, что превратившись в военного врача и очутившись, как бы по щучьему велению, среди цвета военной русской знати, прежде и больше всего привлек мое внимание в новом окружении именно батюшка полка: на неказистой его рясе, на впалой груди красовался георгиевский офицерский крест в то время, как у подавляющего большинства офицеров грудь оставалась полностью еще вакантной. Это и был тяжело раненый под Тюренченом и чудом выживший герой, отец Стефан Щербаковский.

Представленный по выздоровлении государю, он награжден был георгиевским крестом, случай, по-видимому, единственный в Анналах духовной рати и обласкан был всемерно.

Распутинских талантов и устремлений он, очевидно, не имел и из представлявшихся благодеяний удовольствовался поступлением в Духовную Академию, по окончании которой назначен был священником в Кавалергардский полк. После безмерных, изведанных лишений и беспросветной, казалось, жизни в забытом Богом и людьми углу, это был, как в сказке лишь бывает, немалый взлет...

Среднего роста, очень худой, со впалой грудью и согбенной спиной, лет 40—45-ти, с землистого цвета усталым, небольшим лицом, живыми глазами и седеющей скромной шевелюрой, он никак не походил не только на гвардейского, но и на обычно хорошо откормленного, военного попа.

Оставляя в стороне детали, могу сказать, что судя по тому, как без всякого отношения к своему призванию и, конечно уж, нужды, батюшка рисковал собой, ввязываясь даже и в разведку, в исключительной храбрости его не приходилось сомневаться. но сам собой напрашивался к тому ж еще вопрос: что движет

этим человеком? Что скрывается за таким пренебрежением не к опасности уже, а к самой жизни?..

Как-то отец Стефан поделился со мной печальной сказкой своей жизни. А сказки, даже по началу грустные, не бывают ведь без чуда — под конец... В самом захудалом и беднейшем из приходов, если не ошибаюсь, Херсонской губернии, во всяком случае, Украины, не жил да был, а голодал да мучился молодой священник с матушкой, бывшей учительницей этого села. Пастырь совестливый, он прихожан не прижимал, а прихожане сами были голы и мучились они беспросветно сообща. Батюшка страдал к тому ж туберкулезом, а матушка от хорошей жизни вообразила, что не то мышенок, не то лягушенок пробрался к ней в живот и там постоянно бедокурит... Жизнь четы во всех смыслах шла беспрепятственно и быстро под откос. Как-то от приехавшего на побывку офицера батюшка услышал, что в Сибири формируют новые полки и имеются вакансии на посты священников. Места эти почитаются весьма заманчивыми и охотников до них имеется, конечно, тьма. Требуется сильная рука, чтобы посодействовать счастливцу кандидату. На этом сказка бы закончилась из-за полного отсутствия у нашего батюшки даже и намека на такую руку, а значит и шансов одолеть соперников, хотя бы и в мечтах. Но где-то угнездилась, очевидно, мысль о Сибири...

Однажды после вечерни, оставшись в церкви в одиночестве при свете лишь лампады, батюшка скользнул взглядом по лику Богородицы и замер... Лик вдруг просветлел и уста Богоматери зашевелились. У батюшки колени подкосились; склонившись, он услышал:

— Много, сын мой, выпало тебе страданий, но ты не ожесточился. Земная жизнь требует особой мудрости и ты ее обрел. Поезжай к преосвященному и проси назначения в Сибирский полк. Ты там однажды будешь нужен.

— Пресвятая Богородица, — взмолился батюшка: — Тебе известно сколько кандидатов на каждое из этих мест и какие у тяжущихся поручители. Как мне равняться с подобными соперниками?

— Скажи преосвященному, что Я тебя послала.

Домой батюшка вернулся сам не свой и тут же пересказал все матушке, что видел и что слышал.

Всю ночь чета молилась, а под утро матушка решительно сказала:

— Отслужи молебен. Я соберу, что можно, на дорогу и завтра, с Богом, поедешь, куда Богородица тебя послала.

— С чем же я явлюсь к преосвященному? Поверит ли он тому, что я ему скажу? — взмолился батюшка.

— Не поверит, — с покорностью вздохнула матушка: — так до самой смерти, значит, как суждено нам и будем вместе здесь страдать.

Появление неказистой фигуры отца Стефана в канцелярии, а еще больше цель его приезда при отсутствии каких-либо рекомендаций, привело в замешательство сострадательного служку архиерея и он мог только участливо заметить:

— В Сибири климат и для крепких не всегда по силам, а для военных и вовсе там ведь испытанье. Но на все, конечно, Божья воля...

В ожидальне батюшка увидел пышущих здоровьем, молодых священников. Все они оказались кандидатами на сибирские вакансии. Соперники лишь согласно и сострадательно переглянулись, осведомившись о цели приезда о. Щербаковского. Побывав у архиерея, все они появлялись с радостными лицами. Пришла очередь отца Стефана.

Приняв благословение, батюшка, волнуясь и робея поведал архиерею, что плохое здоровье и трудные условия существования заставляют его просить владыку о содействии назначению его в Сибирский полк. Мельком оглядев просителя, владыка стал расспрашивать о приходе. Долго, ободренный вниманием архиерея, и подробно стал рассказывать священник о долголетних своих муках в безнадежно тяжелых условиях служения и существования. Склонивши голову и полузакрыв глаза, не перебивая, терпеливо выслушивал просителя владыка и подконец сказал:

— Возвращайся к своей пастве. Тебе надо помочь. Я об этом позабочусь. Запомни, сын мой, отчаянием нужду не лечат. С таким здоровьем послать тебя в Сибирь, так это было б наказаньем, а ты его не заслужил. И кто надоумил тебя определяться в армию, к тому ж еще в Сибирский полк?..

— Не люди, владыка, иначе я не посмел бы предстать пред ваши очи: я по приказу Богородицы явился к вам.

— Да ты никак ума решился... — в негодовании привстал даже владыка. — Грешишь, одумайся... Ты сознаешь, что говоришь?..

И тут проникновенно, переживая будто наново свое „видение“, дословно пересказал владыке батюшка, что произошло с ним в церкви. Трижды заставлял владыка повторять рассказ и всякий раз допытывался:

— Так и сказала: Однажды ты там будешь нужен...

Долго, склонивши голову, сидел в раздумье архиерей. Явившемуся служке он сказал:

Отец Стефан, небось, устал с дороги и проголодался. Покорми его и напой чайком. Умиротворю просителей и мы закончим наше дело.

Так без всяких „земных“ рекомендаций, хилый и безвестный батюшка очутился в Сибири во вновь сформированном полку, чтобы в критический боевой момент возглавить атаку своего полка, никак не повлиявшую, конечно, на печальный исход даже сражения, не только что войны, но вознесшую его, чудом выжившего после ранений, до вершины благополучия, возможного лишь для иерея.

⁂

Военные действия продолжались. Наш полк то ввязывался в перестрелку, то передвигался, выполняя известную только штабным задачу с тем, чтобы с приближением темноты вслед за квартирьерами, как правило, отправиться в ближайшее селение на ночевку. Наихудшие воспоминания оставило недолгое сидение кавалерии в окопах под обстрелом, как полагается, полевой и тяжелой артиллерии. В эти часы можно было по-настоящему себе представить и полностью лишь оценить геройство „царицы полей“, пехоты, обретающейся в таком кошмаре всю войну.

⁂

Однажды после спокойной дневки, в момент, когда, в обжитой уже избе, мы собирались, разувшись, забираться в спальные мешки, а батюшка, иммунный к укусам блох, устраивался на хозяйской, объемистой постели, стук в дверь и появление писаря с приказом мне явиться к командиру заставил всех насторожиться.

С давних пор я был исполняющим обязанности старшего врача в полку. Кадровый старший врач, очень строгий и лихой военный, за несколько месяцев боевых действий превратился в немощного старика, был эвакуирован и, вероятно, реформирован. Забавно было слышать от командира эскадрона, симпатичного и боевого офицера, похвалу этому в мирное время младшему врачу полка.

— Заболел солдат; лечит в полковом лазарете старший врач. Конечно, воспаление легких; отпуск на поправку. Два месяца прошли и потерян для полка. Упал с лошади солдат, сломал ногу. В лазарете С. Доза хорошая касторки и назавтра солдат по-прежнему в строю.

Нужно ли доказывать, что жестокость камуфлирует обычно много незавидных качеств и в том числе особенно, конечно, трусость. Freud давно уж это утверждал.

Командир, ныне князь Эристов, сменивший экспансивного генерала князя Долгорукова, сдержанный, всегда спокойный

артиллерист, осведомился, достаточное ли количество перевязочного материала имеется в моем распоряжении. Приказал подготовить побольше крестьянских подвод для перевозки раненых и сообщил, что завтра ожидается наше участие в значительном сражении. С этой вестью я возвратился к спутникам в избу. Отправил медицинского чиновника искать подводы и предложил в срочном порядке всем предаться сну в ожидании неожиданной тревоги. Не успел я еще крепко смежить очи, как услышал голос батюшки:

— А завтра, я знаю, меня убьют!

Смешно было бы учить батюшку владеть своими нервами, но я счел момент все же подходящим, чтобы напомнить, что ищущий смерти на войне всегда ее находит. Смерть же, и провоцируемая неоднократно, покуда показала, что жизнь батюшки ее не интересует.

— Недавно я получил напоминание, что не выполнил поручения собрать сведения о „видении“ в Мариамполе, — следуя своим мыслям, как бы в раздумье, заметил батюшка. — Если это предчувствие меня не оставит, поеду ночью в Мариамполь.

— А тяжело раненые, да и убитые, нуждающиеся в вашем участии, как быть с ними? Придется, пусть и частично, с вашего благословения, мне еще и роль пастыря, очевидно, выполнять.

На эту риторическую реплику ответа не последовало и вскоре я уснул. Проснулся и вскочил в тревоге: солнце во все глаза глядит в окно; изба пуста... Забыли обо мне... Я кликнул вестового и узнал: батюшка уехал ночью в Мариамполь; выступление, а значит и сражение, отменено; полк останется на дневку в этой же деревне.

Здесь не место касаться вопроса о толковании и значении „предчувствий“, но, наблюдая поведение батюшки, я не мог отделаться от мысли, что головокружительную перемену в своем положении он как-то полностью не смог переварить и считал себя в неоплатном, видимо, долгу перед... судьбою. При подобном нервном напряжении в условиях войны моментами срывы и для героев человечны.

***

При всех напастях, связанных с войной, пребывание в кавалерии, если не уравновешивало, то уж во всяком случае в значительной степени облегчало и разнообразило военную страду. Передвижения, изнурительные марши, чаще всего по бездорожью, для пехоты на собственных ногах, для кавалерии почти всегда прогулки по лесным дорогам, по полям с бездонным небом в ясную погоду и более или менее бескрайной далью впереди.

Однажды, при преследовании отступавшего, якобы, немецкого обоза с прикрытием, конечно, но по разведке незначительным, на пригорке, на лошади, чтобы лучше наблюдать его разгром, я вдруг увидел летевшую на меня, переворачивающуюся в воздухе сигару, приземлившуюся неподалеку впереди. Через секунду раздался страшный взрыв. Предназначавшийся, очевидно, мне большой осколок тяжелого снаряда разворотил грудь моей лошади, приявшей на себя неминуемо уготованную мне явно смерть и воздушною волною ушиб мне больно спину. Минуты, другой, когда я мысленно прощался со своим конем, было достаточно, чтобы, оглядевшись, констатировать, что мое окружение вдруг испарилось: вдали в беспорядке несутся всадники, а я, среди оглашаемой разрывами природы без лошади, один... Я спустился с пригорка без мыслей и вдруг увидел скачущего без всадника коня и вслед за ним кавалергарда.

— Поймай мне лошадь, — крикнул я.

Солдат схватил за повод несущуюся лошадь, подвел ко мне; спешился, чтобы приладить стремена и я понесся, как на крыльях, за последними из отступавших. Лошадь принадлежала, как оказалось, лучшему разведчику. Я сидел в седле, как в кресле. Лошадь брала барьеры, переносилась через овраги, я ею вовсе не руководил, но главное, конечно, ей не мешал никак. В пути я опередил старшего врача, склонившегося к лошадиной шее. Он оглядел меня безумными глазами и решил, возможно, что это скачет моя тень.

В избу, где мы остановились, вошел вдруг князь Долгорукий, командир полка и поздравил меня „с боевым крещением". Ближе к правде, мне представляется, был вахмистр 4-го эскадрона, бросивший мне при прохождении полка:

— Яку лошадь загубыли, В. В.

Suum cuique. Каждому свое.

***

Терпимые поначалу последствия контузии, нарастая незаметно, в конце концов стали затруднять мне верховую езду и после многих месяцев терпения заставили с сожалением покинуть полк и перевестись в полевой госпиталь. Считаясь с осведомленностью о ходе военных операций, фронт, подобно слоям нашей атмосферы, представляется в виде как бы зон с осмосом различной интенсивности между слоями — это фронт, как таковой, прифронтовая полоса и ближний тыл. В моей памяти хорошо сохранились первые впечатления от пребывания в прифронтовой, менявшейся так часто полосе. На фронте осведомленность, известно, не выходит обычно за пределы границ положенного

вам участка и для праздных разговоров на боевые темы там не хватает данных. В прифронтовой полосе „слухами“ действительно полнится земля. Кой-какие общие суждения о ходе военных операций напрашиваются здесь сами собой, и не все способны сохранять всегда bonne mine оптимизма, как этого со всей строгостью военного времени требует регламент.

Как-то коллега попросил меня неофициально заменить его на дежурстве ночью. Я помещался в комнате у самого госпиталя и было условлено, что я остаюсь у себя, а дежурный фельдшер оповестит меня, если что случится. Фронтовые воспоминания бороздили еще временами мой сон и в этот раз я переживал во сне очередной бой с усиленным участием артиллерии. Выстрелы и разрывы чередовались беспрерывно и воздух сотрясали крики. Прошло несколько минут, прежде чем я проснулся и осознал, что выстрелы это молотьба по ставне моей комнаты, а кричит истошно дежурный фельдшер:

— В. В., скорее в госпиталь, беда...

Это голос одного из фельдшеров. Несколько минут и я у порога госпиталя. Больные расступаются. То, что я увидел, и по военному времени должно было представиться абсолютно исключительным.

В светом залитой палате, на кровати, застланной казавшимся ослепительной белизны бельем, лежал голый офицер и тщательно, повторно проводил по коже бритвой, пытаясь вскрыть себе живот. Кровь струйками стекала на кровать. В нескольких шагах, не смея приблизиться к больному, ошалело вертел руками то простирая, то их вздымая к небу, фельдшер бледный, как мертвец, вопя без перестану:

— В. В., что вы делаете, В. В.?..

— Здравия желаю, доктор, — подобно гладиатору в древнем Колизее, бросил мне „moriturus“, — и предупреждаю: подумаете только шагнуть ко мне, я перережу себе горло. — И он коснулся бритвой горла.

Несколько секунд, слыша прерывистое, ускоренное дыхание тесным кольцом обступивших меня больных, я в волнении соображал, что делать. Трудно было вообразить что-либо более трагическое и вместе с тем нелепое в госпитальных стенах.

— Могу я просить вас остановить на мгновение эту столь необычную для русского офицера экзекуцию?..

— Вам, доктор, я не могу в этом отказать. На две минуты, скажем, но ни на секунду больше...

— Не находите ли вы, что офицеру на войне, при желании, гораздо проще умереть нормальным образом, не причиняя неприятностей ни коллегам по палате, ни врачам?..

— Это вообще, конечно, так, но в данном случае совсем не так. Вы слышали, естественно, о харакири. Эта операция восстанавливает несправедливо попранную честь. Я в точности в подобном положении и сознаюсь, что в данный момент не нахожу иного средства для ее восстановления. Дуэли ведь запрещены. Простите, доктор, наш разговор закончен.

И он снова стал водить бритвой по животу, ища сделанную там уже борозду. Вынужденный теперь озираться на два фронта, следить за поведением фельдшера и за моим, он, не попадая в рану, немилосердно кромсал себе живот. Ясно было, что секунды нас отделяли от момента, когда он доберется до брюшины и кишек. Для размышлений времени было теперь в обрез. Фельдшер впился в меня взглядом. Только я напрягся для прыжка, как стоявший впереди высокий офицер, увидя струю крови, забившую из перерезанной артерии, как подкошенный, свалился во весь рост. В ту же секунду я, наклонившись, бросился будто бы к нему и тут же схватил руку самоубийцы, а фельдшер вмиг распластался на нем. Отобрать бритву было не так легко, но тут нам помогли оправившиеся соседи по палате.

В перевязочной, зашивая неудачнику живот, я пытался вызвать его на объяснение. Операция проходила с видимостью лишь наркоза. Необходимо было поскорее замести следы, а эфир его не усыплял. Офицер, не разжимая губ, лежал с закрытыми глазами. По окончании операции, по-особому глядя на меня, он заметил:

— Благодарствуйте за непрошенную помощь. Сожалею, доктор, что вынужден вас огорчить: оказанную по долгу, конечно, но и добросердечно мне услугу, кой-кто, пожалуй, медвежьей мог бы окрестить.

Под утро явился дежурный врач и благословил судьбу, избавившую его от таких переживаний. Рапорт все же пришлось писать ему, как и оповестить о происшедшем главного врача. Телефонные звонки в течение дня не прекращались и к вечеру недорезанный харакирист был увезен „в неизвестном направлении“. Попытки узнать у пациентов что-либо об обстоятельствах, сопровождавших или вынудивших подобный акт, были безуспешны; никто из них не обмолвился и словом. Дежурный фельдшер утверждал, что в офицерской палате допоздна происходил крупный разговор и за отсутствием дежурного врача он не смел призвать больных к порядку. Это несомненно были уже не ласточки, а подлинные буревестники, возвещавшие приближавшуюся теперь военную грозу. Но много еще из привычных скреп сдерживали страсти и, по видимости, долго еще в армии казалось все в порядке.

⁂

При неоднократных полетах вещих птиц и множества предзнаменований, возвещавших не то воскресение, не то погибель всем и вся, нежданно и негаданно докатилась самозародившаяся в Петербурге революция до фронта. По светлой радости в сердцах и умилению, дни эти походили точно на пасхальные: к новой жизни и, конечно, уж к победам, поправ своих мучителей, воскрес мученик народ. Теперь, когда так долго спавший богатырь Илья взял дубину в свои руки, немецкая сила сама собою расточится, рассеется, как дым...

Хорошее это было время: днем митинговали, ночью мирно спали. Хорошее, но — увы, недолгое.

***

Всякая игра, чтобы не превратиться в бестолочь, требует от участников точного соблюдения, установленного на сей предмет, распределения ролей и правил. Приказ № 1 военного министра Временного Правительства Гучкова, уравнявший в ранге солдат и офицеров, лишивший армию ее вековых, законных скреп, был в действительности не лебединой песнью, а не в обиду воробьям будь сказано, жалким лишь чириканьем новой беспомощной ее головки в грозный и ответственный для существования отечества момент. С Гучковым мне пришлось столкнуться лично много позже, уже в Германии, в условиях еще не гласно, но явно победоносно шествовавшего Гитлеризма. Гучков интересовался шансами Гитлера на успех. Но об этом позже.

Грозившие государству неминуемые беды в борьбе с могущественным и безжалостным врагом, должны были вызвать, как это наблюдается и в организме человека в случае болезни, мобилизацию общественных защитных сил. В тылу это проявилось задолго до революции в самодеятельности широких кругов населения в отношении снабжения фронта всем необходимым; на фронте, в новых условиях революционного подъема, увы, лишь в перманентных прениях и голосованиях солдат касательно тактики в отношении своих же офицеров, как и стратегии в отношении врага, особенно в моменты боевых, конечно, действий. И если безвластие, неповиновение, разлад в тылу сковали быстро госпитальную работу, то можно себе представить смятение и урон, причиненный военной готовности, мощи и духу армии противоестественной гучковской акцией!

В нашем госпитале главный врач из немцев, плохо по-русски говоривший, не заглядывал в палаты, ни во что не вмешивался. Шагал по госпитальному двору, отбивая по голенищу стеком такт и при встрече спрашивал:

— Скажите, вы больше понимаете: Россия, я думаю, скончался на совсем.

— Скончалась без сомнения, — я отвечал: — но только не на совсем. Еще помучается сотню-другую лет.

Управление госпиталем полностью легло на мои плечи. Чтобы устранить трения, буквально ежечасно возникавшие среди персонала и больных, у меня явилась мысль создать комитет из представителей этих категорий, комитет Согласия, как я назвал его, для содействия главному врачу. Новшество привилось и работа в госпитале сделалась возможной. Вскоре такие комитеты, с установленной свыше конституцией, стали обязательными для всех санитарных учреждений.

Итак, в разгар боевой страды в войсках на фронте солдатская демократия сменила вековой абсолютизм офицеров. Но еще мудрец Солон заметил, что всякая форма управления должна соответствовать ряду обстоятельств. В лечебных учреждениях совещания и съезды санитарных работников фронта, врачебный съезд заметно разрядили атмосферу. Съезд санитарных работников фронта выделил комитет с задачей упорядочить работу в госпиталях и разрешать конфликты. Этот комитет, находившийся при начальнике санитарной части фронта, пришлось возглавить мне. Могу сказать, что дел было хоть отбавляй: конфликты по всяким мыслимым и немыслимым поводам возникали в лечебных учреждениях повсюду беспрерывно.

***

Родовые муки „Октября“ начались и разрешились не только без участия, но и при полном неведении фронта. Объявившийся „Октябрь“, с лозунгом „мир хижинам, война дворцам“, в прифронтовой полосе и тем более на фронте представился неизбежным и логическим последствием, завершавшим и в известной степени упорядочивавшим, создавшуюся на фронте обстановку: старый строй армии, как и армия, как таковая, „живой труп“, к этому моменту, была по существу в настоящих „нетях“ с давних пор, и „Октябрю“ пришлось лишь оформить и узаконить, что сама собою натворила революция. Не подумайте только, что единственными и настоящими совратителями солдат были большевики. Кто хоть раз видел, что творилось в запасных полках, где в казармах на тысячу человек ютилось десять тысяч; где пища была отвратительной; где без дела прозябали раздетые и разутые солдаты; где на сотни воинов едва насчитывалась одна винтовка; где офицеры фактически не могли производить учения, так что маршевые роты, вливавшиеся в потрепанные части, не только не увеличивали их боеспособности, но резко пони-

жали; где, одним словом, действительность была хуже самого пессимистического описания, тот без труда поймет, что лучшей антенны для лозунгов развала фронта нельзя было найти.

Не потуги же лягушки „Главноуговаривающего“, хотя бы и раздувшейся до размеров больше, чем вола, могли этот фатальный ход событий изменить...

Распад русской армии был небесным даром для выдыхавшихся в войне с союзниками немцев. С русскими солдатами немцы „братались“, одаривая их папиросами и „Окопной Правдой“, усиленно рекомендовавшей не подчиняться офицерам и кончать войну, скрывая свою хватку до момента, когда разложившейся армии можно будет навязать „похабный мир“.

Русская армия разложилась ,но фронт еще существовал и вскоре Минск оказался под угрозой немецкой оккупации. Приходилось вовремя смываться и последним поездом я отбыл в Петербург, где и был демобилизован.

Это путешествие в вагоне без выходов и входов, с солдатами в проходах, на буферах, в мороз на крыше, длившееся более двух суток, осталось в памяти и из-за спутника, Кронштадтского матроса, Архангельского рыбака, всю дорогу занимавшего меня своими подвигами на революционном фронте. Личность эта была действительно незаурядная. Совсем молодой, белесый, с пушком на втянутых щеках, своей худобой и ростом он в точности напоминал скелет гиганта в бушлате моряка. Величина кистей его рук и особенно ступней была просто потрясающей. Трудно было себе представить эту готическую каланчу еще и в роли Дон-Жуана, а, оказывается и на этом фронте за ним числились победы. Многократно и с подробностями он рассказывал, как молодая и очень красивая „грахфиня“, увидя его в отеле в Петербурге, тотчас же бросилась ему на шею. От первых уже его объятий она, как и следовало ожидать, сомлела от „чувствительности чрезвычайной“, уверял он, но меня интересовало, осталась ли она вообще жива.

***

Вот и Петербург... На крестьянских дровнях с пустынного, темного вокзала я обновляю к новой жизни путь после почти четырехлетнего пребывания на фронте, на дровнях с крестьянской, жалкой лошаденкой, плетущейся не рысью, а только „как-нибудь“...

Я дома. Впереди, казалось, врачебный мирный труд. Но лишь на три коротких месяца, а там мобилизация и снова фронт.

***

Я был назначен в Пограничную Охрану и за новым ее формированием обретался в здании бывшего главного управления Пограничных войск в Петербурге, у Тучкова моста. Формирование пограничной дивизии, насчитывавшей по новому положению три бригады по три полка в бригаде и ряд других подразделений, превращавших дивизию в небольшую, подвижную армию, начиналось, конечно, с головы — со штабов и в здании сосуществовали постепенно пополнявшиеся штабы всех частей дивизии. Подавляющее большинство офицеров в этих штабах составляли старые пограничники. Революционными эти подразделения делало присутствие повсюду комиссаров, в свою очередь новоявленных большевиков из матросов и солдат. Атмосферу в штабах дивизии правильно охарактеризовал Василий Константинович со слов своего друга „Шантеклера“: многие из офицеров, а кое-кто и из комиссаров, ждали лишь момента встречи с белыми войсками, чтобы открыть свое настоящее лицо. Комиссар первого пограничного полка, где я начал свою службу, возглавлявший отряд красноармейцев, защищавших „Красную Горку“, на южном берегу Финского залива, во время наступления Юденича на Петроград, поднял мятеж против Советской власти и сдал фронт белогвардейцам.

Формирование красных войск шло в голодных условиях блокады с помощью по меньшей мере недоброжелательно настроенного офицерства. Отрезанная от центра снабжения белыми войсками и полуудушенная санитарным мировым кордоном, революционная Россия могла лишь полагаться на выносливость, долготерпение и жертвенность народа во имя так долго заставившей себя ждать революционной эры. И серая солдатская масса в подавляющем своем большинстве, несмотря на неисчислимые лишения, сознательно и твердо приобщилась к социальным и политическим лозунгам, провозглашенным большевиками и своей кровью крепила борьбу за их осуществление.

***

После недолгого пребывания в Петербурге, части дивизии в конце 19-го года были переправлены в Рославль Смоленской губернии для окончательного формирования и оснащения. Рославль, сонный городок с полями на задворках, где смачно колосится рожь и высятся другие злаки. Жизнь здесь течет по-мирному, скорее по-старинке: фронт еще безмолвствует, а революционная гроза прошла, видно, сторонкой и городок едва смочило дождиком. Дивизия укомплектовывается не без трудностей и не спеша; красноармейцы терпеливо ждут обмундирования, главным образом сапог; чуждые солдатской массе офицеры в сво-

бодные часы, а их не мало, вслух мечтают о Деникине. Со стороны Манилову бы впору умилиться: тишь да гладь и хоть не божья, а большевистская, будто, благодать.

Дивизия не укомплектована, но „Особый Отдел“ и „Ревтрибунал“ полностью на месте и они не бездействуют. Правда, революции следует быть постоянно начеку: „неугомонный, ведь, не дремлет враг“. И суждено же было мне оказаться однажды жертвой этого затаившегося и будто вездесущего врага...

Два по существу несхожих обстоятельства спугнули неожиданно рославльскую тишину.

В городок вступила отступавшая из Украины, теснимая наседавшей на нее армией Деникина, 44-ая дивизия под командой известного по гражданской эпопее, бывшего царского офицера, Котовского. Эта дивизия своим необычным контингентом, преимущественно из бывших военнопленных мадьяр, австрийцев и румын, как и оригинальными порядками, не укладывавшимися в принятые в Советских войсковых частях, причинила хлопоты нашему командному составу и не на шутку всполошила население.

Почти одновременно в городок заявился местный уроженец, по профессии шахтер, министр финансов, как говорили, конспиративного революционного правительства на Украине, вынужденного покинуть Украину по тем же основаниям. Этот шахтер с места занял пост председателя Исполкома в городке и, в борьбе за свои прерогативы, не замедлил вступить в конфликт с дивизионным комиссаром, олицетворявшим военную власть. Вражда эта так бы и осталась для непосвященных неизвестной, если бы не инцидент на праздновании годовщины Октября. На публичном митинге на площади все выступавшие военные довольствовались, согласно распоряжению, весьма короткой речью, в виду сильного мороза и недостаточного обмундирования солдат.

Вслед за военными на трибуне оказался смуглолицый штатский, небольшого роста, с торсом богатыря и большой головой вплотную на плечах в косую сажень. Импозантная фигура, по поговорке „не ладно скроен, но крепко сшит“, с характером скорее непокладистым, как это выяснилось тут же. Не спеша, он начал свою речь издалека и на напоминание комиссара не затягивать излишне митинга, отмахнувшись, как от мухи, во всеуслышание ответил: „Не мешайте, здесь вам не толкучка!“ Это и был новоявленный председатель Исполкома.

⁂

Мог ли я в этот момент вообразить, что однажды мне придется с этим министром познакомиться поближе, да еще и в незавидном положении и по какому поводу?

В очерке „Сила Слова“ я рассказал о том, как раненые и больные вновь прибывшей 44-ой дивизии, заполнившие госпиталь, отказались подчиниться дисциплине и, смутив прочих пациентов, устроили дебош, грозивший перейти в открытый бунт, и каким оригинальным способом инцидент этот был улажен нашим Комиссаром.

Для оздоровления госпитальной атмосферы еще до этого происшествия было решено для разгрузки госпиталя подыскать помещение за городом и эвакуировать туда поначалу венерических больных.

В 4—5 километрах от городка был обнаружен ряд новеньких, благоустроенных бараков со службами, целый санитарный лагерь, построенный на случай ожидавшейся, но так и необъявившейся, холеры. Единственно не хватало там воды, так как начатый рытьем колодец не был доведен до конца.

Я отправился в Горком с приказом Начдива снарядить немедленно рабочих для приведения колодца в надлежащий вид. Заведующий, молодой студент в тужурке горняка, поляк, судя по акценту, с любезностью совершенно необычайной выразил готовность тотчас же выполнить приказ.

Через несколько дней на телефонный мой запрос последовало столь же любезнейшее заявление, что колодец в исправности и можно переводить больных. С целью проверки качества воды, я поехал в лагерь, где тщетно искал, хотя бы единый след человеческой ноги вокруг запустелого колодца. В Горкоме заведующий, нисколько не смутившись, признал свою вину и объяснил невыполнение приказа отсутствием лопат.

Из дивизии даны были немедленно лопаты, но колодец оказался все же не закончен в срок, в чем я, отправившись на место, убедился снова. И это, вопреки настоятельным новым уверениям заведующего в успешном окончании работ. На сей раз невыполнение приказа он объяснил нуждою в хлебе для рабочих. Отсутствие лопат и особенно нужда в хлебе для рабочих показались бы в это время всякому нормальными причинами для проволочек.

Менее извинительно было то, что и повторные ложные заверения заведующего о завершении работ я причислил, не раздумывая ,к превратностям момента и не обратил на них должного внимания. В моем подсознательном суждении после лопат ржаной солдатский хлеб, предоставленный рабочим, был по моменту тем именно „единым“, которым и жив только человек и с ним не то чтобы дорыть колодец, а и Вавилонскую башню не трудно бы достроить до небес.

С этой, казавшейся мне аксиомой — предпосылкой, при категорическом последнем сообщении заведующего об успеш-

ном окончании работ, да еще и с добавлением, что вода в колодце замечательная, я счел излишним затягивать решение осмотром и отдал приказ о немедленной эвакуации больных. Доложив Начдиву об отданном приказе, я почувствовал себя особенно удовлетворенным: атмосфера в госпитале оставалась напряженной и возможность новых осложнений не была исключена.

В дивизии день прошел без инцидентов и в состоянии полной эйфории я улегся спать.

Под утро я был разбужен телефоном, находившимся у изголовья, тут же. Я вскочил, как по тревоге и в тот же миг с ясностью, словно после глубокого раздумья, знал уже, что готовит мне позыв. Не прикоснувшись к трубке, я слышал:

— К колодцу никто не прикасался. В лагере ни капли нет воды.

В несколько секунд я мысленно узрел, как на экране, все перипетии истории с колодцем: явные попытки затянуть под разными предлогами работы и много хуже — повторные, заведомо ложные уверения в окончании работ. Преступные несообразности я принял за чистую монету.

Я поднял трубку. У провода главный врач, по счастью, твердый человек, опытный и авторитетный администратор.

— Тов. Диврач, доношу, что большинство подлежащих эвакуации больных уже на месте. Остальные прибудут через час, самое позднее через полтора часа. Тов. Диврач, к колодцу никто не прикасался. В лагере ни капли нет воды. Нечем умываться и нечем красноармейцам сварить чай. Тов. Диврач, не медля ни минуты, необходимо доставить в лагерь воду. Я жду воды.

— Вода будет доставлена. Оставьте дежурного врача у телефона.

Я тут же попросил соединить меня с Начдивом. Разбуженный Начдив выслушал мой короткий доклад, не об отдельных фазах, — они были ему уже известны, — а о конце, венчающим, известно, „дело“, а с ним нередко и судьбу причастных к делу этому людей.

— Я вызываю комиссара и направляюсь в штаб. Ждите меня в штабе, отрезал коротко Начдив.

По дороге в штаб я мысленно против себя составил дело и вынес приговор, понятно какой меры. Против довода, мог ли я подумать о вредительстве, кто стал бы по такому поводу, из-за колодца, жизнью рисковать, я убежденно себе же возразил. Повод этот далеко немаловажный. Беспорядок в госпитале, учиненный больными вновь заявившейся в городок дивизии, допустим, случайный, получил широкую огласку. Вмешательство комиссара не позволило беспорядку преобразиться в бунт с неизбежными последствиями и волнению за судьбу товарищей

распространиться на дивизию в целом. Отсутствие в лагере воды для больных, особенно чувствительных благодаря прежнему выступлению, должно было, рассчитывал вредитель, стать верным поводом для бунта и для вовлечения в действие дивизии. Налицо был саботаж. Все было для меня яснее ясного. Но увы, post factum!

В штабе Начдив, склонившись над столом, упорно избегал встретиться со мной взглядом, а комиссар, меривший шагами пол, небрежно задал мне вопрос:

— Вы этого мерзавца раньше знали; до этого были с ним знакомы?

„Теперь", подумал я: „весь реквизит в комплекте. Лишь документа о сговоре моем с вредителем там не хватало".

— Я понятия не имел о его существовании и сожалею, что теперь узнал. Во всяком случае не я его назначил управлять делами, — ответил я. — Как же быть с водой? Необходимо немедленно отправить в лагерь воду.

— Вот что, доктор, — несколько смущенно, чего я никак не ожидал, начал комиссар: — доставить быстро воду в лагерь может лишь пожарная команда. Но это не в нашей компетенции, а Исполкома. Я мог бы позвонить Предисполкому, но не сомневаюсь, он мне откажет: отношения у нас неважные. Предлагаю вам отправиться к Предисполкому и просить его послать пожарных, или в крайнем случае направить в лагерь водовозов. С ответом возвращайтесь в штаб.

Удивляться я уж больше ничему не мог, но выражение „просить его" меня и покоробило и поразило. Высшая власть в районе принадлежала комиссару гарнизона, а тут с просьбой да еще через меня. Очевидно, шахтер этот был влиятельной персоной и по линии более серьезной, чем наш комиссар.

„А я в какой роли выступаю?" — растерянно металась мысль: „Королевича, бьющегося со змеем или работника, посланного к морю получать оброк с чертей?".

Переступив порог домика, где помещался Исполком, я услышал зычный голос Председателя... Час был ранний, а он был уже на своем посту.

Прием, оказанный мне поначалу Председателем, был скорее любезный, хотя большое цыганское его лицо с черным чубом, закрывавшим лоб, выражало больше удивления, чем приветливости. Когда же я представился и назвал свою фамилию, бешенством загорелись его черные, слегка раскосые глаза.

— Как же, как же, — с язвительность прошипел он. — Фамилия известная. Объявления на заборах мы читать умеем.

„Боже мой", молнией пронеслось в мозгу. „Как же тут быть? Правильно говорит народ: одна беда тянет за собой другую".

Лишь накануне по городу были расклеены объявления с приказом следующего содержания: Назначаю Дивизионного врача (имя рек) Председателем Чрезвычайной Санитарной Комиссии. Приказываю в семидневный срок выработать меры, необходимые для оздоровления района. Все учреждения и власти обязаны оказывать комиссии содействие. Подписали: Начдив и комиссар.

— Товарищ, — взмолился я. — Перед вами врач, подчиненное лицо. В армии не спрашивают согласия, когда отдают приказ.

— Я это понимаю, — несколько смягчился председатель. — Но до вашего комиссара я уж доберусь; он у меня еще заплачет. У самого красноармейцы в госпиталях бунтуют, а он и городом желает управлять. Я ему покажу санитарную комиссию. Ленин меня лично знает. Я тов. Ленину послал две телеграммы и ответа жду.

— Товарищ, — напомнил я о цели посещения. — Я к вам с просьбой, с настоятельной и срочной просьбой.

— А в чем дело? — усаживаясь, небрежно, с деланной незаинтересованностью спросил он.

Закруглив углы, я сообщил, что с прибытием новой дивизии госпиталь оказался загруженным до отказа. Пришлось срочно в лагерь эвакуировать больных, а с водой вышла неувязка: колодец не готов.

— Я эти бараки знаю. Воды там нет. Как же вы так справились отлично? Переводите больных, а воды не приготовили?.. Кто же это так распорядился? Наверно комиссар. А он городом еще желает править...

— Товарищ, — прервал я председателя: — необходимо немедленно доставить в бараки воду. Им нечем чай сварить, умыться нечем. Это могла бы сделать пожарная команда.

— Пожарные? Ан нет, уж это извините. Пожарные не для того, чтобы чай больным варить. А ежели пожар, вы будете тушить?

С пожарными не вышло. Остается еще одна, но уже последняя попытка.

— Товарищ, больных нельзя оставить без воды. В таком случае водовозы должны доставить воду.

— Водовозам и без вас работы хватит. А с людей сдирать две шкуры я не дам. Не иначе, как возбуждать народ против советской власти, это вы хотите.

— В таком случае, нужно особо оплатить этот наряд. — Последнее, что мне пришло на ум.

— А деньги на наряд где взять? — И тут едва заметная улыбка исказила его неприязненно сомкнутые губы. — С день-

гами, конечно, можно, но дело это не простое. Вы доктор, вам и невдомек. Присядьте на минутку, я вам объясню.

И с серьезным видом, вытянув вверх палец своей огромной кисти, он начал объяснять.

— Всякое хозяйство, хотя бы и государство, живет по книжке, роспись по хвинансам. Тут доход, а там расход и что к чему известно. К примеру, вы просите деньги водовозам: все возможно, но просить-то нужно вовремя — дважды в год, к генварю и месяцу июлю. Вы просите на водовозов, скажем, десять тысяч...

Не слушая, я слышал разглагольствования председателя и думал об одном: бегут минуты; воду не доставят; в лагере, возможно, уже бунт. С чем я вернусь в штаб? Мне остается только стенка...

И вдруг, сейчас только полностью осознанная оскорбительная неуместность выражений: „попросите, вы просите“, давеча в устах у комиссара, а ныне у председателя, представилась мне в настоящем свете. Негодование оборвало мои мысли. Чувство обиды пересилило во мне и страх, и беспокойство, и присущую человеку, особенно военному, привычку к выдержке и самообладанию. Для больных красноармейцев мне приходится вымаливать воду и издевательства терпеть!

Сорвавшись с места, собой больше не владея, я кулаком хватил с такой силой по столу, что чернильница с места сорвалась и закричал, что было мочи:

— Я не проситель. Вы понимаете? Я не прошу у вас, а требую. Требую у коммуниста и революционера воду для больных солдат.

А дальше... Рывком открылась дверь и на пороге показался вихрастый парень с кулаками наготове. А председатель...

Председатель, потянувшийся, было, к лежавшему на столе большому „кольту“, душил меня в своих объятиях клещами и повторял:

— Не сердися, доктор; ты прав, товарищ. Какой же ты проситель? Обязан требовать. Должен действовать по большевистски. Не сердишься?

— Ванька, — обернулся он к двери: — беги к пожарным, воду пусть везут в бараки, что за городом; бочки у них полные. Чтоб в минуту... Голову скручу. Сейчас же скажешь водовозам: „С утра воду возить в лагерь, с бараков начинать. Кажный день, пока доктор не отменит“. Все?

Я мог только, сжимая его руку, сказать:

— Спасибо, спасибо вам большое.

— Ни к чему спасибо. Запомни, доктор, если что нужно, приходи ко мне. Ни в чем отказа не увидишь. Тебе спасибо. А до комиссара вашего я уж доберусь. Ему...

Но я был уже за порогом.

Я направлялся в штаб, боясь ускорить шаг. С грохотом и звоном по булыжной мостовой промчалась пожарная команда. Не поздно ли? Что в лагере творится? Начдив встретил меня с просветленным, приветливым лицом.

— Услышав пожарных, я позвонил в бараки. Там все спокойно. Больные не все еще на месте. Ждут воды. Как вам удалось справиться с этаким медведем, для меня загадка. Комиссар вас благодарит... Можете не беспокоиться. Все хорошо, что хорошо кончается. Для всех.

С предисполкомом я больше не встречался, но слово „саботаж" во все время пребывания моего в Красной Армии ни на минуту я не мог забыть.

***

Если жизненный путь человека во все времена был и остается „тропинкой бедствий", то в революцию существование, особенно для людей на ответственных постах, это всегда хождение по мукам или, вернее, балансирование у края пропасти... Взять лишь ежедневную почту Санитарного отдела дивизии: это неиссякаемый поток приказов и особенно запросов, на выполнение коих обычно дается лишь короткий срок, часто заведомо при этом недостаточный, чтобы снестись с подведомственными учреждениями, рассеянными на многие десятки, а то и сотни верст, приказов, заканчивавшихся по трафарету: „За невыполнение будете преданы суду Ревтрибунала".

Два учреждения творили суд, они же и расправу в дивизиях на фронте. „Особый отдел", стоглазый Аргус революции, действовал инкогнито и скрытно; „Ревтрибунал", напротив, у всех был на устах: уж больно коротка к нему была дорога. Кодекса „Ревтрибунала" — не знаю, я не читал, но практика его в условиях фронта сводилась к трем решениям: оправданию при пролетарском происхождении, прощению и смертной казни. И все же это был суд гласный, скорый, хоть и не милостивый, конечно, а революционный. „Ревтрибуналом" на фронте обычно все клялись и угрожали.

Во все время пребывания дивизии в Рославле по субботам давались представления, где подвизались разъезжавшие по фронту настоящие артисты и свои любители. Эти вечера заканчивались, конечно, танцами с местными девицами, жаждавшими скрасить всячески солдатам их невеселое житье.

Я занимал комнату в семье, где была девушка подросток, недавно лишь оправившаяся после тяжелого сыпного тифа, полная, как выражался мой фельдшер, пожилой, скрывавшийся, по-

видимому, интеллигент, хиромант и звездочет, полная активного, живительного сока жизни, „праны“. Между прочим, глядя однажды в свой кристалл, он всерьез предостерег меня от опасности, грозящей мне от этой девушки, чем сильно позабавил. Соничка и уговорила меня однажды забыть о „входящих и исходящих“ и быть ее кавалером на красноармейском вечере. Закончился концерт и начались танцы. Соничка отдалась самозабвенно ритму танца и прижималась ко мне по-детски, сознаюсь, возможно больше, чем этика в то время позволяла. Музыка и, очевидно, излучение „праны“ увлекли и меня было, далеко от всяческих земных реальных уз, как голос братишки Сонички, напомнил мне о них брутально.

— Соня, — прошептал братишка: — председатель Ревтрибунала приказал тебе оставить доктора и идти с ним танцевать.

Ответ был короток и категоричен:

— Передай Предревтрибуналу, что я не в Красной Армии и окончательно плевать хочу на его приказ.

Мы продолжали танцевать, но „прана“ Сонички до меня теперь почти не доходила. Едва мы вернулись к месту после очередного танца, как мальчишка явился с новой вестью:

— Предревтрибунала страшно сердится. Если ты сейчас же не пойдешь с ним танцевать, он арестует тебя и доктора. Подумай. Соня, что ты делаешь!

— Передай этому нахалу, что с доктором я готова идти сейчас же на расстрел и с радостью с ним вместе лягу в гроб.

После этой, во всех смыслах, далеко идущей реплики по моему настоянию мы отправились домой.

Поток „входящих“ быстро унес из моей памяти танцевальные переживания. Новые факты стали злобой дня и среди них особенно тревожило меня состояние здоровья комбрига Маккавеева, обратившегося ко мне с жалобой на свой „язык“. С командиром бригады, полковником царской армии, Маккавеевым, талантливым офицером и исключительно симпатичным человеком, во время формирования дивизии я сошелся близко и часто пользовался гостеприимством его семьи. При осмотре языка комбрига я не обнаружил ничего патологического и прописал дезинфицирующее полоскание.

Нужно же было, чтобы вечером того же дня я выслушал на докладе у начальника дивизии грустную повесть о гибели его жены от слишком поздно диагностированного заражения молоком больной ящуром коровы. В войну 14-18 года многократно приходилось видеть коров, стоявших безучастно в поле с мутными

глазами и свисавшим изо рта распухшим языком. Мелькнувшую было мысль о Маккавееве я тут же отстранил: общее состояние Маккавеева не было нарушено.

Дня через два, приступив в присутствии комиссара к разбору очередной почты с неразрешимыми запросами и невыполнимыми приказами, я был отвлечен письмом комбрига, врученным мне гонцом. Маккавеев сообщал об ухудшении своего состояния и писал: „Мой язык меня задушит". Мысль о ящуре оформилась теперь и повергла меня в тревогу. Как в условиях фронта диагностировать эту болезнь у человека и как лечить ее?.. Я показал письмо комбрига комиссару и сказал, что должен сейчас же навестить его. Комиссар стал убеждать меня не делать этого, ссылаясь на срочную работу, а главное на факт, что у комбрига имеется в распоряжении шестнадцать врачей — пятнадцать в полках и шестнадцатый при нем — бригадный, старый и опытный военный врач. Уступая комиссару, я решил, что комбрига надо немедленно эвакуировать в столицу для специального лечения, имея в виду возможный ящур и вручил санитарный билет для эвакуации гонцу.

Погрузившись на добрый час в разбор запросов, я вдруг очнулся, огляделся и, узрев письмо комбрига, вновь перечел его. Слова о языке потрясли меня. Комиссара за столом не оказалось и не было его вокруг. Я приказал седлать коня, взял свой хирургический набор и поскакал к комбригу. На развилке пути, я увидел скачущего во весь опор из штаба дивизии гонца. Молниеносно меня пронзила мысль, что этот вестник спешит по мою душу. Я остановил гонца вопросом:

Кому?

— Дивизионному врачу.

— Давай.

Я расписался, отдал конверт и развернул приказ. Там значилось: „Передаю телефонограмму комиссара дивизии Черницкого: „дивизионный врач отказал в помощи комбригу Маккавееву, писавшему — „мой язык меня задушит". Приказываю арестовать див. врача, препроводить его к больному и по оказании помощи направить в штаб на предмет предания суду Ревтрибунала". Подпись пом. начальника штаба.

Когда я несколько пришел в себя и мог рассуждать логично, первым мне бросилось в глаза, что вместо „архангелов", согласно приказу, для ареста мне шлют предупреждение через штабных, к арестам вовсе не причастных. Но о каком аресте может идти речь теперь, когда я в первую же свободную минуту поспешил к больному и приказ застал меня в пути.

Задуманный кем-то против меня удар пришелся, выходит „не по коню, а по оглобле", с злорадством повторял я.

Но такой приказ мог быть лишь следствием жалобы комбрига... Наименее вероятное, что я мог бы, зная комбрига, допустить и чему поверить. И все же...

Неужели же так скоро повезло председателю Ревтрибунала, что мне придется теперь расплачиваться за Соничку и за себя... Худшее, однако, это глядеть в глаза комбригу и думать: „я любил тебя“...

Замедлив бег лошади, в таком круговороте мыслей, я достиг деревни и вошел к комбригу. Больной не в состоянии был говорить и только жал мне крепко руку. Жена комбрига благодарила и извинялась, повторяя, что комбриг не желал видеть никого из своих врачей и терпеливо ожидал моего приезда. Атмосфера была дружественной, лишенной и тени неприязни. Язык комбрига не свисал, как у больной коровы. На поверхности языка имелось болезненное, значительное возвышение. Скальпелем я рассек его; гнойная сукровица показалась из разреза. Несколько полосканий и больной спокойно уснул.

Намеренно до вечера я оставался у комбрига. Проспав несколько часов, больной проснулся в удовлетворительном состоянии и мог выпить чашку чая. За долгие часы беседы с женой комбига было пересказано и перемыто все, что касалось нашего житья-бытья, включая и предстоявшие вскоре перемены. Все это время я мучился вопросом, как комиссару могло стать известным содержание письма ко мне комбрига. Собираясь уезжать я как бы невзначай спросил:

— Вы звонили в дивизию о болезни мужа?

— Нет, — был ответ: — до вашего приезда я не хотела, чтобы там знали о его болезни.

„Значит, — решил я, — кто-либо из офицеров бригады взял эту миссию на себя“.

По дороге в штаб дивизии я обдумал линию своего поведения. В штабе, в канцелярии я написал рапорт с просьбой о содействии моему переводу в другую дивизию и подал его ничего не знавшему о происшествии начальнику дивизии, приложив для осведомления приказ комиссара о моем аресте. Возмущенный Наччив позвонил тут же комиссару, приглашая его в свой кабинет, но комиссар предложил мне сейчас же предстать пред его очи. Едва лишь я переступил порог, он бросился ко мне со словами:

— Забудьте, доктор, я извиняюсь. Считайте, что ничего не произошло.

— Позвольте, — возразил я: — не осведомившись, вы отдаете приказ о моем аресте и просите меня забыть об этом... Согласитесь, что это невозможно.

— Инцидент исчерпан во всех смыслах. Не будем больше об этом говорить.

— Я подал рапорт о переводе в другую дивизию.

— Никуда я вас не отпущу.

— В таком случае, вы обязаны мне сообщить, кто с провокационной явно целью оповестил вас о письме ко мне комбрига.

— Согласен, но это между нами. Запомните: строго между нами. Ваш комиссар.

— Ах, подлец, — вырвалось у меня: — он именно и убеждал меня не ехать к больному, ссылаясь на срочную работу и наличность множества врачей в бригаде.

На это мое замечание комиссар никак не реагировал и мы расстались.

На следующий день за столом в канцелярии, уверенный, что шило надежно покоится в мешке, с приветливой улыбкой, цену коей полностью я ныне осознал, ждал моего прихода комиссар. На горке почты на столе лежала телеграмма. Делая вид, что не замечаю комиссаром протянутой мне руки, я быстро подошел к столу и со словами:

— Какой еще подвох готовит мне фортуна? — взял телеграмму.

Мог ли я осознать тогда, что в этой бумажке заключена была вся моя дальнейшая карьера и судьба? Мог ли я хотя бы заподозрить, что в нескольких словах этой телеграммы, как если бы условным кодом, предлагалась мне альтернатива: остаться на родине и претерпеть, конечно, что по-тогдашнему полагалось каждому гражданину, особенно на ответственном посту, но тем самым избежать переживаний и трудностей, связанных с русско-польской войной, близкой к гражданской; не знать интернирования в Германии, не отличавшегося ничем от плена и следовавшей за ним утраты родины; не испытать тяжелой борьбы за существование и не обречь себя до окончания дней своих незавидной участи изгоя на чужбине... Не только я не осознал, не сжал, не удержал дружески мне протянутой руки; не понял столь явного и исключительно милостивого ко мне предупреждения, но в гордыне неведения восстал и возмутился против непрошенного и неведомого покровителя.

Телеграмма гласила: „Приказом Начальника Санитарной части фронта вы назначены главным врачом „санитарного городка“, имеющего быть в бараках вблизи Рославля с отчислением от дивизии. Инструкция следует“. Если приказ об аресте и предании суду, не зная за собой вины, я ощутил, как оскорбление моей врачебной чести, то эта телеграмма, обрекавшая меня на муки, сопряженные с ненавистными мне „входящими и исходящими“, на закрепощение у канцелярского стола, вместо далей

и просторов фронта, эта телеграмма представилась мне несправедливым теперь уж приговором, заочно как бы осуждавшего меня того же Ревтрибунала. И я взмолился и возроптал: „Избави меня. Господи, от такого поношения!...“

В штабе, оказалось, начальник дивизии и комиссар предприняли уже все возможное, чтобы приказ был отменен, но безуспешно. Считанные дни оставались до выступления дивизии на фронт и потребовалась личная поездка Начдива в штаб фронта, чтобы добиться отмены распоряжения. С чувством вольной птицы, избежавшей грозившего ей пленения, я сел на коня, отправляясь с дивизией на фронт. Солнечной широкой и свободной представлялась мне дорога, по которой уверенно шагал мой конь. И невдомек мне было, да и кому на ум могло прийти, что тут же, рядышком с этой дорогой, змеится загодя нам уж уготованная, еще другая, коварная „тропинка бедствий“.

***

Летом 19-го года 53-я пограничная дивизия после длительного и богатого всякими происшествиями формирования была брошена на фронт против поляков. Долгие месяцы темп наступления в виду значительного сопротивления польских войск, особенно „галлерчиков“, бывших немецких солдат поляков под командованим генерала Галлера, был нестойким и медлительным. Из этого периода особенно запомнилось мне местечко „Глубокое“, где в сражении принял участие вновь прибывший отряд матросов. Подстать пушкинским богатырям — „все красавцы удалые; все равны как на подбор“ — ринулись в атаку семьдесят два матроса... Вернулись с поля только двое...

К началу 20-го года, когда мы включились в армию Тухачевского, главное ядро которой составлял казачий корпус Гая, наше продвижение значительно ускорилось. Уподобляясь кавалерии, пехота передвигалась теперь конно — на подводах. Каждое утро диспозиция санитарным учреждениям давалась на 20—25 километров вперед, как если бы эти места были бы уже завоеваны накануне. К этому моменту „галлерчики“ исчезли и жалкие польские силы, судя по пленным, преимущественно зеленая молодежь, гимназисты, — не могли оказать значительного сопротивления безудержному натиску казаков по направлению к Варшаве.

***

Этот стремительный победный марш завлек нашу армию на триста километров вглубь Польши, оторвав от всех баз снабжения.

Среди плеяды, ставших легендарными героев Октября в борьбе за утверждение советской власти на поле брани, имя Гая, по-видимому, не фигурирует. Этому, возможно, есть особое основание. А между тем, подобно Буденному со своими казаками в эпическом походе на освобождение Киева, Гай с кубанцами и донцами возглавил сказочное по своей смелости, стремительности и сметавшей все на своем пути мощи, наступление на Варшаву.

Унтер-офицер царской армии, лет тридцати пяти, среднего роста, с фигурой гимназиста, на кровной лошади, во главе своих дивизий, салютуя отражавшей солнце шашкой, он был подстать герою Шехерезады. Тухачевский тогда мало кому был известен, а имя Гая у всех было на устах. Казаки, весьма независимо державшие себя по отношению к начальству, подчинялись ему беспрекословно.

Несмотря на каждодневные победы, авантюрный характер продвижения чувствовался всеми и по мере углубления в Польшу дух армии заметно снижался. Боевой клич: „Даешь Варшаву!“, столь популярный в начале похода, звучал все менее победно и еще менее убедительно по мере приближения к цели.

Я припоминаю поляка, штатского, симпатичного средних лет человека, двигавшегося, по-видимому, со штабом армии, с которым я сталкивался время от времени в местах более длительных стоянок. К сожалению, я не поинтересовался узнать его фамилию, а может быть забыл ее, но помню, что он предназначался, как говорили, для формирования польского правительства в Варшаве. Однажды я его спросил:

— Скажите, скоро ли нам набьют морду?

— Прикиньте сами, — ответил он мне, — что должно быть приятнее полякам: только набить морду или же набить морду и утопить нас в Висле?

Ответ ясен. Значит, как перейдем Вислу, так и получим, что полагается.

В начале июля штаб нашей дивизии как-то задержался в небольшом городке, который назывался Липно.

— Ну, — сказал я своему комиссару, узнав название городка, — тут мы наверное и влипнем.

В один из этих дней, войдя в штаб, я увидел молодого человека в кожаной куртке, углубленного в рассмотрение карты на стене. На молчаливый мой вопрос, помощник начальника штаба шепнул:

— Командарм Тухачевский.

— Случилось что-нибудь? — спросил я.

Помощник начальника штаба только пожал плечами.

Атмосфера становилась явно беспокойной. Дурные вести

шли от раненых из-за Вислы, где казаки бились уже в предместье Варшавы-Праге.

Полякам, оказывается, давно было известно, что не только впереди все было готово для так долго заставившего себя ждать „чуда на Висле“, но что глубоко в тылу нас ждал корпус Понятовского, отрезавший нам пути к отступлению. Лишь несколько дней мы оставались в Липно. Приказ об отступлении всех нас обрадовал и огорошил. Со вздохом облегчения мы повернули коней вспять. Кончилась недолгая, но нелепая война без определенного фронта, с прорывами в десятки километров, откуда то и дело могли нагрянуть непрошенные гости. Мы направляемся в Россию, к себе домой.

Первые двадцать четыре часа в седле, почти не сходя с коней, прошли как в угаре, без утомления, незаметно. К вечеру авангард нашей группы приблизился к деревне, где предполагалась остановка. И вдруг, пулеметный огонь в лоб заставил нас остановиться. После некоторого замешательства деревня была обстреляна и пулеметы замолчали. Но наш беспечный угар мгновенно испарился. Сознание, что неприятель не только позади, но и впереди, заставило сердце больно сжаться. Всю ночь рыскали разъезды, разведывая дороги и устанавливая связь. К рассвету наше положение было ясно: неприятель повсюду, мы в мешке, полностью окружены. Не в польскую столицу, куда стремились, а в безыосходно сжимавшееся кольцо окружения попала неожиданно 225-тысячная армия Тухачевского!

Ко мне подошел начальник Особого отдела — Суворовский, новый человек в дивизии.

— Вы что предпочитаете, — спросил меня Суворовский, — попасть к полякам в плен или пробиться?

— Странный вопрос, — ответил я. — Семь лет я в армии и плен всегда мне представлялся как бы „смертью в кредит“. Но если бы это было и не так, то здесь, теперь, зная какие безобразия казаки творили в Польше, я без колебания предпочту пленению смерть.

— Рассуждение правильное, — заявил Суворовский. — Вот почему я и советую вам сейчас же оставить дивизию и следовать за казаками. Казаки обязательно пробьются. Для них это вопрос жизни или смерти. А все прочие... Не многим из них удастся избегнуть плена. Это же делаю и я сам.

Раздумывать было нечего и некогда. Когда мы тронулись, я, мой комиссар и наши вестовые попридержали своих коней, выждали, пока прошли кубанцы и включились в хвост колонны. С этого моменвата началась героическая, а по существу страшная, звериная эпопея борьбы за жизнь окруженных.

Шесть долгих суток продолжалось испытание. Изо дня в день снова и снова смыкалось кольцо окружения и дикой, бешеной атакой разбивали его казаки. Тотчас же все, что могло двигаться, устремлялось в прорыв, движимое одним лишь чувством проскочить, пока не сомкнулось кольцо снова. И горе пехоте, горе отстающим!..

На третий день наша колонна вошла в лес и остановилась, поджидая казачьи силы, отставшие, чтобы покормить лошадей. Вся эта масса расположилась на недолгий отдых в густом лесу. Я и мой комиссар спешились и прилегли на полянке, не выпуская повода из рук.

Развлечением для нас служила стоявшая неподалеку большая коляска, запряженная парой чудных вороных коней. В коляске сидела подруга командира казачьего корпуса, тов. Гая, молодая девушка, на вид подросток — как говорили, гимназистка. Взглянув в ее сторону, я не мог оторвать взора от больших черных глаз на маленьком, беленьком личике этой девочки и от большого выпиравшего вперед живота, казавшегося кощунством в этом царстве смерти. В ее позе и в выражении ее глаз было столько спокойствия, как это бывает лишь у беременных, что вся она представлялась каким-то неземным видением.

Отряд вооруженных до зубов казаков окружал коляску. Но все они блекли перед фигурой, восседавшей на козлах. Один вид этого казака мог бы, казалось, обратить польскую армию в бегство. Это был гигант с копной рыжих волос на голове, с неимоверным, выдававшимся из-под папахи, чубом и рыжей бородой, скрывавшей его лицо, где глаза и нос были едва только видны. Самым страшным на этом лице была, однако, челюсть. Неимоверных размеров, она превращала его в настоящего орангутанга. Грозные и молчаливые казаки не сводили глаз со своей девочки командирши.

И вдруг лес задрожал от ружейной пальбы, криков „ура" и лязга шашек. Польская кавалерия совершенно неожиданно атаковала лес. Воздух огласился беспорядочными криками: „вперед! в атаку!" — против невидимого врага. Я вынул свой новенький браунинг, подарок моего комиссара в момент отступления (в красной армии врачам оружия не полагалось), открыл предохранитель и решил, что этот момент, пожалуй, наиболее подходящий, чтобы, наконец, кончать эту затянувшуюся канитель.

Я взглянул в сторону командирши. Отряд тесным кольцом окружил коляску. Казак на козлах с винтовкой наизготовку в одной руке, обнаженной шашкой в другой, огненно рыжий, стоя во весь рост, был без преувеличения выше дерева стоячего и лишь чуть пониже облака ходячего, а обезьянье его лицо выражало невероятную свирепость.

Девочка командирша сидела в той же позе, немного откинувшись назад и с тем же невозмутимым спокойствием, как и прежде, смотрела вокруг. Она, вероятно, видела мои приготовления и, возможно, угадала мои мысли. Когда глаза наши встретились, она улыбнулась мне едва заметным движением губ.

Должен признаться, что мне стало и стыдно и легко. Я вскочил на коня, комиссар последовал моему примеру и только хотели мы броситься... неизвестно куда, вперед, как земля затряслась и лес задрожал от топота коней и криков: „Дорогу кубанцам!“ В тот же миг две кубанские дивизии, как вихрь, ворвались в лес. Впервые не как участник, а со стороны я мог наблюдать казачью атаку. Лошади с развевающимися гривами, прижатыми ушами и оскаленными зубами. Всадники, стоя в седле, опускаясь и вскакивая, проделывая невероятные движения шашками в воздухе, со страшным гиканьем и воем неслись, действительно, как легион чертей.

Через несколько минут все было кончено: поляки пустились наутек.

Мы двинулись тотчас же дальше. Снова потянулись дни, полные крови и страха. Страшно было идти дорогой очередной атаки казаков. Трупы, трупы, наполовину обезглавленные и не только солдатские... Редко убитые пулей. Слово и дело было за казацкой саблей и за саблей только, как в стародавние, былые времена... Большой обоз с ранеными, по большей части казаками, следовал за нами. Сейчас вся цель была пробиться к месту, где стыком сходится польская земля с немецкой. За этим местом наш фланг был обеспечен, и, главное, мы выбирались из мешка. Укрепленное местечко Хоржеле прикрывало этот стык. Хоржеле я запомнил на всю жизнь. Богатая артиллерия, пулеметные гнезда, специальная колея для привоза боевых припасов защищала это место. И для нашей орды, все бравшей рывком, с лету, задача была, как будто, непосильной. Правда, после атаки на польский бронепоезд, который казаки после нескольких безуспешных и губительных попыток пехоты взяли в конном строю у нас на глазах, трудно было считать что-либо невозможным для казаков.

Но до Хоржеле нам пришлось изведать еще одну напасть: пулеметный огонь с неба. Не трудно понять переживания кавалериста, когда его начинает поливать из пулемета аэроплан, летящий прямо над головой и это в войне как бы врукопашную, где аэроплану совершенно не должно быть места. И нужно правду сказать, что изумления и возмущения было даже больше, чем страха.

⁂

К Хоржеле мы подошли ночью. Наша многотысячная орда сосредоточилась в деревне и в лесу, в нескольких километрах от местечка. Наш штаб оказался в деревне. С рассветом поляки начали обстрел такой интенсивности, что из-за укрытий нельзя было показать и носу. Находясь в избе при открытой двери, мой комиссар был ранен в ногу, а меня щелкнула по козырьку фуражки шрапнельная пуля.

Но тут заговорили остатки нашей давно уже онемевшей артиллерии... Десятки пушек без устали стали громить Хоржеле, благо снарядов было не занимать стать: весь наш путь отступления был ими усеян.

Уже солнце клонилось к закату, когда польский огонь стал значительно слабеть.

И вдруг все зашевелилось. Команда: „По коням!“ И затем тысячеголосый казацкий клич — „В атаку!“.

Я долго не мог забыть момента, когда наш начальник штаба, большой и грузный царский генерал-майор, Зайченко выскочил из избы и срывающимся голосом закричал:

— Штаб 53-й пограничной дивизии в атаку!

Такую команду я слышал впервые: это было, очевидно, то немногое, что оставалось еще от нашей дивизии.

И все понеслось. Казаки, рассыпаясь, охватывали лавою местечко. Я помню только, что, без устали стегая свою лошадь, я выл с усердием несомненно достойным лучшего. И мы в Хоржеле... Еще несколь минут и Хоржеле позади... А вот и Германия... Такую перемену трудно сразу осознать... Метаморфоза, как во сне... Но у границы немецкие пограничники кричат:

— Kommen Sie, kommen Sie!...

Нет, это не сон: мы вырвались из окружения.

Мы идем вдоль границы. Одна лишь черта, небольшая канавка, отделяет нас от земли обетованной, земли мира. Но враг не наседает и нет решимости ее перешагнуть. Перешагнешь и это как бы плен... Прощай тогда Россия, а значит, жены, семьи, на месяцы, а то и годы...

Переправили через границу тотчас же раненых в сопровождении фельдшеров. Все пешее, не боевое, до крайности измученное, переходило самотеком. А кавалерия все медлила и под покровом ночи отошла даже от границы. Но на рассвете сомнения исчезли: куда ни взглянешь, везде вокруг на горизонте маячили фигуры польских всадников и в утреннем тумане они казались страшными, большими. Короткая команда и мы рысью понеслись к границе... Канавка, небольшой скачок, и мы в Германии. Шли несколько минут и спешились. Приказ — сдавать оружие, процедура не из приятных, особенно, когда за пригла-

шением следует напоминание: за укрывательство оружия — расстрел.

И вдруг тревога... Команда „По коням!“ и вперед... Поляки прошли границу, убили немецких пограничников, пытавшихся их задержать и скачут вслед за нами... Добрых полчаса мы, безоружные, удирали от погони и, нужно правду сказать, впервые за всю кампанию мы были в положении преследуемой дичи. Не думаю, чтобы польские уланы могли гордиться таким реваншем.

Таков был эпилог кампании под лозунгом „даешь Варшаву!“ Не на родине мы стали „товарищей считать“, а на чужбине, в никому не ведомом Арисе, пограничном городке Восточной Пруссии... И было от чего взгрустнуть и возмутиться... Более ста тысяч в плену у поляков, из которых больше половины погибнет от голода, побоев и лишений и мы, в количестве 75 тысяч, на положении спасшихся от плена, интернированных. Но и мы получим нашу долю, хотя и меньшую и унижений, и лишений в немецких лагерях.

***

Семьдесят пять тысяч интернированных были собраны на плацу пограничного полка Версальской формации у небольшого городка Восточной Пруссии — Ариса. Голый плац за колючей проволокой с часовыми на постах. Лишь несколько пустующих на окраине домиков, бывших офицерских помещений. В домиках поместили женщин и там же разместилось управление, организованное не без труда из начальников дивизий. Красноармейцам оставалась природа заграницы: ее небеса и дали... Дали — за колючей проволокой без деревца, поросшее бурьяном поле. В сторону городка неширокое шоссе. У единственных ворот шагает часовой. Он стреляет без предупреждения во всякого, кто высунется за ограду.

А небеса... В Германии Бог собственный, немецкий и Ницше его евангелист. Небеса не упустили случая потешиться над слабым. Холодным, мрачным сентябрем обернулся август к нам. Грозные, упитанные тучи поливали „даль“ водой, не переставая, день за днем. Злобный, пронизывающий ветер забирался, куда и как хотел. Укрыться от не знающего пощады Бога, можно было только под землей. И красноармейцы зарылись в землю, как кроты. Подстилкой и одеялом служила всем солдатская шинель: „что и под низ, и в изголовье, и на верх и все шинель“.

Не лучше дело обстояло с продовольствием. Выдаваемых немцами продуктов по мизернейшей раскладке едва хватало на 20 000 человек. И если бы не красноармейские лошадки, заполнявшие жертвенно котлы, плохо пришлось бы интернированным в гостях у немцев.

Тянулись дни и мораль у красноармейцев все снижалась. К недовольству после поражения присоединилось озлобление из-за невыносимых и унизительных условий существования, обескураживающих и самых стойких. Неизвестность о положении на родине, на фронте; сознание, что продолжительность интернирования зависит не только от прекращения военных действий, но и от успеха мирных переговоров, которые могут тянуться бесконечно, усугубляло недовольство. Виновником всех этих злоключений, следствий поражения, почиталось, естественно, начальство. И враждебность солдатской массы к комиссарам и офицерам росла и ширилась заметно. Немцы всячески содействовали недовольству антисоветской пропагандой, особенно среди казаков, предлагая свободу и гонорар за включение в армию Врангеля.

После полуторамесячного ожидания всуе чуда, стало известно, что наше пребывание вблизи границы идет к концу и нас отправляют вглубь Германии, в лагеря военнопленных. Эти лагеря пользовались страшной славой со времени войны, славой, хорошо известной русским воинам. И не стало больше места для самообмана. Рушилось бесповоротно упование на наше „право“, как интернированных, на человеческое отношение. В безвестность ушла мечта о скором возвращении на родину. В лагерях нас ожидало бесправие рабов и настоящий голод. Все это знали и переживали тяжело.

Началась эвакуация. Интернированная армия переправлялась эшелонами по две-три тысячи солдат. Путь наш в заключение по зигзагам напоминал, возможно, дорогу в ад. Поездом эшелоны добирались сначала до порта Восточной Пруссии, Пиллау. Дальше морем их переправляли до модного курорта на побережье — Свинемюнде. Из Свинемюнде интернированные направлялись в лагеря в самые гиблые немецкие районы. Прямой путь шел через польский коридор, но интернированным он был заказан.

Подобная экскурсия по „загранице“ и на казенный счет должна бы развлечь и вызвать интерес, даже у туристов поневоле. Но слишком резок и неожидан был переход от упований к фактам. Хмурые, не вступая в разговоры, красноармейцы держались особняком и, видимо, о чем-то размышляли. О чем, стало известно, когда мы очутились во чреве огромного, черного, на слом лишь годного угольщика-грузовика, в кромешной тьме и удушливой атмосфере гари, переправлявшего нас в Свинемюнде.

Единственное возможное решение у узников созрело тут же, подобное в точности тому, о котором нам поведал в свое время Егорий Аверьянович: расправиться с небольшим немецким караулом; офицеров бросить в море и угольщик повернуть домой. Положение спасла... песня, с такой варварски самодовольной и

конечно „колоссальной“ какофонией исполненная перетрусившими немцами — „drum Mädel weine nicht“ — немецкое „типерери, — что вызвало единодушный протест заключенных в трюме меломанов, солдат и офицеров. А когда вдруг трель соловьиная русской песни нежданно огласила трюм, все вокруг переменилось: вмиг не стало черной палубы над головой; светом залило телами набитую, смрадную трущобу корабля; воздухом весенним, теплым русским дождиком обдало людей и как один все подхватили: „Ах, ты садик, мой садочек, мой зелененький такой...“. Отзвучала песня и люди преобразились: впервые с момента интернирования не стало розни между разделявшими ту же судьбу: солдаты, офицеры стали смеяться, разговаривать, как если бы никогда и ничто их не разделяло. И немецкое море смирилось перед русской песней. Как зачарованный, наш угольщик бережно, не дрогнувши, плывет. Ни малейшей качки во все время путешествия.

А вот и Свинемюнде... Широкая, отливающая золотом, убегающая далеко вдаль песчаная равнина. Из кромешной тьмы мы попадаем в царство ослепительного света: контраст, возможно, испытанный Ионой, когда он вылез из китова брюха. Отсюда поездом нас переправляют вглубь Германии, центр культуры и, конечно, свободы мировой. Вкус этой культуры мы уже загодя ведь ощутили, а в смрадных лагерях военнопленных за колючей проволокой мы причастимся без труда и к „свободе мировой“.

***

После долгого путешествия мы высадились из вагонов у маленькой, чистенькой станции „Лихтенгорст“ и зашагали по шоссе к лагерю, бывшему, оказалось, штрафным для пленных в войну 14-го года. Первое впечатление: „Какой простор! Кругом ни жилья, ни живой души...“. Но вот, с воздухом, как будто, неувязка. Воздух, единственный элемент, еще нигде, официально по меньшей мере, не рационизированный, здесь был явно не в комплекте: значительная часть кислорода заменена была, как если бы намеренно, весьма дурно пахнущим серо-водородом. Под стать воздуху ландшафт: куда ни взглянешь, топкое, взлохмаченное, болотистое поле, поросшее редким кустарником и чахлою травой. Но вот вдали какие-то строения. Подходим ближе. Высокая изгородь, опоясанная густой колючей проволокой. За проволокой на небольшом пространстве видны два ряда ветхих, вросших в землю от перегрузки и старости бараков. К баракам тесно примыкает кладбище со множеством жалостливо покосившихся крестов. Атмосфера густо серо-водородная; для целебной, пожалуй, слишком крепкая.

Часовой открывает узкие ворота и мы, три тысячи интернированных, в отведенном для нас загоне. Ко мне подбегает врач с кружкой воды в руке. В Свинемюнде этот врач, озирая восхищенно пляж, продекламировал по-немецки: „Привет тебе, страна поэтов и философов!“. Сейчас растерянный и негодующий, он протягивает мне кружку. Отвратительный запах тухлых яиц бьет в нос: вода насыщена серо-водородом и негодна для питья.

В этот момент в лагерь впорхнул маленький, худенький человечек в пилотке на коротко остриженной голове, в зеленоватого цвета полинялом кителе и таких же обмотках на тонких ножках.

— Спросите этого кузнечика, где найти начальника лагеря.

— Наш Sanitätschef, — обратился к немцу врач: — желает видеть директора лагеря.

Кузнечик любезно осклабился, обнаружив острые, как у зайца, зубы:

— Я переводчик. Я могу по-русски. Директора Herrn Amiral von... нельзя видеть. Он очень занятый.

— Директор нашего лагеря настоящий адмирал и живет здесь? — с недоверием переспросил я переводчика.

— Наш флот мы потонули и Herr Amiral на пока получил такое место, — глядя в сторону подтвердил переводчик.

У меня в душе мгновенно просветлело. Кому должно быть хуже: нам ли, чудом вырвавшимся из окружения и вынужденным укрыться в первой подворотне или адмиралу, царю и богу на корабле, очутившемуся в болоте Lichtenhorst'a?..

— Понюхайте, — поднес я кружку к носику кузнечика.

— Не понимаю. Очень хорошая вода.

— Эта вода не годна ни для варки пищи, ни для питья. Я желаю лично доложить об этом адмиралу.

Кузнечик пожал плечами и, упорхая, бросил вслед:

— Ничего, привыкнетесь...

Это выражение стало у нас нарицательным с тех пор в обоих смыслах: и когда кто возмущался нашим положением и когда кто мирился с обстановкой.

Оптимисты утверждают, что безвыходных положений не бывает... И, правда, тут только я вспомнил о Карлуше. Начальник велосипедной команды при штабе нашей дивизии, молодой, белесый, говоривший с сильным немецким акцентом, Карлуша, как он сам себя называл, по фамилии Шмидт, неизменно расхаживал с наганом за поясом и двумя большими заплатами на обеих половинках штанов сзади. Я считал его коммунистом. Он

как-то ухитрялся во время стоянок постоянно попадать в избу, где я останавливался с комиссаром, как раз к трапезе. Его появление отшибало у комиссара аппетит. Немецкую границу Карлуша перешел „индивидуально“ и стал у немцев в Арисе своим человеком. В лагере к нему относились с подозрением, но мне было доподлинно известно, что его связь с немцами ограничивалась лишь оказией лишний раз покушать. Карлуша и стал моим постоянным переводчиком и адъютантом в течение всей лагерной работы. Он с готовностью вступил в исполнение своих обязанностей и тут же отправился в дирекцию на разведку. Не прошло и получаса, как в лагерь, мимо взявшего на караул часового, проследовал в сопровождении Карлуши молодой морской офицер, помощник директора лагеря, Corvetten-Capitaine von Y. Красота этого офицера была поразительной. Жгучий брюнет, с лицом не то Ахилла, не то Париса, в белоснежном кителе с железным крестом на груди, он так же подходил к обстановке и, кстати, так же мало походил на прославленный тип белокурого германца, как наше Лихтенгорское болото на его корабль.

После обмена приветствиями, Карлуша с моих слов, намекнув на незавидную участь побежденных, доложил ему о наших нуждах. Как из рога изобилия, из уст этого красавца мгновенно посыпались решения: для питья и варки пищи пользоваться их колодцем, где прекрасная вода; получить торф для топки печей в холодные ночи и наиболее срочное — переселить женщин в отдельный барак.

Через неделю женщины были переселены в барак вне лагеря, где и устроились со всем возможным там „комфортом“.

Среди интернированных женщин — жен офицеров, врачей, медсестер была одна сестра, о которой можно бы сказать, что с ней рай был бы и в аду. Совсем молодая, голубоглазая блондинка с пухлым детским ртом и неотразимой чисто-русской миловидностью она мгновенно покорила сердце моряка. У Ахилла, как известно, ранимой была пятка, а у нашего героя, очевидно, подкачало сердце. И до этого момента наш капитан возможно, не много времени уделял своим обязанностям, а теперь дальше женского барака интересы его не простирались и вскоре, к сожалению, красавца моряка не стало в Лихтенгорсте.

***

В ударном порядке организован комитет по управлению лагерем. Начдив, если не ошибаюсь, 4-ой дивизии, объявил себя комендантом и организовал свой штаб. На меня возложено заведование санитарной частью.

***

Коромыслом дым стоит над лагерем: пылают очаги, кипят котлы с варевом для узников. Из раскрытых окон бараков пыль валит столбом, тучей носится солома. В болоте по соседству черти злорадно хихикают, конечно, зная вкус варева, которое нас ожидает, зато и им от нашей чистки сейчас не по себе, а будет несомненно хуже.

Приближался самый ответственный момент: проба изготовленной для проголодавшихся красноармейцев снеди. Глотая с опаской поданное мне в котелке месиво, я старался разгадать его состав: что-то тепленькое, солоновато-сладкое. Я вопрошающе глядел на поваров.

— Наши думали, — объяснили повара: — где немец, там уж, по крайней мере, колбаса. Оно может так и есть, да не про нашу честь. А нам, что свиньям, зеленых груш с картошкой намесили, малость посолили и угощайся.

Этой „тюрей" красноармейцы питались добрую половину своего пребывания в лагере. Последствия не замедлили сказаться и в ближайшие же дни в приемном покое появились „пенсионеры".

***

Оказалось, что в Лихтенгорсте имеется еще и врач, пожелавший меня видеть. Пожилой Oberarzt в лихо заломленной фуражке на седеющей голове, с загорелым лицом, пурпурным носом с пышной сетью венозных прожилок и усами à la Wilhelm, своим складным видом и аллюром олицетворял собой тип забубенного кавалериста. Все время двигаясь, он нетерпеливо хлестал стеком по лакированному голенищу. Поодаль стоял солдатик, по виду мальчик, с журналом под мышкой.

Наш разговор был лаконичен.

— Sprechen Sie deutsch?

— Nein.

— Sprechen Sie français?

— Oui.

Он обнял меня и, увлекая коротко бросал:

— Вы в дружеской стране. Мы сами голодаем. С друзьями последним делимся куском. Еще годик или два и мы разделаемся, теперь уж сообща, с Польшей и с французами. — Указывая стеком на домик вдалеке, он прищелкнул языком: — „Cantine. Там продают хороший шнапс. Выпить русские не дураки... — И понизив голос: — Дайте мне золотые русские монеты, я вам обменяю их на марки. Вы сможете сейчас же просохшее, конечно, горло промочить.

— Золотые монеты, — переспросил я, не веря своим ушам. — Откуда у нас могут быть золотые монеты?..

— Как, — заявил он убежденно: — у русских золота ведь горы.

Я показал ему ладони. Он пристально их оглядел и, резко повернувшись, скомандовал:

— Carl, mein Sohn, в барак.

Быстрым шагом он вошел в приемный покой, я за ним следом. На койках трое солдат: один с бронхитом и два с кишечным заболеванием. У постели первого больного, путая немецкие и русские слова, к моему изумлению, врач, не дожидаясь ответа, как заведенный, говорил:

— Name, твой зовут; фамили. Carl, mein Sohn, отмечай. Tut es weh? Голова бóлит? Живот бóлит? — и не дав солдату открыть рот: — Carl, mein Sohn Pyramidon?!..

У другой кровати, энергично касаясь то своей головы, то живота:

— Carl, mein Sohn, Pyramidon...

У третьей постели тот же опрос с тождественным финалом. Закончив в пять минут обход, Oberarzt победно оглядев меня, с той же стремительностью пожал мне руку и исчез в дверях. За ним скрылся молчаливый Carl.

Больные растерянно глядели на меня и в один голос:

— У меня, примерно, кашель, у товарища понос, а он всем карамидон!.. Разве так лечат?..

Я успокоил их, заверив, что, как в Арисе, и здесь красноармейцев мы будем лечить сами.

„Дон Пирамидон“, как я прозвал врача кавалериста, редкий гость в больничном бараке, с появлением сыпнотифозных больных, исчез бесследно. Он, как и наша дирекция в целом, был, очевидно, лишь фантомом, осколком, не так давно могучей армии, разметанной по Vaterland'у шквалом поражения.

Несколько дней Карлуша расхаживал с лицом глубокого раздумья и однажды сделал мне знак следовать за ним. Мы подошли к проволоке позади бараков.

— Вот, — прошептал он: — здесь наше спасение.

— Какое спасение?... Я ничего не вижу.

Послушай, Арис по сравнению с этим лагерем курорт. Со здешней пищей и климатом долго мы не проживем. Но вот, наша удача — здесь рыхлая земля: надо рыть подкоп и бежать, бежать отсюда без оглядки.

— На виду у всех подкоп? Ты с ума сошел!

— Не беспокойся, я все обдумал. Я ведь кончил Technische Hochschule в Мюнхене. Не кончил полностью, почти... Главное — я инженер. Через писаря, с которым я подружился, мы достанем

нужные лопаты. За два-три часа ночью можно здесь сделать подходящую дыру. Германию я знаю наизусть. Добраться нам лишь до Голландии, а оттуда весь свет для нас открыт...

— Допустим, что все это осуществимо, но самим удрать, а товарищей оставить здесь страдать... Но я здесь ведь и не один, — у меня жена и нас троих сейчас же арестуют...

— Как раз наоборот, — с завидной уверенностью возразил Карлуша. — Жандармам неизвестно, что в лагере имеются женщины. Как только мы заметим жандарма, я начну, смеясь, громко по-немецки говорить, а вы должны только повторять: ja, jawohl...

В этот момент я почувствовал тяжелую руку на своем плече (то же ощутил Карлуша) и густой бас с расстановкой произнес:

— Подкопчик замышляете, а про военный суд забыли?

Мы покорно склонили головы. Молнией пронеслось в мозгу: все языки, оказывается, условны. За различными звуками и знаками скрывается общий всем им смысл и в страшные минуты жизни человек начинает нутром эти звуки понимать... Я был уверен, что эта фраза была сказана по-немецки. То же ощутил Карлуша. Мы обернулись, лишь когда услышали густой смех и увидели смуглого, бородатого офицера, гудевшего октавой:

— Удирать собрались и без меня; не именуется ли это свинством?

Не совсем еще оправившись от шока, Карлуша прошептал:

— А вы тоже хотите участвовать в подкопе?

— В чем угодно, только бы вырваться из этой западни. Я, видите ли, военный инженер и в подкопах немного разумею. Я обследовал уже немножко горизонты... Копать труда здесь не представит, но везде болото... Воображаете, в каком виде мы вылезем из нашего подкопа? Надо придумать что-нибудь другое...

Между тем Карлуша оправился и обрел снова свой апломб:

— Я тоже — почти инженер.

— В военное время „почти“, означает — не вышло дело, — заметил офицер и раскатисто захохотал...

— Сегодня утром, — не реагируя на замечание офицера, продолжал Карлуша: — я беседовал с русским военнопленным, просидевшим в Лихтенгорсте более двух лет. Он сообщил, что в нескольких километрах отсюда имеется несколько фольварков, где живут крестьяне, так распропагандированные русскими военнопленными, что все они сделались большевиками. У них мы сможем переждать, пока не достанем нужной нам одежды.

— А деньги на одежду; деньги на билеты... Ведь нас будет четверо, — прервал я излияния Карлуши.

Карлуша поперхнулся и замолчал.

— Послушайте, — после долгого раздумья серьезно заговорил вдруг офицер: — я вижу, дело это, ей-Богу, не так уж

фантастично. Нужны деньги, а деньги-то я и могу достать... Я по рождению — швейцарец. Ребенком с отцом я попал в Россию и со временем там натурализовался. Мать с братом осталась в Цюрихе. Семья распалась. Мать умерла; с братом лет пятнадцать я не сообщался. Знаю, что у него большая фабрика. Нужно составить письмо брату, хотя бы и без точного адреса. Письмо дойдет. Денег у нас будет, сколько захотим. И незачем вам лезть в Голландию. Забираю вас с собой в Швейцарию. Там подкормитесь, отдохнете, а дальше видно будет, что предпринять. Захотите, поедете в Россию.

С фамилией швейцарца на клочке бумаги, Карлушу, как ветром сдуло. Вернулся он с сияющим лицом. Канцелярия оплатила два письма: одно брату, другое в местную газету.

***

Подготовка побега, главным образом в мечтах, конечно, шла полным ходом. Выбрали место для подкопа. С лопатами неожиданно получилось затруднение и потребовалось, как это ни странно, мое вмешательство. Писарь, обещавший нам достать лопаты, не в силах переносить одиночества в Лихтенгорсте, решил жениться, о чем он оповестил невест в газете. Я должен был помочь ему разобраться в полученных анкетах.

На мой негодующий вопрос, в качестве кого я появляюсь, врача, эксперта, свата? Карлуша уклончиво ответил:

— Главное, это получить лопаты.

Увидя меня, писарь вскочил, щелкнул каблуками и стал усиленно благодарить Herrn Professor'a, осчастливившего его своим визитом. На столе были разложены послания девиц. Мы тут же приступили к делу. Письмо за письмом мне переводил Карлуша, одно наивнее и цветистее другого. Все они начинались, да и кончались, словом: Ах. В каждом письме заключалась клятва вечной немецкой верности, обещание счастливой жизни и хорошей кухни. Дрожащей рукой писарь представлял фотографию невесты.

Незаметно я проникся важностью момента и роль арбитра стал выполнять всерьез. На фотографиях я видел пухлых, грудастых, большеглазых Fraulein с короной пышных волос на голове, в большинстве по ту сторону ранней юности. Но кто мог сказать, что скрывалось за этим более или менее привлекательным фасадом?

Не знаю, чем бы кончилась моя миссия эксперта, если бы писарь не протянул Карлуше последнего письма. Карлуша необычно долго просматривал письмо и каким-то другим, не своим обычным голосом стал переводить.

„Mein lieber Schatz, как солнце, как звезда я горяча и радостно чиста. Вглядись в меня, я вся перед тобой. Вся с головы до пят...

„Ты одинок, скажи лишь слово и все, чем так щедро меня природа наградила, я все отдам тебе — все без остатка.

„За плечами ты не видишь моих крыльев, но позови меня и я примчусь к тебе мгновенно, прижмусь, сольюсь с тобой навеки. Я жду, спеши...“

Письмо было больше, чем сюрприз, но что сказать о поэтессе? Девушка, почти девочка, с маленьким лицом, густой, перекинутой через плечо косой, с изящной фигурой статуэтки, совершенно голая, как в минуту появления своего на свет, но со всеми атрибутами Венеры, серьезно глядела на меня своими широко раскрытыми, светлыми глазами. Ее поза, под деревом в саду с поднятой рукой, тянущейся к ветке со свисающими вишнями в комментариях не нуждалась. Точно так стояла „без пояса“ ее прародительница Ева, такая же хрупкая, из ребрышка ведь сотворенная, соблазняя яблоком Адама.

В комнате стало душно. Писарь дышал, как загнанная лошадь; Карлуша навалился на меня и сопел, как паровоз. Надо было принимать решение. Я отстранил Карлушу, напомнив ему, что „главное это получить лопаты“. Затем, обращаясь к писарю, изрек:

— Лучшей невесты вам, очевидно, не найти. В вашем призыве она почувствовала явно особый магнетизм.

Радости и выражениям благодарности писаря Herrn Professor'у не было конца. Прощаясь, я заметил, как Карлуша с писарем многозначительно переглянулись: это означало, без сомнения, что с лопатами дело было в шляпе.

Долго от швейцарца не было вестей. Но однажды офицера позвали в канцелярию, передали письмо от брата и сообщили о предстоящей их встрече в Лихтенгорсте. В письме брат сообщал, что пришлось преодолеть большие затруднения, но он все уладил; что он прибудет в такой-то день; просил в кантине заказать обед и пригласить дирекцию и кого захочет из друзей.

Карлуша ходил гоголем, захлебываясь от восторга: все это сделала его энергия, его инициатива.

Наступил столь долгожданный вечер. В кантине, за столом, накрытым яркой скатертью, сидел директор, Herr Amiral, широкоплечий не по росту, с квадратной головой на короткой шее и щелками вместо глаз. Справа — красавец Corvetten-Capitaine; слева швейцарец, одно лицо с нашим офицером, только без усов и бороды; рядом с ним наш офицер. Мы с Карлушей после

надлежащей военной стойки перед начальством уселись на другом конце стола, рядом с нами переводчик. На столе два больших блюда с изумительными образцами швейцарского сырного и колбасного искусства в количестве невероятном и две бутылки коньяку, одна у нашего конца стола. Ею тотчас же завладел Карлуша.

Работая неустанно челюстями, Карлуша мне шептал:

— Помни, первый кусок в рот, второй — в фуражку. Это провиант нам на дорогу.

Времени Карлуша не терял: одна рюмка следовала тотчас же за другой. Переводчик скоро „спекся". Карлуша выпивал теперь и рюмку переводчика, подставляя ему ее пустой. Начальство было поглощено разговором со швейцарцем и о нас забыло. Наш офицер был рассеян и почти не ел. Карлуша с каждой рюмкой становился все оживленнее и трезвее. Наша бутылка была почти уже пуста, как вдруг Карлуша передал мне свою фуражку и, с театральным жестом приветствия в сторону адмирала, непрошенный, начал речь. О чем он говорил я до сих пор не знаю, но помню хорошо, что немецкие фразы чередовались с русскими непечатными выражениями. От шока, очевидно, переводчик протрезвел и заплетающимся языком по-русски стал бормотать:

— Нет, я не позволю.

Карлуша тут же, обращаясь к адмиралу, заявил:

— Herr Professor находит, что переводчик болен, у него температура.

Задремавший было под речь Карлуши адмирал открыл глаза и жестом предложил переводчику удалиться. После речи Карлуши и полного опустошения нами блюда и бутылки, опасаясь новой карлушиной инициативы, я попросил разрешения нам удалиться.

На улице, вне себя от негодования, я мог только сказать:

— Ты сошел с ума, завтра переводчик придет в себя и тебя сейчас же арестуют.

Карлуша только усмехнулся:

— Я вижу, ты здесь погибнешь без меня. Переводчик все забудет. А немцы очень любят в речах иностранные слова, все равно какие.

Спорить было бесполезно.

В эту ночь мы не ложились спать. Наворованным добром угостили женщин; одна фуражка целиком пошла на угощение. Пришлось немало потрудиться, чтобы убедить жену в серьезности задуманного дела. С рассветом я вышел из барака. Карлуша с озабоченным лицом уже слонялся по бульвару. Появление переводчика заставило меня вспотеть от страха, но он прошел, не обращая на нас внимания. Солнце уже стояло высоко, а офицер все не появлялся. Обеспокоенный, Карлуша решил

пойти за справкой в канцелярию. Явился он с глазами на выкате и с перекошенным лицом. С трудом он произнес:

— Швейцарец ночью увез с собою брата.

С неделю Карлуша еще бегал в канцелярию справляться. Увы, от офицера не было ни денег, ни вестей. Таков был обескураживающий и печальный эпилог так захвативших нас приготовлений к побегу.

⁂

Потянулись дни, чем дальше, тем все безотрадней и трудней. Наступили холода. Выдаваемого топлива — торфа, хватало всего на несколько часов. Красноармейцы апатичные, с бескровными, одутловатыми лицами проводили дни на койках. Минули месяцы, как мы не меняли белья, не раздевались. Ни бани в лагере, ни дезинфекционных средств. Вши заедали всех, независимо от ранга. Самые страшные водились на гимнастерке Начдива — коменданта. При встречах я старался в сторону глядеть, чтобы не видеть этих великанов. Голода, собственно, мы не ощущали, но содержание воды в пище превышало 98 %. Не приходится тут удивляться, что при таком режиме, нашей беспомощности и непростительной бездеятельности немцев, не замедлил подать свой голос грозный Молох — сыпняк, голодный тиф, как его в России называли. Начавшись в лагерях, сыпняк быстро перекинулся на ближайшие немецкие селения, не пощадив и немцев докторов, как это было в Пархиме. Тут только немцы всполошились...

⁂

С момента интернирования мы не имели представления о том, что творится на родине: продолжается ли еще война, идут ли мирные переговоры, как и не ведали о том, что делается на белом свете. Неожиданно бараки получили русскую газету. Читали ее вслух со вниманием и жадностью изголодавшихся по сведениям людей. Но уже первые строки газеты расхолодили нетерпенье. Передовая статья прославляла Врангеля, но какими оборотами „русской“ речи! Приходилось делать усилие, чтобы понять их смысл. Последующие номера никого из интернированных не интересовали, и газета шла на другие нужды. Интересно ,как я впоследствии узнал, издателем этой „патриотической“ газеты был русский писатель, он же и делец.

Появление газеты возглавило лишь ряд событий, нарушивших мертвящий наш покой. Взволновало всех решение немцев строить баню, но потрясла всех весть о прибытии в лагерь русской правительственной комиссии.

Пришел вечер, когда столь долгожданная делегация, в составе чекиста Эйдука и Камецкого, юриста, в сопровождении немецких офицеров, появилась в лагере. На митинге делегаты сообщили, что из-за отсутствия дипломатических отношений между Россией и Германией, лишь теперь удалось Советскому правительству наладить с нами связь. В Берлине организовано „Бюро военнопленных". Оно немедленно займется вопросом об улучшении нашего положения. С Польшей, по словам делегатов, война закончена и начаты мирные переговоры. Для полного осведомления комиссии о нуждах интернированных ответственным руководителям лагеря надлежит отправиться немедленно в кантину на совещание. В кантине наш комендант, его помощник и я, по санитарной части, представили возглавлявшему „Бюро военнопленных" Камецкому отчет о вопиющих непорядках в лагере и о распространяющейся эпидемии сыпного тифа. Камецкий заверил нас, что все возможное будет сделано для улучшения положения и заявил, что вызовет нас в Берлин для дальнейшего личного контакта.

Провожая меня на совещание, Карлуша наставлял:

— Угостят вас, наверно, здорово, так не забудь стянуть кусочек для меня.

Под конец беседы, за жалким угощением, стаканом плохого пива, Начдив спросил Камецкого:

По возвращении в Россию нас будут судить, конечно, как того требует регламент.

— Судить? — удивился Камецкий, штатский, по-видимому человек — За что судить? Поход на Варшаву был смелым политическим маневром; удачу мы бы использовали в наших целях. А вы тут ни при чем.

В лагерь мы возвращались молча. Плохое пиво на голодный желудок и вовсе настроило на грустный лад. А Начдив никак не мог переварить ответа Камецкого и у колючей проволоки заметил:

— Мы ведь воевали и мы тут ни при чем. Не понимаю.

— И не старайтесь, — ответил я Начдиву. — Чтобы понять, надо быть, во-первых, сытым и к тому ж сидеть в Москве. Нам же из нашей ямы видны лишь прогнившие бараки да кладбище со множеством крестов.

***

После совещания в кантине, всю ночь мне было не по себе: то холодно, то жарко. Я проснулся и удивился, что в бараке так тепло. Чувство усталости и головная боль заставили меня пощупать пульс. Пульс был очень частый. Никаких болезненных явлений со стороны дыхательных путей. Диагноз напрашивался сам собой: я заразился сыпным тифом.

Проснулся Карлуша и, увидя мое лицо, чуть не плача, стал мне выговаривать:

— Почему ты меня не слушаешь? Трудно тебе было утром выпить рюмку коньяку. ведь это абсолютно предохраняет от заразы. Я же в кантине в кредит все устроил для тебя и для себя. Посмотри ты на меня: я мог бы проглотить сейчас стакан сыпного тифа.

— Я не удивлюсь, если и стакан холеры пойдет тебе на пользу, но согласись, что причитаниями сейчас уж делу не поможешь. Будем надеяться на вечное, испытанное русское авось-авось выдержу, поправлюсь.

Товарищи пощупали мой пульс и с мрачными лицами, молча удалились.

К вечеру, несмотря на все ухищрения Карлуши воздействовать на градусник, температура была более 40°. Между прочим, ни я сам, как никто из товарищей врачей не поинтересовался посмотреть, есть ли у меня высыпь: в эпидемию сыпняка диагноз разумелся сам собой. К концу третьего дня коллеги деликатно намекнули, что пора мне переселяться в сыпнотифозную палату. Но тут Карлуша, не отходивший от моей постели, обнаружил всю своеобразность своего мышления, как и привязанность ко мне.

— С простудой в госпиталь не отправляют. А кто думает, что это тиф, тот в медицине ничего не понимает, — безапелляционно заявил он.

Я кивнул коллегам в знак согласия и сказал Карлуше:

— Спасибо, ты меня в обиду не даешь, но не забывай, что споришь ты с врачами.

— Если это тиф, — упорствовал Карлуша: — почему врачи не дают тебе ни порошков, ни мази? И тут дело не только ведь в лечении, а еще в питании. Я получил уже от немцев банку Corned beef'а для тебя.

— Ну и угощайся на здоровье. Ты это, правда, заслужил.

Среди ночи я проснулся весь в поту и утром температура была ниже нормальной. Через несколько дней я был снова на ногах. Нужно думать, что я проделал сыпной тиф в форме абортивной. Такие случаи впоследствии мне пришлось наблюдать неоднократно. Карлуша чувствовал себя героем и утверждал, что красноармейцы, избегая докторов, стали к нему обращаться за советом.

***

Берлинское „Бюро военнопленных", как обещали делегаты, не замедлило дать о себе знать. Транспорт белья и обмундирования прибыл в лагерь. Баня и дезинфекционная камера были

в действии без перерыва. Калорийность пищи была повышена, хотя вкус ее и не изменился.

Не только французы, как это утверждает поговорка, но все люди ont, действительно, la mémoire courte. Кто мог бы всего несколько недель назад поверить, что кому-либо из интернированных в Лихтенгорсте придет в голову организовать в лагере театр? Ведь это все равно, как если бы грешникам в аду — пусть даже бывшим чемпионам, приснились бы только олимпийские состязания... На эти, на первый взгляд, бессмысленные мечтания не повлияло и то обстоятельство, что столь долгожданное белье через неделю само собою, без вмешательства извне буквально расползлось — и не по швам, а по ниткам. Нужно же было заказать и заготовить подобное изделие! На Ersatz'ы немцы, правда, мастаки, но это был шедевр камуфляжа. Немудрено, что нищий доктор, заведывавший санитарным отделом в „Бюро военнопленных" и заключавший не только эту сделку, вскоре купил под Берлином, в Биркенвердере санаторий за миллион марок.

История с бельем всех огорчила, но не настолько, чтобы заставить покинуть мысль о театре. И мечта эта продолжала расти и шириться, как снежный ком; полуголодные, все думали и рассуждали только о театре. Стали опрашивать солдат. Артистов оказалось такое множество, что этот вопрос пришлось оставить напоследок. Все разрешалось, как бы по-щучьему велению. Хозяин кантины, рассчитывая на зрителей, крестьян окрестных ,фольварков, тут же предложил большой барак, как помещение для театра. Мало того, жалкий вид изголодавшихся артистов заставил его великодушно обещать каждому артисту перед репетицией и представлением тарелку горохового супа. Никакая амброзия не могла идти в сравнение с питательностью и вкусом подобного снадобья! За режиссерство взялся молодой — не помню, солдат он был или офицер, по фамилии Турчанинов. Не знаю, как в дальнейшем сложилась жизнь этого безусого еще любителя театра, но без преувеличения могу сказать, что обнаруженный им в наших условиях организаторский талант, вкус и воображение, могли бы сделать честь деятелю поопытнее и постарше.

***

Зал, как это обычно бывает на премьерах, был, конечно, полон. Все поле у кантины пестрело крестьянскими повозками из окрестных фольварков. Картина напоминала ярмарку или большой базарный день. Я просто глазам не верил, видя знакомых, молчаливых, ничем не выделявшихся из серой, безличной, приниженной солдатской массы, красноармейцев, выступавших с номерами, часто собственного измышления с естественной уве-

ренностью и талантом подлинных артистов. Но „гвоздем“ сезона был поразивший и меня „атракцион“, что-то вроде лавки говорящих кукол. Автором его был, конечно, от начала до конца наш режиссер. Фигуры в гимнастерках в разных позах с остановившимися глазами занимали сцену, но весь интерес этой картины заключался в кукле примадонне.

Крестьянская девушка, лет 15—16, вероятно, санитарка, внешне солидная, но по-детски еще круглолицая, с пунцовым румянцем во всю щеку, с копной золотистых волос на голове, с большими синими глазами и ресницами, какие только у кукол и бывают, в короткой юбочке и беленьких носочках, стояла на возвышении, как неживая. Так идеальна была ее кукольная поза, что наши зрители даже смутились, усомнившись, наша ли это известная нам Аннушка? Движения, проделываемые другими куклами, как и примадонной, давали полную иллюзию автоматических. Неизменные в русском театральном обиходе песни, пляски, декламация дополняли богатую программу. Не умолкали в зале аплодисменты, причем немцы „за компанию“ смеялись и аплодировали едва ли не больше русских. С этого момента Лихтенгорст обзавелся постоянным, собственным театром. Почтят ли когда-либо в Германии крсноармейцев за их культуртрегерство в темном немецком Лихтенгорсте и его окрестностях?..

Как-то вечером вбежал в барак к нам переводчик.

— Поздравляю вас, Herr Sanitätschef, — обратился он ко мне. — Завтра вы утром должны отправиться в Берлин. Я очень завидую, — прибавил он. — Берлин это лючий город в свете.

Сообщение это вызвало в бараке настоящий переполох. Перспектива, хотя бы на мгновение, выбраться из нашей ямы, всем представлялась планетарной. На наказы коллеги не скупились, но все они сводились к тому, чтобы все достойное внимания в Берлине оглядеть, запомнить и по возвращении подробно и красочно об этом рассказать. В женском бараке эта весть принята была с восторгом. В наказе значилось: „Не отвлекаться пустяками — осмотром города и прочее, а обойти большие магазины и на сэкономленные деньги купить ряд предметов первой необходимости: мыло, пудру, шоколад“.

Я видел уже и мысленно переживал восторг слушателей, когда силой моего повествования, шаг за шагом по возвращении они проделают со мной все путешествие. Воистину, это представлялось грандиозным. Но лишь по возвращении... А ехать за тридевять земель, без языка... Эта безотчетная тревога притупила, если не вовсе помутила, очевидно, мою способность раз-

мышлять. О Карлуше переводчик не обмолвился и словом. И как могло бы это быть иначе?.. Тем не менее, по привычке, обращаясь к Карлуше, я распорядился:

— Отправляйся в канцелярию для получения бумаг и денег; справься, когда отходит поезд и будь готов к отъезду.

Карлуша, щелкнув каблуками, сказал: „слушаюсь" и был таков. Вернувшись, он доложил:

— Все формальности в порядке; деньги на случай ограбления в дороге спрятаны надежно. Интендант, жену которого ты вылечил от экземы, просит принять от него и его жены большую банку Cornedbeef'а на дорогу. Чтобы поспеть к поезду, следует выступить с рассветом.

⁂

В предрассветной мгле на пустынном, густо усеянном серебристым инеем шоссе, появились две фигуры. Одна в шинели, сапогах и фуражке со знаком Красного креста; другая в кожаной тужурке, подпоясанной ремнем, в ботинках с серыми обмотками и фуражке странной формы: задний край приподнят, как у немцев офицеров, передний с невидимой красною звездой лежит на козырьке. Единственно, чего этой последней фигуре не хватало, чтобы безошибочно можно было в ней признать Карлушу, это двух, всем известных, заплат сзади на штанах, но виною этому был наш особенный, густой, тяжелый Лихтенгорский мрак. Хотя впереди, над далеким горизонтом уже видна была блестящая макушка серебристо-белого, как бы заиндевевшего, как все вокруг, солнечного диска, заливавшего трепетным светом небеса, шоссе и близлежащие болота еще тонули в клубах черного, густого, низко стлавшегося по земле не то тумана, не то дыма.

Скрылось с глаз наше болото и все вокруг представилось иным. Целебным чувствовался морозный, чистый воздух; жалкий наш ландшафт в новом убранстве, отливавшем серебром, празднично искрился, а солнце, в нашем лагере лишь редкий гость, здесь улыбалось нам во весь свой бледный лик и обливало все радушным, теплым светом. Мы шли без мыслей, шагая размеренно и гулко с чувством безотчетной радости, что дышишь, движешься, живешь. Поравнялись с молодым леском. Деревья выстроены, как солдаты в ряд и в рост; на подметенной земле ни ветки, ни листочка. И вдруг... гортанный окрик:

— Halt.

Перед нами, как из-под земли, громадный немец в пелерине. Лицо с запавшими щеками в седой щетине, синеватый нос крючком, водянистые глаза.

— Papiere, — прокаркал он, глядя как-то поверх нас и протянул длинную сухую руку с болтающимся на ней, хорошо знакомым пленным, стеком.

Бумаги были у Карлуши. Карлуша поднял руку, не спеша и к удивлению моему, не полез в карман, а быстрым жестом прижал тулью своей фуражки к козырьку, сжал по особому свои белесые глаза и отрывистым гортанным голосом в точности, как у жандарма, небрежно бросил:

— Herr Wachmeister?

Жандарм вздрогнул и молча впился в Карлушу взглядом.

— Это ваш участок?

— Ja wohl, Herr...

— Вы ответственны за порядок здесь?

— Ja wohl, Herr...

— Вы знаете, кто мы?

— Не знаю. Как я могу знать?..

— Это не ответ: вы обязаны знать всех чужих на вверенном вам участке.

Жандарм, растерянный, пробормотал что-то невнятно.

— Вы спрашиваете у неизвестных вам людей бумаги. Бумаги не означают ничего. Вы обязаны знать всех чужих в лицо.

Жандарм, совершенно обалдевший, молчал и не сводил с Карлуши глаз.

— Подумайте об этом. — И обращаясь ко мне скомандовал: Vorwärts, мы опоздаем к поезду.

Тем же размеренным, спокойным шагом мы снова двинулись к вокзалу. На повороте я украдкой бросил взгляд назад. Жандарм стоял на том же месте и смотрел нам вслед.

Лишь теперь, впервые глядя на Карлушино невозмутимое лицо, я подумал, что подобные экспромпты, так занятно разнообразившие нашу лагерную жизнь, могут подчас иметь и не столь комический финал. Карлуша, я вспоминал и в лагере ни разу не упустил случая проявить свою рискованную оригинальность. В Берлине, естественно, соблазнов будет больше...

— Послушай, — обратился я к Карлуше: — сейчас только мне приходит в голову, что ты попросту опасный компаньон.

— Почему, не понимаю, — удивленно подняв брови и благодушно улыбаясь, заявил Карлуша. — Во всяком случае ты это увидел слишком поздно. В Берлин мы едем вместе — отпускной билет из лагеря у нас один на двух.

Прошло в молчании с полчаса. Все больше и больше разгорался бодрящий, яркий день, и все сильней росло во мне жела-

ние уйти от прошлого, не упустить секунды такого радостного дня; давно уж не испытанного общения с природой.

— Подумать только, — стал рассуждать я вслух: — такое очарование единственно для нас двоих... И это на чужбине. Вокруг ведь ничего и никого — ни жилья, ни человека. А что это на шоссе вдали?

Какое-то двуногое передвигалось нам навстречу, по шоссе. Не жандарм ли снова? Нет, по походке судя, скорее мирный житель. Мы замедлили несколько наш шаг и по мере приближения и встречный шел все медленнее, испытующе вглядываясь в нас. Поравнялись и незнакомец, молодой парень в синем костюме, крахмальном воротничке не совсем по шее и галстухе, завязанном наспех, с криком „русские" бросился нас обнимать.

Военнопленный, задержавшийся в Германии, он со слезами на глазах стал расспрашивать о родине, о нашем житье в лагере. Сам он ждал лишь эшелона для репатриации. Взволнованный до крайности этой встречей, бросаясь от одного к другому, он стал уговаривать нас свернуть с дороги в ближайшую деревню, где он работает и где имеется еще несколько военнопленных. Они обязательно должны нас видеть, поговорить с нами. В деревне мы получим хлеб, сало, колбасу. Даже Карлуша, несмотря на столь вкусные перспективы, скрепя сердце, должен был признать, что это невозможно. Тогда военнопленный вынул из кармана смятую пятимарковую бумажку и настойчиво стал предлагать ее. Как мы ни отказывались, как ни убеждали, показывая банку Corned beef'а, что мы обеспечены питанием, он заставил все же Карлушу деньги взять и жалел еще, что не имеет с собой больше. Мы расстались и долго еще глядели друг другу вслед. Эти пять марок я никогда не мог забыть. В моем сознании твердо, раз и навсегда они превратились как бы в неоплатный долг перед родиной и всем народом.

Отшагали десять километров и вот перед нами, хорошо запечатлевшийся в моей памяти, маленький, чистенький вокзал. За пустым буфетом толстый немец средних лет, видно, сильно соскучившийся по пассажирам и потому обрадовавшийся, особенно Карлуше, чрезвычайно. До поезда оставалось еще много времени, и мы тут же набросились на банку Corned beef'а. Буфетчик смотрел на нас не отрываясь, как мы с волчьим аппетитом поглощали тонувшие в густом жире куски мяса и, когда банка опустела, сказал, качая головой:

— Немцу такая банка была бы на неделю, а русские справились в один присест. Ну, и народ...

Считая, очевидно, своей обязанностью нас развлекать, буфетчик, ни на минуту не умолкая, рассказывал Карлуше анекдоты и сам же, вытирая слезы, хохотал, затем оставил буфет, вышел на столь же пустынную, как и его буфет, площадь перед вокзалом и стал представлять в лицах военнопленных разных наций, идущих в воскресенье в церковь. Мы с Карлушей, усевшись на каменных ступеньках вокзального крылечка, изображали зрителей. А он, отойдя подальше, проходил мимо нас, каждый раз артистически меняя и аллюр и выражение лица. Первым изображался англичанин. Поравнявшись, англичанин, взглянув на нас краешком глаза, демонстративно подымает выше голову и проходит с презрительной усмешкой, замедляя шаг; француз, окинув немца быстрым взглядом, рассеянно улыбается и небрежно, глядя в сторону, прикасается к фуражке; русский — тут буфетчик, очевидно, обычно делал паузу — русский идет вразвалку и, увидя буфетчика, улыбается любезно и приветствует его, левой рукой касаясь козырька. Видя, что „бомба“ ожидаемого впечатления не произвела, буфетчик сделал серьезное лицо:

— Вместо русских в лагери надо бы посадить наших министров, а русские солдаты должны были бы вместе с нами воевать, тогда бы мы не оказались в таком ужасном положении.

Позже в Берлине эту фразу мне приходилось слышать повседневно от немцев, штатских и военных.

Наконец мы в поезде и едем... четвертым классом (пятого, очевидно, в Германии не существовало). Не думаю, чтобы канцелярия выдала нам ассигновку на 4-ый класс. Так решил Карлуша по совету экономного буфетчика. Внутри вагон похож был на большой сарай со скамейками по стенкам и посередине. На скамейках крестьяне с длинными трубками в зубах; в центре две крестьянки, одна, видно, молодуха, другая ее мать или свекровь — черноглазая, с орлиным носом. Крестьяне дремлют и посасывают трубки. После долгого молчания молодуха затянула тоненьким голоском жалобную песню. Я понял лишь ее припев, который она речитативом бесконечно повторяла: „Heiraten nicht zufrieden“, жалуясь, очевидно, на печальную женскую судьбу. Сочувствия молодухе никто не выражал, и она, низко опустив голову с полузакрытыми глазами, долго еще продолжала жаловаться-петь.

Карлуша то и дело клевал носом. Мне сон не шел на ум: неумолчно звучал в ушах и колокольчиком переливался тоненький, тоскливый голосок. Не так я представлял себе путешествие в столицу...

— Более веселых попутчиков ты не мог найти? — спросил я Карлушу, глядевшего на меня сонными глазами.

— Веселые попутчики нам не по карману, — возразил Карлуша и, закрыв глаза, погрузился в сон.

Вагон трясло немилосердно и в конце концов укачало и меня. Долго ль, коротко я спал, не знаю, но открыв глаза увидел, что поезд движется мимо не то селений, не то маленьких городов. Выглядело все, как на картинке: прямые улицы, раскрашенные домики со сверкающими крышами и множеством цветов вокруг; остроконечные церкви, суровые на вид. Это были пригороды Берлина.

Карлуша делал свой туалет. Сняв уже знакомую нам фуржку, он обеими руками, как кот мурлыча, разглаживал свое лицо, протирал глаза, поправлял прилизанный пробор.

— Прихорашиваешься?

— В Берлине меня знают, — не без гордости заметил он: — мы сойдем на вокзале Friedrichstrasse.

Поезд несется по улицам Берлина. Невысокие дома, все одинаковой вышины и цвета, много магазинов. В противоположность красочным маленьким городкам, здесь все серо и однообразно. Поезд останавливается. Мы на Friedrichstrasse. Это важная коммерческая улица северной части Берлина. Оглядываюсь и глазам своим не верю. Это Берлин, столица, да еще немецкая?!.. Где же их прославленная аккуратность и чистота?.. На неширокой улице, сплошь забитой магазинами, давно уж, видимо, неметенной и нечищенной, всюду сор, окурки; валяются газеты. Публика, плохо одетая, движется беспорядочно, кто по шоссе, кто по тротуару. Я гляжу с недоумением на Карлушу. Карлуша, явно озадаченный, молчит и озирается. Невдалеке пожилой газетчик в рваном пальто и кепке. В руках у него не газеты, а большие печатные листы, вроде прокламаций. Карлуша, не говоря ни слова, направляется к нему. После короткой беседы он возвращается в крайнем возбуждении и приглушенным голосом мне шепчет:

— Наконец нам повезло. Слава Богу, приехали, как по заказу, в самый раз. Теперь нам надо действовать. Не отвлекайся и слушай меня.

— В чем дело? Что с тобой?

— Разве ты не видишь? Магазины все закрыты. Всеобщая забастовка. Газетчик считает, что настоящая революция, как в России, началась теперь в Германии всерьез. Слушай же внимательно. Мы будем держаться Unter den Linden, — это главная улица и там замечательные магазины золотых вещей. Конечно, как всегда бывает при революциях, всякие там хулиганы не упустят случая пограбить. Но нам нужны деньги и мы покажем, как действуют русские революционеры при экспроприациях. Около одного из таких магазинов я приготовлю два больших булыжника и положу их у тротуара. Как только начнутся беспорядки и пойдет стрельба, мы ударим булыжниками по стеклу. Сейчас же просовывай в дыру руку, но не хватай, что попало.

Не волнуйся, не спеши. Не бери часов, громоздких вещей, — это ни к чему. Бери кольца, серьги, броши. Ну, слава Богу, — закончил он, от волненья задыхаясь. — Приехали все же вовремя. Я как чувствовал.

Мне было не до дискуссий. Впечатление от Берлина не вязалось никак с тем, что я ожидал увидеть. Тут пахло, правда, не туризмом, но мои мысли были заняты другим.

Предстоящий разговор с начальством с Карлушей на буксире, начинал меня не на шутку беспокоить. Карлуше я заметил:

— Ты, оказывается, революционер, хотя и собираешься с хулиганами грабить магазины, а сам ждешь лишь часа, чтобы удрать в Америку.

Карлуша, нисколько не смутившись, стал мне объяснять:

— Ты меня не понимаешь. Я по натуре революционер-любитель и с первого дня участвовал в русской революции. Но меня интересуют только первые шаги движения, а потом пусть профессионалы продолжают революцию. С меня хватит один раз рисковать.

В этот момент кто-то многозначительно кашлянул за спиной у нас. Мы вздрогнули и обернулись. Улыбаясь, глядел на нас, одетый с иголочки в форму офицера красной армии, помощник коменданта нашего лагеря, латыш Фрейман.

— Как же это получилось? Мы одновременно командированы в Берлин и не знали друг о друге. Это все немецкие порядки: ведь лагеря полностью находятся в их власти. И ехали к тому ж мы в том же поезде.

Карлуше эта встреча была явно не по нраву.

— Да, — ответил он уклончиво. — Так уж получилось, — и обращаясь ко мне: — Сейчас прежде всего надо найти номер в гостинице, ведь придется здесь заночевать. Поищем маленький отель неподалеку.

К неудовольствию Карлуши Ф. присоединился к нам. Втроем мы отправились на поиски отеля и не без труда нашли его. В комнате отеля Карлуша разразился филиппикой против Ф.

— Видел этого пижона, — возмущался он: — разоделся, как на свадьбу, а сам, я вижу его насквозь, чувствует, что пахнет революцией и лезет к нам в компанию. Думает, нашел, мол, дураков, под пулями достанут ценности и с ним поделятся. Нет, иди под пули сам...

Постучали в дверь: Ф. торопил идти в „Бюро военнопленных". Он оставил в комнате свою шинель и мне рекомендовал сделать то же.

День выдался на славу: ясный, теплый, летний день. Мы вышли на улицу, построились в шеренгу на шоссе и двинулись к Potsdammerstrasse, где находилось „Бюро военнопленных". Картина была и на наш глаз не совсем обыкновенная. В френче,

галифе и нечищенных сапогах, я все же выглядел вполне прилично; известная нам уже фигура Карлуши была, конечно, необычной, но всех нас затмевал Ф. В новеньком френче с ромбами на рукаве, в такой же фуражке с красноармейской звездой, в блестящих сапогах, как на параде, он сразу привлек всеобщее внимание. Немцы толпами останавливались, не веря своим глазам и провожали нас растерянно недоумевающим, а то и недружелюбным взглядом. Забастовка парализовала городскую жизнь и единственно многочисленные велосипедисты стесняли движение пешеходов. Впереди, прямо на нас, не меняя направления, едет длинный дядя в очках и в нескольких шагах с криком: „русские" валится с велосипеда на мостовую. Мы помогли ему подняться. Он поочереди прижимает нас к груди и слезным голосом все повторяет:

— Как я рад, как счастлив. Идем сейчас ко мне. Как будет рада моя жена — она совсем русская; я русский немец.

Мы объяснили, что очень заняты и торопимся. Он дал свой адрес и обязал нас честным словом к нему зайти.

Чем дальше мы идем, тем больше убеждаемся, что Берлин действительно в революционной лихорадке. На перекрестках оживленно дискутирующие люди с лицами беспокойно-озабоченными. А вот и настоящий мигинт: большая толпа в солдатских feldgrau, поношенных шинелях бурно реагирует на призывы оратора, по виду рабочего, с красной лентой на груди, то и дело вздымающего к небу руку, сжатую в кулак.

Карлуша молчал и, встречаясь со мной взглядом, многозначительно подмигивал. Ф. был, видимо, встревожен и шагал сосредоточенно. У меня из головы не выходила предстоящая с начальством встреча: как я объясню присутствие в Берлине незванного Карлуши?

Тов. Камецкий, наш непосредственный начальник, принял нас весьма любезно и пожал всем руки. В кабинете у себя он прежде всего осведомился, по чьему приказу Карлуша направлен был в Берлин. Своим ответом я его, по-видимому, обезоружил:

— По-немецки я не говорю ни слова, — объяснил я напрямик, — а понимаю еще меньше. О командировке Фреймана я не имел понятия. Один бы я, наверно, не добрался до Берлина.

— Это все так, — заметил он, смягчившись: — но имейте в виду, что его присутствие здесь вас компрометирует.

Я беспомощно только развел руками. Дальше следовали доклады. Я подробно доложил о состоянии лагеря в санитарном отношении, о том, что сделано и что необходимо еще сделать; рассказал о приключении с бельем, что, по-видимому и послужило поводом к устранению Д-ра Н., давно уже не пользовавшегося доверием Камецкого.

Ф. сделал свой доклад и получил от Камецкого тридцать

тысяч марок для раздачи красноармейцам по 10 марок на душу, чаше ныне установленное месячное „жалованье“.

Я вышел из „Бюро военнопленных“ в состоянии полной эйфории: с Карлушей, против ожидания, дело обошлось, как будто, благополучно. В кармане у меня оказался целый банк: суточные и прогонные для меня и для Карлуши. (В виду моей малограмотности в отношении немецких денег Карлуша их тотчас же отобрал). С остатком от прогонных, выданных нам канцелярией и пятью марками, братским даром военнопленного, это и по мнению Карлуши составляло капитал.

Было уже за полдень и голод давал себя изрядно чувствовать. Мы зашли в знакомый Карлуше ресторан на той же Potsdammerstrasse. Вид сервированных столов, накрытых белоснежной скатертью, нас несколько смутил. Но наше смущение было малозначущим по сравнению с переполохом, вызванным нашим появлением, как среди гостей, так и у хозяев. Мы уселись за стол и Карлуша голосом прусского лейтенанта стал заказывать обед. Herr Ober под гипнозом прусского акцента то выгибал до максимума спину, то, взглянув, очевидно, на обмундирование Карлуши, приходил в себя и беспомощно озирался. Внимание присутствующих был неотрывно приковано к нашему столу.

Заказанные нами суп, шнитцель, пиво, как и наша человеческая манера есть, снизили как будто несколько их беспокойство, но уже наше бесцеремонное отношение к белым хлебцам, к которым немцы прикасаются с благоговейным умилением, как и повторные требования хлеба, возмутили всех. Когда же Карлуша, не испросив нашего согласия, заказал мороженое на десерт, на и без того растерянном Ober'а лице отразился ужас, хозяева же за буфетом пришли в сильное волнение, убедившись теперь окончательно в том, что русские Bolscheviken наедятся вдосталь и уйдут, не заплативши.

Вся эта глупая комедия нас сначала забавляла, а подконец стала возмущать. За мороженым Фрейман, всегда сдержанный, спокойный, с вызовом оглядывая публику, заметил:

— Как поляков бить, так мы добрые соседи и друзья, а теперь мы Bolscheviken, вроде пугала. Жаль, что мы не при оружии. Теперь бы в самый раз положить на стол наган, они бы сразу присмирели.

Покончивши с мороженым, мы расплатились и вышли из ресторана.

К моему удивлению, улица выглядела теперь совершенно по-иному. Редкие прохожие шли, не спеша, с самым обыкновенным выражением лица. Некоторое время мы стояли в нерешительности, раздумывая, куда идти. Ф. молчал и рассеянно смотрел по сторонам. Я напомнил Карлуше о нашем обещании товарищам осмотреть достопримечательности Берлина и обо всем

виденном им рассказать. Карлуша мялся, многозначительно гримасничал, делал мне знаки, желая, очевидно, напомнить об экспедиции в сторону Unter den Linden, к магазинам золотых вещей.

— На сегодня несомненно революция в Берлине кончилась, — заметил я, подмигнув в свою очередь Карлуше. — Мы, очевидно, засиделись в ресторане. А может статься, что и немцы увлеклись обедом и про революцию забыли: улицы-то совсем пустые.

После мороженого, я думаю, что и у Карлуши революционный пыл остыл. Карлуша подумал, согласился и предложил пойти смотреть сперва рейхстаг. Мрачное здание рейхстага и особенно громадная, бесформенная, без всякой перспективы площадь перед ним, буквально подавила нас. Восхищаться было нечем. Все было сделано „на страх". Могли ли мы себе представить в ту минуту, что на этом здании когда-либо будет развеваться именно наш, красноармейский флаг?.. Оттуда мы прошли к „Воротам Бранденбурга" с колесницей и конями на фронтоне. Оглядели издали „Аллею Победы" с рядом стоящих или важно восседающих курфюрстов из белого камня — все на одно лицо — и вошли в аллею Unter den Linden. Сравнительно недлинная, но широкая и красивая аллея и наиболее фешенебельная часть столицы. Тотчас же два строения бросились в глаза, столь же различные по стилю, как и по духу народов и стран, которые они представляют. Налево белое, изящное, классическое здание французского посольства, никак не гармонирующее с прочими зданиями аллеи, как и с Берлином вообще; напротив — серое, мрачное, средневековое строение вахты, где помещается охрана, совершающая ежедневно свой „гусиный" марш ко дворцу.

Мы медленно прошлись „Под Липами", постояли у дворца, зашли в военный музей, где огромные батальные полотна с такой брутальной точностью воспроизводят картины боя — развороченные раны умирающих, кровь убитых, распоротые животы коней с вывалившимися внутренностями, что нам, привычным к этой бутафории сражений, стало не по себе. После такой живописи кажется, что жуткие картины Верещагина воспроизводят поэзию войны.

— Смотреть в Берлине больше нечего, — авторитетно заявил Карлуша. — Мы должны идти к нашему новому знакомому, Herrn Schmidt'у. Он живет „у чорта на куличках", в Neukölln'е. Это очень далеко, но у него табачный магазин и он наверно угостит нас хорошей сигарой.

Было ли это предчувствие, не знаю, но у меня не было никакой охоты ближе знакомиться с Herrn Schmidt'ом. Я всячески уговаривал товарищей походить еще по улицам Берлина,

но Карлуша и Ф. настояли на своем. Я помню хорошо, с какой неохотой я плелся в Neukölln. Однако, мысль остаться одному в этом огромном городе среди чуждых и враждебных немцев и без языка, вселяла в меня такой ужас, что я последовал бы за ними в самый ад. Мы двигались, казалось мне, часами, беспрестанно справляясь о дороге. Я шел, не различая ни улиц, ни людей. Люди, двигавшиеся нам навстречу или обгонявшие нас, проходили передо мной, как тени на экране и казались все на одно лицо. У меня из головы не выходил русский мужичок из рассказа Короленко, попавший в Америку „без языка". „Как унизительна подобная беспомощность", беспрестанно думал я.

И вдруг какая-то тень загородила мне дорогу. Я услышал голос, произносивший хотя и с акцентом, однако, русские слова:

— Здравствуйте, господин доктор.

Молча, я смотрел на средних лет человека в котелке, оглядывавшего меня с улыбкой:

— Вы меня не узнаете. Я же Виндлер из Петербурга. Вы у меня заказывали хирургический шкаф для инструментов.

Интересно было бы вычислить по теории вероятностей, какая дробь выражает возможность такой встречи в миллионном городе, где вас знает один только человек.

Neukölln это наиболее бедная, рабочая часть Берлина. Здесь еще чувствовалась забастовка. На улицах большое оживление: всюду группы бедно одетых, большей частью в поношенном военном, возбужденно дискутирующих людей. В Neukölln'е, вероятно, реакция на наше появление была бы несколько иной, чем в других кварталах, но быстро спустившийся зимний мрак скрыл наши отличительные знаки, а одежда Карлуши, справлявшегося о дороге, как нельзя быть лучше подходила к стилю Neukölln'а.

Нашли, наконец, табачную лавчонку Herrn Schmidt'а. На звонок вышла круглолицая, пожилая женщина, близоруко щурившая свои серые глаза. Карлуша спросил по-немецки Herrn Schmidt'а. Женщина начала едва ли не по слогам:

— Мейн Манн коммен...

Узнав, что мы русские, она в сердцах отплюнулась:

— Сразу так бы и сказали. Вот язык, наказание божье. Хоть плачь. Никогда не научусь.

Несколько минут спустя появился и хозяин. Пошли расспросы о России и объяснения в любви стране, народу. Русские немцы, вынужденные из-за войны покинуть свои хорошо насиженные и всегда весьма хлебные места в России, естественно, не могли забыть страны, бывшей для них во всех отношениях „обетованной". К новым условиям жизни в перенаселенном, да еще и оскудевшем после поражения Vaterland'е, они приспособлялись лишь с трудом и не переставали охать и вздыхать по потерянном рае.

Рассказали и мы о нашем житье в лагере. Herrn Schmidt'a наши невзгоды очень опечалили и он задумчиво качал все головой и приговаривал:

— Это так ужасно, это невозможно себе представить после Берлина возвращаться снова в лагерь Лихтенгорст.

Хозяйка тем временем готовила на кухне угощение и вскоре на столе появилась селедка с отварной картошкой. Карлуше, по-видимому, это показалось мало, он морщил недовольно нос, но ел все же с аппетитом и в разговоре участия не принимал. Мне просто кусок не шел в горло. Бегающие глаза Schmidt'a за очками, не внушали мне симпатии, как и его елейный голосок. Смутное беспокойство вызывало у меня также особое, как мне казалось, переглядывание Ф. со Шмидтом. Ф. почти ничего не ел и расспрашивал подробно о житье в Берлине.

Шмидт вышел в магазин за пачкой папирос и Ф. последовал за ним. Оставались они там недолго и, когда вернулись, по возбужденному лицу Ф. я сразу понял, что произошло что-то важное, непоправимое и очень нехорошее. В тяжелом молчании прошло несколько минут. Напряженность передалась Карлуше: он перестал есть и с недоумением всех оглядывал. Хриплым голосом заговорил вдруг Ф.

— Послушайте, что случилось. Я сейчас пересчитал деньги, которые мне передал Камецкий и оказалось, что там не хватает 50 марок. Как это получилось, я не могу понять, но пополнить из собственных средств эту недостачу, я, конечно, не могу, а вернуться в лагерь с неполной суммой не решаюсь. Я вынужден остаться здесь, в Берлине и вам, во избежание недоразумений, советую сделать то же.

Шмидт скороговоркой стал нам объяснять:

— Вы чудом вырвались из ада. Другого такого случая может и не представиться. Главное, у вас деньги на руках. Большевистские деньги взять не грех. С деньгами я вам все устрою. Куплю вам штатское платье и пальто. Пока я это сделаю, вы остаетесь у меня. На улицу вам выходить не надо. В полиции у меня есть знакомство и вы сейчас же получите все нужные бумаги.

Карлуша ничего подобного, по-видимому, не ожидал и не сразу сообразил, в чем дело. Поняв, он, как ужаленный, вскочил:

— Вот жулики, замошенничали пятьдесят марок... Это не шутки, это целый капитал. Раз так, значит все деньги наши. Теперь бояться нечего. Вот удача! Теперь мы обмундируемся, поживем, как следует в Берлине, а потом я поеду к сестре в Америку. Моя сестра была секретаршей министра Щегловитова. Она сейчас в Нью-Йорке замужем за очень богатым американцем.

Я старался поймать Карлушин взгляд, но он закатил глаза

и витал где-то в поднебесье. Ф. вопрошающе впился в меня взглядом.

— Ваши поступки, — заявил я твердо: — меня, собственно, не касаются: в Берлине мы встретились случайно, но, к сожалению, провели весь день вместе и, в известном смысле, все же связаны. В лагерь я вернуться должен — там у меня жена. Но не в этом дело. Вы присваиваете себе тридцать тысяч марок, переданные вам в моем присутствии для раздачи красноармейцам, ожидающим целый месяц этих денег. Вы, офицер, находите возможным забрать эти деньги у своих голодающих солдат. Вы знаете, как это называется?!.. Я отдаю себе хорошо отчет в том, что ожидает меня в лагере по возвращении. Кто мне поверит, что я не участвовал в этой краже после того, как мы провели вместе целый день?.. Подумайте, что вы делаете. Неужели вы думаете, что это пройдет вам безнаказанно и вас завтра же не арестуют?

— Немцы знают, что это за деньги, — вскочил со стула Schmidt: — и я ручаюсь, что полиция и пальцем вас не тронет. Я берусь с полицией все уладить.

Я встал и предложил Карлуше идти со мной в отель.

— А нет, — заявил Schmidt: — в военном вы не должны выходить теперь на улицу. Вы останетесь у меня в квартире, пока я не куплю вам, хотя бы шляпу и пальто.

Сознание чего-то ужасного, безвыходного подавило во мне даже страх остаться одному в Берлине.

— Ладно, я пойду один. Как называется наш отель и на какой он улице? Запиши мне на бумажке.

Карлуша смотрел на меня в замешательстве и лепетал что-то несвязное. Оказалось, что ни он, ни Ф. не запомнили ни названия отеля, ни улицы, где он находится.

— А вы не подумали, что если мы не придем в отель, где оставили к тому ж наши шинели и за комнаты не заплатили, об этом сейчас же будет знать полиция и нас начнут искать?..

Шмидт закусил губу.

— Да, это неприятно, придется вам идти в отель, но рано утром приходите. Я вас буду ждать.

Мы шли молча, быстрым шагом, каждый во власти своих мыслей. „И кончился пир их бедою“, неумолчно звучало у меня в ушах. С каким лицом я вернусь в лагерь? Где эти лавры, которые были мне уготованы за красочное описание достопримечательностей Берлина? Не лавры ждут меня, а бесчестие, а может быть еще и арест за соучастие в краже. И что я должен делать по прибытии в лагерь? Должен я явиться к коменданту и доложить ему о присвоении красноармейских денег? Но что общего я имею с Ф.? У меня есть обязательство по отношению к Карлуше: это я командировал его в Берлин и за его персону я

отвечаю, а к Ф. я не имею никакого отношения. И если, действительно, ответственность за возвращение Карлуши лежит на мне, то он должен вернуться со мной в лагерь, тогда никто не сможет меня в чем-либо упрекнуть. Теперь, решил я, положение мне ясно. Карлуша поедет со мной в лагерь, хотя бы мне пришлось заставить его сделать это... силой, а Ф. сам по себе, за него я не отвечаю. На этой мысли я и успокоился.

Мы подошли к Friedrichstrasse, а дальше не знали, куда идти. Карлуша не пропускал ни одного прохожего, всех опрашивал, но никто не мог его понять. Он долго объяснял географию отеля очередному немцу, долговязому, с мрачным выражением лица. Тот молча слушал и вдруг, нахлобучив шляпу, решительно двинулся вперед. Через несколько минут мы были у нашего отеля. Благодетель наш оказался местным трубочистом. Мы долго жали ему руку и от души благодарили. Идя за трубочистом, мы миновали освещенный погребок, откуда раздавалось завывание граммофона. „Кабарет", сплюнув, заметил трубочист.

Моя рука была уже на дверном звонке, когда Ф. неожиданно заявил, что от такого марша у него пересохло в горле и он предлагает зайти на минутку в погребок. Я тотчас же понял это предложение, как желание Ф. остаться наедине с Карлушей. Карлуша, как и следовало ожидать, с готовностью тотчас же согласился и мне ничего другого не оставалось, как отправиться вместе с ними.

Погребок оказался злачным местом невысокого порядка с тремя миловидными девицами-подавальщицами и почтенной матроной с золотыми зубами и бюстом удивительной величины. Нас встретили, как завсегдатаев, не только персонал, но и клиенты: три пожилых немца с головами полированными, как биллиардный шар и многочисленными Schmiss'ами на лошадиных лицах. Наша форма никого не удивила; да вряд ли они и заметили ее. Все были „под шафе", начиная от хозяйки. Как только мы приблизились к буфету, три немца, не поворачивая головы, подняли бокалы и в один голос проскандировали: „Prosit". Похоже было, что приветствие относилось собственно к буфету с бутылками впереди, куда были направлены их взоры. Ф. и Карлуша взобрались на высокие сиденья, подняли свои бокалы, которые с удивительной быстротой наполнила хозяйка и согласно закричали: „Prosit".

Я сел неподалеку от бара у стола и растерянно смотрел, как не переставая промачивали горло Ф. с Карлушей и всякий раз, когда они подносили ко рту рюмку, присчитывал почему-то десять марок к недостававшим пятидесяти. По мере того, как текли часы и недостающая сумма росла и множилась, я все больше терял представление о действительности. Мысль о том, что я, доверенное лицо, направленное с важным поручением в Берлин,

нахожусь в притоне, в кабаке, где пропиваются краденые деньги, не укладывалась в моем мозгу. Неужели это действительность, а не страшный сон, не наваждение?.. Я пробовал по-другому подойти к этому вопросу. Элементарная логика, я говорил себе, присуща же каждому человеку. Где же логика в поведении Ф.? Карлуша просто глуп, но Ф. немолодой и ответственный офицер. Как же он не понимает, что нас видел весь Берлин, что таких жуликов, которые открыто пропивают в притонах краденые деньги, арестовывает даже не полиция, а первый дворник.

В бульварных листках описываются все же нередко случаи открытых кутежей; находятся же такие любители сильных ощущений, но все они, конечно, кончают одним. Что же будет с нами?

Три немца продолжали сидеть, неизменно глядя впереди себя. Время от времени, как по команде, они брались за бокалы, поднимали их с криком: „Prosit“ и, как автоматы, бесшумно ставили на стол. Карлуша и Ф. всякий раз повторяли их жесты.

Немцы вдруг разом встали, бросили на стойку деньги, взяли в рот сигары и, пробормотав приветствие, не глядя на нас, покинули притон. Лишь только за немцами захлопнулась дверь, как сразу в погребке „пошла уж музыка иная“. Граммофон, как будто сам собой, гнусавым голосом завел песню о Густаве.

„Густав такой, Густав сякой“, на все лады вопила в трубу немка.

Карлуша и Ф. сбросили немецкое обличье, которое они с такой точностью до этого момента представляли и превратились сразу в купчиков-саврасов.

Места молчаливых автоматов-немцев за буфетом, заняли вертлявые девицы-подавальщицы и тут только и развернулась настоящая попойка. Я сидел у своего стола один, с печальным видом, увы, не рыцаря, а не пойманного вора и машинально подсчитывал расходы, которые, по моим расчетам, перевалили уже за сотни марок. Никто мной не интересовался. Однажды только подошла ко мне хозяйка с бутылочкой в руке. Она решила, что у меня болят зубы и, очевидно, советовала испробовать свое лекарство. Но вот компания перекочевала к моему столу. Я слушал, не понимая, как Карлуша, захлебываясь, рассказывал девице свои приключения в Германии. Ф. болтливый, каким я его никогда не видел, пугал, очевидно, свою девицу рассказами о войне, подражая то звуку пушки, то пулемета. У меня на коленях бесцеремонно расположилась третья, самая молоденькая нимфа, почти девочка. Ее голубые глаза смотрели на меня с сочувствием и из пунцового ротика шел сильный алкогольный дух. Своей миниатюрной ручкой она нежно гладила мое лицо и все спрашивала:

— Warum bist Du so traurig?

Не получая ответа, она стала шептать мне на ухо:

— Bist du Arzt?

На мой утвердительный ответ с увлажившимися глазами она прошептала:

— Mein Bruder war auch Arzt. Er ist im Kriege gefallen.

Я понял эту фразу и сочувственно прижал ее к себе. Она склонила свое лицо к моей щеке и застыла в этой позе.

Щелкнула отворяемая дверь и в погребок ввалились два типа в нахлобученных низко шляпах, настоящих великанов с большой собакой-волком. Они уселись за соседний стол и меня тотчас же удивило, что хозяйка принесла им рюмки без того, чтобы они сказали слово.

Моя голубоглазая подруга повернула лицо в их сторону, по-особому как-то поглядела на меня и прошептала какое-то слово, но я его не понял. Невольно я стал за ними наблюдать. Они тихо разговаривали, наклонившись друг к другу так близко, что их головы почти касались. И вдруг я ясно увидел, как один из этих типов толкнул ногой лежавшую под столом собаку. Собака встала, медленно подошла к Ф., обнюхала его, затем обнюхала Карлушу, меня и вернулась к хозяину, подняв свою голову и ожидая, как мне показалось, приказаний. Этого только мне и не хватало. Теперь, я решил, замкнулось вокруг нас полицейское кольцо. Сейчас наложат нам наручники и поведут в тюрьму. А Ф. и Карлуша, ничего не подозревая, веселились, пили и с прежним рвением развлекали своих девиц. Я тронул ногой Ф. и сказал ему вполголоса:

— Посмотрите, кто сидит за соседним столиком. Я сам видел, как по их приказу вас обнюхала собака. Будете вы еще долго продолжать вашу преступную попойку?

Ф. осторожно повернул голову и очевидно достаточно увидел. Он как-то осел. Испарина выступила на его лице. Карлуше он сказал тихо:

— Тут два подозрительных типа сидят. Кончайте вашу рюмку и нам нужно уходить.

Карлуша оглянулся, громко рассмеялся и простодушно заявил:

— Испугались этих двух шпиков. Ну, и храбрецы. Подождите, я сейчас устрою это дело.

Когда он вскочил с рюмкой в руке, я почувствовал, что земля уходит из-под моих ног. Карлушины речи были мне знакомы. Карлуша начал, конечно, по-немецки. Содержание его речи я узнал потом, но вот что он сказал:

— Мы, большевики, два года мучились на фронте: били наших общих с немцами врагов — поляков. Сейчас мы в дружеской стране, мы отдыхаем. Никто не имеет права мешать нам отдыхать. А если кто попробует нам помешать, тот должен знать,

что мы большевики. Каждый из нас убил по крайней мере сто врагов, а может быть и больше. Мы их не считали. Кто же не поймет, что если каждый из нас лично справился с доброй сотней, то что нам стоит разделаться с двумя шпионами, которые мешают нам отдыхать, да еще осмеливаются посылать собак нас нюхать. Вот мы им и покажем, как разнюхивать большевиков.

Ни слова я не понял из этой речи. Моя девочка, широко раскрыв глаза, дрожала мелкой дрожью, прижималась ко мне и тихо спрашивала:

— Ist das wahr?

Я, не ведая в чем дело, рассеянно ей отвечал:

— Ja, ja...

А она, дрожа, все повторяла:

— Schrecklich, schrecklich.

У Ф. лицо сделалось багровым. Он очевидно протрезвел. Обращаясь к Карлуше, он мог только прошипеть:

— Не иначе, вы сошли с ума.

Типы встали и ушли. А Карлуша, оглядывая всех с видом победителя, повторял:

— Здорово я их отделал. Испугались сволочи. Вот как надо действовать, по-большевистски.

Ф. расплатился и мы вышли из притона. Огляделись по сторонам: улица была пуста. Вошли в отель. Ф. уже владел собой и спокойным голосом, без тени возбуждения заявил Карлуше:

— Нужно встать пораньше, чтобы идти к Шмидту. Я вас разбужу.

Я и Карлуша вошли в наш номер. Карлуша лег, не раздеваясь и сейчас же захрапел. Я растянулся на кровати и стал думать, пристально глядя в темноту. Бесшумной, непрерывной лентой развертывались предо мной с неумолимой точностью и последовательностью механизма, час за часом, минута за минутой события этой ночи. Мы сидим у показавшегося мне антипатичным. с первого момента Schmidt'а; Ф. присваивает себе 30 000 красноармейских денег, несомненно по наущению Шмидта; недоданные, будто, пятьдесят марок не позволяют ему вернуться в лагерь. Еще всего только несколько минут и эта небольшая сумма превращается в сотни, много сотен марок... Трещина, которую можно было обойти или перейти, превращается в зияющую бездну, непроходимую, заполнить которую никак нельзя... И в этой бездне жалкий огонек притона; кутеж в притоне с девками, бессмысленный кутеж, позорный. А правосудие уже на месте в лице двух полицейских шпионов, все слышавших, все видевших. На этой ленте, на всех ее отрезках неизменно налицо и моя фигура. Мое неучастие в попойке и протесты не известны

никому, лента ведь немая, но на ленте отпечатано: в притоне за столом я сижу с девчонкой на коленях. Отрицания излишни и объяснения бесполезны. Карлуша, за которого я так или иначе отвечаю, с наивностью кретина попадает в сети Шмидта и беспечно барахтается там, как ребенок в ванне. Фрейман корабли все сжег, назад нет ему дороги, но Карлуши я ему не дам. Я должен увезти его с собою, хотя бы... На суде все равно раскроется во всех подробностях наше участие в позорном кутеже, но это случится завтра, а сегодня надо действовать... Уже светает...

Я встал, подошел к Карлуше и с такой силой встряхнул его за плечи, что он мгновенно сел, бессмысленно оглядываясь:

— Что такое? Что случилось?

— Слушай, в Берлин я тебя командировал и я отвечаю за твое возвращение в лагерь. Ф. украл 30 000 красноармейских денег и завтра будет арестован и ты, без сомнения, вместе с ним. На Шмидта не надейся: он спрятать вас не сможет. Нас видел весь Берлин, а полиция уже все знает. Ты ведешь себя, как идиот, и я должен принять меры для твоего спасения. Слушай, ты возвращаешься со мной в лагерь, а если не захочешь, то я... задушу тебя на месте тут же... Так я решил.

Карлуша смотрел на меня, выпучив глаза и спросонья, возможно, не все понял. Последние мои слова его, очевидно, разбудили.

— Ты что „малины (белены) объелся“? Чего ты привязался? Это ты связался с Ф. Я сразу видел, что он жулик и не хотел иметь с ним дела. „Не хватает 50 марок“. Кто ему поверит? Это Шмидт внушил ему. Я про себя смеялся, когда услышал. „Мы должны рано идти к Шмидту. Я вас разбужу“. Я сам проснусь, когда мне нужно. Меня будить не надо. Видит теперь, что поймался и хочет половину вины на меня свалить. Он, правда, угощал меня. Офицер офицера может угощать, а чем он платит, мне какое дело. Откуда ты взял, что я не хочу вернуться в лагерь?.. Поезд наш отходит в 8 с чем-то и мы едем вместе. А Ф. пусть один идет в тюрьму. И зачем мне Ф.? Я жду деньги от сестры. Как только получу, сейчас же в Америку уеду.

После сладких нескольких зевков он еще прибавил:

— А здорово я отделал в погребке шпиков! Почему ты меня за это не похвалишь? Вот послушай, что я им сказал. Испугались, сволочи, сразу убежали.

— Встань, подойди к его комнате и объяви ему, что ты не остаешься, а едешь со мной в лагерь.

Карлуша исполнил это в точности. Я стоял у двери и слышал, как Ф. ответил:

— Хорошо.

Рассвело совсем. Мы немного еще полежали, затем встали,

расплатились и пошли к вокзалу. Тяжелый, густой, дурно пахнущий туман, пронизывающий и холодный, скрыл улицу, здания, людей. Это было мое прощание с Берлином.

Мы вошли в вокзал. Карлуша взял билеты и мы вышли на перрон. На перроне мерным шагом в новой с иголочки шинели с ромбами на рукаве, прохаживался Ф. Увидя нас, он подошел, приложил руку к козырьку и спокойным голосом заметил:

— Я решил вернуться в лагерь.

— Хорошо сделали, — ответил я ему, и мы вошли в разные вагоны. Так закончилась наша Илиада.

От „Одиссеи“ ни зернышка воспоминаний не сохранилось в памяти. В вагоне я уснул тотчас же и, очевидно, всю дорогу спал. Без следа изгладилась из памяти и встреча с нашим приятелем-буфетчиком на станци Лихтенгорст, которая не могла же пройти без каких-либо экстравагантностей со стороны буфетчика-артиста. Не помню и не знаю, как мы проделали наш десятикилометровый марш в лагерь: одни или в компании с Ф. Зато очень хорошо запомнилась та внутренняя пустота и тот деланный энтузиазм, с которым я отвечал на дружеские приветствия и выражения радости товарищей по поводу моего „благополучного“ возвращения в лагерь после столь „долгого и трудного“ путешествия в Берлин.

Мой отчет товарищам о виденном вряд ли был достоин лавров, о которых я мечтал. В общем выходило, что забастовка захватила не только фабрики и заводы, но коснулась и достопримечательностей Берлина, а что не забастовало, то скрыл туман. Мои мысли в этот день были в бараке коменданта... Я видел: Ф. передает коменданту деньги, их считают и констатируют, что не хватает многих сотен марок. Растрата налицо. „Что же дальше?“, как молотом стучало в голове.

Вечером того же дня все интернированные получили свое месячное жалованье.

Ложась спать, Карлуша подмигнул мне и, как мне показалось, с восхищением заметил:

— Ну и жулик, вот жулик, честный жулик!

Не прошло и месяца, как я был вызван в Берлин для занятия поста заведующего санитарным отделом „Бюро военнопленных“, где и оставался до момента репатриации интернированных на родину. Мог ли я предвидеть, что моя по началу вынужденная, для пользы дела, связь с Карлушей, осложнившаяся невольной признательностью за его привязанность ко мне, что эта связь

будет угрожать мне крушением надежды на возвращение на родину?!.. Но не в Карлуше только оказалось дело. В Берлине, сам того не зная, я занял место уволенного врача спекулянта и этот врач нашел пути, друзей мне отплатить сторицей.

Сейчас два факта в виде эпилога. Однажды в комнату, где я занимался на Unter den Linden, 7, вошел помощник Камецкого и снял телефонную трубку. „Polizeipraesidium", услышал я — к этому времени я уже кое-что по-немецки понимал:

— Два офицера (следуют фамилии, из них первая Ф), вызванные в Берлин для доклада, не вернулись в лагерь, причем присвоили тридцать тысяч марок, выданных им для вручения коменданту.

Я почувствовал, что сердце мое остановилось.

— Нам известно, — продолжал помощник, — что они скрываются у владельца табачной лавки в Neukölln'е, выходца из России Schmidt'a. Прошу принять необходимые меры для их ареста.

Почему разговор велся из моей комнаты, я не переставая думал, когда у Камецкого в кабинете есть телефон? Не для того ли, чтобы дать мне понять, что и мой визит к Schmidt'у был им известен. Несколько дней я не мог отделаться от чувства и стыда и страха.

* * *

Карлуша получил деньги из New-York'a от сестры и как-то улизнул из лагеря, конечно, не без немецкого содействия. Долго не было от него вестей. Но вот пришло письмо. Карлуша писал, что он несчастен, болен, что от него ушла жена и прибавлял: „Сегодня я отправил нашему Президенту прошение, чтобы он затребовал у Советского Правительства следуемое мне жалованье за польский поход. По получении этого письма немедленно пришли мне доверенность, и я попрошу Президента, чтобы он потребовал эти деньги также для тебя". Больше о Карлуше я никогда не слышал.

Не сетуйте на меня, друзья, что увлекшись самокритикой, во имя всеми нами взятого на себя обета очищения души, катарсиса, я вас невольно утомил. Но моя лампада еще не догорела, и с вашего дружеского соизволения в следующем заседании я закончу свою исповедь и повествование. Братское вам спасибо за внимание, сочувствие и любовь.

— Многое из того, что вы, дорогой Алексей Семеныч, нам

сейчас поведали, — заявил Безладный, — далеко выходит за пределы личных переживаний. Ваше curriculum vitae, как в наше, представляющееся теперь древним, время говорили, послужит для нас ценным вкладом для предстоящих размышлений и суждений о людях вообще, как и о кровно интересующей нас эпохе. От имени содружества выражаю вам нашу признательность, сочувствие и любовь. Низкий поклон дорогим нашим хозяевам за гостеприимство. Объявляю восьмое заседание „Клузарусина“ закрытым. Следующее заседание тут же в тот же час.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Задолго до назначенного часа у Дубининых члены содружества, в предвкушении новых откровений Алексея Семеныча, все были налицо. Признания друзей, как и погружение в бездны собственного я, не могли не обогатить, не углубить сознания сложности жизненных проблем уже в рамках индивидуальной человеческой судьбы, а тем более в народном или мировом масштабе.

Приступили к трапезе и за первой рюмкой Дубинин поздравил друзей с предстоящим после высоких взлетов и глубоких погружений столь многообещающим вскоре приземлением и пожелал успеха во взыскуемом так всеми познании творящегося на родной земле, как на белом и на черном свете. Обилие и разнообразие закусок, уснащенных повторными возлияними во славу родины и в честь ее героев, как и ряд следовавших за этим ритуальных блюд, подготовили почву для достойной оценки воистину неземных особенностей красовавшегося на огромном блюде яблочного пирога, еще даже до момента, когда своей эфирностью и вкусовой гармонией пирог привел в неописуемый восторг друзей. Вкушая это чудесное творение и силясь найти ему достойное уподобление, Лампадин не нашел подходящего объекта в известных человеку созданиях природы, после того, как амброзию низвели на положение горохового супа.

— Следует, — продолжал Лампадин: — обратиться к сказочному колобку или же не менее фантастическому „летающему блюду", чтобы приблизиться хотя бы только к метафизическим качествам подобного объекта...

— Вы называете фантастическими „летающие блюдца", — неожиданно прервала излияния Лампадина Софья Валерьяновна. — Кстати, пользуюсь случаем, чтобы заметить, что, лишь слушая покаяния друзей и сама не исповедуясь публично, я все же чув-

ствую себя, верьте мне, „окатарсившейся“ в полной мере и без того, чтобы перечислять свои грехи в особом заседании. Но вот упоминание о „летающих блюдцах“ напомнило мне о забытом происшествии. О нем я и мужу никогда не говорила. Последующие переживания многое покрыли забытьем.

— Вынуждена вам напомнить об исповеди моего мужа в момент, когда судьба свела его с двумя девицами в беде и о финале этой встречи. Одной из девиц была моя подруга Зина, сестра милосердия, всегда готовая самозабвенно опекать и здоровых, и больных. Ее инициативе, как и ее провидению, я обязана тем, что эта встреча не оказалась мимолетной. Зина, я должна сказать, ничему не удивлялась и причисляла „чудеса“ к повседневным фактам. Хочу еще прибавить, что по собственному ее свидетельству, измучившись на дежурстве, Зина способна была, возвращаясь, по дороге сладко спать. Однажды, вернувшись на рассвете после срочной операции, Зина в необычайном волнении поведала мне о том, что сейчас с ней приключилось. Она шла через Булонский лес. Вдруг ее внимание привлек предмет на подобие круглого корытца, как звезда, светившийся, мерцая, на полянке за кустом. С бьющимся сердцем Зиночка приблизилась к полянке и увидела в корытце маленького человечка в зеленой шапочке, одетой набекрень. Непомерной величины два черных глаза пронзили Зиночку насквозь. Она, однако, не сробела: сестры ведь и мертвых не боятся, а это все же человек живой.

— Vous êtes française? — мелодично, как колокольчик, зазвенел неизвестно откуда исходивший голосок, как громом поразивший Зину.

— Non, Monsieur, moi, je suis réfugiée russe à cause des terribles bolcheviks. Nous sommes à Paris nombreux, — задрожав, как лист, ответила сестра.

— Вот это мило, — чистой, русской трелью залился голосок. — Я с Марса. Художества большевиков нам хорошо известны. До сих пор мы сохраняли все ж нейтралитет, но вскоре выступим и быстро справимся с советами. Пока это государственный секрет. Вы не сболтнете, не проговоритесь?..

— Клянусь вам, помилуй Бог...

— Известно ли вам, что осмелилась сказать о космосе большевичка Терешкова? На замечание культурного американца, что в космосе к летчицам, конечно, отношение особое, им легче там, чем летчикам, она ответила: „Никакой галантности по отношению к себе в космосе я не заметила“. Марсиане воздают сторицей за обиды. Дни большевизма бесповоротно сочтены.

Простившись, марсианин предложил Зине ручку со светящимся, как солнце, перышком, но космической температуры. К сожалению, для нашей кожи ручка оказалась слишком горяча.

— „Сон в летнюю ночь!“, сочинение Зиночки, но не Шекспира, разумеется, — в один голос, смеясь, заявили Харонин и Лампадин.

Невзирая на протесты Елены Никодимовны, Лампадин продолжал:

— Вопрос о летающих блюдцах трактуется всерьез не столько учеными, сколько публикой и военными инстанциями в Лондоне, как и в Вашингтоне. Из сотен явно сомнительных полетов ими выделен десяток будто достоверных, но никак не объяснимых феноменов. Эти факты вызывают живейший интерес со стратегической точки зрения, не готовит ли кто-либо втайне из друзей не по космосу, конечно, а по нашей же планете, какой-либо гадости своему соседу?..

— Послушайте, друзья, — заявил Безладный, — включим и этот вопрос, если угодно, в программу будущих занятий. Сейчас же нам предстоит выслушать заключительную часть столь интересной исповеди Алексей Семеныча. Не будем терять времени. Поблагодарим дорогих хозяев за радушие и гостеприимство и приступим к делу.

Очередное восьмое заседание „Клузарусина“ было открыто в урочный час. По оглашении протокола прошлого заседания Безладный в коротком слове отдал должное единодушной устремленности членов содружества и за неимением замечаний предоставил слово Алексей Семенычу.

— Я оставил вас, друзья, в момент, когда снова очутился в Берлине, теперь подметенном, но таком же безнадежно тусклом, сером, как и в первый памятный мне день моего визита. Забота о пристанище разрешилась без труда: на редких дверях или окне не красовалось памятки о сдаче комнаты. В подавляющем большинстве это были жилища вдов павших воинов, вдов, искавших возможности обеспечить свое существование в оскудевшей стране с обесцененной монетой.

Дорога в „Бюро военнопленных“ была уж мне знакома. На сей раз прием был куда любезней. Камецкий, мой начальник, долго расспрашивал о жизни в лагере, о моем звании и достижениях по медицинской части и, между прочим, намекнул о желательности авторитетного подтверждения не то этих данных, не то и вернее, моей „благонадежности“ вообще. Я мог только заметить, что единственно, кто в Германии обо мне осведомлен, это служащий хирургического магазина в Петербурге, немец Виндлер, но я не уверен, если и найду его, что он согласится засвидетельствовать мою благонадежность. Никак не реагируя на это замечание. Камецкий спросил меня, не знает ли чего-либо

обо мне находящийся сейчас в Берлине проф. Неменов из Петербурга?

— Неменов, — едва ли не привскочил я, — да он меня знает с малых лет. В Институте проф. Иоффе, знаменитого физика, где он работал, по его настоянию я намерен был писать свою диссертацию после того, как перед войной 14-го года выдержал экзамен на доктора медицины при Военно-Медицинской Академии...

— Ну вот, — тем же безразличным тоном заметил Камецкий: — сегодня вечером вы можете повидать профессора. Я его предупрежу. Вот его адрес.

Профессор встретил меня почти по-братски. Мы говорили о наших семьях и больше всего о незакончившейся еще к этому моменту войне против поляков. Финал этой проигранной войны энтузиазма у меня не возбуждал. По свежей памяти я рассказывал не о стратегии, конечно; не о том, что Сталин, будто вопреки приказу, не оказал должного содействия Тухачевскому. Об этом я и сам услышал много позже. Я говорил о фактах, придававших этой войне черты гражданской бойни; говорил о поведении казаков, как и о неизгладившейся еще горечи и остроты переживаний при отступлении. Прощание было не менее дружественным, чем наша встреча. Я уносил с собой письмо, где мои качества и достижения не только подтверждались, но, могу сказать, превозносились в доброй мере.

***

На следующий день я приступил к исполнению обязанностей заведующего санитарной частью при „Бюро военнопленных". В моем распоряжении был отдельный кабинет и личный секретарь. Прежде всего необходимо было наладить связь с медицинским персоналом лагерей, подтвердить или вновь назначить руководителей врачей и особенно, конечно, получить точные данные о санитарном состоянии и о нуждах интернированных. На этом пути не малым затруднением оказалось то обстоятельство, что как я быстро уразумел, наше „Бюро" в правовом отношении висело просто в воздухе. Сноситься с интернированными возможно было лишь через немецкое командование в Берлине. Памятное посещение лагерей русскими представителями в сопровождении немецких офицеров было первым и последним их непосредственным общением: членам „Бюро" в лагеря пути были заказаны. Разговоры с немцами в Берлине велись к тому же как бы с заднего крыльца, через уволенного ныне доктора Н. и оплачивались всякий раз звонкою монетой. Оказалось, что и я в своей деятельности имел двойное подчинение: кроме русского начальства, я был подвластен еще немецкому „Демобилизацион-

ному управлению“ (Heeresabwicklungsamt) в лице General Oberarzt'a Bock'a, к счастью, редкой доброты и благородства человека. Так заботливо немецкое командование оберегало красноармейцев от общения с большевиками. Изоляция интернированных в связи с немецкой и противосоветской пропагандой не могла не оказаться плодотворной. Вскоре в лагерях, где находились казаки, кубанцы и донцы, чьими почти единственно усилиями армия Тухачевского продвигалась и оказалась у ворот Варшавы, в этих лагерях произошел раскол. Казаки отказались подчиняться распоряжениям советской власти и оказались во вражде с собратьями по заключению, красноармейцами. Немудрено себе представить, какие затруднения такое положение создавало для врачей, вынужденных обслуживать обе группы, лавировать между Сциллой лояльности и Харибдой нейтралитета.

Явно враждебная немецкая политика в отношении Советов и не только в лагерях, не исключала, как видно из дальнейшего, существования течений иной температуры и направления в сферах повыше. На сей предмет к „Бюро“ был приторочен, не имевший временной официального наименования, будущий полпред, молодой, очень симпатичный наружности, да и характера бывший эмигрант, Виктор Копп. Договор в Рапалло в апреле 22-го года, освободивший Россию от оков Черчилевского „санитарного кордона“, восстановивший дипломатические отношения с Германией и аннулировавший все препоны для экономического и политического с ней сотрудничества, поразивший мир, этот договор и был, по-видимому, предметом и его забот.

Неожиданное заключение в четырех стенах за столь чуждым мне канцелярским троном, номинально лишь „под липами“ (Unter den Linden), не раз заставляло меня вздыхать о синем небе и о столь привычных дальних горизонтах. Неожиданным сюрпризом представился приказ сопровождать немецкого генерал-врача в лагерь, где задержавшиеся русские военнопленые 14—18 года, больные туберкулезом горла, объявили голодную забастовку. Еще только год-другой назад подобное сочетание лиц и происшествий показалось бы нелепым. Но русская революция по индукции даже у соседей многое невозможное сделала возможным.

Мое первое tête-à-tête в поезде с генерал-врачом прошло больше, чем благополучно.

Генерал по-отечески старался не перегружать свою речь „высоким стилем“, я до maximum'a напрягал свои мозги и силился схватить, суть хотя бы фразы. Лагерь находился в Саксонии, генерал же был пруссак и естественной темой нашего разговора представилась характеристика женственного харак-

тера саксонцев, роднившего их с австрийцами, переступающими на этом пути допустимые приличием границы: одно уж их стерильное „Küss die Hand“ при встрече с женщиной, приводило в раж пруссака. Запомнился мне также факт, что саксонцы за кофе экономят сахар. Эти откровения, не столь уж великой важности для народоведения, обогащали тем не менее мой немецкий вокабюлер.

Уже вид больничного барака с крылечком в несколько ступеней и занавесками на окнах привел меня в смущение: свежи еще были в моей памяти вросшие в землю, прогнившие бараки в Лихтенгорсте. Чистые палаты с застланными кроватями и вовсе настроили меня на мирный лад. Бедствовать и бастовать в таких условиях... В чем же дело?

Мое появление вызвало у непредупрежденных пленных взрыв радости и изумления, как при „явлении“ свыше. Обступив меня кольцом, они вглядывались в мое лицо; касались моих рук, как если б опасались, что „видение“ это, так же, как их упования на чудо в течение долгих лет, нереально и может тут же рассеяться, как сон. Когда улеглось волнение, я был засыпан вопросами о новых порядках на родине, о новой жизни. Я мог рассказать только, что знал и видел за недолгое мое пребывание в Петрограде, ,— всего несколько месяцев до отправления на фронт. Творившееся на родине их мучительно интересовало, так как состояние их здоровья признано было теперь стационарным и с недели на неделю они ожидали столь взыскуемой репатриации. В свою очередь я просил сообщить мне об условиях их существования и о причине голодной забастовки. Оказалось, поводом к протесту являлся выдаваемый им черствый хлеб, неприемлемый для их чувствительного горла. Я попросил показать мне этот хлеб и, увидя, ощупав, просто растерялся.

— Послушайте, вы, правда, ждете возвращения на родину?

— Правда, — единодушный был ответ.

— В таком случае я должен вас предупредить, что подобный белый хлеб, пусть не прямо из печи, а едва лишь черствый и Ленин вряд ли ест в Кремле... В России ждет вас и для здоровых неудобоваримый хлеб со жмыхами, с соломой...

— Ну что ж, — спокойный был ответ. — В России мы готовы хлеб с соломой есть, если сейчас другого нету. А тут... Ведь мы попали в плен здоровыми, живыми, и из-за голода, хуже чем собачьей жизни, превратились, как видите, в немощных калек. Как мы тут мучились; чего тут натерпелись... Сколько наших полегло... Сейчас немцы подобрели. Видите, как нас устроили... Мы и куражимся: пусть, хоть напоследок, теперь нас кормят, как людей...

Все было яснее ясного. В барак вошел генерал-врач с немецким комендантом. Напрягая до пределов память, я искал

убедительного сочетания немецких слов, чтобы дать им понять не голый факт, бывший лишь деталью, а скрывавшуюся за этим фактом трагедию обреченных, измученных людей. От волнения не подворачивались нужные слова, а время шло... Неожиданно вмешался пленный, с виду серый мужичок:

— Позвольте, товарищ доктор, я все объясню.

В несколько минут, оперируя не фразами, а отдельными словами без падежей, времен и наклонений, не запинаясь, он изложил суть дела. Понятней и точнее, мне показалось, невозможно было представить и оправдать логичность забастовки. Генерал-врач тут же предложил мне заверить пленных, что они получат ежедневно свежий белый хлеб.

Я не успел сконфузиться открыто, как моя миссия была закончена. Тепло простившись с земляками, я не совсем уверенно покинул лагерь.

После подобного дебюта я занялся изучением языка взасос. В свободные минуты, по дороге, во сне я зубрил немецкие слова. Время от времени я должен был по вызову генерал-врача отправляться в лагерь для улажения конфликта, но общаться мог лишь с докторами и единственно в помещении комендатуры: интернированные красноармейцы находились в настоящем противобольшевистском карантине.

***

Особенно осложнила обстановку в лагерях казачья фронда. Немцы всячески ей покровительствовали и раздували, как могли. Чтобы посрамить врачей, не принимавших желательного участия в антисоветской пропаганде в лагере Soltau, где значилось до шести тысяч интернированных, немцы выискали фельдшера военного времени, малограмотного парня, именовавшего себя врачом и произвели его в „санитарного начальника“ лагеря, не желая признавать назначенного мною бригадного врача моей дивизии, делового, энергичного администратора и очень симпатичного сибиряка, Успенского.

Пакость, даже примитивная, не бывает так уже проста. Трудно поверить, но этот так плохо закамуфлированный самозванец врач считал себя, оказывается, еще и коммунистом и в качестве такового строчил в „Бюро“ доносы на Успенского, обвиняя его в пристрастии к казакам и в пренебрежении к красноармейцам. Доносы эти, очевидно, регистрировались, где нужно. Мне об этом ничего не сообщалось. Подробное письмо Успенского осведомило меня о гнетущем положении в Soltau, где лойяльный элемент интернированных находился во вражде с оппозиционным; где немцы, муссируя бессмысленные слухи,

подрывали доверие солдат к руководителям, а, покровительствуя невежде самозванцу, заодно уж и к врачам.

Мой начальник Камецкий, по образованию юрист, какой-то своей частью тела, видимо, причастен также был к Чека. Ознакомившись с письмом Успенского, он не согласился с его содержанием и, игнорируя все прочее, заявил, что о контрреволюционном поведении Успенского он в точности осведомлен. Я вызвал доктора в Берлин. В устном изложении измученного трудностями, непрерывавшейся борьбой, интригами врача, картина происшествий, атмосфера лагеря Soltau оказалась еще мрачней. А тут еще фельдшер негодяй и неуч... Сестре милосердия, у которой горлом пошла кровь, этот опасный простачек, метивший на пост „санитарного начальника“, прописал лить на грудь кипяток по капле. Немцы разнесли это „лечение“ по всей округе, приписывая его русским врачам.

Я коротко изложил все услышанное Камецкому и просил его принять доктора для объяснений.

Камецкий ждал нас, стоя у своего стола в позе грозного Наполеона. Не дав Успенскому открыть рта, он накинулся на него за его недостойное русского врача и гражданина поведение. Все попытки доктора что-либо объяснить, вставить хотя бы единое словечко разбивались о словоизвержение Камецкого. Бледный, с трясущимися руками, страдальческим взором глядел доктор в распаленные, невидящие глаза Камецкого и вдруг услышал:

— Россию вы забудьте. Не видать вам больше никогда России.

И тут... До самой смерти я не забуду этого момента. И Камецкий, видимо, подобного не ожидал. Врач, большой, почтенный человек, на голову выше Камецкого, молча опустился на колени, обнял его ноги и поцеловал сапог.

Черным мраком заволокло мои глаза. Я перестал видеть... Когда я в ужасе прозрел, Камецкий поднимал Успенского и заикаясь, что-то лепетал... Эту Голгофу я никогда не мог забыть и никогда ее не мог простить...

Я предлагал доктору остаться этот день в Берлине, провести вечер у меня. Сославшись на срочную работу, он отказался и тотчас же покинул злополучное „Бюро“.

Перед окончанием занятий Камецкий вызвал меня к себе и, глядя в сторону, сказал:

— Прикажите этому мерзавцу фельдшеру немедленно явиться для отчета. В свой лагерь он не должен больше возвращаться.

На вызов представился малорослый, деревенский парень, отрекомендовавшийся уверенно врачом, питомцем Московского Университета. На вопрос о профессорах и о науках, он, не заикнувшись, не моргнув, несусветную нес чушь. Подобная наглость

то меня обезоруживала, то вызывала неудержимое желание отрезвить мерзавца доброй оплеухой. Пришлось обратиться за помощью на сей предмет к помощнику Камецкого.

Коммунист смерил самозванца взглядом и, поднося к его носу увесистый кулак, угрожающе сказал:

— Ротный фельдшер?.. Признавайся, не то...

— Никак нет, товарищ, я доктор, — и уверенно протянул смятую, пожелтевшую бумажку.

Там значилось: полковой комитет ротному фельдшеру X., предъявившему на заседании комитета мешок вырванных им у солдат зубов, присваивает звание доктора.

К сожалению, здесь не только смех, а кой-кому и слезы... За примерами ходить было недалеко.

***

Не требовалось особой прозорливости, чтобы установить, что в „Бюро“ я единственно был на особом положении, прежде всего, в отношении оплаты моего труда. Мой секретарь, все сотрудники „Бюро“, многие из них долголетние товарищи по дивизии и фронту, получали жалованье помесячно, только я — поденно. Но если бы потребовалось прямое доказательство недоверия ко мне начальства, то и оно не замедлило сказаться.

Должен заметить, что мои отношения с Камецким не заставляли желать лучшего. Я лечил его детей, познакомился с женой, очаровательной и красивой полькой, отнюдь не пролетарского происхождения. Однажды Камецкий, как бы между прочим, сказал мне, смеясь:

— А знаете, о чем Эйдук (латыш чекист), выражая недовольство, не так давно спросил меня: „Как это известный контрреволюционер, доктор (обо мне шла речь) до сих пор находится в Берлине и не был отправлен своевременно в Россию?..“.

Я ждал продолжения, не мигнув. Сделав паузу, Камецкий продолжал:

— Я ему ответил: „В том, что доктор — контрреволюционер, не приходится, конечно, сомневаться, но чтобы он был „известный“, в этом я сильно сомневаюсь!“ — и довольный своим остроумием, стал усиленно смеяться.

— А вы поинтересовались спросить у Эйдука откуда у него точные такие сведения, касательно скромной моей персоны?

— Как же, — все смеясь, ответил мне Камецкий. — Это, по вашему же утверждению хорошо вас знающий проф. Неменов осведомил Эйдука о вашей, как вы выражаетесь, персоне.

Мне было не до смеха.

— Знаете ли вы, — заметил я Камецкому, — что уволенный мошенник доктор Н., чье я занял место, близкий друг Неменова

— они одновременно были студентами в Берлине? Не кажется ли вам, что Неменов после похвал теперь оговорил меня, чтобы оказать приятелю услугу?

— Письмо Неменова с вашей характеристикой надежно покоится в делах.

На этом разговор был кончен. И все же не означало ли это невинное, будто, замечание Камецкого, что ворота родины для меня закрыты?!..

⁂

Где тонко, говорит пословица, там и рвется и вот ей не единственное, конечно, подтверждение. Мой секретарь неожиданно отправлен был в Москву. Мне предоставлен был другой, молодой, будто, врач, по-видимому из семьи старых эмигрантов, оказалось, по личной рекомендации сестры Троцкого, оказавшейся в тот момент в Берлине.

Однажды я получил вызов в особую комиссию. За столом сидел незнакомый человек, приветствовавший меня без улыбки. Удивило присутствие в кабинете трех парней, хорошо мне знакомых по дивизии, стоявших неподвижно у стены, делая вид, что меня не знают.

— Я пригласил вас, — начал человек, как в „Ревизоре“: — чтобы сообщить, то-бишь выяснить, одно неприятное для нас всех обстоятельство. Наша комиссия, закупающая в Германии медикаменты, констатировала с некоторых пор ничем не оправдываемое повышение цен на рынке. Обследование установило, что это повышение вызвано появлением другой, конкурирующей русской организации, будто, занимающейся тем же делом. Мало этого, представитель этой организации, зависящей не от Внешторга, как наша, а от Наркомздрава, лично посещал ряд фабрик и обсуждал с дирекцией возможные заказы. Вы, известно и представляете Наркомздрав в Германии... Должен еще прибавить, что, по утверждению немцев, у этого представителя очень черные глаза, у вас же, я вижу, голубые, матовый цвет лица и он, в противоположность вам, брюнет. К тому же он превосходно говорит по-немецки, чем вы не можете похвалиться. Оказывается, это писаный портрет вашего секретаря. Вы представляете, какой ущерб причинен государству этим преступным актом? Как же подобное могло случиться?

— Этот же вопрос я вынужден задать и вам. Моего старого секретаря, знакомого по фронту, убрали, не сказав мне слова и приторочили абсолютно мне незнакомого, другого. О моей ответственности за подобное лицо не может быть и речи. Этот, хорошо разбирающийся в немецкой фармации, не уверен, врач ли, явно решил использовать создавшуюся на рынке конъюнктуру, чтобы

помочь себе, а никак не государству. Я должен доложить об этом своему начальству. Лично я бессилен что-либо предпринять.

На этом разговор был кончен. Присутствующие приятели по фронту глядели в сторону и по-прежнему меня не замечали.

Камецкий, смущенный, не дав мне открыть рта, сказал:

— Увольте сейчас же этого врача без объяснения причины.

Расставаясь, молодой человек тепло жал мне руку и, ни о чем не спрашивая, объяснял:

— Я, как русский, по окончании факультета, имею лишь университетский, а не государственный диплом и правом практики не пользуюсь. Работу иностранцу теперь невозможно получить, но, к счастью, я изучил устройство очень модного теперь неонового освещения для реклам. С медициной не выходит, придется промышлять неоном.

Я мог только пожелать ему успеха на неоновом, искусственном, но все же не темном, а светлом, как-никак, пути.

Напрашивался сам собой вопрос, исчерпан ли для меня этим увольнением печальный инцидент подобной важности? Несколько позже, в ином, без сомнения, масштабе, ставшая известной трагедия начальника по оборудованию Северного океанского пути, инженера Легового, закупавшего снаряжение в Германии, где не обошлось, конечно, без хищений, была достаточно показательной для заключений: единственно Леговой, редкой честности и благородства человек, вернувшийся в Россию, ответил за непорядки головой. Его сотрудники с нажитым капиталом предпочли родине благополучие в Европе и Америке.

Невольно убеждаешься, что чистая совесть и незнание за собой вины не исключают в нашем непонятном мире, как в „Процессе“ Кафки, безличного, неведомого над тобой суда со лживым, якобы защищающим подсудимого права, туманным порядком производства и загодя уж заготовленным, бесчеловечным, безапелляционным приговором.

Тем не менее, шли месяцы и никто не предлагал мне возвращаться в Ленинград. По мере того, как в лагерях интернированных санитарное состояние приходило в надлежащий вид, иные задачи и, должен сказать, более важного порядка возлагались на меня Москвой. Мне поручено было наладить прерванную войной 14-го года связь с немецким ученым медицинским миром; содействовать появлению в немецкой медицинской прессе работ русских ученых. Для ознакомления русских врачей с состоянием захиревшей в течение войны и начинавшей ныне оживать немецкой медицины, я стал печатать на гектографе в ста экземплярах краткое резюме достойных внимания статей

медицинской прессы и отправлял в Россию. Не раз мне приходилось участвовать в качестве секретаря на заседаниях немецкого и русского Красного Креста под председательством Виктора Коппа. Но для военного не столько в звездах, сколько в „послужном списке", куда заносятся, главным образом, грехи, значится, что должно случиться. Однажды неожиданно предстал передо мной показавшийся мне, естественно, антипатичным, мой заместитель, врач из Москвы и вручил неказистую бумажку Наркомздрава, где вкратце перечислялись мои заслуги и следовало приглашение на родину для занятия важного поста. При создавшихся условиях, при неосвоенном еще пережитом, при присвоенном мне звании „известного контрреволюционера", требовался по меньшей мере некоторый срок, чтобы подвести итоги и принять решение, а это означало невыполнение приказа: формально я числился все еще красноармейцем. Так против убежденья и чувства сама собою с родиной порвалась связь... Легко сказать порвалась связь... Но ведь воздух родины — это духовно питающая человека пуповина. И, как в бреду, я неотступно видел перед собой склоненную фигуру доктора Успенского в немой, мучительной мольбе не закрывать ему пути на родину, целующего сапог Камецкого. Я видел двух офицеров, полковников, приехавших из Франции, активных участников белого движения, требовавших у Камецкого переотправления их в Россию с готовностью принять за прошлое любую казнь. На все уговоры Камецкого, что это несвоевременно, страна еще в огне, и к ним не может быть доверия, они неизменно отвечали: „Здесь хуже смерти".

Я видел огромного роста старика еврея, портного, после погрома, когда погибла его жена, покинувшего молодым Россию. Сейчас с сыном, невесткой француженкой и двумя внучатами, не говорящими по-русски, со скарбом большой портняжной мастерской, гордый и счастливый, он возвращался в незнающую теперь антисемитизма, по-сыновнему им чтимую мачеху страну. Вся семья ютилась до эвакуации в посольстве, как на бивуаке, и глядя на них я мог только шептать: „не ведают бо что творят! Мученики идеалисты!.. Скучна была бы земля без них... Дорога в рай устлана лишь их телами...".

Незадолго до моего увольнения я принимал еще возвращавшегося на родину, если не ошибаюсь, из Болгарии, проф. Воробьева, прозектора Харьковского Университета в бытность мою студентом. Мы долго вспоминали старину. На мою попытку разведать, что заставляет его покинуть эмиграцию, он уклонялся от ответа; в свою очередь и я, на вопросы о творящемся в России, отвечал незнанием. Лишь позже, когда мир облетела весть о смерти Ленина, стало известно, что бальзамировал тело Ленина загодя извлеченный из эмиграции проф. Воробьев.

Все эти факты, горестно напоминавшие о родине, неизменно рождали мучительный вопрос: как поступить, что делать?.. И, не находя ответа, я ждал. Я все еще надеялся и веры не терял.

⁂

Германия, хоть и обедневшая, не походила все ж еще на остров бедствий, в каковой не преминула вскоре превратиться. Пусть и за бортом, к счастью, я располагал еще ресурсами, чтобы обеспечить свое существование, пользуя больных из все разраставшихся после Локарно советских учреждений. Но я томился по науке, по клинической работе. Посещение университетских клиник в качестве гостя-зрителя, меня не могло удовлетворить. Время шло и все страшней представлялась перспектива превратиться в интересующегося лишь заработком практика врача.

Но всяческая жизнь по нужде приемлема, поскольку она не исключает ожидания перемен...

Однажды меня разбудил телефонный звонок. Тревожный голос знакомого немецкого врача, русского по происхождению и к удивлению, русского и по подданству, идеалиста, поднял меня с постели. До революции он лечил будущих народных комиссаров, в том числе Чичерина, в счет будущих ресурсов и потому оказался теперь в связи с Посольством. Доктор Иосилевский сообщил мне, что к нему обратился ассистент профессора Casper'a, уролога с мировым именем, с вестью об аресте в России проф. Федорова, с просьбой апеллировать к советам о его освобождении. Иосилевский посоветовал обратиться за содействием ко мне.

Dr. Oelsner, не замедливший со мной связаться, сообщил, что ночью Casper'ом была получена телеграмма следующего содержания: „Проф. Федоров, бывший лейб-хирург царя, арестован при попытке перейти латышскую границу. Грозит смерть. Примите все возможное для спасения". „Casper, председательствующий сейчас на первом после войны урологическом конгрессе в Вене, о телеграмме извещен и съезд, конечно, примет свои меры, но во избежание непоправимого, необходимо немедленно просить воздействия также местных советских представителей. Им необходимо пояснить, какой известностью, авторитетом и симпатией проф. Федоров пользуется в Германии". Я заверил коллегу, что снесусь немедленно с Посольством и сделаю все, что только будет в моих силах, чтобы содействовать спасению проф. Федорова, моего учителя.

Хоть и изгнанный из рая, я позвонил в Посольство и попросил аудиенции у Коппа, теперь полпреда, ссылаясь на исключительной важности обстоятельство, касающееся культурной связи

между Россией и Германией. Копп принял меня в тот же день с обычной любезностью, как если бы я продолжал еще ходить в друзьях. Узнав в чем дело, сочувственно и деловито, он пододвинул мне блокнот и сказал:

— Пишите телеграмму Наркомздраву.

Текст этой телеграммы я хорошо запомнил:

„При попытке перейти латвийскую границу арестован проф. Федоров, самый авторитетный ныне представитель русской медицины, пользующийся в Германии исключительной популярностью и уважением. Судьба Федорова теснейшим образом связана с будущим нашей культурной связи не только с немецкой медициной и может скомпрометировать эту едва налаженную связь на много лет. Урологический конгресс в Вене, где председательствует Casper, вынесет несомненно негодующий протест. Необходимо срочно заверить, что жизни Федорова ничто не угрожает“.

Долго я хранил в своем архиве копию этой телеграммы и лишь с приходом Гитлера ее порвал.

Вскоре я получил приглашение Prof. Casper'а посетить его клинику и сообщить о судьбе арестованного друга. Увы, финал телеграммы Коппа мне оставался неизвестным. Беседуя с профессором, я попросил разрешения присутствовать на операциях и через короткий срок числился уже официальным ассистентом клиники францисканского ордена, где проф. Casper помещал своих больных.

*
**

Числился... Но такие перемены в жизни врача эмигранта требуют все же каких-то исключительных благоприятных обстоятельств.

По примеру египетских жрецов, предназначавших плоды своих земных и особенно небесных наблюдений „только фараону и жрецам“, специалисты в Германии, чтобы не профанировать до времени своих открытий, новшеств, приберегаемых для специальной прессы, в повседневной жизни строго ограничивались своим постоянным персоналом, допуская врачей со стороны, по преимуществу иностранцев, с большим разбором и на короткое лишь время. По возвращении в свою страну такие могикане становятся естественно глашатаями идей своих учителей.

Увы, с этой точки зрения никакого интереса для клиник я не представлял; Россию снегом занесло и никто с ней не считался. Но случай, неоднократно уж прославленный не только нами случай, самолично создал все необходимые для успеха предпосылки.

Молодой, очень симпатичный врач, непосредственный и постоянный ассистент профессора, конечно, немец, оказался вдруг

больным тяжелым белокровием и во время частых кризисов я вынужден был выполнять его работу. Состояние больного все ухудшалось и вскоре этот пост стал вакантным.

Единственным моим несомненным шансом в предстоявшем конкурсе было то обстоятельство, что я был на месте и справлялся с работой не хуже ассистента. Правда, с языком существовала неувязка... Но немцам и особенно немкам даже нравилась стилизованная, скажем, моя речь. Не всем, конечно...

Как-то в клинику поступил больной, и я вошел в палату, чтобы приветствовать вновь прибывшего и заодно уж собрать данные для истории болезни. Уже мое приветствие заставило пациента насторожиться и с наморщенным челом осведомиться о моей национальности:

— Вы не немец?

— В клинике вы гость, а я здесь у себя и собственно мне надлежит пациентам задавать вопросы, но я готов удовлетворить ваше любопытство: я русский.

— Русский, — всплеснул руками пациент. — Боже, до чего дошла несчастная Германия! Русский, Was haben Sie hier zu suchen? Мы вас грамоте учили; на войне били, как хотели, а теперь вы собираетесь опекать наше здоровье. Кто вам доверит свое здоровье?.. Скажите, что вы сами дали миру — никому не нужный самовар и Достоевского...

Больной стал заикаться и я счел за лучшее оборвать этот монолог и удалиться. Это был единственный такой случай за все время моего пребывания в Германии.

Плохо дело обстояло с писанием историй болезни. Здесь моим Виргилием оказался наш санитар, Johannes.

— Фронтовики обязаны содействовать друг другу, — заявлял он и уверял, что вместе мы любую „историю напишем".

Читая наши сочинения, профессор удивлялся их лаконичности. Знал бы он, чего уже эта „лаконичность" мне и особенно бравому камраду Johanness'у стоила...

В нашем окружении оказалась еще одна „добрая душа", старавшаяся мне помочь. В клинике обреталась молодая сестра, родом из пограничного с Францией городка Рейнской области, хорошо говорившая по-французски. Она обычно опекала больных, не знавших немецкого и пользовалась особым расположением профессора, была будто его „оком" в клинике. При нашей первой встрече она безапелляционно заявила:

— Les Russes sont toujours en retard.

Я принял эти слова, как фразу из „самоучителя" и в унисон ответил:

— Mais jamais quand il s'agit d'un rendez-vous avec une jolie fille.

Французский язык был не только ее hobby; по этому языку ее томила жажда и мой ответ был каплей влаги... Мы поняли друг друга.

Повидимому профессор все же не выпускал из своих рук бразды правления и вскоре в клинике появился молодой врач, болгарин, весьма интересовавшийся урологией. Этот доктор был рекомендован моему профессору его коллегой по университету, изучавшим испанскую литературу средневековья, и чьим советником в этом вопросе и был болгарин. Оказывается, в Европе и по сей час существуют кое-какие очаги так называемых Маранов, потомков евреев, много веков назад вынужденных покинуть Испанию из-за религиозных преследований и из поколения в поколение сохранивших испанский язык средневековья. Членом такой семьи и оказался наш болгарин. Этот врач в средствах не нуждался и памятные дни профессора отмечал посылкою цветов. По вечерам я обходил больных единолично. Однажды, немного запоздав, я увидел в перевязочной поразившую меня картину. Болгарин в халате пытался зондировать больного, вопившего:

— Позовите профессора, я умираю!

Пол перевязочной был устлан окровавленными зондами; больной в крови, как и руки доктора. При моем появлении мой alter ego, Johanness стал успокаивать больного и уверять, что „этот доктор все сделает, как нужно". Услышав мою речь, больной и вовсе стал сползать на пол. Под уговоры Johanness'а и протесты пациента, я подготовил больного, и сознавая, что неудачные попытки доктора могли сделать зондирование невозможным, со смирением последней степени взялся за зонд; через несколько секунд зонд был в пузыре, и облегченный больной, обливаясь слезами, пытался меня поцеловать.

Болгарин больше в клинике не появлялся, а профессор не обмолвился о происшествии и словом. Лед все еще, очевидно, не был сломан.

Как-то я был вызван к больной. Молодая дама лежала в большой комнате с полузакрытыми ставнями, и комнату в отдалении все время мерил большими шагами не проронивший слова высокий, стройный человек. Фамилия дамы была Коростовец, и по окончании консультации я спросил, не является ли ее муж участником украинского движения? Больная подтвердила это и по особому, мне показалось, взглянула в сторону шагавшей тени. Луч света осветил ее лицо и в тот же миг я увидел генерала Скоропадского, бригадного командира 1-ой Гвардейской дивизии, с которым в Кавалергардском полку в первые месяцы войны мне часто приходилось встречаться. Попрощавшись с пациенткой, я по старинке подобрался, повернулся в сторону генерала и, не зная как его величать, обратился, как это полагалось в

Красной Армии, только вместо товарища „Господин Генерал". Гетман даже вздрогнул, но всмотревшись тут же признал меня, обнял, усадил и стал расспрашивать о Красной Армии, о польском походе, о Тухачевском и, между прочим, сообщил, что и сам хотел бы обратиться ко мне за советом.

На следующий же день я, как бы между прочим, попросил у профессора разрешения принять в клинике моего пациента, гетмана Скоропадского. Судя по эффекту, это и был тот удар, от действия которого стены рушатся и вскрываются любые реки. Оправившись не без труда от шока, профессор с готовностью мне разрешил. Могу сказать, что когда Скоропадский с телохранителем появился в клинике, весь наш этаж был как бы на военном положении: двери всех комнат были на запоре. Наши повторные свидания с гетманом были строго деловыми. Однажды лишь гетман попросил меня устроить в клинике его дочь, окончившую в Швейцарии медицинский факультет. Я не успел исполнить его просьбы, как узнал, что эта дочь выходит замуж за итальянского гранда, потомка выходца из Украины, среди многочисленных титулов и званий сохранившего также отличия, связанные с пребыванием на Украине.

Арест проф. Федорова и встреча с гетманом, разрешили проблему моего пребывания в Германии на тринадцать лет. Это были лучшие и наиболее плодотворные годы моего эмигрантского существования.

Прошло несколько лет и стало известно, что в Германию приезжают русские профессора с докладами на оригинальные, открывающие медицине новые пути, темы и в числе их значится проф. Федоров. Наше вмешательство спасло, по-видимому, жизнь ученого и не позволило русской революции повторить тяжелую ошибку французской, обезглавившей Лавуазье. „Революции ученые не нужны", этим замечанием больше, чем казнью, опозорил себя прокурор Фукье.

Первым из приехавших выступил проф. Плетнев с лекцией об „удалении ganglion stellatum при грудной жабе". На безупречном немецком языке, ни разу не заглянув в бумажку, он приковал к себе в течение двух часов внимание врачей, заполнивших большой зал до отказа. Председательствующий на заседании проф. Бергман, одновременно с Плетневым бывший когда-то стажьером у проф. Сенатора в Берлине, назвал „фокусом" подобную лекцию на память с такой исключительно богатой литературой.

С Плетневым я столкнулся в Мариенбаде спустя несколько лет после его выступления в Берлине. Небольшого роста, энер-

гичный, молодой, он рассказывал, что возвращается из Гамбурга, где читал лекции о заразных болезнях. Ничто не предвещало тогда его преждевременной мученической смерти по нелепому обвинению участия в заговоре против жизни Горького. Жизнь проф. Плетнева понадобилась Сталину, чтобы покрыть собственные преступления обезумевшего давно уже диктатора.

Лекция проф. Бурденко, основоположника русской нейрохирургии, впоследствии главного хирурга Советской Армии, о „мозговых операциях", оставила слушателей в неведенье. Рядом сидевший врач спросил меня, на каком языке докладчик говорит? Бурденко читал по-немецки написанный текст, но никто не сказал бы, что он читает по-немецки. Так для слушателей осталось неизвестным, что именно хотел сказать докладчик.

К лекции проф. Богомольца немецкие врачи отнеслись сугубо отрицательно, настолько тема была революционной. Роль соединительной, наиболее примитивной ткани в вопросах иммунитета, была по тому времени новой и врачи не поняли ее значения. Впоследствии сыворотка „АЦЕ" получила широкое распространение при ревматизме, при переломах костей и даже как омолаживающее средство.

Лекцией, собравшей весь медицинский мир Берлина, было выступление проф. Федорова на тему „камни почек". Оригинальный взгляд Федорова на вопрос о камнях, не подлежащих операции, подкрепленный статистическими данными, привлек внимание аудитории.

Я смотрел на тощего, согбенного, все кашлявшего старика и в замешательстве, с трудом мог признать в нем прежнего лейбврача, большого, полного, с усами à la Wilhelm, человека. Он пожелал меня видеть и мы встретились в кафе. Он знал о моей телеграмме Наркомздраву и в свою очередь сообщил мне о причине своей попытки к бегству.

Эта попытка была связана с Зиновьевым, по тому времени всесильным правителем Петербургской области. Почувствовав недомогание, Зиновьев вызвал Федорова, установившего у него острый аппендицит, требовавший немедленной операции. На предложение Зиновьева оперировать его, Федоров ответил:

— Для этой операции я недостаточно спокоен.

Предполагая худшее, что за этим должно было последовать, Федоров решил пробраться в Латвию и был арестован на границе. Без вмешательства врачей Германии, он был бы расстрелян без суда: жизнь человека и такого, как Федоров, по тому времени весила не более, чем его отощавшее до maximum'а тело. Около полугода Федоров пробыл все же в заключении в ужасных условиях на положении смертника и был освобожден едва

живой, по приказу из Москвы. Он возвратился в Военно-Медицинскую Академию и вскоре стал чем-то вроде лейб-хирурга нового режима.

⁂

В это беспокойное время на особом положении оказались врачи хирурги. Как во времена Грозного, они почитались ответственными за исход операции, даже у обыкновенных смертных и не приступали к вмешательству, не взяв предварительно у больного бумажки, что он считается с возможным риском операции. Какова же была ответственность врача, если оперируемый принадлежал к категории правителей... В этом случае при неудаче обвинение в саботаже напрашивалось само собой...

Федоров часто наезжал в Германию, иногда по делу, а иногда, чтобы только отдохнуть от переживаний, связанных со своим опасным ремеслом. Однажды он приехал в сопровождении одного из столпов режима, Григория Орджоникидзе, больного почечным туберкулезом. Вопрос об операции осложнялся наличностью еще и других туберкулезных очагов и требовалась санкция специалистов, чтобы решиться на подобное вмешательство. На консультации весь берлинский синклит урологов был в сборе. Все одобрили решение проф. Федорова удалить больную почку. По русскому обычаю, потрудившиеся за хорошую оплату их труда консультанты, были приглашены к Horcher'у, самый дорогой берлинский ресторан, где ели ложками икру и пили à gogo в честь именитого больного, угощавшего, конечно, на казенный счет. Не всем пошло на пользу это угощение. Проф. Joseph, использовавший эту оказию всерьез, непосредственно от Horcher'a был отправлен в клинику, где был срочно оперирован от прободения язвы желудка. Casper отделался желтухой. Предзнаменования, как будто, явные, но лишь post factum дано нам толковать приметы.

В следующий свой приезд Федоров мог рассказать, как прошла на самом деле эта операция.

Федоров оперировал, как обычно, с двумя ассистентами — один главный, рядом с оператором, другой подсобный на противоположном конце стола. Эту роль исполняла молодая докторша. Операционный зал заполнен был врачами коммунистами, следившими за каждым движением руки хирурга. Орджоникидзе был полным человеком, с большим животом. При туберкулезной почке со многими сращениями это обстоятельство создает особые затруднения. В этой операции драматическим может представиться момент, когда, наложив клем на очень короткую ножку сосудов, отрезают распухшую, большую почку. Клем на сосудах дает возможность хирургу, удалив почку, спокойно их перевязать. Но в эту самую секунду клем может сдать... И клем

вдруг сдал... Мгновенно заполнилась кровью раневая полость; в море крови скрылась и без того короткая сосудистая ножка... Рядом стоявший ассистент, как сноп, свалился на пол. Хирург, погрузив руку в заполненную кровью полость, нащупав ножку, мог зажать ее между двух пальцев. Молодая докторша компрессами быстро высушила рану и под пальцы хирурга подвела снова клем. Теперь можно было спокойно перевязать сосуды и снять едва не погубивший не только пациента, злополучный клем. В этот момент свободнее вздохнули также находившиеся в операционной свидетели врачи. Федорову подобное происшествие было, конечно, не впервые, но принимая во внимание время и обстоятельства, потребовалась лишняя поездка в Германию, чтобы отдохнуть от таких переживаний. Орджоникидзе, как известно, оправился после этой операции и прожил еще около десяти лет.

***

Средневековье в Германии далеко еще не изжило себя и не только лишь в отношении медицины. Примитивнейшее знахарство там и сейчас в большом почете и пользуется особым расположением народа и властей .

Елена Никодимовна поведала нам о необыкновенных магнетических руках своего мужа Иосифа, столь же прекрасного, сколь и несчастного всем нам полюбившегося человека. Магнетизм, как лечебный фактор, впервые был применен Mesmer'ом. Mesmer считал, что эта космическая сила проникает все мироздание и должна оказывать влияние на всякую материю, одушевленную и неодушевленную. Mesmer орудовал магнитом, прикасаясь им к пораженным частям тела и фактически излечивал, если не все болезни, то, во всяком случае, всех обращавшихся к нему во множестве больных. Это лечение, чтобы преуспеть, в конце концов, должно было выродиться в шарлатанство и вскоре оно потеряло у публики кредит.

Многие из чародеев и в настоящее время преуспевают на этом пути, ссылаясь на присутствие у них этой силы в изобилии. Но вот, после войны 18-го года, заполнившей Европу душевно покалеченными людьми, появился в Австрии знахарь Zeileis, по специальности не то мелкий лавочник, не то слесарь, не преуспевший, очевидно, на своей работе и, faute de mieux, занявшийся лечением людей.

В немецких странах, как известно, занятие медициной не требует наличия диплома, было б лишь желание лечить, с непременным, однако, лишь условием, чтобы больные не умирали. Право долечивать больных до смерти и там предоставлено только лишь врачам. К этому времени появились в продаже небольшие ящички с аппаратом тока высокого напряжения и электродами

для различных частей тела, издававшими в действии приятный треск. Такой ящичек и приобрел сей маг и стал им лечить соседей от всех болезней. В короткий срок слава о его успехах распространилась за пределы его захолустья, а вслед за этим далеко и за границы Австрии. Больные стекались теперь со всех стран Европы. Из уст в уста передавалась весть, что Zeileis потомок древней индийской династии и что ему не то 900, не то 1100 лет. Интеллигенты, богатая буржуазия верили этому беспрекословно и славили его повсюду. И история подчас шагает уже проторенным путем... По-видимому, Zeileis и, например, Калиостро были ровесники. Городок, где он начал свою деятельность, Gallspach, превратился теперь в медицинский центр по меньшей мере европейского масштаба, с отелями, магазинами и проч... Zeileis принимал больных в приобретенном вскоре им Château с большим парком. В специально оборудованном зале, освещенном красным светом, обнаженные до пояса больные группами по двадцать-тридцать человек, ожидали выхода мага, появлявшегося в сопровождении группы ассистентов-докторов. Стеклянным электродом, менявшим то и дело цвет, он прикасался к различным частям тела пациентов и безапелляционно изрекал диагноз. Вслед за этим больные должны были одеться и бегом покинуть зал, освобождая место для следующей группы. Лечение, следовавшее за диагнозом, одинаковое для всех, заключалось в поглаживании этим электродом пораженного органа трижды в день в течение месяца, каждый раз по несколько минут.

Медицинский вокабуляр Zeileis'а насчитывал всего лишь 12 болезней. Среди больных были слепые, хромые, парализованные. Все они, если не выздоравливали полностью, то, по меньшей мере, чувствовали себя несравненно лучше. Шли годы. Маг все богател. Его заработок на франки достигал horribile dictu 750 миллионов в год. Многочисленные попытки врачей разоблачить невежественного знахаря оставались безрезультатными. Нужно знать, что в немецких странах знахарство, лишенное врачебной безнаказанности, почитается даже нуждающемся в особом покровительстве, и судебные решения чаще всего ведут к посрамлению врачей. В одной Германии насчитывалось при 50 тысячах врачей, 200 тысяч активных знахарей, работающих, не уверен, на благо ли страждущих, но, во всяком случае, не во вред себе. Чтобы разоблачить шарлатана, пришлось немецким врачам прибегнуть к стратагеме древних греков: ввести в неприятельский лагерь в роли „троянского коня“, молодого проф. Lazarus'а, у которого Zeileis, ничто же сумняшеся, диагностировал сухотку спинного мозга и прописал обычное для всех болезней лечение своим волшебным жезлом. Это и было началом всеобщего прозрения.

В момент, когда Zeileis находился еще в зените своей славы, ко мне явился симпатичный молодой человек, по образованию юрист, но, как все русские, занимавшийся всякими, не имевшими отношения к его специальности, „делами“. Он производил впечатление вполне обеспеченного эмигранта. Из его объяснений следовало, что в детстве и в зрелом возрасте он был всегда здоров и лишь около года почувствовал недомогание, усталость и проч... Он обратился к русскому терапевту, известному в эмиграции проф. Б. Осмотрев его, профессор диагностировал острый аппендицит и тут же, не испросив, якобы, его согласия, позвонил хирургу. Больной оказался в клинике, где врачи подтвердили диагноз терапевта и удалили ему аппендикс. Уже на третий день после операции температура у него была выше 40°, а вслед за этим начались осложнения, не оставлявшие его в течение трех месяцев. Дважды он проделал эмболию, о других компликациях врачи ему не сообщали. Он вышел из клиники полуживым и чем дальше, тем чувствовал себя все хуже. Боли в животе не давали ему покоя ни днем, ни ночью. Все попытки врачей, к которым он обращался, избавить его от этих болей, оставались тщетными. Тогда он решил... убить проф. Б., распорядившегося самостоятельно его здоровьем. К сожалению, предупрежденный профессор покинул к этому времени Берлин. Как-то в кафе незнакомый сосед по столику стал рассказывать, что он только что вернулся из Gallspach'а в Австрии, где проделал курс лечения у знаменитого врачевателя Zeileis'а и чувствует себя, как новорожденный. Услышав о злоключениях юриста, он посоветовал ему не терять времени на общение с ничего не понимающими врачами и сейчас же ехать в Gallspach. Там ему обеспечено излечение.

Больной поехал в Gallspach и то, что он увидел — отели, заполненные признательными пациентами; услышал — единодушные славословия Zeileis'у, как богу, уже настроило его на оптимистический лад, а проделанное там, уже известное нам, в течение месяца лечение, избавило его совершенно от болей.

Выслушав исповедь пациента, я спросил его, что же привело его ко мне; не вернулись ли снова боли?

— А нет, — категорически ответил пациент: — с прошлым покончено надежно. Но вот у меня новая беда — опухоль в мошонке.

Я осмотрел пациента и объяснил, что это заболевание — вода в яйце — не представляет никакой опасности. Можно удалить воду проколом, но в этом случае накопление воды будет повторяться; незначительная и совершенно безопасная операция избавляет от болезни навсегда.

— Прокол я могу сделать сейчас же.

К счастью, больной решил подумать, ограничиться ли проколом, или прибегнуть к операции.

Провожая пациента, я подумал, что там, где преуспевают Zeileis'ы, врачам, собственно, делать нечего, и был доволен, что от пациента долго не было вестей. Как-то, читая русскую газету, я увидел извещение о смерти после операции злополучного пациента и от его друзей узнал, что его оперировал один из лучших хирургов Берлина и что вскоре после операции он погиб от диффузного тромбоза сосудов таза. Я не удивился бы, если бы узнал, что это единственный в медицине случай такого осложнения при подобной операции.

Исходя, возможно, из наличности таких пациентов, где официальная медицина обнаруживает свое бессилие избавить страждущих от мук, практичные немцы и оставляют знахарям это поле деятельности для их сомнительного священнодействия.

***

В Германии, после неудавшегося, казавшегося авантюрным, гитлеровского путча, зрело и наливалось нацийное движение, как зреет зерно в хорошо унавоженной земле. Социал-демократы, подавившие с помощью военных движение спартаковцев, бессильные взирали, как ведущая немецкая буржуазия, Стиннес'ы, Круп'ы разрушали немецкое хозяйство, чтобы не платить французам репарации и, обездоливая широкие народные массы, готовили кадры для тысячелетнего гитлеровского рейха. Снова раздуть в Германии на горе всем буржуям угасшее пламя революции было сокровенной мечтой большевиков и подобно Ною, из своего ковчега посылавшего разведывать голубей, и они из изолированной своей земли засылали ходоков разведать, в пути ли так срочно нужная им Улита-революция и когда она прибудет.

Однажды два таких разведчика прямо из Москвы появились среди моих пациентов. Один среднего возраста и роста, с приятными чертами спокойного, полного лица, с золотой цепью на цветной жилетке; другой — худой, нервный, с беспокойным взором. Нескольких визитов было достаточно, чтобы пациенты откровенно поведали врачу, чем они живы и о чем действительно болеют. Полный, с золотой цепью, покинул Россию в революцию 905 года и обосновался в Швеции. Маляр-подрядчик, он по настоянию старого друга, Троцкого оставил приютившую его страну и возвратился в Москву в качестве делегата, члена Коммунистического Интернационала. Его спутник, левый С.Р., журналист, должен был содействовать бывшему маляру в выполнении

возложенного на него задания. Положение осложнялось тем обстоятельством, что задача разведчиков была как бы заранее уже решенной: новые обозреватели должны были только подтвердить весьма оптимистичные впечатления Радека, незадолго до них выполнявшего ту же миссию.

Но тут-то и таилась их беда. Чем дольше делегаты наблюдали немецкую общественную жизнь, чем больше они общались с трезво судившими о положении в Германии политическими деятелями, тем безнадежнее представлялось им не только ожидание революции, но даже сохранение нынешнего положения в стране казалось под угрозой. Работа гитлеровцев тихой сапой неизменно подрывала политическую устойчивость Германии, а разжигание низменных инстинктов у голодавшего народа звериными слоганами увеличивало их кадры не по дням, а по часам.

Но как разрушившим до основания старый русский мир и со дня на день ожидающим революции в Германии для построения с их помощью на чистом месте нового, сказать „Lasciate ogni speranza" на немецкую революцию? Ведь в надежде на эту помощь развитой капиталистической Германии и были предприняты невиданные темпы разрушения... Тяжелая задача предстояла делегатам: своим отчетом поддержать требования меньшинства партии о снижении темпов социализации, о создании инфраструктуры, позволяющей народу выжить. Не с легким сердцем возвращались в Россию делегаты.

Прошло около двух лет. Однажды явился ко мне по особому вглядывавшийся, как бы ожидая чего-то от меня, молодой человек, показавшийся и мне знакомым. С трудом я узнал его: это был журналист, сопровождавший своего друга, делегата, члена Коммунистического Интернационала, в Германию. Вид его тяжело-больного обращал на себя внимание.

— Что скажете? — начал я. — Почему у вас такой вид? Как поживает ваш друг, с которым вы приезжали в Германию?

И он поведал мне грустную историю.

Уснащенный оговорками, но по существу пессимистический отчет делегатов о шансах на усиление революционного движения в Германии, не произвел, конечно, должного эффекта на нежелавших расставаться со столь заманчивой мечтой правителей. Доклад отправлен был в архив, а авторам доклада поставлена была на вид недостаточность революционного чутья, не позволяющего отличить буржуазный плевел от революционной пшеницы.

Коммунистическая партия в первое десятилетие своего существования не представляла, как это было впоследствии, единомыслящего коллектива. Все выдающиеся ее представители по

ряду основных вопросов не сходились в мнениях и отстаивали безнаказанно свое суждение с упорством, впоследствии стоившим им головы. Вопрос о темпах социализации после германских впечатлений продолжал занимать делегата. Обождав некоторое время, не довольствуясь дискуссией в партийной среде, он опубликовал статью под чужой фамилией, где, ссылаясь на безнадежность упований на Германию, требовал коренного изменения экономической политики. И по тому времени эта статья оказалась слишком далеко идущей в вопросах о темпах социализации. Чужая фамилия не укрыла истинного автора статьи. По почерку рукописи Че-ка добралась до него. Он был арестован и с этого момента выключен как бы из числа живых. Одновременно с ним был арестован также и его напарник по поездке в Германию, журналист. Долго мучили его допросами и, убедившись в его непричастности к статье, как литовского гражданина, выслали полуживым из пределов России. Несколько лет ходил ко мне этот несчастный и я, как мог, поддерживал его.

***

Среди пациентов, находившихся долго у меня в лечении, был сотрудник консульства, влиятельный, видно, человек, латыш, по фамилии Сидорин. Какова была настоящая его служба в консульстве я не знал и этим не интересовался.

Как-то он попросил меня срочно посетить его в квартире родителей жены, немки, на которой он незадолго перед тем женился.

К моему удивлению, всюду стояли сундуки, чемоданы. Сидорин мне объяснил, что его вызывают в Москву и просил наставлений для себя и для жены, находившейся также у меня в лечении.

Вскоре после этого прощального визита я шел как-то по улице Берлина и по привычке остановился у витрины книжного магазина. Среди немецких книг красовалась на виду брошюра с поразившим меня русским названием: „Исповедь комиссара". Я тут же купил ее. Лишь поздно вечером в постели я мог приняться за ее прочтение и не оставил „Исповеди", пока не дочитал до последней строчки, строчки, оказавшейся для меня истинным сюрпризом.

Автор „Исповеди", убежденный социалист-революционер, рассказывает, что с момента захвата власти большевиками, он отошел от общественной работы и занялся, чтобы не погибнуть с голоду, добыванием средств пропитания мешечничеством для

жены и для себя. Неоднократно к нему, как к влиятельному общественному деятелю революционных лет, обращались большевики с предложением возобновить работу. Всякий раз он отвечал отказом, ссылаясь на то, что общественная работа в настоящих условиях его не интересует.

Неожиданно разнесся слух, что раскрыта организация, ставившая себе целью убийство Ленина. Начались повальные обыски и аресты, главным образом причастных к организации социалистов-революционеров в прошлом; пошли оговоры арестованных и однажды была также арестована его жена, возглавлявшая, якобы, подготовку задуманного покушения. Долго, пока шло следствие, об арестованных не давали никаких сведений. Не было свиданий, не принимали передач. Но однажды его посетил член следственной комиссии, в прошлом товарищ по общественной работе и доверительно сообщил, что следствие о заговоре против жизни Ленина близится к концу: арестованные сознались в преступных действиях и что руководящее участие в этом заговоре принимала, оказалось, его жена. Чекист намекнул, что его согласие примкнуть к большевикам может сейчас, в последнюю минуту, приостановить все дело, иначе, когда начнется суд, положение будет безысходным. Он дал свое согласие и жена была освобождена.

Началась продолжавшаяся много лет, подневольная, против совести, работа. Первым актом его деятельности была подготовка к созыву областной конференции партии социалистов-революционеров. По старой памяти, по сохранившимся еще адресам, он разослал врученный ему большевиками проект программы съезда. После месяцев ожидания стали получаться ответы с замечаниями по поводу подлежащих обсуждению вопросов. В условном месте, в урочный час собрались пять депутатов, из которых четыре, старые товарищи по революционной работе, не глядевшие в глаза друг другу, наверняка были того же порядка, что и инициатор съезда. Пятый же, скромный и стеснительный и был, возможно, самым матерым из всех. По окончании заседания председатель вышел в сопровождении студента, одного из членов конференции. Глядя в пространство, студент мог только сказать:

— Сначала я мучился, страдал. Увидел товарищей и успокоился: все тут одним миром мазаны!

Многое из того, что пришлось делать новообращенному комиссару, улетучилось из моей памяти, но два факта из длительной и многообразной его деятельности потрясли меня тогда, и я не забыл о них и посейчас. Страшное впечатление производило описание его пребывания в „Соловках“ на посту коменданта лагеря. Здесь он мог воочию убедиться, что наказание имело целью не исправление, а самое настоящее истребление про-

винившихся. Гиблые болота, тучи комаров, пища, не соответствующая нормам самого низкого уровня питания и бесчеловечные, непосильные задания, являли картину настоящего ада на земле. И тут вдруг замечание, заставившее мое сердце сильней биться.

„Обходя лагерь и видя, как мучаются люди, — читаю я дальше, — всякий раз я обращал внимание на представлявшего Швецию, члена Коммунистического Интернационала, полуголого, слабосильного, заеденного комарами человека, едва справлявшегося с полагавшейся по норме тяжелой, непосильной для него работой по рубке леса“.

Итак, нашелся след коммуниста... Так вот где оказался друг Троцкого, маляр-подрядчик, прибывший в первую страну социализма с золотой цепью на цветной жилетке, с целью содействовать скорейшей социализации и прочих стран Европы и очутившийся с веревкой на шее, готовой удавить его, в „Соловках“, в аду.

Второй ошеломивший меня факт заключался в последних нескольких строчках „Исповеди“. Заболела жена услужливого комиссара. Болезнь требовала, возможно, хирургического вмешательства. По установившемуся обычаю в стране повсеместно, как по уговору, в ответственных случаях у мало-мальски значительных людей, врачи не брали на себя риска операции и под разными предлогами отсылали этих больных заграницу. За заслуги новообращенного, безропотно выполнявшего представлявшуюся ему работу, больная жена в его сопровождении и была отправлена в Берлин для консультации с врачами. Комиссар получил добрую сумму долларов и наказ: „по прибытии в Берлин явиться на Unter den Linden, 7, комн. 14, к тов. Сидорину“.

Задолго, выходит, до появления этой брошюры стало известно ее содержание. Комната 14 продолжала, возможно, существовать, но тов. Сидорина там и след давно простыл.

Как-то появился у меня новый больной. Молодой человек, латыш, с трудом справлявшийся с русским языком. Он, между прочим, сообщил мне, что Сидорин, уезжая, рекомендовал ему обращаться ко мне в случаях нужды.

Находясь в лечении, он однажды попросил меня осмотреть жену, а главное недавно лишь приехавшую из России сестру жены, молодую девушку. Звуки фокстрота долго заглушали мой звонок и прошло несколько минут, прежде чем дверь открыла хозяйка дома. Жизнерадостная, совсем молодая дама жаловалась на боли в ступне, особенно после танцев, которые она обожала. Между прочим, эта дама сообщила мне, что она не

так давно окончила гимназию в провинциальном городе центральной России, где ее отец — начальник почты. Она вышла замуж за коммуниста и теперь работает в полпредстве. Младшая ее сестра только что окончила гимназию и мечтала повидать Берлин. Но тут почему-то ее нервы сдали. Она хандрит и сама не знает, чего хочет.

— Доктор, пожалуйста, — заключила дама, — посмотрите мою сестру и пропишите ей лекарство, чтобы она была веселей! Я должна идти на вечернюю работу. Поговорите с ней, доктор. Пусть она блажь свою выкинет из головы!

Несколько минут я смотрел, не отрываясь, в голубые, такие чистые, сейчас затуманенные слезами глаза девушки и сказал сочувственно:

— После разгрома в России вы не ожидали увидеть Германию такой!..

Слезы покатились по ее щекам. Она схватила мою руку и, вся дрожа, стала объяснять.

— Вы понимаете, я ехала по России и видела повсюду страшную нужду. На вокзалах разгром; сотни нищих атакуют поезда; повсюду дети попрошайки. Ну что ж, говорила я себе, чтобы строить на чистом месте сначала нужно разрушать. В Германии, нам говорят, еще хуже, много хуже. Там настоящий голод; все разрушено; люди умирают. Переехали границу. Поезда идут точно по часам. Летят, как угорелые. И сколько их — этих поездов!.. Поезд за поездом. И это в разрушенной, голодающей Германии. А у нас... ждут поезда часами... сутками... Приехала. У вокзала автомобили. Сестра встречает. Вся в новом: очень хорошо одета. У нас о таких пальто и платьях и думать позабыли. Дома всего вдоволь; живут, как и в мирное время мы никогда не жили. Свободная минута, сейчас же граммофон и танцы. Приходят гости, товарищи все по работе, коммунисты, сейчас же танцы. Никто не задал мне вопроса, как мы живем в России... Как там идет работа... Как мучаемся и как часто голодаем...

И она стала рыдать взахлеб, как плачут дети. Я сжимал ее руку и не находил слов для утешения.

— Не хотела я идти в большой ихний магазин, — и в потемневших ее глазах отразился ужас. — Заставили. Пошла. И что увидела... Лучше бы мне не знать, лучше бы не видеть, лучше бы раньше умереть... — Обеими руками она сжала мою руку и, заливаясь слезами, стала быстро говорить: — Вошла в магазин и потерялась. Не знаю, во сне ли это или наяву. Столы, стены, все завалено товарами, куда ни взглянешь, товары, товары без конца... Народу не протолпиться, прицениваются, покупают. А у нас... иголки, нитки купить негде... Живут тем, что из старых тряпок ладят платья. Сутками выстаивают на морозе, чтобы

иметь удачу получить что-либо из вещей. Не хотела я идти, заставили. А теперь, залитый светом магазин мне не дает покоя. Закрою лишь на миг глаза и вижу тысячи огней, тысячи людей, прицениваюшихся, покупающих. Ночью усну на несколько минут и во сне вижу яркий свет... Люди, как мыши, снуют повсюду; толпы людей, теснящих друг друга, роющихся в кучами наваленных вещах... Я больше не могу... Доктор, милый доктор, дайте мне лекарство, чтобы уснуть... Чтобы забыться... Я больше не могу...

Прислонив голову к моему плечу, прижимая мою руку к своей груди, она плакала отчаянно и безнадежно. С трудом я оторвался от нее.

На следующий день я позвонил сестре и предупредил, чтобы за девочкой смотрели, чтобы не оставлять ее одну. Сестра смеясь ответила:

— После снотворного она спит еще, так крепко, как сурок. Выспится и блажь свою забудет. Спасибо, доктор.

Мой визит пришелся, я его хорошо запомнил, за два дня до Новогоднего сочельника. Канун Нового Года мы встретили у нас с друзьями. Все эти дни у меня не выходила из головы русская девочка, потерявшаяся в чуждой ей Германии, как в дремучем, неприязненном лесу. Бьет двенадцать. Подняли бокалы. Стали чокаться. Желать друг другу всякой всячины. Еще не допили бокалы, как зазвонил показавшийся набатом телефон. В трубке голос плачущей сестры:

— Приезжайте, доктор, сейчас же.

Комната полна растерянных гостей. Двери в спальню настежь. На постели, в старом платье, в каком приехала из дома, в стоптанных ботинках спала спокойно русская девочка с кроваво-красным кровяным пятном у сердца. На полу валялось скомканное новое платье, купленное ей в магазине и неподалеку выпавший из рук маленький револьвер.

— Револьвер, — сказала сестра плача, — она с собою привезла и скрыла в старом платье. Как стало бить двенадцать она вбежала в спальню, переоделась и вот...

Для чистых сердцем, слова берущих в их подлинном значении, в нашем исполненном лицемерия и лживом мире нет и не может быть места компромиссам. Их муки и сомненья разрешает единственно дарованная людям заботливой природой милосердная избавительница — смерть.

***

Незадолго до фактического восшествия Гитлера на гогенцоллерновский престол и когда alea давно уже неопровержимо сказали свое слово, ко мне позвонил близкий друг и пациент, писа-

тель Сергей Горный, с просьбой прийти к нему в неурочный час по исключительно срочному и важному делу. За чайным столом сидел неизвестный мне, небольшого роста человек с проницательными, темными глазами. Горный сказал:

— Познакомьтесь, это Александр Иванович Гучков, специально приехавший из Парижа, чтобы разведать, что творится в Германии и каковы шансы Гитлера на успех. В Париже нацийному движению не придают особого значения. Я рекомендовал вас Александру Ивановичу, как человека, имеющего широкие связи в медицинском мире. Полагаю, что это будет показателем настроения и других культурных кругов немецкого народа.

— Я охотно поделюсь с вами, — я ответил: — не только своими впечатлениями, но, я сказал бы, опытом относительно политической атмосферы в госпиталях и настроения персонала в отношении нацизма. Около тринадцати лет я состою ассистентом клиники Францисканского Ордена, где мне приходится соприкасаться с культурным цветом германской нации. Последние несколько лет я занят также в больнице для народа St Hedwig Krankenhaus на 200 кроватей, где работают более двадцати врачей. Боюсь вас огорошить, но, чтобы поскорее войти in medias res, занимающего нас вопроса, скажу лишь, что в этой больнице числилось всего два врача еврея; эти врачи давно уже уволены и хлопочут о переселении в Америку. Проф. фон Лихтенберг, возглавляющий этот госпиталь, вернувшись из Парижа, где его чествовали за разработанный им новый метод почечного исследования, по возвращении, на мой вопрос, что представляет собой теперь Париж, ответил при всеобщем одобрении: „Ein schmutziges Loch". Мы встретились с ним взглядом и он отвел свои глаза. Кстати, это не помогло ему скрыть неполноценность своего происхождения с нацийной точки зрения и он вынужден был вскоре искать прибежища в Южной Америке.

Могу засвидетельствовать, что все без исключения врачи этой больницы в качестве S.S. причислены уже к своим частям и на выступлениях фигурируют в соответствующей форме со всеми отличиями нацизма. Больные из народа, в подавляющем большинстве своем социал-демократы в ряде поколений, хранят упорное молчание и несомненно думают о том, за малыми, конечно, исключениями, как понадежнее расстаться со своим прошлым. О незакамуфлированных еще надежно коммунистах можно сказать уже сейчас, что это передвигаются живые трупы.

В клинике Францисканцев положение сложнее. Католики умеют выжидать. Здесь интерес представляют больные, не так давно принадлежавшие к военным, чиновным и правящим кругам Германии. Их смущает, конечно, плебейское происхождение Гитлера, его неблагозвучная, настоящая фамилия и, главное, солдатский чин. Но и они, смею вас заверить, давно уж прими-

рились с этим фактом и скрывают свою приверженность скептическим, будто, отношением к его громогласным заверениям.

Чтобы не обобщать мнений случайных пациентов, представляющихся все же и в массе единичными, я передам лишь ошеломивший меня разговор с очень известным, престарелым немецким писателем. „Гете, — сказал он: — после долгой беседы с Наполеоном в Веймаре, увидел в Наполеоне предвозвестника новой европейской эры и запретил своему сыну включиться в формировавшиеся тогда патриотические отряды сопротивления. Роль Наполеона выпала сейчас на долю Гитлера. Ему предстоит спасти разгромленную, погибающую Германию и одновременно провозгласить „новый порядок“ в нашей запутавшейся, не знающей куда идти, Европе.

И это старый, когда-то радикальный писатель! Чего же требовать от голодающего Michel'я?!..

Хочу еще отметить и особо подчеркнуть реакцию женщин на гитлеровские выступления. Когда по радио раздается сочный, какой-то нутряной и вместе истерически-истошный голос Гитлера, лица у мужчин каменеют, а женщины плачут все навзрыд.

Нужно отдать должное нацийным руководителям. Сейчас, в подготовительный период, разоблачая в печати злоупотребления властей, имевшие место, а больше и чаще всего сочиненные ad hoc, особенно касающиеся евреев, во многом они проявляют еще высшую степень камуфляжа. Но когда гитлеровцы доберутся до власти, а это неизбежно, взрыв будет потрясающий.

Гучков слушал меня, не проронив ни слова. Помедлив, он сказал:

— Очень вам признателен за столь ценные и убедительные факты. В Париже этого не знают или, вернее, знать покуда не хотят.

На этом мы расстались.

⁂

Тянулось время и все чаще выявлялась из подполья, правда, весьма относительного подполья, национал-социалистическая хворь. Друзья не раз уже указывали, что стоило только оказаться на окраине Берлина в полночь, чтобы видеть сотни молодых людей, заполнявших тротуары в ожидании камионов, отправлявших их для военного обучения в близлежащие леса и это, нужно сказать, на глазах у Контрольной Комиссии Союзников.

„Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет и выйдет из него не дело, только мука!“.

После войны 1918 года англичане испугались миллионной армии французов, армии, растратившей свой военный цвет и дух на Марне и в Вердене и всячески тормозили французские по-

пытки сдержать немецкую активность. Американцы, где четверть населения составляют немцы, жалели своих сородичей и старались им, как только возможно, помогать. Сами же немцы систематически и планомерно разрушали свое народное хозяйство, чтобы не платить французам репараций и одновременно из бесчисленных кадров безработных готовили армию для захвата власти и реванша. A rot Front, опора правительства социал-демократов, шагал по улицам Берлина, распевая боевые песни и вздымая к небу кулаки, так нужные в то время социалистам на земле.

***

Не лишнее здесь упомянуть о случае, как нельзя более характерном для способов и путей, какими гитлеровцы пробирались к власти.

В это беспокойное время появился в Берлине необыкновенный человек по имени Ганусек, поражавший и восхищавший публику своими выступлениями в качестве мага с даром безошибочно отгадывать прошлое, как и предвидеть будущее в отношении событий и людей. Издаваемый им астрологический журнал, пользовался исключительным успехом, особенно с момента, когда в очередном номере он предсказал предстоящий приход Гитлера к власти. Гитлеровцы подхватили это предсказание и превозносили его, как если бы это было решение свыше, а Ганусека третировали, как пророка неизбежного нацизма.

Как могло это случиться, чтобы Ганусек, в действительности проявлявший исключительные способности виденья и предвиденья, мог оказаться настолько наивным или вернее невежественным в отношении собственной судьбы? Странная непоследовательность... В очередном номере своего журнала, оказавшемся последним, Ганусек неожиданно объявил, что царство Гитлера продлится всего пять лет... С этого момента никто никогда ничего не слышал ни о Ганусеке, ни о его журнале.

Однажды меня вызвали к больному, которого я встречал у одного из своих пациентов. Это был очень богатый человек, имевший фабрику в Бельгии. Стены его квартиры были сплошь увешены персидскими коврами. Холостяк, он жил с мужской прислугой. Больной жаловался на боли в сердце и казался очень взволнованным. На мои повторные вопросы, не случилось ли что-либо, что могло его так взволновать, пациент долго уклонялся от ответа и, наконец, признал, что действительно его состояние обусловлено неожиданной неприятностью. Прежде чем о ней поведать, он взял с меня слово никому ничего не говорить.

— В одной из квартир этого дома, — сообщил больной, — живет известный всем в Берлине прорицатель Ганусек. С неко-

торых пор он не показывался в обществе. Сегодня я послал слугу взять вино в подвале. Слуга вернулся сам не свой: Ганусек лежал в подвале с перерезанным горлом.

Вот какими путями шел Гитлер к власти!

⁂

Со ступеньки на ступеньку, с минимальными интервалами шел Гитлер к своей цели. Сначала в Рейхстаге в меньшинстве, вслед за этим, в абсолютном большинстве, вице-канцлер, а со смертью Гинденбурга добрался этот покалеченный от рождения человек до звания Führer'а германской нации. Все было решено, все предусмотрено заранее. Точно, как в театре кукол. На сцене герой с карикатурным чубом, кукольным носом и усами à la Charlot, а за сценой густая сеть всяких проводов к военным и промышленным магнатам.

В Германии десятилетиями народ воспитывался на идее, что социализм избавит его от всяких бед и все рассудит. И выступая, Гитлер к национализму на время приторочил социализм. Так, на митинге в одной из своих ранних речей Геббельс откровенно объявил:

— Мы охотно принимаем от капиталистов деньги, нужные порабощенной Германии для организации Армии Сопротивления. Но пусть столь щедрые капиталисты не обманываются: мы не только националисты, но еще и социалисты. Наступит неизменно час и придется капиталистам отдать народу все, что они накопили за века.

И удивительнее всего то, что несмотря на такие перспективы, немцы и даже немецкие евреи с величайшей готовностью откликались на призыв и отдавали государству миллионы.

С гордостью мне рассказывал мой пациент, едва унесший подобру-поздорову из Германии ноги, банкир Goldschmid, что когда за пожертвованием на армию к нему явился Шахт, он тут же заполнил ему чек. Взглянув на чек, Шахт сказал: „echt Goldschmid". На чеке значилась цифра — миллион марок. Глядя с каким удовлетворением несчастный ныне жертвователь об этом вспоминал, можно было подумать, что похвала Шахта все еще стоит для него истраченного миллиона...

Какой поразительный контраст с поведением русских патриотов при призыве большевиков жертвовать валюту на построение социализма; о нем так красочно нам рассказал Лампадин. Но тяга к социализму, понадобившаяся Гитлеру в начале продвижения, не по нраву пришлась его нетерпеливым покровителям. С социализмом необходимо было вовремя покончить: лозунги сопротивления французам должны были задавать тон. И с полковником Ремом и его сторонниками, всерьез помышлявшими о

чем-то вроде социализма, покончено было по-гитлеровски — в одну ночь: все они предательски и зверски были убиты в своих постелях. Теперь дорога шла прямо, без уклонов в направлении мировой войны.

⁂

Описать творившееся в Берлине в первые месяцы гитлеровского лихолетья не просто: подобное, вероятно, творилось в древнем Риме, когда германцы добирались до его пределов. Все было рассчитано на пробуждение у изголодавшейся, приниженной поражением массы звериных инстинктов их далеких предков и, прежде всего, инстинкта разрушения, furor'а тевтонов.

Неистовые орды вышколенных хорошо громил с факелами заполняли по ночам улицы Берлина и, как одержимые, выли и плясали вокруг костров, где сжигались книги, свидетельствовавшие о немецкой, будто бы закончившейся, истинной культуре. Специально сформированные банды врывались в дома прогрессивных деятелей, грабили и убивали. Но этот шабаш был бы не полноценным, если бы не было слогана, придающего этому дебошу высокопатриотическое значение. За таким слоганом в Германии далеко ходить не приходилось. Веками существовавшее там для евреев гетто, где приходилось откупаться за все проявления человеческого существования, создало в немецком народе вкоренившийся рефлекс об обособленности евреев и одновременно их беззащитности. Естественным представлялось, приписав влиянию евреев все выпавшие на долю Германии вековые беды, призвать к их систематическому истреблению, сначала в самой Германии, а по мере продвижения, l'appétit vient en mangeant, в Европе и за ее пределами. Подобный же слоган стал вскоре применяться к славянам — полякам, русским, занимавшим облюбованную немцами территорию. И с какой дьявольской систематичностью и вместе камуфляжем выполнялся этот небывалый в истории геносид!

Уже с первых дней своего восшествия на престол Гогенцоллернов, в роли Фюрера немецкой нации, Гитлер показал, каковы принципы его поведения на этом посту. Вероломное, беспощадное убийство неугодных ему, недавних еще единомышленников, как нельзя более красноречиво свидетельствовало об этих принципах.

Вскоре новый акт, намеренно воскрешавший худшие времена средневоковья, привел в трепет и без того уже запуганную и обездоленную народную массу.

И нужно же было нашей клинике среди своих пациентов иметь печальную героиню этого трагического происшествия.

Как-то collega попросил меня заняться его пациенткой. Срочная необходимость заставляла его покинуть Берлин на несколько дней.

Collega представил мне больную баронессу, молодую, молчаливую даму с грустными серыми глазами. На вечернем обходе, как это обычно для госпитальной атмосферы, мы беседовали уже, как давние знакомые. Узнав, что я русский, участник недавней войны против Польши, больная особенно интересовалась моими военными впечатлениями. Я мог, исходя из своего опыта уже в войну 14-18 года, свидетельствовать свое подтвержденное и недавним опытом, восхищение польками, а о Польше, как таковой, мог особенно вспоминать о польском бездорожье, превышавшим нередко границы допустимого. Такое состояние польских дорог, я объяснял даме, входило в стратегический план русского государства.

Наше общение было слишком коротким, чтобы оставить в памяти заметные следы.

Прошло немного времени, месяца два. Гитлеровские месяцы, сопровождавшиеся настоящими вакханалиями, могли сойти за дни, как и за годы...

Со страхом каждый разворачивал газету, ожидая прочесть там новые славословия бесчинствам и прославления погромов. И вот однажды, взяв газету в руки, я, не веря своим глазам, прочел: „Военный суд разбирал дело баронессы обвинявшейся в шпионаже в пользу Польши. Обвиняемая признана виновной и осуждена на смерть. Приговор приведен в исполнение обезглавливанием топором".

Дальнейшие краткие сообщения газет свидетельствовали, что тело казненной было выдано родным и погребено на кладбище в фамильном склепе. И что уж вовсе было не по времени и, будто, не по заслугам, — за гробом казненной шли близкие и среди них офицеры Императорской армии и даже маршал в форме, что не могло не смахивать на демонстрацию против, если не осуждения, то уж во всяком случае против казни. Семья осужденной принадлежала, как из дальнейших газетных сообщений можно было заключить, к военной знати высшего порядка, и даже Гитлер не посмел надругаться, по своему обыкновению, еще и над телом казненной.

Вскоре стала известна история грехопадения несчастной баронессы. Не деньги, естественно, здесь служили искушением. Вечный враг человечества, все тот же змей-искуситель, предстал перед доверчивой Евой-баронессой в обличье военного агента польского посольства, с которым, как известно, до поры до времени Гитлер поддерживал самые дружественные отношения.

В стратагеме опытного Дон-Жуана покоренная баронесса была, естественно, лишь жертвой, послушно выполнявшей волю своего возлюбленного. Сама же стратагема была скорее смелой, чем хитрой. В специально оборудованной для этой цели квартире баронессы устраивались suprise-parties, на которые приглашались девицы машинистки из Главного Штаба.

В обстановке интимности, приправленной алкоголем, там их встречали молодые кавалеры, понапрасну не терявшие времени.

Все происходившее фиксировалось на пленки, укрепленные в надлежащем месте.

После нескольких сеансов от девиц требовали приносить копии печатавшихся в Штабе бумаг. Строптивым угрожали опубликованием фотографий.

Долго ли, коротко ли таким путем налаженное предприятие работало без заминки вплоть до момента, когда „нашла коса на камень“: когда напоролись на строптивую девицу, отказавшуюся приносить копии бумаг и не убоявшуюся осведомить о творившемся в предприятии свое начальство.

Матерые шпионы, как известно, пользуются, обычно, если не расположением, то во всяком случае, терпимостью властей, но не любители этого опасного искусства и особенно уж не потерявшие себя дамы патронессы подобных Дон-Жуанов. Гитлеру же, естественно, сродни был больше топор средневековья, чем гильотина французской революции.

⁂

После мюнхенского путча в 1923 году, кое-кто из дальновидных немцев не без основания заключил, что в Гитлере они имеют одержимого, который с легким сердцем решится на такие действия, на какие нормальные люди при настоящих условиях не осмелятся пойти. Они и стали просвещать его относительно оков, налагаемых на Германию Версальским договором, а также знакомить со столетними немецкими расчетами и международными упованиями, прежде всего и главным образом в отношении России. Вся преподанная ему мудрость нетерпеливым и понятливым учеником была изложена в написанной им в заключении под руководством Гесса книге. Она и стала Евангелием громил. Но не предрёк ли он в этой книге, того не ведая, свою собственную и своего отечества судьбу?

Возмущаясь злодеяниями большевиков, у которых руки, по его словам, по плечи самые в крови, Гитлер предостерегал государственных деятелей от союза с большевиками, утверждая, что неминуемая гибель уготована стране, которая решится на такой союз.

Угнетаемый мыслью об опасности для Германии войны на два фронта, на чем так настаивали генералы, с легкостью он согласился на коварно, но и вынужденно, в виду поведения союзников, предложенный ему Сталиным союз. Черт связался тут с ребенком... Гитлер желал только быстро справиться на западе и с обеспеченным тылом, а возможно и с союзниками, обрушиться тотчас же на Россию, но увяз на западе больше, чем на год; Сталин, точно выполняя условия договора в отношении нефти и сапог, в доказательство своей лояльности обезоружил прифронтовую полосу и едва не погубил Россию. Потребовались героические усилия народа, не подготовленного к действительно молниеносной такой войне, понадобились гекатомбы жертв, чтобы справиться со смертельной опасностью и одолеть врага. Но, пусть и кратковременный, союз с большевиками, как Гитлер сам и предсказал, оказался для Германии непоправимой ошибкой.

Неизбежная, задолго решенная война с Россией должна была представляться Гитлеру истинным кошмаром. Недаром первый его визит по вступлении в Париж был в усыпальницу Наполеона. Два часа в одиночестве он оставался у гроба, обдумывая, очевидно, допущенные императором ошибки и испрашивая его благословения.

Но вот факт, свидетельствующий об исключительной, болезненной чувствительности Гитлера ко всему, что хотя бы отдаленно напоминало предстоящую кампанию.

***

Задолго до воцарения Гитлера, передовым в Германии почиталось „абстрактное" искусство, переименованное впоследствии van Doesburg'ом в „art concret". Сезанн и Матис, основоположники новых путей в живописи, были предвозвестниками движения, стремившегося оставить перспективу, царившую со времени Ренессанса, и освободить искусство de toute tutelle de la nature. Это движение получило название фовизма, быстро сменившегося кубизмом. Кубизм был великой революцией, по словам Аполлинера, возвысившего живопись с подражания природе до l'art de la création.

По инициативе Кандинского в Мюнхене возникло содружество, именовавшее себя „der blaue Reiter" и объединявшее художников новаторов, искавших для живописи новых путей. Это были, кроме Кандинского, Frank Mark, Maske, Klée. Через этапы фовизма и кубизма уже к началу 1910 года Кандинский приходит к идее „беспредметного искусства".

Идея „абстрактного искусства" зародилась в России. Мале-

вич оставил предметное искусство и свел под именем Suprematism'а, сюжет картины к квадрату или кругу на белом фоне. Впоследствии Малевич все же вернулся к фигуративному искусству. В „Девушке с гребенкой“ — „над жесткой разноцветной конструкцией платья высится нежное, чистое, как жемчужина, девичье лицо со спокойным взглядом темных глаз“, пишет обозревательница Третьяковской Галереи, Антонова.

Глашатаем нового искусства за границей стал живущий в Германии Кандинский. „Квадрат, круг и треугольник сами по себе обладают пластической силой“ утверждает он. „С устранением объекта средства изображения не уменьшаются, а увеличиваются до бесконечности“. И впоследствии снова подтверждал: „Я слишком любил живопись, чтобы затемнять ее предметом“. Это движение встретило на первых порах почти огульное осуждение и насмешки, но нашлись и энтузиасты, провозгласившие новую эпоху в живописи. Первым признавшим это течение был Robert Delaunay. „Здесь“, утверждал Delaunay: „одни краски своей игрой, ритмом, контрастом образуют костяк ритмического развития“. Аполлинер благословил это искусство и признал его важным шагом на пути развития живописи. В выставках „абстрактного искусства“ принимали участие также Braque и Picasso. Центром нового искусства оставалась все же Германия. В Веймаре был открыт Bauhaus, быстро снискавший себе мировую славу. Там поучали и творили художники, искавшие новых путей в живописи, как и адепты новшеств в прикладных искусствах.

Гитлеру все это движение представлялось противоестественным и чуждым. Почитая себя знатоком живописи, он прежде всего разогнал все Weimar'ское содружество. „Абстрактное“ искусство было признано чуждым духу немецкого народа и объявлено запретным. Тем же художникам, кто пожелал бы им заниматься, должно на отвороте сюртука, решил он, нашить ослиное ухо. Художники, скульпторы, архитекторы, составлявшие славу Bauhaus'а, бежали из Германии и рассеялись по свету, всюду очень желанные. Кандинский, перед подобной перспективой, предпочел переселиться в Париж, где много лет еще работал, оставаясь до конца жизни верен абстрактному искусству.

Надежно уложив в прокрустово ложе дикого, нетерпимого нацизма все проявления духовной жизни немецкого народа, оставалось сделать смотр немецким достижениям в живописи.

Стараниями Геббельса в Берлине была открыта выставка немецкой современной живописи. Излишне упоминать, какому строгому и старательному отбору были подвергнуты представленные произведения. Безукоризненное арийское происхождение художника в течение многих поколений разумелось само

собой, но требовался еще и подходящий патриотический сюжет. Ведь фюрер и сам был не без претензий в отношении живописи, как и Вильгельм в свое время. В молодости, желая посвятить себя искусству, он держал даже экзамен в художественную школу, но не был принят. Одновременно с ним экзаменовался еврей, оказавшийся более счастливым. Это, как говорят, и положило начало его звериной ненависти к евреям. У неустойчивых натур реакция всегда несоразмерна с вызвавшей ее причиной.

Открытие выставки было обставлено с исключительной помпой и первый ее обзор в сопровождении всех видных представителей режима, совершил, конечно, Гитлер.

Не спеша, он проходил по залам, с видом знатока вглядываясь в полотна, лишь редко выражая одобрение, что тотчас же отмечалось свитой, и вдруг... Гитлер закрыл глаза, судорожно сжал пальцы рук, стал топать неистово ногами и в исступлении кричать:

— Убрать! Убрать! Немедленно убрать!.. Не хочу, не желаю видеть!.. Убрать сейчас же!..

Картина изображала мирный зимний пейзаж. Гитлер быстро закончил свой обход и удалился, ни на кого не глядя...

Вид снега вызвал ли в его воображении картину, не дававших ему покоя боев под Москвой при температуре —40°, когда, с целью избежать нарекания, русские предоставили швейцарским врачам ампутировать отмороженные конечности у сотен пленных солдат и офицеров? Почудился ли ему занесенный снегом Сталинград, где похоронена была трехсоттысячная армия, как и мечта о тысячелетнем Рейхе...

„Comme c'est beau la neige“, говорит, мы видели, трехлетний парижанин, кому искушения дьявола еще неведомы и кто им не подвластен.

Сцену эту с Гитлером не раз мне описывал Кандинский и прибавлял:

— С Вильгельмом, как и с Гитлером, тоже почитавшим себя знатоком искусства, получилась однажды неприятная история. Трудами директора национального Kaiser Friedrich-Wilhelm музея в Берлине, von Bode, искусствоведа с мировым именем, была устроена выставка картин французского художника de la Croix. Открытие выставки было ознаменовано посещением Вильгельма в сопровождении блестящей свиты. Встреченный у порога директором, Вильгельм торжественно проследовал в музей и со словами: „Da werden wir sehen was der Kerl kann!“, приблизился к картине. Постояв несколько секунд, он обернулся к свите и, смеясь, безапелляционно заявил: „Aber der Kerl hat doch keine Ahnung von der Malerei!“. Стоявший рядом с Вильгельмом, на голову его выше, von Bode, молча смерил только взглядом Виль-

гельма. Вильгельм тут же повернулся и в сопровождении свиты покинул музей. К вечеру von Bode получил или подал в отставку. В точности не помню.

⁂

Болезненная нервозность Гитлера равнялась его-же самодурству. По малейшему поводу он терял устойчивость и давал волю истерии. Но случалось, что „коса находила на камень".

В эти беспокойные годы, одним из столпов немецкой хирургии был профессор Sauerbruch, человек исключительного дарования, виртуозной техники и весьма солидных, нужно думать, нервов. В его клинику в Берлине часто приезжали для стажа русские врачи, восхищавшиеся его техникой, но возмущавшиеся его обращением с ассистентами, почти сплошь профессорами. В беседе с профессором Федоровым, Sauerbruch как-то спросил, довольны ли русские врачи пребыванием в его клинике?

Федоров ответил, что восхищение его работой, можно сказать, равняется их возмущению его обращением с ассистентами. Sauerbruch с удивлением заметил, что он полагал, что грешит скорее излишней мягкостью.

Как-то Sauerbruch получил приказ срочно вылететь к Гитлеру в его берлогу Wolfschanze в Berchtesgaden'е. Дело было зимой. Погода оказалась не́летной. В пути летчик вынужден был спуститься и ждать улучшения, хотя бы видимости. К месту назначения авион прибыл с большим опозданием. На аэродроме профессора предупредили, что Гитлер вне себя. Профессор лишь пожал плечами: особенного впечатления это видимо на него не произвело.

Его провели в небольшую комнату и он, усевшись, стал ждать появления Гитлера. Но на пороге комнаты очутился вдруг не Гитлер, а огромный дог и, судя по его поведению, отнюдь не с мирными намерениями. Положение было бы драматичным, не окажись Sauerbruch еще и любителем и знатоком собак. Когда Гитлер вбежал в комнату, с явной целью спасать перепуганного профессора, он увидел своего дога у ног профессора в состоянии полной эйфории.

С яростью Гитлер набросился на собаку, и избивая ее стэком, повторял: „Никому нельзя верить. Какая вера может быть к людям, когда собаки предают". Закончив экзекуцию, он тут-же оправился и спокойно предложил профессору немедленно вылететь в Турцию, где требовалась его помощь.

Подобные „медицинские" души имели место, к сожалению слишком редко и не могли à la longue, проявить свой оздоравливающий эффект.

⁂

Германия с ее вышколенным, веками приученным к беспрекословному подчинению, народом, сейчас раздавленная и голодная, попала в руки одержимого, настоящего дьявола-искусителя, обещавшего ей все блага мира. Она должна будет пройти весь уготованный ей круг недолгих взлетов и все учащающихся падений.

Берлин с его парадами и бесчинствами все более и более стал походить на военный лагерь. Захотелось покоя, мирной обстановки. Жалко было покидать клинику, поредевших врачей, наших монашек, где я работал в течение 13 лет; нестерпимо больно было оставлять многочисленных пациентов, в большинстве друзей, с которыми до самой войны я поддерживал еще оживленную переписку. Жалко было покидать ставший близким Берлин... Но жизнь стала нестерпимой и по проторенной дороге и я направился в наиболее мирный по тому времени уголок земли в Европе, куда издавна отправлялись все „страждущие и обремененные“, в Париж.

***

Париж меня очаровал, но еще больше поразили парижне. Беспечность французов, их непринужденное веселье, savoir vivre, оставляло далеко позади все то, что можно было себе представить, имея в виду творившееся у порога, по самому соседству. Конечно, восприимчивость нервной системы у человека, как известно, ограничена и повторные раздражения дают все убывающий эффект. Натерпевшись свыше всякой меры в течение войны, на новые страхи пока еще французы не в состоянии были реагировать.

Это завидное состояние духа показалось и нам достойным всяческого подражания. Безмятяжное лицо Парижа бороздили подчас морщинки, вроде демонстрации вслед за нашим приездом у парламента рыцарей Croix de feu, но немного стрельбы, небольшое число убитых и следовавшее за этим быстрое умиротворение не оставляло видимых следов. Когда, обеспокоенный стрельбой, я пожаловался русскому пациенту, не начинается ли что-либо серьезное теперь в Париже, он мне ответил, смеясь:

— Я живу в Париже пятьдесят два года. Мы постоянно накануне революции, но, наученные горьким опытом, „кануна“ этого французы никогда не переступают.

Другой пациент и вовсе был категоричен:

— Революция во Франции? Не верьте паникерам. Во Франции никогда не было революции и никогда не будет!

С такими категорическими заверениями мы решились на шаг, о котором в течение 13 лет в Берлине не приходилось и мечтать:

обзавелись квартирой. Дилемма была не так уже сложна: комнат французы не сдавали; в отеле нельзя было принимать больных. Оставалось снять квартиру, каких было множество на всякие цены: строительство во Франции к этому моменту достигло своего апогея. Омеблировать квартиру и вовсе не представляло затруднений. В нескончаемых залах Hôtel Drouot, где происходят аукционы, при терпении и удаче можно было за гроши приобрести любую мебель, не говоря уж о „Marché aux puces", где рядом с рухлядью продавалась и стильная, дорогая мебель. Словом, в короткий срок мы очутились на положении благонамеренного буржуа: во Франции благонадежность начинается с квартиры. Оставалось ожидать пациентов и очередных, конечно, неприятностей: жизнь эмигранта без волнений нельзя себе представить. Неприятности не замедлили сказаться.

Первым пришло приглашение от налогового инспектора. Небольшого роста, симпатичный старичок, стал сначала собирать апамнез, как это делают врачи. „Откуда приехали? Чем занимались?". Узнав, что я из Германии, он заметил, как бы между прочим: „Что там творится, толком, по-видимому, никто не знает". Этого только я и ждал. Почти в получасовой речи, хоть и несколько коряво, но все же понятно, по-французски, я изложил слушавшему меня со все возраставшим вниманием инспектору всю историю нацийного движения, имеющего одну лишь цель — реванша. Особенно я остановился на последствиях воцарения Гитлера, на нацийных бесчинствах, на их животной ненависти к французам, на лихорадочной деятельности по подготовке армии к войне и закончил категорическим утверждением, что Франция имеет лишь несколько лет для противодействия Германии. Пройдет этот срок, и война станет неизбежной. С уверенностью могу сказать, что одного француза я все же убедил в грозящей Франции опасности, но „один в поле ведь не воин", не говоря уже о том, что это был, увы, не Чемберлен и даже не Даладье... Зато „наше" дело мы уладили в несколько минут к взаимному удовлетворению. Инспектор при расставании долго жал мне руку и даже обещал, что муж его дочери — русский будет мне посылать больных.

Следовавшее за этим другое происшествие меня не на шутку всполошило. Возможно еще себе представить, что в течение активной жизни человек — сознательно или бессознательно — грешит и не знает, что за ним в анналах ведется уже дело, но чтобы одним своим рождением он мог бы нагрешить перед невидимым ареопагом и сам собою возник неведомый ему „процесс", подобного не утверждал и Кафка.

⁂

А дело оказалось просто. Родившись в Ницце и будучи записан в приходо-расходную книгу французского народонаселения, я должен был в 18 лет заявить о своей принадлежности к подданным России, иначе я почитался французским гражданином с обязательством явиться в свое время во Францию для отбывания воинской повинности. Мне лично ничего неизвестно было о подобном заявлении; никаких следов такого предупреждения не оказалось у французов и я был привлечен к ответственности по обвинению в дезертирстве. За это полагалось — несколько месяцев или лет тюрьмы на казенном, естественно, содержании; затем положенная воинская повинность и вслед за этим все французские права человека и гражданина. Друзья и добрые знакомые были до крайности взволнованы подобной перспективой. По их словам, это означало больше, чем на трамвайный билет выиграть в лотерею миллион.

Я не делал себе таких иллюзий, но при своем жизненном опыте допускал вполне, что, отсидев полный срок в тюрьме и отбыв воинскую повинность, окажется, что документ о своевременном отказе будет найден и я возвращусь в первобытное лоно эмигранта. На частых допросах я просил властей не торопиться с заключением и bona fide, утверждал, что мой отец, адвокат, не мог забыть о подобном обязательстве. К счастью, власти не спешили; соответствующий документ был вскоре найден и я остался при почетном, но незавидном звании эмигранта.

Я удивился и обрадовался, когда открывая на звонок дверь, увидел нашего госпитального „завхоза“, с которым немало ночей я провел на фронте в беседах на разные темы и, главным образом, конечно, о женщинах: к „политике“ никакого интереса он не проявлял и к переменам относился явно отрицательно.

Это был молодой, рослый блондин, 30-ти лет, с лицом явно неудавшимся, но с красивыми, всегда наманикюренными руками; разговаривая или куря он имел обыкновение держать их на виду.

Фронтовая связь крепка.

Горячие объятия, восклицания, распросы: „Какими судьбами, надолго ли?“ и ответ скороговоркой: „Я получил ответственное место в Смольном. Забежал лишь на минуту тебя проведать. Сейчас еду с тов. Зиновьевым в Гвардейский Экипаж“.

Придя в себя и сообразив, что все, что я услышал, явь, я мог только сказать:

— Угораздило же тебя... Ну, Цицероном тебя и большевики не сделают. И зачем ты им понадобился, не понимаю.

— Слушай. Пустые разговоры сейчас не к месту. Мы не на фронте. Имей в виду, что я большевик с 1903 года.

— С какого? С 803-го? В таком случае ты действительно великий конспиратор!

Время от времени он звонил, справлялся есть ли спирт и при наличности такового, появлялся, опорожнял запас и исчезал. Солидность и уверенность его росла в той же пропорции, с какой увеличивалась моя сдержанность в отношении известных тем. Жизнь всему научит.

Звонок по телефону.

— Это я.

— Слышу.

— Спирт есть?

— Есть.

— Накормишь?

— Голодным не уйдешь.

— Приеду с приятелем.

— Приезжай.

Я пожимал руку новому гостю, которого мой приятель коротко отрекомендовал:

— Тов. Евдокимов.

Евдокимов, из первых лиц в большевистской иерархии Петербурга. Это был сюрприз, и не могу сказать, приятный.

Среднего роста, широкоплечий, с резкими чертами лица, в пиджаке поверх косоворотки он производил впечатление интеллигентного рабочего. Глаза его были полузакрыты и ноги слушались лишь относительно. Оба гостя были в стельку пьяны. От Евдокимова вроде дым шел.

Жена попросила в столовую. Уселись. Я налил всем водки.

Евдокимов пригубил рюмку и поставил ее на место: душа, видно, не принимала больше. Жена стала потчевать; разговор не клеился; мой приятель, по обыкновению, уплетал за обе щеки. Евдокимов сидел молча с полузакрытыми глазами и каменным лицом.

„Принесла его нелегкая, — подумал я. — Настоящий каменный гость. А вдруг выкинет что-либо по Пушкину...“.

Чтобы нарушить тягостное молчание, я стал рассказывать о происшествии в полку, куда был назначен.

Но вот что-то в Евдокимове произошло, переменилось. Он пересилил, видно, хмель. Я наблюдал за ним. Он открыл глаза, стал рассматривать комнату, как человек, который проснулся в незнакомой обстановке, не понимая, как он туда попал. Он перевел свой взгляд на присутствующих; несколько секунд задержался на моем лице и затем стал рассматривать стол. Я видел, как пристально он скользил взглядом по столу, рассматривая скатерть, свою нетронутую салфетку, сервировку.

Ироническая улыбка скривила его лицо и он, как бы отвечая на собственную мысль, пробормотал:

— Да, мы имеем право вас ненавидеть.

Все молчали. Но когда он, обращаясь ко мне, повторил эту фразу, нужно было как-то реагировать.

— Права ненавидеть вы, конечно, не имеете, — заметил я.

— Это почему? — вызывающе спросил он.

— Потому, — ответил я любезно: — что в „Хартии Прав Человека“, Евангелии революционеров, не значится такое право.

— Ну, эти интеллигентские афоризмы вы оставьте!

Воцарилось долгое молчание. Резким движением Евдокимов отодвинул свой стул, поднялся и зашагал вон из комнаты. Я за ним следом, желая помочь ему. Но он направился в гостиную, расположенную напротив, и закрыл за собой дверь. Крайне обеспокоенный таким необычным поведением гостя, я попросил приятеля заглянуть в гостиную. Он вернулся, обескураженный, а вслед ему неслось:

— Убирайся вон! Закрой дверь!

Фронтовая жизнь приучила к быстрым решениям. Я решительно подошел к гостиной, открыл дверь и замер на месте.

Евдокимов стоял прямо против двери, перед зеркалом трюмо, по тогдашней моде, от потолка до полу. В зеркале я видел его лицо, искаженное мучительным страданием. Это была маска ужаса и муки. Он то взывающе гляделся в зеркало, сжимая голову руками, то переводил свой взгляд на руки, держа их перед собой с выражением отвращения; делая движения, как бы стараясь стереть что-то с ладоней, повторяя:

— Кровь, кровь... Разве нельзя было иначе?.. Не могу... Нет, не могу... Кровь, кровь...

В зеркале я видел свое изображение с головы до ног, подле него. А он не замечал меня, как не видел ничего вокруг.

Я не знал еще, ни что сделаю, ни что скажу. Но передо мной был страждущий и я, не медля, направился к нему. Он заметил меня в последнюю минуту и резко обернулся. Но прежде чем он успел открыть рот, я положил ему руку на плечо и сказал:

— Сколько ночей вы не спали? Вы знаете, я врач.

Он долго молчал во власти своей галлюцинации и, овладев собой, смущенно ответил:

— Нам не до сна теперь.

— Присядем-ка на минутку, — сказал я, желая создать впечатление настоящей консультации. — Вы вероятно полагаете, что человеческая нервная система это род perpetuum mobile. Вы ошибаетесь. Она требует и отдыха и смазки. А знаете, какая смазка лучшая для перегруженного интеллекта? Это я не от себя. Я цитирую вашего батьку, Карла Маркса. После напряженного труда в публичной библиотеке, в Лондоне, придя домой,

он брался за роман, да еще какой, Поль де Кока, и утомление исчезало.

— Ну, Поль де Кок маленько устарел, — заметил Евдокимов, улыбаясь.

— Можно найти другой роман и получше. Вот, например, Бласко Ибаньес. Уверяю вас, действует без осечки. Я на себе проверил, следуя рецепту Маркса. Прочтите его последний роман „Нагая наложница". Забудете про революцию, пока, конечно, читать будете. И эта передышка пойдет вам на пользу.

Он улыбнулся. Лицо его было спокойно.

— Если не забуду, обязательно воспользуюсь вашим советом.

Он встал, посмотрел на часы и сказал:

— Ну, мне пора. Спасибо за совет.

Мы распрощались и беспокойные гости удалились.

Известно, что Евдокимов, жертва партийной распри, был расстрелян в 1937 году. Быть в экипе Сталина и, подобно жене Лота, оглядываться назад, значило подписать себе смертный приговор.

Жизнь во Франции шла как бы по двум непересекающимся дорогам. Внешне тут все было спокойно. Творившееся в Германии доходило до Франции лишь отдаленным отголоском и среднего француза почти не интересовало. Напрасно бывший Председатель Сената в Данциге, избежавший смерти в кровавую ночь, когда сторонники Рема, а с ними и неугодные Гитлеру офицеры были зверски убиты в своих постелях, в своей книге „Hitler m'a dit" раскрывал всю подноготную гитлеровской подлинной мегаломании. Никто ему не верил. Даже „Mein Kampf", евангелие будущих громил, во французском, основательно подчищенном, издании выглядел почти, как книга из „розовой библиотеки".

По тщательно продуманным планам Гитлера французов раньше времени не следовало беспокоить. За линией Maginot, действительно последним словом военной техники, но обрывавшейся на бельгийской границе, французы чувствовали себя в полной безопасности. Хотя Карамзин и утверждал, что уроки прошлого являются ценным вкладом для суждения о настоящем, но недаром сами французы отмечают, что память у них короткая. Они и забыли про бельгийскую лазейку в войну 14 года, вернее, старались о ней не думать.

Если наше пребывание в Германии связано было еще с койкакими, пусть и весьма проблематичными упованиями на вертящееся колесо истории, то переезд во Францию означал, увы, не остановку этого вечно-движущегося колеса, — все в жизни

движется, — панта рей — а наше бесповоротное и окончательное погружение в эмигрантское, призрачное существование. Устраиваться следовало надолго и всерьез. Прежде всего, предстояло закрепить свою связь с наукой. Идти нога в ногу с медициной означало оказаться во всеоружии знаний в момент, пусть и проблематичный, пусть даже и несбыточный момент, когда родина милостиво скажет: „добро пожаловать". Это был долг прошлому. И он маячил, едва лишь видный, урывками, но не угасая. Вопреки очевидности этот долг питал эмигрантское существование, как подпочвенные воды питают корни не желающих погибать растений.

Париж обязывал к ряду действий. Во Франции двери клиник широко открыты и интересующийся может, даже не представляясь профессору, посещать лекции и операции. Я прибыл во Францию с рекомендацией моего немецкого профессора и, представившись проф. Мариону, получил возможность активно участвовать в госпитальной жизни.

Теперь предстояло наладить работу дома. Русских, хоть и не полностью союзников, не до конца войны, французы все же отличали и не препятствовали русским врачам работать среди своих компатриотов.

Лишь теперь, во Франции, соприкасаясь непосредственно с русской эмигрантской массой, наблюдая условия эмигрантского существования, я мог отдать себе отчет, воочию убедиться в ее абсолютной материальной необеспеченности, полном обнищании и в еще большей степени, в ее душевной и духовной угнетенности. Последствием и показателем такого состояния и были акты, подобные ограблению среди бела дня часового магазина и бесцельно нелепое, можно сказать, „больное" убийство Горгулова. На фоне французского благосостояния и беспечности, юдоль эмигрантская выглядела и вовсе нестерпимо незаслуженной и безысходно безнадежной. Печальную повесть о муках русской эмиграции пространно представили здесь уже друзья и я не буду к этому возвращаться.

Я перехожу снова к моменту, когда зловещая тень Гитлера, подобно черному крылу Люцифера, омрачала собою всю Европу. Правители Европы в состоянии маразма позволили Гитлеру безнаказанно присвоить Австрию и Чехословакию и потопить в крови отчаянное сопротивление Польши. Ныне Гитлер испытывал нестойкие нервы французов затянувшейся drôle de guerre, втайне готовя решительный удар. Не оправившиеся еще полностью от ужасов прошлой войны, французы, не в силах действительности глядеть в глаза, цеплялись за любую блажь,

дававшую им хотя бы видимость успокоения. Даже по вопросу, враг ли немец или друг, спешащий помочь французам разделаться с разнуздавшимся левым элементом, не было единодушия. Для одних, по преимуществу ведущих, Гитлер был отнюдь не враг, а чуть ли не Мессия, стремящийся избавить не только Францию, но и весь мир от красной скверны и установить „новый порядок“ на земле.

Для всякого толка социалистов, во Франции их много разновидностей, прежде всего было ясно, что у Маркса нигде не значится, как и утверждал социалист Déat, что французы должны за Данциг умирать. Да и самый социализм был неизбежно скомпрометирован тем печальным обстоятельством, что творец их Евангелия как-никак еврей. Даже красные и те оказались на перепутье. О фашизме Гитлера не могло быть спора, но трудно было решить поначалу, кто из фактических или потенциальных жертв фашизма действительно страдалец, а кто выжидает лишь момента, чтобы с победителем обратиться против своих же инакомыслящих друзей. Красные призывали пока лишь к бдительности и главным образом по отношению к своим правителям, а не к врагу.

Какую мешанину должна была вызывать подобная разноголосица в слабых головах представителей „болота“. В тщетных попытках что-либо понять, масса инстинктивно искала директивы, сглаживавшей противоречия и не обязывавшей вместе с тем к какому-либо действию. Такому умонастроению лучше всего подходила хорошо знакомая русским формула: „Не мириться и не воевать“. Так и решил французский буржуа и... успокоился. И это при немцах ante portas! На большее Гитлер и не рассчитывал...

А наши эмигранты... Как отнеслись они к претензиям Гитлера „ввести новый порядок на земле“? „Трубный глас и клики“ разбудили варившуюся к этому времени в собственном соку российскую эмиграцию. Правда, Гитлер звал пока еще nach Westen, но конечная цель немецких вожделений была известна всем. Загодя и без обиняков пространно об этом заявлял „Mein Kampf“. Это обстоятельство и заставило часть эмиграции, не потерявшей в рассеянии ни головы, ни чести насторожиться и выжидать уже с первых дней „комедии войны“. Другая часть, увы, не малая, в предвкушении столь ими вожделенного похода на восток, благословила начало военных действий. В их от хронического недоедания и возраста разжиженном мозгу — орды насильников, безвинно разгромивших Польшу, превратились в новых крестоносцев, а Гитлер возвысился не то до сына Божия, не то до самого Господа Отца.

Место „сына Божия“ собственно не было вакантно, но Христос, пред кем они с мольбою о возврате им потерянного рая

склонялись и благодарственно кому кадили наперед, увы, матерью имел еврейку и весьма сомнительного голубя отцом. Правоверные россияне не преминули поэтому завести домашние молельни. Там во всех углах красовалась физиономия Адольфа Шильгрубера с усиками à la Charlot, свисавшим на лоб чубом, заместо тернового венца и безумным выражением темных, не арийских вовсе глаз.

Так в атмосфере скрытого и явного предательства, сознательного и бессознательного дефетизма, настороженного недоверия и никчемных словопрений жил Париж все месяцы войны. В ней, как и в организованном противодействии Сопротивлению заинтересованных кругов, тонули безответно призывы и увещания патриотов.

Прошло несколько месяцев и война, теперь уже без маски, как пожар в степи, стала бушевать и шириться на французском фронте. Барьеры на пути к Парижу, казавшиеся непроходимыми, уподобляясь иерихонским стенам, рушились почти без боя, и начался великий по размерам, но особенно по своей бессмысленности, так называемый, экзод.

Обидно было за народ, проявивший в войну 14-го года столько героизма. Обидно было за Париж, город единственный, равного которому не существует в целом мире; город, за долгую свою историю заслуживший вполне упрочившееся за ним название Голгофы и вместе Вавилона.. Этот великий город, многовековой Париж, в прошлом не раз дававший пример беспредельной жертвенности и героизма, ныне покинутый, как агнец обреченный на заклание, покорно ждал решения своей судьбы. И русские эмигранты скорбели о судьбе Парижа едва ли не больше, чем сами французы.

И вот, однажды, хриплый, торжественно-печальный голос диктора повторно сообщил, что через несколько минут передано будет исключительной важности воззвание маршала Петена. Среди завываний, свиста и гудения паразитов раздался еле слышный, старческий, дрожавший голос, возвещавший, что Франция за невозможностью сопротивления капитулировала и должна будет подчиниться условиям перемирия, какие предпишет победитель. Вслед за воззванием раздались звуки, отдаленно лишь напоминавшие Марсельезу. Эту Марсельезу я никогда не мог забыть.

Близкая, неразрывно связанная с русским прошлым, для русского сердца символ дерзания к светлому, к свободе, неповторимая по пафосу и простоте песня храбрых — Марсельеза здесь звучала, как замогильный, как похоронный марш.

По мере того, как сменялись строфы и мысль автоматически претворяла их в слова:

Le jour de gloire est arrivé,
Aux armes, citoyens, formez vos bataillons!

казалось, что это воины, на смерть стоявшие веками за Францию, за свой Париж, заполнили пустынные улицы Парижа и поют свою, такую Марсельезу. Сложившие оружие, живые, не могли, не посмели бы произнести эти слова.

⁂

Поражение Франции в столь короткий срок было, очевидно, и для Гитлера сюрпризом. Свое торжество и радость он не мог сдержать, отплясывая на площади Trocadéro против статуи маршала Фоша, победителя в войну 14-го года.

⁂

Почти пятилетняя жизнь под немцами в Париже неоднократно была уже здесь описана друзьями. Поначалу терпимая, с течением времени, ввиду несбывшейся надежды Гитлера иметь Францию своей союзницей в давно уже разработанных планах наступления на Англию и особенно на Россию, жизнь становилась все тяжелей и безнадежнее. Утверждение Бисмарка, что „сила господствует над правом", Гитлером было дополнено — и „над элементарной человеческой моралью". Смердяковское „все позволено" стало жизненным его девизом. Расправившись с поляками, с евреями в оккупированных им странах, не пощадив ни стариков, ни женщин, ни детей, этот зверь в маске человека попробовал было пробраться в Англию, как волк на псарню, ненароком.

Однажды ко мне направлен был из лаборатории матрос, немец, нуждавшийся во врачебном совете. Я, естественно, напомнил ему о запрещении немецким командованием французским и русским врачам лечить немцев воинов. Матрос возмущенно заявил, что он социал-демократ, что два его брата матроса погибли во время восстания на кораблях в Гамбурге и что с Гитлером у него свои особые есть счеты. Матрос производил очень приятное впечатление, и я исполнил его просьбу и назвал даже врача в Берлине, к кому он может обратиться, имея в виду предстоящий ему отпуск. Вслед за этим у нас завязалась долгая беседа.

Матрос интересовался, может ли Франция принять участие в дальнейших начинаниях Гитлера, имея в виду, что идеи нацизма явно разделяются значительной частью французского народа. На это я мог только заметить, что эта часть, хоть и представительная, но весьма по существу незначительная и никак не

выражает чаяний народа. Трудно было сказать, огорчило ли или обрадовало это объяснение матроса.

В свою очередь я заметил, что ожидаемая английская кампания, видимо, затягивается и неизвестно, когда начнется. На это матрос ответил, что кампания эта началась и тут же оборвалась. Немецкие госпиталя заполнены обожженными, так как англичане встретили подходившие для высадки войска огнем зажженной нефти. Мы расстались, явно довольные друг другом.

⁂

Время шло и французы стали оправляться от вызванного поражением шока и следовавшей вслед за ним апатии. Голод и немецкие парады заставили французов прийти в себя и оглядеться.

Русских же эмигрантов, ожидавших от Гитлера решительных действий к освобождению России, постигло тяжелое разочарование: Гитлер заключил со Сталиным дружественный союз. На первых порах эмигранты растерялись... Но вскоре стали приходить неизвестно откуда исходившие вести, заставившие эмигрантов встрепенуться. Из уст в уста передавались невероятные факты, правдивость коих исключала всякие сомнения. Почти все эмигранты видели открытку из Баку, посланную немецким инженером русскому приятелю в Париже, сообщавшему, что по русско-немецкому договору немецкие инженеры восстанавливают сейчас запущенные большевиками нефтяные источники на Кавказе. Это было лишь начало. Вслед за этим пошли теперь не слухи, а факты планетарной важности. Сталин, оказывается, раскаивается в своих прегрешениях против императорской России. Не смея отмаливать открыто свои грехи в церкви, он доверил это дело любимой своей дочери Светлане. Светлана простаивает на коленях все службы в церкви, вымаливая у Бога прощения своему отцу.

Чем черт не шутит... Доля правды может оказаться и в самой явной лжи, если не считаться с хронологией...

Конечно, евреи, Каганович и Литвинов отстранены от управления, а Молотов, что восхищало особо эмигрантов, записался в нац.-социалистическую партию и за посвящением поехал лично к Гитлеру в Берлин. По существу эмигранты вовсе не были уверены, что все это к добру, хотя беседы с немецкими офицерами, намекавшими на предстоящие события, укрепляли их веру в непогрешимость фюрера.

Игру с Гитлером Сталин уж очень взял всерьез и думал, что поставками на немецкую армию он продолжит ее столько времени, сколько понадобится для пополнения своего вооружения, и это вопреки повторным предупреждениям Черчиля, тре-

вожным сообщениям из пограничных областей и, наконец, вопреки сообщениям перебежчика — коммуниста-немца о готовящемся наступлении. Он упустил из виду, что в игре противник всегда старается захватить соперника врасплох. Вместо усиленного вооружения Сталин увлекся показным смирением и... едва не погубил Россию.

И великим людям свойственны ошибки, но эти ошибки подчас намного превышают даже их величие.

*
**

В ночь на 21 июля 41 года задолго сконцентрированные у рубежа немецкие войска перешли русскую границу. Брест-Литовск, первый русский заслон вглубь страны, специально разоруженный по приказу Сталина, чтобы доказать Гитлеру свою абсолютную лояльность, оказал врагу беспримерное по своему героизму сопротивление и был превращен в развалины. Этот акт военной агрессии потряс весь мир. Загипнотизированные дерзостью и успехами Гитлера, военные авторитеты запада считали почти предрешенным исход и этой кампании. Но не такого мнения был русских народ. Конечно, в создавшейся поначалу панике неустойчивые элементы, а имя им всегда и в нормальной обстановке во всех смыслах — тьма, а тем паче в условиях революционной диктатуры, сочли этот момент благоприятным, чтобы свести счеты с неугодной властью. Да и сам Сталин от шока, по-видимому, нервно сдал и четыре дня находился „в нетях“. Но в виду врага — смерти подобна каждая минута промедления. Не впервой было России свою землю защищать!

Лишенные связи с центром местные силы, где обстановка только позволяла, по собственному почину организовывали сопротивление и отчаянно отстаивали каждую пядь русской земли. У Минска беспрерывные победные реляции заставили себя долго ждать. Смоленск несколько раз переходил из рук в руки, а на подступах к Москве сколоченной in extremis обороной непобедимые доселе немецкие войска были разбиты и отброшены на сто километров назад, с естественной помощью верного друга и союзника России с незапамятных времен — Генерал-Мороза.

Сопротивление русского народа и победа под Москвой помогла французам воспрянуть духом. Интерес к событиям в России был общим и исключительным. Заготовленная немцами карта Европейской России с красочным изображением различных областей и их природных богатств — предмет немецких вожделений — почитавшихся, очевидно, присвоенными еще до их завоевания, лежавшая в магазинах без движения, теперь раскуплена была в несколько дней.

С исключительным интересом и тревогой вся Франция, исключая ничтожное лишь меньшинство, следила за героической борьбой захваченной врасплох, лишь постепенно накапливавшей силы, России и скорбела о продвижении немцев вглубь страны, понимая, что на русских полях решается и собственная ее судьба.

А русская эмиграция... В своем ослеплении значительная ее часть упорно от Гитлера ждала спасения и сообразно с этим, кто добровольно отправился в Германию ковать оружие против своей страны, а кто с немецкими войсками вошел в свою страну освобождать от русских для Германии Россию. Немногие из них вернулись с поля; многим из этих горе-патриотов черный русский ворон выклевал их ненавистью, а больше недомыслием ослепленные глаза. Но были и такие, кто стал под знамена французской армии, а позже присоединился к резистантам. Душой и мыслью эти люди были со своей страной, тяжело переживали превратности и неудачи начала военных действий, как и безмерно радовались последующим успехам.

Беспримерная по своей жертвенности защита Сталинграда и следовавшая за ней победа, как громом поразившая весь мир, невольно исполнила гордостью сердца русских эмигрантов за свой, давно покинутый народ, за великую свою страну, представлявшуюся им еще не так давно слабой и беззащитной. В Сталинграде вместе с многотысячной армией похоронена была и слава немецкой непобедимости. Это был поворотный момент всей кампании. Предстояло теперь освободить от захватчиков, добравшихся до Волги, до Кавказа, окопавшихся у Ленинграда, добрую треть страны. Много пролилось еще русской крови. Пядь за пядью приходилось очищать занятые территории от упорно сопротивлявшегося врага. Но забравшимся вглубь России, самонадеянным немцам, предстояла теперь не врасплох застигнутая армия в Брест-Литовске, в Минске, а могучая, закаленная в боях, снаряженная всем необходимым, под командой не по чину лишь, а по заслугам, маршалов, подобных героям французской революции, движимых одной лишь мыслью: смерть захватчику врагу. И под непреодолимым натиском лавиной обрушившихся на неприятеля дивизий, подобно преследуемому зверю, ощетинясь и огрызаясь, медленно, но неизменно отступали немцы из русской земли, которую они считали уже завоеванной, своей, отступали вплоть до рубежей и дальше по своей земле, вплоть до логова звериного — Берлина.

Беспримерно и бесславно в десять лет изжил себя „тысячелетний“ рейх. Фюрер, уже при жизни живой труп, покончил сам с собой и, как падаль, труп его сожгли сообщники. Вся правящая шайка, по решению международного суда, подобно убийцам с большой дороги, нашла свое возмездие на виселице.

Но содеянный гитлеровцами в Европе беспримерный génocide, навечно останется в памяти людей, как печальный и трагический пример возможности возврата современного нам человека к морали пещерного века.

*
**

Ценою неисчислимых жертв и сверхчеловеческих усилий в течение долгих лет изжили люди лихолетье. Рассеялся фашистский смрад и воздух стал снова годным для дыхания. Героическая эпопея великой и в полном смысле слова отечественной войны напомнила всем эмигрантам, повелительно напомнила о родине, о родной земле и потянуло бесприютных, без будущего на чужбине россиян, на места родные, на родные, по вине фашизма, пепелища. Распродав убогие пожитки, тысячами стали покидать непрочные, хоть и насиженные свои места во Франции, русские эмигранты. Уезжающие отдавали себе хорошо отчет, что жизнь в России очень трудная, в развалинах страна. Стремление внести хоть и запоздалую, но все же свою лепту в дело восстановления России, оправдывало и увеличивало эту тягу. Ясно было, что прошлым бесконечно жить нельзя; что настоящее и будущее для русского интеллигента связано единственно со своей страной.

*
**

Расскажу теперь о встречах с добровольно или вынужденно покинувшими родину выдающимися русскими людьми, с которыми, как врачу, мне пришлось столкнуться.

Одним из первых таких моих пациентов был композитор Глазунов Александр Константинович. Тяжело больной, он сохранял полностью ясность мысли и особенно, вовсе не свойственную обычно таким больным, беспечность и добродушие. Далеко зашедший почечный склероз с большим количеством мочевины в крови означал, по тому времени, конечную стадию долгого почечного заболевания с неизбежным фатальным исходом в недалеком будущем. Больной, однако, не только сохранял удовлетворительное общее состояние, но, настроенный оптимистично, не докучал врачу вопросами о своей болезни и охотно беседовал на темы отнюдь не медицинские. Он беспрекословно подчинялся врачебным предписаниям, весьма сложным в его состоянии, но, со своей стороны, требовал от врача уважения к усвоенным им издавна привычкам и послужившим, очевидно, причиной его заболевания. Главным из этих обыкновений было неумеренное потребление им алкоголя. На расстоянии его руки, на столике находилось главное его лекарство, дававшее ему чувство эйфории — бутылка коньяку и он ad libitum делал из него

пусть и умеренное теперь употребление. Не было смысла лишать его этого средства в момент, когда единственно речь могла идти об утолении его страданий.

Из наших недолгих бесед прежде всего сохранилось у меня в памяти сообщение об имеющемся в Лейпциге фонде имени Беляева для издания произведений русских композиторов, а также и вспомоществования нуждающимся русским музыкантам. Председателем „Попечительного Совета", заведывавшего этим фондом и был Глазунов.

Следовавшие тяжелые десятилетия изгладили из моей памяти содержание, повторяю, наших случайных бесед, но я хорошо запомнил рассказанный однажды, в момент эйфории, красочный эпизод о совместном путешествии на Кавказ с Шаляпиным. Глазунов в сопровождении, не помню фамилии попутчика, отправлялся на Кавказ. На одной из станций, вероятно по уговору, в вагон вошел Шаляпин и присоединился к их компании. В купе, проверяя билеты, появился проводник и попросил у Шаляпина билет. Шаляпин поднялся во весь свой рост и трагическим голосом обратился к проводнику:

— Ты о каком билете говоришь? При чем тут билет... Несчастный, ты знаешь, к кому ты обращаешься? — И все подымая голос и делая движение, как если бы он закатывал рукава, готовясь к расправе, закричал: — Чур тебе, чур! Брысь!..

Проводник в страхе захлопнул дверь купе и, удаляясь, закричал:

— Контролер придет, ответите...

В купе было слышно, как проводник жаловался контролеру, и на вопрос контролера:

— Кто же они такие?

Ответил:

— Видать борцы. На ярмарку едут.

Трогательно опекала больного находившаяся при нем неотлучно дама с дочерью, ее фамилию я, к сожалению, забыл. Так, без страданий, в состоянии полузабытья, угас на чужбине один из столпов русской симфонической музыки.

После смерти Глазунова руководство этим фондом перешло к Фоме Александровичу Гартману, прекрасному пианисту и талантливому композитору, создавшему, между прочим, цикл произведений на тему пушкинских стихов: „Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной".

Фома Александрович, бывший офицер Лейб-Гвардии Конного Полка, попав за границу, посвятил себя всецело музыке. Он часто выступал в Париже со своими произведениями, аккомпанируя

панируя своей жене, певице. Он был на редкость симпатичный человек. Имение его родителей находилось вблизи Бердичева. Его мать не пропускала ни одного спектакля еврейской труппы, когда труппа появлялась в Бердичеве и всякий раз брала с собой сына. Еврейский жаргон был для него вполне понятным языком. Это обстоятельство, возможно, не прошло бесследно и для его творчества. Он вскоре уехал в Соединенные Штаты и руководство фондом перешло к Владимиру Ивановичу Полю.

***

Поль, окончивший естественный факультет и одновременно Киевскую Консерваторию со званием „свободного художника“, был человеком исключительной интеллигентности, как и исключительного музыкального дарования. Он является автором многих романсов на слова Тютчева, Майкова, автором сонат, ряда этюдов, вальсов.

Поль прожил долгую и очень деятельную жизнь в тесном соприкосновении с современными ему музыкантами и писателями. Он неоднократно посещал Льва Толстого.

Со слабыми легкими, в постоянном стремлении укреплять свой организм, он строго следовал учению иогов, с целью подчинить физиологию тела влиянию духа. Он имел славу мудреца, побывавшего в Индии и набравшегося там особых знаний.

Согласно установленному ритуалу, он совершал многочасовые ежедневные прогулки, особенно при наличности у него температуры, легко одетым, хотя бы и зимой, в мороз; свои болезни, не говоря уже о недомоганиях, он лечил, не прибегая к помощи врачей — постом и маршем. Говорили, что неожиданного посетителя могла поразить картина Поля, стоявшего подолгу у стены на голове. Но не слабые легкие, а медленно развивавшееся почечное поражение, выявившееся после случайного аксидана, несмотря на упорное сопротивление организма, свело его в могилу. Он любил рассказывать о виденном и пережитом. К сожалению, лишь немногое из слышанного осталось в моей памяти. Особенно интересной является история ссоры Толстого с Тургеневым, имевшая место в доме его отца. Дело шло об инциденте на охоте, закончившемся вызовом Толстым Тургенева на дуэль. Согласно его рассказу, Тургенев был сильно удручен подобной перспективой, тогда как Толстой настаивал на дуэли. Отцу Поля с трудом удалось их помирить.

Одновременно с Глазуновым появилась на моем врачебном горизонте Надежда Александровна Тэффи, с которой я не расставался в течение многих лет вплоть до последней минуты ее жизни. По „Синему Журналу“ в Петербурге мне знакома была

живая, остроумная, с тонким юмором, молодая писательница, писавшая под псевдонимом „Тэффи“ — имя одного из героев Киплинга. По переселении в Париж я получил ряд звонков от незнакомых мне людей, в большинстве писателей, свидетельствовавших мне свое почтение. Все они, оказалось, получили пространные письма, какие крупным, характерным своим почерком умел писать Сергей Горный, превознося мои таланты и усиленно рекомендуя меня им, как врача. Так началось мое знакомство с Тэффи, получившей от Сергея Горного императивное послание сейчас же позвонить мне и заручиться моим согласием опекать ее здоровье.

Тэффи, не нуждавшаяся во враче, восприняла, по обыкновению, комическую сторону этой рекомендации и пригласила меня, оказалось, на вечеринку, где не я демонстрировал свой лекарский талант, а Тэффи весь вечер занимала меня историями, не всегда лестными, про врачей и распевала песенки под гитару, ее собственные слова и музыка, пользовавшиеся большим успехом и позволявшие ей существовать во время пребывания в Константинополе, в эпоху бегства из России.

С подвижным, умным, озаренным как бы изнутри, лицом, с подкупающей улыбкой и смеющимся, с огоньком, выражением глаз, Тэффи очаровывала. В ее присутствии собеседник мог быть уверен, что от проницательного ее взора не ускользнет ни одна характерная черточка его обличья, особенно дающая повод посмеяться, но отнюдь не горьким, обидным, а дружественным, почти сочувствующим смехом. Способность Тэффи за казалось бы случайными, смешными жизненными актами эмигрантского существования усмотреть скорбящую душу обездоленного человека, составляло характерную черту ее таланта. Русская эмиграция в Париже нашла в Тэффи своего печальника, беспристрастного бытописателя и благожелательного критика, запечатлевшего в своих скетчах, рассказах, по преимуществу комические, а по существу трагические черты ее незавидной жизни на чужбине. С исключительной любовью, с незаурядным глубоким пониманием относилась Тэффи к животным. Казалось, особое чувство связывает Тэффи с кошками и собаками и многое для нас сокрытое являлось для нее открытой книгой. Уже общение ее с собственными ангорскими кошками поражало друзей.

В подаренной мне Тэффи ее книге „Все о любви“, где любовь к животным и исключительное их понимание нашли полностью свое выражение, посвящение гласило: „Здесь все о любви; чего не найдете, ищите в „Темных Аллеях“ Бунина“.

В рассказах Тэффи, смеется ли она над глупостью, возмущается ли она, клеймит ли пошлость своих героев, всегда за каждой строчкой, за острым словцом чувствуется грусть боль-

шого сердца. „Прекрасный город, но ке фер, фер-то ке?..“ говорит генерал, очутившийся в Париже. Разве это не сродни: to be or not to be для эмигранта?!

Да, здесь не до смеха... „Жизнь бьет ключом... по голове“ вспомнишь и хочется всплакнуть, по себе ли или по милой, все понимающей и так глубоко чувствующей Тэффи. А дети в ее писаниях... „Сокины сыны“, говорит мальчик, видя, что гостья съела обещанное ему матерью пирожное.

Темы для писаний Тэффи часто черпала непосредственно из столь многосторонней эмигрантской юдоли. И тем было не занимать стать... Но все же, в поисках острого словечка приходилось подчас забираться и в... чужие огороды.

Однажды, ожидая своей очереди у меня в гостиной, Тэффи увидела даму, обращавшую на себя внимание классической красотой своего лица. Войдя в мой кабинет вслед за этой дамой, Тэффи, смеясь, осведомилась, чего может не хватать еще такой красавице. Под свежим впечатлением я тут же пояснил ,что красавица недовольна своей грудью и нашла хирурга, взявшегося ее грудь исправить. От меня требовалось лишь засвидетельствовать здоровье дамы, что я с восхищением и сделал, не упустив прибавить, что и грудь ее, пусть и не девственная, так же прекрасна, как все прочее и я не вижу оснований для вмешательства хирурга.

Красавица на это скромно возразила, что всему виной частые землетрясения в Южной Америке, откуда она родом. Муж ее дипломат и все ее знают. Приходится по тревоге выбегать на улицу в чем мать родила, и она считает, что после родов грудь ее laisse несколько à désirer.

По воскресеньям в русской газете Тэффи забавляла читателей своими остроумными фельетонами на эмигрантские темы и на сей раз, взяв в руки газету, я убедился, что фельетон был налицо, но какого содержания! Весь эпизод, начиная от „весьма популярного среди русской эмиграции врача“ и кончая „красавицей из Южной Америки, женой дипломата“ в точности был на своем месте, землетрясения включая... Могу сказать, что аппетит у меня пропал. Чего я, конечно, не считал нужным Тэффи своевременно сообщать, что привела эту даму ко мне русская сестра и что круг знакомств этой дамы в Париже включает много русских.

Не успел я дочитать фельетон, как зазвонил телефон. Звонила, конечно, русская сестра милосердия, сопровождавшая красавицу ко мне. На вопрос:

— Вы читали?

Я мог только тяжело вздохнуть:

— Читал.

— Тэффи, конечно, решила, что дело идет об иностранке,

каких в Париже пруд пруди, — возмущалась сестра, — но это дама большого света, жена дипломата. Это непростительно. Ваше счастье, — переменила тон сестра, — что дама сейчас в клинике и ей не до писаний Тэффи. Доктор, я присутствовала на операции и думаю, что получилось непоправимо плохо: один сосок почти у шеи, другой на животе. Это катастрофа. Может быть, вы позвоните хирургу? Вот его телефон.

Хирург мог только недовольно промычать, что он всячески отговаривал даму делать операцию, но дама заставила его. „Придется еще раз оперировать", заключил он разговор.

Вопреки заявлению хирурга, не пришлось вторично оперировать. Красавица по возвращении из клиники предоставила револьверу поставить окончательную точку на покалеченной своей груди.

Мы часто позже вспоминали с Тэффи этот трагический эипзод. Он был уроком для меня, несомненно и для Тэффи и особенно, нужно думать, поучителен для нестойкого хирурга.

Переживания военных лет содействовали появлению у Тэффи поначалу редких и легких, с течением времени становившихся все более длительными и тяжелыми сердечных припадков. Это заболевание требовало спокойной жизни, но Тэффи была не только писательницей, но и артисткой. Выступать, читать перед так понимавшими и ценившими ее почитателями свои рассказы, разыгрывать скетчи было ее страстью. Не раз с морфием наготове я сидел в публике и в вынужденном антракте должен был ей делать впрыскивание, чтобы она могла закончить свое выступление. Тэффи отдавала себе хорошо отчет, что означали и чего требовали эти повторявшиеся боли в сердце, но это нисколько не удерживало ее от выступлений и не огорчало. Со смертью она сжилась, как с давним неизбежным другом. С особым удовлетворением и охотой она декламировала свое стихотворение, изображавшее ее в гробу в белом платье с алой розой на груди и всеми атрибутами мира и покоя. Я находил ее всегда одетой и тщательно причесанной, как и в последний раз за несколько минут до смерти. Она лежала с почти неизменившимся лицом, с алой розой на груди, слегка, будто, улыбаясь.

С Буниным мне пришлось столкнуться в последние годы его жизни, когда активная пора его деятельности, как писателя, была давно уж позади, и итоги богатой переживаниями и долгой жизни напрашивались сами собой. Не таков был Бунин, чтобы кому-либо доверить свои мысли или, паче чаяния, соборно исповедаться. Следовало лишь видеть, с каким неприступным выражением лица лежал этот академик, лауреат Нобелевской

премии, в небольшой, запущенной комнате, обогревавшейся примитивной печкой, на неприбранной постели в заношенном пальто и шапке... Соответственно выражению лица был и голос, генеральская манера говорить, исключавшая всякую интимность. Громогласное „Вера" — время от времени гулко раздавалось, как команда, в большом коридоре почти пустой квартиры. На зов являлась Вера Николаевна, с лицом покойницы, давно уже отдавшей всю себя требовательному своему супругу. Само собою разумеется, что врачу здесь предлагалось только покалеченное временем и переживаниями тело, а нутро, духовный мир, оставался за семью печатями.

Бунин страдал от немощей, связанных со старостью, не столько угрожавших жизни, сколько отравлявших существование, из коих наиболее существенной являлась анемия, вызванная повторными кровотечениями.

Бунин пришел в литературу с забралом дворянина „печального образа", певца дворянского запустения и свидетеля беспросветной крестьянской жизни, не внушавшей ему никакой симпатии. Он пришел в литературу с присущей ему речью и складом, какой нельзя не назвать „чеканным". Я хорошо запомнил свое впечатление от „Деревни", прочитанной мной впервые еще студентом. Подобного мощного, музыкального стиля ни у кого из русских писателей не найдешь!

Отпрыск обедневшего, старинного дворянского рода, Бунин называл себя „вольнодумцем", равнодушным к своей голубой крови, но революция разбудила и обострила кровно присущие ему чувства „барина" и переворот в России он отверг, как бунт рабов.

Бунину не было пятидесяти лет, когда отрицая революцию, не признавая узурпаторов-большевиков, воинствующий эмигрант, он очутился заграницей с большим запасом мыслей, планов, впечатлений от поездок в страны востока и этого запаса ему хватило на много лет.

В историю русской литературы Бунин вошел, как „лучший стилист современности", как „первый поэт наших дней", так оценивал Горький творчество Бунина.

Нобелевская премия увенчала эту пору его деятельности, и не надолго обеспечила его существование: значительную ее часть поглотила вскоре биржа.

Бунин последних лет — это, главным образом, „Темные аллеи" и „Дневник". В „Темных аллеях" увядшие силы нашли свою вторую молодость. Увы, один, два рассказа достойны пера Бунина, остальные на любителя.

Тэффи рассказывала, что один очень почтенный эмигрант, увидя свою дочь за французским романом ,стал ей выговаривать, утверждая, что хорошему она там не научится, а вот новая

книга академика Бунина остается непрочитанной. Послушная дочь тут же забралась в „темные аллеи“ и, прочитав, предложила ознакомиться с ними отцу. Отец, по словам Тэффи, грозил даже убить Бунина, по-видимому, не соглашаясь с неким критиком, считающим, что эти новеллы „светятся душевной чистотой и нежным целомудрием“. В „Воспоминаниях“ Бунин обнаружил, что он ничего не забыл и ничему не научился. Характеристика Ленина достойна пера Пуришкевича. Но где политические страсти у кормила, там рассудку места нет. Ныне это были лишь сполохи не забытой, так и не улегшейся еще обиды за покалеченную на чужбине жизнь.

Наше короткое с Буниным общение оборвалось вдруг, так как я вынужден был покинуть временно Париж.

Хочу еще сказать о Сергее Маковском, с которым меня связывала долголетняя дружба. Знакомство наше началось в беспокойную пору, когда Париж находился под пятою немцев. Сергей Константинович обратился ко мне с тяжелым и запущенным заболеванием, требовавшим немедленного хирургического вмешательства. В этот момент я мог по достоинству оценить силу его характера и уменье владеть собой. В беде это обстоятельство всегда немаловажное подспорье! Операция прошла благополучно. До самой своей старости, а он не однажды был болен и болен тяжело, но никогда в связи с этим опасным заболеванием. Если бывают пациенты, опровергающие законные прогнозы врачей, то это был Маковский. Он не раз обманывал не только врачей, но даже медицину. Худой, высокий, с правильными чертами интеллигентного лица, с подкупающей улыбкой он привлекал к себе, сам оставаясь всегда сосредоточенным и отдаленным. За границей к моменту нашего знакомства, он отошел от семьи, отдавшись всецело творчеству. В скромных комнатах, в одиночестве, он творил, переживая снова „Серебряный век русской поэзии“, с которым он непосредственно соприкасался, будучи его участником и вместе историком, как редактор „Аполлона“.

Задолго до взрыва 17-го года русская интеллигенция не оставалась равнодушной к подземным толчкам прорывавшейся к жизни революции. В своем беспокойстве по-разному реагировали, мы видели, различные круги на собиравшиеся грозовые тучи: одни дебошами и кутежами, другие вольнодумством в ресторане „Вена“, но были и особо умудренные среди интеллигенции и духовенства, искавшие выхода из создавшегося тупика, подобно Кандинскому, в примирении сферы земной с потусторонним миром. Цвет русской интеллигенции, они собирались в Обществе

„Религиозно-философских Собраний“ и лейт-мотивом этих заседаний было утверждение, что „в церкви заключается не один лишь загробный идеал. Настало время открыть сокровенную в христианстве правду о земле, дабы все небесное и земное соединить под главою Христа“.

Два года продолжались эти собрания, названные Мережковским „поразительным недоразумением“. „Духовенство не верило в искренность обращавшейся к нему интеллигенции, а интеллигенция недостаточно созрела еще, чтобы предпринять что-то вроде реформы для углубления православия“.

Сочной кистью, на большом полотне, ярко и убедительно изобразил Маковский мыслителей, поэтов и писателей, корифеев предреволюционных лет, начиная от Владимира Соловьева, как и участников „Религиозно-философских собраний“, чувствовавших приближавшуюся грозу, страдавших по мятущейся в лихорадочном ознобе России и искавших убежища в туманных, потусторонних сферах, в уходе от жизни. А жизнь, то, чем живет человек, это было предоставлено, очевидно, Ленину. Свои иллюзии кой-кому из них пришлось болезненно изживать потом уж за-границей.

„На Парнасе Серебряного века“ — это нерукотворный памятник этим годам и людям. Говоря о Маковском нельзя не отметить выдающуюся его роль в причащении России к новым путям в области искусства. В своих книгах „Страницы художественного критика“ он явился предвестником новой эры в русской эстетике и культуре. Позже „Аполлон“ стал важным руководящим органом „Серебряного века“. Он вызвал интерес к русской иконе.

Свои интимные переживания Маковский поверял своей музе поэзии. Периодически появлялись небольшие книжечки его стихов, отражавшие его мысли о цели жизни, о назначении человека на земле, о его связи с космосом. Размышлениям на эту тему он неизменно предавался в последние годы его жизни.

Паскаль считал, что человеку дано лишь искание истины и Маковский всю жизнь эту истину искал. Больной и одряхлевший, он жаловался, что более двух часов кряду не может работать. За несколько часов до смерти он, поев, тщательно вымыл посуду и прилег. В жалкой комнатушке, в полном одиночестве, внезапно угас этот свидетель и деятельный участник „Серебряного века русской поэзии“.

***

Увы, друзья, для нас на склоне жизни пути на родину заказаны. Мы были бы обузой для страны, безмерно отягченной восстановлением вызванных войною разрушений. Но целью нашего содружества являлось и остается оказание помощи самим

себе в деле причащения к жизни и упованиям нашего народа. Мы честно выполнили взятый на себя обет „катарсиса“. Каждый из нас не утаивая, извлек из сознательных, как и подсознательных своих глубин все то, что так или иначе определяло до наше встречи его суждения, его надежды. Подобно друзьям и я представил жизненный свой путь на суд содружества. С чувством верующего, с жаждой новообращенного, как бы прозревши — и я включаюсь ныне в поставленную нами себе задачу: „раскопать правду о положении на родине и о чем действительно помышляет наш народ“, как определил ее наш председатель. Подобно Егорию Аверьянычу и я скажу: „Наш дух, пусть и заштатный, еще активен“. Поставленная нами себе задача осмыслила наше существование, всех нас омолодила. Больше мы — не затерянные на чужбине эмигранты, не знающие, чем заполнить бесцельный, так быстро уходящий день, а члены, звенья налаженного крепкого Содружества, стремящегося в своих исканиях к правде, к свету. Слава „Клузарусину“! Да будет успешным наше начинание! Прошу и мои „правдивые сказания“ включить в архив Содружества.

— И ваша столь богатая переменами, переживаниями жизнь, дорогой Алексей Семеныч, красноречиво свидетельствует о том, как жалок и неустойчив утлый челн эмигранта. Сколько нравственных сил, о физических я уже не говорю, требуется эмигранту, чтобы не потеряться в чуждых водах, не опуститься, не позволить челну плыть „по воле волн“. Много исходили вы дорог и в разных странах, но родные колеи, как вы их оставили, всегда были с вами. И вот теперь, пусть только мысленно, все мы снова сейчас уже не на колее, а на большой дороге, ведущей к родине. По ней мы сообща пойдем, не сворачивая нигде в пути... По дороге к правде, к свету.

Поблагодарим хозяев за радушие. Следующее, наше последнее подготовительное заседание в урочный час и день.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

На сей раз задолго до начала заседания все члены „Клузарусина“ были в сборе. За трапезой стало известно, что слово попросит „Третий Рим“, Алексей Кириллович Харонин. С предстоящим покаянным выступлением Алексей Кирилловича период „катарсиса“, очищения тайников души проветриванием на миру, приходил к концу. Прекращалось ковыряние в собственной и ближнего душе и взоры очистившихся обращались не во внутрь, а во вне и прежде всего к творившемуся и творящемуся на просторах родной земли.

О прошлом Харонина немногое было известно и, в предвкушении интересных откровений, трапеза прошла с особым оживлением. В урочный час Безладный объявил девятое очередное заседание „Клузарусина“ открытым. Слово было предоставлено Харонину.

— За прошлым эмигранту далеко не приходится ходить, — начал свою речь Харонин. — Оно подобно блеклому, нудному мареву степному и все, что разнообразит мертвящее однообразие степи, хорошо приметно и запоминается надолго и всерьез.

Начинается прошлое у эмигранта с момента изгнания из рая. Существование до изгнания ,по мере того, как эмигрант стареет и мозговые функции ускоренно сдают, представляется все менее реальным и все далее уходит вглубь веков.

Для стариков повсюду, как о том свидетельствует Гете, „Was verschwand, wird... zur Wirklichkeiten“ (Исчезнувшее становится реальным)... Для эмигранта же память о родине с годами становится все менее приметной и то, что именовалось некогда Россией, уподобляется под конец мифическим Эдену, Эльдорадо или затонувшей Атлантиде. Понятны мои затруднения при попытке вспомнить о своем происхождении. Я родился, по-видимому, в Харькове. Впоследствии, по утверждению Ллойд-Джор-

джа, я слышал, Харьков, кажется, из города преобразился в генерала. (Всяческие метаморфозы впоследствии имели место). Я родился до этого превращения, очевидно, в семье врача. Учился на естественном факультете, с намерением перейти затем на медицинский и сделаться врачом. Отец, призванный в армию и моя мать находились в Минске. С Февральской революцией мои родители справились с трудом, а Октябрьскую не переварили вовсе. В момент занятия Минска немцами вся семья в начале 1918-го года отбыла в Варшаву, в столицу вновь народившейся, свободной Польши.

В „свободной“ Польше хозяйничали немцы. Положение русских получилось двусмысленным вдвойне. Поляки тут же принялись за государственную чистку и русские оказались под подозрением вообще: кто в сочувствии большевикам, а кто и в приверженности к „Великой, Неделимой“. Вскоре начальником провозгласил себя Пилсудский, социалист, подобно Сталину, налетчик и принципиальный ненавистник русских. В войну 1914 года он командовал польским отрядом на Германской стороне и будущее Польши налаживал в союзе с немцами. „С Германией“, говорил он: „мы рискуем потерпеть материально, а с русскими мы можем душу потерять“.

Без вины, выходит, виноватые, русские старожилы чувствовали себя теперь на положении непрошеных гостей, а для вновь прибывших, спасавшихся от голода и диктатуры, хлеб чужбины, хоть и в изобилии, горечь свою обнаружил с первых эмигрантских дней.

Немцы смылись. Кончилась война. Польша оказалась облагодетельствованной Версальским договором. Нити управления страной на время перешли к французам. Достаточный повод, чтобы немцы возненавидели поляков и стали искать сближения с Москвой. Дальновидность Пилсудского и его последователей, как обнаружилось впоследствии, явно не простиралась далеко вперед.

Для упорядочения положения и защиты русского в Польше меньшинства в Варшаве образовался „Русский Комитет“. Членом его был мой отец. Деятельным членом его был также друг отца, бывший Виленский губернатор, Д. И. Любимов.

Запомнилось мне, как часто Любимов вздыхал о превратностях судьбы. В свое время члены П.П.С. под командой Пилсудского устроили „экспроприацию“ в Вильно. Пилсудский скрылся. Ежедневно на докладе Любимов-губернатор спрашивал полицмейстера:

— А Пилсудского все еще не нашли, еще скрывается?

— Дайте срок, Ваше Превосходительство, — неизменно отвечал полицейский Цербер. — Я вам этого бандита уж представлю.

„Русский Комитет“ представлялся Пилсудскому и Любимов вспомнил полицмейстера. Представление получилось, но не так, как предполагали в свое время власти. „Как превратна коварная судьба“, часто повторял Любимов, а за ним и мой отец, оба раздумывая о переселении в Берлин.

Нельзя сказать, чтобы выбор Польши в качестве убежища от революционных гроз свидетельствовал о нашей дальновидности. Русская революция расшатала политические скрепы и более прочно слаженных государственных устройств. А революционный возбудитель следовал ведь за русским беженцем повсюду, как если б по пятам. В Польше социальные противоречия давали себя сильно чувствовать. В Варшаве не прекращались забастовки. Демонстрации проходили с лозунгами, не отличавшимися по существу от русских. Имущие слои, с помощью теперь французов, с трудом удерживали бразды правления в своих руках. Правительства сменялись. Необходимо было отвлечь внимание народных масс от неурядиц и трудностей режима. Для этой цели существует испытанное, издавна знакомое всем правителям средство — война.

В начинавшей едва лишь опериваться Польше заговорили вдруг о прежних польских землях. Стали требовать русскую границу 1772 г., иначе сказать, Украину, что означало, естественно, войну с Россией. План выступления был разработан Французским Генеральным Штабом. Целью этой кампании было, конечно, свержение Советского режима и вознаграждением Польше за инициативу должна была служить давно утерянная Польшей Украина. Операция предполагала выступление к этому же моменту также и армии Врангеля из Крыма, что при наличности еще Юго-Восточного фронта означало для Красной Армии одновременно войну на трех фронтах.

Для эмигрантов „активистов“, во главе коих, к удивлению, оказались богоискатель Мережковский и поэтесса Гиппиус, выступление Польши прозвучало благовестом. На клич богоискателей в Варшаву стали стекаться крестоносцы всех мастей: от террориста Савинкова и „самостийника“ Петлюры вплоть до бандита-погромщика, „батьки“ Булаховича. В результате переговоров этих „представителей“ с Пилсудским было решено формирование „Русского Отряда“ на помощь агрессивной Польше. Но не долго тешились самозваные авантюристы надеждой на успех. Захватив с налета Киев, едва лишь месяц удержались поляки в столице Украины, а через несколько недель армия Тухачевского с казаками Гая оказалась в Праге под Варшавой и, если бы не генерал Вейган с французской авиацией, не произошло бы на Висле „чуда“ и карта Европы и без Гитлера оказалась бы иной.

Потеря Киева и особенно первые успехи казаков быстро

снизили воинственность поляков. Дальнейшее продвижение Красной Армии вызвало панику в Варшаве. „Государство“, писал впоследствии Пилсудский, „трещало по всем швам“. В этих условиях мне надлежало записаться в русскую дружину. Виды поляков на Украину нельзя сказать, чтобы оставляли равнодушным моего отца и, признаюсь, меня, отпрыска украинца-папаши и матушки, коренной москвички.

От опасности, к тому же, очутиться еще и в большевистской Польше, нам надлежало срочно убираться в единственный объявившийся по тому времени эмигрантский сборный пункт, в Берлин. Там предстояло отсиживаться до, почитавшегося все же неизбежным, падения Советской власти.

Двухлетнее мое пребывание в Польше, события, каким я был непосредственный свидетель, не могли пройти бесследно для моего опыта, как и для здравого моего мышления. Воочию представившиеся столпы активной эмиграции, слетевшиеся, подобно коршунам, с целью разорвать, что еще оставалось от России, кровно при этом враждебные друг другу, являли незабываемую гнусную картину.

⁂

Мы в Берлине. С сердечной горестью вся наша семья теперь взирала на мирно резвившиеся на немецких голодных улицах русские эмигрантские стада, полные уверенности в кратковременности своих, пока еще весьма терпимых, испытаний.

О берлинской эмигрантской эпопее правильно нам рассказал Дубинин. Но кроме общей, у каждого эмигранта могла, да и должна бы быть еще и отличная, особая, своя судьба. Два слова здесь pro domo sua.

Начав в гимназии, в университете я вконец разделался с религиозным, политическим и до известной степени и социальным хламом, каким заботливо заполняли наши головы родители и учителя. Отец мой, „обрусевший запорожец“, как называла его мать, добросовестно пытался примирить русское самодержавие с украинским сепаратизмом. Мать, теософка, интересовалась „потусторонним“ миром и проходила мимо земных проблем. А учителя... Бывали, правда, исключения...

Беседы с одним из наших приват-доцентов позволили мне от многого отрешиться и кое-что еще постичь — вплоть, horribile dictu, до марксизма с социализмом. Всё исключительно для широты личного мировоззрения и ни в какой степени не для „ниспровержения основ“, само собою разумеется. Правда, материя эта принадлежит к опасным: логикой, этикой своей и идеалом она в состоянии и „устойчивые“ подчас барьеры одолеть.

Кстати, после „Бога“, Маркс, думается мне, это, пожалуй, наиболее нарицательное из собственных имен, известных в Ста-

ром и Новом Свете, а может быть и на всей нашей планете. И как и „Бог“, не понятие, а уже лишь слово „Маркс“ могло бы служить тестом для определения, к примеру, типа нервной системы у собеседника, преимущественно у интеллигента. Так, „при слове „Маркс“ я хватаюсь за револьвер“, — это реакция холерика. Более владеющий собой, сангвиник, ничего не скажет, но сжав кулаки, только „бросит убийственный взгляд“, как поется в песне. Флегматик, взглянув удивленно, отмахивается: „Маркс, да это же давно уже опровергнутые бредни“. А меланхолик, в недоумении разводя руками: „жили, как люди и вот на нашу голову объявился какой-то шаромыжник, Маркс“.

Не думаю, чтобы наш приват-доцент сильно согрешил, избавив меня от сверхчувствительности (аллергии) к такому тесту. Но это касательно марксизма. Хуже дело обстояло с ленинизмом. О Ленине мне был известен подвиг его брата, и, из-за обилия статистики с трудом преодоленный мною, его „Аграрный вопрос“, а о ленинизме — устранение „интеллигентов“ из рабочих комитетов и организация боевых дружин. Но это была тактика, практика, а меня интересовали... грезы. Гидом моим на извилистых путях к золотому веку человечества был не Ильин-Ленин, а Бельтов с его, почитавшейся мною интересней, чем Декамерон, книгой „К вопросу о монистическом взгляде на историю“. И вдруг Плеханов оказался в „нетях“, а с девятым валом объявился Ленин с лозунгом „даешь социализм!“. Марксистская моя девственность была сильно шокирована: социализм должен был вылупиться из капитализма, как Афина-Паллада из головы Юпитера — во всеоружии всех качеств и во цвете лет. А тут голод, во всем нехватка и лишь повсюду изобилие... вшей.

В противоположность многим эмигрантам, мысленно я связи с родиной никогда не порывал. Вести о поведении наших друзей в освобожденных от красного засилья городах, их готовность побрататься с врагами родины, как и со всяким сбродом, чему я в Польше сам свидетель был, не располагали к оптимизму в отношении конечного исхода „белого движения“. С поражением Врангеля гражданская война закончилась бесповоротно победой революции. Россия превратилась в опытное поле для социалистического эксперимента в „одной“ — и промышленно отсталой к тому же — стране. Со жгучим интересом и сердечной болью я следил неотступно за Голгофой русского народа на пути к казавшейся мне неосуществимой цели.

⁂

Возвращаюсь к новоявленному, первому, по времени, в Европе убежищу для эмигрантов, к пребыванию нашему в Берлине.

Мы поселились на окраине Берлина в семье чиновника в

отставке. Дружная эта чета, едва сводившая концы с концами, была счастлива возможностью хотя бы малость подработать и не стесняла нас ни в чем. Кой-какие средства у нас еще имелись. Я со сверхусердием принялся за пополнение своих знаний в немецком языке. Мать забыла, видимо, о теософии и по-земному заправляла домом. Хуже всех пришлось врачу-отцу. Бездеятельность и безнадежность положения осложнили давний диабет и быстро свели его в могилу. Месяц шел за месяцем, а горизонт не прояснялся. Средства наши были на исходе. Я загрустил всерьез.

Как-то наш хозяин познакомил меня с немцем, работавшим, по его словам, в русском предприятии. Молодой немец пояснил, что в Берлине организуется постоянная контора по закупке локомотивов и железнодорожного материала для России. Сам он заведует там чертежным отделением и под его началом работают несколько русских эмигрантов. Я тут же заявил, что в гимназии я хорошо чертил и попросил немца замолвить обо мне словечко. Через несколько дней я был принят чертежником в советское Техническое бюро. Его возглавлял знаменитый специалист по паровозам, проф. Ломоносов, читавший лекции по специальности в Петербурге и в Англии, в Кембридже. Вся суть, конечно, для меня была в оплате моего черчения: жалованье по берлинским ставкам было генеральским или еще повыше и, естественно, в долларах. Атмосфера в советском бюро была чисто деловой. Большинство служащих было набрано на месте из старых эмигрантов, как и из эмигрантов нашего поколения. О политическом кредо никто не спрашивал. Заказы были миллионные и дела было много.

Бородатый русский барин лет под шестьдесят с умными, мягкими глазами и густым приятным голосом, сам профессор, показывался редко. Заместителем профессора был инженер Романов, симпатичный и приветливый, пожилой путеец. Он жил очень широко и часто задавал богатые обеды, куда собиралась вся немецкая промышленная знать. Его хозяйством заправляла молодая шведка. Поэтому, возможно, к кофе подавался всякий раз, ad hoc доставлявшийся из Швеции, золотистый пунш. Я сблизился с инженером и не раз удостаивался приглашения на такой обед. Однажды моим соседом за столом оказался неимоверной толщины и роста в том же духе, в годах, немецкий инженер. Нагрузившись свыше меры, он прижал меня к себе — да так, что затрещали кости — и стал объясняться в давнишней своей симпатии к русским. Симпатию эту он впервые ощутил в момент, когда, не будучи никогда в России, заглазно строил, хорошо и мне известную, железнодорожную Барановическую сеть близ Минска и на этой почве общался много с русскими.

— Грех против завета Бисмарка не ввязываться в войну с

Россией, — загремел неожиданно сосед при сочувственном внимании всех приглашенных: — совершил Вильгельм и Германия лежит во прахе. И поделом! Для немца не может быть хуже унижения, чем очутиться под пятой французов. А ведь стоило только Германии воевать сообща с Россией и мы свободно поделили бы весь мир...

— Ganz recht, ganz recht, — отзывались немцы.

— Французы рассчитывают на контрибуцию. Напрасно, — захохотал сосед.

— Пусть подождут, — вторили гости.

— Сколько стоит сейчас на марки доллар: восемь марок? Помяните мое слово, — сжав кулаки, продолжал вопить сосед: — мы доведем его, он будет стоить сотню марок и французы не получат ни гроша.

Знали ли инженеры в этот день, что марка, с их содействием снижаясь, докатится теперь неудержимо уж не до ста, а до четырех миллиардов двухсот миллионов за американский доллар, то есть превратится в ими же открытую квантовую почти величину и разорит вконец и без того уже после поражения обнищавший и обезличенный народ?!

Удивляться, что сбитый с толку беззастенчивой и лживой пропагандой, беспомощный этот народ вверил свою судьбу первому же демагогу проходимцу?!

⁂

Пришлось мне познакомиться также и с самим профессором поближе. Часто повторявшиеся припадки барской хвори, подагры, надолго укладывали профессора в постель. Я приходил с особым поручением или приносил на подпись акты. Профессор задерживал меня; угощал, смотря по времени — то завтраком, то чаем и сторонкой иногда высказывал суждения о так бесконечно интересовавшем меня, настоящем положении в России.

— До окончания гражданской войны, — урывками объяснял профессор, — приходилось говорить лишь о временном восстановлении разрушений. Теперь же, с победой, по-настоящему, во весь свой грозный рост встал вопрос о транспорте и связи, по аналогии с организмом человека, кровеносной и нервной системой государства.

Налаживать по-старинке имеющуюся железнодорожную сеть не было возможности. Успеть возможно было лишь при героических, из ряда вон выходящих мерах, при наличности, например, сверх-паровозов, поднимающих почти двойной против обыкновенного состав вагонов. По проектам профессора немцы и мастерили гиганты-паровозы. Увы, и хорошие проекты имеют теневые стороны. Через короткий, скорее чем через долгий срок,

железнодорожная сеть, не выдержав нагрузки, пришла в состояние опасного упадка. Это и был в точности тот срок, когда мы благоденствовали в бюро, в Берлине.

Когда печальные последствия использования сверх-паровозов стали очевидны, профессора попросили наведаться в Москву — для совета ли или для ответа, не могу сказать. Ломоносов предпочел отправиться в Кембридж — и благополучию нашему в Берлине пришла развязка.

Советское бюро, подобно вновь народившейся звезде, сверкавшее своими ставками на эмигрантском фирмаменте, распалось быстро. Инженер Романов не решился, очевидно, ответ держать в Москве за своего патрона и перешел, не знаю, на время ли или навсегда, в „невозвращенцы". Атрибуты величия у людей, лишенные привычного декора, вянут скорее, чем в засуху цветы. Честный человек, Романов тут же убедился, если раньше верил, в эфемерности участия друзей. Одинокий и больной он приходил подчас за помощью „на хлеб".

Я был предусмотрительнее Романова и пуншем не поил друзей. Мне кое-что и удалось скопить на „черный день". Эти сбережения дали мне и матери возможность в последовавшие „тощие года" — в Германии и впоследствии в Париже, — не голодая, дождаться лучших дней.

Месяц май. Пятый год. Летоисчисление я веду с момента, когда время из эфирного, неприметного, по-ученому на четвертом месте из опознавательных пунктов бытия, превратилось для меня в весомую, ощутимую, самодовлеющую стать. Всегда в движении, шагает эта сила, все удаляясь от истоков, не возвращаясь ни на секунду вспять. Как поводырь слепца, влечет за собой время эмигранта. „Quo vadis, эмигрант? Куда?.." Темна вода во облацех. А истоки, они во мне. От них я и счет свой начинаю.

Май месяц, я сказал. В Харькове сейчас весна... Я в чахлом скверике на рабочей окраине Берлина. Хмурое небо. Северный ветер гонит серые, бесформенные облака. То расплываясь и исчезая, то сливаясь в пенистую сплошную пелену, надолго скрывают облака белесое, неприветливое солнце. Кусты белой сирени у моей скамейки берегут тепло. Сирень еще не открывает соцветья лепестков и не источает дыханием ароматы. На узких лужайках, от рождения не стриженая и не чесанная, худосочная трава... Пахнет дымом, пылью и не согретой, не увлажнившейся еще землей. А тоже ведь весна... Как в Харькове... Но в Харькове в мае небо, солнце и земля, каждая травинка, лепесток цветка, листочек, во хмелю весеннем возрождения тянутся любовно к

человеку и несут с собой чудесные дары: бездонный океан лазоревых небес, а ночью украинский шатер бескрайный, черный, с мириадом сверкающих, как бриллианты, звезд; животворящие лучи вновь народившегося, молодого солнца; дурманящие испарения девственной земли; ароматные эманации растений. До насыщения полон майский воздух в Харькове всей этой благостынью...

Про харьковский „Университетский Сад" спокойнее не вспоминать. В цвету аллеи, цветники и в зарослях чащобы... Повсюду птичий гомон. Не умолкают соловьи. Но и соловьи смолкают, когда зазвучат в саду чарующие голоса семинаристов. Все вокруг дыханье затаило. И нет уверенности, поют ли люди или это „хор светил". И посейчас, как вспомню, так свирелью переливается в ушах: „Як закувала тай сыва зозуля...".

Скупа природа на рабочей окраине Берлина. В гомеопатических дозах здесь источает весна свои дары. Я сижу в непромокаемом пальто и подогреваю себя усиленным заучиванием немецких слов и текста. Я читаю „Капитал" Маркса. К моему удовлетворению полезное сочетается здесь еще и с очень интересным.

— Бог в помочь, — отвлек мое внимание хриплый голос с украинским акцентом.

И на мгновение мне почудилось, что я очутился на Украине. Оторвался от словаря. В книжку заглядывал рослый парень, лет под тридцать и, по свисающему на лоб чубу судя, будто бы из казаков. После неудачного русско-польского похода в Германии задержалось много казаков.

— Спасибо. А вы из казаков?

— Уси мы казакы. А вы откуда родом?

— Из Харькова.

— Земляк значит. Я из-под Изюму. Курить дуже охота. Може богаты табачком?

Я угостил папиросой земляка и он стал жаловаться на свою судьбу.

— Германцы с три короба наобищалы: оставайтесь, кажуть, с намы. У вас тамо и мухам исты не дають. А на дили: гни на хферме спину, а харчей в обрез: одной картошкой пузо набивають.

Казак затянулся смачно дымом, пододвинулся ко мне и, понизив голос, с хитрецой в прищуренных глазах стал говорить.

— Як земляку я вам сикрет одын открою.

Дило було так. Затосковал я на проклятой хферме. Захотилось в город. Земляков може повидать яких або, бог поможе, так и работенкою якой разжиться. Дурень тилько думкою и богатие: земляков в Берлине днем с огнем шукай, а про работу и думать позабудь. Самы нимцы с голодухи подыхають. В харчевне за борщом разговорився я с охфицером москалем. Моска-

лей я не дуже уважаю, а цей в годах и очинно сурьезный. Вин и каже: треба эмигрантам из Германии усим тикать, пока ногы еще ходять. Коммунизма опасалысь, пронесло, а биду погирше — голодуху прогадалы. Германцам плохо, а нам одна дорога на погост. Вам, каже, еще туды-сюды. Потому Украина теперя вроде самостийна и в Берлине консул из своих же усим тут заправляе.

— Быть того не може, — задивывся я. — А большевыкы куды дивалысь? А вин: „Коммунисты там же и сидять, да тилько без москалей, похоже; украинцы, значит, дила справляють самостийно". Чи так воно, чи то одна морока, бог одын и знае. Да тилько консул обязан своим видь помогать. А може там такой сидыть, що и взаправду землякам поможе?..

— Ну и, кажу я, чудеса. Чего тилько на цим свити ни бувае. А где же консула того шукать?

— Вулица „Пид Липами", колы по нашему, вин объясняе, а по германски, хочь подавысь, не скажешь. На бумажки вулицу москаль мини и записав.

Дни идуть. Исты треба, а гроши, як та хмара, що нагулялась та ее немае. Бачу, на хферму треба ворочаться, а в карманах пусто. Вспомнив я про консула и загадав. Попробую. Я ж не бублик, зубамы не накусять. И подався я „Пид Липы". Гарна вулица тай засажена сквозь ладно. Нашев я дом, позвоныв и спрашиваю, чи можно консула Украины повидать? „Пожалуйте", каже хлопец и скрозь сени да две комнаты на двери показав.

Открыв я двери. Захожу. За столом человик сидыть тай пыше. Поглядев я раз, поглядев другой и потемнело у мини в очах. Чи взаправду або ж то оборотень, тилько за столом сидыть мой побратим земляк, Довженко Александр. Стою, мовчу и не знаю, чи то к радости, чи то к печали. Подняв вин очи, да як вскочить, як закричить: „Як ты осмелився, бандит преступный, на глаза мне показаться!" Осердывся я. „Не наче ты сказывся, Сашко. Опомнысь. Я бандит?.. Забув, как мы с тобой учительствовали, да про свободну Украину усе гадали".

— А вин: „а в час як Украина свободу получыла, так ты в атаманы записався, грабителем зробывся... Руку подняв на народну украинскую власть".

Стою я. Обида сердце защемыла. Не удержався я, заплакав.

— Добре, бей лежачого. Тилько послухай, Сашко, что я тоби скажу.

— С малолетства хлопец ты був дуже добрый. Наилучший из нас усих. Теперича ты пан великой и мисто тоби почетное вже заготовано в раю. Тилько расскажу я Господу, што ты в час трудный голодному побратиму своему рукы не протянув, так за одно такое дило из самого што ни на есть раю, потянуть тебя черти прямо в пекло. Будем мы с тобою, Сашко, на одной

жаровне греться. Тамо ты одумаешься и заплачешь погирше, чем я в сей час.

Засмиявся Александр.

— Вот тоби, каже, 50 марок, атаман побитый. Не из казенных, из своих даю. Не позабудь Господу о тим поведать в день страшного суда. Подумай об Украини и покайся. А до тих пор и на глаза мини не попадайся.

Взяв я гроши и тилько и сказав: Об Украини думка завсегда со мною. А кацапов я быв и быть буду. Всего тута и дилов.

Вам, як земляку, тай незнакомому я сикрет открыв. Другому того и не расскажешь. Тилько с вами, конешно, у Довженко буде разговор другой. Хлопец он дуже добрый. В трудный час, не сумлевайтесь, вин поможе.

— Действительно, — заметил я, заинтересованный сообщением не меньше казака.

— Независимая Украина. Свой консул. И большевики... Поди тут, разберись...

— А разобраться треба, — задумчиво сказал казак. И мы расстались.

Много, выражаясь поэтически, в Шпрее утекло воды. Сменилась не одна весна, а я все корпел над „Капиталом" в ожидании лучших дней. Каких собственно, я и сам уже не знал. Подходил момент, когда и моя казна начинала „просить каши". Положение получалось, как у атамана-казака. Консула Довженко я не забывал, но речь шла помимо прочего не о пособии, а о работе, о постоянном заработке, чтобы не голодала мать.

Путей спасения для эмигранта было два: за океан или же во Францию, куда устремлялось большинство. Так и я в пасмурный осенний день очутился с матерью в Париже. Поселились мы в отельчике на курьих ножках, на неприглядной улице Блондель. По заведенному русскому порядку для не обремененных профессией земляков, вскоре и я сел на просиженный до пакли облучок.

Езда русского подневольного шофера по бессчетным улицам Парижа — это Одиссея без Итаки, это Voyage au bout de la nuit. Подчиняясь привычным, усвоенным рефлексам, послушно руки выполняют нужные задания момента. Мысли же шофера, сплетаясь и сменяясь, обтекают в то же время по бесконечным траекториям незадачливую свою судьбу, судьбу родины, не пренебрегая даже и судьбой самой планеты. Большинству конечно, довольно мыслей о собственной фортуне. Но для меня судьба родины была предметом всегдашних и мучительных сомнений и

связывалась она неразрывно с порядками на всей земле. Эмигрантское житье-бытье, о коем так красочно и углубленно поведали сейчас друзья и мне, естественно, знакомо. Хлебнул и я из этой горькой чаши. И все же не эти обстоятельства, не эти переживания занимали мои мысли все годы эмигрантского пленения. Никогда я не посмел бы и сравнить горечь эмигрантских злоключений со страшными испытаниями, с жертвенным уделом, доставшимся моей стране. О терзаниях и блужданиях на путях к разрешению моих сомнений я и хочу с друзьями поделиться. Неотступно занимал меня вопрос: кто же виноват в губительной напасти, обрекшей родину на миллион терзаний?!

Для рядового эмигранта, для подавляющего, значит, большинства, вопрос этот сугубо риторический. Младенцы разве, да и то отсталые в решении, возможно, затруднятся... Для осведомленного же эмигранта, глядящего поглубже „в корень", причина этих бедствий, не только русских, но и человечества вообще за последнее столетие, гнездится единственно в учении Маркса.Разрушение до основания привычного нам жизненного строя, сопровождавшееся гекатомбой жертв, как и продолжающиеся на нашей родине вот уже десятки лет искания чуждого Западу нового порядка, неизменно совершаются по завету и наставлениям Маркса. Содружество, ближайшей целью коего является ознакомление с жизнью и идеалами нашего народа, в первую очередь вынуждено отдать себе отчет, чему же учит Маркс, куда ведут его заветы.

Ведь о личности Маркса в эмигрантской прессе можно и подобное прочесть: „Он имел в браке шестерых детей, о воспитании и пропитании которых совершенно не заботился, что привело к смерти от истощения трех его детей; двое других с отчаяния покончили жизнь самоубийством. Получив в подарок от своего состоятельного дяди (в Германии) 160 англ. фунтов, Маркс ни копейки не переслал в Лондон своей жене и голодающим детям и ее выбросили из квартиры за неуплату долга. Карл Маркс употребил эти 160 англ. фунтов на 2-месячные пиршества со своими друзьями. И если бы не богатый Энгельс, снабжавший его деньгами ,то Маркс закончил бы свои дни, как и его, брошенные им на произвол судьбы, семь детей. Такие личные качества „гуманиста" Маркса вызвали полную антипатию к нему всех сторонников: на его похоронах присутствовало всего шесть человек".

Следовало лишь процитировать из самой распространенной в эмиграции газеты эту сплошную галиматью, чтобы понять, каким „чтивом" питаются эмигрантские мозги.

Вы не посетуете на меня, друзья, если, отклонившись от личных излияний, я поделюсь с вами хотя бы крохами, извест-

ными мне по данному предмету. Даже крохи эти позволят нам лучше разобраться в волнующих каждого, столь мучительных для нас вопросах.

***

Самый поверхностный и малосведущий из наблюдателей природы не станет отрицать, что планета наша, допустим, велика и обильна; в отношении же порядка, в широком смысле этого понятия, на нашей памяти никогда его не существовало на земле, как не существует и теперь. Предтеча и отец ниспровергателей основ, в цепном порядке зажегший в свое время почти всю Европу. Руссо считал, что: „все совершенно, что выходит из рук Творца и теряет совершенство от прикосновения человека“.

Выходит, мир должен быть принят человеком, какой он есть. Исправлять его, значит только портить.

Каков же мир, предоставленный Творцом в исключительное, будто бы, пользование и владение человеку?! На заре своего существования homo sapiens, получеловек и полузверь, разделял незавидную судьбу всех прочих тварей, нуждавшихся, главным образом, в питании: пожирал сам съедобных земляков, не отвергая и себе подобных, как и они охотно лакомились его персоной. Обстоятельство, вы согласитесь, никак не вяжущееся ни с совершенством мира, ни с прерогативами его владыки, человека.

Интеллектуально неизмеримо опередивший своих соседей, трудом бессчетных поколений человек в известной степени обезопасил и обеспечил свое существование в видимом им мире. И все же опасности грозили, как и грозят человеку в этом „совершенном“ мире, не только от *видимого* в воде, в воздухе и на земле. Эти опасности даже стушевываются перед враждебной мощью еще и так называемого невидимого мира, несчетных миллиардов сосуществующих с человеком микроскопических созданий, о которых в похвальбе своей перед Адамом, Творец по неведению или же намеренно почему-то умолчал. Эпидемии погубили людей больше, чем наводнения, землетрясения, войны и голод вместе взятые. „Историки не оценили влияния эпидемий на жизнь человечества“, утверждает д-р Гласшейб. Поразительны, считает он, совпадения выступлений невидимого мира, губительных эпидемий, с историческими катастрофами в судьбе и жизни целых народов.

Так, могущественный Рим с победными трофеями из трех континентов получал также и невидимые дары из покоренных стран — чуму, проказу и холеру. Страшная чума, начавшаяся при Юстиниане, быстро распространилась на всю державу. В течение 60 лет с редкими лишь перерывами чума обезлюдила и ослабила и без того нестойкую рабовладельческую основу госу-

дарства. Эта чумная эпидемия и была прологом к разрушению Рима ордами германцев и ознаменовала собой новую эру тысячелетнего средневековья.

В середине XIV века Европу, едва начинавшую лишь возрождаться после многовекового изуверского закрепощения „страхом божиим“ всех духовных проявлений человеческого существования, снова поразила чумная эпидемия. Самая страшная из когда-либо обнаруживавшихся в мире. Неисчислимы были потери в Европейских странах. Обезлюдел полностью ряд городов и даже стран. Треть, а по другим данным половина населения Европы погибла. Бессильна была медицина против невидимого и неведомого врага, а соборные моления и процессии, взывавшие о пощаде к Богу, лишь распространяли беспрепятственно заразу. По призыву Папы миллион двести тысяч паломников собрались на Пасху в Риме. Едва десятая часть унесла поздорову ноги... Авторитетный центр того времени, Парижский факультет, рекомендовал для борьбы с чумой: курение ромашкой в доме и на площадях; запрещение куриного мяса и особенно оливкового масла; не брать ванн и воздерживаться от сношений.

Более трех веков еще „черная смерть“ безнаказанно хозяйничала в мире, пока не распознала ее и не укротила мощь науки.

Богатую человеческую жатву делили, как хотели, и другие коллеги „черной смерти“: оспа, холера и проказа. Гибель народов Майа и Ацтеков в Мексике и бесследное исчезновение их цивилизаций в XVI веке, у истории, сказать бы, на глазах, долго вызывало недоумение всех ученых наблюдателей. Истребление многомиллионного народа, готового к сопротивлению, кучкой испанских desperados не поддается объяснению. Доводы, что белый цвет кожи у авантюристов был атрибутом, по понятиям Ацтеков, якобы, богов или же что страх перед неизвестными мексиканцам лошадьми парализовал сопротивление, недостаточны и маловероятны. Истинная причина — это все та же беспомощность владыки мира, человека, во враждебном ему мире с неисчислимой ратью не только видимых врагов.

В экипаже экспедиции Кортеса был случай оспы. Известно и имя заболевшего матроса. Иммунизированный уже в Европе, огонь и воду прошедший экипаж, остался невредимым. Среди не знавших этого заболевания туземцев, инфекция осатанела и распространилась подобно урагану. Исходом „черной оспы“ была лишь смерть. Испанцам оставалось только осилить слабое сопротивление и присвоить бесхозяйное добро.

Пожалуй, скептикам покажется гиперболичным столь быстрое и массовое распространение заразы. Но аналогичный, страшный другой пример еще в печальной памяти у всех. Облагоде-

тельствованный черной оспой Американский материк, не оставался в долгу перед Европой. Авансом, незадолго он отплатил уже с лихвой Европе за содеянное зло. Так, Колумб в числе диковинных обновок из Нового, открытого им Света, привез еще инкогнито абсолютно неизвестную на нашем континенте, коварную бациллу „серой смерти“, сифилиса. На своей родине бацилла эта по качествам мало чем отличалась от прочих своих сородичей, мирно покидавших в известный срок облюбованную жертву. В Европе невидимая гостья преобразилась быстро в полновластного возбудителя „проклятого и позорного“ заболевания. Меньше чем в год не существовало в Европе уголка, где бы не обнаруживалось отвратительное и трагическое лицо этой болезни. В первые несколько десятков лет сифилис был острым заболеванием, часто со смертельным исходом, исключительной непривлекательности и заразительности. Болезнь передавалась любым общением, не щадя ни ранга, ни возраста, ни пола. Императоры, папы, духовенство, ведущие умы века были жертвами этой болезни.

Прославленный гуманист, Эразм Роттердамский жалел, по доброте своей, что не сожгли тотчас же первых сифилитиков, не подозревая, что и сам он заражен этой болезнью. Вслед за этим острота болезни притупилась и течение ее стало менее бурным, иногда и вовсе бессимптомным. Она превратилась в коварную, неизлечимую болезнь, угрожавшую постоянно интеллекту человека. Отголосок ужаса, сопровождавшего появление этой болезни, увековечил, правда анахронически, Бальзак в своем романе „Кузина Бетт“. Там красавица, орудующая любовниками, как жонглер предметами, сходится с бразилианцем и заражается болезнью, вызываемой „Американским ядом“. Всеми покинутая, она гибнет в муках в короткий срок. Вольтеровский Панглос и Гоголевский Ковалев, потерявший, очевидно, во сне нос, знаменуют собой уже второй, нам современный период этого заболевания.

На пять веков радость общения с женщиной была отравлена этим неуловимым заморским призраком. Лишь недавно, именно наука — избавила человечество от этого кошмара.

Помимо „серой смерти“ от самого появления человека на земле беспрепятственно и неизменно, наряду с раком, тризну правила наиболее древняя из всех смертей „белая“, названная туберкулезом. И посейчас, хоть и в меньшей степени, все же не мал трибут, уплачиваемый этой болезни человечеством. Но и „меньшая братия“ из невидимой орды, с менее кричащими наименованиями, живет и видит, как бы поживиться человеком, а число этой братии еще и легион.

Нельзя без содрогания думать о судьбе женщин, обреченных

милосердным богом на родовые муки якобы за Евины грехи. Но дело было не только в этих муках. Треть женщин неизменно умирала в госпиталях от заражения родильным сепсисом. Жуткую картину рисует Короленко, потерявший от этого сепсиса жену. А церковь утверждала, что это „жертва Богу за радость материнства“. Никому неизвестный, молодой врач Sammelweiz, посмел открыть инфекционную причину этого заболевания. Он был осмеян корифеями науки, уволен из госпиталя, где работал и доведен до самоубийства.

Безотрадна, выходит, живая панорама мира с человеком во главе.

⁂

Страсть к насилию и к присвоению чужого, вынужденно усвоенные примитивным человеком звериные рефлексы, неизменно сохранились в человеке, между прочим и по настоящий день. Культура позволила лишь закамуфлировать их сущность подходящими слоганами. С момента, как сформировались коллективы, организованные грабежи под видом войн в погоне за добром и за рабами, с жертвами без числа и разрушениями без предела, не переводились на земле.

В пестрой мозаике этой панорамы „Царь вселенной“ — человек, был долго своеобразной, но бессильной и малозначущей песчинкой. Усложнившиеся условия существования заставили его взяться за оказавшийся у человека гибкий ум. Он упрочил и облегчил свою борьбу за жизнь, соорудив ряд рудиментарных инструментов и, подобно муравьям и пчелам, создал все расширявшийся и дифференцировавшийся с веками коллектив. Однако и на такой ступени, окружающее и окружающих, не исключая и себе подобных, он привык рассматривать единственно с утилитарной точки зрения. Человек — не я — мог быть объектом лишь питания или должен был быть использован, подобно животным, для труда. Разросшиеся в государства коллективы и с высокой степени „культурой“, хозяйственной основой, поначалу, естественно, имели достававшийся задаром рабский труд. С течением времени раб сделался строптивым, а труд рабский оказался нерентабельным. За последние столетия наемный рабочий заменил бесправного раба. Однако, закабаление, так называемого, „рабочего“ было не меньшим, чем раба, так как благополучие и сама жизнь рабочего зависела в такой же степени от работодателя, заботившегося лишь о наживе, как от рабовладельца жизнь раба.

Восстания людей труда, доведенных до отчаяния бесчеловечной эксплуатацией и бесправием, теперь уж революции, сме-

нили прежние восстания рабов в античном мире, как и народные бунты у всех народов до-капиталистического века.

Такие стихийные вспышки гнева безоружных, обездоленных людей, подавлялись власть имущими „по-человечески“, заканчивались кровавой баней. Тень homo sapiens'a следовала за современным человеком, очевидно, по пятам.

На протяжении веков, моментами Европу оглашали голоса „вопиющих в пустыне“ гуманистов, совестливых людей, подобно пророкам иудейским, напрасно напоминавшим угнетателям о справедливости и сострадании. Также безрезультатны оказались призывы доверчивых социалистов-утопистов, полагавшихся на совесть эксплуататоров, на вероятность добровольного отказа капиталистов от хищнической наживы.

Такова была базировавшаяся на ничем не сдерживаемой эксплуатации трудящихся экономическая структура в передовых странах Европы в XIX веке.

Итогом многолетней усиленной работы Маркса было не восхищение нашим миром, как у Руссо, а возмущение хаосом в природе; неравенством, царившим в обществе людей; жестокостью законов для неимущих; несправедливым распределением земных благ. Это свое убеждение Маркс выразил словами, ставшими девизом всей его борьбы: „философы старались лишь различным образом объяснять мир, а все дело в том, чтобы изменить его“.

Капитализм, позволивший массовое производство, а значит и удешевление товаров, необходимых для непрерывно увеличивавшегося населения планеты, неудержимо пролетаризировал огромные трудовые массы.

Присущие неотъемлемо капитализму отрицательные атрибуты: анархия производства, кризисы, хроническая безработица и антагонизм классов обрекают, как и прежние и эту экономическую формацию в известный момент на замену ее новым строем.

Производственными отношениями, утверждает Маркс, определяется не только экономический, но и политический распорядок в основном, как и идеология участников режима. Пролетариату, трудящимся, истинным создателям всех ценностей при капитализме и суждено историей перенять у буржуазии руководство социальной жизнью и век эксплуатации сменить на век содружества в производстве и справедливого распределения богатств.

О социализме, общественном строе без голодных и угнетенных, веками мечтали гуманисты. Но это были лишь мечты. Впервые в учении Маркса социализм представился исторической за-

кономерностью, неминуемой ступенью социального прогресса, а пролетариат — его глашатаем, законным возглавителем. Подготовке пролетариата к высокой этой миссии и посвящена была вся деятельность Маркса. Ей принес он в жертву по собственным словам: „здоровье, счастье жизни и семью“. В постоянной нищете, в лишеньях, гонимый, кочуя из страны в страну, похоронив четырех детей, жертв этой безысходной нищеты, Маркс неуклонно шел к намеченной однажды цели. А в соблазнах не было отказа. В роли дьявола, на сей раз во плоти, выступал сам Бисмарк, суля Марксу „славу и все блага мира“, сверни только Маркс со своего опасного пути. Напрасно. Великому делу „любви к ближнему“ Маркс все отдал, чем располагал. Маркс умер и через несколько десятков лет провидение его нашло свое осуществление в полуфеодальной, полукапиталистической еще России.

***

Неуемная страсть к стяжательству толкнула буржуазию на столь же кровопролитную, сколь и преступную войну 14-18 года. В этой бойне цвет Европы лег костьми, а с ним исчезли и привычно усвоенные устои буржуазной жизни. Заметались в тревоге передовые слои населения всех стран. Буржуазная интеллигенция в знак протеста против бесчеловечности войны, в своем бессилии могла лишь сжечь, чему недавно поклонялась и провозгласить свободу от всех норм... В искусстве — дадаизм. Прочие меланхолически муссировали легенду о предопределенном закате Западной цивилизации.

Вконец расшатанный бессмысленной войной, первым в Европе рухнул сам собою русский колосс на глиняных ногах. После недолгого, насыщенного драматическими выступлениями различных партий и смутного периода, страдавшего к тому же двоевластием, а подконец и вовсе уж безвластием, инициатива была захвачена большевиками, единственной партией, готовой к действию с определенной загодя программой. И наступили „десять дней потрясших мир“.

Больше чем мир, дни эти все же потрясли Россию. Скоро и от развалин прошлого не осталось ничего, а новое существовало хорошо, если в макетах. Млат тяжкий революции быстро дробит отжившие устои и людей. Кует он медленно... О бессчетных страданиях, связанных с проведением в жизнь программы коммунистов, о перипетиях ее осуществления, достаточно известно нам, как и всему миру. Сейчас задача нашего содружества — не плакаться о прошлом.

Отсталая экономически, слабая в самозащите, безграмотная, темная Россия превратилась в равняющегося с Америкой гиганта, в пионера космического века. Она оказалась победительницей в войне, исходом которой, в случае неудачи, было бы не ущемление границ и даже не распад России, как при всем нам известном „похабном мире“, а порабощение немцами страны и гибель русского народа. Таков был план безумца Гитлера в отношении России.

Экономические и производственные изменения в стране, мы знаем, исключительны. Коммунистический же по-настоящему уклад находится все еще in statu лишь nascendi. Создать никогда еще не существовавший идеальный материальный строй — задача не из легких, но куда сложнее оформить „личность“ сродни этому режиму, личность человека.

Что дремлет в человеке, с какой легкостью в нем воскресают, казалось бы, с корнем вытравленные столь долгим пребыванием в коллективе, атавистические звериные рефлексы, особенно при массовом психозе, недавний terror teutonicus полностью нас просветил! А Сталин? Не мифический а подлинный Прокруст в своей посредственности начетчика марксиста, усекавший мыслящие или независимые головы окружения, как тот не соответствовавшие его шаблону ноги.

Удастся ли коммунизму очеловечить человека, утвердить правду на обновившейся земле? На пользу ли народу пошли эти пламенные годы?!.. Что нового ценой полувековых страданий выковал народ под властью и руководством коммунистов? Что поучительного и полезного дал миру первый опыт социалистического строительства в масштабах государства? В этом суть вопроса и нашего кровного, живого интереса! Пытаться разрешить его и будет задача нашего Содружества.

Я кончил. Прошу, друзья, присоединить и мою тетрадь долгих и поистине „горестных замет“ в архив нашего Содружества. Льщу себя надеждой, что высказанные мною мысли облегчат нам знакомство с положением на нашей родине, как и понимание ее трудностей и перспектив.

— Ваша „исповедь“, дорогой Алексей Кириллыч, — заявил Безладный, — свидетельствует неоспоримо, каким вкладом является ваше участие в едва лишь народившемся нашем клубе. Обширная эрудиция, как и сформировавшиеся уже ваши взгляды, облегчает нам обретение и нашей nourriture terrestre. Они

послужат той нитью Ариадны, которая позволит нам с большей уверенностью шагать по извилистому лабиринту знаний, как и помогут достигнуть нашей цели, выйти из потемок к свету. Всем нам известно ваше прозвище: Третий Рим. Обычно такие этикетки имеют целью, выставляя слабости людские, ущемление гордыни человека. Нам понятен теперь его смысл и значение; для вас такое прозвище должно быть очень лестным.

Итак, друзья, мы выполнили свой обет. Без предубеждений, с чистой совестью и сердцем, исполненным стремления к истине, мы приступим теперь к завершению нашей задачи. Известно, как сильно за время, что мы разделывались со своим прошлым, затуманились международные дали. Казалось, люди разных стран, недавние союзники в столь губительной и разрушительной войне, найдут теперь понятный всем язык и сообща станут залечивать свои тяжелые и многочисленные раны.

Увы, звериное, составляющее истинную человеческую сущность, начинает проявлять себя. Быстро сходит культурный лоск и перед нами снова все тот же вечный, примитивный троглодит, научившийся риторикой скрывать свои инстинкты, как природную наготу свою он камуфлирует одеждой. Так было в прошлом, и так, исключая редкие моменты, остается и теперь. И хотя человечеству уже много тысяч лет, надеждой и утешением служит то обстоятельство, что зрелости своей оно все еще не достигло. Человеку, зоологическому homo sapiens, предстоит еще долгий путь, чтобы обрести истинную „человечность“.

Возможно, что в будущем и человек будет по плану создаваться с ориентацией на хромозомы. Тогда подобные Гитлеру, Сталину и прочим нравственным уродам индивидуумы в зародыше будут исправляться или попросту уничтожаться.

Пожелаем же себе успеха в этом, столь жизненном для всех нас, начинании. Per aspera ad astra!..

***

Два слова вместо эпилога.

Наше повествование началось с вопроса, как быть с утверждением психоаналитиков, что „русским опасно скопляться больше, чем по одному“. Опыт учрежденного в пригороде Парижа клуба заштатных русских интеллигентов, включающего семь членов, по меньшей мере рассеивает эти опасения.

Прилагаемые здесь отчеты заседаний свидетельствуют еще о том, что члены клуба отдают себе полностью отчет, что они

живут в эпоху великих потрясений. Ища путей, чтобы выйти из „потемок к свету“, они разделываются поначалу с задолго усвоенным, привычным своим прошлым. От этих идейных вивисекций должно страдать, конечно, тело, но главным образом — душа, будь то „âme slave“ или иной какой-либо категории или природы. Известно: „одно дело только тело, а тут тело и душа!“.

И как утверждал римский писатель Теренций за два века до нашей эры: Homo sum et nihil humanum a me alienum esse — может о себе сказать и каждый из представленных здесь моих героев.

1950—1960.

Herblay.